

Олег

Куваев

Избранное



Олег Куваев

ИЗБРАННОЕ

Олег Куваев

ИЗБРАННОЕ

В ДВУХ ТОМАХ

Олег Куваев

ИЗБРАННОЕ

ТОМ ПЕРВЫЙ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1988

ББК 84Р7
К 88

Составление, комментарии
Г. М. КУВАЕВОЙ

Предисловие
ВАЛ. КУРБАТОВА

Оформление
Ю. БОЯРСКОГО

Рисунки
С. КРЕСТОВСКОГО

К $\frac{4702010200-158}{078(02)-88}$ 103—88

ISBN 5-235-00137-0 (т. 1, 2-й з-д).
ISBN 5-235-00138-9

ПОРОДА И ЗОЛОТО ТЕРРИТОРИИ

Олег Куваев был уверен, что «всякое писательское имя вначале возникает где-то на месте и лишь потом становится известным всесоюзному читателю». Его местом был Север, и человечество для него «делилось на *достойных* людей и *пижонов*. А география на две области: где живут *люди* и где *пижоны*. Конечно же, *люди* жили севернее Полярного круга» (подчеркнуто О. Куваевым. — *В. К.*).

Это, положим, мысли одного из его героев, но, заглянув в ранние письма Куваева, легко согласишься, что и автору они были по сердцу. Потом опыт приведет его к более широкому и проницательному взгляду, и он с улыбкой напишет: «Когда я еще работал «великим полярником»... пересекал, сплавлялся и огибал, один мой друг говорил мне: чудак ты, Олег, демонстрируешь тут мне квадратную челюсть. А ведь истинное Заполярье... находится в городах. Твои льды, байдары и легендарные переходы — ерунда по сравнению с событиями в обыкновенной коммунальной квартире. Тогда я его шибко презирал... Теперь вот убедился, что он был полностью прав».

Но книгами он этой правоты своего товарища подтвердить не успеет и останется для нас в той части географии, где живут *люди* — севернее Полярного круга. Разве только изредка мелькнут в биографиях крепких северных мужиков страницы собственного куваевского детства, и пóзднее понимание больно заденет сердце, но об этом у нас еще будет повод поговорить.

О том, как он, костромской по рождению и вятский по детскому воспитанию, оказался на Севере, вероятно, «близко к тексту» Куваев рассказал в повести «Тройной полярный сюжет». В судьбе главного героя повести легко узнать полудеревенское детство писателя на железнодорожном полустанке, его влечение к путешествиям, и даже первую книгу герой самостоятельно купил именно ту, которую до него в пятом классе купил автор, — Ливингстоновы «Путешествия по Южной Африке». Может быть, тут дотягивала свою жизнь прекрасная традиция русских маль-

чиков бегать «в Америку», как бегали они у Чехова, у Гарина-Михайловского, Пришвина, когда даже обложки книг Жюля Верна вызывали томительное беспокойство.

Только много призванных, да мало избранных. И в нас так всё книжками и детством и кончалось, а у него за Ливингстоном следовал подробный, умный и бережный Арсеньев, а там — любимый Пржевальский, который вроде тоже не может быть интересен детскому уму своей мерной, как верблюжий шаг, прозой, своей медлительной обстоятельностью профессионального наблюдателя, а вот затягивает, как дорога. Ни он, ни Арсеньев не кидают, как Жюль Верн, из жара в холод, но зато учат зоркости и любви к работе и Родине.

Стоит прочесть последний приказ Пржевальского по окончании четвертого путешествия, где он кланяется своим спутникам, которые «пускались в глубь азиатских пустынь, имея с собой лишь одного союзника — отвагу; все остальное стояло против нас: и люди, и природа», и благодарит товарищей от имени Родины, которую они прославили, чтобы понять — нет молодого сердца, которое не вспыхнет при чтении этих слов и не рванется следом.

Это систематическое, в одну сторону устремляющееся чтение неизбежно привело Куваева в геологию, профессионально родственную путешествию. Кроме того, эти чистые книги, сосредоточенные не на мелких заботах честолюбия или изнурительного самоанализа, а на постижении мира и человека, научили писателя доверию и той сердечной открытости, которая потом изумляла и его самого: «Остается лишь изумляться, как мы, будучи уже инженерами, ухитрялись сохранить чистоту и наивность семиклассников». А это не семиклассник в нем говорил, а детские книжные собеседники, те умно выбранные душой Вергилии, которые всегда немного дети, потому что их зрение открыто вовне и может до смертного часа так и не узнать, какие змеи вьют свои клубки в сосредоточенной на себе городской душе. Хорошие учителя привили ему здоровый взгляд на человека и дали в одном из писем повод сказать: «У меня нет ни малейшего желания копаться в помойках характеров, сломанных судеб и т. п. Мне кажется, что литература должна быть здоровой». При этом, может быть, никто, как он, не написал столько бичей, бывших уголовников, отшельников, вербованных молодцов, которых судьба чаще всего сносит именно к крайнему пределу — на Север, как море сбивает к берегу пену.

Но писатель был не гостем этой земли. Он приехал на Север в хорошую пору, когда еще было невпроворот старой первопроходческой работы и случайный человек на этой земле не держался. И даже бич, отщепенец, поэт длинного рубля («за тума-

ном» сюда не ехали) скоро понимал, что Север дает этот рубль только в оплату крепкого, сильного, определенного характера. Это сито надежное, за спиной тут не выедешь, и каждый скоро вместе с одной из куваевских героинь понимал, что тут «умные есть, глупые, посрединке. Но сволочей нет. Сволочи здесь не живут. Ничего здесь не скроешь. Все на виду».

Он прожил среди этих людей несколько лет. Начав в 1957 году коллектором в заливе Креста в бухте Провидения, он скоро был начальником отряда, а там и начальником партии, потому что умел работать, и даже когда понял, что музам геологии и литературы одновременно служить не по силам и ушел в литературу, руководитель Северо-восточного центра АН СССР академик Н. А. Шило звал его продолжать геофизические исследования, потому что таланты нужны не только в литературе.

Он начал литературную дорогу с прощального привета своим детским наставникам — Ливингстону и Пржевальскому, написав для «Чаунской правды» очерк «По земле чауну и кавралитов (оленьих людей и охотников на морского зверя)», и уже тут понял, что жанр путешествия будет ему тесен. Это увидят скоро и его товарищи по литобъединению в Певеке, в один голос отмечая потом, что рост его был стремителен.

Поначалу может показаться странным, что при таком богатстве материала многие герои, иногда с теми же именами и кличками, встречаются у него в разных повестях и рассказах. Это не от бедности. Скорее так выражался зов земли. Это был своеобразный способ еще раз вернуться в минувшие дни, к тем, с кем делил труд и мысль, чтобы доглядеть, доблагодарить жизнь и людей. Земля словно исподволь проступала в нем или он проходил в ее памяти с теми же спутниками экспедиция за экспедицией, пока она не была осмотрена из конца в конец и не обрела устойчивые границы и имя — Территория.

Может, сейчас первые книги Куваева уходят, как уходит молодая пора жизни, оставаясь в памяти только дорогим воспоминанием. Ему казалось, что он шел в них тореной дорогой, и обозначал он эту дорогу лучше своих критиков, отмечая, что «все, что печатается «на полярную тему» в журналах, в том числе и мое, перепев трех мотивов — Джека Лондона, Бориса Горбатова и неких веяний журнала «Юность» конца 50-х годов». Сознание этого побуждало его сетовать на «отсутствие индивидуальности» и ждать «прозаика, который открыл бы новую грань... системы Арктика — человек». В чем-то он, вероятно, был прав, но это не лишало его труд ценности и живой необходимости. И все его повести той поры при сознании необратимости перемен, происшедших на Севере, как убедится читатель, еще здоровы и свежи, и «юношеская» старомодность не портит их.

В одном из писем, когда ему было 24 года и еще и напечатано ничего всерьез не было, Куваев писал своему товарищу, что биография складывается хорошо, что все идет накатанно и «можно даже говорить о кандидатской кличке через 4—5 лет при определенной интенсивности труда. Ну а дальше что?». Теперь этого вопроса, пожалуй, не поняли бы — это вопрос именно того, равнодушного к «кандидатским кличкам» времени. Это «ну а дальше что?», этот постоянный загляд вперед роднил всех его лучших героев.

Одним из первых он отдает этот вопрос о смысле прожитого доброму Семену Семеновичу Крапотникову из повести «Чудаки живут на востоке». Семен Семенович не мальчик, ему самое время спросить, для чего он топчет землю, и устремиться на восток, к океану, чтобы начать все сначала и найти там единомышленников, задавших себе тот же вопрос раньше. Может быть, это ребяческая уверенность, что далеко люди живут правильно, и мы все не раз корили писателей, смущавших молодые умы такими иллюзиями, когда дома, в родных местах, дела невпроворот. А все-таки я думаю, что, может, тут и есть зерно, потому что обновляет душу уже само решение начать сначала и сам выбор трудной дороги, на которой придется подтягивать характер до соответствия порыву. И потом в новой земле нет усталости, того консервативного слоя традиции, который резонами здравого смысла удерживает человека от качественно новых решений.

Честь и слава традиции, которая духовной силой, сводом лучшего нравственного опыта не дает человеку пасть, хранит его в час сомнения и помогает выйти в светлую, народно живую сторону, но не грех, очевидно, помнить и о том, что традиция может быть обращена в уловку ленивой души, в благообразно одетую привычку, постепенно теряющую духовное наполнение.

Семен Семенович делает внешне негероическое дело — пытается расширить норковое хозяйство. И молодые его помощники, вчера видевшие Север в романтические очки, вполне понимают заурядную обыденность дела, но делают его как следует, и когда Семен Семенович философствует: «Что мы есть? Букашки с жаждой невозможного. И мы делаем это невозможное», — они охотно соглашаются, веря, что оказались в скудном на сытый взгляд поселке не зря.

Чудаки были по сердцу Куваеву. Он писал их не без иронии, но это была скорее самозащитная ирония, с какой человек оберегает наиболее дорогие заветы. Он и посмеивался над героями, но тем смехом, за которым скрывают нежность. Ну какое в самом деле «невозможное» дело делают герои повести? Но писатель радуется, что оно кажется им таковым — значит, сомнения

уже не будут гнать их по земле и люди обретут наконец дом, который у человека там, где дело по сердцу. В заметке «О себе», которую Куваев писал почти в пору «Чудаков» и которая хороша тем, что кажется написанной не автором, а героем повести, его отношение к этому беспокойному народу определено с убедительной ясностью: с Севера бегают «люди мелкой рациональности. А чудак поселяется прочно, он надежен в этом смысле».

Писатель, кажется, и чудаками-то зовет героев именно от «неких веяний журнала «Юность», а сам числит их как раз единственно здоровым и самонужнейшим народом. Их считают чудаками «люди мелкой рациональности», впервые оказавшиеся в этих тяжелых краях и плохо понимающие, как такое существование можно звать хорошей и даже необходимой жизнью. Но и они, если в них есть здоровое зерно, рано или поздно понимают резоны этих «непостижимых» людей.

Такое прозрение настигает запущенного человека Саньку из повести «Весенняя охота на гусей», когда он уже мало надеялся выбраться из того болота, в которое обратил свою жизнь. Он добрался сюда пересидеть неудачное начало своей карьеры мелкого мошенника, торгующего из-под полы дефицитом, а заодно и приработать, чтобы по картинной, как уголовная лирика, традиции (и тут «традиция»!) явиться в родную Москву пред очи матерых учителей на белом коне. Но Север избирателен, и на нечистые помыслы у него есть хорошее оружие — «невезуха». Вроде и компания подобралась крепкая (все в равной мере траченые), и деньги не даром хотят брать, уродуясь в тяжелом рыбачьем труде, а нечистый помысел и оплачивается нечисто — нарвались мужики на еще более удалого дельца. Санька уже готов был сдаться и сгинул бы где-нибудь в московских нетях, но тут, если позволительно так сказать, и Север его уже увидел, подглядел, например, как Санька любуется местным дедом, ловко управляющимся с утлой лодчонкой, и «ему стало уверенно легко оттого, что он видит все это, и было правильным, что он видит это и находится именно в данный момент в данной географической точке». Можно сказать, что с этого мгновения он уже был под доглядом Севера и хоть после смерти друга метнулся еще прочь, но уже встал на его пути старик, оставивший здесь жизнь, и протянул Саньке свое прекрасное ружье, и Санька, упрямясь, взял, хотя и сознавал, что «берет его как ордер на кабальную яму»; не мог не взять, ибо незаметно выросла Санькина душа до сознания, что «в общей стройке жизни и он должен взять кирпич, потому что в земле, на которую он сейчас его положит, лежат миллиарды тех, кто клал кирпичи до него, и после будут еще миллиарды... Никуда тут не деться от этого высшего смысла — класть кирпичи, хочешь того или нет». Саньке еще только

предстоит стать человеком, но уже можно быть уверенным, что он этого жребия на чужие плечи переваливать не будет.

Если это и был перепев Джека Лондона и Бориса Горбатова, то не от неумения видеть самостоятельно, а от родственности материала, общности тяжелой арктической работы и единства нравственных принципов — без единства здесь не протянешь. Этой работы так много и она везде так тяжка, что я скоро замечаю — я сажусь за чтение очередной повести Куваева, как входят с утра после вчерашнего трудного дня в знакомый, но от этого не делающийся легче ритм большого дела. Значит, опять сейчас будет тундра, опять рюкзак или лодка, ледяная вода, непросыхающая одежда, кубометры вырытой в мерзлоте земли. И скоро уже забываешь, что за столом сидишь, и поневоле сетуешь или завидуешь тем, кто сейчас в тепле почитывает книжки. И это уже значит, что автор стал родным, что ты уже вработался, притерся, разделил с героями дело и веру, будто перед тобой уже и не проза, а только новые встречи с близкими, часто знакомыми (вот благо от повторения героев и ситуаций) людьми, будто ты слушаешь из чужих уст известное тебе событие и узнаешь его с неведомой стороны. И уже как-то не до сюжета, не до тонкостей стиля — какое там при такой-то работе! И уже знаешь, что теперь тебе ничего не страшно, так много ты тут понял: «Пока можешь стоять на ногах — должен стоять сам, рассчитывать на себя. Опираясь на плечи друзей... Опираясь, не повисай». Ну а уж как сам занеможешь, то тоже не пасуй, не мечись, держись за людей, «не за всех, а которые наши ребята. Ребята везде есть. Как увидишь барак или там палатку, рожи чумазые, сапоги-телогрейки, так иди сразу смело».

Именно так и живут герои повестей «Тройной полярный сюжет», «Дом для бродяг», «Азовский вариант» и лучших рассказов вроде особенно любимого самим Куваевым рассказа «Через триста лет после радуги», точно передающего «мучительное счастье минуты, когда ты... чувствуешь себя частью тесного мира, где отвечаешь за все и всех, а все за тебя, что бы там ни стряслось вчера или завтра».

Но, увы, Север год от года меняется, и грустно сознавать, что свет его уходит, и кодекс чести, заключенный вот в этих куваевских цитатах или в прозе Т. Семушкина, А. Мифтахутдинова, В. Ятрыгина и др., не то что выцветает на глазах (писатели еще держат оборону и этот полярный кодекс чести блюдут), но понемногу подтачивается, и «обыкновенный человек» в дурном смысле этого понятия (человек «как все», сделавший из этого «как все» уклончивую религию, мимикрирующий «середняк», умеющий приспособиться к «любой местности») постепенно «осваивает» и Север, проникает в его кровеносную систему, ослаб-

ляя кровь и позволяя в конце концов явиться и откровенному потребителю, от которого уже недалеко до дельцов и мерзавцев. Проницательный Куваев успел увидеть и написать и это.

Совсем вроде немного отступил Андрей, герой повести «К вам и сразу обратно», хороший журналист, он не стал отстаивать очевидную правду перед знающим «пределы дозволенного» редактором (чего марать душу о приспособленца?), а потом из полуневольного одиночества и здоровой уединенной рыбачьей работы на дальнем озере даже и простил его, как простил, собираясь домой, на материк, где, может быть, его силы найдут более верное применение, и мимолетного негодяя с ножиком (чего руки марать в последний-то день?), а редактор только увереннее пошел теснить правых, а негодяй-то ножиком лучшего друга сразу насмерть положил. И Андрей по старой куваевской закалке и памяти распрямляется, понимая, что никуда ему не уехать, что надо разгребать это самому, что слишком много сделал себе скидок, а теперь — край, теперь — «все детские, юношеские и прочие лимиты на скидки использованы. А если чувствуешь, что не сможешь... пусти себе пулю в лоб, не тумань людям мозги. Но и на это ты не имеешь права. Так что давай... Давай, дела невпроворот».

Как это далеко ушло от «розовой чайки», которую надо было увидеть герою «Тройного полярного сюжета», от тех молодых искателей, «кого любопытство и страсть жизни гонят к познанию неизученных мест», как до них «вечно томила жажда познать отдаленное» героев любимого куваевского «Моби Дика». В «Тройном сюжете» он еще мог делать смерть предметом философии и, оплакивая лучших, утешаться тем, что «род их не исчезает, на смену приходят, должны приходить другие». В повести же «К вам и сразу обратно» уже не до отвлеченностей — «лимиты кончились». Так что — давай!

Он остро почувствовал эту перемену северной темы, отчего в книгах все настойчивее делался как будто дальний холодок, будто рябь от незримого ветра и все явственнее делалась догадка, что Заполярье не только в коммунальных квартирах, что оно и на Севере «Заполярье» в этом коммунальном смысле. Но, очевидно, чутьем, предчувствием, неосознанным ведением глубокого таланта он уже видел, что это другая, новая тема новых северных писательских поколений, а ему еще надо собрать воедино, обдумать и сказать то лучшее, чему был свидетелем он и что искало воплощения в более пространственной, чем повесть, форме. Апологет труда, он должен был написать книгу, достойную дела и жизни тех, кто открыл ему Арктику и разделил ее с ним.

И он написал «Территорию».

* * *

Он входит в этот роман об руку с Германом Мелвиллом, с «Моби Диком», который был ему библией, настольной книгой. И как Мелвилл предварял роман огромным сводом выписок о китах, чтобы мы могли со всех сторон оглядеть это реальное и метафизическое животное и понять капитана Ахава и его безумный экипаж, выходящий в море уже не для простой охоты на кита, а для противостояния Левиафану зла, так Куваев начинает книгу сводом выписок о золоте, где величавые представления древних мешаются с ироническими определениями безымянных шурфовщиков, суля нам жестокий разговор не об одном металле. И тотчас за этим гипертрофированным эпиграфом, как высокий голос тревожной трубы (не зря он все время просит у судьбы дать ему силу писать так, «чтобы в любом обывателе разбудить дремлющую душу кочевника»), вступает его давняя властная тема бессмертной души и единственного бытия, которые ждут от человека ежеминутной бодрости и готовности к дороге и делу, иначе без видимой причины при одном виде закатной полосы над морем «у вас вдруг сожмется сердце, и вы подумаете... что до сих пор жили не так, как надо. Шли на компромиссы, когда надо было проявить твердость характера, в погоне за мелкими удобствами теряли главную цель, и вдруг вы завтра умрете, а после вас и не останется ничего».

В сущности, это «вы», конечно, обычная уловка не дающего вздохнуть самосознания. Душа спрашивает с себя, но ищет ответа в читательском единомыслии. Значит, опять жизнь сделалась мельче желания и полнота давних северных дней опять встает как счастье и правда, как это хорошо было известно любимому Пржевальскому, писавшему: «Грустное тоскливое чувство овладевает мной, лишь только пройдут первые порывы радостей по возвращении на родину. И чем далее бежит время, тем более и более растет тоска, словно в далеких пустынях Азии покинуто что-либо незабвенное, дорогое, чего не найти в Европе. Трудности же физические, раз они миновали, легко забываются и только еще сильней оттеняют в воспоминаниях радостные минуты удач и счастья. Вот почему истому путешественнику невозможно забыть о своих странствованиях даже при самых лучших условиях дальнейшего существования. День и ночь неминуемо будут ему грезиться картины счастливого прошлого и манить: променять вновь удобства и покой цивилизованной обстановки на трудовую, по временам неприветливую, но зато свободную и славную страническую жизнь». И роман дает Куваеву эту счастливую возможность «променять удобства и покой» на труд и волю.

Теперь, оглядываясь в литературе, которая окружала «Терри-

торию» (а тогда выходили отличные книги Б. Можаева, В. Тендрякова, В. Распутина, В. Астафьева, В. Липатова), я начинаю понимать, почему эта книга так и осталась особняком в нашей литературе. Работа вошла на ее страницы с такой властной силой, с такой нелитературной настойчивой подлинностью, что «Территорию» странно казалось мешать с окружавшими ее во времени книгами. С давних пор в нашей литературе писатель, прежде чем сесть за стол, успевал много всего переделать, и житейская судьба долго потом питала его творчество. И герои первых книг молодых писателей работают много и умело, и порой эти книги тем особенно и хороши (всегда в радость видеть толково написанную работу). Но беда в том, что писатель скоро вспоминает, что не хлебом единым жив человек, и дело уходит, сменяясь заботами более широкого житейского и бытового свойства, иногда глубокого и дельного, а часто, увы, и копеечного, так что уж и жалко, что человек оставил первое дело, которое знал так хорошо и умел так заразительно ввести в обиход литературы.

Куваев не изменял своему делу и своим работягам с первой до последней книги, и желающий увидеть ростки «Территории» найдет их уже в ранней документальной повести «Два цвета земли между двух океанов». Уже там мы увидим Николая Ильича Чемоданова и Алексея Константиновича Власенко, которым в «Территории» предстоит стать И. Н. Чинковым и К. А. Куценко. Уже там они будут работать с такой страстью, что можно угадать их грядущую романную судьбу, которая будет счастливее реальной только тем, что в «Территории» им и все другие герои будут под стать.

Это редкая в нашей литературе книга без отрицательного героя. И догадавшийся о золоте Территории, интуицией провидевший его Чинков, и реально намывший «на пустом месте» необходимые килограммы Куценко, и подтвердивший чутьем и риском промышленные размеры залежей Баклаков — все они, может, в других обстоятельствах были бы с изъяном, потому что в каждом дремлет и тяжелая для окружающих черта, но они живут и работают в единственно им назначенном судьбой месте и в единственно верный, «совпадающий» час и потому пригнаны к делу Территории плотно, как патроны в обойме (Куваев не боится «механических» сравнений, потому что и мощная слаженная работа не боится их и не теряет человеческого закала). Есть обстоятельства, когда такая пригнанность — необходимое условие успеха, тем более в авантюрном поиске, в основе которого лежит интуиция и дело все время оказывается под подозрением уверенных, опытом и полномочиями огражденных противников.

В этом мощном оркестре есть счастливое равноправие, и

хоть они по видимости делают не равнозначную работу, но и Жора Апрятин, и Семен Копков, и работяга Кефир, который сам плохо помнит свое имя, делают дело с такой страстью, что не могут не заметить, как не замечает тот же веселый Кефир, что руки примерзли к лотку и надо отдирать их с кожей, или, как Баклаков, могут забыть, что не умеет плавать, и на одном самолюбии одолеть ледяную реку и не помереть потом, примерзая одеждой к снегу. Феникс и Салахов проголодают несколько суток в вымерзшей палатке, но не скажут потом и слова упрека тем, кто слишком спешил, отправляя их, потому что так надо было делу. Семен Копков будет есть сырых евражек, но в радиограмме скажет только о месторождении, и добрая, непреклонная секретарша Чинкова, давно работающая с этими людьми и знающая их в деле, приняв от Чинкова ответную телеграмму, молчит и не уходит до тех пор, пока он не догадывается вписать в нее тоже забытые за делом слова о необходимых продуктах и снаряжении.

У них у всех одна задача, хорошо сформулированная Чинковым, — «иметь раскаленный мозг, вырабатывать идеи и тут же согласовывать их с принудительной силой реальности».

Конечно, рассудительный человек, вероятно, заметит, что героизм тут часто вынужденный, от русской нашей халатности, а иногда и безрассудный, азартный, от молодости и задора, что при хорошей организации производства в нем бы, пожалуй, и надобности не было. Может, и так, но дело не только в этом. Человеку надобна эта собранность сил в изломной ситуации, чтобы свидетельствовать свое присутствие в порядке природы и мира. Налаженный быт уводит нас в породу, в тот однообразный ритм, который уже и ритмом не назовешь, когда жизнь вдруг соскальзывает в пустой фон и остро чувствующие молодые начинают провоцировать реальность на «рукотворные» трудности, часто дурного и ложного свойства.

Героям Куваева надобности в такой возгонке мира нет — с реальностью бы разобраться без потерь. За напряжением они и не думают о тяжкой чрезмерности труда и только в Поселке, когда ритм резко меняется, вспоминают свою работу как музыку жизни и, не умея приноровиться к покою, кидают бутылки в окно и пугают заезжего человека неприкаянностью и неустроенным бытом. И. Золотусский по выходе «Территории» корил Куваева, что «сцены, относящиеся к пребыванию героя в городе или поселке» у него «одиозно-стандартны», что автор «как будто не знает, что делать со своими «викингами», как ими распорядиться». Смею думать, что это происходит не от неловкости автора, а как раз оттого, что городской быт провоцирует их на перемену поведения, что они не по воле автора так себя ведут, а

по воле Поселка, с его, на наш-то взгляд, тоже очень тяжелой, а для них уже ослабленной, не вмещающей их души жизнью.

В сущности, пожалуй, и главный герой книги — работа, потому что ни у Чинкова, ни у Баклакова, ни у Апрятина нет тех лакмусовых побочностей, которые лучше всего выявляют характер человека — ни семьи, ни любви, ни быта («Дом, который моя крепость, домочадцы и дети, которые опора в старости, — все это для них несущественно»). И хотя сам Куваев в письме к одному из товарищей настаивает, что автор должен знать о герое все — от цвета пеленок до числа досок в гробу, но в «Территории» лишает героев доарктической биографии. То есть обмолвки, конечно, есть, но они словно не имеют значения — все сложилось до этих страниц, тут они уже таковы, каковы есть.

Только Баклакову, которому Куваев отдал свое детство, свой опыт и миропонимание, выпал горький повод наведаться на материк, чтобы похоронить отца и проверить справедливость своего жизненного выбора. Говоря вначале о юности писателя и уверенности, что *люди* живут только севернее Полярного круга, я обещал вернуться к его прозрениям. В этом смысле поездка Баклакова домой очень важна. В таком романе она чудится вставной по ритму и мысли, потому что здесь мелькает неведомый Куваев — хороший читатель современной тогдашней «деревенской» прозы и просто хороший сын своей вятской земли и своего времени. Герой хоть поздно, но успел многое понять и в жизни отца, которого из-за дальности пути уже не застал, и в жизни давно умершей матери и, вспомнив здесь о друзьях, «об их полярной гордости, их суперменстве и уверенности, что они соль земли» и сравнив с жизнью родителей, вдруг понял, как трудна была эта не замеченная им жизнь: «Бог мой, — с отчаянием подумал Баклаков, — почему я не понимал этого раньше?»

Но его тут никто не корит, тут люди умные. Они гордятся им, как гордится старый учитель и между делом еще подкрепляет героя на грядущий путь: «Если почувствуешь плохо, возвращайся. Здесь вашу фамилию помнят, упасть не дадут». Это очень важно — знать, что ты не за одного себя отвечаешь и не перед одним собой; и хоть, уезжая, Баклаков знает, что вряд ли вернется сюда, но он знает также, что «эти молчаливые ночные сосны, облетевшие березняки, сумрак сжатых полей навсегда останутся с ним, и где бы он ни был, чем бы ни занимался в жизни, за спиной его всегда есть вятская земля и могилы предков на ней».

Сам того не ведая, этим чувством он воссоединит родину, и его работа, его Территория теперь будут продолжением дела и труда его вятских пращуров. Он немного побудет тут, но вернется в Поселок ощутимо другим, и Чинков мог не остерегать

его от обольщения, Баклаков уже знал законы духовной прочности и работал с мощной, углубленной осмысленностью. Когда бы это не казалось натяжкой, я бы сказал, что он не только золото открыл на пересечении разломов, но и душою возмужал на том же пересечении старых родовых заветов и молодой земли. Вместе с товарищами он понял главный смысл их общей непосильной работы, понял, что дает им силы и помогает устоять в тяжелом противостоянии природе.

В отличие от героев «Моби Дика», уверенных, что против зла необходимы отвага и сила, гордость и презрение к смерти, одиночество и свобода, они держатся правила, сформулированного немногословным, но точным Копковым: «Работа есть устранение всеобщего зла». Она одна свята и непреложна. После этого становится понятно, для чего Куваеву надобно было это «всестороннее описание предмета», в котором мы видим разворачивающееся вокруг золота ничтожество политики, холодность человеческой вражды, лихорадку биржи, и как все это далеко от работы, которая связана с его добычей, насколько расходятся низкое значение предмета, разъединяющего мир, и высокая атмосфера человеческого единства при его исследовании. Герои его словно имеют дело с разными вещами и, может быть, особенно оттого, что это золото — все они философы и умеют относиться к истории, замешанной и помешанной на этом металле, снисходительно.

Ирония их мужиковата, но здорова в понимании ценностей, и после доклада Баклакова особенно отрадно слышать крепкую шутку умного шефа, который сам этого золота за жизнь составы перелопатил: «Если люди из дерьма делают конфетку, то неужели из золота Территории мы не сможем сделать простой Государственной премии». Тут еще и политика начальника замешана, но не в ней дело, а в звании, что значима в конце концов только работа, которая стала для этих людей религией «со всеми вытекающими отсюда последствиями: кодексом порядочности, жестокостью, максимализмом и божьим светом в душе».

Весь опыт и всю благодарность Северу высказал Куваев в этой редкостно цельной, стремительной книге. И. Золотусский, вслушиваясь в поступь романа, писал тогда: «Есть в беге его строк какая-то свобода, дерзостная внезапность, то, что на критическом языке называется свежестью, а я бы назвал волевым напором. Ярость и воля работы... ломают привычный уху строй речи и создают ощущение движения стихии, порождаемой стихией же». Куваев знал, что слово является «музыкальным инструментом» и что «само построение фразы способно вызвать у читателя эмоции». По свидетельству критика видно, что он своего добился, но я думаю, что дело не только в умении, хотя он переписывал книгу несколько раз, но прежде всего в том «взгля-

де Севера», который выручал его героев, а тут шел на помощь и ему самому. Север торопился быть выраженным в достойном слове и одушевлял речь художника.

С. П. Залыгин говорил однажды, что всякий человек, побывавший в Арктике, пытается непременно рассказать о поразивших его пространствах, но мы еще не научились «достаточно точно выражать свои чувства и ощущения, когда они касаются пространства». Кажется, в «Территории» мы нашли счастливый случай соответствия языка и земли, потому что описание шло через работу, через землеустроительство, соединяющее человека и пространство в деятельное целое. Куваев побеждает потому, что пишет простор не в созерцательном отвлечении, а как конкретную землю, которую надо пройти, совладать, освоить; землю, которая истощает, мучает, подстегивает, помогает, вознаграждает, живет, требуя и при чтении нового объема легких, той же вольной силы восприятия. «Какая-то свобода», не нашедшая у критика более определенного выражения, быть может, и есть голос пространства. И тут Куваев продолжил лучшие традиции хорошей северной прозы, равно художественной и документальной. Мы все еще не научились слышать ее своим «континентальным», «материковым» слухом, но теперь этот наш «среднерусский» слух все настойчивее обогащается сибирской прозой, которая еще приведет нас на Север и откроет в русском словаре новую, достойную его просторов даль и свободу.

Прощаясь, он обнимает всех «погибших в маршрутах, сгинувших «в сучьих кутках», затерявшихся на материке, ушедших в благополучный стандарт «жизни как все» и заверяет читателя, что при возможности обратить время вспять «все они повторили бы эти годы».

Но кого же он окликает последней фразой: «Где были, чем занимались вы все эти годы? Довольны ли вы собой?..» Только ли читателя, которого «не было на тех тракторных санях»? Так читатель мог быть в другом, не менее опасном месте. Нет, все кажется мне, что этот колокол звонит в нем не по другим, иначе это была бы только полярная суперменская романтика. Что-то у него не сошлось с ответом в этом благословенном гимне делу, иначе как могли после этого победного братства работы одни сгинуть «в сучьих кутках», другие затеряться на материке, третьи уйти в благополучный стандарт «жизни как все»? И высокая труба, запевшая в начале, звенит в конце той же тревогой: почему невозможно удержать «святое чувство нужной работы» и что еще надобно, чтобы жизнь не остывала в одно утешительное воспоминание, на дивиденды которого можно пробавляться оставшиеся годы?

* * *

Вопросы остались открытыми, и он опять задал их себе в последней, за несколько. дней до смерти законченной книге «Правила бегства». Вновь он вгляделся в близкое население Территории, в уже знакомых и по прежним повестям, и по «Территории» людей, оставивших где-то сложившуюся или несостоявшуюся жизнь, искушенных желанием переменить судьбу или найти более устойчивое место, и сформулировал для себя первое «правило бегства»: *«убегая, оглянись на то, что оставил.* Будущее знать не дано, но то, что бросаешь, тебе известно. Оглянись и подумай».

Он не зря возил Баклакова на родной полустанок, он уже там чувствовал, что без оглядки, без понимания оставленных ценностей вытянуть жизнь нельзя, что она непременно будет вновь и вновь срываться в тревогу, мучить неясным зовом и все будет теснить, как на первых страницах «Территории», один припев: «...на что уходит наша единственная неповторимая? Сколько в нашей жизни звездных минут — когда мы знаем миг безошибочной истины? А ведь каждая минута наша, каждая секунда неповторима».

Он говорил, что пишет роман «о причинах и следствиях бичизма», стремился понять тех босяков, которые довольствуются малым, считаются потерянными людьми, но в работе могут быть поэтами и превосходить самих себя. Однако, как это всегда бывает у больших, богом одаренных литераторов, талант увел в более широкие просторы, чем сулил благоразумный замысел. Теперь Куваев уже никого не лишал доарктической биографии — ни авантюрного, кипящего жизнью Рулева, который организует оленеводческий совхоз, не имея об этом никакого представления, зная только, что надо и что, кроме него, этого никто как следует не сделает, ни бывшего судью и адвоката, а ныне профессионального рыбака Мельпомена, ни темных лесозаготовителей Поручика и Северьяна, ни самого рассказчика, филолога Возмищева, занимающегося сейчас при Рулеве каким-то безгранично многосторонним секретарством. Они все беглецы из той жизни, которая осталась в анкетах и которая теперь окликает их и требует ответа на вопрос: что же так неотступно влечет их в этот неудобный край, изобильный одной свободой, которую Рулев так любит показать руками — будто осторожно держит стеклянный шар? Они все дают этот ответ в слишком запальчивой форме, чтобы предположить покойную обдуманность и ясный выбор.

Рулев объясняет рассказчику корни первопроходчества («это были бичи, голытьба, рвань»), и по тому, как энергично он это делает, мы легко догадываемся, что привело сюда его самого:

«Что главное в любом босяке? Ненависть к респектабельным... Где респектабельность, там догматизм и святая ложь... Он бежит, чтобы не видеть их гладких рож, пустых глаз и чтобы его не стеснял регламент. Он бежит от лжи сильных». А уж следом за Рулевым, за его свободой и прямотой устремляется и рассказчик, притворяясь, что ищет на Севере темы диссертации, и, может, только перед собой проговариваясь об истинных причинах: «Я вырос в готовом русле... Меня родили, затем мне был готов детский сад, затем школа, затем мне был готов институт. Так сказать, государство в своей заботе о моей персоне позаботилось и о том, чтобы начисто отбить у меня инстинкт борьбы, инстинкт личной инициативы. Если угодно, инстинкт «драки за жизнь».

И вот сейчас под взглядом требовательного пространства они все возвращают себе эти необходимые для полночеловеческого бытия инстинкты. Но, усвоив первое правило бегства и поутолив инстинкты, они уже не верят в достаточность стронувших их с места причин, не находят их убедительными, вновь и вновь вглядываются в свои «анкеты», чтобы понять, что же они оставили и так ли беден и «готов» был оставленный ими мир. Баклаков себе этих горьких вопросов еще не задавал, но он уже догадывался, что минувшее сложнее удобного образа, который он носил в полярной гордыне. Возмищев тоже поедет к отцу и со смятением обнаружит, что между ними уже непереходимая даль и привезти отца в Москву — это почти то же, что для Арсеньева (до последней книги детский учитель все остается для писателя мерой отсчета) привезти в Хабаровск гольда Дерсу Узала. Это тем более поражает Возмищева, что он почитывает журналы, в которых молодые герои так же смотрят на отцов, как европейцы на мудрых туземцев: «Что же случилось, что писатели наши, мы все, отцов своих воспринимаем, как Арсеньев воспринимал гольда? Своих же отцов? Что с нами случилось?»

Мне вот сейчас кажется, что до Куваева никто в такой горькой форме этого вопроса не задавал. Он не дал себе укрыться в благополучные мудрствования и необременительные душе плачи по ушедшему порядку мира и со злой прямотой вывел еще одно правило бегства: *«Убегая, ты предаешь»*. Под безжалостным светом этого сознания уже не так романтично и бегство «от лжи сильных», и тоска по «инстинкту личной инициативы», и даже героическая работа тех, кто потом спивается и гибнет «без заданной цели, без всяких причин — просто так».

Может быть, поэтому опять при всех в общем положительных героях романа мы никак не можем ни на кого из них как следует опереться. Все время чувствуешь недостаток надежности и никак не поймешь, откуда это, если почти каждому герою можно найти параллель в такой надежной «Территории». Похоже,

это происходит оттого, что теперь герои часто оказываются вынуты обстоятельствами из главной своей стихии — работы, застигнуты в промежуток подготовки, в час настройки, и сразу делается видно, как «незаполнены» они, как непрочен и неоднороден их духовный состав. Умный, давно наблюдающий этот мир Мельпомен вынужден напоминать Возмищеву простую и, как всякая простая, труднее всего и дающуюся истину, что «без работы нет человека... но нет человека, состоящего из одной работы...».

А там уж непременно должна зайти речь и о том связующем поколения понятии, которое одно при внешней неопределенности держит народ в единстве и, в сущности, и определяет этот народ при всей разнородности человеческого состава. И очень хорошо, что говорит Возмищеву об этом именно Рулев. Они схватываются, когда речь заходит опять же о бичах, и Рулев с обычной энергией выдвигает программу, чтобы каждый сначала взялся «за себя лично», а когда очистит себя от «пошлости, глупости, эгоизма... тогда пусть пошарит глазами вокруг, поищет заблудшего» и спасет его, иначе «грош цена человечеству». Это так изумляет исповедующего «инстинкт драки за жизнь» Возмищева, что он почти не узнает своего наставника — «до души дело дошло». И тут-то Рулев и говорит: «А как же, филолог? Без этого идеалистического понятия нет людей, нет человечества. Есть просто механизмы с производственной функцией».

Возмищев долго потом будет прозревать и подтверждать правоту Рулева, а мы уже поймем, что судьба их обоих окажется непроста, во всяком случае, гораздо сложнее судьбы героев «Территории», потому что они взваливают на себя бо́льший груз. Внешне они оба не будут победителями. Возмищев защитит диссертацию, но с последним поздравлением уже тоскливо подумает в точности теми же словами, которыми думал еще не защитивший ее молодой Куваев: «И это все? А дальше-то что?» Рулева снимут с директорства «за неправильный подбор кадров», то есть, в сущности, за то, что, «пошарив глазами вокруг», находил достаточно «заблудших», чтобы спасать их, он кончит хлебопеком в колхозе, но будет печь хлеб так же полно и радостно, как прежде собирал в большие руки и бережно держал слово «свобода». И не зря, глядя на Рулева, уже смирившийся со своей диссертацией и статьями в юбилейные сборники Возмищев вдруг оказывается поражен «сверкающей, как лезвие, мыслью: *«Убегая, остановись»*.

Кажется, это будет последнее открытое «правило бегства», собравшее все диалектические оттенки его открытий, и я почему-то думаю, что Возмищев отдал Шпицу ключи от московской квартиры (Рулев решил выучить парня в техникуме) надолго,

может быть, навсегда, потому что, долго бегая, он именно здесь узнал когда-то, как жизнь открывает «другое измерение» и как она «светла, прозрачна, коротка», узнал «лучшие дни жизни» и то, что он оставлял в минувшем как случайное, сияет теперь впереди как смысл и назначение, вполне соединенное и с правотой отца, и опытом ответственности за другого, постигнутым в быту и деле, и с истиной Мельпомена, что «человек состоит не из одной работы», и с милосердной философией Рулева о спасении оступившихся (в этом материале Север безграничен).

Роман остается открытым и тревожным, больше даже похожим на материал к роману, чем на законченную работу, — так все здесь еще движется, дышит, становится, так бьется живое, ищущее ответа сердце и беспокойная мысль. Здесь можно услышать эхо всех его книг и мысли всех героев, как будто впервые остановившихся перед прекрасной, волнующей тайной жизни и позабывших заготовленные ответы. Эта прекрасная «незавершенность» книги есть следствие искренности и органической правды, правды Куваева, который решал здесь опять свои собственные, не приносящие успокоения вопросы, где непреложна была только мудрость эпиграфа: «Если я не за себя, то кто за меня? Но если я только за себя, к чему я?», а все остальное еще росло и всходило и искало гармонического разрешения.

Может быть, потому роман и кончается так странно. Рукопись обрывается на слове «справка», но самой справки нет. Когда ее впоследствии нашла в бумагах сестра писателя, справка гласила, что «дальнейшие судьбы героев неизвестны... рассказы остались недописанными, потому что оба, и Рулев и Возмищев, утонули во время памятной северной катастрофы». Та ли это была справка и ею ли хотел завершить книгу Куваев, можно только гадать, но в драматизме этого окончания мерещится правда. Герои остались на пороге, за которым должна была начаться какая-то новая, единая, вполне разрешившаяся жизнь, старые рецепты которой уже не устраивали его, а новые не были ясны.

Благословенный Север юности, жаркой работы, романтической полноты, прекрасных лиц, сформированных трудным делом, а не истощающей суетой, уходил в минувшее. Он написал его с достойной полнотой и любовью. Теперь приходила и его пора следом за Возмищевым услышать слова Рулева об «идеалистической» душе и согласиться с товарищем, который когда-то говорил, что настоящее Заполярье живет в «коммунальных квартирах». Он уже видел горизонты этой тяжелой «территории» и заглядывал в ее пределы в «Правилах бегства». Но жить этой правдой и писать ее он не мог.

Может быть, это уже говорит в нас воздействие в юности усвоенного романтизма, но трудно представить старыми тех, кто

жил Севером с молодой страстью и работал для него с последним напряжением, будь это работа открытия или освоения. Сколько ни понуждай воображения, уже не увидишь пожилыми и покойными мемуаристами Седова или Русанова, Роберта Скотта или Джека Лондона. Они не могли бы примириться с «коммунальным» Севером обыденных житейских забот и мелких благополучных судеб. Олег Куваев из этого высокого ряда подвижников Севера. Он отдал этой земле все. Потому что, и живя в последнее время в Подмосковье, сердцем оставался там. Он умер внезапно. Уставшее сердце отказало, когда ему был 41 год. Его магаданский товарищ Альберт Мифтахутдинов горько и верно писал позднее, предваряя последнюю книгу Олега Куваева: «...Тогда, в тот черный год, я шел по осиротевшей Москве и думал, что Москве-то, возможно, еще как-нибудь, а вот Чукотке без Олега действительно плохо, ведь здесь остались те люди, чьи лица «обжигал морозный февральский ветер», ветер Территории, люди, исповедующие полярный кодекс чести, которому Олег Куваев был верен всегда».

Как ни горько это говорить, смерть взяла его в лучший час, оставив нам редкостно завершенный образ писателя, прожившего с Севером лучшие годы и теперь уже навсегда оставшегося первопроходцем и открывателем не занесенной на карты, но вполне реальной Территории, которая будет жить, пока есть молодость и поэзия воссоединяющего труда.

Он любил слова М. М. Пришвина о том, что творчество — это поведение, и своей цельной, собранно устремленной работой (а он всегда был уверен, что «хорошо сделанная работа приводит в гармонию личность и внешний мир») оставил прекрасный образец такого творческого поведения. Север может сделаться обустроенно обычным, и зло, потребительство, чиновное искательство, весь богатый ассортимент нажитых человечеством пороков могут прийти неизбежным следствием такой обустроенности, но «если ты научился искать человека не в гладком приспособленце, а в тех, кто пробует жизнь на своей неказистой шкуре, если ты устоял против гипноза приобретательства и безопасных уютных истин, если ты с усмешкой знаешь, что мир многолик и стопроцентная добродетель пока достигнута только в легендах, если ты веруешь в грубую ярость твоей работы — тебе всегда будет слышен из дальнего времени крик работяги по кличке Кефир: «А ведь могем, ребята! Ей-богу, могем!»

Валентин КУРБАТОВ

О себе

Я родился в Костромской области в 1934 году, но считаю себя вятичем, ибо все время вплоть до института жил в Кировской области, вначале в деревне Кузьменки, позднее на железнодорожном разъезде Юма. Отец работал дежурным по станции, мать преподавала в соседнем селе. На примере матери я вещественно, если так можно сказать, усвоил понятия «сельская учительница» и «ликбез». Последнее слово сейчас полузабыто, первое употребляется редко. «Ликбез» — это когда мать поздно вечером шла за десять километров в глухую лесную деревню. В качестве оружия, скорее морального, она брала «вильцы» — так в Кировской области называются маленькие двузубые вилы, которые применяются при вывозке навоза на поля. В наших лесах в те годы была пропасть волков. Зимой волчьи стаи зверели. А «сельская учительница» — это школа в селе, которое также называлось Юма и куда мать ежедневно ходила за четыре километра. Это еще корова, огород, сенокос и прочее. Мы жили в деревне, и кормиться было надо. Летом мать ничем не отличалась от колхозных женщин.

Отец родился в крестьянской семье на Ветлуге, ушел на заработки, был мальчиком в булочной на станции Шарья, потом стал телеграфистом и был им в первую мировую войну, участвовал в Брусиловском прорыве, воевал в Мазурских болотах. В своей армии он первым принял телеграммы об отречении царя и о свержении Временного правительства. Они у него хранились, и я их отлично помню, и я же по детской глупости их куда-то «заиграл». Позднее в армии отец стал членом солдатского комитета. До 1937 года он был начальником крупной станции Свеча Северной железной дороги.

Интересы мои рано замкнулись на двух вещах: книгах и ружье. Ружье я начал выпрашивать лет с семи, но

получил его только, когда учился в 8-м классе. До этого я держал нелегально добытую шомполку.

Первую потрясшую меня книгу помню отлично, хотя она была без заглавия и без автора. Это был рассказ о нескольких поморах, застрявших на острове Малый Берун. Северная робинзонада. Да, я великолепно помню эту книгу, ибо перечел ее несколько раз, но до сих пор не могу ее отыскать.

Уж не знаю, по какому случаю, в пятом классе у меня завелись карманные деньги, и я купил первую свою книгу в районном книжном магазине на станции Свеча: «Путешествия по Южной Африке» Ливингстона. Я бережно ее храню и сейчас. О каком-то предопределении судьбы говорить смешно, но любимыми книгами были и остаются книги о путешествиях. Первым юношеским героем был, разумеется, Николай Михайлович Пржевальский. Я чертовски жалел тогда, что не родился в его время. Красные пустыни Тибета, подошвы верблюдов, стертые на черной гобийской щебенке. Книги Николая Михайловича Пржевальского и его последователей Козлова, Роборовского читал самозабвенно (с таким же увлечением перечитываю их и теперь). В результате где-то к седьмому классу я уже твердо знал, «куда мне жить»: решил стать географом. Но сведущие люди вовремя объяснили, что профессия географа-путешественника давно отмерла или отмирает, и я, не растерявшись, решил стать геологом.

Десятилетку я закончил в интернате для детей железнодорожников в городе Котельниче-на-Вятке. Котельнич — старинный город, но он много раз выгорал — из старины там разве что остались купеческие лабазы на Советской и сам дух старого уездного города. На правобережье Вятки, на огромных глинистых обрывах, можно было гонять на лыжах вплоть до полной возможности сломать себе шею, на левом берегу был затон для речных судов, где зимой шел ремонт колесных пароходов. Школа была хорошая, с традициями, выход же агрессивным ученическим настроениям мы находили в извечной войне интерната с окраиной Котельнича, отделявшейся от интерната оврагом.

Окончив школу, я отправился в Москву поступать в институт. Ни одного города, кроме Котельнича, я до этого в жизни не видел. Отец настаивал на физико-техническом институте, отчасти справедливо представляя жизнь геолога как бесприютную и безалаберную. Кроме того, в школе у меня обнаружились математические способности.

Я внял советам отца, подал документы в физико-технический, прошел отбор, а потом с легким сердцем отнес документы в геологоразведочный, куда и был принят на геофизический факультет. В институте у нас сколотился великолепный, дружный коллектив ребят. Как ни странно, в этом оказался «повинен» преподаватель физкультуры, тренер по лыжам, чемпион Союза 1940 года Иван Иванович Николаев. Этот отличный тренер и замечательный педагог, как никто, умел внушить нам дух товарищества.

Ни о какой литературной деятельности я в ту пору не думал. Готовился стать правоверным геологоразведчиком и, кроме спорта и учебы, ничего не хотел признавать. Правда, «книжные интересы» несколько расширились, я стал собирать книги по Северу, и появился новый кумир — Нансен. Все-таки после третьего курса, когда нам разрешили на лето устраиваться в штат геологических партий, я отправился в «пржевальские» места, на Тянь-Шань. Был коллектором в партии, которая работала на Таласском хребте. Вьючные верховые лошади, долины горных рек Аспары и Мерке, перевалы, вершины. Начальник партии нашел для меня наиболее пригодное, по его мнению, амплуа: я снабжал партию дичью, разыскивал пропавших лошадей, водил вьючные караваны при перебазировке. Благодаря этому неплохо изучил этот район Тянь-Шаня: то по нескольку суток пропадал с киргизами на горных охотах, а однажды вдвоем с проводником мы три недели искали пропавших лошадей, объездили всю Киргизию и нашли лошадей в десяти километрах от базы. Тянь-Шань меня очаровал. Желтые холмы предгорий, равнинная степь, тишина высокогорных ледников. Кроме того, я прямо сжился с лошадьми и, ей-богу, ощутил в себе кровинку монгольского происхождения. Поклялся, что после института вернусь сюда.

Зимой случилось «событие» — я как-то незаметно написал рассказ «За козерогами». Типичный охотничий и очень слабый рассказ. Но его опубликовали, я не придал этому никакого значения.

Позднее работал в верховьях Амура. Это был старый золотоносный район, с почти выработанными рудниками, освоенный и заселенный. А в 1957 году поехал на Чукотку, просто хотелось ступить на коричневый угол карты, о котором даже в лекциях по геологии Союза говорилось не очень внятно.

Наша экспедиция базировалась в бухте Провидения, позднее мы рейнским речным пароходиком — остатки ре-

параций, невесть как попавшие на Север, — проплыли в бухту Преображения и оттуда на двух тракторах отправились с работой к заливу Креста. Еще в бухте Преображения я понял, что погиб. Ничего похожего мне видеть не приходилось, как не приходилось раньше ходить на вельботах за моржами с чукчами, охотиться с резиновых лодок в море. Позднее начались нечеловеческие «десанты», когда все — от спальных мешков и палаток до примуса и керосина — люди несли на себе. Мы разбивали стоянки в молчаливых горных долинах, встречали пастухов, и всюду была тундра, очарование которой, кажется, еще никому не удавалось передать.

Я вырос в вятских лесах, но меня тянуло именно в безлесные пространства вроде тянь-шаньских предгорий или чукотской тундры. Экспедиция окончилась довольно неудачно: погибли оба трактора, нам пришлось пешком выбираться на берег залива Креста, где ждали вельботы, потом в течение двух недель пережидать шторм, питаясь моржатиной.

Над заливом каждый вечер повисали ужасные марсианские закаты на полнеба. Все это меня окончательно доконало, и на обратной дороге я залетел в Магадан договориться о заявке в институт. Я был уже студентом шестого курса и через полгода должен был защищать диплом. В Магадане охотно пошли навстречу, заявка была послана, но, чтобы попасть на Чукотку, еще долго пришлось обивать пороги в министерстве: нашу группу готовили к несколько иному профилю.

Но на Чукотку я попал. И в феврале 1958 года оказался в Певеке на берегу Чаунской губы в должности начальника партии. Незадолго до моего приезда здесь открыли промышленное золото, в геологическом управлении и в поселке жизнь била ключом. Но система работы крепко отличалась от системы столичных экспедиций. Тундра здесь не была экзотикой, люди просто жили в ней обычной и привычной жизнью. Материальная база управления была слабой, и всякий начальник партии и сотрудники ее в значительной степени стояли в зависимости от собственной энергии, энтузиазма и... физической выносливости. Я прожил там почти три года, даже научился ездить на собачьих упряжках, все это послужило отличной школой. В управлении царил дух легкого полярного суперменства, что только помогало работе. Работа, собственно, была основным занятием, и просидеть до 12 ночи в

управлении не считалось чем-то необычным, особенно когда подходил срок сдачи отчета.

Изобилие впечатлений требовало какого-то выхода, и я вспомнил о своем единственном опубликованном рассказе. Меня перевели к этому времени в Магадан в центральное геологическое управление Северо-Востока. К этой новой руководящей должности я, видимо, не был приспособлен — затосковал и неожиданно для самого себя уехал в Москву. «Вокруг света» напечатал в 1962 году несколько моих рассказов. Я пытался как-то взвесить все, что произошло. В общем-то, это были, пожалуй, стандартные размышления о смысле жизни. В результате я самостоятельно додумался до апробированного поколениями вывода, что главное — это работа, вернее степень ее интересности. Все остальное — сопутствующие явления. Работа может быть разной, и всякая клановость или кастовость не делает чести уму апологета какой-либо профессиональной замкнутости. Главное — работать с азартом.

К тому времени, когда меня посетили эти благие мысли, в Магадане организовался Северо-восточный комплексный научно-исследовательский институт, и меня пригласили туда. Институт был хорошо организован и давал большой простор инициативе. Я руководил группой, которой удалось провести исследования на острове Врангеля. На легких самолетах Ан-2 мы делали съемку по дрейфующим льдам Чукотского и Восточно-Сибирского морей. Здесь тоже приходилось изворачиваться любыми способами подешевле: собаки вместо вездехода, фанерная лодка вместо катера, байдара и резиновая лодка вместо вертолета. За три года я сдружился с летчиками полярной авиации, с байдарными капитанами, каюрами.

Занятия литературой становились чем-то вроде второй профессии. Вышла книга, готовилась к печати вторая, и потребность писать забирала все большую власть.

Вероятно, занятия литературой могут увлечь человека даже сугубо научного склада ума, не только врожденных гуманитарщиков. Человек как объект — самое сложное из всего, что выдумано природой, и процесс создания, допустим, рассказа, который заранее рассчитанным образом подействует на читателя, задача неизмеримой сложности и увлекательности. Идеал ее недостижим, и именно отсюда, мне кажется, идут рассуждения о литературе как «проклятом» ремесле, которое невозможно бросить.

В калейдоскопе людей, встречающихся на Севере (а контингент их там, видимо, более калейдоскопичен, чем

в других местах, ибо сюда приезжают люди с определенным потенциалом энергии), меня всегда интересовали так называемые чудаки. Чудаки в жизни необходимы — это общеизвестно. Это люди, которые руководствуются нестандартными соображениями и, во всяком случае, не житейской целесообразностью поступков. В довольно неприглядной картине непостоянства кадров на Севере подавляющее число убывших составляют люди мелкой рациональности. А чудак поселяется прочно, он надежен в этом смысле.

Я убежден, что человек очень долго (по крайней мере до того возраста, до которого мне удалось пока дожить) остается мальчишкой, который запоем читает о приключениях на какой-нибудь Амазонке и склонен к авантюрам в хорошем смысле этого слова. И не надо скучнить жизнь, дорогу мечте и фантазии! Однако и всяческие розовые коллизии, надуманная чепуха — лишь бы попышнее — там, где сам повседневный труд схож с приключением, — такая трактовка «жизни» граничит с беспрецедентностью обдуманной лжи. Я, в частности, говорю о литературе, о геологах, ибо весь мой жизненный опыт пока связан именно с геологией. Геология ныне — наука и производство, она все более становится четким промышленным комплексом и дальше будет развиваться именно по этому пути. Надуманные истории про последнюю спичку, трехпудовый рюкзак, закаты и «ахи» над месторождением: «Здесь будет город» — звучат чаще всего оскорбительно для геологии. Все случается в силу жесткой необходимости, но это нельзя возводить в ранг сугубо типичного. Вот именно в этом я вижу на ближайшее время свой долг пишущего человека, это долг перед товарищами по профессии, с которыми вместе приходилось работать, радоваться, рисковать и просто жить.

О. КУВАЕВ

1968 г.

Рассказы



Берег принцессы Люськи

Утром я просыпаюсь от Лехиных чертыханий. В палатке темно, и я могу разглядеть только белый глазок лампочки на рации и скрюченную фигуру возле нее. Рация у нас старенькая, еще военных лет. Я знаю, что надо лежать тихо-тихо, иначе Леха будет здорово злиться.

Дробь ключа кончилась, белый глазок потух. Можно закурить. Сейчас Леха передаст мне директивы начальства и всякие экспедиционные сплетни и новости.

— Ну как?

— Питание совсем село, — устало отвечает Леха. — Мыши и то громче шебуршат. Кое-как одну телеграмму принял.

Он протягивает мне листок. Я вылезаю из палатки и с трудом разбираю торопливые каракули: «Вывезите поселка направленного вам специалиста-ботаника точка Князев». Князев — это начальник. Спросонок ничего не понимаю.

— А зачем нам этот ботаник?

Леха пожимает плечами. Он сидит у входа в палатку в одних трусах и дрожит.

— Кстати, могу сообщить, что это девица. Симпатичная. Базовский радист отстучал по секрету.

— На это у вашего брата питания хватает, — машинально ехидничаю я.

В самом деле, непонятно. У нас крохотный отрядик из трех человек и ясная задача, далекая от ботаники так же, как, скажем, от балета. Мы мотаемся на вельботе вдоль берега Чукотского моря и занимаемся своим делом — стратиграфией морских четвертичных отложений. Можно, конечно, протянуть мысль о всеобщей связи наук, но...

Я смотрю на Леху. В волосах у Лехи запутались пучки оленьей шерсти от спального мешка, он совсем посинел от холода и терпеливо ждет результата размышлений. Такому только и не хватает женского общества.

— Да-а, загадки эфира. Может, ты перепутал, может, не нам ботаника? — с надеждой спрашиваю я. — Да уберись ты в палатку, посинел весь, как утопленник!

«Ей-богу, удар судьбы, — думаю я. — У нас желез-

ный мужской коллектив. Зачем нам четвертый лишний? Тем более симпатичная девица. Дуэли устраивать?»

Погода явно портится. На западе, над губой Нольде, небо в рваных переходах от темного к совершенно белому. Северо-западный ветер несет влажный холод, запах йода и тоскливые крики чаек. Я думаю о Мишке Бороде. Его нет уже третий день. В одиночку бродит он по августовской тундре, спотыкается на кочках, обходит ржавые и плоские, как блин, тундровые озера. Отчаянные вопли гагар будят его по ночам. А ведь здесь даже медведи есть. Кто знает, к чему может привести мрачный медвежий юмор?

Тем временем Леха успел сготовить уху. Сегодня его очередь. Уха съедена. Мы лежим на спинах. Ветер уносит сладковатый махорочный дым.

— Нельзя ехать в поселок, пока Борода не вернулся.

— О величайший из геологических начальников! — Леха щекочет мне живот травинкой.

— Мы и так технику безопасности не соблюдаем. Нешто можно ходить в маршрут в одиночку?..

— О великий мандарин тундры, — вкрадчиво гнусит Леха. — Шейх Чукотского моря, Иван Шалды-Баба.

— Сам ты Шалды-Баба. Можешь не подлизываться. Спирта не будет. Осталось по стопке на Мишкин день рождения.

— Ну что ты, шейх? — в голосе Лехи искреннее негодование. — Поедем в поселок. Несчастная девушка ждет нас. Она сидит на катерном причале и смотрит в море. Она ждет нашу шхуну с черными парусами. Я же думаю только о Мишкином счастье.

— При чем тут Мишка?

— А вот при том, о великий... — Леха вдруг начинает неудержимо смеяться.

Глядя на него, я тоже не могу не улыбнуться. Из кустика рядом с палаткой вылетает знакомая птаха и начинает возбужденно прыгать по веткам. «Что случилось, что случилось?» — озабоченно чирикает птаха.

С трудом я узнаю, в чем дело. Оказывается, Леха все же дурачил меня. Он кое-что знает о ботаничке.

Этой весной в бухте Провидения параллельно с нами базировалась партия Академии наук. В кино Мишка познакомился с девушкой из этой партии. Она собирала типовой гербарий северной Чукотки и сильно интересовалась морским побережьем. Мишка шутя пригласил ее к нам и растолковал, как приехать, наобещал при этом со-

рок коробов, наболтал о помощи, удобствах, о тесном содружестве геологии и ботаники. А через день мы отправились к месту нашей работы. В общем, сплошная глупость. Только такое великовозрастное дитятко, как наш Миша, может отмачивать подобные шутки.

Перед тем как уйти в маршрут, он по секрету предупредил Леху. И уж конечно, просил его подлизаться ко мне.

«Плыть или не плыть? Своей работы хватает. Только вчера вернулись из маршрута», — думаю я.

— Никудышный руководитель! — в голосе у Лехи негодующий пафос. — Ты не думаешь о личном счастье своих подчиненных. Может, этот ботаник для Мишки та самая, которая единственная, которая с первого взгляда...

Леха умолкает. Театрально вытирает пот с лица.

Нам бы отдохнуть до обеда, потом обработать записи. Страшно важно, что принесет Борода. Он должен добраться до холмов Нгаунако. Холмы за нашей территорией, но только там мы можем окончательно убедиться, что в четвертичное время трансгрессия не заходила значительно на юг. По рисункам, по отшлифованным галькам, по окаменевшей ряби древних волн мы лепим хронологию былых времен, и где-то в ее середине пройдет драгоценная полоса золотоносных отложений. Нам нельзя ошибаться, нам нельзя поместить ее ни раньше, ни позднее, потому что по нашей схеме будут искать другие.

«Что случилось, что случилось?» — по-прежнему заботится птаха. Милое пернатое чудо! Ну как я тебе растолкую про этих двух двадцатипятилетних балбесов? Я не знаю, как будет правильно, но плыть надо. Черт его знает, может, это на самом деле для нашего Бороды «та самая единственная»?

Голос Лехи гремит репродуктором: шейх Чукотского моря и его верный друг Леха совершат прогулку на собственной яхте и заодно сделают благородное дело.

Наша «прогулочная яхта» — это десятки раз латаный и перелатаный вельбот.

У мотора загадочное зарубежное происхождение. Ребята говорят, что зверь-двигатель шведский, я же, чтобы не быть беспринципной амебой, утверждаю его южноамериканское происхождение. Во всяком случае, он старше всех нас троих, вместе взятых. Мы очень любим наш мотор, любим боевые шрамы на корпусе, расхлябанный джазовый стук его цилиндров, самодельный винт и задорный медный блеск головок.

Бороде оставляем записку.

Темная стоячая вода реки Ионивеем, в устье которой мы стоим, выводит нас в море. Холодно, светлые солнечные брызги взлетают над носом. Вельбот танцует вместе с темными накатами волн, вой мотора отмечает ритм танца. А может быть, мы стоим на месте, а танцуют низкие, уходящие от нас берега? Нахалюги чайки борются с ветром, а сами косят глазом: чем бы поживиться. Две нерпы всплывают вблизи. У нерп грустные, загадочные глаза. Наверное, они очень много знают о чайках, о рыбах, о том, что раньше было в Чукотском море, но не могут рассказать нам. От этого им грустно. Покружившись, нерпы исчезают, безнадежно махнув хвостом.

На правах шейха я лежу на носу вельбота. В кухлянке тепло. Леха на руле. У него морской прищур, мокрое лицо.

— Брошу я вас с Мишкой, — бубнит Леха, — уплыву на остров Врангеля. Буду жить простой и здоровой жизнью предков.

— Ну и сиди на своем острове.

В поселке нас знает каждая собака в буквальном смысле слова.

Редкие катера забредают сюда летом, и новые люди здесь очень заметны.

К деревянному катерному причалу подходят первые любопытные. Как всегда, впереди дядя Костя, пекарь, один из самых добродушнейших на земле стариков. Мы привязываем вельбот и тут же на берегу делаем перекур.

Неторопливо греет чукотское солнце, у самой воды возятся несколько чукчат, все, как на подбор, в одинаковых крохотных кухлянках, где-то тюкают топоры. На земле оленеводов и охотников царит мир.

Мы толкуем о ходе рыбы, о «копытке» в одном из дальних стад. Конечно, нам хочется поскорее посмотреть на Мишкиного ботаника, но мы не выдаем своего нетерпения.

— А вас тут девушка одна ждала, — говорит дядя Костя. — Улетела сегодня.

— Как улетела? — дуэтом спрашиваем мы.

— Так, улетела. Вертолет тут был из ледовой разведки. Уговорила. Они сначала на Шмидта зайдут, потом к вам...

— Улетела, — кивают нам знакомые чукчи.

— Сегодня улетела, — попыхивает трубочкой старина Пыныч.

— Улетела, улетела, — гомонят на берегу ребятишки в кухлянках.

Наверное, вид у нас здорово обескураженный, потому что каждая морщинка на лице дяди Кости начинает выражать участливое сожаление. Прохладный ветер с моря гоняет папиросные дымки.

Эта история начинает меня злить. Мы мрачно бредем на почту, потом в магазин. По дороге приходится раскланиваться направо и налево. Ребятишки бесхитростно повторяют нам историю про вертолет, девушку и пилотов. Делать нечего, надо плыть обратно.

Двигатель угрожающе пропускает такты. На всякий случай держимся поближе к берегу. Светлые волны хлещут камни по щекам.

— Черт бы побрал эту девицу! Наверняка какой-нибудь крокодил в юбке.

— Почему?

— Красивых в экспедицию не загонишь. Есть такой объективный закон природы. А если попадет, так и в тундру с пудрой. Видал. Знаю.

Мы упражняемся в шутках насчет любви с первого взгляда. Видимо, живности в Чукотском море не нравятся наши речи: нерп нет, чаек тоже. Ветер резвится не на шутку. Страшновато. Как-то там Мишка? По вечерам о товарищах думаешь чаще и теплее.

За проливом Лонга светлеет небо, значит, там льды.

В самом устье Ионивеем мотор заглох. Стемнело, и, выгребая, мы немного ошиблись и наскочили на мель. Пару раз вельбот стукнуло днищем, несколько ведер воды заплеснуло в лодку. Мы вымокли и разозлились. Пока мы гребли вверх к палатке, стало и вовсе темно.

У палатки горит костер. Возле костра двое. У меня легчает на сердце — значит, Мишка вернулся. Пришел наш шалопутный Борода точно в срок. Не поломал ноги на кочках, в мерзлотных трещинах у озер, не случился у него приступ аппендицита, не встретились медведи с мрачным юмором — пришел Мишка. Теперь нам наплевать, кто там второй, пусть даже крокодил в юбке.

Идем усталые, мокрые и злые. Палатка и кусок тундры возле нее давно уже считаются нашим домом. Леха бормочет поговорку о татарине. Но через минуту мы уже забываем о поговорках и вообще о многом забываем.

Вид у Мишки обычный. Рыжая борода лезет в вырез кухлянки, голова поросла свинячьим ворсом. Нос кар-

тошкой, лицо чуть опухло от морских и тундровых ветров.

Но рядом с Мишкой сидит и смотрит нам навстречу чудо природы.

У этого чуда кругловатое лицо, пикантно вздернутый носик, и еще у чуда есть глаза... Бывают голубые глаза-озера, бывают темные глаза-колодцы, бывают глаза-пропасти. У данного чуда природы совершенно определенно глаза-пропасти. Вероятно, мы с Лехой немного ошалели. Мы машинально проделываем традиционный ритуал знакомства.

— Вы же, наверное, есть хотите? — заторопилась она. — Я тут не теряла времени даром. Знаменитый черепаховый суп из свиной тушенки.

— Да нет... Мы недавно обедали... Но вообще-то можно, — смущенно врет Леха.

Я не узнаю своих парней. А чудо природы, которое зовут Люсей, как будто ничего не замечает.

— Вы, как бесстрашные викинги, появляетесь ночью в штормовую погоду. А я думала, что придется одной хозяйничать. Миша пришел полчаса назад. Жаль, что я не смогла плыть на вашей шхуне.

Викинги... Шхуна... А я-то думал, что только мы утешаемся этой романтической чепухой.

Суп по всем правилам завернут в спальный мешок. Даже чашки — о боже! — вымыты. Нет, такое только в книгах. Я слышу тихий стон Мишки.

Рядом с кастрюлей стоит бутылка вина.

— Айгешат! — стонет Мишка.

— Это для знакомства.

— Мадемуазель, — склоняет голову Леха. — В этих ватных штанах мне трудно походить на герцога, но позвольте поцеловать вам руку. В знак уважения. У вас экспедиционная душа — это высокий дар.

Люся приседает в реверансе, Леха целует ей руку и вдруг кидается в темноту. Через минуту он возвращается. В руке у Лехи тундровая незабудка — есть такой крохотный голубой цветок. Мы знаем, где Леха взял ее. Незабудка, наверное, единственная во всей округе, росла возле тропинки, по которой мы ходили к лодке. Я не знаю, как объяснить этот биологический феномен, но, верьте слову, незабудка цвела в середине августа и была такая же крохотная и такая же голубая, как и те, что цветут в июне. Мы очень ею дорожили.

— Вот, — сказал Леха, — я думаю, братва на меня не обидится.

Братва молча выразила согласие.

Вино мы пили столовой ложкой. Люся наливала каждому по очереди. Незабудку она приколола к свитеру на груди.

— Сегодня я ваша королева, — говорит она. — Я одариваю вас своими милостями. Возвращайте только ложку.

— Люся, ты нарушаешь объективный закон природы, — бормочет Мишка. — При твоей внешности и так здорово знать психологию таких бродяг, как мы, — это просто чудо.

— Сегодня мне все говорят комплименты. Один пилот сказал, что у меня настоящие голливудские губы. А я ему ответила, что он опоздал с комплиментом: голливудские губы нынче не носят.

— А как ты ухитрилась попасть на вертолет?

— Очень просто. Я умею сочетать очарование с ледяной вежливостью. Вы свои, вам можно открыть этот секрет.

Не знаю уж, что там она умеет сочетать, но вот создавать настоящую обстановку эта девчонка умеет.

И в самом деле, все обычно, и все как-то иначе. Возможно, несколько ложек портвейна слегка затуманили нам головы, потому что мы уже несколько месяцев и близко не видали ничего спиртного. Костер горит ровно и жарко, как и положено гореть порядочному костру. Исхоженная нашими ногами чукотская тундра тихо смотрит из темноты, только со стороны моря идет легкий обычный гул да сонно вскрикивают на озерах птицы. Подомашнему похлопывает за спиной палаточный брезент.

В бутылке еще чуть меньше половины, но нам жаль трогать вино, потому что оно как-то напоминает о друзьях, книгах и многом другом. Мы толкуем обо всем сразу.

— А жаль, что у нас есть радиосвязь. Представляете, парни, возвращаешься на базу и вдруг узнаешь, что целая куча народу уже бегает сейчас по Венере и шлет оттуда веселые радиограммы.

— Или узнаешь: новейший электронный анализатор обнаружил ошибки в наших расчетах.

— Не ехидничай, Леха, — перебиваю я, — и впрямь у нас как-то атрофируется чувство удивления. Наверное, первому смешному паровозику люди удивлялись гораздо

больше, чем удивятся, когда и на самом деле попадут на Марс.

— Я бы хотела жить в те времена, когда открывали материки и острова. Тогда чувства были гораздо непосредственнее и проще. Хочу, чтобы какой-нибудь остров носил мое имя. Это же обидно: в космос можно, а чтобы в честь тебя был назван хоть плохонький островок, нельзя.

— Острова называли в честь королев. Ты же сегодня наша умная и добрая королева. Хочешь, мы назовем этот берег твоим именем?

— Правда? Это можно?

Не знаю, почему это так, но сегодня все можно. Глухо посапывает сзади нас тундра, звезды тихо ухмыляются, глядя на трех ошалелых парней. Тонконогая загадочная девушка сидит вместе с ними. Она прижала колени к подбородку и смотрит на костер.

Леха тащит доску от консервного ящика.

— Только я не хочу быть королевой. Королевы всегда бывают старые.

— Хорошо, мы назовем тебя принцессой.

— А ребята нашего курса зовут меня просто Люськой.

— Отлично, ты будешь принцесса Люська.

Леха выводит на доске крупными четкими буквами: «Берег принцессы Люськи. 15 августа 1959 года».

— Ну вот, все как в Антарктиде.

— Жаль, что это понарошку. Но все равно, ребята, для нас это будет мой берег. Берег моего имени.

— Это точно!

Мы толкуем о работе. Люсе для диплома необходимо сделать несколько ботанических разрезов по долине какой-нибудь реки бассейна Чукотского моря. Тогда дипломом, как она сказала, будет «железный», и, кроме того, это важно не только для диплома. Мы слушаем с удовольствием, хотя ничего не понимаем в ботанике.

Миша Борода заговорил было о плоской галечке на холмах Нгаунако, куда нам стоит завтра пойти, и как здорово нам может насолить эта галечка — перевернуть всю схему. Но Люся слушала уже через силу. Надо было ложиться спать. Мы вытащили свои мешки из палатки — палатка у нас одна. С моря тянуло сыростью, но дождя не было, и мы могли отлично выспаться на улице, положив под мешки телогрейки: оленья шерсть очень сильно впитывает влагу.

— Холодно, — доносится из палатки. И снова, как дружное опереточное трио, мы выдергиваем телогрейки из-под мешков. Они так же дружно летят в палатку. В палатке еще пошуршало и стало тихо. Мы улеглись на землю.

— Ребята, а вы мне завтра поможете? — сонным голосом спрашивает Люся.

Мы делаем вид, что спим. Наверное, она не слышала, что завтра нам позарез надо в маршрут.

Конечно, на следующий день мы не пошли ни в какой маршрут. С самого утра мы почувствовали себя безгласными подданными нашей принцессы, дощечка, воткнутая у костра, напоминала об этом. Идем делать геоботанический разрез. На секретном совещании мы пришли к выводу, что глупо и непорядочно лишать человека «железного» диплома из-за пары маршрутных дней. Их мы наверстаем.

Мы пересекаем долину Ионивеем и через определенные интервалы «берем квадраты». На этих квадратах Люся отбирает травку и ягель, меряет мощность дернового слоя, даже считает число кочек на квадратном метре. Через несколько часов у нас уже появилась специализация: я считаю кочки, Леха — «прислуга за все», Миша Борода — главный пахарь.

На долю принцессы остается общее руководство.

— Так, Борода, давай эту травку сюда.

— Шеф, как там ведут себя кочки?

— Лексей, точи карандаш.

Давненько мы не работали с таким азартом.

На обратном пути мы позволяем себе покопаться в своем южноамериканском любимце.

— Как думает Люся, в каком царстве было сделано это чудо техники? — спросил между делом Леха.

— В Англии, — незамедлительно следует ответ.

— Ладно, Борода, мы прощаем тебе принцессу, — говорим мы вечером, когда остаемся одни. — Мы даже благословим ваш брак.

— Бросьте вы, хватит!

— А что это ты, рыжий, мнешься? Даже краснеешь?

— Мне неловко говорить об этом, но, знаете, Люся просила помочь ей сделать еще пару разрезов километров за десять-пятнадцать отсюда.

И снова сидим у костра. Светло и тихо.

— Это не вертолет? — вдруг, прислушиваясь, спра-

шивает Люся. Мы слушаем. Похоже, что где-то гудит огромный шмель.

— Нет. Вертолет не так. Па-па-па-па! — изображает Леха, как должен, по его мнению, шуметь вертолет.

Мишка молчит. Он все время молчит при Люсе. Уж не влюбился ли он на самом деле? Вроде бы непохоже. Мишка — железный малый. Его призвание — геология. Впрочем, возможно, и стоит полюбить такую девушку, как Люся.

Та знакомая птаха, что прилетает к нам каждый вечер, вдруг разражается в глубине своего куста отчаянной веселой трелью. Люся берет камень и швыряет его в куст. Птица умолкает, а Люся продолжает слушать далекий гул мотора. Может быть, она снова ждет этих пилотов, покоренных комплексом очарования и ледяной вежливости? Только мне не нравится, когда кидают камнями в знакомых птах.

— Миша, а почему тебя зовут Борода-Всегда-В-Маршруте? — вдруг спрашивает Люся. — Под Джека Лондона работаете? Время-Не-Ждет, Борода-В-Маршруте.

— Это они, — кивает на нас смущенный Мишка.

— Скучно быть все время в маршруте... Одичать ведь можно.

— Скучно, когда неинтересно. А для Мишки геология главное, — выступаю я на его защиту.

Люся сидит, зябко закутавшись в исполосованную «молниями» куртку, и думает, очевидно, о чем-то своем, очень далеком. Может быть, она сейчас на университетской набережной, среди модно одетых остроумных ребят.

— Можно ведь быть доктором наук и быть дикарем в музыке, дикарем в других науках. Так оно и бывает, — говорит Люся.

— Азарт нужен, — говорит тихо Леха. — Если у тебя есть азарт вообще, а не одна страсть к своей науке, дикарем не будешь.

— Наш век — век специализаций. Кандидат наук по гайкам, кандидат по шайбам и кандидат по болтам, на которые надевают эти гайки и шайбы. Наукой гореть сейчас не стоит, потому что, ей-богу, вы, ребята, не решите, в чем ваше призвание — в гайках или шайбах.

— В технике.

Чем-то странным веет сегодня от принцессы. Или я к ней придираюсь?

— А ваш вельбот что: шхуна или корвет? — вдруг спрашивает принцесса.

Я немного теряюсь.

— Шхуна! Корвет — корабль военный.

— Шхуна! Знаете, кто вы? Хотите, я всех троих посвящу в сан рыцарей тундры?

Люся снимает с Мишкиного пояса финку и по очереди стукает нас по плечу. Она стоит на коленях в узких брюках и свитере. Я замечаю, что у Люськи очень-очень тонкая талия. Мы с Лехой отводим глаза в сторону, Мишка смотрит ей в лицо.

— Ребята, — делает она неожиданный переход, — так вы сделаете мне два разреза вверх по течению?

— Давай я один их сделаю, — обращается ко мне Мишка. — За пару дней управлюсь, а вы пока в маршрут.

Но у нас нет двухдневных маршрутов. Мишка — мой друг, но в то же время я ведь начальник отряда.

— Ладно, старик. Сделаем все втроем. Только потом... Сам понимаешь.

— Ой, спасибо! — хлопает Люська в ладоши. — Значит, так: два разреза. Седьмой и пятнадцатый километры от устья. Как делать, вы уже знаете. А я этим временем займусь описанием прибрежной.

— Зачем спешка-гонка? — спрашивает Леха. — Пойдем с нами.

«Набери побольше материала для своего «железного» диплома», — говорит Мишка всем своим видом.

— В Москву очень хочется, — смеется Люська. — Я забыла сказать вам, что эти летчики обещали залететь за мной через пару дней.

Так вот почему она слушала вертолет!

— Брось ты, Люся, этот вертолет, — говорю я. — Вертолеты будут. Но такой тундры, такого августа больше не будет. И таких подданных у тебя, принцесса, не будет.

Люся серьезно слушает.

Мы уходим чуть свет. Позавтракаем на месте. Люся еще спит. Мишка немного замешкался. Он нагоняет нас, как лось, перемахивая через кочки. В рюкзаках непривычное ботаническое снаряжение. Молчит Леха, молчу я, только Мишка весело посвистывает.

...Мы устали, как упряжные собаки. То ли работа непривычна, то ли просто ее много. Рвем травку — это тебе на диплом, Люся! Считаем-пересчитываем кочки — это за то, что у Мишки, кажется, закружилась голова.

Считаем шаги — это за то, что встретилась тебе девушка, так же, как и ты, понимающая романтику. Что ж, поработаем!

Теплый воздух, запах нагретой травы идет от кочек. Долина реки благодатным, устланным разной растительностью ложем убегает на юг к горам. И сами эти привычные чукотские горы сегодня как бы покачиваются, приплясывают в воздушном мареве, радуясь жизни. Благостно и неторопливо катится по небу неяркое августовское солнце. Оно, как добрый неназойливый друг, греет, но не мешает. И мы под этим солнцем-приятелем, как три букашки-работяги, бродим, согнув спины, собираем земную травку.

Мы сделали все как надо. В рюкзаках приятная трудовая тяжесть. Оказывается, когда сделано даже чужое дело, все равно приятно. В чьем-то дипломе, в чьей-то науке будет доля и твоего труда. Долой узость специализации!

У палатки тихо. Наверное, наша принцесса работает на берегу.

— Трудяга, — говорит Леха и... замолкает. Мы смотрим туда же, куда и он. В центре выжженной костром площадки, на расщепленной палке стоит дощечка, на которой Лехиной рукой выведено: «Берег принцессы Люськи». В щели палки торчит записка. Мишка быстро берет ее, потом протягивает нам.

«Рыцари тундры, — читаем мы. — К сожалению, вертолет прилетел на день раньше. Он идет прямо в Провидения. Для меня это очень удобно. Диплом не диссертация, напишу без этих разрезов. А может быть, вы привезете их в Москву? Пока. Принцесса Люська».

Я смотрю на Мишку. Он берет рюкзак за уголки и медленно вытряхивает гербарий прямо на землю. Он молчит. Леха рывком опустошает свой рюкзак, подходит к дощечке, заносит сапог, и «Берег принцессы Люськи» летит в сторону.

— Зря ты, Леха, — спокойным голосом говорит Борода, — на свете Люсек тыщи. Есть и другие. — И крепко втыкает дощечку на место.

Птаха в кустике вдруг тихонько пискает и взлетает на самую верхушку. Она качается на тонкой веточке и косит на нас черным блестящим глазом. У птахи желтая грудь и невзрачные серые крылья.

— Это что, канарейка? — спрашивает Леха.

Мы молчим.

С тех пор, как плавал старый Ной

Рукопись, найденная в бутылке

С тех пор, как плавал старый Ной,
Прошло немало лет.
Земля крутилась,
Шли дожди,
Цвели цветы,
И корабли тянули след,
И людям снились сны.

Я читаю эти стихи... своей собаке. Уже пятый день мы с ней находимся на положении робинзонов. История мореплавания повторилась в миллион сто первый раз. Мы торчим на необитаемом острове. И нам не на чем уплыть отсюда. Но при чем тут Ной, сны и цветы?

Цветы случайно. Я пишу лежа. Маленькая веточка селены глядит на полевую сумку, которую я приспособил вместо стола. А шершавая кассиопея щекочет мне локоть. Зачем-то кассиопее понадобилось мое внимание.

Я не флибустьер, не беглый каторжник, не Васко да Гама. Я скромный палеонтолог. Охочусь за разными давно умершими зверюшками, зверями и зверищами.

Бродячая экспедиционная тропа привела меня сюда в это лето. Для передвижения имелась шлюпка, для дружеской беседы — собака. Так и шли рядом две дороги. Одна накручивала морские и тундровые километры маршрутов, другая петляла по каменным джунглям прошлого Земли. И одна дорога толкала вперед другую.

Я знал, что в пятидесяти километрах от берега есть один островок. Маленький. Его даже не видно с материка. Просто расшалившийся кусочек берега отошел немного от мамы-Азии, да так и остановился растерянно. Никто на нем не жил. И вот целое лето я плавал у берега, а сам все косил одним глазком в сторону моря. Мало ли что можно ожидать от земли, где не был до тебя ни один палеонтолог. Но я прихлопывал сомнения железными пунктами инструкций: не положено плавать к островам на шлюпках.

В августе я отправился с базы в последний двадцатидневный маршрут. Был штиль, и журавли в глубине тундры кричали о дальних перелетах.

Журавлиный крик плыл над морями. Ей-богу, я сам не знаю, как отклонился руль. Если вы ни разу не были на полярных островах — вы меня не поймете. Но что значат пункты инструкций, если может случиться, что за ближайшее столетие ни один палеонтолог и близко не подойдет к этому острову? Пусть те, кто пишет инструкции, поручатся, что нет на этом кусочке Азии ничего нужного для науки. Тогда я не поплыву туда.

Двое суток мы с собакой почти не спали. Торопились завершить незаконную операцию по изучению «терра инкогнита». Через два дня я знал остров как собственную ладошку. Когда-то здесь жили мамонты. Разрозненные части скелета не представляли интереса для науки. И только под самый конец я наткнулся еще на одну вещь — огромный, как крыша бетонного дота, череп быка примигениуса, праотца всех говяжьих бифштексов. Не такая уж частая находка. Увезти череп я не мог, но на всякий случай расчистил и произвел обмеры. Возился с ним часов шесть, пока окончательно не обессилел. Потом я снял с лодки мотор и весь груз. Надо было прошпаклевать перед возвращением одну дырку под задним шпангоутом. Тут-то меня и свалил сон.

Снилась мне, как ни смешно, африканская саванна. Огромное стадо слонов мчалось по ней. Я уткнулся носом в горячую землю и слушал, как планета содрогается от многотонного бега. Это были отзвуки тех далеких времен, когда на земле все живое старалось быть огромным.

Я проснулся, задыхаясь от волнения и еще от чего-то непонятного. Палатка была сбита и лежала на мне. Снаружи визжали десять тысяч кошек. Я с трудом выбрался из-под парусины, и волны взбесившегося воздуха обрушились на меня со всех сторон. Это был шторм. Невиданный здесь теплый ветер рвался с зюйда. Наверное, он приходит прямо из Африки раз в сто лет. Почти на четвереньках я дополз до берегового обрыва. И увидел пустое море. Северный Ледовитый океан. У самого берега волны захлестывали кол с обрывками веревки. Мокрый обрывок метался по ветру как олицетворение безнадежности.

Мы с собакой находимся на маленьком тундровом острове. Пятидесятикилометровый пролив отделяет нас от берега. Все малые и большие мореходные трассы проходят в водах достаточно отдаленных. Самолеты летают очень высоко.

У нас есть лодочный мотор, бензин, ружье, патроны, палатка, один спальный мешок, охотничий нож и целый рюкзак продуктов. Но нет нашей шлюпки.

Нас начнут искать через двадцать дней. Вот все, что я могу сказать.

А Ной? Я упомянул этого старого ловкача только потому, что он был первым зарегистрированным в литерaратуре мореплавателем. С него начинается писаная история:

кораблестроения,
навигационной науки,
перевозки скота в трюмах.

Это он виноват в моих злоключениях.

И вот сижу пишу стихи. Бесцветные дни ожидания плывут над Азиатским континентом. Задевают краешком и наш островок.

Сегодня 9 августа. Моего пса зовут Опс, что в переводе значит: образцово-показательная собака. Это рыжий пес-мореход. Мы познакомились с ним в одном далеком поселке у катерного причала. Сидело возле свай такое независимое существо и смотрело на море. Меня пленило то, что драную шерсть философа украшали непонятного происхождения полосы, очень напоминавшие тельняшку. Только потом я убедился, что это всего-навсего выступы голодных ребер.

Опс очень любит мясные консервы, меня и стихи. Два дня назад, когда я читал ему те стихи, он очень вежливо аплодировал хвостом и просил еще. Ему надоела проза на тему «Что с нами будет?». Мы обсудили ее в первые два дня и пришли к утешительным выводам.

Будет вот что. Через пятнадцать дней наступит контрольный срок нашей явки на базу. Но мы не появимся. Через день в эфире поднимется нерешительный шум. Через три — средних размеров суматоха. Через пять — паника. Вертолет полетит над теми местами, где мы должны быть. Потом над теми, где мы не должны быть. В частности, над этим островом...

Мы запалим костер и будем глупо махать руками.

Спасательная команда будет пичкать меня бульоном, а собаку шоколадом.

Начхоз сыграет в отца-благодетеля и выдаст из секретных запасов бутылку с тремя звездочками.

Девчонки-лаборантки будут ловить в коридорах и требовать рассказов о необитаемых островах, штормах и подвигах.

На этом все кончится.

Есть у нас в добавление к консервам кружок отличной копченой колбасы. Деликатес. Мы с Опсом соревнуемся: кто дольше проспит, тот и съедает дневную порцию колбасы за двоих. А другой жует одни консервы. Вчера дольше проспал я. Сегодня колбасу будет есть Опс. При поверхностном ощупывании я прибавил в весе килограммов на десяток. Интересно бы пощупать и Опса, но это неспортивно: он все еще спит. Видимо, не может забыть вчерашнего поражения.

Смешно устроен мир. И сегодня я ем одни консервы.

15 августа. К черту! Сегодня я сдался окончательно. Я выспался на два десятилетия вперед. Пусть Опс съедает все лучшие куски за все время нашей совместной жизни. Пойду будить своего кудлатого победителя.

«Опс, — скажу я ему, — а ведь мы с тобой продолжатели великих традиций. Потерпевшие кораблекрушение на необитаемом острове. Может быть, мы последние потерпевшие на последнем необитаемом. Человечество кончает на нас одну из страниц своей истории. Понимаешь?..»

А пес шевельнет ушами и лизнет меня в щеку. Ни черта он не понимает.

...Пес действительно лизнул меня и снова заснул. А я не мог. Я шел по берегу и все думал о наших предшественниках. О тех, что бороздили неведомые океаны и попадали на необитаемые острова. Бродяги, неудачники, счастливцы. Кладбища доисторических животных, с которыми приходится иметь дело палеонтологу, напоминают об огромной мускульной энергии, бесцельно пропавшей в веках. Кладбища истории зачастую рассказывают нам о бесцельно пропавшей энергии нервов, ума и воли. В истории моря много таких примеров.

Так дошел я до северной половины острова. Было хмуро. Бестолковые зябкие волны прыгали перед гла-

зами, и казалось, что наш островок плывет прямо к полюсу. Темнота тяжелыми сгустками ложилась вокруг. Я сел на вросший в песок плавниковый ствол. Вереницы людей шли в моей памяти.

Был такой человек Джеймс Брук. Знаменитый пират, исколесивший все южные моря. Попадал на необитаемые острова и выбирался с них. Под конец карьеры он захватил остров Борнео и стал его правителем. Позднее Джеймс Брук был убит своими же наследниками. И вот я вижу, как он идет мимо меня. Скрюченный старикашка в камзоле и в сапогах с отворотами. У него узкое сухое лицо и крепкий, словно железный, нос.

— Садись, — говорю я, указывая на бревно.

Джеймс Брук вздыхает, как старая мачта, и садится. Он искоса поглядывает на меня. Глаза, как мышата, бегают под нависшими бровями.

— Зачем плыть на шлюпчонке? — равнодушно спрашивает Брук.

— Так. Романтика заела.

— Сладкое молочко для слабосильных твоя романтика, — хрипит Брук в ответ.

— Полегче, — вскидываюсь я. — Смысл жизни...

— Смысл жизни в том, чтобы всех и всегда оставлять в дураках, — чеканит Брук.

Я резко поворачиваюсь к нему, но Брук вдруг отпрыгивает от бревна и сует руку за спину. Огромный музейный пистолет смотрит на меня широченным дулом.

— Что нашел? — спрашивает Брук.

— Череп быка примигениуса.

— Врешь! — шипит он и осторожно пятится за береговой выступ. В темноте его фигура напоминает маленькую взъерошенную обезьянку. — Врешь, — слышу я лихорадочный шепот, — все врут.

В это время сверху падает громадный шерстистый зверь. Опс! Он тыкается мне в ухо носом и садится рядом. А Брука уже нет.

— Зачем ты жил, Джеймс Брук? — говорю я в темноту. — Ведь ты все же остался в дураках.

А вообще ну его, этот остров с тенями пиратов. Мы вернулись в палатку и хорошо так пообедали. В здоровом теле — здоровый дух. Но тени не хотели оставлять нас в покое...

Он возник из табачного дыма почти без приглаше-

ния. Еще до того, как появились судовые журналы и родился Робинзон Крузо, плавал между Индией и Аравийским полуостровом человек по имени Эль Куф. В то время еще не было секстана, лага и компаса. И когда ветер унес фелюгу Эль Куфа в океан, он потерялся в нем, как букашка на футбольном поле.

В необъятном мире океана маленькой точкой торчал никому не известный остров. Араб прожил на острове десять лет и умер там же.

На страницах счетной книги купца Эль Куфа велся дневник, написанный чернильной жидкостью каракатицы. Он был найден позднее португальцами и долго хранился в сверхсекретных архивах португальской короны вместе с картами вновь открытых земель.

Я курил и думал о том, как здорово бы пригодилась в те мрачные времена многим людям история Эль Куфа. Чертовски крепко задуман человек, если он может очутиться без ничего и нигде и все же не забыть, что умеет писать.

И вот Эль Куф в моей палатке. Он худ и темен лицом.

— Как ты сумел? — говорю я.

— Все в руках аллаха, — отвечает он.

— Да брось ты с этим аллахом, — говорю я. — Ты человек, понимаешь. Гомо сапиенс — человек разумный. Зачем человеку бог?

Но тут трубка погасла, и Эль Куф исчез.

16 августа. Скорей бы, что ли, поднималась паника в эфире. В наш век бороться с судьбой проще. Существуют вертолеты.

А мне нравится этот островок. На первый взгляд он просто плоский, вроде кепки на темечке моря. Но на нем есть много травянистых ложбин. В этих ложбинах гуляют теплые ветры, растут ивняк и осока. Ивняк ласково берет меня за колени, осока ложится под подошвы, но они не могут удержать меня, пока я не выберусь на самую макушку острова. Человека всегда тянет на вершину.

У пса черная меланхолия. Или он скучает без людей, или думает по-собачьи о смысле жизни.

Осталось восемь дней до контрольного срока.

Ночь. Я лежу на спине рядом с палаткой. В спальном мешке тепло. Ночные запахи тундры и моря бро-

дят по острову. Горячий собачий бок мерно припадает к моей щеке. Я думаю о любопытной травке селене. Где-то она здесь, в темноте, рядом.

— Слушай, малютка, — говорю я. — Зачем ты заглядываешь в дневник, когда я пишу.

Голос травы напоминает далекий детский смех.

— Любопытно, — говорит она. — Здесь так мало бывает людей.

— Мне жаль тебя, сестричка. Великое счастье бродяжить по белу свету. А вы прикованы к одному месту.

— Нет, — тихо звенит селена. — Нам не очень скучно. К нам приносит растения из других мест. Мы все помним. Мы очень многое помним. Но только не можем выдумывать сами. — Она тихонько вздохнула.

— Выдумка — великая вещь, — говорю я. — Люди тоже очень много знают. Иногда до того много, что даже скучно.

— А что будет, когда вы узнаете все?

— Это не страшно. Для этого ведь и есть выдумка. Свою землю мы уже изучили до чертиков, но все равно есть много чудаков, которые ищут. Например, Атлантиду. Или плывут на плоту через океан, или строят города. Так будет бесконечно. Триста шестьдесят градусов неизвестности.

Трава еще долго журчала мне что-то на ухо, но я уже спал.

Я явно перекурил в прошлую ночь. Табачища у меня пропасть, и просто грех увозить его обратно. А Опс не курит. Голоса какие-то. Бред.

Осталось семь дней до контрольного срока.

А что, если бы я очутился на этом острове всерьез? Как в «старое доброе время»? Тогда пришлось бы строить лодку. Какую? Надо подумать. Время есть. Начнем со стихотворного обоснования. Для Опса, конечно.

Вечность, как щель автомата,
Глотала медяки тысячелетий.
В пыльной дырище выдачи
Маленький брякнулся плот,
Потом галеры взмахнули веслами,
Белыми пузами пропарусили фрегаты.
И вот: в наглой четырехтрубной копоти
Самодовольный выплыл «Титаник»...

Но и он, между прочим, затонул. Так что неизвестно, что лучше: плот или «Титаник».

А чертежик получился на славу. Я бы сделал каркас по образцу эскимосских каяков и обтянул бы его брезентом от палатки. Впрочем, обтягивать ничего не стоит. Вот разве что палаточный тент. Он явно ни к чему.

Эврика! Мы с Опсом умираем от смеха. Вот что мы придумали. За нами обязательно прилетит большой вертолет.

Это точно, потому что спасатели всегда летают на больших вертолетах. Значит, лодку я смогу взять с собой. А в поселке я найду какого-нибудь журналиста и скажу, что мой личный друг Вася Беклемишев пересек на этой лодке такой-то пролив. Все равно он в отпуске. А с Васьки по приезде сдеру бутылку коньяка за рекламу.

Но журналисты народ дошлый. На мякине не проведешь. Значит, надо делать лодку на совесть. Итак, за дело! Сегодня мы с Опсом надеваем рюкзаки и идем искать стройматериалы.

Я опять встретил на берегу Эль Куфа. Он смотрел на восток и безнадежно молился.

— Старина, — сказал я, — надежда на бога отнимает действие. Давай-ка лучше строить лодку.

Он посмотрел на меня затуманенным взором и ничего не сказал. Не понял меня. Я хотел взять его за руку, но он тихо исчез. Чудаки эти потерпевшие кораблекрушение. Фокусники.

По пустынному плоскогорью Рег шел тяжко навьюченный верблюд.

Впрочем, это просто я пересекал остров с тремя кубометрами леса за спиной. По ехидной шутке природы весь годный для каркаса лес находился на другой стороне острова. Пожалуй, стоит взять с Беклемишева две бутылки коньяка... Плюс запасные штаны, которые мне пришлось пустить на веревки.

Объявление в газете: «За небольшое вознаграждение готов предоставить материал для диссертации на тему: «Нож как столярно-плотничный инструмент».

Работаю при свете костра. Ни звезд тебе, ни ду́хов. Никакой теософии и мистики.

Не забыть записать на Васькин счет еще ковбойку. Пошла на ленточки.

Второе объявление в газете: «Готов предоставить материал для докторской диссертации. Снова о ноже».

Прошло три дня. На острове установлено чрезвычайное положение. Сон только по карточкам.

Да, это конец августа. Сегодня я впервые видел лед на закраинах соседнего озерка. Лед — ничего. Хуже, когда начнутся затяжные дожди. Потом — снег.

О Великий Каркас! Ты почти готов. Если трюк с журналистом не выйдет, я сдам тебя в музей абстрактного искусства. И назову тебя, допустим, так: «Взятие в плен Жанны д'Арк».

О, черт! Все же дождь. Северный дождь. Это не то что в Воронеже, когда пацаны прыгают по лужам и через час выскакивает радуга. Тучи ползут впритирку над островом и сыплют холодной рябью. Кран с теплой водой в этом душе неисправен.

Жаль снимать тент с палатки. Я стыдливо умолчал о том, что потолок у палатки в дырках. Начатое дело надо доводить до конца. Этому нас учили еще в детсадике. А дырки в потолке надо заштопать.

Необитаемое положение не только дает, но и обязывает. Третий час сижу иззябший и мокрый и ломаю голову. Даже костер закисает от этой бисерной измороси. Не умещается лодочный каркас на брезенте. Не хватает материала.

— Неладно кроишь, — сказал он мне. Я, не оглядываясь, чертыхнулся. Потом оглянулся и попросил прощения.

Невысокий бородатый мужичонка наблюдал за моей

работой. Из-под меховой рубашки торчали такие же штаны. Неуловимая помесь Рязани с Чукоткой.

— Неладно кроишь, — повторил он.

Я метнулся к тенту и сразу понял, что и впрямь крою неладно. Лишние швы, а все равно тента не хватит. Придется отрезать бока у палатки. А мужичонка уже уходил в глубь острова. Я видел, как осока покорно ложилась под его сапоги.

«Его папа был эскимос, а мама алеутка». Так придется мне начинать Васькину биографию для корреспондентов. Иначе не поверят, что обычный европеец мог сшить такое чудо.

В палатке с отрезанными боками гуляет ветер. Это хорошо: меньше спится. И Опс совсем меня покинул. Шляется целыми днями где-то в глубине острова. Наверное, завел шуры-муры с каким-нибудь своим духом из собачек.

Я почти совсем кончал верхние швы, когда снова увидел Джеймса Брука. На этот раз он явился с перевязанным глазом. Наверное, для маскировки. Заметив мой взгляд, он подмигнул и просипел что-то насчет пушечных портов.

— Слушай, — сказал я с веселой злостью. — Ты тут глазеешь, а на той стороне ребята дележ устроили. Шхуну вчера выкинуло.

Старый пират взвыл, выронил трубку и исчез. Я слышал, как по отмели протопали его шаги, и ветер долго доносил астматическую ругань. Трубку я подобрал. Хорошая трубка.

Завтра последний день, а сегодня я спускаю лодку на воду. Она легка, потому что киль и верхние обводы сделаны из палок, а ребра из ивовых прутьев.

Васька, Васька! Я не прощу тебе мои запасные штаны и рубаху. Из-за тебя я вынужден сидеть у костра голый. Одежда сушится, лодка тоже. Мои папа и мама не научили меня плавать в эскимосских лодках. Не умею я на них плавать, я переворачиваюсь.

— На моей родине к таким лодкам привязывали балансир, — тихо сказал подошедший Эль Куф. — Ты знаешь, как делать балансир?

— Знаю, — сказал я, стыдясь своей первобытной наготы. — Бревнышко вдоль и бревнышко поперек.

— Но твоя лодка слишком легка, — сказал Эль Куф. — Она не выдержит бревнышка поперек.

Прав был старый скептик. Лодка моя вся на веревочках, и балансир на ней не прикрепишь.

До самого вечера я ломал голову над этой задачей. Только потом меня осенило: можно просто привязать к обоим бортам по бревнышку. И плавучести больше и устойчивости. Надо было найти два не очень толстых сухих ствола. Я кинулся по берегу. Было уже темно, но, видно, сам черт пришел мне на помощь. Бревна я нашел. Я тащил, обливаясь потом, а рядом шел Эль Куф, тяжко вздыхал и бормотал молитвы.

Можно приглашать зарубежных корреспондентов. Пусть Васю Беклемишева узнает весь мир. Я плавал на лодке вдоль берега, я даже отплыл на ней по направлению к полюсу. Торпеда!

А дождик капал всю ночь. Я лежал во влажном мешке, а сбоку в палатке вздрагивал и повизгивал от холода Опс.

Сегодня день контрольного срока. С завтрашнего дня в эфире начинается шум. Через пять-шесть дней я покину остров.

С утра был ветерок. Так себе, не очень значительный.

— Опс, — сказал я, — давай сделаем за Ваську генеральную репетицию. С грузом, с палаткой, и ты сядешь в лодку. Я гарантирую тебе, что не буду отплывать далеко.

Почти целый день ушел на то, чтобы смастерить парус из вкладыша к спальному мешку. Но потом я подумал, что Ваське неловко плавать под парусом. Он же человек XX века. Я привязал к задним концам бревен обломок доски, сверху поставил мотор. На эту конструкцию ушли почти все палаточные растяжки. Но мотор держался.

Мы загрузили лодку и долго пили чай. Шел вечер и нес с собой тишину. Потом я зачем-то сходил к то-

му месту, где растет селена, и немного поговорил с ней.

Завели мотор и столкнули лодку. Я держал мотор на очень малом газу: лодка все же была из палочек и веревочек.

Мы проплыли немного туда и сюда. Потом я тихонько взял курс на юг, к проливу. Хотелось посмотреть в сторону, откуда прилетят спасатели.

Было гладкое море и темный воздух над ним. Вместо Опса вполне могла быть девушка. Только хорошо бы погоду чуть потеплее.

Мы дошли до мыса и немного заплыли в пролив. В проливе были качели. Они тихонько поднимали нас вверх и опускали. При абсолютно гладкой воде. Я чуть прибавил газ, но струйки воды стали угрожающе просачиваться сквозь брезент. Вода выжимала масло из ткани. Я оглянулся. Берег острова был совсем рядом, только ночью его глинистые обрывы походили на настоящие скалы. Опс тихо скулил: на дне лодки было сыро.

Встав на гранитный гарпун утеса,
Ждите в соленых брызгах и пене...

Я прочел ему стихи, и Опс замолк.

— Нас сейчас всего трое, старина, — сказал я ему. — Ты, море и я. То же самое море и другие люди. Два последних Робинзона. А что, если мы и впрямь последние Робинзоны на этой планете? А? Последние люди на последнем необитаемом острове. Страшная ответственность. Ты понимаешь?

Вместо ответа Опс лизнул меня в коленку. Как раз в то самое место, где была дырка. Хороший парень мой пес. Умный.

А мотор все посвистывал и посвистывал. Тепло было от него. Спокойно. Только воды уже порядком набралось в лодку. Я вычерпывал ее кружкой, не снимая руки с мотора.

«С тех пор, как плавал старый Ной, прошло немало лет...» Я не знаю, поумнели ли люди с тех пор. Во всяком случае, я принял решение. Мы повернули обратно. На повороте море качнуло лодку и плеснуло в нее водой. Наверное, было недовольно моторным стуком после моего разговора с ним.

В темноте наш берег показался мне уютным и милым домом.

Всю ночь я не спал. Лежал. Думал. Перед утром снова приплелся ветер. И принес с собой дождик. Дождь капал в палатку. Не успел я все же заштопать дырки.

Сегодня мы с Опсом будем переплывать пролив. Он лежит к югу от нас, холодный, затянутый грязной сеткой тумана. Попутный ветер будет дуть на наш хилый парусишко. А мотор я положу на дно лодки. Наверное, это чертовски глупо. Но я не могу иначе. А вдруг мы и в самом деле последние? Пусть же флаг великой эпохи необитаемых островов будет спущен достойно. Традиции всегда немного смешны. Тьму веков тому назад человек впервые столкнул с берега бревно и поплыл, держась за него. Наверное, это было на реке или на озере, но все равно это был первый день Времени Кораблей.

Сейчас я положу эту записку в бутылку и брошу ее в море. Традиции надо соблюдать до конца. Вместе с запиской я положу в бутылку два полузасохших цветка с этого острова.

...Я кинул бутылку в море. Волны покачали ее и снова положили к моим ногам.

— В чем дело, старина? — спросил я.

— Ушш-шш, — ответило море. Я понял. Я же забыл записать координаты. Любой мальчишка помнит об этом. Вот они.

68 град. 17 мин. сев. шир.

...вост. долг.

На месте долготы я нарочно ставлю кляксу. Тоже по традиции.

Нашедшему бутылку.

Приятель! Я не знаю, кто ты и откуда. И не знаю, через неделю или через сотню лет бутылка попадет к тебе в руки. Тебе, наверное, интересно, что со мной было. Для тебя это уже «было». Ни черта со мной не будет.

Объявят мне выговор. Возможно, строгий. Возможно, возьмут слово, что в дальнейшем... Но знай, что, когда я буду давать слово, я буду держать большие пальцы рук внутри кулака. В этом случае по старой морской традиции обещания недействительны. Ты думаешь, что дело было хуже?

Поверь, мы не утонем. Мы просто не имеем права уступать финикийцам. В любое время человек должен уметь повторить то, что делали до него.

Помни об этом. А при случае давай выпьем за то, чтобы чудаки и донкихоты никогда не исчезали. Они здорово помогают любить жизнь. И помогают ценить то, что было до нас и будет после. Только скучные народы в скучные времена могут обходиться без чудаков.

Прощай. Туман, лед и морские качели поджидают нашу лодчонку.

Анютка, Хыш, свирепый Макавеев

— Эй, Хыш, скоро? — спрашиваю я.

— Уже раскис, — говорит он, не оглядываясь, и перешагивает сразу через пять кочек.

Мы идем на юго-запад. Хыш и я. Идем к тем местам, где есть уличные репродукторы и нет кочек, где гуляют по тротуарам и не едят свиную тушенку.

Перед моим носом качается сутулая спина. Вторые сутки. Вторые сутки маячат передо мной стоптанные задники сапог.

— Терпи, салажонок, — повторяет Хыш.

Я прикусываю от злости губу, но помалкиваю. Возможно, я и есть салажонок по сравнению с ним, видавшим всякую жизнь человеком. Мы идем искать справедливость. Усталая человеческая спина маячит мне на пути к ней.

...Два месяца назад верткий самолет Ан-2 закидывал в горы последнюю партию груза. Среди груза был и я — вновь испеченный представитель рабочего класса. Бывают у человека в девятнадцать лет всякие идеи, которые сажают его на кучу тюков и под грохот мотора несут в неизвестность. Самолет сел у подножия какой-то невеселого вида сопки. Был снег, был темный обдутый камень и загадочные бородачи, бежавшие навстречу. Были три палатки. Я очутился в одной из них.

А на другой день я уже осваивал свою нехитрую «специальность». Надо пробить ломиком стаканчик — ямку, потом взрывник заложит туда аммонал, потом грохнет взрыв, и надо убрать дробленые камни, зачис-

тить дно канавы лопатой. Потом надо снова долбить ямку. После трех ямок я понял, почему на Севере канавы не копают, а «бьют». К вечеру первого дня я твердо знал, что до самой смерти не забыть мне сладковатый запах взрывчатки. Руки мои, спина моя не забудут. Все это немного походило на войну. Канавы ползли на сопку, как упрямые подкопы в осажденную крепость, ахали взрывы, и даже ломик в руках напоминал короткое и тяжелое римское копье. Наша партия искала молибден. Где-то под камнями, под каменной кожей сопки пряталась его руда. Я в жизни не видал молибдена, не знал даже, какого он цвета. Но вместе с другими бил канавы, а по нашим следам шло ученое начальство, которое знало.

— Привал! — объявляет Хыш.

Мы садимся на кочки, скидываем рюкзаки. Плотное облако комаров окружает нас. Хыш рвет сухую осоку, потому что больше нечего жечь на этой веселой земле. Желто-зеленая плешивая равнина окружает нас. Над равниной бесцельно слоняется ветер. Это тундра. Северная тундра и желтый август.

Две консервные банки стоят в тусклом травяном пламени, две пачки чаю лежат рядом. Хыш варит чифир. Знаменитый напиток, от которого разгибается усталая спина и сердце молотит, как гоночный двигатель.

...Был человек по имени Макавеев. Наш начальник. Я помню один день. В тот день первый раз показались гуси. Они шли на север торопливым ломаным строем. Я видел, как ребята в соседних канавах ставят ломики и запрокидывают головы. Я тоже бросил работу, тоже запрокинул голову и чувствовал, как что-то славянское шевелится у меня внутри. Это же был гусиный косяк в северном небе.

Снизу, из-за камней, вынырнуло красное лицо Макавеева.

— Эх, дробью бы шарахнуть, — сказал он.

— Жаль, — сказал я.

— Скажи, какой Гегель выискался, — ругнулся Макавеев. Он пошел дальше. Было удивительно, до чего легко нес он по камням свое огромное тело. Кричали в высоте гуси. Я снова взял ломик и подумал о том, что хорошо было бы, если бы Макавеев хоть раз показал нам, какая она есть, молибденовая руда. Может быть, я или другой из канавщиков случайно споткнется об эту нужную штуку.

С того дня за мной осталась философская кличка Гегель.

...Ветер разносит седую кучку пепла. Закопченные банки отброшены в сторону.

— Пошли! — командует Хыш.

Чифир сделал свое дело. Я даже иду впереди. Я иду впереди по пятнистой равнине, по самой макушке глобуса. Школьный шарик Земли послушно крутится ногам навстречу. Горизонт впереди все раскладывает и раскладывает товары по заманчивому прилавку. Среди этих товаров имеется море. Близко. Только снова сутулая спина вырастает передо мной, и горизонт превращается просто в кочки под ногами.

Спина человека по прозвищу Хыш. Я даже не знаю, как зовут его на самом деле. Была у него любимая поговорка: «Хыш бы ум у людей был, хыш бы немного». Так и прозвали: дядя Хыш... Я сильно невзлюбил его вначале. Можно было посмотреть на лицо и не читать биографию. Круглое, в вечной щетинке лицо, не внушающие доверия глазки. Сутулый, жилистый северный бродяга. Из тех, что не любят «мемуарных» разговоров, из тех, что не получают писем. Потом я привык к нему. Не одни же ангелы должны населять планету. Давно-давно отклонились люди от типового проекта господа бога.

Был еще один такой, отклонившийся. Человек по имени Васька. Взрывник. Он не бил бурки, не ползал с молотком по готовым канавам. Просто помогал заполнить стаканчик аммонитом и крутил ручку взрывной машинки. Стоял посредником между нами и взрывом. А через две недели даже не посредничал. Так посматривал, как мы все делаем сами, и рассказывал истории про разных неуков, которым отрывало пальцы, руки, а то и головы.

— Под суд за это дело тебя, Васька. Не позволяй.

А Васька улыбался в ответ во всю ширину гладкой рожи.

— Каждый из вас очень желает жить, — говорил он. И это было стопроцентной правдой.

Нас было восемь человек, которые «очень желали жить». Одинаковые ребята из разных мест. Все новички, кроме Хыша, крученого ветерана. Мы били бурки, делали за взрывника его опасную работу, полировали ладонями ломики, ворочали камни.

В коротких перекурах да перед сном «нащупывали» друг друга. Всегда интересно знать, что водит других по свету.

А Макавеев только говорил: «Давай!»

— Давай, — говорил он хмуро, — ленивые дьяволы. Иль вам, философам, деньги не нужны? — А сам все возился по готовым канавам. В глине всегда был человек, как будто не мы, а он в одиночку прокладывал по сопочному лбу канавные шрамы.

Нравился нам наш начальник. Нравился за то, что хмурый, за то, что работает сам до остервенения, за то, что не разводит словесной водички. С таким проще жить.

...Комары идут за нами густым шлейфом. Сколько тысяч я истребил их сегодня? Даже ладони почернели. Липкая темная паста покрывает лицо и шею.

— Хыш бы дождик пошел, хыш бы небольшой.

— Долго нам еще?

— Ша-агай!

Я шагаю, шагаю. Вот верь после этого всяким ученым книгам. Почти семьдесят градусных параллелей отделяют меня от экватора, а я задыхаюсь. От жары, от москитов, от кочковатой здешней Сахары.

...Было лето. Вынутая земля оползала обратно в канавы с ехидным кипением. На глубине одного метра она пролежала мерзлой, может быть, не одну тысячу лет, а мы вынимали ее с двух, а то и с трех метров.

Земля там была холодной, вся в мутных кристалликах льда. Это в первое мгновение. Потом грунт расползался в липкую жижу, и не было никаких сил удержать его наверху. Казалось, что земля, как живая, стремится обратно в канавы. Макавеев говорил «давай», мы давали. Давали так, что брезент рукавиц приставал к ладоням. А земля стремилась обратно, где ей было так холодно и спокойно. От этой войны хмурели ребята.

— Когда кончим гнать эти канавы, начальник?

— Почему не ходят письма, начальник?

— Осточертела нам тушенка, товарищ Макавеев.

А Макавеев только поглядывал на нас. Так, в половинку глаза поглядывал. «Для почтового отделения не нашлось, видите ли, палатки и спецсамолета. Ананасов на складе нет». Он всегда говорил с нами между прочим, и вторая половинка его взгляда была вечно прикована к земле. Впереди канав все росли и росли линии бе-

лых колышков. Эти колышки означали новые канавы. Когда только Макавеев успевал их ставить?

Мы работали утром и вечером. Мы работали по ночам. На наших глазах солнце падало на рыбьи спины хребтов и, еле коснувшись, снова взмывало вверх. Это были лучшие часы. Днем мерзлота оживала, а не было способа воевать с ней. Мы брели в палатку и ложились на осточертевшие нары. Заводили разговоры. О мотоциклах, о Люсях и Нинах, о всяком коловращении жизни. Однажды зашел Макавеев. Слушал, сплевывал на пол. Потом сказал: «С сегодняшнего дня зарплата вдвое». И ушел. На сопку, к своим камням и колышкам. А мы озадаченно молчали. Вроде бы ведь не частной фирме предложили мы свои руки и спины, не для Макавеева рискуем со взрывчаткой. Но ведь он это сказал. Ему виднее, когда и какие расценки. У него рация есть, и по вечерам пищит морзянка неизвестные нам приказы.

— Это за счет прогрессивки, — сказал кто-то.

— Значит, на «Москвича» зашибу, — сказал другой.

— Справедливо. На износ работаем, — сказал третий.

Кто-то встал и пошел к выходу, кто-то потянулся за ним. А сосед мой по нарам затянул потуже бинт на помятой камнем руке и тоже встал. Вскоре в палатке остались Хыш и я. И черт бы меня побрал, чувствовал я, как независимо от сознания пощелкивает где-то в уголке мозга радужный арифмометр. «Если вдвое, если раньше две с половиной, то будет пять. А если пять...» И летели из арифмометра щекочущие искорки.

— Что же, Хыш, — сказал я, — лови момент. Может, завтра опять снизят... — А бродяга только мелькнул по мне светлыми глазами и вынул мятую пачку «Прибоя». Пошел я на сопку.

Шикарная все же штука — этот принцип материальной заинтересованности. Ребята прямо как заводные бились на этой сопке. Молчали теперь про письма, молчали про ананасы. А хитроглазый Васька-взрывник расхаживал по отвалам и увлекательно повествовал о том, что имеется на свете. О девочках с Охотного ряда, о друге Коле, имевшем всамделишный «паккард», о том, как кормят в ресторане «Золотой рог» в городе Владивостоке, про двух дурех официанток из города Воронежа. Много тем знал этот Васька.

За пять минут до того, как заснуть, кто-либо бормо-

тал про канавы. Раньше они метались по сопке без всякого порядка, а теперь шли рядами. Школьник бы понял, что какую-то жилу заставлял нас нащупывать Макавеев. Кто-то вспомнил про Васькины намеки насчет премии за первооткрывательство, и мы засыпали под сладкий шепот возможностей, а утром подмигивали голозадой красотке, что черт знает откуда возникла над столом с окурками и недоеденными консервами. А Макавеев все так же был в стороне и все так же мерил верхушки сопки шагами. Когда спал человек, спросите у здешнего бога.

— Хорошо бы выпить, — мечтательно хрипит Хыш.

— Придем в поселок и выпьем, — солидно соглашаюсь я.

Мы делегаты. Ходоки от имени рабочего класса. В моем кармане лежит письмо, и под ним семь подписей рабочих четвертого разряда. Восьмая подпись вышагивает впереди.

...Макавеев ударил Хыша. Ударил так, что голова у Хыша дернулась, как на резинке. А ведь вместо резинки была жилистая шея привыкшего орудовать ломиком человека. Дождь был в тот день. Дождь и туман. Бывает здесь такая погодка. К полудню туман ушел, дождик остался. Я видел, как справа и слева подрагивают в такт ударам согнутые спины ребят. Васька помаячил возле нас минут пятнадцать, потом попрыгал вниз к палаткам. Хоть бы на камне поскользнулся, гладкая рожа. Хыш впереди меня начинал зарезку новых метров. Постукивал киркой по камням да часто вынимал папиросы, а я кончил бурку и возился с детонатором. Откуда-то сбоку выплыл Макавеев, огромный, как Будда, в мокром плаще. Крутил в руках какой-то камушек. Я видел, как он подошел к Хышу. Я даже удивился — нечасто уделял Макавеев внимание нашему брату. А ветер прыгнул сверху и донес слова: «Значит, сказать?» Не знаю, что ответил ему Хыш, только Макавеев поднял руку, и раз и два раза голова у Хыша дернулась, как ватный пустяковый мячик, и кирка выпала у него из рук.

Мы окружили их плотным кольцом. Чей-то сапог прижал грязную ручку кирки. Но Хыш, ветеран экспедиции Хыш, и не пробовал поднять ее и снести Макаве-

еву голову. Зажал он ухо, бормотал что-то несуразное. По чугунному макавеевскому лицу ползли капли.

— Ну что ж, жучки, — сказал Макавеев. — Обманул я вас немного двойными расценками. Знал, что вы из-за денег сопку срыть готовы... — И он, бесстрашно сплюнув прямо на наши ноги, пошел вниз. Никто не стал его догонять. Бурки, заправленные взрывчаткой, остались невзорванными. Листы бумаги, приготовленные для писем, легли на стол в нашей палатке.

«Уважаемый товарищ прокурор! Пишут вам рабочие одной разведочной партии. Мы жалуемся на то, что наш начальник товарищ Макавеев оказался проходимцем и последним хулиганом, которым не место в советском обществе. Он обманывал нас с расценками под предлогом повышения производительности труда, а сегодня ударил одного из нас.

...мы понимаем, что трудности... мы готовы, если надо... мы просим убрать нас из этой партии, либо уволить и наказать нашего начальника товарища Макавеева».

Цистерны благородного негодования вылились на бумагу. Соглашались работать даром, если надо. При условии человеческого отношения и разъяснения задачи. Макавеев подсылал к нам взрывника Ваську. И этот холуй из палатки начальства сладко пел про невозможный план, про материальную заинтересованность, про производительность труда. Выкинули мы холуя Ваську из палатки. Тогда Хыш повернул к нам ставшее несимметричным лицо и сообщил, что он не будет работать даром, но не будет и подписываться под жалобой на Макавеева. Мы скрипели зубами. О, плебейская душа, Хыш! Где, на каких километрах растерял ты остатки гордости и что в твоей темной душе осталось еще такое, что ты прямо в чугунное макавеевское лицо сказал про обман?

Бумага была составлена, и семь подписей украсили ее внизу. И впервые мы легли спать, как люди без цифр, без шуток по поводу голозадой красотки.

А утром Хыш объявил о своем согласии. В делегацию попали двое. Он — за то, что бит и знает дорогу, я — за умную кличку Гегель.

Ребята кучкой стояли у входа и молча тянули шершавые ладошки. А чуть дальше стоял идолом Макавеев. Мы прошли от него в двух шагах. Прищурил Макавеев раскосые азиатские глазки, и, черт, показалось, как что-то человеческое мелькнуло у него на лице.

Я начинаю отставать. Кружится голова. Нервный зуд лихорадит тело. Это от комариного яда. В комариных укусах есть яд.

— Хыш, — говорю я, — я первый год, ты знаешь. Что, везде начальство такое?

— О-о, — отвечает Хыш, — Макавеев наш прост. Он, как бык, только стенку видит, а ворот не замечает. Ты послушай...

Я слушаю рассказы о невероятной хитрости и коварстве разных типов, с которыми имел дело богатый опытом Хыш. Я забываю, что завел Хыша на разговор только ради более тихого хода. Ради моих усталых ног.

— Хыш, а ты в школе учился?

— Чудак, Гегелек. Кто же нынче не учился?

— Но все равно ты уже забыл. А я помню. Татьяна Ларина. Бедный Вертер. О чем думал Фауст. А про канавы ни слова.

— Умнеешь ты, Гегелек, — хрипит Хыш.

Ох, я не умнею, я изнемогаю. Давно уже с потом вышел из меня чифир, комары высосали мою силу. Все кочки, проклятые, кочки. А Хыш даже не повернет в мою сторону свой пипочный нос. Не надо мне справедливости. Не надо денег. Не надо тундры.

— Ты ставь ноги в промежутки. Так легше.

Знаю я эту теорию. Я ставлю ноги между кочками, ставлю их на мохнатые головы, ставлю куда попало. Темные черепашьи панцири холмов стоят перед нами. Их много впереди, они фантастически далеки друг от друга. Временами я теряю чувство расстояния. Кажется, что Хыш далеко на горизонте и его огромная фигура рассекает холмы, как волны.

Было в детстве такое занятие: смотреть на мир сквозь цветное стеклышко. Скучная, такая привычная улица становится похожей на сказку о дальних странах. Был еще калейдоскоп. Он здорово врал бездумной игрой своих стеклышек.

— Ты видал калейдоскоп, Хыш? Трубочка такая.

— Для детишек это.

— Красиво в нем. А представляешь, вдруг бы вместо этих узоров во всех трубочках мы. Тундра. Да еще Макавеев.

— Чу-удишь.

Поговорить бы еще о чем. О том, как с тихим звоном лопаются мои нервы. Мои неокрепшие молодые нервы. О том, как мы войдем через день в поселок. О листе

бумаги и первой фразе: «Здравствуй, милая мама». Я, как во сне, карабкаюсь на скользкий глобус. Ноги мои отсчитывают холмы. Час. Два часа. Три.

— Смотри, салажонок, на море!

Море. Я вижу только, как тундра невдалеке отчеркнута ровной полоской. Далеко за полоской стоят снежные горы, на той стороне залива. А между ними пустота. Только ветер оттуда тревожит душу.

Ленивая чайка пренебрежительно машет крыльями нам навстречу.

— Будет сейчас одна избушка, — неохотно говорит Хыш. — Чукча там с дочкой живут. Там и передохнем.

Я чуть не плачу от злости. Близко избушка! Что ж молчал ты, старый эгоист? Ведь не забыл же? Я же знаю, что всю зиму таскались вы тут с тракторами.

Потом моим полита дорога к прокурору.

Тяжел путь к тебе, справедливость!

Я вижу море. Зеленую, морщинистую кожу воды. Торфяной обрыв. И на обрыве, совсем чужая этому миру, стоит избушка. Даже дом, а не избушка. Несколько собак трусливо облаивают нас с высоты.

— Эй, есть кто? — кричит Хыш.

Никого нет. Солнечное тепло идет от обложенных дерном стен.

— Эй!

Щелястая дверь приоткрывается, и я вижу, как боком, словно маленький рачок-бокоплав, выходит из избушки существо — крохотная темноволосая девчонка в крохотном меховом комбинезоне, в крохотных торбасах. А над всем этим крохотным торчат темные, любопытные, испуганные глазищи.

— Здравствуй, Анютка, — сказал Хыш.

— Здравствуйте, — прошептали глазищи.

Мы входим в избушку. Здесь прохладно и сухо. Густой нерпичий запах окутывает мне голову. Я вижу круглую железную печку, дощатые стены, низкий столик, широкий топчан у стены. На стенке развешены две винтовки, какие-то шкурки, мотки ремня, торбаса. Два потемневших плаката призывали нас встретить день выборов трудовыми успехами. Распижоненный горнолыжник мчался по склону. Девица в красном купальнике стояла на берегу неизвестных вод.

— Тебя как зовут? — спросил я, отрываясь от девицы.

— Анкай, — прошептал меховой комбинезон.

— По-ихнему значит Маленькая Аня, — комментирует Хыш, потрогав пальцем купальник.

Девчушка громко прыскает. Я оглядываюсь. Белозубый развеселый чертенок глянул на меня с порога. Одно мгновение. И снова мохнатый серьезный гномик смотрит навстречу.

— Сделай нам чай, Анютка, — добрым голосом сказал Хыш.

Что-то шумнуло, хлопнуло дверью, звякнуло чайником. Топор затюкал за стенкой. По-человечьи вздохнув, Хыш сел на нары. Я вышел на улицу.

Черный, в бисеринках воды чайник болтался на треноге. Маленькая Анютка огромным топором тюкала по огромному, как кашалот, плавниковому стволу. Я взял у нее топор, стал отсекать от кашалота синеватые щепочки. Рразз — щепки исчезли из-под самого лезвия топора. Я даже охнул от испуга. Раз, два, три. Синий дым окутал чайник. Раз-два... Анютка вынырнула с другой стороны дома. В руках у нее была ощипанная птица. Мне показалось, что кудлатая псина у двери недоуменно тряхнула головой. Растерянно качнулась земля.

На чашках остался привкус морской воды. Их мыли в море. Это были очень интересные, с цветочками чашки. Я никогда не видал таких в магазинах. Мы сидели на низких скамейках, расстегнув ковбойки. Наша хозяйка где-то успела переодеться. Я вижу не очень чистое ситцевое платьишко и смешные ботинки с загнутыми носками. Смуглые руки лежат на коленях. Из-под топчана выползает лохматый щенок и дружелюбно смотрит на нас.

— Бобик, — говорит Анютка.

— Бобик?

— Бобик. — В комнате хихикнуло, как будто вспыхнула и погасла спичка. Щенок радостно тявкнул.

Мы закурили. Хыш лежит на широких досках, смотрит в потолок. Наверно, «точит» злобу на Макавеева. Окурок дугой метнулся к порогу. Хыш затихает.

Я иду по берегу. Собаки, как по команде, двигаются следом. Среди голых галечниковых куч непонятным образом растет трава. Море подталкивает к ней желтые ремни морской капусты.

Сзади стукает камень, и вперед выбегает Бобик. Он смотрит на меня преданными глазами, только ноги у него приплясывают совершенно независимо от головы.

— Ты в школу ходишь, Анютка? — спрашиваю я воздух за спиной.

— Да, — дохнуло оттуда.

— В интернате?

— Да.

— Какой класс?

Ответа нет. Я оглядываюсь. Анютка стоит метрах в трех от меня, и снова я вижу только два черных, неправдоподобно блестящих сгустка любопытства: было семь чудес света, я — восьмое чудо.

— В первый?

— Не-ет.

— Второй?

— Не-ет.

— Третий?

— В первый. — Анютка застенчивой каруселью обходит восьмое чудо света.

Бестолковый Бобик пробует укусить приливную волну. Я не знаю, сколько времени мы молчим, только за это время солнце успевает стукнуться о далекие горы и снова взмывает вверх, как радужный детский шар. Отчаянная усталость подползает сзади из тундры и хватает меня за горло. Я еле успеваю добрести до избушки и упасть на нары. Колыбельный запах шкур и звериного жира уносит меня в темноту.

— Товарищ прокурор, — бормочу я. — Позовите сюда судмедэксперта. Пусть он вскроет меня, и вы увидите внутри убитые идеалы. Макавеев глушил их по голове большими кусками камня.

Просыпаюсь от кашля. Хыш сидит на нарах в майке и курит. В углу Анютка сшивает какие-то тряпочки.

— Смотри ж ты, — говорит Хыш, — до чего приспособилась к этой жизни.

Он зевает с отчаянным вывертом.

И остаток дня просто куда-то исчезает.

Хыш забрал себе «Беломор», лежит на солнышке. Греет щетинку. Под треножником безостановочно курится дым. И целый день я наблюдаю, как мелькают мимо меня ситцевое платьишко и ботинки с загнутыми носками. Анютка появляется сбоку, сзади и спереди. Она возникает на фоне стен, тундры и моря. Временами она просто повисает в воздухе.

— Пора идти, — говорю я вечером Хышу.

— Куда? — лениво спрашивает он.

— Не меня ведь били. Тебя, Хыш, били.

— Это ты верно подметил, Гегелек.

А через минуту он вскакивает в веселом оживлении.

— Эй, мышонок, чукча твой возвращается! — кричит Хыш.

Мы втроем сидим за столом: Хыш, я и темноволосый темнокожий тихий человек.

— Ты давай, давай, — говорит Хыш и делает рукой понятный всем народам мира жест. Анюткин отец извлекает из мешка бутылку. Хыш берет на себя руководство. Раз-два-три-четыре — булькает он в свою кружку. Потом передает бутылку нам. Северный мужской обычай: каждый льет себе сам. Мы булькаем в свои кружки. Я с гордостью посматриваю на себя со стороны. Сидят взрослые мужчины, пьют спирт. Полярный охотник, бывалый человек Хыш и я. Бывалый человек и полярный охотник хмелеют. Я, наверное, тоже.

— Привет тебе от Макавеева, — пьяным голосом говорит Хыш.

— Макавеев, о-о!

— Гад Макавеев, — говорю я.

— Прибавочная стоимость, — бормочет Хыш. — Ты темный охотник, ты не знаешь, что такое прибавочная стоимость, а я знаю. Я работал однажды с оч-чень уч-ченым жуком. Он мне говорил, как раньше выдумали прибавочную стоимость. Но я умнее того жука, я понял его по-своему.

— Слышал ты звон, Хыш, — говорю я. — Это из буржуйской политэкономии.

— Нет, — спорит Хыш. — Ты сопляк. Я знаю: каждый человек вроде невелик. Но в нем есть добавка. Добавку можно взять, если сумеешь. Вот друг Рычин. Это хорошо. Но я знал, что у него есть еще и бутылка. И видишь, прав. Тоже политэкономия.

— Макавеев, о-о!

— Макавеев тоже знает политэкономию.

Я ухожу от этой пьяной дребедени. Сегодня мир синего цвета. По морю прыгает зыбкая рябь. Я обхожу избушку и вижу Анютку. Она сидит на завалинке под самым окном. Серьезно жует пряник. На земле перед ней стоит большой деревянный ящик. Лупоглазая дура-кукла прислонена к окну. Я наклоняюсь над ящиком. Он почти весь забит книгами. «Робинзон Крузо», «Путешествия по Южной Африке» Ливингстона, «Мойдодыр» и книжка академика Тарле о Наполеоне.

— Это тебе отец подарил, Анютка?

— Нет, — шепчет она.

Я открываю «Робинзона». «Веселому чукотскому лучику Анютке. Вырастай скорей и читай эти книги. Николай Макавеев».

Из окошка все бубнят и хрипят голоса.

— И он просил у меня прощения. Все дрыхли, а он сказал: «Ударь меня, Хыш...»

Пьяноватый смех Анюткиного отца.

— Не надо. Не надо ударять Макавеева.

— Ты чудак! — похрипывает Хыш. — Семь лет. Вот ты тундровик, а скажи: кто из вас спускался на льдине по всему Пыхтыму? Никто! Никто! Только мы с Макавеевым, как на лодке.

— Макавеев, о-о! Большой друг.

— Это я друг. Молокососы хотят сожрать Макавеева. Письмо прокурорам пишут. И этот шпиндель, что со мной, думает его съесть.

— Не надо. Не надо есть Макавеева.

— Тяжело Макавееву. Жилы там, как рваные нитки. Бестолковые жилы на этой сопке. Там пять лет копать надо, а он желает за один сезон. Понимаешь? А раньше? Не захотел ждать неделю. И пожалуйста, плыви на льдине, как белый медведь.

— Макавеев найдет.

Я беру в руки куклу. Машинально. Это очень дорогая блондинка из тех, что знают «папа» и «мама». Анютка вытягивает ручонки, чтобы, не дай бог, не уронил я это чудо техники.

— И куклу Макавеев?

— Дядя, — говорит Анютка и кивает на окно. И тихонько тянет ее у меня из рук.

— Но я сказал так: я не буду ударять тебя, Николай. Я пойду к Анютке и переживу свою злость. И обману заодно этих с их прокурором. Знай, Макавеев, душу Хыша.

— Не давай молодым съесть Макавея.

— Хыш бы ум у них был, хыш бы немного.

— Хеппи энд, — тихонько говорю я сам себе. — Падает розовый занавес. Публика в слезах.

В избушке звякают чашки. Булькает спирт.

Черноволосая Анютка держит на коленях куклу-блондинку. Ветер листает страницы «Робинзона Крузо».

...Я дождался, когда бывалый человек и полярный охотник уснули. И Анютка заснула возле своего ящика. Я взял рюкзак и тихонько приоткрыл щелястую дверь.

С моря шла изморось. Лицо и руки сразу стали влажными. Две собаки шли за мной следом, потом вернулись. Берег убегал на север абстрактным изгибом. Я шел к поселку. К тому, где живет прокурор. Шел и все щупал зачем-то бумагу в кармане. Бумага была цела. Шел я очень тихо. Два раза садился перемотать портянку. Я злился на себя. Я все ждал, что Хыш будет меня догонять. Очнется, поймет и догонит. Так я шел тихо, все оглядывался и обдумывал свой разговор с Хышем.

Я сказал бы ему равнодушно: «Я иду в поселок за калейдоскопом. Знаешь, такая трубочка. Я решил подарить Анютке калейдоскоп и набор для цветного фото. Там очень хорошие разноцветные стекла».

Может быть, мы совсем не будем говорить об этой бумаге. Бывают же очевидные ситуации. Так, поболтали бы о разноцветных стеклышках и прочих нейтральных вещах. Но, может быть, Хыш коснулся бы и этой темы. Пожалуй, он ее обязательно коснется. Тогда лучше всего просто спросить: «Для чего созданы голова и лицо человека, Хыш? Во всяком случае, не для того, чтобы по ним били. Нет таких людей, которые имеют право бить, и нет такой цели, которая это оправдывает. Где, кто и когда научил тебя терпеть, когда бьют?»

Догони меня, Хыш. Ты же видишь: я так тихо иду.

Где-то возле Гринвича

Летняя арктическая навигация — время тысяч радиограмм. Два года назад среди многих тысяч смешных, отчаянных, деловых и пустяковых, служебных и личных из-под ключей двух радистов ушли пять следующих:

«Ленинград штабу арктической навигации:

Пароходы «Алтай» «Умань» шедшие Владивостока наткнулись конце маршрута крупное ледяное поле протяжением север тчк Попытке обогнуть юга сели мель поблизости друг друга тчк Неожиданным штормом севера выброшены берег жертв нет груз цел частично».

«Медвежий штабу проводки восточного сектора:

Почему прозевали поле».

«Ленинград штабу арктической навигации:

Катастрофа произошла средине трехсоткилометрового

участка между известными вам станциями наблюдения тчк Ледовая разведка погоды бездействовала».

«Ленинград штабу арктической навигации:

Комиссия расследования причин катастрофы предлагает организацию дополнительной сезонной станции наблюдения наиболее удобным местом считаем малый остров вблизи указанных координат состав поста достаточно три человека».

«Медвежий штабу проводки восточного сектора:

Организуйте пост».

Радисту первого класса Гошке Виденко оставалось до отпуска ровно пять с половиной месяцев. Он жил на очень хорошей полярке, где каждый имел отдельную комнату, было паровое отопление и почти постоянно полный штат сотрудников, включая повара и второго радиста. В начале марта к одному метеорологу приехала жена: тоненький с косичками радистик. Из-за этого начальству показалось очень удобным отозвать Виденко в центр. Специально за ним прислали приземистый, весь в снежной пыли и грохоте вездеход. Через несколько дней радиста первого класса Виденко назначили начальником временной выносной полярной станции на маленький остров, который на крупных картах напоминал коричневую запятую, на мелких — мушиный след, а на еще более мелких его и вовсе не было видно.

Виденко тщательно рассмотрел остров на всех картах, окрестил его «кляксой» и стал составлять заявку на снаряжение. Он добросовестно вписывал в заявку сотни предметов, которые были нужны или могли понадобиться в разных непредвиденных обстоятельствах, а рачительное руководство старательно вычеркивало из составленной Виденко «простыни» все, что могло понадобиться на центре или на других постоянно действующих станциях.

Вторым человеком на станцию назначили курсанта Макова. Он прилетел в поселок Медвежий на гидрологическую практику. Из курсантского формуляра стало известно, что год назад ему присвоены права радиста третьего класса. Это решило вопрос: курсанта Макова откомандировали на ВПС метеорологом с продлением практики на месяц за счет курсантского отпуска. Маков написал домой в Архангельск, что в отпуск не приедет, и сменил шинель и полуботинки на полушубок и серые валенки казенного образца.

Третьим человеком на станцию был назначен Николай Сомин. В штатном расписании он числился как по-

вар-механик. По стажу работы на полярках он мог бы давно уже быть начальником одной из них, но мешала ему одна небольшая слабость, свойственная, впрочем, и многим другим людям.

От поездки на станцию Сомин пробовал отказаться. Ровно год назад он запоздало женился на блондинке из продуктового магазина. У блондинки имелась дочь. Эдакое шестилетнее существо, отец которого числился в неизвестных. Сомин не хотел оставлять надолго блондинку. Кроме того, многие годы зимовок как раз подготовили его к тому, чтобы он просто до неприличия привязался к шестилетнему существу. Об этом Сомин говорить, конечно, не стал. Просто сослался на печень и заслуженный ревматизм. Ему сказали в шутку, что печень очень хорошо лечится в удалении от магазинов. А потом всерьез вывесили приказ о назначении. После этого спорить было бесполезно. За десять лет его научили не спорить против приказов, вывешенных на доске в районном штабе навигации.

Первый раз они увидели остров с самолета. Ледовая разведка начала рекогносцировочные облеты, и им предложили осмотреть свое будущее хозяйство с воздуха.

Они прошли над островом бреющим полетом. Плоская макушка его была вся в черных проплешинах, потому что ветры сдули снег, с северной стороны торчали коричневые зубья скал и на западе тоже торчали скалы, только на юге остров сбегал в пролив пологим склоном, переходящим в песчаную косу. Наверное, летом на этой косе любили сидеть чайки, а волны выкидывали на нее длинные ленты капусты и бревна с размочаленными концами. Через десяток секунд внизу снова был один лед.

— Тоже мне... земля, — пренебрежительно сказал первый пилот, и руки его погладили ручки штурвала.

Виденко оторвался от окна и посмотрел на кожаные спины второго пилота и штурмана. Это были широкие спокойные спины полнеющих от постоянного сидения в летных креслах людей.

— Все-таки земля, — сказал он с надеждой.

Но ему никто не ответил. Маков прилип к окну, рассматривая лед. Николай же Сомин курил, будто все это его не касалось. Самолет набирал высоту. Возможно, он сейчас как раз пересекал знаменитый круг Гринвича, от которого считают меридианы, а корабли меняют даты, перескакивая через число или дважды отмечая один

и тот же день недели. Их островок находился в сорока километрах от линии перемены дат.

В конце апреля они пришли сюда на двух тракторах. Обычные потрепанные ДТ-54 с недостающими траками на гусеницах, помятыми радиаторами и утепленными войлоком кабинами. Один трактор тащил на санях сколоченную из вагонки будку, сани другого были загружены двухсоткилограммовыми бочками с бензином и соляркой, на бочках лежали доски и фанера, на фанере — исполосованные надписями ящики.

Трактористы были поселковые и не знали дороги. Впрочем, дорога была простая: вначале вдоль берега губы на север, потом еще сто сорок километров к востоку, тоже вдоль берега моря, мимо одинаковых белых куполов сопок, черных обрывов, заснеженных речных долин без названия.

Когда обрезали перевал у Утиного мыса, лопнуло водило передних саней. Его заменили скрученным вдвое дюймовым тросом. Потом в короткой, похожей на корыто долинке они провалились в снежный нанос по самую выхлопную трубу. Пришлось лопатами докопаться до тросов, отцепить сани, промять дорогу и потом уже вытащить сани поодиночке.

На вторые сутки они увидели корабли. Солнечная апрельская белизна заливала мир. Снег скрадывал расстояние, и издали казалось, что они подходят к двум небольшим черным предметам, не то домикам, не то просто консервным банкам, брошенным кем-то после короткого дорожного завтрака.

Вблизи пароходы были громадны. Всесильные чукотские пурги пытались забить их снегом, но снег сумел дойти только до нижних лопастей винтов и замер около них твердым, как лед, сугробом. Дул ветер, но около кораблей стояла призрачная тишина. Апрельское солнце грело металл, и из впадины якорного шлюза «Алтая» свисал суставчатый лед сосулек.

Они немного поспали прямо в кабинах тракторов. От работающих дизелей шло тепло, ритмично вздрагивало сиденье, но Виденко физически ощущал тишину снаружи. То была особая тишина, установившаяся возле мертвых кораблей.

Через день они подошли к проливу. Трактористы боялись идти по морскому льду, щупали его ломиками. Потом им это надоело, и они пошли напрямик, на четвертой скорости, только дверцы кабины были на всякий слу-

чай открыты. Зеленые пятна молодого льда выглядывали из-под синего вечернего снега, впереди торчали черные скалы острова, и красная полоса апрельского заката виднелась на западе. Было светло, но на небе уже горела неярко какая-то одинокая звезда. Может быть, Полярная.

Связавшись тросом, тракторы с натугой втащили на плоскую вершину острова будку. Потом — сани с половиной груза. Потом сани спустили вниз, придерживая их за трос одним трактором, и втащили вторую половину груза. Гусеницы разворочали спрессованный ветром снег, обнаружилась кочковатая мерзлая земля с мертвой, желтой осокой, щебенкой и черными комочками торфа. На вершине острова похаживал едкий ветер.

Ночью трактористы ушли. Они торопились уйти обратно, пока ветер не перемел след, пока дизели работали исправно, пока снег сохранился твердым в горных долинах. В такой дальний рейс они попали впервые, поэтому боялись многого, чего, может быть, и не стоило бояться.

Трое остались стоять под снежным обрывом. Они казались близнецами в своих полушубках с поднятыми воротниками, неуклюжих цигейковых рукавицах и серых валенках казенного образца. Тракторный след уползал на запад и уводил в синий холод пролива грохот моторов.

— С чего начнем? — спросил Виденко.

— У нас с любого конца начало, — ответил Сомин и застегнул на полушубке самую верхнюю петельку.

Маков же ничего не сказал. Просто промолчал.

Трое поставили в будке печку и затопили ее. Дым падал из железной трубы, прижимаясь к земле. Северный ветер растаскивал его по всему острову. Возможно, это был первый дым над маленьким островом невдалеке от знаменитого круга Гринвича. Они подумали об этом утром, когда Маков вынул новенький «Зенит» и предложил сфотографироваться около будки (валенки, полушубки, в зубах папироса, одна нога на ящике, в руках карабин). Потом они отложили фотоаппарат и забыли о нем на весь этот день и еще на многие другие дни. Они начали разбирать грузы.

Его было очень много, этого груза. В зеленых ящиках лежали два комплекта радиостанции «Паркс». Их надо было разместить по всем правилам с прямоугольными изгибами токопроводов, медным блеском экранов, таблицами волновых поправок, прикрепленным к стене спис-

ком частот абонентов, переключателями, перемычками и сотней других мелочей, которые устанавливаются на месте. Готовых мачт для антенны у них не было. Они сделали мачты из трехдюймовой брусчатки, соединяя ее «внакладку» гвоздями. Если такие мачты ставить на крепких стальных растяжках, они могут стоять долгое время и в сильные ветры. Из обложенных опилками бутылей они залили аккумуляторы, соединили их в серии и после трехдневных чертыханий расконсервировали двигатель.

Для аккумуляторов и двигателя пришлось выстроить из толя и обломков досок специальную будку. В эту будку не забирался северный ветер, к тому же теперь можно было греть руки о выхлопную трубу. Из последних остатков толя и досок они сделали еще одну пристройку — для продуктов. По установленной свыше норме, продуктов полагалось на сорок рублей в месяц каждому. На троих на шесть месяцев это было очень много. Просто удивительным казалось, что они съедят такую кучу крупы, мясных консервов, спрессованной в круги сухой картошки и капусты, сливочного масла и сахара.

Несколько раз они связывались с помощью антенны-времянки с соседней к востоку станцией. Эта станция стояла на низком галечниковом мысу, выдвинутом далеко на север. И хотя мыс мало чем отличался от острова, все же это был материк, и у них можно было спрашивать всякие новости. «ЦСКА, как всегда, лидирует по шайбе... Мухин женился на поварихе с острова Длинного... на острове Хейса новая высокоширотная экспедиция... Ермилин с лагуны улетел в отпуск. Как дела у вас?» — «Загораем, как в Сочи на пляже...» — «Ха-ха», — старательно выстукивали в ответ, что на радистском жаргоне отмечает крайнюю степень веселья. Они кончали связь и через несколько минут слушали, как мощная рация соседа передает в центр лаконичную радиограмму: «Связь с УКЛ установлена во столько-то часов, столько-то минут. Все нормально, работа продолжается».

Ровно на двадцать первый день они сами вышли на связь с центром в 13.15 по московскому. Не то чтобы они считали дни и минуты, но им положено было выйти на связь с центром в этот день и эти минуты. На всякий случай у стола собрались все трое. «УДС, я — УКЛ... прием». Центр ответил им бешеной дробью. Они поняли, что великий маг и волшебник ключа Овчаренко делает

смотр. Виденко успел переключиться на предусмотрительно заготовленную «дрыгу», иначе ЭК-1, который вдвое увеличивает скорость передачи в умелых руках. Он отбарабанил текст рапорта о готовности. На той стороне лихо выдали радиорасписку. Виденко выждал ровно десять секунд, добавил «це эль», «кончаю», выключил передатчик и облегченно сунул в рот папиросу. Маг и волшебник Овчаренко мог убедиться в классной работе.

...В этот же день они впервые обошли остров кругом. Воздух был влажен, и снег с первых шагов стал налипать на валенки. Они взяли с собой карабин — старый охотничий карабин калибра 8,2 с большими медными гильзами и пулей с мягким свинцовым наконечником. Другого оружия у них не было.

Они спустились вниз по пологому склону и пошли по льду мимо скал и торосов. Кое-где между торосами стояла вода, но трещин еще не было. Подтаявший снег хранил песцовые следы. Трое долго смотрели через пролив. На той стороне тоже торчали скалы, но там были и ровные долины, где водятся зайцы, где живут в кустах куропатки и встают после зимнего сна медведи.

Ни один из троих не имел права оставлять территорию острова «до особого распоряжения полномочных лиц». Около избушки они немного постреляли по консервным банкам. Карабин давал слабые хлопки, и пули пролетали мимо банок. Может быть, был виноват расхлестанный за многие годы службы ствол карабина, а может быть, неверный свет полярного дня.

В будке Виденко вынул из мешка одну из трех бутылок коньяка. Он хотел сказать какой-нибудь тост, но передумал и сказал: «Давай, мужики, по стопочке». Они выпили, не чокаясь, из зеленых трехсотграммовых кружек и закусили холодными консервами. Коньяк очень сильно ударил в голову, но они знали, что это от усталости и что это пройдет, если выпить еще немного, но больше уже не пить совсем. Они открыли вторую бутылку.

— За открытие станции,— сказал теперь Виденко.

— Чтоб все было как надо,— сказал Маков, и они посмотрели на Сомина.

— Будем здоровы,— сказал Сомин и быстро выпил, не крякая и не морщась. Он немного побледнел от выпитого, и глаза его чуть одичали. Виденко подумал, что сейчас он предложит распить третью бутылку, которую

они не имели права открывать. Но Сомин просто пошел и лег на свою койку.

— Надо пристрелять карабин,— сказал Маков.— Будем ходить на ту сторону. Носить мясо.

— Нельзя на ту сторону,— сказал Виденко.— Ты же знаешь. «До особого распоряжения полномочных лиц».

— Кто нас здесь видит? — сказал Маков.— Свое королевство.

— У нас на мысе Песчаном был начальник,— сказал из угла Сомин.— Человек был. Без медвежатины не сидели, без спирта тоже.

— Кто? — спросил Виденко.

— Нашлась одна стерва среди семи человек,— продолжал Сомин.— Убрали начальника.

— Донос — последнее дело,— сказал Маков.— Мы в училище таких ох и лупим.

— С дипломом и без доносов прожить можно,— буркнул Сомин и замолчал совсем.

Тревожный полусвет майской полярной ночи лез в окно. Спать не хотелось. Виденко вынул из чемодана две фотографии одесских улиц и прикрепил к стене. Потом молча прицепил фотографию какой-то девчонки. Симпатичная девчонка в открытом платье, с независимым видом, какой бывает у красивых девчонок во всех городах мира. На двери он повесил расцвеченный карандашами штормовой балльник и психрометрические таблицы. Потом они с Маковым по очереди подправили бритвой отросшие за двадцать дней бороды. Из троих брился только Сомин. Он перешагнул уже ту пору, когда отращивают бороды и вешают над койкой фотографии девчонок.

...Первым посторонним человеком, которого они увидели, был охотник. Его заметил Маков утром, когда снег был розовым от солнца и твердым после ночного заморозка, а воздух был прозрачен, как это бывает только высоко в горах или в Арктике.

Темная цепочка упряжки тянулась на запад по льду пролива. Они остановили ее двумя выстрелами из ракетницы.

Охотник оказался их соседом. Зимовка стояла всего в сорока километрах от острова в устье небольшой речки, там, где береговой обрыв переходит в невысокие тундровые холмы.

На лице охотника темнели шрамы от зимних морозов. Виновато улыбаясь, он складывал галеты по три,

наливал в кружку крепчайший чай и все говорил, говорил: «Зима была ветреная, песец шел средне, медведи уже взломали берлоги, дикая сила гуся сидит сейчас на талых местах, на прошлогодней бруснике и черной ягоде шикше...» Потом он так и заснул на полу в своих меховых штанах и кухлянке.

Они сели писать письма. Это были обычные письма с полярок: «нормально», «скучаю», «целую», «когда выслать деньги». Только Сомин сидел над чистым листом бумаги и никак не мог начать. Виденко и Маков вышли на улицу. Собаки охотника были худы и клочкасты. Они спали на солнце, блаженно вытянув лапы. В переднике нарт лежал невероятной легкости мешок. Маков с уважением потряс его. В мешке сорок «хвостов» песца — цена морозных шрамов охотника и ободранных собачьих лап.

— Старье,— сказал Маков, погладив одну из собак.— Атавизм. Кругом сейчас вездеходы.

— У нас на станции были собаки,— возразил Виденко.— Кони, понимаешь, а не собаки. Хоть в Одессу езжай.

В избушке Сомин все мучился над чистым листом бумаги.

Вечером охотник уехал. Весна гнала его на запад, к поселку, к магазинам, к ласковой знакомой вдове, что хранила синий бостоновый костюм, купленный по случаю прошлогодней удачи.

О том, что охотник добрался до места, они узнали дней через пятнадцать, ибо пришли ответы на отправленные с ним письма. Макову отозвалась из Архангельска мама. Одесса дала Виденко уклончивую радиограмму о хорошей погоде и экзаменах, которые надоели. Только Сомину ничего не было, и напрасно он, как только наступал «срок», искал возле операторского стола отвертку или набивал в портсигар папиросы.

На эфир накатывался вал навигации. Все чаще им заказывали сроки «син», и все чаще они сообщали однообразные ледовые сводки. Давление, видимость, румбы, баллы, миллибары, слоистая, сплошная, кучевая облачность, легкий снег, дождь, туман... Два раза было ясно.

В дежурном приемнике на любой волне стоял писк. Шифровки, сводки, запросы, рапорты шли с востока, юга и запада. Ледовая разведка утюжила небо почти круглые сутки. И незаметно стало получаться так, что мерой времени стали вахты, «сроки».

19 июня Виденко получил сразу три радиограммы, принимал их он сам, и поэтому никто не узнал о том, что сегодня его день рождения. Десяток дней назад, когда на центре дежурил знакомый парень, Виденко попросил «фикус». Так называлось налитое в резиновые грелки спиртное, которое давали на сброс экипажам ледовой разведки. «Фикус», однако, не поступил. Была ночная вахта, и Виденко, включив над столом двенадцативольтную аккумуляторную лампочку, всю ночь писал письмо той самой девчонке с фотографии.

Хотелось написать про белый снег июня, ночной скрип льда, гусиные крики. О железных судовых койках и байковых одеялах, под которыми они спят, хотя холодно и есть спальные мешки. «Полярка, даже маленькая,— это дом. Дома же в мешках спят лишь окончательные романтики». Можно было написать о дымах арктических пароходов, которые идут с востока, о громадах мертвых кораблей, мимо которых они прошли на тракторах. Тишина и ржавая печаль погибших кораблей долго преследовали Виденко.

Однако, как всегда, в письме получилось только про сроки «син», о том, что Маков пошел на второй класс по передаче и что они перешли на летнюю робу: бушлаты, матросские холщовые брюки и матросские же ботинки б/у, что значит, «бывшие в употреблении». Единственным лирическим местом была новая песня, которую им по кускам выстукивали с восточной полярки. «У вас в Москве улыбки и концерты и даже солнце светит каждый день, а мне все реже синие конверты через снега приносит северный олень...» Песня даже в письме звучала красиво, хотя все в ней было неправда. Не без тайного умысла он намекнул на то, что есть же вот такие выдры, что не могут прислать простую чепуху вроде: «Людочка здорова целую Тося». Как, например, Сомину. И никакой профком в это дело не вмешается.

А в дежурном приемнике было слышно, как кто-то кидает и кидает в эфир четырехбуквенные позывные самолета. Самолет не отвечал так долго, что Виденко встревожился и поставил приемник на волну SOS. Волну, отданную под бедствие. Но там тоже было тихо. Самолет ответил минут через сорок. Была неисправность приемника. «Наверное, пентод на выходе,— подумал Виденко,— самое слабое место в самолетных приемниках». О дне рождения как-то забылось.

Через несколько дней вал навигации в эфире достиг

силы среднего шторма. Корабли с востока были на подходе. Басовитые морзянки судовых передатчиков врывались в эфир даже там, где раньше была тишина и треск электронных разрядов. Но на всем северном побережье спокойно стоял лед, и нерпы грелись на нем, и бродили медведи. Только южный шторм мог взломать его и угнать на север. Южного ветра ждал центр, им интересовались Тикси и Магадан.

...И однажды ночью южный ветер пришел. Они проснулись от ровного гула. Тонко запела антенна, стены домика стали вздрагивать, как будто по ним били кулаком. Через час гул перешел в свист. Они связывались с восточной поляркой. На ровном галечниковом мысу ничто не сдерживало ветер, ветер отрывал гальку и бил о стены полярки. На острове ветер не отрывал гальки, но стрелка анемометра, который вынес Маков, застыла на сорока метрах в секунду. На сорок пятом метре ветер сбил мачты.

Первые сутки они не могли их поставить. На вторые тоже. На третьи сутки ветер стих и сразу же сменился плотным туманом. Брусчатки антенны были переломаны. Они соединяли куски все так же «внакладку», укрепляя их гвоздями, и часто били молотком по пальцам. Страшно хотелось спать.

Часов через шесть мачты стояли. Печка их давно уже, может быть, сутки, не горела. Сомин чертыхался, снимая мокрую одежду: его два раза сбивало в лужу среди камней. Виденко открыл коньяк, последнюю бутылку. Но коньяк не шел в горло, был горький, пах противно лекарством. Маков сидел у операторского стола в одном нижнем белье. Началась его вахта. Виденко засыпал, положив под голову забинтованную руку.

— Там телеграмма мне должна быть,— сказал Сомин.— Ты спроси. Может, затерялась. А на завтрак я борщ сварю. С сухим луком.— Он хотел еще что-то сказать, потянулся за папиросой, но не взял. Так и заснул с папиросной пачкой в руке.

Маков сварил в консервной банке кофе. Потом бухнул туда коньяку. Этот способ он где-то вычитал. Получилось ничего. Жгуче и крепко.

Через час станцию вызвал центр. Просили сообщить полосу видимости. Аэропорт с запада заказал метеовахту с ноля и далее, пятнадцатую минуту каждого часа. Длинная радиограмма требовала составить и через 72 часа передать список оборудования и построек. В допол-

нение инструкции 137/19 приказывалось при определении балльности облаков указывать цвет неба по секторам.

Маков переспрашивал. На той стороне злились. Потом он сел перепечатывать радиограммы на машинке. Такой уж был закон: каждая радиограмма перепечатывалась на машинке. Ему очень хотелось, чтобы была радиограмма для Сомина, но ее не было. Курсант Маков выключил передатчик, завел будильник на вахту Виденко, потом написал записку: «Пусть дурни из профкома займутся». Записку он положил под ключ, так, что ее мог увидеть только работающий. Ровный глухой шум привлек его на мгновение. Волна, свободная океанская волна била о северный берег островка...

Первый пароход прошел, когда Маков и Сомин еще спали. Он шел среди редкого однобалльного льда так близко от острова, что были видны пустой мостик и согнутые руки судовых кранов.

Виденко зашел в рубку. Дежурный приемник тихо потрескивал. Никто не вызывал маленький остров невдалеке знаменитого круга Гринвича. И приветственного гудка пароход тоже не дал. Впрочем, тут не было ничего странного. Может быть, пароход прошел уже мимо доброй сотни полярных станций. Около каждой не нагудишься. А может быть, капитаном на нем был старый полярный волк, которому незачем было заглядывать в каталог станций. Без каталога же он просто не мог знать, что и на этом островке живут теперь люди.

Спать Виденко не хотелось. Он чувствовал себя бодро, как это бывает в двадцать пять лет в 11.00 утра по местному времени. Но вахта Макова начиналась ровно через двадцать минут, и она должна была начаться во всех случаях, кроме его болезни или «специального указания полномочных лиц». И Виденко тронул Макова за плечо.

— Вставай.

— Сейчас,— сказал Маков и еще спросонок сунул ноги в матросские тупоносые ботинки со сбитыми каблуками.

— Ты не сердись,— неизвестно зачем сказал Виденко,— так надо.

В это время с моря донесся далекий гудок. Наверное, с корабля заметили остовы пароходов и по старому морскому обычаю отдали дань памяти погибших.

Чуть-чуть невеселый рассказ

Я схватил воспаление легких, когда мы шли через низкие перевалы гор Дурынова. Стоял апрель — месяц солнечных холодов. Мы шли с северного побережья острова, оставив позади зеленый лед лагун, тишину и мертвый галечник морских кос. Горы Дурынова отделяли нас от базы на южном берегу.

В этих местах понятие «горы» условно. Среди настоящих гор они считались бы просто холмами.

Нас было пять человек. Пять мужчин в одинаковых кухлянках и меховых штанах, с распухшими от мороза и солнца лицами.

На каждом подъеме все соскакивали с нарт и бежали рядом, крича и задыхаясь. Кричать было необходимо, чтобы собаки не останавливались. Я говорил «Давай!» на каждом выдохе, эскимосы — каюры грузовых нарт — коротко вскрикивали: «Хек!»

Семен Иванович молчал. Он вел самую ответственную нарту с аппаратурой. За него ругался Ленька. Он погонял свою упряжку громко и непечатно.

На третьем подъеме я понял, что сейчас умру от теплового удара. Одежду заполонил кипящий пот.

На вершине я остановил собак и стянул через голову кухлянку и свитер. Упряжка понеслась вниз. Мгновенно превратившаяся в жесть ковбойка била меня по спине. Так повторялось раз пять, может быть, больше.

Горы Дурынова занимают по широте сорок километров. В час ночи нарты, раскатываясь, неслись по взлетной полосе аэродрома. При аэродроме имелось шесть домиков. Крайний из них, приткнутый к самому берегу, второй месяц служил нам базой.

За десять дней избушка промерзла насквозь. Мы поставили на пол примус и вскипятили чай. Эскимосы выпили по две кружки и по очереди подали нам руки. Они жили на охотничьем участке в шести километрах к югу от нас.

Я лег на кровать в спальном мешке. Сквозь сон мне было слышно, как Семен Иванович шаркает по полу и гремит угольным ведром. Половину избушки занимала громадная печь, которую звали «Иван Грозный». Остыв, она запускалась долго и трудно.

Я проснулся на другой день от звука собственного голоса. Наверное, говорил сам с собой. Голова казалась большой, как подушка, тело чужим. «Наверное, заболел», — подумал я и куда-то провалился.

Семен Иванович тряс меня за плечо. Он держал в руках тонкий, как вязальная спица, приборный термометр. Я сунул термометр в спальный мешок. Столбик ртути застрял на тридцати девяти и восьмидесяти шести сотых.

Появился Ленька.

— Вот спирт, вот перец, — сказал он. — Ты, начальник, всю ночь погонял собачек.

Я выпил дозу испытанной антипростудной смеси.

Семен Иванович и Ленька серьезно наблюдали за этой процедурой. Распухшие лица их лоснились от вазелина. Они набросили поверх мешка свои меховые куртки и стали возиться с аппаратурой. День тянулся и тянулся без конца. Я то слушал разговоры ребят, то проваливался в короткие смутные обрывки снов.

К вечеру стало совсем нехорошо.

— Другая хворь, — убежденно заключил Семен Иванович. — Врач нужен.

Он потрогал мой лоб. Тяжелая рука сорокалетнего человека щупала его, как щупают материю в магазинах.

— Почем сантиметр? — пошутил я.

— Иди к механикам, — сказал Семен Иванович Леньке.

Я понял, что повезут к врачу. Мне это было безразлично. И больница и врач находились в другом островном поселке, в пятидесяти километрах от аэродрома. Туда добираться на собаках или вездеходом. Единственный на острове вездеход принадлежал аэродрому, на нем подвозили редкие грузы и пассажиров. Неизвестно было только, согласятся ли механики ехать.

Ленька вернулся через двадцать минут, забрал со стола начатую бутылку спирта и исчез.

— Гад, — в неизвестный адрес произнес Семен Иванович.

Вскоре гусеницы затарахтели под окнами. Ленька ввел раскрасневшегося механика Старкова. Семен Иванович поставил на стол чайник и банку конфитюра. Он молча ублажал механика чаем, пока я одевался.

— К докторице, — сказал Старков. — Молоденькая, худенькая. Люблю таких.

Ленька согласно хохотнул. Он притащил откуда-то

чугунно-тяжелый тулуп, укутавший меня от макушки до пяток.

Я забрался на сиденье вездехода. Ребята молча стояли рядом. Наверное, им тоже хотелось поехать, но надо было срочно обрабатывать последний маршрут.

— Поехали, — буркнул наконец Семен Иванович и, тяжело переставляя унты, пошел к избушке.

Вездеход, как утка, нырял на застругах и бодро тарахтел гусеницами. В щели кузова забивалась снежная пыль. Старков переключал передачи, катая в зубах папиросу. Я смотрел на горы Дурынова слева по курсу. Низкие, пологие, заснеженные северные горы. Сколько я видел таких безвестных хребтов? Может быть, штук сто.

— Собачья жизнь, — сказал Старков.

— У кого?

— У вас. Все время в дороге. А для чего, какая цель?

— Из-за денег, — серьезно сказал я. — Нам платят большие деньги.

Я знал, что стоит сказать таким, как Старков, про деньги, как все становится ясным. Другое же, настоящее объяснение было сейчас не под силу.

Я был в восточном поселке один раз. Обычный поселок охотничьего колхоза из двух десятков одноэтажных домов на снежном обрыве над морем. Сейчас, после двух месяцев в зимней тундре, он казался большим, как город.

Вездеход остановился у дверей больницы. Около него мгновенно собралась ребятня. Путаясь в чугунном тулупе, я поднялся на крыльцо.

— Ты надолго? — крикнул вслед Старков.

— Надеюсь, не насовсем.

— Я подожду дней пяток.

Я вошел в полутемный коридор, думая о хитрости Старкова. Каждый месяц он приезжал сюда на неделю к одной женщине с почты. А сейчас наверняка слупит с ребят дополнительное угощение за эти пять дней. Черт с ним, решил я и постучал наугад в какую-то дверь.

...Доктор велела мне раздеться. Я стаскивал свитер и искоса поглядывал на нее.

— Сколько вам лет, доктор?

— Двадцать шесть, — без удивления, просто ответила она.

— А мне тридцать два, и я уже начал таскаться по больницам.

Я нарочно шутил, чтобы оттянуть неприятную процедуру перечисления недугов. Тем более что я не знал, что у меня болит. Просто я был весь чужой и неприятно мягкий.

— Не разговаривайте, — сказала она.

Докторша очень долго слушала меня: «Дышите, не дышите», — потом заставила говорить «а», потом стучала по груди согнутым пальцем.

— Не сломайте мои хлипкие кости, доктор.

Она ничего не сказала, только улыбнулась. Чертовски хорошая была улыбка. Так улыбаются не очень красивые, сероглазые девчонки, которые до десятого класса носят косички и выдумывают всякие турпоходы. «Бьюсь об заклад, она играла в футбол наравне с пацанами», — подумал я.

— Вы замужем, доктор? — Мне очень не хотелось, чтобы она задавала этот дурацкий вопрос: «На что жалуетесь, больной?»

— Повернитесь спиной. — Она простучала по всей спине от затылка до поясницы, потом заставила кашлять.

— У вас воспаление легких.

Вначале я ничего не понял. Потом испугался: воспаление легких — это когда долго болеют.

— Не может быть, доктор!

Она повела меня в другую комнату. Там были белые стены и две койки. Из-под одеял торчали невероятно чистые простыни. Я вспомнил, как мы неделями спали в снегу, не раздеваясь, и не умывались по утрам, чтобы меньше мерзло лицо.

— Я весь грязный, доктор.

— Ложитесь, — сказала она. — Душ не работает.

«Все правильно, — подумал я. — Где и когда в этих краях работал душ?»

Было очень хорошо лежать на чистой кровати среди белых стен и думать о разном.

Воспаление легких оказалось почти приятной болезнью. Термометр каждый день показывал тридцать девять, но я почти не чувствовал этого. И то, что все тело было чужим, не очень мешало, потому что не надо было двигаться, идти задыхаясь, спешить за нартой. Надо было просто лежать.

Только теперь я понял, как чертовски измотались мы за эти два месяца. Я вспомнил, что за все годы после окончания института не болел. Только раза три зубы и иногда простуда.

Вообще эти восемь лет прошли быстро, как проходит по горло загруженный день. Вначале нравилось играть в эдаких кочевников XX века, с нашими перелетами, перекочевками, кострами и песнями и той внешней, обрамляющей чепухой, о которой снимают фильмы, сочиняют стихи и рассказы, чаще всего плохие, не отвечающие сути, что-нибудь там про последнюю спичку. Нам нравилось играть в эту чепуху, но позднее пришла привычка. Привычка к нашей работе, без которой никто из нас не смог бы сейчас жить.

Самым глупым было время длинных полугодовых отпусков. Хрустящие листы аккредитивов, накопившиеся за два года, исчезали очень быстро. Приходилось слать короткие радиограммы: «Темпе пять востребования». Деньги приходили незамедлительно, потому что у нас принято уважать отпускников. И так же незамедлительно исчезали.

Однажды я очутился в ненужном мне городе Ставрополе. Там была одна студентка. Привычка к передвижению сработала на сей раз не вовремя. Мы глупо простились на вокзале. Она хотела учиться именно в том институте, а я не мог сменить профиль работы и осесть на месте. Впрочем, она была чересчур красива для жены человека, который по полгода не бывает даже во временном доме.

Докторша кормила меня какими-то желтыми таблетками, которые надо было глотать через каждые четыре часа круглые сутки. Только сегодня я вдруг понял, что она вот так ко мне и приходит через каждые четыре часа уже несколько дней подряд. «Надо сказать, чтобы она отдала будильник».

Но докторша все не шла. Незаметно я начал думать о Тянь-Шане — стране, где осталось мое сердце. Я редко позволяю себе думать о нем, чтобы всегда что-нибудь оставалось «на потом». Докторша не появлялась. Я вспоминал лица знакомых киргизов, названия речных долин, запах лошадиного пота.

Она пришла часа через два в домашнем халате. Лицо было заспанным и тоже очень домашним.

— Проспала вашу таблетку.

— Чепуха. Я прошлый раз взял две.

Она все еще по-сонному улыбнулась в ответ на мое вранье.

— Вы были на Тянь-Шане, доктор?

— Нет.

— Там хорошо осенью в предгорьях. Все желтое. Даже воздух желтый. С вершин видно желтую степь. Как эта таблетка.

— Вы любите желтый цвет?

— Нет, я просто люблю Тянь-Шань.

— А мне нравится, когда в больнице кто-нибудь лежит, — сказала она. — Я даже сплю спокойнее. Здесь всегда так пусто.

Она положила таблетку и ушла. «Придет, — подумал я. — Придет через четыре часа».

Она пришла через час и сунула градусник.

— Трех наших девушек распределили в Среднюю Азию.

— Не горюйте, — усмехнулся я. — Средняя Азия не везде интересна. Там очень душные города. В Туркмении каменистая равнина.

— А на этом острове есть интересное?

— Есть. Например, хорошие парни из экспедиций.

Она только взглянула на меня. Наверное, подумала, что я не самый хороший.

На пятый день пришел Старков. Рослый, весь здоровый и чуть-чуть скучноватый.

— Как дела? — спросил я.

— Радиограммка тут тебе, — небрежно сказал Старков. — Если надо, отвезу ответ.

Радиограмма была от ребят. «Через два дня ждем самолет. Что делать?»

Это было неприятное сообщение. Мы ждали с самолетом пакет. Такие пакеты привозили к нам молчаливые курьеры спецпочты. Они придирчиво проверяли документы, потом давали подписать внушительную бумагу и лишь после этого отдавали пакет. Все документы были оформлены на меня. Курьер не отдаст пакет никому другому. Он увезет его обратно. Но то, что в нем находилось, необходимо для продолжения работ.

— Когда едешь? — спросил я Старкова.

— Завтра.

— Я с тобой.

Старков пожал плечами. Твое, мол, дело, поступай как знаешь.

— Что за глупости? — докторским тоном спросила она, когда я сказал о завтрашнем отъезде. — Я не позволю.

Кое-как удалось растолковать, в чем дело.

— Если это очень нужно... — нерешительно протянула она. — Но на собаках я вас не пущу.

— Вездеход, — успокоил я ее. — Вездеход с громадным тулупом. Дайте мне побольше этого четырехчасового наркотика, и все будет в порядке.

— Это антибиотик, — сухо сказала она. — И я все решу сама.

В дверях она остановилась и спросила:

— У вас очень важная работа, да?

— Средне, — сказал я. Я не кривил душой, — я в самом деле так думал, да так оно и было.

Она ушла. Я стал думать, какими путями попадают такие на полярные острова. Обычно сюда приезжают вслед за мужем. Немногие незамужние, кого я встречал, всегда напоминали мне одиссеев в юбках. Это были отважные, хитроумные одиссеи жизни, что, впрочем, не мешало им оставаться женщинами.

В девять утра я оделся и постучал в ее комнату. Комната оказалась запертой. Спит. Я представил себе, как она каждый вечер ложится спать в пустой комнате в пустой больнице. Мне стало жаль своего доктора. Врачу не так-то просто переехать с одного места на другое, тем более если ты единственный врач на целый остров.

Два с половиной года до отпуска. Девять месяцев в году здесь лежит снег. За это время начинают мельчать даже мужчины. Я видел зимовщиков, с увлечением занимавшихся кухонными дрязгами. От души не желал бы ей соседства Старкова в один из тех месяцев, когда хочется получать письма и не верится, что существуют незамерзшее море и, например, ромашки.

На крыльце я понял, что мне не донести до вездехода своего тулупа: ноги были безвольно слабы, и липкий пот покрывал спину. Отчего-то часто дышалось, и противный мокрый кашель мягко распирал грудь. «Надо было все же взять эти таблетки», — подумал я и в это время увидел вездеход. Он шел к больнице, похожий на атакующий танк.

Старков молодцевато выпрыгнул из него — настоящий полярный бог в полярном костюме. Нагнувшись к гусенице, он подмигнул мне и кивнул на кузов.

Она сидела в дальнем углу крытого кузова, положив на колени руки в каких-то уморительных варежках-черепашках. Я все смотрел на эти варежки и туго соображал, из чего они сшиты. Смотрел на них так, что она

одернула пальто на коленях и вопросительно взглянула на меня.

— Все в порядке, доктор. А куда вы?

— Надо осмотреть работников аэродрома.

Я стоял в проеме между кузовом и кабинкой и видел сквозь стекло, что к вездеходу идут еще двое. Одного я знал. Это был охотовед, громадный, как мамонт, человек с изрытым оспой лицом. Рядом поспешал кто-то чернявый с барашковым воротником. Старков остановил чернявого, и они стали о чем-то говорить, поглядывая на вездеход. Чернявый сделал руками выразительный жест. Я понял, о чем они говорили, и с этой минуты возненавидел чернявого.

Вездеход оглушительно гремел гусеницами.

— Сядьте рядом с водителем! — крикнул я доктору.

Она отрицательно покачала головой.

— Тогда возьмите тулуп. — Она снова качнула головой, но я уже накинул тулуп ей на колени. Охотовед одобрительно улыбнулся.

— А когда мы вас женим, Валюша? — вдруг крикнул чернявый. Он сидел напротив и с явным намеком смотрел в мою сторону.

Докторша, отвернувшись, разглядывала что-то в заднее пластмассовое оконце. Я видел только край закушенной губы. «Если этот чернявый еще что-нибудь скажет, — подумал я, — двину ему, а там посмотрим».

— Нынче все космонавта ждут, — сказал охотовед и засмеялся, довольный своей шуткой.

— Вот если бы жена космонавт! — крикнул чернявый. Охотовед помедлил немного, видимо, представил себя в роли мужа женщины-космонавта, потом захохотал. Смеялся он оглушительно и хлопал себя по коленям медвежьими лапищами.

Вездеход вырвался на снежный участок, и лязг гусениц стих.

— Вам в самом деле надо на аэродром? — спросил я.

— Отстаньте.

Я не ослышался. Она именно так и сказала. Вездеход снова загромыхал, и я снова — в который раз! — принялся разглядывать мглистые силуэты гор Дурынова.

Наш домик встретил меня, как, наверное, раньше корабль встречал соскучившегося на берегу моряка. Семен Иванович что-то штопал, Ленька возился у стола и пел:

Моряк заманчивой постели
Предпочитает дальний путь,
Чтоб мачты гнулись и скрипели...
Обними, поцелуй. И навеки забудь...

Такая была у него песня. Для него она была тем же, что для меня запах лошадиного пота и музыка монгольского языка.

Мы пили черный, экспедиционной заварки чай. Я соскучился по этому чаю, как по лучшему другу. Потом мы курили из одной пачки едкие, невероятной крепости папиросы «Байкал» и говорили о работе.

Ребята прикидывали длину маршрутов и все делали скидку на мое послеболезненное состояние. Но я знал, что это не больше чем простая вежливость. Это было лучше всяких таблеток — не верить ни в какую хворь, считать ее чем-то вроде дождичка, который неизбежен, но его ведь можно и переждать в хорошей палатке.

— А как доктор? — игриво спросил Ленька.

— Она здесь.

Может быть, я сказал это не совсем нормальным голосом, потому что Ленька тихонько свистнул и смолк. Минут пять в комнате стояла тишина.

— Чайку надо поставить, — сказал Семен Иванович.

На другой день я и не заметил, как ребята исчезли через пять минут после ее прихода. Может быть, они просто из вежливости не хотели смотреть, как какая-то девчонка колет их начальника шприцем ниже спины.

В тот день начало немного задувать. От аэропортовской комнаты для приезжих до нашего домика было метров двести. Она пришла в пальто, запорошенном снегом, из-под пальто чуть виднелись белые полы халата. Я предложил немного согреться у печки, но она быстро сделала укол, оставила несколько таблеток и ушла.

В этот день самолет не пришел, и на другой день стало ясно, что не придет. Ветер дул иногда порывами метров на двадцать. На улице порядочно подвывало, и белая пелена неслась мимо низкого окна избушки.

Часов в одиннадцать ребята исчезли. Я оделся и лежал на кровати. Чуть-чуть взгрустнулось.

Она пришла в двенадцать и на этот раз без приглашения подошла к печке. Стояла ко мне спиной, приложив руки к надежному боку «Ивана Грозного». Ладошки были совсем красные. Плохо прикрытая дверь постукивала снаружи. Почему-то мне очень хотелось сказать ей спасибо. Но я не знал, как это сделать.

— Очень жаль, доктор, что нас не будет здесь летом. Мы сходили бы с вами на шлюпках на северную сторону. Там есть одно место...

— Какое?

— Зеленое. Вода зеленая. И синие скалы. Тишина так и бьет по ушам.

— Тишина бьет, — усмехнулась она. — Расскажите лучше о Тянь-Шане.

— Нельзя по заказу. Между прочим... можно поехать в отпуск. У меня там куча друзей-киргизов.

— А вот возьму и серьезно поеду...

— Они свои в доску ребята.

— А для меня все свои в доску, — сказала она и стала вынимать из баночки шприц.

После укола она немного задержалась. Сидела в пальто на стуле и смотрела на белое от снега окно. Я злился на себя, стал подкидывать в печку уголь и кинул его не так, как надо. Черный язык дыма выпрыгнул из дверцы, и я, должно быть, стал похож на эфиопа. Она засмеялась, и я хотел найти зеркало, чтобы тоже посмеяться вместе с ней. Но зеркала не нашлось.

Самолет все-таки пришел. Он пришел ночью, но мы не удивились: от сумасшедших полярных летчиков можно было ждать и не такого. Мы услышали гул мотора, и Ленька кинулся встречать курьера.

На этот раз прилетел незнакомый. Не снимая куртки, он сел к столу и стал заботливо протирать очки, вынутые из кармана.

— Чайку? — спросил Семен Иванович. Курьер молча протирал свои очки. Покрасневшее от холода лицо его ничего не выражало.

Мы выполнили все формальности. Курьер старательно запер портфель и, не выпуская его из рук, стал искать шапку.

— Чудак какой-то, — сказал Ленька, когда дверь закрылась. — Наверное, новенький.

Мы вскрыли пакет. Там находилось все, что надо. Аккуратно сколотые канцелярской скрепкой бумажки лежали на столе. От них веяло чистым холодком служебного долга. Ветер все так же выл-посвистывал на улице. С низким ревом прямо над избушкой прошел взлетевший самолет. Значит, полярные летчики решили не оставаться на ночевку.

— Может, не новенький, а просто служба, — сказал Семен Иванович. — Ты вот здесь свой сейчас, а пришли

бумаги — и ты уже чужой. Ты в других местах теперь свой.

На улице заскрипели шаги. Я быстро собрал пакет и спрятал его в обычную подматрацную папку. Пришел Старков.

— Угощаю, — сказал он и вынул из кармана запотевшую бутылку водки.

— Летчики подкинули? — с завистью спросил Ленька.

— Свои кореша. Полярные, — утверждающе сказал Старков.

Семен Иванович принес кусок сала, присланный ему месяц назад какой-то подозрительно заботливой родственницей.

Мы отошли от стола, чтобы не мешать ему.

— Как дела, болящий? — спросил Старков.

— Ничего дела.

— Догадываюсь, — хитро усмехнулся он. — Уедешь, я тоже заболею. Теперь дорожка проторена.

— Это ты о чем? — тихо спросил я.

— Да о больнице, конечно. Стоит пустая, вроде неудобно быть первым пациентом. — Он смотрел на меня широко, по-дружески улыбаясь. Потом сказал: — Вот чудак, я же о больнице говорю.

Вскоре Старков ушел. Мы еще посидели около стола. Ветер стал вроде бы стихать. Он дул монотонными усталыми порывами, но все-таки стекло в окне подрагивало, и странно было видеть спокойный язычок керосиновой лампы, когда на улице такой ветер.

— Когда с острова двинем? — спросил Ленька.

— Скоро.

Ночью мне не спалось. Я почти чувствовал телом твердый квадрат конверта под матрацем. В голову лезли разные заботы. Как управиться с грузом, как организовать транспорт на новом месте? И то невнятное ощущение болезни, которое томило меня все эти дни, как-то незаметно уходило, уходило и вдруг пропало совсем. Не знаю, может ли на самом деле больной человек вот так лежать на кровати и вдруг без всякого повода почувствовать себя здоровым? Видимо, это было незначительное воспаление легких...

На другой день мы с утра начали возиться с аппаратурой. Надо было сделать новую калибровку приборов после окончания работ на острове и вообще очень много разных мелочей.

Мы все были здорово заняты, и поэтому ребята не стали оставлять нас вдвоем, как делали они все эти дни.

— А я уже выздоровел, доктор, — сказал я ей.

— Я вижу, — сказала она.

Мы еще немного поговорили. Потом она незаметно ушла, вспомнив о каком-то нужном деле.

Это был последний день апреля.

Первого мая с утра дула поземка. Потом стало тихо и солнечно. Мы вымыли пол, немного поскребли бороды и начали слоняться по комнате.

— А не пригласить ли нам женщину на праздничный обед, начальник? — сказал Ленька.

— Сходи. Конечно, сходи.

Ленька вернулся очень быстро.

— Уехала, — удивленно сказал он.

— На чем?

— На собаках.

Все было ясно. Когда кому-либо срочно требовалось в колхозный поселок, то шли пешком на участок к охотникам, и те уже везли человека на собаках. Я сказал «пешком», потому что здешний снег весной по твердости мало уступает асфальту. Таким его делают январские ветры.

— Боевитый врачонок, — сказал Семен Иванович.

И Ленька и он быстро обо всем забыли. У них было хорошее настроение, оттого что сегодня праздник, все вместе, все здоровы и впереди другие края.

— Так когда же с острова двинем, начальник? — с хитрой миной спросил Ленька.

— Дней через пять.

— И не вернемся?

— Разве мы когда-нибудь возвращались?

— Все время вперед без оглядки, — сказал Семен Иванович.

— Только так, — согласился Ленька. Было очень заметно, что ему не терпится отметить праздник.

Мы отметили. Потом стали составлять радиограммы. Их можно было послать через аэродромную рацию до ближайшей почты, а там уж куда угодно.

Радиограммы были обычные. «Поздравляем. Работа в порядке. Надеюсь встречу. Только когда и где».

Мы знали, что и нам сейчас пишут примерно то же самое.

Я вспомнил, что еще в больнице решил написать письмо той девчонке из Ставрополя.

— Рискнуть? — спросил я у Леньки. Мы давно уже забыли, что такое личные секреты.

— Конечно, чудак, — сказал он. — Ничего не теряешь.

— Бумаги много, — сказал Семен Иванович.

Так и прошел для нас этот день. Солнечный, тихий день на острове. Я все думал, что при таком солнце на нарте не очень холодно даже в городском пальтишке. Только вот варежки-черепашки не совсем те, что надо. Всегда первыми мерзнут руки. Но пятьдесят километров не так уж много, думал я. Хорошие собаки по весеннему насту пробегут их, пожалуй, часа за четыре.

Через триста лет после радуги

Законы человеческих поступков сложны, еще сложнее законы памяти. Обычная житейская память почти не подчиняется логике. Можно забыть важные подробности собственной жизни и хорошо помнить гудок электрички, услышанный ночью пять лет назад. Из разрозненных мелочей возникает неуловимый аромат прошедших времен. Именно он помнится всегда ясно и точно...

Конечно, Мельпомен был странным человеком. Об этом свидетельствует хотя бы такое нелепое прозвище.

Мы познакомились с ним на краю огромной озерной пустыни, невдалеке от Полярного круга. Пустыня эта находилась там, где река Колыма, прославленная в золотоискательских, географических и иных легендах, впадает в Северный Ледовитый океан. Правый берег Колымы в этом месте горист и порос мелкой лиственницей. Называется этот гористый берег по-старинному Камень, а левый — Низина — болотистой тундрой уходит на запад к реке Индигирке, и только топографическими подсчетами можно определить, чего здесь больше: воды в черных торфяных озерах или кочковатой россыпи суши.

— Водички-то вроде побольше, — говорят старожилы.

Именем знаменитого путешественника Черского, умершего неподалеку отсюда, назван гигантский горный хребет, протянувший вершины от Тихого до Ледовитого океана, его же именем назван якутский поселок, переполненный летом зевающими от безделья ездовыми

собаками. Зимой окна низких домишек в этом поселке и по сю пору закрываются ставнями, обитыми оленьим мехом, — якутский мороз неумолимо пробивает и двойные оконные рамы.

Среди казусов жизни, столь охотно подмечаемых путешествующим по окраинам государства людом, здесь имелось предприятие «Сапожник-фотограф». Обе должности в нем экономно исполнял один человек, который к тому же без всякой платы, ибо парикмахером себя не считал, соглашался стричь любого клиента. И уже не казусом жизни, а казусом века надо считать то, что фотографировались, чинили ботинки и стриглись в покосившейся халупе под странной вывеской преимущественно пилоты громадных и первоклассных машин полярной авиации наших дней.

Мельпомен был прописан в этом поселке, но жил он чуть дальше, и именем его не назовут ничего, ибо он не заслужил географической славы. Но общение с ним помогло мне лучше понять коловращение миров и осмысленность нашего бытия. За это я ему глубоко благодарен.

Мы нагрянули в его обитель из мира, в котором есть электронно-счетные машины, научные прогнозы и академические издания книг с умными названиями. В тех книгах земля, по которой мы ходим и от которой кормимся, есть не просто земля, а физическое тело примерно эллипсоидной формы, с головоломной чересполосицей электрических, магнитных и гравитационных полей. Мы должны были изучать эту чересполосицу в безлюдных здешних краях и для этого из респектабельных научных сотрудников превратились на полгода в четырех парней в телогрейках, перетянутых широкими офицерскими ремнями, и с непременными бородами.

От науки у нас осталось задание на десяти листах машинописного текста, ящик с топографическими картами и аппаратура в металлических, выложенных пенопластом чехлах. Еще у нас имелся самолет, шикарная «Аннушка», ради наших работ поставленная на гондолы-поплавки и превратившаяся таким образом в гидросамолет. Крылья у этой «Аннушки» почему-то выкрасили в оранжевый цвет, и потому летчики ее прозвали «стилягой».

Командовал самолетом Гриша Камнев — фантастического спокойствия человек, вторым пилотом был некто юный, а бортмехаником — старинный наш друг Витя Ципер, из тех свойских парней-шутников, на которых

посмотришь и уже засмеешься. Имелся еще радист. В отличие от большинства бортрадистов — ипохондриков по профессии — он был внуковским оживленным человеком, слушателем летной академии и циником до мозга костей. Справедливее сказать, что ему просто нравилось казаться циником, но когда человеку перевалит за сорок, то оболочку уже всерьез принимают за сущность. Свою кличку Москвич он носил вполне достойно, оправдывая ее неистощимым запасом свежих анекдотов и шиком в свободное от работы время.

Наши души за зиму стосковались по палаточному житью, простым земным запахам и ощущениям, потому мы наотрез отказались от летной гостиницы, гостиницами мы были сыты по горло. Экипаж самолета хорошо это понял и принял участие в обсуждении нашей дислокации над листами карт.

— У рыбачьей избы Мельпомена, — сказал Гриша Камнев. — Удобнее места нет.

— Какой Мельпомен? — спросил я.

— Прозвище! Мельпомен — служитель муз. Ха-ха! — отозвался циник-радист.

— Идет! — заинтригованно согласились мы.

...Через полчаса самолет сел на окруженную ивами протоку. Вода в протоке была зеркально гладка, утреннее солнце отражалось в ней сверкающим желтым мечом, и ивы склонялись к воде, совсем как когда-то в далеком детстве. Тихо мурлыча мотором, самолет подрулил к самому берегу и уткнулся в него поплавками. Волны, поднятые при посадке, догнали нас и стали плескаться на берег, а мы начали выносить и складывать на зеленую траву свои палатки и ящики. На дальнем конце поляны коренасто стояла в земле изба, торчало еще что-то дымное, видно, баня, и кособочился древний сарай.

— Отменное место, — дружно вздохнули мы, и, наверное, у каждого затеплилась мечта о грядущем лете, о безмятежных вечерах, когда сладко переживаешь у огня дневную усталость.

Экипаж самолета молча и с завистью наблюдал наши хлопоты. Сия райская жизнь была им недоступна. Каждый вечер они должны возвращаться на аэродром, чтобы утром забрать нас снова.

Потом самолет улетел, так как завтра уже предстояла работа.

Мельпомен принял нас с отменной вежливостью. В ординарной внешности колымского рыбака с его

сапогами из чешской литой резины, которые здесь носили стар и млад, с его застиранной ковбойкой и драным рабочим полушубком меня прежде всего поразили глаза на изрытом оспой лице. Серые эти глаза смотрели с проницательной ясностью, какая бывает у безмятежных натур или у явных аферистов. Мы попросили разрешения пожить в его владениях, ибо так полагалось по неписаным законам, которым мы подчинялись, так полагалось, если бы здесь стояла просто случайная палатка, а не изба, сарай и баня, выстроенные его руками. Во время переговоров я с удивлением вслушивался в речь Мельпомена. В английских книгах часто пишут об «оксфордском акценте». Если какой забулдыга говорит с «оксфордским акцентом», то уж будьте уверены, что забулдыга когда-то ходил средь видных мира сего и лишь потом опустился. Так вот, наш хозяин говорил именно с таким акцентом. У него была правильная литературная и богатая речь, какой в наше суматошное время мало кто и говорит, кроме пожилых потомственных интеллигентов. Но когда Мельпомен покрыл матерком собаку, мешавшую выбирать место для палаток, матерок этот после «оксфордской» речи прозвучал не кощунственно, а очень умело, доказав, что хозяин поляны владеет всеми возможностями русского языка.

«Аферист», — решил я.

Изба Мельпомена также носила печать интеллигентности. Привычный антураж рыбацкой избы с железной печкой и самодельным столом здесь дополняли приемник и груда толстых журналов, сваленных в угол. Я бегло глянул на номера и подивился тому, что журналы были свежие. И именно те, которые считает нужным читать в наше время мыслящий интеллигент. Видно, хозяин следил за периодикой и эфиром.

Еще в избушке имелись нары. На одних нарах спал сам хозяин, на других спал Миха, человек без зубов, с удивительной шапкой кудрявых седых волос.

Как впоследствии выяснилось, жизнь кудрявого Михи равнялась по простоте равнобедренному треугольнику. Одной стороной его жизненного треугольника являлась работа, вернее добывание денег, второй — добывание любой жидкости, содержащей алкоголь. В добывании того и другого Миха достиг невероятной терпеливости. Третьей стороной его жизненного треугольника являлась сама Михина жизнь, как мостик, перекинутая через поток денег и алкоголя, теперь уже уходящая к закату, и потому

о Михе много говорить не стоит, может быть, стоит только добавить, что он был честен. Этим добрым упоминанием можно отметить его могильный камень, если, конечно, у других людей, лучше знавших его, не найдется что-либо еще более существенное.

Такой получалась расстановка сил на поляне, после того как мы поместили здесь на три месяца свои палатки.

Можно еще упомянуть о двух древних крестах в зарослях ольховника, оставшихся здесь от тех людей, которые жили на поляне до Мельпомена, наверное, очень давно. Дерево в здешних краях гниет медленно, но на тех крестах оно совсем одряхлело, так что даже бронзовые древние иконки, те самые, что за последние годы полюбили выковыривать и собирать не отягощенные совестью пижоны, еле держались, но держались, ибо турист сюда не дошел. Ольха вокруг могил, так же медленно растущая в этих краях, доросла до почтенного возраста, значит, эти люди жили, может быть, лет сто назад, рыбачили богатую рыбу крапивными сетями и земля еще хранила их след на себе. Мельпомен, который рыбачил не крапивными, а капроновыми сетями, так же заготовил след по себе из сруба, сарая и бани, а на месте наших палаток трава на будущий год начисто скроет все следы, хотя уж мы-то прибыли сюда из самой что ни на есть современности.

Уже через несколько дней на поляне установилась коммуна: Мельпомен ежедневно приглашал нас на уху с таким обезоруживающим гостеприимством, что нам ничего не оставалось, как перетащить в избушку свой запас галет, консервов и сахара и этим решить на лето вопрос еды.

Кстати, те обеды за дощатым самодельным столом неожиданно дали нам забытое чувство отцовского дома, ибо Мельпомен не терпел за едой разгильдяйства и пустой болтовни.

Кроме нас пятерых, лишь однажды за столом появились двое людей; летчики не могли с нами гонять чаи, при летной погоде и исправной машине все наше совместное с ними время съедала работа. Как только раздавался грохот мотора, мы как бы уходили в другое измерение, где были техника, наука и служебный долг, но не было места поляне, кудрявому Михе и Мельпомену.

Те двое, заплывшие к нам на лодке в одну из светлых летних ночей, были лесорубы, представители профессии, интересной в этих краях.

У здешнего леса есть один смертельный враг — тундра, которая стремительными полосами вгрызается в него с севера, и этот прискорбный факт даже дал одному из редких поселков грустное лирическое название — Край лесов. Против человека лесу здесь не устоять, ибо выжившие деревья напоминают не деревья, а скорее каких-то рахитичных, искривленных болезнями и морозом живых существ.

Растущее дерево поэтому здесь не рубят, и профессия лесоруба схожа с профессией золотоискателя. Лесоруб должен прежде всего разыскать «деляну» — большую площадь засохших на корню лиственниц. В адову жару якутского леса он должен срубить топором перекрученную, каменной твердости лиственницу, разрезать ее на двухметровые бревна и по лесным кочкам в путанице стелющейся березки снести этот лес в штабеля за многие сотни метров. Сложный сей труд, а также удача в разыскивании делян оплачиваются, как оплачивался когда-то старательский фарт, и потому здешние поселки сбывают в лес неуживчивых любителей вольной жизни.

Трудно представить более несхожих людей, чем странная пара, заплывшая на поляну Мельпомена в светлый ночной час. Всю ночь они говорили о жизни за литрами черного чая, и всю ночь неуемное любопытство заставляло меня слушать и расспрашивать их.

Один лесоруб звался Северьяном, или по-простому Север, гигантский сухой мужик с непомерными руками, второй носил кличку Поручик, и кличка эта, как ничто другое, подходила к его стройной полумальчишеской фигуре и моложавому лицу с тонкой полоской усиков. Мало мне приходилось встречать людей такой врожденной вежливости и такта, как Поручик. Оставалось гадать, как он попал на работу лесоруба и почему выбрал в напарники Северьяна, мастодонта среди людей. И Мастодонт и Поручик одинаково говорили с Мельпоменом, они говорили с ним, как, наверное, дети говорили бы с отцом в эпоху серьезного патриархата, хотя в отличие от нас вряд ли уступали ему в годах. Это тоже казалось загадочным.

За долгим ночным чаем я понял две вещи: во-первых, для Северьяна не существовало живого леса, а был мертвый «кубаж» сухостоя. При всяком географическом названии здешних мест, что произносилось во время беседы, он вставлял: «Я там, помню, хороший кубаж взял».

И, наоборот, существовали пустые, ничтожные местности без всякого кубажа.

Кроме того, Северьян уважал лошадей. Он вроде не то что их любил — он их уважал и потому хоть месяц в году работал возчиком в «Якутторге». Работа возчика для него являлась тем, чем для других служит поездка на юг с лечением нервной и прочих систем организма.

— Я один раз из Аян-Уряха проехал на лошади три сотни верст, — объяснял Северьян. — За это расстояние меня лошадка умызгала так, что неделю лежал пластом и неделю ходил раскорячкой. Это я-то! Сильный зверь лошадь. Я с ей говорю, как он с людьми, — и Северьян кивнул на Поручика.

Поручик улыбнулся в ответ, и меня вдруг осенило. Я понял: этот человек мог спокойно себя чувствовать лишь в низшей клетке штатного расписания, где не нужно никому отдавать приказов, ибо он не мог их отдавать, хотя, видно, по образованию и предыдущей судьбе был к этому предназначен. В наш тревожный и строгий век, где каждый со многими многим связан, такое неумение могло обернуться жизненной катастрофой для себя или, что еще хуже, для других. И Поручик выбрал тихую гавань.

С рассветом ребята уплыли, но они оставили кудрявому Михе какую-то гадость в стеклянной таре, и тот, взбунтовавшись под влиянием эфирных масел и алкогольных паров, взял в конце дня лодку Мельпомена, чтобы плыть в поселок и жить там. Хозяина дома не было, и Миха сказал нам вовсе непонятное:

— Больше мочи нет. Надоело мне воспитание. Я седой уже, — в доказательство Миха подергал рукой великолепные седые кудри. — Я седой уже и слушать воспитующих слов не могу.

Через час после отплытия Михи задул пакостный ветер — моряна, и в широком русле Колымы Михе залило лодку, его выкинуло на отмель. Об этом мы узнали на другой день, а вечером того дня вернулся Мельпомен и, узнав о побеге Михи, лишь улыбнулся с печальным пониманием факта.

Протрезвевший, измотанный передрягами, Миха нашел где-то в сарае ржавый мясницкий топор и принялся точить его, сидя на обрубке бревна.

— Зачем секира, Миха? — спросил я.

— Лес валить, — отвечал он, не отрываясь от де-

ла. — Я ему должен деньги за лодку и мотор положить. Я положу.

И Миха ушел на деляну Поручика, за тридцать километров, несуществующей таежной тропой. Там его взяли в долю в разработке драгоценной делянки, чтобы он мог честно положить деньги на стол Мельпомена. С его уходом мало что изменилось, разве что некому стало варить неподражаемую коллекционную уху, в которую шли неведомые породы рыб: чир, шокур, хаханай и пелядка.

Ни Северьяна, ни Поручика, ни Михи мы так больше и не видали. Теперь я думаю, что, может быть, их спугнуло предчувствие при виде наших палаток, и они ушли дальше в глухую крепь, где пока нет палаток, не гудят самолеты.

Мы продолжали работать по торфяным озерам, уходящее лето катилось, и время уже приобретало свой аромат, в него входил запах ухи, утренний рев самолета над палатками, водяные буруны у берегов сотен озер, и еще копились те однотипные фотографии, которым суждено выцветать в ящиках стола до тех пор, пока ими заинтересуются внуки или еще кто: с карабином на фоне палатки, с трубкой над записной книжкой и то, как ребята бредут в ковбойках и высоких сапогах по глубокой воде и издали напоминают группу восточных женщин в паранджах — накомарниках, и у каждого на плечах кувшин-прибор.

В длинных бездельных перегонах можно было размышлять о встреченных людях, о Михе, Северьяне, Поручике, об их странностях и их месте в жизни. Годы и опыт приучили нас в самых странных людях искать хорошее, и это почти всегда оправдывалось. Может, в наши времена в суровых краях редко встречается откровенный подлец, ибо ему трудно здесь жить, а может, действовал закон, загадочно высказанный Мельпоменом: «Во всяком человеке — Человек с большой буквы». Можно было думать и о самом Мельпомене, ибо он был нестандартен. Все приезжавшие, даже наш экипаж, говорили о нем с уважением и легкой насмешкой, как мы, например, говорим о соседе, помешанном на сборе спичечных этикеток. О многом можно было думать, как думаешь каждое лето.

Но вообще-то скучать не приходилось. Работа каждый день ставила новые задачи, а жизнь подкидывала неожиданности. Одна из них в то лето подкарауливала нас в Крестовской губе, к западу от колымского устья. Мел-

ководная, илистая Крестовская губа даже с воздуха производит тягостное впечатление из-за неряшливых, покрытых илом и хаосом плавника берегов, низких и топких.

Мы с воздуха выбрали приглубое место, самолет долго рулил по воде к берегу. Витя Ципер стоял в открытой дверце и смотрел на кильватерный след поплавков. Когда в пенных бурунах появилась первая муть, он крикнул команду, и Гриша Камнев сработал реверсом, осадив самолет, как коня. Подняв голенища сапог чуть не к подбородку, мы долго брели мелководьем на берег. Над нами летали чайки мартыны, обожающие такие места. Но обычно чайки мартыны бывают наглы и крикливы, а здесь вели себя безучастно. Потом мы опять брели к самолету, выдирая сапоги из засасывающего грунта, и безучастные чайки снова летали над нами. Мы прямо-таки с удовольствием захлопнули дверцу, чтоб скорее удрать от этой безнадеги к привычным и тихим тундровым озерам. В реве мотора самолет разбегался в пространстве губы на пяти ее километрах. Вдруг все мы полетели с металлических кресел на пол и заплясали в растяжках приборы. Мотор взвыл, самолет еще рванулся вперед, и мы застряли прочно, если не окончательно.

Состоялся осмотр, совет, и всплыло слово «редан», которое много раз пришлось повторить в тот день с разными добавлениями. Поплавки гидросамолетов, как торпедные катера, имеют на днище реданы, и сейчас те реданы плотно сидели в грунте, заклиненные тысячью лошадиных сил.

Авария! Потом уже мы уяснили себе ее механизм. Конечно, Гриша Камнев не мог предвидеть отмель в центре губы, но он с профессиональным инстинктом осторожно разгонял самолет. Когда сквозь мерцающий диск винта вдруг вынырнула под носом желтая рябь мелководья, он кинул руку, чтобы сбросить газ, одновременно отвернув самолет в сторону, и потом переключить реверс. Он принимал три решения сразу, и потому второй пилот на долю секунды опередил его, ибо у второго от страха решение было одно: проскочить на авось. От страха он даже не мог оценить ширину отмели, такую не проскочишь на мощности мотора. Но все-таки он врубил газ, опередив командира, и Камнев не успел ему помешать, спастись.

Второй пилот, видимо, поторопился причислить себя к летной элите, в действительности же был он ничем, да-

же хуже, ибо, не научившись еще быть вторым, он мнил себя замечательным командиром. Ему явно не хватало более тесного общения с Мельпоменом.

Стоически спокойный Гриша Камнев долго и методично флюгировал винт, щелкая переключателем реверса, чтобы сдвинуть машину вперед иль назад.

— Мне бы ветер под плоскости, — сказал он через час, — я б ее снял тогда.

Но на всей планете стоял вроде бы мертвый штиль, и нам оставалось только разгрузить самолет от себя, попрыгав во взбаламученную винтом и реданами воду.

Радировать на аэродром о катастрофе мы не могли, ибо с месяц назад командир наш потерпел аварию с глупым грузом кирпича на борту на мутной и быстрой реке Индигирке. Самого его извлекли через фортку кабины. Летные права командира висели сейчас на волоске. Бортмеханик же Витя Ципер носил тяжкую славу аварийщика и сейчас чуть не выл от отчаяния. Он уверял, что самолеты с ним на борту могут гореть, тонуть, разбиваться на посадке и взлете. Репутация эта сложилась без его вины, но носить аварийное бремя в суеверном летчицком мире от этого было не легче.

Витя Ципер, как дьявол, прыгал в воде вокруг самолета и тыкал лопатой под гнусные реданы. Отмель же имела, как выяснилось, метров сто в ширину, и от каждого берега самолет отделяло два с половиной километра приглубой воды. В конце концов Витя в одиночку принялся откапывать самолет, а нам приказал впрягаться на помощь лошадиным силам.

Эта мокрая работа тянулась неизвестное количество часов, ибо имелась одна лопата с короткой ручкой и два каната, которые удалось прикрепить к поплавкам.

В кабине самолета остался лишь командир, все остальные торчали вдоль канатов во взбаламученной холодной воде. Пробовал остаться в кресле и второй пилот, но командир выгнал его из кабины.

Безудержный циник-радист честно лег в упряжку и отводил душу тем, что цитировал наизусть «Наставление к полетам», или коротко НПП. Три курса летной академии из него так и перли. «Параграф номер двенадцать, — цитировал Москвич, когда стихал рев обессиленного двигателя, — гласит об обязанностях второго пилота при взлете... — Дальше он перечислял а, б и в. — И ни в коем случае, — переходил Москвич на собственное изложение, — паршивый второй пилот не должен совать руку

к сектору газа, ибо для спасения от дураков сектор газа приурочен к правой руке командира».

Затравленный второй в новенькой летной коже уже не огрызался, а лишь беззвучно изливал презрение ко всему на свете: Крестовской губе с унылыми берегами, замызганным нашим личностям, суете Вити Ципера, и презрение то заполняло холодную пятикилометровую впадину мелкой воды.

Северный вечер медленно падал на землю и воду. Одиночество, оторванность от милого надежного мира заедали нас. Но хуже всего нас заедали служебный долг и необходимость принять решение, которое будет только одно — потом уже не исправишь. Подул ветер, но он дул сбоку, почти что сзади, и паруса плоскостей еще больше прижимали самолет к земле. Наступил тот момент, когда все мы, даже Витя Ципер, обессиленно встали на месте и стало на все наплевать. Командир вызовет по рации вертолет, тот прилетит завтра и снимет нас при помощи веревочной лесенки, а самолет останется в центре губы навсегда как глупый памятник случайным явлениям: концу летной карьеры Гриши Камнева, недоброй славе аварийщика Вити Ципера и как памятник неоконченной нашей работе, так как второй самолет нам не дадут. Решения легче принимать, когда наплевать на все, но, видимо, в нас еще что-то держалось.

Мы стояли в дурацкой грязной воде чуть не по пояс, и каждый ждал, что кто-то первый произнесет непечатные буквы и полезет в фюзеляж, в холодную металлическую сухость его.

В это время дверца кабины распахнулась, командир высунул всклокоченный профиль и сказал спокойно простые слова:

— С такими, как вы, по нужде не усядусь в пределах одной пустыни. Не говоря про один окоп. Не летать, а пижамы носить вам в спокойных условиях. Вы суслики или люди? Разворачивайте машину против ветра. Пора взлетать!

Дьявол отчаянной энергии свалился на нас, и за час с небольшим совершилось немыслимое: мы развернули самолет против ветра, пропахав поплавками грунт. Ветер мягко налег снизу на плоскости, а командир сдержал слово: вывел машину на нужную глубину. Когда мы уже сидели в самолете и прямо телом ощущали блаженное покачивание на вольной воде, Витя Ципер снял сапоги, вылил из них воду и разрядил обстановку, сказав: «Дрянь

сапоги. Оказывается, текут». И все хохотали в гулком резонансе металла, ибо за последние пять часов голенища Циперовых сапог минуты не торчали над водой. В этом хохоте мы понемногу переставали прятать друг от друга глаза, становились собой. Инстинкт спасения от стыда и позора удесятерял физические силы, смех, возвращал остальное. Радист смеялся вместе со всеми и, сплюнув, перестал говорить о втором пилоте.

В тот вечер мы долго сидели на чехлах приборов и курили в ста метрах от наших палаток, где нас высадил самолет. Мы собирались с силами, чтоб перенести груз к палаткам. Одинокая фигура Мельпомена вынырнула из избушки, он, видно, издали понял, в чем дело, и, пока мы докуривали свои цигарки и носили груз, он успел заварить гигантскую уху, богатырское произведение кулинарных искусств. Он расставил на столе миски, вынул из пачек галеты и поместил среди всего этого великолепия бутылку компасного спирта из Гамбурга — след визита за рыбой северных морячков. Потом, размягченные ухой и дозой компасной влаги, мы долго и вперебив рассказывали сегодняшнюю эпопею, вплоть до вдохнувших энергию сакраментальных слов командира.

Керосиновая лампа горела на столе, мягко освещая темные бревна стен, печально и негромко завывала в «Спидоле» далекая труба канадского джаза, и Мишка, ручной горностай, вылез из-под нар послушать вечернюю беседу. Он посверкал черными бусинками глаз и забрался на любимое место: носок сапога Мельпомена из чешской литой резины. Мы долго и молча смотрели на горностая и этот ценный сапог. Цена сапога заключалась в сорок пятом размере, куда можно вместить оленьи чулки и пару портянок для ледяных осенних работ. На ящик же размером с однокомнатную квартиру таких сапог полагается две пары, не больше, отчего и рождается бешеный спрос.

— На месте был ваш командир, — резюмировал Мельпомен. — И значит, не зря, пусть он даже плохой пилот.

— Он отличный пилот, — дружно сказали мы. — Во всем виноват Витька Ципер со своей невезухой.

— Не знаю, — сказал Мельпомен. — Но он командир, так как в нужный момент напомнил вам, что вы люди. Служба бывает до срока, недаром на ней звонки. Долг человека звонков не знает...

Назавтра мы устроили выходной день, а на аэродро-

ме в это время «виноватый» Ципер, наверное, осматривал, обнюхивал и простукивал самолет после вчерашней передряги. Он был хороший механик, и никто не виноват, что ему не везло.

Я решил посмотреть Стадухинскую протоку, что проходила в сотне метров от нас. На этой протоке триста лет назад Михайла Стадухин поставил первый русский поселок на Колыме, и то место до сих пор носит памятное название «Крепость».

Мельпомен давно обещал показать мне Крепость, и мы поплыли туда на весельном дощанике к исходу дня. Стадухинская протока лежала в вечерней глади воды, ивы сбегали к ней вдоль узких отмелей, и если смотреть только на ивы и гладкую воду, то получался совсем Левитан или еще что-нибудь из Средней России. На южном же берегу протоки над торфяными обрывами громоздился дикий хаос беспорядочных лиственниц, закатное солнце падало на них сверху, и куда-то летел не торопясь одинокий ворон.

Крепость размещалась на обрывистом берегу. Лиственницы так и не заселили вырубленный триста лет назад участок, а росла здесь буйная трава, которая всегда буйно растет на отбросах человеческого существования. В той непомерно высокой метелице можно было нащупать ногой, а раздвинув траву, увидеть почерневшие, сгнившие бревна от древних срубов. Над всей этой заброшенностью стоял, покосившись, могучий столб — то ли остатки крепостных ворот, то ли еще какой постройки. Кто-то неведомый долго и тщательно пытался его срубить, но, источив со всех сторон топором, бросил. Наверное, утомился. А может, одумался.

На берегу я нашел кусок обработанного лосиного рога и несколько глиняных черепков.

Потом мы уселись на обрыв и стали курить махру. Я старался понять, почему Стадухин ввел свои кочи в протоку и именно здесь выбрал место для острога, а не поставил его на коренной Колыме. Может, его прельстила среднерусская картина напротив? Но вряд ли те прокаленные тысячами километров Сибири жесткие мужики были сентиментальны. Об этом я и спросил Мельпомена.

— Радуга, — ответил он. — Стадухинские потомки утверждают, что в этом месте их предок увидел радугу небывалой красоты и принял это за знаменье.

— Кто же рубил этот столб? — спросил я. — И зачем? Убить бы его на месте.

— Сильно сказано, — рассмеялся Мельпомен. — Хорошо, что вы не прокурор.

Когда я посмотрел на него с недоумением, он сказал:

— Давно хотел сообщить, чтобы вы не страдали бессонницей. Я юрист. Адвокат, прокурор и даже бывший судья. Но многие годы назад я испугался сложного трио: человек — закон — справедливость, так как не верил в свой ум, но очень любил людей. Закон не может быть добр к преступнику, адвокат обязан быть добр, ибо он взял на себя защиту, судья же несет тяжкое бремя ответственности перед человеком и государством. Я убежден, юристом надо родиться, я не родился им, и честно стал рыбаком. Я хороший рыбак. Так говорят в совхозе.

Солнце падало на зазубренные верхушки лиственниц, и сладостный дым махры согревал душу. Комары кружились над нами и улетали, вспугнутые запахом репудина, чтоб уступить место другим.

— За что дурацкое прозвище? — спросил я.

— Это давно. По ошибке, — ответил он, опять усмехнувшись. — Перепутал кто-то Мельпомену с Фемидой. Я ж юрист — значит, из клана Фемиды, а прилипло ко мне Мельпомен.

— Дела-а, — вздохнул я. — И это правильно?

— Сейчас я смог бы быть адвокатом, — задумчиво сказал Мельпомен. — За долгие годы я нашел простую формулу: надо верить в людей и им. Даже Михе. И многим, подобным ему. Рыбак на своем месте дороже плохого судьи. Жаль, что я утратил профессиональное право быть адвокатом.

Верхушки лиственниц взорвались кровью, на теневой стороне реки рождалась пленка тумана. И в ушах у меня стоял задумчивый голос: «Во всяком человеке — Человек с большой буквы. Иногда его трудно извлечь, иногда невозможно, но пробовать нужно всегда. Запомни это на всю жизнь, инженер».

В этот момент мучительное счастье минуты сдавило мне сердце, и наступил тот миг, что посещает нас иногда и еще, говорят, должен навестить перед смертью. В этот миг ты можешь собрать воедино треск углей на костре, сгоревшем десять лет назад, запах матери и всех женщин, которых любил, все свои сны и поступки, голоса и портреты людей, встреченных в безудержном беге времени. В этот миг ты чувствуешь себя частью тесного мира, где отвечаешь за все и за всех, а все за тебя, что бы там ни стряслось вчера или завтра.

Два выстрела в сентябре

Булькающее токование тетеревов плыло над левобережьем. У земли допотопный звук яростной птичьей страсти становился слышнее, как слышнее бывает, если приложить ухо к дороге, гул далеких моторов. Вверху же тетеревиный зов совсем почти пропадал, и невозможно было определить, откуда идет он по уставленной стогами, перегороженной непроходимыми чащами ивняка бесконечной полесской равнине.

Мы укрылись за стогом от ветра. Нас было двое: я и лесник со спаренным именем Дядяким, где прожитые в одной и той же местности десятилетия спрессовали в единое целое безличное «дядя» с собственным именем Яким. Дядяким — так звали его все, от пацанов до большого начальства.

Равнину заливал янтарный свет полесского бабьего лета. В укрытом от ветра месте солнце грело сквозь штормовку и свитер с упрямой, сбереженной от лета силой, но вороненый ружейный ствол оставался холодным. Давно уже я заметил, что этот термический парадокс можно наблюдать только осенью или ранней весной и всегда почти одинаково, где бы ты ни был в то время: в Вятке, на Севере или здесь, в Белоруссии.

Сейчас было время осенних тетеревиных токов, когда косачи, отъевшись за лето, не то вспоминают минувшие любовные схватки, не то тренируются в предвидении новых.

— Ползи, — сказал Дядяким, — во-он за тот куст. Увидишь там косача.

— Может, не там? Может, в другой стороне? — с сомнением спросил я, прислушавшись.

— Там. От куста метров сорок.

Я пополз. Уверовал, что Дядяким и на сей раз не ошибся. Я полз и вместо тетерева, зов которого колдовски плыл над травой, почему-то думал о леснике, о том, как он за стогом сейчас свертывает беспалой рукой самокрутку из бийской махорки № 2 средней крепости и прикуривает, сбочившись на ту сторону, где не хватало двух ребер. Уткнувшись в горький осенний запах травы, я, как наяву, видел тусклый при дневном свете огонек спички, и залитое солнцем в недельной щетинке лицо, и

синий махорочный дым, отличный по цвету от любого табачного дыма, и видел его щемящую душу улыбку до беспомощности доброго человека. Не мог я спокойно смотреть, как он улыбается.

Косач действительно был за кустом. Он ходил по лугу метрах в пятидесяти. Он ходил, великолепно распушив черно-белый хвост и отливающие металлом крылья. Загадочно-четкое, как звон воды в серебряном котелке, бормотание его летело над освещенной солнцем равниной и уходило в дальний сосновый лес. Дальний сосновый лес был темно-зеленым, почти черным, а по краю его радостно желтела полоска молодого березняка.

Сбоку, совсем почти сзади, с шумом сорвалась тетерка. Я прополз мимо нее, не заметив, а она, конечно, заметила, но затаилась, не улетела сразу — видно, хотела еще посмотреть ослепительное мушкетерское хвастовство косача, которое для нее одной и предназначалось.

Вслед за тетеркой и сам «мушкетер» мгновенно сорвался, как черный сверкающий на солнце снаряд. Я выстрелил.

Дальше все было как во сне. Сверкающий на солнце снаряд оборвал полет и грохнулся в желтые травы. Я вспомнил слякотные московские вечера, когда мечтал об охоте в Полесье. Надо же, первый выстрел, и так удачно... И тут на бегу я провалился куда-то нескончаемо вниз, коленями, лбом врезался в неизвестный ржавый металл.

Была заросшая лебедой воронка и брошенный четверть века назад кузов машины, на котором еще сохранилась добротная краска «ИГ Фарбениндустри», как сохранились рваные следы осколков и аккуратная строчка дырок вдоль кузова.

«Надо спросить Дядяжима. Наверное, знает», — машинально подумал я и потрогал ладонью расцарапанное лицо. И, позабыв про азарт, поднял сбитого тетерева.

...Лесник действительно курил, сидя за стогом, в цигарке еще оставалось чуть меньше половины, а взгляд его был безмятежен и прост, как весь сегодняшний день. Он молча погладил беспалой рукой теплое перо прекрасной осенней птицы. Я заметил, что он многое предпочитает делать беспалой рукой, как бы самоутверждаясь, как бы напоминая, что он вовсе не инвалид.

— Метров с шестидесяти сбил, — похвастался я и погладил, в свою очередь, ствол бельгийского своего ружья, пятизарядного, знаменитой в «мокрых делах» фирмы «Браунинг». Но лесник бездумно скользнул взглядом по браунингу и не сказал ничего, хотя другие всегда говорили. Он только повернулся ко мне на мгновение, и именно в этот миг я взвешен был со всем своим организмом, честолюбием, замыслами, неудачами и мечтами на весах бытия. И снова я увидел его улыбку, которую мне не дано описать и которую не мог спокойно видеть.

— У меня дома тулка висит. Поди, соржавела вся. Почему соржавела? Да мне как в лесничестве выдали, я повесил и боле не трогал. В партизанах я надержался ружей в руках. Немецких, австрийских, итальянских, румынских. Автоматы ихние, пулеметы ручные, мины, гранаты, разные пистолеты. Ты воевал?

— Откуда, Дядяким? Мне семь как раз было, когда эта война началась.

— А до войны я любил с ружьем походить. В лесу живем. И война получилась почти что в лесу. Я по ранению попал в партизаны. Подальше отсюда. Не хотел воевать у своего огорода. Большая в этом неловкость. Стыд, если ты это поймешь. Но потом меня переправили. Проводник был тут нужен для большого соединения. Я и был проводник. А кому быть, если не леснику? Места у нас есть — не суйся. А после войны не до ружья уж. Птица распугана — жучка развелось. Дела в лесу не перехлебать.

Я молчал.

— Дел не перехлебать, — повторил Дядяким и, затушив окурок, высыпал табак обратно в кисет.

— Привычка, елки лесные, — сказал он, поймав мой взгляд. — Пошли, что ли.

Мне без конца хотелось смотреть здешний лес: сосняк, березовую чащобу и заросшие ивняком нескончаемые болота. Можно сказать, что видал лес: вятские мачтовые бора, горные шубы тянь-шанских елей, глухую тайгу Приамурья и колымскую лесотундру, но здесь было другое, и не с чем было сравнить. Главная особенность здешнего леса была в том, что лес и человек тут уживались рядом, как единый биологический симбиоз. Посреди забитого ржавой водой, осокой и непроходимым кустарником болота вдруг вырастала сухая песчаная рёлка с редкими сосенками, и посреди этой рёлки всегда почти находилась расчищенная поляна, и было видно, что

когда-то здесь рос хлеб, а может, сажали картошку в укрытом от недруга месте.

Или вдруг в полном несоответствии с обстановкой в чаще раздавался крик петуха и собачий брех, и вырастал одинокий хутор, и хутора эти были как форпосты, выдвинутые из леса наблюдать за равниной. Я особенно уверовал в эту гипотезу, когда узнал, что на одном из хуторов одиноко живет прославленная здешняя партизанка, потерявшая в войну всю семью. С окончанием военных действий она не захотела из леса уйти и осталась там, как негасимый в пределах человеческой жизни памятник прошедшей беде.

В сотне метров от тех хуторов вырывались из осоки дикие утки и в свисте крыльев уносились прочь, суматошные, глупые птицы. Существование их рядом с жильем напоминало обетованную землю, ту самую, где волк возлежит рядом с агнцем. Видимо, обитатели сих хуторов в свое время, как Дядяким, повесили на стенку дробовики, чтобы не добивать скудную послевоенную живность. А потом те двустволки сержавели, или о них просто забыли.

Одного селезня, вылетевшего из багровой осоки, я все-таки не удержался и сбил, нарушив вторым нынешним выстрелом законы обетованной земли.

— Упал в самый раз, — сказал Дядяким и полез в карман за махрой.

— Почему?

— В том месте, где он упал, схоронен наш танк. Экипаж, кого выходили, ушел в партизаны. Собрали мы, помню, баб, ребятишек, коров впрягли, но вытащить не могли из-за тяжести. Очень нам танк в отряде хотелось.

В безветренном воздухе дрожали багряные листья осины, под ногами шуршала хвоя и палый осенний лист. Песчаные холмы южной Гомельщины уходили вдаль, щетинились лесами. Лесник шел впереди, выбирая ему одному известный маршрут. В драной своей телогрейке и ростом, и сухонькой фигурой сзади он совсем походил на мальчика, если бы не легкая хромота и наклон на тот самый бок, где не хватало вырванных минным осколком ребер.

На одном из подъемов он молча скинул с плеча полевую сумку и сел под сосной.

— Запыхался немного, — виновато сказал он, и рука машинально царапнула ватник в том месте, где сердце. — Запыхиваемся все понемногу. Много уж наших по-

умирало, кто живы из лесу вышли. А я все не успокоюсь. А как же иначе?

— Никак, — согласился я.

Нельзя было не поражаться скудости здешних почв и фантастическому при этом упорству земли. Хвоя и палый лист засыпали воронки, траншейные линии и цепи окопов. Живая ткань дерева закрывала покалеченные металлом места. И безымянные могилы врагов или тех, кто погиб вдалеке от своих, закрывали заросли буйной метлицы.

Не сразу я понял происхождение молодых сосняков, которые встречались часто, гораздо чаще, чем это положено в нормальном лесу. Этот молодой сосняк рос на стратегически важных участках, где лес был начисто сметен войной и уж посажен вновь человеком, вернувшимся с войны лесником.

На исходе третьего десятилетия после войны лес все-таки жил, как положено ему жить. Утки взлетали в болотах, заваленных боевым ржавым металлом, стада кабанов рыли землю на бывших полях сражений, и строили хаты бобры.

Я часами сидел у зеркальных бобровых озер. Сидеть было хорошо, потому что комар уже умер, а дожди еще не пришли. Сильно хотелось курить. Дядякимб, который научил меня этим сидениям без ружья, пошутил однажды, что бобер и здесь самый умный зверь, потому что сдерживает людей от ненужного табачного яда.

Он сильно уважал бобров. Когда после долгого терпеливого выжидания в кустах возобновлялся шум бобровой работы по кормовому снабжению и прокладке коммуникаций, он улыбался счастливо, как будто именно он обучил работящего зверя мудрости трудовых процессов.

По вечерам над рекой начинал стучать шестисильный движок лодки бакенщика. Его лодка двигалась медленно и надежно.

Было слышно в темноте, как лодка в спокойном стуке мотора поднимается вверх, с трудом справляясь с быстрым течением Березины, знаменитой реки, погубившей когда-то остатки наполеоновских войск. Стук стихал. Невидимый бакенщик выходил на берег, опускал на блоке фонарь, заправлял керосином семилинейные лампы, чиркал спичкой и поднимал вверх уже зеленые, красные и белые спаренные огни, по которым ориентировались

катера, тащившие вверх по исторической реке огромные груженые баржи.

Можно было бесконечно смотреть, как зажигаются и ползут вверх эти огни, за поворотом поворот, слушать тяжкий труд буксирного катера под обрывом, а за спиной был шум леса или, точнее сказать, тишина, потому что естественный шум природы для горожанина уже тишина.

Деревня стояла на высоком песчаном обрыве. По сторонам деревни были поля, а за полями начинался сосновый лес. Но лес присутствовал всюду: сосны торчали на межах, разделяющих поля, и в самой деревне они были не вырублены, а сохранены, а там, где не сохранились, например в огороде, там росли отдельные ветлы и ивы, как будто здешний житель не мыслил себе жизни без дерева под рукой.

Внизу, под обрывом рядами лежали черные, долбленные из тополя лодки с жестяными заплатами на днищах и по бокам, через реку ходил ветхий паром, и ничто: ни новые обитые дома, ни древнего вида лодки, ни деревья на улицах — не напоминало о том, что здесь когда-то было сожжено и вновь создано людьми на пустом месте.

Но память людей была крепче памяти дерева. В тот раз Дядяким снова шел на участок, и я увязался снова за ним с бельгийским своим ружьем, потому что по дороге он обещал показать мне место засидки на кабанов. Мы спустились вниз по обрыву, подошли к парому, и паромщик, сутулый мужик в неизменном ватнике, подпоясанном ремешком, молча бросил окурок, и паром со скрипом пошел поперек течения, а Дядяким стоял на корме спиной к паромщику и молчал.

— Спасибо, — сказал я паромщику, но он ничего не ответил и в том же печальном скрипе поплыл, как Харон, через мрачные воды.

Дядяким же паромщику не сказал ничего, как будто его и не было совсем. Мы шли по берегу, а на той стороне уже скопились две телеги и «газик», и было видно, что паромщик сейчас разговаривает с людьми и даже машет руками.

Из деревенской хроники я уже знал, что паромщик этот когда-то был полицаем, за что и отбыл положенный срок. Брат его тоже был полицаем, но заслуженное полу-

чил раньше, потому что его пристрелил Дядякимза предательство.

— Как все это было, а, Дядяким?

— Да ведь как это было. Как бывает. Зашел к нему один, узнать про дорогу. Нездешний был, из того самого танкового экипажа. Дорогу он указал, а по следу направил фашистов. Командование мне говорит: «Поди, Яким, разберись». Я пришел. «Здравствуй, — говорю, — Катя, здравствуй, Федор». Катя все поняла, ушла к соседке. «Пойдем, — говорю, — Федя». Он шапку взял. Помню, сказал я ему: «Шапку ты оставь, сыну сгодится». Тогда плохо с одежей было. Привел на то самое место, где танкиста схватили, и пристрелил из его же фашистского автомата. Жалко мне его глупость было. Неужели надеялся уйти от своих?

Я ждал кабанов в засидке. Засидка была сделана в стогу сена, где пахло ушедшим летом. С верхушки стога виднелись в сумерках десятки других стогов, полосы кустарников и болотного камыша вокруг одряхлевших озер. Еще виднелись навигационные речные огни и маячили в отдалении, как ноги гигантов, ажурные мачты высоковольтки.

На реке в этот час не было тишины, потому что был предвыходной день и по реке неслись и неслись в адовом реве форсированных моторов рыбацкие лодки из далекого города. В воскресенье вечером в том же реве они будут мчаться обратно к городской шлакоблочной цивилизации.

Здесь у опушки леса, была тишина. Лес стоял черный и молчаливый.

Туман вставал над равниной. Вначале он затопил ложбины, озерца, потом корни кустов. Вскоре туман затопил и кустарник, и над ровной его пеленой торчали лишь отдельные ветви, верхушки. Торчали еще мачты далекой высоковольтки, но вскоре их скрыли сумерки.

Курить на верхушке стога было вовсе нельзя, и я сосал пустую трубочку, усмехаясь словам Дядякима о том, что зверь сберегает нас от вредного табачного яда.

Рев моторов на реке кончился. Наступила окончательная тишина, которую нарушали лишь непонятные всплески на соседнем болотце, взбалмошный утиный вскрик вдалеке, и в деревне, где жил Дядяким, вдруг заорал транзистор. Но тотчас же смолк, устыдившись.

Где-то около двенадцати в кустарнике раздался треск, чавканье воды под копытами. Кабанья стая тяжеловесно

проламывалась к местам кормежки. И думать было нечего увидеть их сквозь этот туман. Так они и прошли совсем рядом со стогом, и треск затих. Я загрустил. Вспомнил, как в Москве читал Куприна и мечтал в тайниках души и о том, что увижу Полесье таким же, точно не было прошедших десятилетий. Потом я стал вспоминать другие места, где бывал: Чукотку, Тянь-Шань, Усть-Урт и Якутию, но досада не проходила, хотя каждое из этих мест было прекрасно по-своему. Пожалуй, досада еще более усугубилась. Мелькаешь, как мотылек из местности в местность, и почему не случится так, чтобы душа прикипела по-настоящему: к заросшим арчой склонам и ледникам Тянь-Шаня, или к невероятной расцветки водам Аральского моря, или к той же Чукотке, где прожил не год и не два, а гораздо больше. А может, все было проще, и само понятие родной местности стало для моего поколения гораздо шире, чем для поколения наших отцов?

...Кабаны прошли обратно той же дорогой перед самым рассветом, и туман все так же скрывал их спасительным одеялом.

За ночь небо очистилось, и солнце всплыло над дальним зубчатым лесом. Вид у солнца был уверенный и добродушный, как у хорошо отдохнувшего здорового мужчины в расцвете лет. И ей-богу, слезая со стога, я порадовался, что не стрелял этой ночью. Так, видно, двумя выстрелами и ограничится моя полесская эпопея, о которой столько мечтал в комнатной тесноте.

Дядякимнаставлял шило здоровой рукой, а потом ловко вгонял его ударом беспалой ладошки по ручке. Он подшивал хомут леснической лошади. Я расположился напротив за дощатым столом и, как всегда после неудачной охоты, чистил ружье. Такая была привычка.

Он все вскидывал и вскидывал глаз, наблюдая, как я колдую над хитрым бельгийским затвором. Потом сказал:

— Я когда-то ловок был разбирать. Сейчас, поди, ППШ разобрать не сумею.

Я посмотрел на него. Он сидел на пороге и орудовал над хомутом с непостижимой точностью движений, какая часто встречается у калек и еще у бывалых людей. И неожиданно пришло наитие: я понял, кого он мне напоминал все эти дни. Я же десятки раз встречал его в тунд-

рах Чукотки, в Якутии, в колымской тайге и на горных тропах тянь-шанских хребтов, во всех местах, где бывал. В этих людях с полувековым «стажем» таился огромный запас жизненной силы. И еще была уверенность, что происходила, наверное, от четкого знания итогов прошедшего дня и знания планов на будущее.

Опыт давно научил меня, что на этих людей можно полагаться не меньше, а больше, чем на себя. По крайней мере, до тех пор, пока ты не обрел их свойства души или хотя бы способность улыбаться так, как они.

— Ну, положим, ППШ я разберу, — сам себе сказал Дядяким. — Если голова забыла, так руки помнят. Разберем, если будет надо. А как же иначе?

— Никак, — ответил я. — Никак быть иначе не может.

И мы улыбнулись друг другу и каждый себе, потому что эти слова стали у нас чем-то вроде пароля.

И долго же, черт возьми, долгое время потом я не мог избавиться от видения этой улыбки, как и от мыслей о том: через какие испытания надо пройти, чтобы понять относительную ценность и сущность вещей, чтобы так в улыбке дарить себя людям.

Устремляясь в гибельные выси

Памяти Михаила Хергиани

Среди коловращения имен, лиц и событий, в каком все мы так или иначе живем, встречается вдруг человек и входит в твою память с ощутимой точностью досланного затвором патрона.

Десять лет тому назад мы стояли под ореховым деревом. Орех рос на территории института с высокогорным названием, а институт находился в южном городе Нальчике.

Был конец марта — начало апреля. Орех, конечно, стоял еще по-зимнему голый, но все время светило солнце, и почва под ним, утоптанная представителями разных наук, была сухой и теплой. Мы стояли, жмурились на солнышко и чесали языки на темы текущих проблем века.

Хергиани возник как цветное рекламное фото: знаменитый и очень яркий. Лицо коричневое, свитер ярко-красный, брюки голубые. Черными были только усы и ботинки. На ком-нибудь другом такой костюм мог бы выглядеть крикливо или даже смешно. Но на Хергиани все это было в самый раз. Он был знаменит, числился среди лучших альпинистов мира, сейчас это вряд ли кто будет оспаривать, и был феноменальным скалолазом. Этого и тогда никто не оспаривал. Он только что вернулся из Англии, где отнял чемпионский титул по скалолазанию у самих англичан, которые знали те скалы лучше собственных пяток и уж наверняка лучше Миши, который до этого в Англии не бывал.

Конечно, какой-нибудь тенор, какое-нибудь эстрадное идолище куда знаменитее Хергиани. Так было, и так будет. Но в том цикле развития я бы и головы не повернул, чтобы взглянуть на знаменитость такого рода.

Хергиани и весь тот день врезались в память как цветная, всегда готовая к услугам кинолента. Больше того, я даже запахи помню.

Он как-то ухитрялся распространять вокруг себя эманацию физического здоровья и сдержанного достоинства. Но было и еще: ясно чувствовалось, что в этом человеке нет и не может быть показухи. Не знаю, все ли могут понять, как это здорово выглядит, когда у человека полные возможности для показухи, а он ею пренебрегает.

Здесь я должен дать пояснение. Когда человек входит в твою память и, следовательно, в твою жизнь, как точно подогнанный каменный блок, то, наверное, память твоя к этому подготовлена. В тот день, когда мы стояли под ореховым деревом, наши ребята, те ребята, с которыми мы молились единым богам, мотались где-то севернее Новосибирских островов, где есть точечки островов Де-Лонга: остров Жанетты, остров Генриетты и остров Жохова тоже там есть.

Я же стоял под орехом, потому что был отпуск и я ехал кататься на горных лыжах. Но, конечно, все замыслы, идеи, ради которых, по нашему мнению, стоило жить, остались там. Тут уж не могло быть сомнений.

Должен сказать, что большинство жизненных проблем мы в те времена решали с простотой игры в шашки. Человечество делилось на *достойных людей* и *пижонов*. А география на две области: где живут *люди*

и где *пижоны*. Конечно же, *люди* жили севернее Полярного круга.

В тот солнечный день Хергиани, сам того не подозревая, сделал первую трещину в этой несложной системе эгоцентризма.

Меж тем за заборчиком института появились яркие юноши и стали шептать страшными голосами: «Миша! Послушай минутку, Миш-ша!» Они шептали и кивали в неизвестную манящую даль, где поблизости стояла машина, а дальше, наверное, пряталось что-то уж совсем интересное. Хергиани извинился и пошел к ним. Молодые люди сразу выпрямились и стали очень мужчинами. Конечно, они были пижоны, а таких тянет к великим не изученная наукой сила. Может быть, они как-то заимствуют часть силы великих людей, не знаю.

Когда Хергиани ушел, кто-то сказал:

— Грустные у Миши глаза.

— Ты на Джомолунгму не забирался?

— Нет, — сказал этот «кто-то».

— И он тоже.

— Жаль! — сказал я, не зная даже, чего жаль — того, что ушел Хергиани или что отменили экспедицию на Джомолунгму, о чем я узнал пять минут назад.

— Ты его увидишь еще. Под Эльбрусом в одном доме будете жить.

На другой день я уехал в Терскол, поселок под Эльбрусом, где люди катаются на горных лыжах.

...Автобус катил по предгорной равнине. Небо казалось белесоватым от старости лет, а степь темной, потому что овцы съели траву. Изредка встречались овечьи стада. Они двигались куда-то на север в сопровождении пастухов, похожих в своих башлыках на пожилых коршунов.

Дорога шла вдоль Баксана. Кое-где река уходила в сторону, начинались поля кукурузы, а за кукурузой станицы. На завалинках станичных магазинов сидели старики и провожали автобус выцветшими, как небо над их головой, глазами.

Издали снеговые вершины казались величественными до неправдоподобия. Вид их, можно сказать, потрясал. Я почему-то вспомнил об одном древнем персе-огнепоклоннике, который родился и вырос на пыльных равнинах Ирана, но потом ушел в горы. «В горах сердце его преобразовалось», — ненаучно утверждала легенда.

А написанная персом книга разошлась по цитатам, торжественным, звонким и грустным.

Сверкающие вершины все приближались, а трещина в «шашечной» концепции мира становилась шире. Полярный круг был весьма далеко, но почему-то казалось, что в горах также могут жить достойные люди. Должны жить.

Вдоль дороги взметнулись сосны. И неизвестно, что было лучше — вершины гор или эти сосны. Стволы и хвоя на них казались отлитыми из тяжких металлов, а горы, напротив, казались невесомыми вроде чистой мечты. Я сказал «чистой», потому что обычная мечта все же имеет свой вес.

Мы приехали. Я нашел дом, где должен был жить. На крыльце сидел невероятной могучести и черноты парень и пел популярную песню. Он мне и показал комнату. Комната была хорошей. В окно лезла сосна, за сосной торчал пик Донгуз-Орун с ледяной шапкой на нем. Вершина ледника была розовой, а отвесная теневая стенка темно-зеленой. Было тихо и грустно. Тогда я, конечно, еще не знал, что теперь буду часто приезжать сюда. К соснам и снежным вершинам.

Через два дня приехал Хергиани. Комната у него была увешана орографическими схемами Гималаев. Гора Джомолунгма была на схеме обведена карандашным кружком. Карты всякого рода были с детства моим увлечением, а потом превратились в профессию. Мы подолгу смотрели с ним на линии горных хребтов с манящими, как сказка, названиями.

В этих разговорах у карты у меня сложилась личная концепция альпинизма. В основе своей эта концепция имела нестандартный взгляд Хергиани, где поровну смешивались ребячья тоска по игрушке и умудренность философа, понявшего к старости лет невозможность постичь до конца даже простые вещи. Но об этом чуть ниже.

Трасса здесь открылась недавно, и горнолыжник был скромный. После недавних соревнований осталось несколько мастеров, отрабатывавших скоростной спуск, и еще была серая масса, которая маялась на непослушных склонах, а чаще стояла, задрав голову к солнцу, как новомодные в темных очках зороастрийцы-огнепоклонники.

Ежедневно около часа дня раздавался предупреждающий крик, махали палками, все выстраивались по

бокам склона и смотрели вверх, откуда вылетали в свисте разорванного воздуха мастера. Шлем, темные очки и воздушный свист — до чего ж это было красиво! Если мастера и делали показуху, то настоящую.

Склон оживал, и солнцепоклонники с новой силой начинали утюжить его, надеясь хотя бы в мечтах приблизиться к непостижимой и рискованной красоте горнолыжного спуска. Здесь была своя шкала ценностей; иронизирующие снобы сюда еще не добрались, предпочитая более легкие места для упражнения в иронии.

...На Север я укатил обогащенный принципом, который Миша Хергиани преподал мне, когда взялся учить горнолыжной технике. Принцип заключался в том, что, когда склон крут и тебе страшно, надо еще больше падать на носки лыж, ломая страх, — и будет нормально. До сих пор не знаю, насколько правилен этот принцип с точки зрения горнолыжной техники, но мне он помог. Я не то чтобы просто его запомнил, я включил его в сборник заповедей.

В белоснежных местах Арктики, где снег или выдут ветрами, или спрессован в заструги, больше похожие на пластмассу, я часто вспоминал, как в горах сейчас снег идет крупными хлопьями, ветки сосен сгибаются под его тяжестью, стряхивают и потом качаются долго и облегченно. Говорят, что именно вид сосен, стряхивающих снег, натолкнул основателя борьбы дзюдо на принципы этой борьбы. «Поддаться, чтобы победить».

Принципы, по которым жили в бесснежных местах Арктики, были другими. По тем принципам тебе прощалось все или многое, кроме дешевки в работе, трусости и жизненного слюнтяйства. Если же ты имел глупость это допустить, то автоматически становился вне общества — будь то на дружеской выпивке, в общежитии или в вечерней беседе о мироздании. В общем, «вперед и прямо». Ей-богу, остается удивляться лишь, как мы, будучи уже инженерами, ухитрялись сохранять чистоту и наивность семиклассников.

...В следующий раз я увидел Хергиани через два года. Он изменился. В нем появилась твердость, которая приходит к мужчине, когда цель жизни ему точно известна и средства для ее достижения есть.

...Прошло еще время. Семь лет. На трассе были построены подъемники, и сюда пришло многолюдство. Все изменилось, кроме сосен и гор. В Терсколе стояли здания стеклянных гостиниц с хорошими, как говорят,

бытовыми условиями, у подножия склона, на длинных шестах полоскались спортивные флаги, и репродуктор хрипел цифрами и фамилиями. Шли постоянные соревнования, потому что здесь самая сложная и самая оборудованная трасса в Союзе. А люди на склонах делились теперь на две категории: «эт-ти туристы» и «мастера». Всюду было шумно от транзисторной техники и ярко от разноцветной синтетики на лыжах и людях.

Миша Хергиани погиб два года назад очень далеко отсюда — в итальянских Доломитовых Альпах. Об этом достаточно много писали газеты.

Я все пытался выяснить, как и почему он погиб. Ей-богу, это было необходимо. Необходим был последний штрих, чтобы получился вывод, неясный в то время еще мне самому. Ибо жизнь спустя годы из упрощенной черно-белой шашечной плоскости перешла в более расплывчатые, но и более сложные категории.

Никто мне не мог толком на это ответить. Наверное, потому, что я искал высший смысл и вопросы мои были невнятны.

То, что он выбрал сложнейший скальный маршрут, так на то он и был Хергиани. И то, что был камнепад, перебивший страховочный шнур, так это случайность, от которой не гарантирован ни один человек, и альпинист особенно. Люди, с веранды альпинистского отеля следившие за восхождением, видели, как падал вниз один из лучших альпинистов планеты, всю жизнь стремившийся вверх. Ничего они не могли сделать.

Еще проявило потрясающую оперативность итальянское телевидение, сообщившее о гибели «знаменитого Хергиани» чуть ли не в тот момент, когда тело его грохнулось с высоты шестисот метров.

Похоронили его в Сванетии. И вся Сванетия, как говорят очевидцы, собралась, чтобы почтить память «тигра скал» — так окрестила его западная пресса по аналогии с «тигром снегов» Тенсингом. А еще он был членом «клуба шерпов» — высшего альпинистского ордена. Всего их было двое в Советском Союзе.

Осталась улица имени Михаила Хергиани, приз скалолазов его имени и мемориальная доска в одном из альплагерей.

На этом я кончу заупокойные перечисления. В памяти у меня он остался таким, как десять лет назад: очень знаменитый и яркий, со странным взглядом, где смешивались печаль и ребячий азарт.

...И все-таки был высший смысл. Встречаясь с людьми, которые знали его гораздо лучше меня, потому что вместе делили досуг и опасность, я столкнулся с тем, что не так уж часто бывает. Никто не кричал «я был его другом», никто не примазывался к его славе. Люди держали память о нем бережно, как держат в ладони трепетного живого птенца.

Наверное, альпинизм нельзя считать спортом в чистом его виде. В нем есть элемент риска, который очищает души людей, и есть тот самый «момент истины», о котором писал Хемингуэй, и термин этот сейчас часто употребляют. Наверное, альпинизм больше сходен с человеческой жизнью вообще, чем со спортом, если, конечно, речь идет о том случае, когда человек решил жизнь прожить, а не прожечь, или, хуже того, просуществовать в безликом мире мелких страстей.

В горах преобразовалось его сердце...

В этом году я поздно приехал в Терскол, а весна была ранней. И как-то в один из дней, когда солнце было чересчур ярким и очень громко вопил чей-то магнитофон, я не стал надевать лыжи, не стал в очередь к подъемнику, а просто так поднялся на то место, где Миша Хергиани учил когда-то наивного суперполярника падать на носки лыж и тем самым ломать страх. Победить, не поддаваясь. Это был его личный подарок мне.

Здесь было тихо, стояли сосны. И я явственно услышал, как замкнулся круг времени, как мы закрываем дверь, переходя из одной комнаты в другую. Был высший смысл, был «момент истины». Горы будут горами, сколько их ни глянцуй на открытках, и в каких бы неожиданных сочетаниях ни шло коловращение лиц и имен, где-то среди этих лиц попадутся бывшие или настоящие самолюбивые мальчики, которым снятся гибельные выси и которым суждено стать знаменитыми. За Полярным кругом работают другие двадцатипятилетние, а те, с кем молились единым богам, сейчас уже обрастают учеными степенями и должностями. Сейчас, прислонившись к теплой от солнца сосне, я верил, что должности, звания и комфорт не погасят в них священный огонь, горевший во времена, когда мир казался сосредоточенным за Полярным кругом или там, где рискуют.

Потом я пошел к Иосифу, члену знаменитого тандема Кахиани — Хергиани или Хергиани — Кахиани, как будет угодно читателю. Иосиф Кахиани, этот второй член

«клуба шерпов», поздоровается со мной очень торжественно по принятому у нас шутливому ритуалу. Ритуал этот мы взяли с ним из «светской хроники», из писем, которые пишут старому мудрому Иосифу один английский лорд и даже одна подруга правящей королевы. Иосиф поставил чайник, и мы в сотый раз стали обсуждать, как осенью поедем на кабанов и что для этого надо иметь.

...О Мише Хергиани Иосиф говорит редко. Он был действительно его другом, старшим по возрасту и опыту, и, наверное, не может простить, что его не было тогда в Доломитовых Альпах, ибо его опыт и нюх солдата всегда вовремя сдерживали экспансивного Хергиани. Иосиф предпочитал вспоминать о друге разные смешные истории, которые с ними были дома и за рубежом. Только однажды он добавил в перечислении того, что Миша оставил, людей, которых спас Хергиани. Их было много, кого спас или они спасли вместе.

Есть фотография, на которой стоят два равноценных человека: Тенсинг и Хергиани. Где-то на заднем фоне гора Эльбрус. Фотографию эту многие знают, но не все знают, что, когда Тенсинг был гостем в Советском Союзе и они поднимались на Эльбрус, Миша ночью сбегал на эту высшую точку Европы и выбил на леднике гигантские буквы «Добро пожаловать, Тенсинг». Наверное, и сам Тенсинг не знает этого, потому что ночью пошел снег и все замело.

Еще одна фотография висит у меня дома. На ней очень парадный, при полном наборе военных и спортивных наград Иосиф Кахиани. Я часто улыбаюсь, когда смотрю на нее, потому что знаю, что за всем этим парадом, блеском, медалями этими — просто мудрый и насмешливый Иосиф. Мудрость сия и насмешка свойственны только людям, часто видящим смерть и потому лучше других знающим цену суете, мишуре — всему, что в начале рассказа я по-жаргонному назвал показухой. Еще лучше меня это чувствуют дети, которые льнут к Иосифу Кахиани, наверное, потому, что в их крохотных сердцах колотятся будущие сердца мужчин.

Я пишу обо всем этом, чтобы представить, каким был бы Миша Хергиани, если бы цикл развития не оборвался.

В теперешнем цикле развития я думаю, что надо жить так, чтобы люди держали память о тебе бережно, как держат в ладонях трепетную живую птицу. Если, конечно, ты это сумеешь.

Эй, Бако!

В не столь уж давние времена влажным июньским вечером молодой историк Диамар Михайлович Рощапкин сидел в банкетном залике ресторана «Арагви», и банкет тот был не только на его деньги, но и в его честь.

Торжественный час нетронутой сервировки уже прошел, час, когда снимаются с разрешения дам пиджаки (дам, впрочем, не было), тоже прошел, но расходиться было совсем не пора. Был час бесед соседа с соседом.

Располагала к этому обстановка банкета — без шумных тостов и льстивых выкриков, а может быть и повод его, который в обычных условиях поводом вовсе не может быть. Сегодня вышел из печати мало кому известный исторический сборник со статьей Д. М. Рощапкина о вассальных неурядицах в дальних краях в чудовищно далекие времена, когда даже короли там назывались по-деревенски просто: Карл Лысый, Карл Толстый, Карл Простой или, хуже того, Генрих Обжора. Абстрактность события усугублялась тем, что автор статьи жил не то что не возле Сорбонны или Амьена, но даже до всемирно известной Библиотеки имени В. И. Ленина ему было не меньше десятка летных часов на быстром аэрофлотском самолете. В банкетном залике сидели те, кто, изумившись дикой бескорыстности замысла, помог автору собрать материал — пачки фотокопий и рулончик пленок, некоторые именно из Сорбонны — были среди сидевших в банкетном залике видные люди.

В комнате этой, отделенной переходами от громкого общего зала было уютно. Неярко горела люстра, стоял умеренный гуманитарный шумок, разве что излишне попахивало шашлыком, но тут уж ничего нельзя было сделать, ибо запах сей неотделим от слова «Арагви».

Доктор Бояринов излагал свою версию становления Кушанского царства доктору Бруку, Громов из историко-архивного слушал Толю Цветкова — восходящее историческое светило, а доктор Негребин сидел, улыбался и мучился с фужером теплой минеральной воды — выпить он не мог из-за печени, а уйти не позво-

ляла потомственная интеллигентность, а также уверенность в том, что с коллегами надо общаться.

Сам же Рощапкин вовсе не к месту думал о суете сует. Вот написал, опубликовал наперекор всем и себе, а дальше-то что? Ясно, что он не Жуковский, «Историю государства Российского» не напишет, не Соловьев он, не Габин и даже не профессор Покровский, который создал хотя и порочную, но все-таки школу. И уж ясно, что нет и не будет ему от этой статьи немедленных сильных выгод — сумасшедший разве что возьмет диссертационной темой работу о Каролингах, да и зачем, зачем это все? Но ведь все-таки написал. Все-таки опубликовал.

А врач сказал: «Немедленно в Кисловодск». Для лечения нервной системы и желудка, загубленных холостяцким образом жизни. Что образ жизни! Попробуйте написать подобную работу в век небывалого технического прогресса. Попробуйте написать, когда нет за спиной ни КБ, ни НИИ, ни кафедры, ни завода, ни просто неотложных хозяйственных нужд государства. Но ведь написал? Все позади, все позади.

В это время Гугнишвили из ИРСа, добродушный, налитый южным здоровьем Гугнишвили, единственный в залике, на кого коньяк действовал именно так, как должен действовать по проспектам сей добрый напиток, перегнулся через стол и сказал сочувственно:

— Грустный какой юбиляр!

Рощапкин лишь улыбнулся в ответ.

— Я тоже радость жизни потерял с первой работой, — сказал Гугнишвили. — Хорошо помню, что застрелиться хотел. Пойми, дорогой, все написал, переплет сделал, а защищать не могу. Приехал домой, в горы. Еле живой приехал, мать плачет целые сутки. А дома, воздух, вино. Э! Через три дня за девушками ухаживал. На защите как лев себя вел, оппоненты на глазах поседели.

— Да-а, — сказал Рощапкин.

Доктор Негребин отставил фужер с минеральной водой и мечтательно улыбнулся.

— В Грузию поезжай, — твердо сказал Гугнишвили. — Такая страна. Мертвого лечит.

— Путевка у меня. В Кисловодск.

— Э! Какую производишь ошибку, — в комическом ужасе отмахнулся от него Гугнишвили. — Распоря-

док — маспорядок. Плохой едой желудок испортишь. Ночью в окно полезешь — руку сломаешь. Зачем?

Рощапкин усмехнулся и потянулся за коньяком, чтобы налить Гугнишвили, чокнуться с ним. А доктор Негребин покачал головой в неосуществимой мечте.

— За Грузию, — сказал Гугнишвили. — Гаумарджос!

Он хитрым эллипсом крутанул рюмку в воздухе и выпил коньяк. А выпив, взял не спеша ломтик лимона и подмигнул Рощапкину добродушно и мудро, как человек, знающий соль бытия.

«Ах, — подумал несвязно Рощапкин. — Что это я, в самом деле?»

В каком году было введено христиансто на Руси?

В девятьсот восемьдесят восьмом!

В каком году была битва при Грюнвальде?

В тысяча четыреста десятом.

А где тот лес, при котором состоялась битва, где кости погибших людей, разыщите вы их потомков.

«Что это я, в самом деле?»

В банкетном залике шумели гуманитарии — физически слабые люди умственного труда с сильно развитым интеллектом. Доктор Негребин, который знал древние романские языки, позабытые среди романских народов, и Толя Цветков — будущий академик, и Гугнишвили — знаток аббасидской эпохи и сам бесспорный в душе аббасид.

...Мимо гостиницы «Алтай», что возле Окружной железной дороги, проносились с грохотом электрички.

К шуму их примешивался голос снабженца, который кричал в трубку коридорного телефона и выпрашивал тонкий прокат из легирки и станок КДК-500. Снабженец был нервным взъерошенным человеком и слова «лимит», «разрядка» произносил с крайней брезгливостью.

Кроме того, уборщица стучала в дверь номера 23. Стучала давно.

За дверью этого номера спал послебанкетный Рощапкин. Наконец он проснулся и сипло крикнул: «Войдите!» Но вспомнил, что дверь закрыта ключом изнутри. Встал, накинул на себя одеяло и босиком прошлепал до двери.

Уборщица вошла, глянула на стол, где стояла на-

чатая бутылка коньяка «Ереван», скатала похожую на лампасы с генеральских штанов дорожку и ушла.

Коньяк на столе оставил Слава, Ярослав Александрович, военно-морской офицер, задержавшийся в гостинице «Алтай» на два дня по дороге из отпуска на энскую военно-морскую базу. Коньяк он вынул из чемодана, когда узнал, что вернувшийся под хмельком сосед стал опубликованным автором.

Сейчас он был, наверное, уже в Ленинграде, потому что ночью уехал сразу, как выпил за рощапкинскую удачу флотские сто пятьдесят.

После него остался запах умеренно курящего человека, коньяка, тройного одеколона и еще чего-то, менее осязаемого.

Хороший был человек моряк. С чистым лицом и ясными глазами хорошо знающего служебный долг человека.

— Дурак, что не стал математиком, — убежденно сказал в потолок Дима Рощапкин. Давнее было то сожаление, с первого курса истфака.

Математикой его заразил Сергей Сергеич, отрешенный от земной жизни чудак, невесть как попавший в Кулундинские степи. Задачки он задавал из рукописной амбарной книги и восьмиклассникам рассказывал об уравнении струны.

В чернильной тьме бесконечности протянута сверкающая струна, и бегут по ней две волны, каждая со своего конца бесконечности. Они встречаются, складывают свои уравнения и, измененные, разбегаются снова. Из бесконечности бегут в бесконечность.

— Как в сказке два корабля, — дрогнувшим голосом говорил учитель.

Хороший был человек, только педагог никудышный. С безжалостной добротой сказал Диме Рощапкину, верному члену математического кружка:

— Способности. Но не талант.

Рощапкин пал жертвой усталости предков. Предки устали в борьбе с землей, и мать захотела для сына изящной гуманитарной жизни. Отец вмешаться не мог, ибо прахом вошел в историю войн. Мамаша, бухгалтер сельпо, была уверена, что знает счетную книгу жизни. И Рощапкин пошел на истфак, так как крепко горевал об отсутствии математической гениальности.

В двадцать пять лет оказался на стариковской рабо-

те в архиве. Культурная работенка, мечта исстрадавшихся в тяжелой борьбе с землей рощапкинских предков: папочки, картотеки, библиотечный синий халат.

Смешили Рощапкина заезжавшие из Москвы аспирантки. Эти четкие девы все, как одна, разрабатывали благодатную жилу рабочих движений. И рыскали по сибирским городам, теперь уже по сибирским, в поисках неистощенных залежей фактов. Рощапкин неизменно выдавал им книгу местного краеведа, не жаждущего славы старца, у которого вся классовая борьба этого края, с конца прошлого века по первую четверть этого, нарисована была рубцами и шрамами тела, переломами многих костей. И книжка эта, потрясающая по детальности фактов, была последней классовой битвой старого работяги. Уж кто-то, а четкие московские девы это ценили.

Как-то в командировке в город, в котором учился, Рощапкин встретил на улице старого профессора. Тот сверх ожидания его узнал и, что еще более странно, сказал: «А я помню вашу курсовую по раннему средневековью».

Душа Рощапкина хотела бескорыстного и большого. Так он вернулся к продолжению курсовой работы. Была ведь особая торжественность, подкупающая глупость в том, чтобы в дальнем сибирском городе писать о Каролингах. Рощапкин рассматривал это как личный вызов бледным и нервным девицам, которые мусолили скудными мыслями горечь, кровь и светлую боль рабочих движений. У Каролингов горечь и кровь истории отмыта была веками. Рощапкин смутно чувствовал непонятную ярость той эпохи. Биологическая крепкая ярость простолюдинов, монахов и королей привлекала его, он и сам не знал почему. «И никогда мы не умрем, пока качаются светила над снастями».

Жилец комнаты 23 Д. М. Рощапкин взял записную книжку, приобретенное недавно чудо полиграфического искусства в зеленом переплетике с календарями на текущий и будущий годы, с алфавитом для телефонов деловых знакомых, друзей и подруг, а также с чистыми глянцевыми страничками для записи собственных размышлений.

По календарику получалось, что до начала путевки ему осталось ровно пятнадцать дней. Эти дни он планировал просидеть в библиотеке. Планировал без размышлений, так как за последние пять лет отвык от чего-либо другого.

С гибельным чувством падения Рощапкин плеснул в стакан коньяка. Закусил лимоном, который нарезал вчера твердой рукой морской офицер. «В Грузии все есть!» — так, перефразируя Чехова, сказал аббасид Гугнишвили.

В соседнем номере кто-то испытывал благоприобретенный транзистор. А может, магнитофон.

«Ча-ча-ча! — кричала за стеной певица. — Ча, ча, ча! Ух!»

Рощапкин вспомнил институтского друга Колю Вохмянина, который преподавал сейчас историю в селе Секетовка Алтайского края. В последнем его письме была странная такая приписка: «Считаю, что с жизнью сложилось нормально. Только тревожно бывает весной. Снег тает, ученики шалеют, и хочется куда-то идти. Вот так шел бы и шел по России, на местность смотрел и встречался с разным народом».

Неожиданно для себя Рощапкин встал и пошел к телефону. Трубка была еще теплой от снабженческих натисков. В справочнике, лежащем рядом с телефоном, он с сомнамбулической точностью нашел справочное Курского вокзала и через недолгое время узнал, как попадают в Тбилиси — столицу республики, где все есть.

...Человек сидел за столом, заваленным ворохами зеленого лука. Лук был крупный, сочный и очень яркого, почти изумрудного цвета. Человек питался, не снимая огромной кепки. Больше посетителей не имелось.

Рощапкин попал в этот подвал чуть ли не с поезда. Номер в гостинице ему устроил таксист. Быстро, культурно и за небольшую доплату.

Номер был очень хороший. В раскрытое окно врывался солнечный свет и громкая южная речь, не стесненная постановлениями о тишине.

Рощапкин побрился, достал из чемодана лучшую рубашку и вышел на улицу. Его охватили зной, запах раскаленного асфальта, и тут же он почувствовал страшный голод. И увидел этот подвал. Он прошел к стойке, на которой громоздились батареи бутылок, а за ними винные бочки. Точно в нужный момент из боковой дверцы появился усатый гигант, тоже в громадной кепке. Гигант уперся ручищами в стойку, и полы халата разошлись на его животе.

— Здравствуй, дорогой, — сказал он и показал в дружелюбной улыбке прокуренные зубы.

— «Гурджаани» четвертый номер есть? — спросил Рощапкин.

Хозяин отрицательно покачал головой.

— Гурджаанского же розлива, — чувствуя, что впустую, повторил Дима.

Гигант глянул на него из-под кепки, помыслил и, тяжко нагнувшись, вытащил из-под стойки мокрую холодную бутылку вина.

— Кто научил?

— Профессор Гугнишвили.

Хозяин задумался на мгновение, печально дернул усом и вытащил вторую бутылку.

— Что будешь кушать?

— Ваш выбор. Что полагается к этому вину.

Гигант принял ответственность и исчез за дверцей.

Рощапкин сел у окна. В окне передвигались ноги в отлично, по-южному начищенной обуви.

Появился хозяин. В растопыренных пятернях он нес две бутылки вина, две бутылки с минеральной водой, тарелку с обжаренным мясом и еще с чем-то поднос. Все это он поставил на стол, из складки большого пальца извлек соусник, снял с шеи полотенце, стряхнул им невидимые крошки и, тяжко ступая, ушел.

Едок зеленого лука смотрел на Рощапкина через зал. Глаза под козырьком у него казались матово-черными. Рощапкин налил бокал и знаком предложил разделить компанию. Человек отрицательно покрутил кепкой. Рощапкин вспомнил не то читанные где-то, не то слышанные южные кодексы, взял бутылку и направился к его столу.

— Прошу выпить за ваше здоровье, — смолол он, сам ужасаясь тому, что несет. Человек откинулся на стуле и рыцарским кивком поблагодарил. Потом крикнул в пространство.

Тотчас появился хозяин, неся меж пальцев бутылки точно карандашики. Всю эту груду он поставил на стол Рощапкина, сформулировал:

— Его счет, ваше здоровье.

...Через полчаса Рощапкин сидел за одним столом с обладателем кепки и матовых глаз, и тот вдохновенно произносил:

— Этот бокал мы выпьем в память наших родителей, породивших нас.

Он делал бокалом движение, как бы приподнимая бокал и одновременно прижимая его к груди в знак сугубого уважения к собеседнику, и лишь потом «гаумарджос!» выпивал. Отменно это у него получалось. Куда лучше, чем у профессора Гугнишвили, подзабывшего в изучении мусульманства науку вина.

— Меня зовут Кекец. У меня есть мать, дом, дети, жена и машина. Можно сказать, что я счастливый человек — все есть...

— Мне посоветовал Гугнишвили. Святой человек. Понимаешь, Кекец, от бумажек голова закрутилась. Ты счастливый — я нет.

— Эт-тот небольшой бокал мы выпьем за научную деятельность, — строго сказал Кекец. Он крикнул опять. Появился гигант, и они втроем стоя выпили за настоящую, прошедшую и будущую научную деятельность Д. М. Рощапкина.

...Поздним вечером пришлось придвинуть четвертый стол, после чего хозяин запер дверь и уселся к гостям. Он пил вино деловито и просто, как будто ел хлеб с водой. Все гости были со строгими лицами горных жителей. Рощапкин давно потерял им счет.

— Мы очень такой народ, — объяснял ему сосед. — У нас нету отдельно.

Как бы в подтверждение в дверь с улицы ломились жаждущие коллектива люди. Четыре стола дружно кричали: «Ара!» Что в переводе с грузинского значило: «Нет!»

По особому стуку впустили только высокого старика с сумасшедшими глазами. Он выпил вино, вынул из кармана дудку и заиграл, отдувая небритую щеку. Усатые мужики запели тонкими женскими голосами.

...Ночевал Рощапкин у Кекеца, так как в десять вечера вся компания направилась к нему домой, включая хозяина погребка. Кекец жил в старой части города, где дома в узких улочках напоминали маленькие кирпичные крепости. Над крепостями висели крупные южные звезды, и куда-то в небо дугой взлетала освещенная лента фуникулера. Где-то около этой световой дуги, как знал Рощапкин, похоронен был Грибоедов.

У Кекеца тоже пили вино, которое наливала из плоских бочонков добродушная черноволосая матрона — жена, а из дверей выглядывали дети. Их было так много, что можно было поверить: от вина предметов становится больше.

Было раннее утро. В открытое окно веранды шел легкий воздух, непостижимая тишина. В этой тишине кто-то протяжно кричал:

— Мацо-о-ни! Ма-а-а-цо-они!

Рощапкин смутно вспомнил узкие средневековые улочки, по которым они вчера с Кекецем добирались домой. Почему этот город так любили люди возвышенного строя души: Есенин, Пастернак и Пушкин Александр Сергеевич? Скрипнула дверь, вошел всклокоченный Кекец и знаком предложил ему одеваться.

— На работу? — шепотом спросил Рощапкин.

Кекец как-то странно покачал головой: вначале положительно, потом отрицательно.

Они вышли на улицу и по сбегавшим вниз булыжным закоулкам, мимо затейливых прошлого века особнячков со столбиками, и верандами, и лестничками, похожих на шкатулки в комиссионке, в ранней прохладе улиц прошли они неизвестный Рощапкину путь и очутились перед дверью, на которой была крупная надпись «ХАШНАЯ». Несмотря на ранний час, дверь была распахнута чуть не настежь. Внутри стояли столики, за столиками сидели мужики в ужасной щетине и ели из дымящихся мисочек. Перед каждым стоял графинчик и стопка.

— Дорогой,— сказал Кекец,— ты видишь народный обычай? До семи утра, если ты вчера пил, можно выпить немного водки и съесть хаши. Такой специальный суп.

Меж тем напитавшиеся вставали из-за столов с видом людей, выполнивших спозаранку важную государственную работу. Наверное, шли бриться.

— А после семи? — рассеянно спросил Рощапкин. — А не водки?

— Только до семи и только немного водки. Иначе алкоголист,— убежденно сказал Кекец.— И обязательно хаши.

Официант быстро принес и миски и графинчик. Даже на глаз было видно, какой он холодный.

— Такой обычай, — повторил Кекец, наливая водку. — И ни один грузин еще от этого обычая не умер.

Они выпили, и Рощапкин с наслаждением начал есть острое горячее хаши.

— Ты в отпуске? — спросил Кекец.

— Да,— твердо сказал Рощапкин.

— А мне на работу. Я банщик. Людей мою. Серные воды знаешь?

— Читал у Пушкина.

— О! — Кекец торжественно поднял палец.— У нас каждый банщик это читал.

Улицы наполнялись дневным зноем. С достоинством шли тщательно выбритые мужчины, смуглые женщины с продуктовыми сумками. Звенел смех, мчались куда-то пацаны с завязанными на животе полами ковбоек. Закоулками старого города они вышли к Куре.

На отвесных скалах на той стороне реки стояли кирпичные дома, и балконы домов висели над бездной, торчали развалины не то крепости, не то церкви, а перед крепостью над рекой сидел на коне атлетический бронзовый воитель, без рубашки, но при мече. Красивый и гордый парень был этот воитель. И Рощапкин дрогнул, увидев, что он смотрит на раскинувшийся внизу город, древний Тифлис, преемник картлийской столицы Мцхеты, смотрит на реку Куру, на землю, где шли железные легионы Помпея, куда рвались персы-огнепоклонники и восточноримское христианство, где шли монголы и аббасиды, а земля жила, и великий Пушкин оставил здесь часть своего сердца, а редкий человек Грибоедов оставил здесь свой прах.

Кекец отправился служить человечеству под вывеску «НАРОДНЫЕ БАНИ», Рощапкин ненадолго пошел в противоположную сторону, где еще раньше заметил две церкви: одна была из дикого циклопического камня и полуразрушена, а перед второй, сразу за неприглядной стеной жилого дома, начинался зеленый заборчик, газон, и сквозь газон вела бетонная тропка, вообще все было как на даче рачительного хозяина: подкрашено, подмазано и виден неусыпный хозяйский глаз.

В заброшенной церкви пахло пустотой и мышами. Века ничего не могли поделать с окатанной речной булыгой, они выедали только цемент, да рассыпаться начали кирпичные угловые башенки. Позеленевшая медная вывеска извещала, что церковь эта старая, VIII век, и строить ее начал Баграт, а закончил Вахтанг. Рощапкин подумал о том, догадался ли, нашел ли время Баграт положить первый камень, оставив работягам доделывать остальное, или просто р а з р е ш и л, подписал техпроект. У царей в те времена хватало забот, так как по соседству скакали по завоеванным просторам, точи-

ли холодное оружие чингизиды, а может, даже не точили, в надменной монгольской спеси поглядывая на крохотное государство. Так что Баграт и Вахтанг были тут вроде символом, если всех работяг писать — никакой меди не хватит. А работяги, наверное, строили от души, не только для оклада, потому что верили в бога.

За соседнюю оградку, по бетонной тропинке шли люди, женщины в черном, старики в арабских башлыках, несмотря на жару, и зеваки.

Бездельный отпускник Рощапкин тоже отправился поглазеть. Людей в церкви было немного. Служба еще не начиналась. Рощапкин отошел к дальней стенке, поднял глаза на купол. На куполе сверкала свежая роспись. В центре росписи находилась мадонна с младенцем. Выглядело это так: на садовой скамеечке, какие можно увидеть в любом парке государства, сидела женщина в коричневой цигейковой шубке и держала в руках ребенка, завернутого в байковое одеяло. Младенец был здоровый, нормальный младенец, готовый для детских яслей. А женщина была нормальной домохозяйкой, озабоченная младенцем, мужем и другими заботами середины XX века.

Внизу лентой располагалась другая сцена. «Христос с апостолами», — с трудом сообразил Рощапкин. Апостольская летучка выглядела совсем по-земному: за дощатым столом во дворе, где обычно бьют домино, сидели пенсионеры, вышедшие подышать свежим воздухом. Один из пенсионеров рассказывал занятную историю времен давней юности. Остальные — «во дает!» — слушали.

Сверху же над приземленными мифами летел ангел в настоящей ангельской форме, при хламидке и крыльях. Точнее, это был не ангел, а ангелица, и прозрачная хламидка не скрывала, а только подчеркивала отчаянные формы ангельской плоти.

Неведомый мастер — враг отвлеченности во всех ее проявлениях, гениально земной человек создавал эти фрески. И тем создавал опиум для народа.

На бане, где работал Кекец, висел кусок бумаги с чернильной грузинской вязью и русским текстом МЫТЬ НЕТ. Никто Рощапкина тем не менее не задержал.

Окон внутри бани не было, светили тусклые лампочки в каменных сводах, а когда он толкнул очередную дверь, то увидел сводчатый купол с дырой. В дыру падал солнечный свет и как раз попадал на стол. На столе стоял

нормальный русский самовар, а вокруг сидели голые жилистые банщики в клеенчатых фартуках и пили чай. Оказалось, горкоммунхоз именно сегодня, не предупредив даже банщиков, решил баню закрыть на ремонт и на приведение ее к уровню современной жизни: заменить кованые крюки, на которые вешали одежду поколения тифлисцев, пластмассовыми, убрать каменные лежаки, где возлегал с присными Ираклий II, пробить широкие окна.

Вернулся один из банщиков, посланный на рынок за бутылью вина и острым сыром сулугуни. После этого посылали еще раз. После третьего раза Кекец сказал, что, раз баня закрыта, он с дорогим гостем немедленно сядет в машину и поедет в родную деревню. Сам Кекец будет обрезать виноград, а Рощапкин жить для своего удовольствия.

— Я на море собрался, — сказал Рощапкин.

— Будет море вина, — пообещал Кекец.

Рощапкин замусолил интеллигентское «неудобно-о», но банщики хором сказали «ара!» и послали еще за вином.

И к Рощапкину уже возвращалось понимание юмора жизни, напрочь угробленное на Каролингов, — согласился. Море рядом — успеет.

По этому случаю пришлось послать еще за вином. Жилистые голые мужики начали петь песни. На сей раз пели нормальными голосами. Свирепый мужской хор гремел где-то под банным куполом. Банщики пели древние песни сражений. Может, так вот примерно и у этих полумифических Каролингов.

К концу последней бутылки стало ясно, что на машине Кекец никак не поедет, разве что за руль сядет человек, не приходивший сегодня в баню.

Решили ехать на поезде, и по этому случаю...

Солнечный свет померк в дырке на куполе. Банщики переоделись и на двух такси отправились к Кекецу, чтобы потом отправить его с Димкой на поезде.

Билетов в кассе не было. Но когда восемь усатых банщиков сунулись в окошко и дружно спросили «ара?» — два билета нашлись. Они долго прощались на перроне с клятвами скорой встречи, а когда поезд тронулся, шли рядом и совали в окошко вагона бутылки, свертки и еще бутылки, точно Кекец и Рощапкин уезжали на Колыму.

Попутчики в вагоне извлекали из-под скамеечки бочонки и сумки, и вскоре Рощапкин почувствовал, что понимает грузинский язык.

За окном шли виноградники и селения, выстроенные из дикого камня. На горных склонах торчали развалины древних замков. Вперегонки с поездом носились по проселкам поджарые, как гончие собаки, горные свиньи. Шагали куда-то старики в башлыках.

Рощапкину казалось, что все это он видел. Возможно, во сне. Он прикрыл глаза.

...Диспозиция дня, составленная Кекецем, выглядела так:

1. Вставать в пять, самое позднее в шесть утра. Это необходимо, потому что все встают в пять.

2. Ничего не делать.

Делать ничего нельзя, потому что гость.

Избави бог — увидят соседи. Позор на дом до скончания века, вот что такое занятый трудом гость.

Деревня находилась в долине Алазани. Со стороны Алазани ее отделяли тополевый лес и виноградники. С другой стороны торчали поросшие кустарником горы. На горах стояли белые заброшенные часовни. Пробраться к ним не имелось возможности: кустарник был упруг и колюч. Неизвестно, как туда добирались молельщики.

Кекец сразу после приезда начал копать канавки в саду, резал виноградные побеги, что-то строгал. Рощапкин сунулся помогать ему, и они поругались.

Мать Кекеца, совершенно невесомая старушка, одетая в черное, напоминала запущенный лет семьдесят назад вечный двигатель. Если она не возилась в винограднике, то была в яблонях, если не в яблонях, то на кухне, если не на кухне, то вязала нескончаемый шерстяной носок из желтой и черной шерсти в полоску. По-русски она не понимала ни слова, и Рощапкин разговаривал с ней улыбками.

Деревню рассекало асфальтовое шоссе, по бокам шоссе стояли двухэтажные дома из дикого камня, обрамленные по углам кирпичом. Кое-где по улицам лежали мешки цемента и новые груды камня — строились еще дома. В этой общине бытовали странные обычаи. Стимулом постройки громадных, на две трети пустовавших домов было: «Пусть детям будет просторно». Но каждый чуть оперившийся сын с ходу начинал строить точно такой же дом, чтобы было просторно его детям.

— У нас строитель-народ. Что ты хочешь! — мудро сказал банщик Кекец.

Деревенский строитель-народ мало напоминал городских собратьев. Он возвращался из виноградников черный от пота и солнца, и была в нем тяжкая уверенность жизни, которую на Димкиных глазах приобретал, а может, возвращал себе банщик Кекец, когда он в рваной ковбойке сидел под тутовым деревом после работы.

В саду со стуком падали яблоки, мягко шлепались перезревшие сливы.

— Фрукт у тебя гниет, — сказал сибиряк Рощапкин. — Продал бы ты его, что ли.

— По всему селу гниет, когда не берет государство. Крестьяне на рынке стоять не желают. Крестьянину-то неприлично.

Где-то в дальних виноградниках свиристели ночные жучки, и все падали, падали, возвращаясь в землю, плоды.

— Между прочим, мне врач трудиться велел, — сказал Рощапкин. — Косить, например. Косить я умею. Хорошо я когда-то умел косить.

— Нельзя, дорогой. Тебе кушать, лежать можно.

— Погубить меня хочешь, дорогой? — горько спросил Рощапкин. — Ведь серьезно врач приказал.

— Коса есть, — испуганно сказал Кекец.

Три дня Рощапкин обкашивал виноградник и траву между яблонями и сливами, и три дня над деревней торчал отчаянный вопль: «Димико-о! Димико-о!»

Это кричала матушка Кекеца с расчетом на то, что услышат соседи и поймут, не осудят за непутевого гостя, который нарушает обычай веков.

Кончив косить, Рощапкин яростно взялся крошить из неизвестного металла дрова. Которые не брал ни топор, ни пила, но можно было бить обухом, как саксаул. Он крошил их в щепу, а потом под палящим солнцем укладывал в красивую плотную стенку, на которую было приятно смотреть и думать о грядущей зиме.

Меж тем приближался срок путевки.

...В вечерний час, когда валилась на землю южная ночь и прохлада, хорошо было сидеть на лавочке у забора под могучим тутовым деревом и слушать замирающие хозяйственные стуки в деревне, обонять запах дыма и не думать совсем ни о чем.

На круглом великаньем столе стояла керосиновая лампа. В желтом свете янтарно отблескивали графины с ви-

ном. За столом на странных высоких табуретах, вроде как в баре, сидели старики. Свет лампы снизу освещал лишь твердые подбородки в седой щетине и седые усы. Выше усов находились лица в полумраке.

Когда Рощапкин вошел в сопровождении хозяина, один из стариков, сидевших спиной к двери, покачнулся на высоком табурете и начал медленно падать. Когда все мыслимые возможности равновесия уже были нарушены, старик вдруг гибко выпрямился и снова замер на табурете, недвижимый, как скала.

— Он думает, что он на коне едет. Ха-ха! — сказал хозяин.

В то же время громадная его ладонь ловко управляла рощапкинскими движениями: протолкнула мимо непомерного шкафа, стоявших на полу кувшинов и бутылок и последним толчком пододвинула к табуретке. Сейчас же из темноты вынырнула вторая громадная ладонь, и из недр ее появился стакан. На стакане обычного стекольного производства чья-то затейливая рука нарисовала красками сцену: очень крутые скалы и горы, а с гор идет усатый красавец с ружьем и несет на плече серну. На другой стороне стакана были нарисованы те самые цветы, которых нет ни в одном ботаническом атласе мира.

Рощапкин присмотрелся к полутьме и увидел, что за столом сидят еще четыре старика. Они сидели в темноте, как нахохленные белоголовые коршуны, и приветливо улыбались. Не улыбался только тот, кто сидел, положив голову на руки. Но и он на мгновение поднял голову, сверкнул зубами и сказал: «Гаумарджос», протянул через стол темную руку. Рощапкин привстал, тогда и старик встал. Он оказался крохотного роста. На поясе висел громадный кинжал.

— Это хевсур,— сказал хозяин.— Хевсур без кинжала не ходит.

Старики повернули к хозяину коршуньи головы, и тот перевел речь по-грузински. Старики радостно заулыбались. Зубы их так и сверкали в темноте.

Неожиданно хозяин постучал по стакану вилкой и заговорил страстным голосом. Старики положили руки на стол и молча слушали хозяина. Хозяин ораторствовал. Голос его раскатами проносился по комнате. Наконец Рощапкин услышал знакомое «гаумарджос», старики зажали в руках стаканы, но не пили, ибо хозяин заговорил по-русски: «Этот бокал мы пьем...»

И наконец все сделали тот неуловимый по артистич-

ности эллипсоидный жест стаканом: к груди, вбок, вверх и к усам.

«Дурак, что не стал математиком»,— отрешенно подумал Рощапкин, глядя на эллипс.

Глухая ночь катилась за окном, когда его разыскал счастливый Кекец. Неумолимые старики все качались на стульях, но ни один из них так и не упал. При каждом тосте тамады-хозяина они строго выпрямлялись и делали свой жест стаканом, не забыв его выпить до дна. Хозяин же был, что говорится, ни в одном глазу. Иногда он забывал переводить тосты, но Рощапкину казалось, что он и так все понимает, ибо содержание тостов, как он догадался, шло от вифлеемских времен и оставалось неизменным. Менялась только их очередность.

Где-то в третьем часу ночи Диамар Рощапкин вспомнил, что он историк, и провозгласил тост за великого грузина Георгия Саакадзе. При имени Саакадзе дремавшие старики выпрямились в седлах. Хозяин с благожелательным рыком: «Он знает нашего Саакадзе» — заключил Рощапкина в объятия. А когда Рощапкин освободился, Кекец виновато сказал:

— Все это было здесь. Монастырь Алаверди — там начинал Саакадзе. Старый монастырь. Тысячу лет.

— Где? — спросил Димка.

— В пятнадцати километрах. Его из-за садов не видать.

— Хочу посмотреть.

— Ты хочешь посмотреть Алаверди? — вмешался хозяин.

— Да-да,— покивал головой Рощапкин. Он почувствовал, что за столом возникло какое-то напряжение.

— Залезь на крышу и увидишь. Или просто выйди за сады. Его видно за восемьдесят километров. Здесь всего пятнадцать.

Старики оживленно заговорили. Они поглядывали на Рощапкина, кивали головами и, забыв про седые головы, перебивали друг друга. Хозяин встал и сказал:

— Мы рады, что ты хочешь посмотреть Алаверди, гордость народа. У нас осенью бывает праздник Алаверди, когда съезжается вся Грузия. Но мы отвезем тебя в Алаверди завтра. Гость должен знать, чем мы живем.— И, закончив речь, он повелительно заговорил со счастливым Кекецем, тот кивал головой, и старики тоже важно кивали.

— Этот бокал мы...— сказал хозяин. Старики встали со своих высоких табуретов, и Рощапкин встал, и они стоя выпили за неизвестное, но, видимо, весьма важное явление природы иль жизни.

Чернильная южная ночь начала светлеть, когда они с Кекецем, поддерживая друг друга, шли домой.

Небо, асфальт, забор и звезды вдруг затеяли веселую свистопляску под звуки неведомой музыки. Еще Рощапкин успел спросить:

— Зубы у тех стариков как у юношей?

— Пластмасса. Пастух быстро зубы теряет, потому что после горячей еды пьет ледяную воду,— откуда-то из вечности донесся слабый Кекецев голос.

— Бако-о! — отчаянно вопил Рощапкин— Эй, Бако-о! — Вопль его тонул в шорохе тополевых листьев, журчании лесной воды...

С раннего утра они как проклятые носились по этому тополевому лесу, разыскивая неведомого Бако. Старики приказали найти старика Бако, который пасет стадо овец невдалеке от деревни. Надо было Бако найти, объяснить, что нужен баран для Алаверди, и, когда он барана выберет, притащит того барана в деревню. Иначе в Алаверди ехать нельзя.

Выцветшее небо палило зноем.

— Жара же! В лесу должен быть Бако,— в сотый раз сказал Кекец.

— Бако! Эй, Бако-о! — но все тот же лиственный шорох, шум животворной алазанской воды по канавкам, питающим водой тополя, был ответом.

— Идем к реке, — обессиленно сказал Кекец. — Черт его знает...

Они еще раз пересекли лес и выбрались в слепящее каменное марево русла. Убегающее в горы каменное ложе буйной горной реки изрыто было ямами, которые выкрутила паводковая вода, усыпано валунами, кусками дерна, иссохшими трупами лесных дерев.

Они разошлись, потеряли друг друга в бесплодной равнине, а когда сошлись, то Рощапкин был на грани солнечного удара.

— Пошли,— сказал он.— Пусть меня вместо барана. Все равно.

— Стой! — быстро откликнулся Кекец. Он помахал

ладонью у носа, принюхался и, как гончий пес, устремился вперед, шлепая по камням босоножками.

...В яме, вырытой водяным буйством, где недвижимый воздух был расплавлен, как магма, сидели два морщинистых человека в бурках. Перед ними лежала газетка, на газетке уютно зеленели огурцы, матово отливала головка чеснока и лежал длинный, деревенской выпечки хлеб. В руках у морщинистых людей были граненые стопки.

— Эт-тот бокал мы...— говорил один старик, второй торжественно слушал.

— Бако-о! — укоризненно сказал Кекец.— Три часа тебя ищем по всей Грузии. Хорошо, что чачу носом учуял.

— Эт-тот бокал мы выпьем за приход дорогих гостей, посетивших нас, — закончил старик. — Гаумарджос!

— Гаумарджос, друзья! Спускайтесь к хлебу,— добавил второй. Они чокнулись и исполнили жест.

После энергичных объяснений и пары стопок чачи Бако повел их к овцам, которые изнемогали от жары в соседней яме. Простой человек Бако встал как бог Саваоф на краю ямы, долго стоял так, вглядывался в овец, опираясь на посох. И второй старик, как богов дублер, стоял рядом с ним.

— Вот,— сказал наконец Бако и ткнул посохом в одного из баранов.— Это пойдет для Алаверди.

— Для Алаверди! — эхом повторил дублер.

Обреченный баран поблеял и дал надеть на себя веревку. Однако вскоре он опомнился и решил не отдавать жизнь без борьбы. Когда они выбрались на шоссе, у Рощапкина была порвана рубашка, у Кекеца брюки, и оба они босиком шагали по кипящему асфальту, так как босоножки потеряли еще в лесу. Кекец, перекинув веревку через плечо, буксировал барана. Рощапкин напирал в стриженый бараний зад, баран блеял и, откуда в нем это бралось, беспрерывно осыпал его теплыми катышами. По шоссе шуршали шипы «Москвичей» и «Побед». Усатые автомобилевладельцы замедляли ход и смотрели на них завистливо и серьезно. Баран на шоссе — это шашлык и вино. Какие могут быть шутки?

...У дома уже стояла открытая грузовая машина. Возле машины переминались застенчивые юноши в белых рубашках. Во дворе на длинных скамейках сидели важные старики в черном и молчали. У ног их лежали

хурджины. Мать Кекеца, тоже в черном, сидела на табуретке и тоже молчала. Из переметных сум, уложенных вокруг табуретки, торчала зелень и отсвечивали медные бока кастрюль. Один из стариков что-то сказал в пространство, тотчас возникли юноши в белых рубашках и перетаскали в машину весь скарб, включая скамейки. И баран был привязан в кузове, в последний свой путь.

Машина медленно шла вдоль поселка. Из каждого дома выбегал человек с хурджином или бочонком и лез в кузов. Было похоже, что из-за этой поездки все сельское хозяйство окажется в полном забросе.

— Это родственники,— объяснял Кекец.— Без них ехать нельзя.

И машина вбирала и вбирала в себя людей, бочонки, хурджины, сумки с зеленью и кастрюли с готовой снедью. Позади в деревне оставались безлюдье, запустевшие подвалы, кладовки и очаги.

Издали монастырь был очень белый и очень великий, и, пока машина катила по бесплодному алазанскому ложу, он все вырастал и вырастал, а когда сравнялся в размерах с дальними вершинами гор, то стал казаться поменьше, но все-таки и вплотную оказался громаден.

Кирпичная крепостная стена окружала его. Ворота были разрушены, и кое-где осыпались башни, но все-таки он походил на хоть куда пригодную крепость.

Обширный двор зарос некошеной зеленью, и под вековым грецким орехом, тоже, наверное, посаженным в смутный XI век, стояли стол и скамейки. Туда юноши энергично перетаскивали хурджины, бутылки и бочонки, а барана сняли на землю. Один из стариков что-то барану сказал, и тот покорно пошел. Шли старики, и семенил баран, последний раз глядя на травку и землю. Так они трижды обошли вокруг громады монастыря, после чего барана отвели к стене, где прямо в толще ее был устроен закопченный камин, лежали полешки буковых дров, а на кованых гвоздиках висели шампуры.

Пустота и разруха была внутри храма XI века, но кто-то уже начал наводить тут порядок, расчищать древние фрески, освобождать их от штукатурки.

— Николай I велел замазать, — просто сказал один старик, как будто Николай I был председателем их сельсовета.

С расчищенных фресок смотрели византийские лики

святых, мало похожих на русских святителей. Чаще других фигурировал стройный детина с мечом — Георгий Победоносец. Самостоятельный и хмурый мужчина был этот Георгий. Может, именно он и не понравился царю Николаю, владыке тюрьмы народов.

Пробитая в толще стены лестница вела вверх. Один из стариков указал на нее Рощапкину и сам пошел впереди, неторопливо шагая по узким ступеням. Старик все шагал и шагал, и задыхающийся Рощапкин оскальзывался за ним в узком, почти вертикальном проходе, и не было этой лестнице никакого конца, как будто она вела прямо на небо. Кое-где у лестничных поворотов в стене были пробиты узкие ниши, и они позволяли оценить чудовищную толщину этих стен. В ниши падал пыльный прохладный свет и освещал гирлянды летучих мышей. Наконец-то где-то через полчаса они взобрались наверх. Внизу был двор — пятачок, маленькие фигуры людей, река Алазань и дальние горы.

— Вот там, — кивнув в пространство, сказал старик,— была в засаде конница Саакадзе. В той стороне — другая засада. В монастыре помещались турки. Отсюда, с освобождения Алаверди, начал Георгий свою войну. Ты понял?

— Понял, — сказал профессиональный историк Д. М. Рощапкин.

Он заглянул на залитые солнцем поля, сверкающую ленту реки, на землю, политую потом и кровью сотен поколений крестьян. Волнение предков, искавших пригодную для пахоты степь и пахавших ее, возродилось в Рощапкине, и без перехода он осознал главную ошибку своей статьи. В обладании землей, в близости к ней был смысл феодальной жизни. Земля была главной ценностью той эпохи, и, может быть, отсюда идет извечная привлекательность ее для романистов, поэтов, историков. И снова без перехода естественным потоком мысль Рощапкина ринулась дальше, он с математической ясностью осознал, что высший смысл истории — возделывать землю, рожать детей, строить дом, чтобы им было просторно; все остальное — суета сложного времени.

Ночь ложилась на монастырский двор. Старики встали и грянули торжественную песню грузинского многоголосья. Голоса и лица стариков были строги.

— Это «Ласточка»,— утирая слезы, шепотом сказал Кекец.

— Переведи.

— Нельзя перевести. Просто ласточка летела над Алазанью. Вот и вся песня.

Рощапкин отошел в сторону и лег на траву. В небе горела звезда. Почему-то всего одна. Он поискал другие звезды, но их не было. Одна звезда горела в жуткой выси и мигала Рощапкину дружелюбно и отрешенно. Гремел стариковский хор о ласточке, которая летела над берегом Алазани.

Утренние старики

С самого начала здесь у меня вошло в привычку просыпаться глубокой ночью в состоянии, схожем с ожиданием чуда. Несколько минут я лежал с открытыми глазами в кромешной тьме. Тьму оттеняли, если что-либо может ее оттенять, только серые полоски света по краям завешенных солдатскими одеялами окон.

Я вставал и ощупью шел через комнату. Половицы под босыми ногами скрипели, визжали и взлаивали. Они были сделаны из дерева неизвестных пород, пересохли в малоизученном климате Центральной Азии, и оттого звук их казался диким и непривычным. Я спотыкался об огромные архарьи рога в углу, дверь с азиатским же скрипом распахивалась, и я сразу шагал в звезды.

По ночам пыльная мгла, висевшая над Восточным Памиром, исчезала. Разреженный воздух четырехкилометровых высот становился холодным и чистым: звезды выступали как манная крупа на сукне, Млечный Путь казался прокрашенным взмахом малярной кисти, иного сравнения и подобрать трудно, до того он был четок.

Так я стоял, перебирал босыми ногами на холодном цементе крыльца, вздрагивал от ночного озноба и слушал шум реки, мчавшейся с известного по школе хребта Гиндукуш. Да-да, «утром на горы свой взор обрати, вечер встречай, глядя на воды...».

В темноте слышались скрип шагов часового, иногда стук копыт и фырканье лошади — кто-то из офицеров возвращался с ночной проверки пограндозоров. Я находился на одной из самых высокогорных в стране пограничных застав. Это и было чудом, если угодно.

...С давних пор я люблю отдаленные местности и ...общение со стариками. В этом при желании можно усмотреть тоску по утерянному спокойствию и мудрости, но я думаю, что причина проще, если бытие наше представить как длинный бег по пересеченной местности. Ясным солнечным утром ты выбираешь маршрут и мечтаешь о том, чтобы маршрут оказался хорошим, а сам ты — неплохим бегуном. Не всем, правда, дано до финиша знать истину бега. Старики же как бы выходят уже на финишную прямую...

Так или иначе я был здесь, на отдаленной заставе, и каждое утро отправлялся к единственному в округе человеку пожилых лет. Он пас принадлежащих заставе баранов, а жил в километре от нее, у подножия зубчатого коричневого хребта. Я шел к нему мимо чахлой травки, бараньих черепов, выбеленных высотным солнцем, и черных от пустынного загара камней.

Звали его редким именем Хокирох, что в переводе означает «дорожная пыль». Происхождением своим имя обязано было обычаю древних времен — называть младенца столь ничтожно, чтобы дьявол или кто там еще из злых сил не счел нужным им заинтересоваться. Трудно, конечно, представить что-либо ничтожнее дорожной пыли, но сам Хокирох... На месте злых сил я подумал бы, прежде чем связываться с ним лет двадцать назад. Да и сейчас тоже.

...Он выходил навстречу, опираясь на палку, хромоногий, грузный, с неподражаемыми кавалерийскими усами на обрюзгшем лице. Его сопровождали огромные киргизские волкодавы, за ним пестрело одеждой потомство, за потомством жена, за женой белел дом, а за домом был уже горный хребет. Хокирох произносил традиционную восточную формулу гостеприимства, осведомлялся о здоровье, о сне, а сам незаметно нажимал тебе в спину огромной ладонью до тех пор, пока ты не оказывался в надлежащем месте. Это было схоже с ощущением горнолыжного подъемника или на худой конец эскалатора.

На столе сами собой, точно они были одушевленные, возникали фарфоровые подносы, пиалки и чайники. В окно виднелись горы. Горы здесь были невысокие, вроде северных сопок, но скорее напоминали не сопки, а яростные медвежьи загорбки. Как будто из глубей земли натужно вырывались коричневые медведи. Медведи освободились из плена, подняли спины над плато, но,

чтобы вздыбиться, вырваться совсем, у них не хватило сил.

Хокирох тоже напоминал мне медведя, лукавого и пожилого. Имя его было чем-то вроде предсказанной при рождении судьбы. Он немало отряхнул с себя дорожной пыли на тропах Памира, Афганистана, Китая, а также в государствах Европы во времена второй мировой войны. По рассказам Хокироха и тех, кто его знал, можно было без труда сплести весьма колоритный образ, домыслить пеструю историю, где смешались бы запад, восток, нации, равнины и горы. Но странное дело: бродячая жизнь Хокироха, жизнь пастуха и солдата, всегда казалась мне упорядоченной, как некий устав гарнизонной службы. Вначале была неприметная жизнь памирского пастушонка, а затем Хокирох вдруг остался один — без дома, баранов, отца и даже собаки, которую тоже пристрелили. И все это было в местах, где даже взрослый оседлый человек иногда чувствует себя беспризорником. Его подобрал отряд, преследовавший банду басмачей. Начались бурные дни его биографии, где были погони, дороги и очень много стрельбы. А затем снова все вернулось к пастушеской, так сказать, идиллии. Только сам Хокирох постарел.

Гостеприимство в доме Хокироха было двойным: национальное гостеприимство, когда ты мог усесться на пол, на ватную подстилочку — курпачу, положить под локоть подушку и пить чай в позе римлянина эпохи упадка; и европейское гостеприимство за длинным, во всю стену, натуральным банкетным столом, невесть как попавшим на эти высоты. Рассказывая о временах юности и зрелости, Хокирох иногда умолкал и удивленно начинал рассматривать эту картину сдвоенного гостеприимства, детей, которых мне никак не удавалось сосчитать, печь, где исходил бараньими запахами чугунный казан, уставленный снедью стол, — и Хокирох с хорошо отработанным изумлением произносил: «И вот, о аллах, я тоже сижу дома и принимаю гостей».

Беседа, как бы кратко задержавшись в рытвине, катилась дальше. Мы толковали о нравах горных козлов оху, о славе рода таджиков, к которому принадлежал Хокирох, о взятии города Кенигсберга, про басмаческий способ убивать человека коротким ударом ножа в сонную артерию, о привидении в Бараньей Щели, про казнь с помощью соломорезки, которую Хокирох наблюдал в Кашгаре... Да-да, ему было что рассказать, высоко-

горному патриарху на пенсии. Впрочем, сам Хокирох на пенсии себя не считал и любил самоутвердиться. В этом я убедился.

В тот день я нарушил привычный распорядок: с утра сел на смирную кобылку по имени Тома, и мы отправились в коричневый и синий мир. Вдали торчал хребет Гиндукуш, а между Гиндукушем и нами меланхоличными черными цепочками бродили яки. Восточный Памир, закинутое в небо плато, единственное место в нашей стране, где живут «в натуре», у себя дома, эти огромные допотопные звери. Они щипали редкую травку, бездельно пересекали реку и не обращали на нас с Томой никакого внимания.

Я слез с лошади, оперся спиной о камень и стал внимательно рассматривать яков, пытаясь найти, с кем или с чем их можно было бы сравнить. Ни на кого и ни на что не походили, разве что на помесь моржа и коровы. Я вспомнил, что из их хвостов делают самые лучшие и дорогие шиньоны для модниц, и рассмеялся. Яково, или кутасье, по-местному, счастье, но не все еще это знают... Было любо-дорого смотреть на крохотных лобастых кутасиков. Они находились в нескончаемом беспричинном каком-то детском движении и походили на плюшевые заводные игрушки с сильной веселой пружиной. Я попробовал установить с ними контакт, но кутасики жили по своей детской логике и предпочитали играть друг с другом, с камнями, рекой, но не со мной. Когда я оставил их в покое, один кутасик опять-таки, верно, в силу детской непоследовательности, выскочил из стада и побежал прямо ко мне. Он встал в двух метрах, расставив коренастые ноги; по бокам очень широкого, заросшего курчавым волосом лба уморительно блестели пуговичные глаза.

Я протянул к нему руку, но ближайший як развернул тысячекилограммовую тушу, и от бега его (так уж мне показалось) дрогнул Памир. С непостижимой, прямо ковбойской лихостью я взметнулся в седло, и мы с Томой позорно бежали. А когда остановились, я увидел двух всадников. Они неспешно двигались мимо заставы прямиком к Хокирохову дому. В ясном воздухе сквозь просветленную оптику бинокля я увидел, что передний всадник — офицер в фуражке с красным, непограничным околышем, а второй — старик в ватном халате. Из дому же навстречу им выбегают Хокирох, собаки и дети. Получалось, что приехал старший сын Хокироха, служив-

ший у Охотского моря, в родных для меня местах. Его ждали уже несколько дней.

Вечером Хокирох приехал на заставу приглашать на праздник. Телефон, связывающий его дом с заставой, действовал, но он предпочел пригласить лично. Он приехал на грузном вороном коне, грузно спустился с седла и подал каждому доскообразную негнущуюся ладонь.

— Прошу... в честь приезда сына... моего друга Сурхака, — говорил Хокирох.

Я вспомнил, что он как-то говорил о старике Сурхаке, старике из долины, который также жил на границе и у которого рос сын Хокироха, когда сам Хокирох был на войне. Скоро они удалились — старый вороной конь и чугунно восседающий Хокирох.

...В свете трех керосиновых ламп мы сидели за длинным банкетным столом, овеваемые запахами чая, водки и вареной баранины. Двери были открыты. В темноте жутко поблескивали глаза волкодавов, карауливших кость, и было слышно, как фыркают лошади и звякают, стукаясь друг о дружку, стремена. Огонь в печи гудел, и когда я вышел на улицу, то увидел искры, летящие из трубы вверх, — они смешивались со звездами. Где мгновение искры, где вечный свет звезд... К боку прижалось что-то теплое, и я ощутил под ладонью лохматый лоб овчарки. Было хорошо жить.

Сын Хокироха, тонкий, нервный, какой-то очень цивилизованный офицер, рассказывал об осени в охотской тайге, о штормах, накатах — обо всем, что я так хорошо знал. Происходило как бы смещение времен, путались местности. За столом царил Хокирох. Разливал водку по стопкам, разрывал ручищами бараньи ребра и клал их на блюда гостей. Благодушие и твердость шли от него. Сурхак сидел рядом с ним и смотрел прямо перед собой белыми, немигающими глазами. Он был слеп, этот старик из долины, и я смутно припомнил о каких-то легендарных деяниях пограничной молодости Сурхака. Кстати, Сурхак в переводе означает «красный». Он был слеп, и очень стар, и очень уютен в своем халате и белой полотняной рубашке с воротом на шнуровке. По-русски Сурхак говорил очень чисто, но больше молчал. Было приятно смотреть, как он на ощупь берет кость, предложенную ему Хокирохом, и тщательно обрабатывает ее с помощью ножа, так что в конце концов кость становилась полированной. Как и Хокирох, от водки он отказался, да и остальные просто делали вид, что

пьют, потому что все-таки здесь было четыре тысячи метров... Зато все долго пили чай, а потом вдруг наступила тишина, и взоры всех обратились на тихого старика Сурхака, а он все обрабатывал очередную кость, и всем почему-то стало стыдно, что говорили, шумели и даже выпивали. Сурхак в тишине отложил ножик и кость, стал шумно прихлебывать чай из пиалки.

— Давай! — громко сказал Хокирох. — Давай ломаем мосол.

Есть такой местный спорт — ломать берцовую кость только что съеденного барана. Хокирох громко сказал что-то на родном языке, сын его взял кость, помял ее больше для вида и, рассмеявшись, отложил, потряс покрасневшие ладони. Меднолицый, атлетического сложения начальник заставы долго заставил себя упрашивать. Наконец он взял кость. Я видел, как под рубашкой у него вздулись мускулы и кость медленно, но ощутимо прогнулась. Толик сделал вдох, и красивое лицо его, правильное лицо атлета, налилось кровью. Все затаили дыхание, и был миг, когда кость чуть не сломалась. Но не сломалась.

— Нет, — еле выдохнул Толик. — Не смогу...

Хокирох взял кость, обмотал ее полотенцем и сел на пол, неловко подогнув больную ногу. Он долго прилаживал кость и вдруг в воздухе явственно раздалась тревожная дробь цирковых барабанов. Чудовищные рычаги нажали кость, она поползла — и раздался приглушенный обмоткой треск.

Дети с обожанием смотрели на Хокироха, а он размотал полотенце, в два приема высосал мозг из обломков, а обломки кинул в дверной проем. Жена что-то резко выговаривала ему, может быть, предупреждала, что в один прекрасный день у старого шута лопнут жилы от непомерной натуги, а Хокирох сказал:

— А-а, прекрати. Каждый день надо жить как последний.

В это время я увидел, как Сурхак улыбается. Он улыбался насмешливо, как будто Хокирох показал фокус, давно известный ему, Сурхаку, фокус, который можно было и не показывать, но вот не сдержался и похвастался Хокирох.

...Из-за праздника я проснулся позднее обычного. На крыльце я увидел Сурхака. Он сидел, благонравно сложив на коленях руки; в одной руке был зажат лошадиный повод, а сам Сурхак вслушивался в дневные

шумы заставы, шумы армейской упорядоченной жизни.

— Старый... да, старый, — не оборачиваясь, сказал он. — Но вот сижу слушаю, вспоминаю, как был молодой...

И тут я увидел на лице его ту самую улыбку, что вчера за столом.

— Тебе долго не быть старым, да? — сказал Сурхак.

— Ну и что?

— Знаю, ты уважаешь, наверное, таких... мужественных, да, мужественных людей.

— Уважаю, — скромно сказал я.

— Вот есть герой, да? Через горы, ходит, врагов бьет, подвиги делает. О нем песни поют, да?

— Герой, конечно.

— А другой дома живет. Копает землю, пасет баранов. И ему тоже приходится стрелять, умирать, когда приходят враги. Ему первому приходится умирать. Но он старается жить, так как это его земля.

— Жить дома трудней? — напрямик спросил я.

Старик повернул ко мне незрячее лицо, и тут я увидел, что улыбка его вдруг превратилась из насмешливой в ту самую, ну как мы улыбаемся, когда видим лопоухого резвящегося щенка. А может, и вчера было так же? Ай да Сурхак! Ничего нельзя было понять на этом лице, где было столько морщин, а может, оно просто меняло оттенки, как меняет их земля в разное время дня.

— Да-да, — сказал он. — И не забывай, что его сын жил у меня и что он мой большой друг.

Я ничего не мог ответить ему. Как и все люди, склонные к бродяжничеству, я этим бродяжничеством гордился. Но в этот момент я понял, что, видно, очень много мне еще придется бродить по свету, чтоб помудреть.

...Хокирох давно обещал сводить меня к месту, где лежат архарьи рога, «самые большие на Памире». Череп архара был прислонен к скале. Наверно, этот баран умер от старости, так как рога действительно были непомерно, чудовищно велики. Я понял, что мне не увезти их в Москву иначе, как перессорившись со всеми транспортными организациями по дороге, со стюардессами, шоферами такси и приемщиками багажа. Пусть лежат.

Посвистывал ветер, пригревало солнце. Лошади наши стояли рядом, опустив головы, думали лошадиные

думы. Мы сидели на камне и монументальное обрюзгшее лицо Хокироха было печальным. Может, он думал о сыне, который теперь жил далеко и домой заехал только на три дня в отпуск по дороге в Гагры, может быть, думал о старике Сурхаке, который так иронически улыбался в час Хокирохова торжества. Я вспомнил его фразу «каждый день как последний», и слова эти, как фонарик, вдруг осветили мне жизнь Хокироха с другой стороны. Уцелеть среди разгула высокогорных стихий, осколков и пуль второй мировой, на караванных дорогах, в засадах, среди соломорезок и умело направленных ударов ножа — верно, так только и можно было уцелеть в жизни солдату с пятнадцати лет.

Он молчал, и обдуваемое ветром, освещенное солнцем лицо его было очень восточным.

— Сурхак говорил о тебе, — сказал он.

— Что говорил?

— Поезжай в Ишкашим. Я расскажу, как добраться.

— Зачем?

— Вот Сурхак — старый таджик. Я тоже старый таджик. В Ишкашиме жил еще старый таджик. Поезжай, если хочешь знать старых таджиков. Ты же хочешь?

Для того чтобы выполнить завет Хокироха, мне пришлось проехать вначале вдоль быстрой и мутной реки, текущей с хребта Гиндукуш, проехать через глиняный поселок Мургаб, затем вдоль реки Мургаб, где в заводях и озерах гнездились тяжеловесные утки-афганки, затем через мертвые долины и перевалы попасть в чистенький город Хорог. От Хорога вдоль реки Пяндж проехать к Ишкашиму, а дальше уже забираться в горы.

В горах находился маленький кишлак, адрес его мне указали точно, хотя я опоздал приехать сюда ровно на семьдесят лет. Человек, ради которого я сюда ехал, умер. Одержимый жаждой познания, житель этого кишлака пешком сходил в Индию, а потом вернулся обратно со стопой бумаги и чернильницей. Он писал стихи. Когда у него кончилась бумага, он изобрел собственный рецепт изготовления ее и продолжал писать стихи на самодельной бумаге. Чернильница эта и один, тоже самодельно переплетенный том до сих пор находятся в доме, который он также выстроил собственными руками. Я подержал в руках и чернильницу, и этот том, но прочесть ничего не мог, так как не знаю ни

санскрита, ни фарси. Но совет Хокироха и заложенную в нем мысль я понял.

На обратной дороге я задержался в Душанбе, так как нельзя было вот так без перехода оставить Памир. Неизвестно, когда попадешь туда снова и попадешь ли вообще.

Я сидел на балконе блочного дома. Где-то за стенкой играл проигрыватель и скрипел паркет — танцевали. Был вечер. Внизу у арыка плескался голый мальчишка. Он был гол, как естественно гол человек, никогда не знавший одежды и не желающий ее знать. При виде мальчишки я почему-то вспомнил средневековый «Салернский кодекс здоровья», сочинение Арнольда из Виллановы. «Утром на горы свой взор обрати, под вечер — на воды». Тоска по только что оставленному Памиру поселилась во мне, и вдруг захотелось прожить жизнь в пыли странствий, чтобы были дороги, племена, рассветы, а под старость ломать бараньи мослы на удивление приезжим, жить среди гор и обо всем увиденном написать.

И тут я увидел, что на плоской крыше противоположного дома гуляют влюбленные. Они гуляли, держась за руки, в окружении антенных посадок. Может, они «проигрывали» вариант будущего, родившийся в мрачноватом воображении некоторых фантастов, может быть, просто хотели уединиться, потому что на крыше все-таки мало кто ходит. А может, они тоже приехали с Памира и тосковали по высоте. Во всяком случае, они добавили должную дозу юмора к памирским воспоминаниям, и я от души желаю им счастья.

Здорово, толстые!

«А что там потому что! Так и есть!» — Это любимая фраза Витьки-таежника. С ее помощью он разрешает запутанные вопросы жизни.

...От реки к поселку ведет извилистая и длинная протока. Ее перегораживают мели, упавшие стволы лиственниц, на дне прячутся камни. Все поселковые проходят протоку на веслах, один Витька на моторе. И потому его возвращение с промысла угадывается за час по реву врубленного на полную мощность «Вихря»,

который мечется и негодует среди путаных разворотов.

Витька идолом застыл на корме, полушубок распахнут, улыбка месяцем. На полном ходу он выбирает узкую щелочку между полувытащенными, в ряд лежащими поселковыми лодками и с ходу втискивает свою с точным до миллиметра расчетом. С минуту он сосредоточенно возится — закутывает мотор, перекладывает шест, забрасывает на ближний куст якорек, потом выпрямляется, и медное, широкое, как таз для варенья, лицо его освещается самой приветливой из улыбок.

— Здорово, толстые! — кричит Витька. Ему отвечают кто нехотя, кто с усмешкой. В это время года на берегу протоки лишь лодочники-рыбаки из тех, кто постоянно живет в поселке. Лесорубы в тайге, пастухи в оленьих стадах, а с поселковыми рыбаками у Витьки счеты: у одного снял винт, у второго как-то забрал бензин из бачка, у третьего стащил весла. На все угрозы и увещевания у Витьки один ответ: «Ты у печки сидишь, а мне в тайгу!» Поселковым крыть нечем — Витька штатный промысловик, и, больше того, участок его самый дальний, на пределе владений совхоза, куда лишь вертолеты и залетают.

Своего жилья у Витьки в деревне нет. Есть приятели. К одному он относит мотор, к другому — рюкзак, к третьему идет переодеться. Через час Витька выходит в костюме, наодеколоненный после бритья, в белой рубашке и с галстуком.

Я давно уже заметил, что не всем лесным и тундровым людям идет европейская одежда. Она их морщит, кособочит и горбит настолько, насколько красивы они в походных мехах и брезенте. У Витьки наоборот. В телогрейке, сапогах и брезентовых штанах он кажется неповоротливым, громоздким и старше своих лет. Костюм же — пиджак, рубашка и брюки — подходит к нему, как хорошо прокалиброванная гильза к потроннику. Костюм у Витьки легкий и дорогой, галстук неброский, туфли замшевые, носки в тон. Лицо свежее, улыбка ясная, загар сильный и ровный, походка осторожная и уверенная, как у сильного зверя в незнакомых местах. Красив, черт возьми!

Витька идет по деревне и со всеми встречными вступает в беседу. Тропа войны осталась на берегу, здесь он человек мирный. Он сыплет шутки, улыбается, жмет руки, а на все заковыристые или каверзные вопросы от-

вечает неизменно: «А что там потому что! Так и есть!» И так округляет в дурашливом простодушии синие на загорелом лице глаза, что не хочешь — поверишь, хоть и сам не знаешь чему.

Но вся деревня из конца в конец с полкилометра. С одной стороны протока, за ней тайга, с другой — посадочная полоса, и за ней тайга, с двух других сторон просто тайга. В центре деревни магазин. Места эти по нынешним временам вовсе нетронутые. Поселок единственный на реке. Посадочная полоса — вот и вся связь с внешним миром. В тайге живет белка на деревьях, горностай под заломами, выдра в глубоких водяных ямах, шляется росомаха, ступает медведь, прыгает осторожный соболь и ходит лось. Про рыбу нечего говорить.

Витька проходит деревню из конца в конец раз, другой. Народу мало, со всеми успел поздороваться. Остается зайти в магазин. Летом в поселке «сухой закон», но Витьке требуется шампанское. Какое, к черту, возвращение с промысла без шампанского? Пусть постоит, попенится! А что там потому что!

Продавщица продовольственного следит за ним настороженным взглядом. Но Витька вдруг хлопает себя по лбу — «совсем в лесу одурел» — и выбегает из магазина. Возвращается он с рюкзаком. В рюкзаке тяжелый и влажный сверток. Он сует его продавщице. «Медвежатины просила? Вот! Обернута в бактерицидный мох, свежее живого». Продавщица ахает и расплывается: «Не забыл. Сколько стоит?»

— Какие деньги? — искренне возмущается Витька. — Подарок тайги.

Из магазина он выходит с шампанским в рюкзаке. Весь поселок это видит, но что поделаешь? Человек с промысла возвратился. Закон.

В поселке есть большая базовая метеостанция. На ней работает несколько девушек. Еще две воспитательницы в детском садике и две учительницы. Все девушки живут в одном доме, вроде как в общежитии, и Витька этот дом называет «Залив Страстей». Он отправляется в «Залив Страстей», запихнув в карман тяжелую бутылку шампанского. Дело к вечеру, серебряная головка шампанского отсвечивает в легких сумерках.

В одиночку к девушкам Витька ходить не любит, ча-

ще всего прихватывает меня. Наверное, потому, что я молчу. Говорит Витька сам.

В комнатах «Залива Страстей» чистота, узорчатые покрывала, фотографии киноактеров на побеленных стенках. Уют, какой бывает только в девичьих общежитиях в глухих местах. Как и положено, поднимается визг, кто-то прячется, кто-то причесывается. Наконец все рассажены в «общей гостиной» — на кухне. Шампанское на столе, чайник на плитке, и капли воды на свежевымытых чашках. Девушки в новых платьях, причесаны. Они любят Витьку. Во-первых, они знают его много лет; во-вторых, Витька никогда «ничего лишнего не позволит»; в-третьих, он человек из пугающего мира тайги, что подступила к поселку. Я уж не говорю, что Витька просто красивый и интересный парень.

— Что сидим-то? — чересчур оживленно говорит Витька. — Давайте стрельнем пробку. Пусть пупырышки побегут.

— Трудно было, Витя? — простодушно спрашивает одна из девушек.

— А что там потому что! Наше дело простое. Стрельнул — и снял шкурку. Из капкана вынул — и снял шкурку. Капкан ловит, не я. Это ему трудно, — красуется Витька.

О господи, господи, думаю я. Все лето ловить рыбу, квасить ее по секретным рецептам и разносить по тайге, чтобы была привада, чтобы зверь держался и не уходил. Потом возня с капканами, которые надо регулировать, чтобы удар не перебил лапку у зверя, но и не выпускал ее. Никто тут тебе не поможет, никто не научит, только собственное чутье. И еще надо завезти запас на зиму, отремонтировать избушки. Целое лето неустанной возни для трех месяцев промысла. А во время промысла ежедневный маршрут от избушки к избушке по кольцу, которое Витька проходит за неделю. Ты приходишь в замерзшую избушку, растапливаешь печь (дрова тоже надо заготовить с лета), и уже морит в сон после целого дня на морозе. Но надо еще снять шкурки, снять осторожно и умело, то скальпелем, то ножом, обезжирить мездру и каждую шкурку натянуть на правилку — ювелирная, не допускающая ошибки работа. К утру в избушке все выстыло, а ты снова идешь в гудящий мороз... И так день за днем.

— Страшно, наверное, одному, — зябко говорят девушки.

— Ну-у! — веселится Витька. — Чудачки! Что там потому что! Вот такой пример: на тишине нынче все помешались. Дурные деньги платят за тишину, за спокойствие. Миллионеры острова покупают для одиночества. А у меня тишины — хоть ложкой ешь, хоть лопатой греби. Одиночества тоже навалом. Настроение портить некому. Какой же тут страх?

Врешь, Витя. Накатывает. Знаю, что на тебя накатывает. Ты один, и человечество далеко. А опасность рядом... Заломы на реке, мерзлотные ямы, медведи-шатуны, бешеный осенний лось — да мало ли что! Но хуже всего мнимые страхи, когда приходят ночью к дверям избушки, или человеческие голоса в шуме воды, или некто, стоящий за порогом зимой. И все-таки, черт возьми, одиночество. Человек создан для общения, у него слух, и речевой аппарат, и ладонь для рукопожатия...

— В лесном одиночестве, — басит Витька и хитро поблескивает глазами, — я постоянно думаю о вас, девочки. Были бы крылья, прилетел бы. Так, на вечер. Посидеть, почесать языком и обратно в тайгу. А что там потому что!

Выбрав подходящий момент, я ухожу. Ночь. Собственно, не ночь, потому что светло как днем. Но тишина ночная. Поселковые работают с девяти до шести. Им ночью положено спать. От дерева отлепляется фигура. Это Тамара, местная красавица, якутка.

— Витька вернулся, — говорит она.

— Знаю.

— Наверное, опять скоро обратно.

— Не знаю.

Тамара и в самом деле очень красива. Темный горячий румянец на правильном лице, влажные горячие губы и блестящие темные глаза с легкой раскосинкой. Не один приезжий сох по ней, умолял улететь в сверкающие комфортабельные края. Но Тамара, по-моему, любит Витьку, а тот не воспринимает ее всерьез, потому что знал ее еще школьницей.

Через час приходит и Витька. Он шумно вздыхает, усаживается так, что квадратная тень его загораживает окно, и говорит.

— Наверное, я больной.

— Ты что?

— Душа болит. Хочется совершить что-либо. Чтобы

красиво и ярко. И чтобы все видели. Чтобы след жизни, как у упавшей звезды. Сгорел, исчез, а все помнят. Ты знаешь, что я уезжал?

— Знаю.

— А почему, не знаешь. Я тогда еще на метеостанции работал, в низовьях. Я же метеоролог потомственный. На метеостанции и родился. После курсов много лет работал. И все в тайге. На охоте мне лось передним копытом врезал. Представляешь? Он этим ударом волка пополам рвет. Володька Кривой меня на горбу приволок на станцию. Вертолет я запретил вызывать. Думаю: помру, так в тайге, в родной обстановке, среди своих. Нас там пятеро было. Всю зиму ребята кастрюльку из-под меня выносили и за меня же вахту несли. Я при исполнении числился. У ребят своих забот выше шапки: вахта и промысел, и жена телеграммы не такие шлет. А тут я на нарах валяюсь, киселя не хочу, хочу чаю с брусникой и по ночам ору диким матом. Болело, понимаешь.

— Чем кончилось?

— Стал я весной выползать. Сижу на пеньке, солнце светит, башка от слабости набок валится, а собаки мне рожу лижут. И захотел я в места, где солнце все время, народу тыща и собаки тебя не лижут.

— Дальше.

— Решил — сделал. В следующий сезон стал зарабатывать деньги. Оклад у метеорологов небольшой. Обычно хватает. Но раз новую жизнь начинать... Сутки дежуришь, четверо свободен. Взял я обход как раз на четверо суток. Избушек нет, ночую у костра. Четверо суток у костра поспишь, пятые по приборам ходишь и на рации, четверо по кострам. Натерпелся. В результате построил дом. В Туапсе. Море. Юг. Дом хороший. Жена домовитая. Все как у людей. Представь: через полгода звереть начал. В пять, допустим, иду домой. Мне бы бревно какое плечом передвинуть, на лыжах километров тридцать пройти. А я сижу в чистой рубашке, с газетой в руках, жена мне ужин готовит. Я сам умею лучше, но нельзя. Непорядок. Вечером кино. Ночью спать. Жена спит, а я смотрю в потолок и думаю: как там мои собаки? Кто с ними сейчас говорит? По лесу тоскую, аж слезы. По морозу. Принял решение. Раз меня в лес тянет и к зверью, значит, надо быть промысловиком. Осуждаешь?

— За что? Работа, она работа и есть. Ты же валютный цех. Мягкое золото и так далее.

— И я так понимаю. Но обидно в отрыве от человечества жить. Вот поставлю я себе базу. Четыре зеркальных окна, с любой сопки отсвечивают. Телевизор поставлю. Говорят, скоро со спутников прямая передача будет — смотри не хочу. Библиотеку куплю тыщи за две. Книги, они ведь тоже люди, как и собаки. Извини, что книгу с собакой сравниваю, но обидного нет. Собака из друзей друг. Промысел налажу культурный. И буду я не одиночка, а истинный член общества.

— Ты и сейчас член общества.

— Нет. Вот в поселке меня не понимают. Каждый о доме на юге мечтает, к примеру. Не могут понять, почему я его завел и подарил жене при разводе. А он мне зачем? А ей жить. Понимаешь? Ну начудишь что от жизненных сил. Так я же не от хулиганства, а от открытой души. По человечеству стосковался.

У Витьки в самом деле сложные отношения с поселком. Впрочем, не у него одного. Каждый промысловик — личность творческая, как и каждый пастух. Они возвращаются в поселок одичавшие, отвыкшие от ежедневного регламента, который мы соблюдаем не замечая. Кое-кого это коробит.

— Не понимаю, — сокрушенно говорит Витька.

— Что не понимаешь?

— Вот этот особняк, в котором мы сейчас не спим, шабашники ставили. С Кубани. Прижимистый народ. Утром приехали, а вечером один уже сидел у магазина. Хариусом торговал. Полтинник штучка. Кто-то из местных его пожалел, взял за руку, отвел к протоке, вынул из кустов удочку и за полчаса десять хариусов наудил. «Соображаешь, — спрашивает, — коммерцию?» Тот вернулся, рыбу из кошелки на землю высыпал и каждую каблуком раздавил. После них лосей находили. Грудинка вырублена, остальное для мух. Что скажешь, умный?

Я молчу. Что скажешь о людях, для которых тайга вроде бесплатного универмага, открытого на один день: забегай, хватай, тащи. А для таких, как Витька, тайга окончательно. Никуда им от нее не уйти. Я знаю десятки людей, которые все уезжают, в каждый отпуск едут «в последний раз», приобретают в теплых краях дома и машины. И возвращаются. Разные есть среди них люди, но тайга всех уравнивает, как строгая мать в многодетном семействе. Надо быть мелким до чрезвычайности человеком, чтобы после нескольких лет, проведенных в тундре или тайге, оставить их без сожаления и сразу.

Но что там ни говори, мелкие люди редко встречаются в таежных поселках. Их туда не заносит.

— Давай спать, — говорит Витька. — Утром пойду копытить.

...Утром он идет «копытить», добывать нужное, как олень добывает ягель из-под снега. Он достает запчасти к мотору, набор надфилей, новую цепь для мотопилы «Дружба», три сотни патронов к мелкашке. Он штатный охотник, совхоз обязан давать и дает ему почти все. Но всегда имеется дефицит. Дефицит этот раздобывается сложной системой обмена: десяток капканов второй номер в обмен на запчасти, спрятанная на дальней протоке канистра с бензином на мелкашечные патроны — и так далее. Еще чаще применяется молчаливое соглашение «ты меня выручил, я тебя выручу».

Выкладывая вечером добытые богатства, Витька говорит:

— Баню надо поставить — раз. Еще две избушки воздвигнуть за лето. Обход у меня мал. Две избушки поставлю — будет как раз. Обживем помаленьку вверенный район. А что там потому что!

Это значит, что поселок уже начал тяготить Витьку. Промысловик он хороший, и я заметил, что он постоянно думает о своем участке.

Проходит еще два дня. Витька с утра не идет в поселок. Лежит на койке, руки за головой, не брит, костюм валяется на полу.

«Вот ведь умора, — прерывает он неизвестные размышления. — В декабре мороз был страшный. Больше шестидесяти. Все застыло. Я, конечно, сдуру хожу по капканам. И конечно, сдуру поперся на Большую Петлю. Полтора суток. Выхожу на избушку — и чувствую, кровь у меня от мороза обратилась в кристаллы, жилы изнутри колет. Печку растопил — красная вся. В избушке не продохнуть. Открываю дверь. Снаружи деревья закоченели, а я на нарах лежу голый, разглядываю морозную мглу. Смотрю, синицы. У меня там три синицы живут. Одна из этих трех влетает в раскрытую дверь — и прямо на печку. А печка-то красная! Я даже глаза закрыл, погибла птица. А она по печке прыг-прыг и обратно в дверь. Смотрю, скачет как ни в чем не бывало. Вот это, думаю, ноги. А она своим объясняет: да ничего страшного. Все три на порог. Я лосятины сырой на-

крошил, хлеба в горсть, открываю кормежку. Они поели и спать на пороге. Тепло же. Верь не верь, даже храпят. Так и зимовали всю ночь с открытой дверью. Не привыкли они еще, чтобы в закрытой избушке сидеть. Утром потеплело, начались трудовые будни для меня и для них».

Раз Витька заговорил о птичках, значит, готов. Пора ему возращаться. А он, подобрев лицом, уже как-то отмякнув, продолжает: «Весной прибежал на лыжах охотовед один. Парень хороший. Требовался ему старый снежный баран в конце зимы, чтобы выяснить, как он перемучился зиму. Барана я ему показал. Рога — пуд. Но на то он и старый, чтобы все знать. Сразу догадался, зачем примчался охотовед. Так-то мы с ним мирно живем, рядом ходим. А тут на километр не подпускает. Но держится на одном склоне. Корм там хороший. Склон весь в ложбинах. По одной охотовед ползет на восток, по другой бараны убегают на запад. Охотовед говорит: «Ты, Витька, ложись с биноклем на той стороне распадка. Я за стадом пойду. У меня тоже бинокль, и ты направление бега показывай шапкой». Ладно. Лежу. Бараны вверх бегут, охотовед с винтовкой внизу карабкается. Без бинокля все вижу. Сейчас бараны в ложбину уйдут. Слышу, шуршит. Смотрю, горностай у меня бинокль в сторону тащит. Отнял бинокль. Смотрю. Бараны из ложбины вынырнули, берут вправо. Ищу шапку, чтобы показать. Нету. Смотрю, горностай мою шапку под валежину затаскивает и от злости урчит. Отнял шапку, ищу, где бараны, смотрю, он рукавицу попер. Я рукавицу отнял, все под себя подложил, ищу баранов. Чувствую, грызут сапог, тянут из-под меня. Вытянул рукавицу. Где бараны? Бараны вон, на взлобке. Горностай снова сапог грызет. Отмахнулся. Где охотовед? Вижу охотоведа на чистом месте. Баранов же нет, нырнули в другую ложбину. Охотовед в мою сторону бинокль наводит, чувствую, снимают с меня ремень. Я шапкой сигналю. Смотрю, а бараны в другой стороне, не туда сигналю. Горностай верещит, злобствует. Оторвал ему кусок портянки в качестве выкупа. Он его уволок и требует снова, а баранов уже нету. Где? Не знаю. Вижу в бинокль охотоведа, грозит кулаком. Хочу закурить от злости. Хвать-похвать, где папиросы? А вон, дорожкой рассыпаны. Охотовед возвращается. В чем дело, Витя? Отвечаю: с биноклем что-то. Фокусировка разладилась. Разве скажешь, что меня один горностай в окружение взял. А горностай под валежину

спрятался, только глаза посверкивают. Не решается прс тив двоих идти. Я ему втихаря кулак кажу: ладно, зимо потолкуем...»

— Поедем вместе, — говорю я Витьке. — Я в из бушке у Большого Прижима порыбачу. Там долбленк спрятана. На ней и вернусь.

— Поедем, — откликается Витька. — Постой! А ть с чего взял, что я ехать собрался?

— Тоже мне высшая математика.

— Поедем. Только несерьезно все это. Избушка, долб ленка... Вот поставлю базу с зеркальными окнами и биб лиотекой. Приезжай тогда ко мне жить. Вдвоем, онс знаешь...

Вечером Витька возится с лодкой. Лодки он всегда делает сам. Если спросишь, что прислать из Москвы, тс ответ один: годовой комплект журнала «Катера и яхты». Вообще Витька многое умеет руками: чинить радио, ковать ножи, доводить до ума мотор, регулировать капканы, стучать морзянку и так далее.

Утром мы грузимся. «Прыгай, что ли», — хмуро говорит Витька. Я отталкиваю лодку и сажусь на дно. Витька едва трогает шнур, мотор ревет и на полной скорости — спина закостенела, взгляд вперед — Витька выводит лодку в протоку. Вдруг сбрасывает газ, встает и кричит на берег: «Пока, толстые!»

— Витька, — говорю я, — опять ты без весел. А как заглохнет мотор?

— Мой не заглохнет. Однако весла бы хорошо...

Прошлый год мы с ним поднимались вот так по реке. Река здесь дикая, быстрая. По берегам лежат тысячетонные заломы из деревьев, снесенных в паводок. Под заломы бьет струя и может втянуть лодку. У нас тоже однажды заглох мотор, и течение понесло лодку прямо на ощетинившуюся орудийными стволами стену залома. Витька копался с мотором, а я с тоской думал: «Были бы весла». Когда до залома осталось метров десять, я вытащил из-под груза доску и развернул лодку кормой. В метре от залома мотор завелся. Мы вышли на струю, и Витька сказал:

— А ты молодец!

— Соображаем маленько, — тщеславно согласился я. — Лодка бы кормой стукнулась, ты бы выскочил. Потом бы ее обязательно развернуло и выпрыгнул бы я. Лодке, конечно, конец.

— Я не о том. Молчал ты, пока я с мотором возился. Под руку с советом не лез.

— Так как же насчет весел? — повторяю я. — Тебе сделать их, что ли, трудно?

— С веслами беспечным становишься. Про мотор забываешь. А так ты должен на него дышать и протирать платочком. Вроде как последний патрон или последняя спичка. Не имеешь права сделать ошибку.

Мы выходим на реку. Течение крутит водовороты, вода отблескивает, как серый шелк. Витька сидит на корме. Мотор неожиданно глохнет. Лодка быстро катится вниз. Но берег тут ровный, не опасный.

— Заводи, — говорю я. — Хоть и не последняя спичка, но...

— Что там потому что, — смущенно отвечает Витька. — Он работать не хочет. Не имеет желания.

— Да ты дерни шнур-то.

— Что я, своего мотора не знаю? Не желает он сегодня работать.

Лежим у костра. Два ствола сушняка ровно горят по всей длине. У комлей закипает чайник. Витька лежит на гальке лицом к огню, мгновение — и я слышу легкий храп. Спит Витька. На реке стоит плеск, журчание, шум кустов, какие-то птичьи и звериные крики, возня — идет ночная жизнь. Не прерывая храпа, Витька медленно переворачивается спиной к огню, спит и снова так же медленно переворачивается лицом к костру, точно сидит на невидимом вертеле. Минута — и я вижу его с открытыми глазами, как будто и не было ничего.

— Профессионал ты у нодьи спать, — уважительно говорю я.

— Внизу за перекатом выдра рыбу гоняет, — говорит Витька. — А на том острове росомаха, наверное. Ищет, что плохо лежит. Горностай на нее сердится.

— Может, лось просто. Или медведь?

— Горностай говорит, что росомаха.

— Профессионал!

— А как же! — соглашается Витька. — Если работаешь — дело знай. А не знаешь — учись. Меня отец пять лет натаскивал, прежде чем доверил капканы ставить. На Полярном Урале то было. Что там потому что!

Утром мотор заводится с одного рывка. У избушки мы расстаемся. Витька — «поднять и резко опустить» — коротко машет рукой, садится в лодку и в реве мотора исчезает за скалистой стеной прижима. На отвесной сте-

не воткнута палка, на палке висят штаны — выходка того же Витьки. Мы встретимся через год, когда он прилетит в отпуск в Москву, как договорились. Или я снова прилечу сюда.

В избушке на нарах горько пахнут ивняковые ветки. Поржавевшая за лето железная печь. На столе пачка соли и кружка. В таких избушках не живут, в них только ночуют. И у Витьки такие в двухстах километрах отсюда.

Я раскладываю на столе продукты, собираю спиннинг. Каждый раз насовсем прощаюсь со здешней тайгой и каждый раз возвращаюсь. Но не обо мне речь.

Зимой от Витьки приходят письма. Письма он пишет в редкий свободный день, когда пуржит и нельзя выходить на капканы.

«Вчера ночью собаки залаяли. Лают и лают, держат кого-то. Я из мешка выполз, ноги в валенки, иду. Слышу, кусты трещат, значит, лося, держат. Решил: пойду отзову, а то всю ночь будут лаять. Прихожу и вижу (ты там узнай, в чем дело) — кусты все светятся зеленым светом, лось тоже как фосфором вымазан, а собаки нет. Лось прямо горит... Поймал четырех соболей, сорок белок с дерева снял, еще три рыси и волк. Горностаев двадцать. Для начала неплохо...»

Другое письмо:

«У меня тут дятел-тунеядец поселился. На лабазе мясо лежит, так он им и кормится. Обленился совсем. Иногда вспомнит, сядет на чурбак, я на нем дрова расшибаю, долбанет чурбак, потрясет головой, еще долбанет. Я ему говорю: «Ты же, несчастный, совсем работу забудешь. Весной мясо кончится, чем будешь жить?» Сидит на чурбаке, думает. Синицы обнаглели, жить не дают щенку. Он с ними уже не играет, так тащат за хвост. Давай, дескать, не филонь. Соболей восемь, рысей шесть, добыл матерую волчицу. В конце декабря обещали вертолет за пушниной. Прилетал, кружил, но я в тайге был, не нашли. Надо рацию поставить в средней избушке. Дам председателю совхоза идею. Пишу впрок, может, вертолет еще прилетит...»

«...Привезли на Новый год бутылку шампанского. Пушнину, письма забрали, получишь все кучей. Встретил Новый год в своей компании: синицы, тунеядец-дятел и собаки, конечно. Еще у меня тут лось завелся. Старый самец. С мамонта ростом. Умный. На западе сильно горело, волки к нам на реку перешли. Очень много. А лось выбрал этот распадок. Сверху волкам в него не

попасть, в устье избушка моя отпугивает. Живет как за оградой. Обнаглел до того, что дорогу не уступает. Верь не верь, ношу с собой котелок, чтобы отгонять его бряком. А то врежет, как раньше. Тут Вовки Кривого нет, кто меня на горбу потащит? Волков поймал еще четырех. Три выдры. Соболей теперь десять. Ты там узнай, что с телевидением, с прямой передачей? Позвони там кому: сидит-де в тайге Витька-анахорет, желает смотреть «Клуб кинопутешествий» про Африку. Если уйти на Приток, вот где участок! Там никто никогда не ловил. Вот где базу с зеркальными окнами. Да избушек десяток. Обход нужен большой, чтобы зверье не искоренять, а снимать излишки. Культурное, в общем, хозяйство. Я тут тебе летом городил что-то насчет души. Ты это всерьез не воспринимай. Это я от лежачего положения на пружинной койке. В лесу все нормально, и руки вместе с башкой соображают. Эта работа для меня, брат. Ты жалуешься, что среди бетона и автомашин скоро засохнешь. Разворачивай руль и врубай газ на новые условия жизни. В тайгу. А, толстый?»

Витькины письма я люблю получать. И собираюсь к нему на сезон уже третий год. Но Витька не знает, что иногда боишься того, что у него-то вышло само собой. Всосет тайга и не отпустит обратно.

...Весна на дворе. И совсем далеко отсюда скоро взломает лед на реке, с дальнего участка спустится на моторе Витька-таежник. С шиком врежется в берег, осмотрится и расплывется медным лицом:

— Здорово, толстые!

Телесная периферия

...Взрыв вскинул его, швырнул на выступ скалы. Осколок остро и горячо скользнул по виску и, цокнув по камню, завизжал в рассвет. Он осел: слабость, туман, страх, но в следующее мгновение продолжал бег, и горизонт косо запрокидывался ему навстречу.

...Семен Калиткин открыл глаза и какое-то время лежал в темноте весь напряженность, весь бросок. Затем опустил ноги с кровати, нащупал выключатель. Лампочка залила светом голые стены номера. Калиткин стал делать успокаивающее дыхание сукна-пурвак по системе

йогов: вдох левой ноздрей на четыре такта, восемь тактов задержка, выдох правой на четыре такта, вдох правой... Он сидел на взбаламученной кошмаром кровати, тощий, длиннорукий, строго по инструкции держал спину прямо, взгляд вперед. Ноздри хрящеватого носа яростно и поочередно вздувались в усердии ритмического дыхания.

Тьма за окном была плотна. С той стороны шел немолчный шифрованный стук — ночная летучая живность билась о стекла. Калиткин достал из рюкзака чайник, маленький немецкий кипятильник. Шнур кипятильника не доставал до стола. Калиткин пристроил чайник на подоконнике, а сам уткнулся носом в стекло. Тьма стояла — режь ножом, ковыряй фрезой. И все бились прямо напротив лица мягкие и упругие тела насекомых. Калиткин цепко держался за подоконник, ждал. Вода в чайнике закипела неожиданно быстро. «Высота. Закипает ранее ста градусов по шкале Цельсия», — сообразил Калиткин. Он дернул за шнур кипятильника, проскочила искра, щелкнуло, и в тот же миг припадок снова поймал его.

...Прогрохотала автоматная очередь. Лоп-лоп-лоп — ударили пули, вышибая вату из телогреек, горизонт запрокидывался, и те двое уже падали в нем, как падают мертвые: навсегда. Калиткин лег щекой на прохладную утреннюю щебенку с сознанием, что он свое выполнил и тоже сейчас умрет. Яростный визг осколка, зеленый линолеум пола раскачивался, Калиткин лежал на блестящей от пустынного загара щебенке, лоп-лоп-лоп — ударили пули, и две фигуры бежали по косому горизонту.

— Отставить! — лежа на полу, подал команду Калиткин.

Он долго переливал заварку из чайника в пиалу, из пиалы в чайник. Руки дрожали. Потом Калиткин накрыл чайник фланелевой чистой портянкой и, ожидая, пока заварка настоится, шагал по комнате. Тень его в длинных — до коленей — трусах моталась за ним. Калиткин ждал утра.

...Городок был чистый, белый и строгий, как вымытый с мылом мальчик. Асфальт был влажным, и в нем отражалось рыжее солнце, которое пока еще набирало силу. Горы, нависавшие над городком, также были рыжими, как бы начиненными изнутри грозной взрывчаткой.

Перед каменным забором Калиткин подтянулся. Ча-

совой вышагнул из будки, преградил путь. Калиткин извлек из внутреннего кармана бумажник с очень большим числом отделений и, внушительно оттопырив нижнюю губу, протянул часовому пропуск. Часовой козырнул, как показалось Калиткину, с насмешкой над его штатским видом. Калиткин даже набрал в грудь воздуха, чтобы съязвить, но тут он заметил в будке раскрытую потрепанную книгу, лежавшую рядом с телефоном. И потому Калиткин лишь мысленно произнес свое любимое: «Итого». В данном случае «итого» означало жалостливое презрение к часовому. Читать? На посту!

К штабу он шел уже вольной походкой знающего свою роль и вес человека. Но перед каменным столбом с государственным гербом опять все-таки подтянулся и даже припечатал шаг. Солдат, пробегавший мимо, задержался в недоумении. Штатский в пыльных брезентовых сапогах, колхозном пиджаке и без фуражки тянет носок перед столбом, символизирующим мощь государства и незыблемость его границ. Смехота! Умора!

В комнате дежурного офицера пахло свежевымытым полом. В окно лезли листки молодых тополей. Дежурный офицер был выбрит, румян и очень уравновешен. Калиткин с удовольствием протянул ему пропуск для регистрации.

— А! Медицина! — уважительно протянул лейтенант, рассмотрев командировочное предписание Калиткина. Он открыл ящик стола, вынул регистрационную книгу для пропуска и вдруг поскучнел.

— Кто вам пропуск давал?

— Соответствующий орган по месту жительства, — разъяснил Калиткин.

— Допуск в зону закрыт! — отрубил лейтенант, захлопнув книгу.

— Задачи медицины требуют, — возразил Калиткин.

— Какая медицина? Зона закрыта для посторонних! При чем тут медицина, а, товарищ?

— Выявление ресурсов местной породы, — высокомерно вздернул голову Калиткин.

— Закрыта зона. Ясно? — Лейтенант стал смотреть на плакат, где солдат, очень здоровый и румяный, растирался снегом рядом с умывальником на двенадцать сосков.

«Наверное, в жару на этот плакат смотреть хорошо», — подумал Калиткин и нутряным голосом спросил:

— Разрешите прибегнуть к каналу связи?

— Что-что? Какие такие каналы связи?

— Полковнику Сякину Ивану Григорьевичу.

— А ну-ка, товарищ, — встрепенулся лейтенант. — Подождите меня в коридоре. Сейчас я...

— Не разрешите, вызову по обычному телеграфу, — пробурчал Калиткин от двери.

— Стой!

Рефлекс у Калиткина сработал. Он приставил ногу и четко развернулся через левое плечо. Лейтенант что-то начал понимать.

— Ты полковника Сякина лично знаешь?

— Так точно.

— А он тебя?

— Вне сомнения, — голова у Калиткина надменно дернулась.

Не снимая руки с телефона, лейтенант быстро решал задачу. Он жестом спросил Калиткина: а не попадет ли ему по шее за вызов грозного полковника Сякина? Калиткин жестом же успокоил: «Пошли!»

Лейтенант прошел к комнате связи («подожди тут») и исчез за железной дверью. Через минуту он выглянул и с изумлением пригласил Калиткина в комнату.

— Калиткин? Ну как ты там, Калиткин? — донесся из тысячекилометрового отдаления знакомый голос полковника Сякина.

— Разрешите обратиться, товарищ полковник? — прокричал Калиткин.

— Не кричи. Все слышу. Что у тебя, Калиткин?

— Прошу пропуск в пограничную зону. Задачи медицины, товарищ полковник.

— Тебе отдыхать надо, Калиткин. Ты отдыхаешь, что ли?

— Отдыхаю, участвуя в активном строительстве жизни. Ищу мумиё, эликсир жизни. Командирован научным учреждением, товарищ полковник.

Полковник долго молчал.

— Потому что в рядах, — сиплым голосом добавил Калиткин.

Полковник снова молчал, и Калиткин даже представил мысленно всю широту земли, отделяющую Среднюю Азию от московского кабинета полковника Сякина.

— Иди отдыхай, Калиткин. Примем решение. Отбой, — сказал полковник.

Обратно в гостиницу Калиткин шел точно по осевой линии улицы, прямой и настолько отделенный от суеты, что два бабая (старики) на завалинке прервали разговор и долго смотрели ему вслед из-под барашковых мохнатых папах.

Вечером его позвали к телефону. Уборщица подозрительно глянула на кровать. Атлас, которым было положено покрывать постель, свернутый, лежал на столе. Уборщица кинулась искать в атласе дырку от сигареты, а Калиткин подумал: «Штатское разгильдяйство. Постельное белье должно быть на виду».

В вестибюле было пусто. Из окошка администратора торчала телефонная трубка. Калиткин откашлялся и с штабной оттяжкой голоса произнес: «Калиткин слушает».

— Машина в пограничную зону отходит в шесть ноль-ноль от моста. Будете ехать?

— В шесть ноль-ноль буду в назначенном месте.

— Ну-ну, — совсем по-штатски сказал голос, и там положили трубку.

Ночью Калиткин лежал вытянувшись под одеялом, руки сложены на груди. Ждал, когда повторится припадок. Если начиналось, то шло несколько ночей подряд. Где-то по соседству шумела свадьба. С непостижимой страстью гремел рубоб, и голос певца наполнял азиатскую темноту. Под гром рубоба Калиткин стал думать о том, как позавидуют ему Кошурников, Гагель и хитрый бабай Музафар. Он заснул, и не было ни погони, ни взрыва. В половине шестого Калиткин поднялся, как бы вскинутый военной пружиной.

Утро было холодным. Только сейчас Калиткин сообразил, что, привыкнув к жарким пескам, он не взял в горы теплой одежды. Всякая непредусмотрительность, штатское разгильдяйство всегда очень его раздражали. Но исправлять что-либо уже поздно...

Без двух шесть у моста никого не было. Река с ревом мчалась на север. Тот берег реки уже был чужой, уже заграница. В шесть ноль-ноль Калиткин увидел офицера в меховой куртке. Погон на куртке не имелось, по лицу — не меньше майора...

— Калиткин? — спросил офицер.

— Так точно.

— Ну-ну, — голос был вчерашний.

У офицера было изрезанное морщинами, загорелое

нормальное лицо пограничника, и Калиткин почувствовал доверие и облегчение.

— Как Иван Григорьевич-то? — спросил офицер.

— Не видел я его давно, — вздохнул Калиткин.

— Служили когда-то вместе, — офицер тоже вздохнул.

— Та я же с Иваном Григорьевичем!.. — обрадовался Калиткин.

Из-за поворота выполз мощный тягач.

— Что же вы, товарищ Калиткин, в пиджачке в горы? Там снег может быть, — прокричал офицер сквозь рев тягача. — Несерьезно.

Он снял куртку и протянул Калиткину. Погоны оказались точно майорские, и Калиткину стало совсем весело и легко оттого, что он угадал.

— Что вы, товарищ майор, обойдусь!

— В карманах бутерброды. Дорога дальняя, — сказал майор. «Ах, Иван Григорьевич, товарищ полковник», — растроганно подумал Калиткин, точно Сякин сам лично прислал ему куртку и положил в карман бутерброды.

...Тягач покрутился немного по сонным еще улицам городка и потом пополз в гору. Так ему и предстояло ползти вверх всю дорогу.

«Итого», — сказал Калиткин. В данном случае это означало, что пограничная зона размещалась в высокогорье на четырех тысячах метров. Медицина же категорически запрещала Калиткину пребывание где-либо, кроме умеренно-теплых равнинных краев.

...Все началось с того, что Сякин Иван Григорьевич, тогда еще подполковник, послал въедливого старшину сверхсрочной службы Калиткина в неурочный обход вдоль границы. Он посылал его так раз или два в месяц «с целью критики и общих соображений». О придирчивости и въедливой пограничной памяти Калиткина ходили легенды. Он так и не узнал, кто были те двое, которые, видимо, знали расписание нарядов, но не знали расписания старшины Калиткина. Они решили прорваться по нахалке, с оружием в руках, благо до границы было несколько сот метров. О награждении боевым орденом Калиткин узнал в госпитале. Из госпиталя Калиткин вышел инвалидом второй группы. Подполковник Сякин уже у

себя на квартире, налив по рюмке барбарисовой настойки, сказал:

— Ты, Калиткин, не считай себя штатским. Считай, что в рядах.

Не в пример Ивану Григорьевичу жена сразу Калиткина из рядов вычеркнула. У них был свой домик, невдалеке от заставы, где Калиткин раньше служил. Теперь жена считала, что домик и огород надо продать и ехать на Украину, к родственникам. Калиткин, герой тайной войны, пристроится где-либо в военкомате, она по торговле — и все пойдет хорошо. Но Калиткин отвечал: «Обожди. Придет время — поедем».

За полгода госпиталей он пришел к выводу, что в нем теперь помещаются два человека. Первый, центральный, — это и есть старшина сверхсрочной службы Калиткин с сознанием правильности предназначения жизни. Второй же как бы облекал снаружи главного Калиткина телесной оболочкой. В настоящее время эта телесная периферия была неисправна. На пенсионном удостоверении стоял из-за этого штамп «работать запрещено». Если вдуматься — чудовищного смысла слова.

Штатская жизнь началась плохо. Жена долбила о переезде. Соседи из-за своих ставней ждали жадным глазом событий. В городе жили потомки староверов, бежавших в свое время от Екатерины в поисках обетованной страны Беловодья. Народ скрытный и недоверчивый. Вначале они обсуждали орден Калиткина, потом его пенсию — сто пятьдесят рублей, точно он космонавт какой. Теперь ждали — в доме бездельный тридцатитрехлетний мужик, не может быть, чтобы все обошлось.

Калиткин по привычке вставал рано. До обеда мотался по комнате в трусах, с угловатыми коленками и локтями — армейское чучело, как однажды определила жена. Сама она была уютная от хлопот по огороду. Ночью жена прижималась к Калиткину — двадцать девять лет, самое время. Но Калиткин, как бы опозоренный поломкой телесной периферии, отодвигался. Утром жена злилась:

— Когда уедем?

— Придет время — уедем.

Жена вымещала зло на редиске и луке, рвала его с грядок с накопительским остервенением. Калиткин провожал ее на рынок презрительным взглядом, но торговлю не запрещал — совсем баба взбесится.

Раздражение Калиткина находило выход в фантастической мелочности. Если вечером он курил на веранде и клал коробок спичек на край стола — утром он должен был находиться именно на этом месте. Окурок в пепельнице доводил до бешенства. Раздражало пятно на стекле и общий разброд вещей. Но ведь внутри-то был прежний Калиткин, с сознанием непростой роли в мире. И потому он все надменнее вздергивал голову на сухой шее.

Однажды утром жена грохнула на пол стопку японских тарелок:

— Идол ты дефективный! Или уезжаем, или еду одна!

Меж тем Сякин Иван Григорьевич пошел на повышение. Узнав об этом, Калиткин одобрил решение высокого командования, погордился за любимого командира и пошел в отряд, чтобы пригласить Ивана Григорьевича на прощальный ужин. Он рассудил: если бы не подвиг Калиткина, то и не было бы повышения подполковника Ивана Григорьевича. Столица не одобряет безнаказанных переходов границы.

Но от приглашения подполковник Сякин уклонился. Вместо этого позвал Калиткина снова к себе, и снова они выпили по рюмке барбарисовой настойки, полезной для мужского здоровья. Закусывая салатом, Калиткин поперхнулся, ощутив страшное подозрение. Украинского сладкого лука в староверском поселке ни у кого не было, это он знал. Под предлогом выпить воды он вышел на кухню, и его тренированный взгляд сразу обнаружил домашнюю знакомую корзинку и знакомую зелень. Чутье подсказало Калиткину, что ничего тут случайного нет: все эти годы жена не ходила на рынок, а продавала овощи товарищам офицерам, брала деньги с любимого командира.

— Ты, Калиткин, числи себя в рядах, — повторил по-доброму Иван Григорьевич. — Если что, звони прямо ко мне.

Подразумевалось, что Калиткин будет жить здесь, где дом, и всегда может прибегнуть к связи.

Дома Калиткин добил остатки японской посуды и вытоптал огород. Тогда же в огороде с ним случился первый припадок: автоматная очередь, взрыв бандитской гранаты, запрокинутый горизонт.

Жена уехала. Огород в считанные дни зарос, превратился в пыль и бурьян. Улица прилепила к нему слово «припадошный» и успокоилась. Место Калиткина в

иерархии пыли, ставен и глиняных заборов было найдено.

Осенью на заставе сменился состав, а еще раньше товарищи офицеры сменили место службы, были направлены кто куда. Чужой стала застава.

Зимой Калиткин совсем одичал, шатаясь без цели из угла в угол. К нему как-то заглянула Тряпошная Нога — то ли староверка, то ли тунеядка, короче: частнопрактикующий знахарь. Она расправила шелковое полосатое платье, плотно заняла стул и неодобрительно оглядела жилье Калиткина. Видно, она не угадала строгой системы порядка, который теперь с точностью до миллиметра он установил для всех вещей.

— Живешь как дикая чукча, — сказала Тряпошная Нога. — Табаком скоро весь переулок задушишь.

— Тебе чего надо? — сурово спросил Калиткин. — Зачем пришла?

— Для помощи, — Тряпошная Нога махнула рукой и извлекла из воздуха поллитровку.

— В такую жару ее и верблюд пить не будет, — не к месту оскорбился Калиткин. На дворе стоял декабрь и холод.

— На что жалуешься? — Тряпошная Нога уставила на Калиткина тяжелый чугунный глаз, и, странное дело, Калиткин задумался: а на что он, в сущности, жалуется?

— У тебя от военного сотрясения в кровь вошли пузыри, — не дождавшись ответа, сказала Тряпошная Нога. Она опять махнула рукой и извлекла из пространства вторую бутылку с мутной, зеленого цвета жидкостью.

— На закате солнца пять капель в кружку холодной воды.

— Это что за яд? — полюбопытствовал Калиткин.

— Настой из змеи.

— Отравить хочешь? Зачем?

— Полностью растворенная змея со всеми солями и элементами жизни, — научно ответила Тряпошная Нога. — Для очистки крови от пузырей и комплектации жизненной силы.

Уходя, Тряпошная Нога оглянулась с порога, сменила чугунный взгляд на игривый бабий и произнесла:

— Баба твоя, видно, не скоро вернется. Прислать, что ли, девку стекла помыть?

— Я тебе пришлю! Обсудили уже за дувалами! — сердито отказался Калиткин.

Но странное дело: змеиная настойка и в самом деле ему помогла. Нога перестала подволакиваться, вещи в доме как-то само собой разместились, шум в голове утих, и сны обрели четкость. Калиткин к весне побелил дом — проклятую собственность, вскопал огород для личного потребления витаминов, стал покупать в киоске на станции журналы «Здоровье» и «Техника — молодежи». А также прислушиваться к разговорам о медицине.

Как раз всенародная медицинская мода миновала эпоху петрушки и стала клониться к системе йогов. Калиткин написал письмо главному московскому йогу Кандыбину-Шкляревскому с изложением собственной непростой судьбы. Судьба Кандыбина-Шкляревского также была непроста: полная растрата сил в вихре страстей, клиническая и житейская гибель и возвращение молодости через несложную систему дыхания и поз, известных с глубокой древности.

Что-то в судьбе Калиткина тронуло того, потому что из Москвы Калиткин получил отпечатанную на папиросной бумаге инструкцию о правильной пище, питье теплой воды, животворящей силе дыхания и позах-асанах.

Жесткая самодисциплина, которую тысячи лет назад уже требовали от человечества индийские мудрецы, очень пришлась к военной душе Калиткина. Недавняя расхлябанность сменилась почти военным распорядком питья воды, дыхания. Через месяц Калиткин окреп настолько — хоть иди на комиссию. Только припадки остались. Они шли по какой-то неизвестной, но своей системе, и всегда одно и то же: щебенка, косой горизонт и две фигуры, скошенные из верного автомата Калашникова.

Весной в поселке появились три цепких, высохших на ходьбе мужика: Кошурников, Гагель и хитрый бабай Музафар. Змееловы. Следом за ними приехали и заняли здание школы хохочущие лаборантки в белых халатах — экспедиция Института восточной медицины.

Калиткин окрестности знал лучше всех. Он показал змееловам каменные щели, развалы и норы, где обычно прятались гюрзы и простые гадюки, присмотрелся к работе, а потом и сам заключил договор. На договорной работе пенсионного удостоверения не спрашивали. За змей платили хорошие деньги, и в декабре Калиткин выписал себе кипу журналов научно-популярного и медицинского направления.

Видно, в спокойное время народ крепко думал об улучшении жизни и здоровья, потому что медицинская мода вдруг круто свернула на мумиё — тайную смолу из недоступных горных хребтов. Окончательный толчок Калиткину дала та же Тряпошная Нога. Она зашла заказать Калиткину двух змей для своей зеленой настойки, и тот спросил размышляя:

— Ты, знахарка, что про мумиё думаешь?

— А есть? — Глаза у Тряпошной Ноги полыхнули таким темным жаром, что Калиткин сразу же осознал: мумиё — это вещь.

— Будет, — твердо ответил Калиткин.

— Чем хошь заплачу, — побожилась Тряпошная Нога.

— Уже заплатила. Я добро помню твердо.

План у Калиткина имелся. Когда-то во время больших учений он пролетал с пакетом над жутким горным хребтом. Даже с самолета было видно, что жизнь здесь задавлена азиатским солнцем и высотой. Судя по описаниям, именно в таких местах и пряталось от людей мумиё. Когда весной приехала змееловная экспедиция, Калиткин изложил проект начальнику — молодому таджику, кандидату восточных медицинских наук. Начальник очень его поддержал, даже специально слетал в институт, чтобы привезти образцы мумиё для показа. Калиткин пограничным, во все вникающим методом запомнил цвет, запах и прочие приметы нужной смолы. Но главное, он снова поверил в важность собственного существования. До конца дня Калиткин ходил среди песков за окраинами староверовского поселка. Среди рыжих пыльных кустов бродили верблюды. Без злобы Калиткин думал о том, что девчонки-лаборантки в экспедиции и его окрестили Верблюдом за манеру гордо держать голову. Он пожалел сейчас без злости на лаборанток, что не объяснил глупым — верблюд есть полезное животное для переноски тяжелых грузов в сложных условиях. Калиткину было легко, и он как бы нечаянно щупал в кармане командировочное удостоверение. Он представил бутылки с ценнейшими лекарствами, на которых, как у доноров, записано: «добыто старшиной сверхсрочной службы Калиткиным С. Н.». Жизнь его снова обрела смысл.

...Машина меж тем ползла вверх и вперед, вверх и вперед. Солдат за рулем молчал. Молчал и Калиткин. Он сам водил грузовик, пограничник должен уметь все,

и знал, что на этой дороге среди развалов слепящих камней и на этом мощном тягаче с очень тугим рулем человек устает быстро. Калиткин подумал о том, чтобы подменить солдата, но вспомнил свой штатский вид и решил, что солдат к рулю не допустит. Во всяком случае, сам Калиткин не доверил бы машину человеку в пиджаке х/б и брезентовых сапогах.

Местность сменилась. Теперь она состояла из известняковых столбов, а между ними плоское море щебенки. Насколько хватал глаз, к горизонту и наверх тянулись эти столбы и щебенка. Казалось, так и будет до самого неба. В ушах пощелкивало, точно он сидел в набирающем высоту самолете. В голове возник легкий гул. Но Калиткин не боялся припадка. Припадок всегда приходил ночью.

Он задремал, а когда проснулся, то увидел тот же лунный мертвый пейзаж, и сама луна уже прорезалась на светлом еще небе. «Успеть бы до темноты», — подумал Калиткин.

— Успеем, — сказал солдат, точно читал мысли. Калиткин посмотрел на него. Струйки пота уже высохли, оставив на лице грязные бороздки. В солдате чувствовалась вольная посадка, небрежность, какую может себе позволить в армии классный специалист.

Калиткин подумал, что он никогда не мог себе это позволить. Старшина сверхсрочной службы должен являть солдату пример во всем, начиная от отношения к службе и складок на гимнастерке до манеры вести разговор. И вдруг Калиткин вспомнил, осознал забытый ранее факт: солдаты всех наборов всегда звали его в гарнизоне Верблюдом. И снова Калиткин без злости и обиды осознал это и отнес за счет свойств собственной телесной периферии. Он покосился на солдата, пытаясь уловить насмешку в отношении к себе. Но солдат был просто усталым человеком за рулем, и Калиткин не стал затевать разговора: дорога потребует, заговорит сам. Сейчас их было как бы трое: солдат, Калиткин и тягач, упрямо ползущий на крутую гору. В безлюдье каменистой дороги тягач стал как бы одушевленным существом со своими заботами, усталостью и чувством долга.

Известняковые столбы по сторонам укрупнились, переросли в скалы, скалы стали сливаться в отвесные, изрезанные щелями хребтики. Лишь каменистая долина, по которой они ехали, шла ровно, с легким уклоном вверх, где на горизонте горел красный от заката снег

горных вершин. При виде снежного хребта с чужим иностранным названием, заката, красного на быстро чернеющем небе, Калиткина кольнуло ощущение неотвратимого бега бытия. Он с выдохом сказал: «Итого!» В данном случае это означало: «Здесь — место серьезное».

Застава появилась сразу, как хорошо подготовленный удар по врагу. Была долина в лунном свете, рваные скалы справа и слева — и вдруг в пятидесяти метрах дозорная вышка, каменный забор, за забором крыши казармы, металлические ворота, одним словом, застава. Неожиданное расположение ее Калиткину очень понравилось.

Начальник заставы — парень молодой, с налитой мышцами фигурой под свитером (не по форме, не по форме одет) — Калиткина встретил сухо, но вежливо. Поздоровался за руку, сообщил место постоя — комната для приезжих, распорядок жизни и тут же отошел. Калиткин занес рюкзак в комнату со скрипучим полом и сел на койку. Сквозь дверь доносились знакомые звуки гарнизонной жизни. Он вышел на крыльцо и ужаснулся еще раз — огромные, с тарелку величиной, звезды висели над четвертой зоной. В груди пощипывало холодным разреженным воздухом. Была тишина.

Ночью Калиткин вспомнил налитую мышцами фигуру начальника заставы и одобрил, что тот соблюдает режим тела. «В нашей жизни без этого нельзя», — думал Калиткин. И вдруг со всей силой самовнушения, на которую был способен, Калиткин стал убеждать себя, что никаких припадков здесь быть не может.

Утром начальник заставы сообщил Калиткину, что согласно распоряжению полковника Сякина он имеет право свободного передвижения в пограничной зоне. Ему дается лошадь. Ношение оружия запрещено. Тут начальник заставы вскинул глаза на Калиткина и в упор спросил:

— Верхом можете?

— Могу, — ответил Калиткин.

— Тогда объедем ориентиры, чтобы вы в случае чего не заблудились.

В глазах у начальника была хитрость, и Калиткин понял, что он все знает о его прошлом, знает знаменитую калиткинскую придирчивость и сам предлагает объехать систему охраны, чтобы Калиткин не делал этого втихую. Это Калиткину очень понравилось. Они объехали полосу поперек долины.

— Вправо — место непроходное, — сказал начальник. — Там ни днем ни ночью козел не проберется. Влево также. Охраняем вот эту полосу.

Калиткин молчал. Система охраны вырабатывается годами. Тут с одного осмотра ничего сказать не сможет ни один серьезный пограничник. Только балаболка полезет с советами. Видно, и начальник оценил молчание Калиткина, и между ними установилось должное доверие и симпатия.

...Представления Калиткина о том, как искать мумиё, были самыми смутными. Он предполагал, что смола эта должна прятаться от человека в щелях или пещерах. Обнаружить ее можно по виду или по характерному острому запаху. Поэтому Калиткин сразу вычеркнул из своего района долину и стал искать проход в обрамляющие ее хребты. Он быстро обнаружил, что они лишь издали казались неприступными совершенно. Высохшие давно потоки прорезали в известняковой стене расщелины, где кое-где она распадалась, но в просвет виднелась такая же другая стена. На умной и осторожной пограничной лошади Калиткин объезжал эти расщелины одну за другой. И нашел то, что требовалось, в трех километрах от заставы. Глубокая щель уходила в хребет, поворачивала, расширялась в котловину, а из котловины несколько распадков вели наверх, на спаленную солнцем известняковую плоскость.

Калиткин оставил лошадь внизу и стал карабкаться по одной из щелей. Дыхание было коротким, точно он вынырнул из глубин омута, но Калиткин не торопился. Он выбрался наверх, вытер пот, и ему стало страшно. Черное от пустынного загара плато тянулось к границе. В нем виднелось множество трещин, дыбились возвышения, и с первого взгляда было ясно, что пройти по нему нельзя. Но Калиткин, привыкнув сомневаться в таких вещах, подумал, что, может быть, существует связанная между собой система трещин, распадков, которая выведет мимо заставы прямо к границе.

Сидя на блестящем коричневом камне, Калиткин смотрел на снежный хребет, расположенный уже за границей. «Телесная периферия...» — грустно подумал Калиткин. Он чувствовал, как от недавнего напряжения левая нога становится чужой. Не дай бог, заметят на заставе. Сознание Калиткина четко двоилось, и сейчас, как никогда, их было двое: главный, внутренний, старшина погранвойск — и неисправный внешний. Калиткин

встал и, стараясь перед самим собой не подволакивать ногу, прошелся по плато. Внутренний человек требовал точно проверить подозрение о системе трещин. Сделать точную проверку он, конечно, не мог, но он обязан был составить хотя бы свое представление о возможности прохода здесь.

Калиткин спустился вниз к лошади и проехал по ложбине дальше. Когда-то здесь бушевал водный поток. Но остались лишь слегка обкатанные камни да отвесные стены. Ложбина незаметно поворачивала к границе, значит, Калиткин был ближе к ней, чем застава. Известняки сменились на более рыхлые, и вместо отвесных стенок начались осыпи. Поперек осыпей шли четко видимые горизонтальные тропки. Архары или горные козлы-теке. Они не боятся пересекать осыпи, потому что имеют чутье. Ложбина все подворачивала и подворачивала на юг, к границе, и Калиткин неизвестно зачем стал поторапливать лошадь. У него появилось предчувствие. Одновременно он думал о том, что если бы здесь было мумиё, то местные жители наверняка о нем знали, и еще думал об архарах и горных козлах, наверное, они приходят на это выжженное высокогорное плато весной.

Ложбина внезапно кончилась цирком из осыпей. И тут Калиткин безошибочно увидел ясный и четкий след на одной из них. След шел зигзагом, по краю, и Калиткин неопровержимо понял, что так может подниматься лишь человек. Здесь проходили не один раз либо проходила группа человек в десять.

«Может быть, тренировка гарнизона заставы», — подумал Калиткин. Он слез с лошади и сразу почувствовал чужую левую ногу. Калиткин всегда допускал ум и хитрость врага, и почему-то он подумал о том, что и на заставе не дураки, люди наблюдательные. Ему надо как можно меньше ходить, чтобы не запретили выезды раньше времени. Тем не менее он упрямо полез по осыпи.

Наверху он увидел, что с плато сразу же есть спуск в другую долину, идущую к границе. Отсюда до границы, по его предположениям, было километра три. Калиткин прошел вперед и увидел, что люди спускались в эту долину.

«Вперед!» — приказал Главный Калиткин, и телесная оболочка подчинилась беспрекословно. Уже шагом погони, уже быстро и ловко он спустился по осыпи,

не стукнув ни единым камнем, пробежал вперед. И вдруг точно запнулся: прислоненные к камню, лежали два тюка. Они были хорошо упакованы, с налобными ремнями — так в горах переносят грузы контрабандисты. Калиткин чувствовал, что сейчас они не видят его. Либо ушли наблюдать за границей, либо просто отсыпаются в безопасном месте, допустим в пещере.

Калиткин увидел большую, метра в два глыбу и быстро, но не торопясь залег за ней. Вероятно, контрабандисты, или кто там они есть, пришли сюда на рассвете. К грузу они вернутся на закате, часа через полтора-два. В сумерках подойдут к границе в знакомом месте и будут выжидать интервал для броска.

...Вернуться и предупредить он не успеет. Если контрабандисты идут без оружия, он их возьмет на испуг. Если они с оружием...

Калиткин сидел за камнем терпеливо и спокойно, как терпеливо и спокойно он провел многие часы, дни и недели своей жизни на границе. Два года его болезни были ничтожным мигом, кратковременным отпуском, и сейчас он снова находился в строю при выполнении задачи, к которой был подготовлен.

...Как он и знал, нарушители пришли перед закатом. Их было трое, все похожие на колхозников, в ватных халатах, белых бумажных штанах и кожаных сапогах с резиновыми калошами — обувь, чрезвычайно удобная для ходьбы по камням. На груди у двух «колхозников» болтались короткие иностранные автоматы. Калиткин с удовлетворением отметил, что автоматы без шпионских штучек — глушителей. Крик в погранзоне — это одно, выстрел — уже совершенно другое. В вечернем воздухе выстрел разносится далеко. Калиткин уже знал, что ему предстоит сделать, и в предсмертной тоске вдруг со сладкой горечью сформулировал привычную мысль: «Верблюд есть полезное животное для переноски тяжелых грузов в сложных условиях...» Он так и не узнает, успели ли на заставе солдаты окрестить его в который уж раз Верблюдом.

Двое взвалили на спину тюки, третий, видимо хозяин груза, принял у одного автомат и пристроился сзади. Калиткин знал, что главное ему — выиграть единый психологический миг, когда у нарушителей не выдержат нервы. И еще он внушал на расстоянии, чтобы кто-либо на заставе, в наряде на кухне, во дворе, за книгой, в туалете или просто за папиросой на лавочке оказался

в сей момент бдительным. Калиткин и на минуту не допускал сомнения, но ему хотелось, чтобы в этот последний раз все вышло наилучшим образом: тревога на границе, вертолеты над местностью, сигнал высшей бдительности, который разнесется по сотням километров среди сотен людей. Он лучше многих знал, что, когда на границе тревога, ни перейти ее, ни удалиться незамеченным в глубь державы невозможно.

Калиткин ждал, когда все трое приблизятся к стене осыпи для подъема. Так требовала интуиция. Они подошли, на минуту остановились, и Калиткин мысленно послал в московский кабинет полковника Сякина последнее донесение: «Иду на бросок, товарищ полковник. Вызываю демаскировку противника».

Он резко скомандовал: «Стой! Руки вверх!» Все трое с мгновенной реакцией бросились за камни, освободившись от груза. Калиткин тотчас увидел два автоматных ствола, неуверенно ищущих цель. Он и не рассчитывал, что они поднимут руки. Он откинул эту мысль с той минуты, как увидел оружие... Не те люди. Но теперь позади них была стена, впереди на тропе он, страшный Калиткин. Так и требовалось. Выполняя намеченное, Калиткин выбросился из-за камня и стремительно кинулся к автоматным стволам. Бросок должен быть впечатляющим, он должен пугать. На бегу Калиткин сунул руку за отворот куртки, как бы за гранатой или пистолетом, и с острой мгновенной радостью еще успел увидеть дрожащие вспышки очереди. Грохота, разнесшегося над вечной тишиной погранзоны, он не услышал, потому что второй раз в своей жизни лег на камни умирать, выполнив жизненное предназначение. Теперь окончательно.

Кто-то должен курлыкать

Наверное, телеграммы «до востребования» сюда приходили редко. Поэтому ее положили на подоконник на видное место, чтобы не забыть и сразу вручить. За месяц телеграмма выцвела, и потому гриф СРОЧНАЯ и текст воспринимались с неуместным и мрачным юмором. Г. П. Никитенко сообщал о перерасходе средств в целом по институту и предлагал незамедлительно свернуть экспедицию «как утратившую научную перспективу».

...Оба моих лаборанта, которых в Москве давно ждали девушки и вообще грохот истинной жизни, радостно забрались в вагон ближайшего по времени поезда. Несмотря на юный возраст, они понимали, что после утраты научных перспектив нам вряд ли придется в дальнейшем вместе работать. Поэтому прощание вышло не бодро-экспедиционным, как полагалось, а натянутым и даже фальшивым. Поезд, как мне показалось, тоже облегченно дал сигнал отправления и радостно загромыхал на юг, подальше от сумрачных ельников и холодных дождей.

Я остался один на путях среди мокрых шпал и липнущего к сапогам песка. Рюкзак мой, сиротливо завалившись набок, лежал на дощатой платформе, куда дежурный по станции выходил встречать поезда. Дежурный тоже уже ушел. Было тихо. Вечерело. Никаких дел на станции у меня не осталось. Я забрал рюкзак и прямиком удалился в лес, который тут же у насыпи и начинался.

Причина моей задержки выглядела никчемной. Но сейчас уже было все одно к одному, сейчас уж неважно. В здешних лесах имелась одна деревушка, о которой, кроме районного начальства да родственников живущих, наверное, мало кто знал. Стояла она на реке, несудоходной и непригодной для сплава леса. Потому и рекой никто не интересовался. Но близ устья ее имелось несколько островов. По слухам, на голом граните островов рос лес невиданной мощи и жизнестойкости. Вот на него я и хотел посмотреть.

Попасть на острова по осеннему времени можно было только из лесной деревушки. Взять у кого-нибудь карбас и сплавать. Еще утром я мечтал осмотреть островной лес с сугубо научными целями. А сейчас, наверно, двигался по инерции или для фиксирования конечной точки научной карьеры, вроде как отметить командировку «прибыл — убыл».

В глазах Г. П. Никитенко, жены и своих собственных я давно уже превратился в унылого научного неудачника. Есть неудачники яростные. Для них мир делится на врагов и друзей. Враги их обходят, зажимают, «ставят им стенку». А они им «заделывают инфаркт» по телефону, «снимают скальп» на конференциях и «бросают через бедро» в коридорной беседе. Друзья им сочувствуют. Унылый же неудачник как бы специально существует для ведомственных кризисов, когда вдруг вспоминают его фамилию. Он безрогий козел отпущения в науке.

Существует определенный предел, после которого унылый неудачник как бы переходит черту и становится такой же привычной деталью, как вход в учреждение. В нем прорезаются месткомовские или иные таланты, и он спокойно живет до пенсии, не обделяемый премиями в красные даты и благодарностями в приказах по случаю юбилеев. Я этого предела не достиг, и потому после телеграммы выход был только один — статья КЗоТа 46 «по собственному желанию».

В сорок лет всякие там порывы уже позади. Остаются мужчине работа и быт. Без работы с моей профессией я не останусь; в любой дыре государства меня ждут не дождутся, а быт, как я понял давно, удобнее всего предоставить собственному течению. И бог с ней, с наукой, черт с ней, с романтикой познания тайн природы.

Всего семь лет назад я спокойно копался в шокшинских лесах, восстанавливал рубки кедра военных лет и писал незамысловатые статейки о связи почвенных микроэлементов и продуктивности леса. Слова «хобби» тогда еще не знали, но работа над статейками мне нравилась. Потом случилась Большая Научная Ревизия, косуля на вертеле, «сильный коньяк» — и Г. П. Никитенко пригласил меня в институт. Ни он, ни жена моя, мечтающая стать женой академика, ни сам я, обуреваемый честолюбием, сразу не заметили, что, наверное, свой научный потенциал я исчерпал в тех самых статейках. Семь бесплодных лет это с ясностью показали. И уж во всяком случае, разъяснили смысл слов «проза жизни».

...Перебирая все это, шел я от станции вначале ягодными и грибными тропинками, потом просто лесом. Дождь здесь казался слабее. Стук прошедшего товарняка уже был далеким, и на душу сходило успокоение. Что бы там ни было, а лес я любил. Отец-плотник привил мне уважение к простодушной мудрости дерева. Наверное, поэтому при своей профессии лесного инженера я не любил лесозаготовки с их атмосферой разгрома, перемолотого гусеницами и сапогами подростка, с их ненасытным планом, текучкой кадров — и все это складывалось в великую иррациональность производства, в лесной промышленности, наверное, большую, чем в другой. У меня сложилась концепция, что лес, являясь частью природы, мстит за свое уничтожение не только пагубными изменениями климата, обмелением рек, но и хаосом в действиях человека. Одной лишь неряшливостью от-

дельных лиц нельзя объяснить преступные рубки в охранных зонах, целые лесные области, уложенные на дно сплавных рек, и так далее. В таких фактах чудится чья-то злая и сильная воля, с размахом организованный беспорядок.

Дождь вдруг стал острее, впереди мелькнул просвет зеленого закатного неба, и я вышел в обширный прошлогодний горельник. Лес в здешних краях еще не рубили. Он жил как положено, со свистом рябчиков вдоль малых речек, глухариными выводками, мхами, ягодниками. Но последние годы все шли и шли пожары. Начинались они в небольшом отдалении от железной дороги. Наверное, стосковавшийся по первозданной природе горожанин приезжал, и...

Здесь пожар шел верховой. Деревья-скелеты стояли неестественно прямо. Среди тишины и этой кошмарной четкости мертвого леса дождь казался ядовитым, точно падал из радиоактивного облака. И тотчас в левой половине головы у меня запульсировала жилка, пошел нехороший звон в теле — приступ беспричинного ужаса, особенно страшный, когда я один. И вдобавок сразу же в поясницу раз-другой стрельнул радикулит. Я наскоро натянул брезент, служивший вместо палатки, разостлал собачий спальный мешок. Радикулит — наша профессиональная болезнь, с ним я умел обращаться. В поясницу точно садили из автомата, и все пульсировала, билась какая-то жилка. И этот звон, звон, точно я стал металлическим и по мне била боль.

Я много бывал один последние годы и потому завел много самодельных теорий. Вот одна. Не помню уж где я прочел переводную статью о биопотенциалах деревьев. Если установить достаточно точный датчик, то можно определить, как деревья «узнают» человека. Допустим, прошел мимо кто-то и просто так тяпнул дерево топором. В следующий раз оно отметит проход именно этого человека вспышкой боли и ненависти. Звон и боль у меня появились недавно. Точно я все чаще стал попадать в окружение изуродованных мною деревьев, и их слабый биопотенциал, объединившись, давил на мозг, рождая и звон, и беспричинное чувство страха. За что же мне мстили деревья?

Чтобы отвлечься, я стал думать об этих неизвестных мне поджигателях. Но получилось еще хуже. То ли радикулит разыгрывался от злобы, то ли злоба усугублялась радикулитом. Я лежал, вцепившись в мешок,

и разговаривал сам с собой. Аккуратисты! Пепел в своей проклятой машине на сиденье не стряхнут, газ в своей идиотской квартире выключить не забудут. Наверное, «Литературную газету» выписывают, над оскудением природы вздыхают, умиляются прелести травки и русских пейзажей, демонстрируя слайды на домашнем экране. Все это замыкается на пугающий в своей простоте вопрос: почему мы столь легки на сочувствие, податливы на «ахи» и столь тяжелы на малое дело? Отчего большинству легче выступить на пяти собраниях с проповедью любви к природе, чем посадить или просто сберечь одно дерево? Затраты энергии ведь в том и другом случае несравнимы. Почему виноват всегда некто абстрактный и «бяка» живет всегда в другом месте? И кто, в конце концов, я-то сам, как не тот же лесной инженер, который не любит смотреть, как щепки летят?

Чуть рассветало, я свернул лагерь. Поясница притихла, и хотелось скорее уйти из мертвого леса. Никогда я не узнаю, где живет, чем занимается тот, кто его поджег в июне прошлого года. Куда он собирается в будущий отпуск? Ладно. Будь проклят и живи дальше! Сейчас надо все завершать поскорее, уяснить, что научный работник я никакой, и пора возвращаться на производство. Где потише.

...Я всегда гордился своим умением через десятки километров тайги выйти точно на цель. Но из-за этого звона, жилки проклятой, которая не утихала, что-то во мне разладилось, я начал сомневаться, даже полез в рюкзак за компасом. Но тут вдалеке тенькнуло, вроде затрещал мотор, — деревня там.

Я знал, что увижу два-три десятка старых домов, половина из них заколочены и новых ни одного. Новые — в больших лесорубных поселках, где кино, школа, магазины и телевизор по вечерам.

На опушке я точно запнулся. Деревня за неширокой кочковатой поймой открылась вся, сразу. Было ощущение, что когда-то давно дома ее, точно испуганные девчонки, каждая в своем веселом ужасе, вылетели из леса, не чуя ног, промчались по лугу к реке и там остановились, рассыпались по берегу. Так они и стояли, может быть, не одну сотню лет. Состарились и лес и дома. Но все-таки помнили тот давний день и веселый испуг, ужас и хохот. Сейчас деревня полыхала рябинами, отблескивала чистыми окнами. Каждый дом стоял отдельно, каждый перекособочился по-своему, и в этом было свое

лукавство. Где-то вверху на реке неторопливо постукивал лодочный слабый мотор. Он как бы излагал неторопливую повесть житейских осенних хлопот: «Ничего, дорогой товарищ, все идет-катится помаленьку, так уж заведено». Я не выдержал и улыбнулся.

На той стороне реки тоже был лес. Но уже малосильный, ненастоящий. Сквозь него зыбко просвечивали пустоты и угадывалось движение обширных масс океана. Там были и мои острова с невиданным лесом. Стоило подумать про острова, как снова вернулась, запрыгала, защелкала жилка.

Когда я подошел к крайней избе, из-за перекособоченного, но в веселой синей краске крыльца вышла рыжая собака и трижды гавкнула. Но не на меня, а в избу, вызывая хозяев. После этого собака подошла ко мне, обнюхала колени и, утешительно махнув хвостом, села в сторонке. В сенях тяжко заскрипели половицы. Казалось, кто-то нес тяжелый мешок и боялся в темноте оступиться. Распахнулась дверь, и на крыльцо вышла старуха столь могучего роста, что я даже усомнился в реальности происходящего. Она была в платье из темного ситца, а из-под платья торчали носки литых рыбацких сапог. И лицо у нее было как бы литое, с твердым мужским подбородком. Старуха укрепилась на крыльце, подняла к глазам тяжелую ладонь и так разглядывала меня, точно она была постовой Илья Муромец, а я хитрый и коварный татарин на горизонте. Собака поднялась и пересела точно в центр тропинки между старухой и мной, как бы уважая хозяйку, но и не нарушая обычай гостеприимства. Лодочный мотор на реке затих, рябины шумно стряхнули воды с огненных листьев.

— Дак пришел, дак зачем под дождем мокнешь? — громко и ехидно спросила старуха.

Мне показалось, что я уловил мгновенно мелькнувшую улыбку, и сквозь эту улыбку как бы со стороны увидел и собаку, соблюдавшую дистанцию, и самого себя в обтертой лесной одежде, скрюченного под рюкзаком, но с щегольской офицерской сумкой, которая как бы удостоверяла мое непростое положение в этих самых лесах.

Старуха повернулась и так же тяжко ушла в избу. Я прошел следом.

В избе пахло печкой, рыбой и сухим деревом. Я сел на лавку. У здешних деревень есть одна особенность,

которую вряд ли где в мире встретишь. Они всегда строились в лесу, но на реке или вблизи моря. Поэтому повседневный обычай сплел воедино плуг крестьянина, топор лесоруба, рыбацкое знание сетей, прижимных и отгонных ветров, а также разный морской обиход. Вот и сейчас в поле зрения я видел картошку, сваленную для просушки в углу, груду сетей, из-за которых торчал заговорщический глаз прошмыгнувшей за мной собаки, два топора: один с финским прямым, другой с плотницким топорищем, несколько стеклянных оплетенных шаров-поплавков и на стенке две раскрашенные увеличенные фотографии в рамках: бравые светлоглазые парни в морской форме, один в бескозырке, другой в офицерской фуражке с «крабом».

Собака затаилась в углу, лишь глаз ее доброжелательно поглядывал на меня. Старуха поставила на плиту керосинку, на керосинку чайник. Она двигалась как монолит, с эдакой размашистой твердостью.

— Ты по делу пришел или так? — стоя ко мне спиной, спросила она.

— На острова требуется попасть. Где карбас можно достать?

— А ведь я, старая, правильно догадалась, — помолчав, сказала старуха. — Вначале думала: еще один за иконами рыщет. А икон-то нету. Уж самовары и то все увезли. Котелки старые, прости, господи, забирают. Потом разглядела. Вид у тебя боевитой, глаз хмурой. Наверное, мыслю, на острова. Ведь иконы да острова — тем люди нашу деревню и знают. Тебя как зовут-то?

Я сказал.

— Карбаса-то сейчас все в Баб-губе. Пикша на яруса идет. У Андрея, слышал, трещал. Я сбегаю.

— Да не беспокойтесь, я сам.

— Я этот вопрос на ноги поставлю, — хмуро погрозила она кому-то. — Меня ведь Студенткой зовут. Поди, слышал, раз сразу ко мне стопы направил?

— Как Студенткой?

— А вот! — Она села на лавку, как бы приготовившись к долгой беседе, но сидела все так же гвардейски прямо. — До войны-то я Евдокия была. В войну Патриоткой прозвали. В газете портрет мой был: женщина-патриотка. Так бабы и звали. А теперь повадились студенты ездить. Вначале один, потом двое, а теперь нагрянут, дак по полу негде ступить. Так и прозвали: Сту-

дентка. Я не спорю — обидного нет. Ты море-то знаешь? Сплаваешь?

— Я больше в лесу, — усмехнулся я.

— Прости, господи, старую Евдокию, — сердито сказала она.

Прошла в другую комнату, там зашуршал целлофан. Собака за сетями тихонечко взвизгнула.

— А то я не заметила, как ты прошмыгнул? А то меня, старую, кто омманет, — громко отклинулась Евдокия. Собака еще взвизгнула и прижалась к дверям. Евдокия вышла в целлофановом мешке, в котором были прорезаны дырки для рук и для лица.

— Чисто буфетчица из окошка выглядываю, — объявила она. — Дождя не боюсь. Ты, милой, с керосинки глаз не своди. Я бегом. Если я пошла — все! — и с этими словами исчезла в дверях.

Вернулась она неожиданно быстро.

— Поставила вопрос, приняла решение. Будем мой карбас спущать. Как я неопытного тебя одного в море отпущу? Ведь люди осудят!

Я промолчал.

— Ведь три дня как карбас-то вытащила. Теперь снова спущать. Трудов-то пропало сколько. Не знала, что ты придешь, — по-бабьи пожаловалась она.

— Я заплачу́.

— Дак ведь за порог взошел, дак в доме гость. Каки теперь деньги? Опять люди осудят. Нельзя! Вот какое решение: соберу плотик-два на дрова, бензин оправдаю. Мы лес-то на дрова не рубим, плавник на островах собираем да за карбасом плавим.

— Я помогу. Вы одна, что ли, живете?

— Без малого девять десятков, дак, конешно, одна. Мужа-то схоронила, сыновей в войну оплакала, внуков не успела нажить. Теперь вот студенты молодой голос дадут да табаком избу оживят — рада. Да ведь русски люди кругом, пропасть не дадут.

...Ночью радикулит мой, разогревшись в тепле, зверем вцепился в поясницу. Я ворочался в мешке и тихонько вздыхал, чтобы не разбудить Евдокию. Я и не заметил, когда зажегся свет. Она вышла из горницы в длинной белой рубахе, массивная, точно оживший шкаф.

— У тебя, милой, не спина ли болит? — сонно спросила она.

— Спина-а.

— А чего молчишь? Я ведь днем увидала, что ты со спиной пришел. Вылезай из мешка-то.

— Да вы спите, — сказал я. — Дело привычное.

— Дак я спать, ты стонать? Хорошо ли по-твоему получится? Я ведь тебя сейчас вылечу.

— Не поможет, — сказал я. — Меня уж на всех курортах лечили.

— Поясница-то — наша болезнь, лесная. Я всех русских людей лечу. Им помогает, а тебе нет?

Она больше не говорила. Поставила лампу на стол, сунула в плиту несколько смолистых полешков. Огонь загудел сразу тихо и грозно. Евдокия топала по избе, огромная тень ее металась по стенам. Она вышла в сени и бухнула на плиту тяжелый, заполненный опилками таз. За окном была тишина, какая бывает только в спящей деревне, и темнота настолько черная, что казалось, в окнах не было стекол, был просто провал пространства.

Когда от опилок густо пошел спиртовой и смолистый дух, Евдокия с маху грохнула таз на пол и придвинула стул.

— Садись! Суй ноги, — глухо приказала она.

Я выбрался из мешка и сунул ноги в горячую древесную кашу. Их сразу охватило влагой и жаром.

— Не поможет, — сказал я.

— Молчи! Ты мыслей, мыслей болезнь гони. Из поясницы пойдет в ноги, из ног в опилки. Взамен кверху смола, здоровье побежит.

— Мыслью гнать. По методу йогов? — пошутил я.

— Еги, поди, тоже русски люди. Дело знают, — не моргнув глазом, ответила Евдокия.

Я сидел так, наверное, с полчаса. Опилки внизу не остывали, и я слышал, как тепло их действительно поднимается вверх и греет спину.

Евдокия принесла мне длинные шерстяные носки. Вынула из шкапчика заткнутую бумажкой бутылку водки.

— Тебе выпить теперь надо, чтобы снутри согреть. Это уж мужики мое лечение дополнили. Да ведь помога-ат!

Она ушла в горницу, вернулась уже в платье, налила водку в стакан и с поклоном протянула мне.

— Выпей да выздоравливай, батюшка. — Монументальное лицо ее вдруг расплылось в таких материнских морщинках, что что-то сжало мне ребра, и я смог только через минуту сказать:

— Водки так водки. Помогло бы.

То ли от водки, то ли от нагретых ног жилка утихла, звон кончился, боль в пояснице лишь слабо поскуливала, было благостно, ясно. Евдокия, поскрипев в горнице кроватью, затихла. Я, лежа в мешке, досадуя, злясь, не мог все-таки отвязаться от того, что называл «интеллигентщиной». О доброте деревенских старух, о том, что вот спросить бы совет, как жить, и действительно это выполнить. Мысли такие, и разговорчики, и литературу о величии крестьянской души я не любил. Все это стало нынешней модой и шло, по-моему, как отголосок давних переживаний русского барства, ничего общего с действительным уважением к народу не имело. Я это чувствовал по себе, потому что, когда делил кров и хлеб с леспромхозовскими мужиками, все было проще, по-человечески. И в мыслях ведь не было, что я могу нашей секретарше Леночке привезти в подарок лапти. А ведь привез в позапрошлом году. Именно я. Последними мыслями были острова... диссертация... Никитенко...

...День выдался погожий и тихий. Наверное, он отстал где-то от бабьего лета и теперь нагонял своих. Мы спустили на воду ветхий карбас. С воды изба казалась вовсе старенькой, покосившейся на один бок.

— Келья-то у меня худа, карбас-то старенький, — сказала Евдокия, погружая в лодку веревки, костыли для плота и зачем-то тяжелый таз. — Доживу, и развалится.

...Вода в реке была черной, осенней и тихой. Океан находился рядом, и река исчерпала себя. Под неторопливый стук мотора мы тихонько плыли вниз. Собака свернулась калачиком на носу лодки, я сидел посредине, Евдокия держала руль. Солнце беспощадно просвечивало морщины, и в лице ее было больше монументальной мужицкой твердости, чем даже тогда на крыльце. Она же как бы в противовес моим мыслям посмеялась, прикрыв рот ладонью.

— Маленько-то я тебя омманула. Как услышала, костром от тебя пахнет, сил нет, на острова захотелось. Ведь мы там рыбачим! Сколько лет, сколько весен... Летом-то лось с одного острова к другому плывет. Ну плыви, плыви. Медведь плывет. Плыви-и. А он выйдет, да еще коло карбаса пройдет туда-сюда. «Уходи!» — крикнешь. Слушается. Знает, если я скажу — все!

Острова торчали над поверхностью моря, как поду-

шечки пальцев гигантской гранитной ладони. Лес на некоторых из них действительно рос. Но человек, рассказавший мне об этих соснах среди моря, не был лесным инженером, и потому информация его, пожалуй, больше отражала состояние души, чем действительные размеры сосен.

Все это я понял еще издали. Мы стали собирать плавник. Ободранные морем гладкие и тяжелые стволы белой полосой тянулись по черте осенних штормов. Я носил деревья и сбрасывал их в воду, а Евдокия, подтянув голенища рыбацких сапог, подоткнув юбку, размашисто вгоняла в них костыли, крепила веревкой. Работа как-то оживила ее, и Евдокия, разогнувшись, кричала мне на берег:

— Молода-то я была здорова́-а! Строевой лес носила. Веришь?

К ночи мы собрали два хороших плота. Евдокия умело счалила их и, устало загребая по мелководью, буксиром потянула в соседнюю бухточку — вдруг ночью сменится ветер. Странная была это картина: закат, белая, как жесть, равнина моря с красными отблесками на горизонте, согнувшаяся в буксирной лямке Евдокия, и за ней покорно тащились плоты.

Ночь была ясная. Мы сварили в котелке соленой трески — излюбленная здешняя пища, — и я, умаявшись с плавником, быстро заснул. Звон и биение жилки не возобновлялись, а может, и совсем оставили меня, когда я увидел на островах обычный лес, к которому незачем было ехать. Как-то пусто и обыденно думалось о конце научной карьеры.

Проснулся я неожиданно. Евдокия сидела у костра и молча раскачивалась. Лешачьи тени от огня прыгали по ее лицу, огромна была фигура, огромны ладони на коленях и огромны ступни, которые почему-то она держала в тазу, который утром еще положила в карбас. И, еще полусонный, я вдруг понял, что все-таки мне суждено услышать от этой странной старухи необходимую истину жизни (втайне я все-таки этого ждал) и я услышу это сейчас.

— Ноги-то у меня болят, хоть отруби да на дерево повесь, — по-детски жалобно произнесла Евдокия. — Я ведь почему в море стремлюсь. В морской-то рассол поставишь, дак отпуска-ат. Врач говорит, мазь мне надо из пчелиного и змеиного яда. Иностранная мазь, где я, неграмотная, ее возьму?

— Бывает в аптеках.

— А то! Студенты-то в город зовут. «Бабушка, поедем». А я им про мазь молчу. Зачем старостью да болестью ихнее веселье портить! Но ведь грешна! Люблю чай. Студенты-то чай привезут, дак спрячу. Им заварю, какой в нашем сельпо продают. Ну чисто жадина! Ведь пачки-то одинаковы, а мне городской слаще.

Море лежало совершенно беззвучно, луна заливала берег светом, и за спиной тихо-мирно пошумливали сосны. В каком-то диком приступе той самой «интеллигентщины» я вдруг сказал:

— Поставить бы здесь избу. И жить бы сто лет.

— А была, — равнодушно ответила Евдокия. — На том месте костер жжем. Неуж не заметил? Позапрошлом годе еще стояла.

— Вывезли?

— Сожгли русски люди. Пьяны напились да сожгли для потехи. Ничья была. Для всех. Летом-то ведь здесь большая дорога. И на лодках, и на байдарках, и всяко...

— Э-эх! — я ругнулся. — Забором, что ли, леса огородить. Охрану поставить с оружием?

— ЛЕС-ТО ОДИН НЕ МОЖЕТ СТОЯТЬ, — ровным голосом произнесла Евдокия. — КТО-НИБУДЬ ДОЛЖЕН ПО НЕМУ ХОДИТЬ, КУРЛЫКАТЬ, ПЕТЬ ДА ПЕРЕКЛИКАТЬСЯ. БЕЗ ГОЛОСУ ЛЕС-ТО ЗАСОХНЕТ, УМРЕТ.

Вот так. Все-таки, как ни иронизировал я, как ни оберегался, но получил простодушный народный совет и мог в соответствующем случае произнести: «В одной дальней деревне девяностолетняя бабка сказала мне...» Но как бы там ни было, эти звоны, и жилки, и страх — все это поблекло перед простой истиной: кто-то должен курлыкать в лесу. Без этого лес не может стоять.

Но почему в принципе «курлыкать» должен не я, а другие?

...Ровно через пять дней после того, как уехали мои лаборанты, я тоже сел в поезд и помчался к югу.

...Обстановка в институте была нехорошая, но это уже не имело значения. Вдобавок ушла жена. Это тоже было уже все равно, давно между нами стало ясно, что ей ни к чему неудачник. Я написал письмо в один дальний лесопитомник, где меня знали, написал заявление

об уходе и в ожидании ответа спрятал его в ящик стола на работе. А пока стал приводить в порядок собранные за семь лет материалы. Зря, что ли, курлыкали мы в мокрых ельниках? Кому-нибудь пригодится.

Жил я очень размеренно, часов до девяти вечера сидел на работе, дома варил суп из пакетика и ложился спать. Иногда заходил в кино и с огромным, даже странным, вниманием смотрел любой фильм, какой подвернется.

...Случилось это вечером, когда во всем здании института остались вахтер да я. В кабинете было очень жарко — по вечерам всегда батареи раскалялись так, что обжигали руку. Я открыл форточку — ворвался свежий, холодный воздух, и я услышал, как снежная крупа бьет по стеклу, услышал свист ветра по улице, испуганный клаксон автомашины за углом и вдруг осознал, что статья, которую я пишу, и есть та самая диссертация, которую ждали от меня семь лет. Честное слово, я испугался — все это произошло помимо моей воли и моего разума, свершилось само собой. А если так, то столь же легко, без объяснения причин все это может исчезнуть, растаять, превратиться в мечты, сигаретный дым.

Я аккуратно сложил свои бумаги, вытряхнул пепельницу, заправил авторучку и пошел домой. В дежурном магазине по дороге купил десяток котлет и пачку масла. Решил держать себя в форме, не упускать удачу по какой-нибудь глупости.

...Утром я увидел на столе у себя конверт. Это был ответ из лесопитомника. Место мне обещали весной, именно ту должность, которую я хотел. Я достал из стола стыдливо сложенный лист бумаги — заявление. Пришлось переписать его, теперь я просил уволить меня в середине мая. Переписав, отнес его в приемную Г. П. Никитенко. Леночка, та самая, которой я привозил лапти, сидела с марлевой повязкой и казалась похожей на врача из какого-то фильма.

— Что с вами? — изумился я.

— С луны? — ответила она сквозь маску. — Весь город гонконгским гриппом болеет.

Не отдав заявления, я выпятился в коридор. Грипп мне сейчас был совсем ни к чему. Вот она, опасность судьбы! Я буду валяться с температурой, а работа моя будет лежать. Только теперь я заметил, что в коридорах

института как-то пустынно. Я решил сбегать в аптеку, предостеречься.

В аптеке у окошек, где брали рецепты, стояла длинная очередь. Действительно «весь город» болел. У стеллажей со штучными лекарствами было пусто, и я увидел вдруг сиротливые тюбики лекарства на пчелином и змеином яде. В постыдном раскаянии я схватил эти тюбики и уж дальше — больше, забежал в гастроном, накупил красивых коробок и банок с чаем и побежал на почту. Девушки на почте были также в марлевых масках. И лишь, запаковав посылку, я осознал, что фамилия Евдокии мне неизвестна. Только адрес. Так и написал «бабушке Евдокии». Уговорил. Взяли.

Гриппом я не заболел и через десять дней в конце рабочего дня я снова пришел к Леночке. Положил перед ней рукопись на сто страниц и пятьдесят рублей.

— Ну что вы! — сказала Леночка. — Это вдвое больше, чем следует за перепечатку.

Но утром я получил текст — экземпляры разобраны и знаки препинания стоят на местах — Леночка в свое время кончала филфак.

Утром я взял первый экземпляр, заявление и твердым шагом вошел к Г. П. Никитенко.

Надо отдать ему должное — он не изумился, не стал произносить слова, положил рукопись и заявление на край стола, глянул на меня сквозь очки, точно сфотографировал, и зачем-то пожал мне руку мягкой ладонью.

Через некоторое время я узнал, что мне предстоит предварительная защита. Случай небывалый, так как существует длинная очередь жаждущих кандидатского звания.

Я спокойно изложил свои выводы о северной границе европейского леса. Ученый совет покашливал и молчал, видно, моя репутация унылого научного неудачника крепко шаталась. Тогда Г. П. Никитенко, не вставая с места, тонким своим голосом негромко сказал: «Мы имеем пример скрупулезного сбора фактов без скороспелых, однако, выводов». После этого сорвалась лавина, и я узнал, что являю собой пример воспитания научных кадров: бывалый производственник, накопив опыт, идет в науку, оформляет опыт в солидный труд и снова стремится к любимому производству.

В коридоре за спиной я услышал: «Попал в самую популярку».

...От Евдокии пришло письмо. «...Пролила слезы. Ведь не забыл! Ведь не стала просить, думала, что забудешь. Ты не обижайся, я о тебе думаю много. Работа у тебя, конечно, почетистая, но глаз у тебя нехороший. Наверное, начал сердцем грубеть. Ты не грубей. Как сердце застынет, так тяжело жить. Я знаю. Кругом русски люди, перед кем возноситься?..»

В тот день я решил пораньше приехать в лесопитомник, пожить без оклада, войти в курс. Г. П. Никитенко препятствовать мне не будет, потому что после всех этих слов на ученом совете окончательная защита превращалась в формальность, и ВАК тут уже не может ничему помешать. Я составлял список действий: сдать комнату, в военкомат, упаковать вещи, выписаться — зазвонил телефон. Звонила Леночка. В длинном и осторожном разговоре она сообщила мне о поездке в Австралию. Для изучения австралийского метода выращивания эвкалиптов. Поездка на год. Желательно с женой. Так заключила Леночка.

Я растерянно начал слоняться по комнате. Все эти годы... Жена... Потом я представил, как решила бы эту проблему бабушка Евдокия. «В Австралии, поди, тоже русски люди, эвкалипт тоже дерево, дак что не поехать?» Требовалось крепко подумать, уяснить, осознать. Но я уже попал в колесо событий, и оно крутилось помимо меня.

Снова звонок, теперь уже в дверь. Корреспондент ведомственной газеты. Задача написать очерк «Портрет ученого и инженера». Я хотел послать его к черту, но корреспондент, парень молодой, розовощекий, с блестящей, здорового вида бородкой, оказался опытным человеком. Я сам не заметил, как рассказал про отца-плотника, о лесных пожарах и о кедрах, посаженных мной в прошлые годы. Лишь когда он ушел, я осознал, понял, что действительно «попал в популярку» и разговор об Австралии неспроста. А как же лесопитомник? Я ринулся было искать телефон редакции, чтобы статьи не было. В дальних леспромхозах не любят газетной славы, она в тех краях осложняет жизнь. Но снова звонок в дверь. Телеграмма. Жена возвращается. Простила меня и скучает. Хотите верьте, хотите нет. С телеграммой в руках я сел на стул и понял, что с Австралией наверху уже решено. Такие вещи моя жена всегда знала точно и раньше меня.

И вот такая картина: в трусах, с тряпкой я ползаю по полу — все-таки жена возвращается. И я представляю снова тягостное примирение и этих ее подружек — потертых жизнью девиц с тревожными, ждущими чего-то глазами. На столе бутылка сухого вина, кофейные чашечки и разговор на странном языке. Я понять его не могу, всегда лишь улавливаю одно — речь идет о том, как не быть олухом в середине XX века. И снова я услышу о легендарном Сене, которого я никогда не видал, но которого ненавижу. Он великий человек. По роду работы часто ездит «в загранку», имеет в центре Москвы четырехкомнатную квартиру, в год разбивает по «Волге» и однажды после ссоры с Лидкой-женой бросил в унитаз все кольца, сережки и камушки. Бросил и дернул ручку. Этот факт повторяется в священном трепете, с придыханием. Я все знаю про эту Лидку, которая дура, но — это говорится с уважением — имеет на Сеню крючок. Во всяком случае, он раз пять хотел развестись и не может.

Елозю я с тряпкой по полу, и в голове суета ненаучных мыслей. Будут ли на меня давить своим биопотенциалом австралийские эвкалипты? Наверное, нет, для них я человек пришлый, чужой. Им на меня наплевать. А будут ли они давить на мою жену или, допустим, на подружек ее? Секрет в том, что я считаю себя принадлежащим к той нации, к которой принадлежит Евдокия. Но к какой нации принадлежат моя жена и эти подружки, с их тревожным, ждущим чего-то взглядом, я иногда, честное слово, не знаю.

Но вот главная мысль: где-то в глубине души я уже чувствую безысходность событий — быть мне в Австралии, изучать эвкалипты. Это значит, что в питомник я не попаду года два, а если честно — не попаду уже никогда. Никогда не заниматься мне простым делом выращивания деревьев. И значит, никогда не достичь величия души, когда на старости лет тебе дают кличку Студент. Какой долг предъявит мне лес, так как в принципе я ответствен за каждое дерево от Балтики до Охотского моря? Вот он, тот самый случай, когда человек в течение часа решает свою судьбу. Через час или два прилетит жена, я должен встретить ее с готовым решением. Куда, черт возьми, смотрел мой отец-плотник, который завещал мне уважение к дереву, но почему-то не завещал уважения к собственной единственной и неповторимой жизни...

...И в человецех благоволение*

...Все началось с того, что сосед мой купил мотоцикл. Вообще-то он не сосед, живет этажом ниже, но мы с ним знакомы тысячу лет, здороваемся по утрам; я приподымаю шляпу, он кепку — так уж мы завели с того дня, как я поселился в этот дом, а иногда вечером в субботний день, если я бываю дома, не отправился с визитом куда-нибудь, мы выкуриваем по сигарете на лавочке напротив входной двери и толкуем о том о сем, главным образом про футбол, хотя я в футболе ни черта не смыслю и со школьных лет, когда я еще болел за ЦДСА, для меня одинаковы все команды.

Парень он безобидный по имени Коля, фамилия мне неизвестна, работает фрезеровщиком на каком-то опять-таки неизвестном заводе, и он, видно, как раз из тех самых ребят, про которых принято говорить: «вырастает достойная смена». Уверен в том, что он действительно достойная смена: работу свою считает работой и записи в трудовой книжке не собирает, как кончил шесть лет назад ремеслуху, так и сидит на одном заводе, и завод ему, одинокому фрезеровщику, дал квартиру — выходит, ценят.

Он купил мотоцикл. Сараюшка его, которую он приспособил под гараж, находится как раз под моим окном, и с тех пор в воскресные дни, если я ночевал дома, с восьми утра не стало покоя. Добротный фрезеровщик, Коля без конца регулировал двигатель, и двигатель этот то взрывался адовым треском, то сменялся тихим рокотом малого газа, чтобы через мгновение снова взорваться. И так без конца.

Но черт с ним, с треском, в конце концов я не психопат, здоровый тридцатишестилетний мужчина, и если у меня бывает бессонница, то отнюдь не из-за индустриального шума.

Еще до того, как сосед купил мотоцикл, я завел себе велик, велосипед «Спутник» харьковского завода, и как-то так получилось, что эта нехитрая машина для кручения педалей стала мне жизненно необходима. Каждый вечер, иногда пораньше удрав с работы, я сажусь и кручу

* Рассказ остался незаконченным *(ред.)*.

педали в ближайший лес. Сосны, березки, поля, перелески — и благодать нисходит на душу, и я убеждаюсь, что все, в сущности, в жизни правильно и что живу я так, как положено жить. Почему-то последний год мне приходится себя в этом убеждать.

Я кручу педали обратно, и начинаются дачи, за дачами крупнопанельное строительство, асфальт шоссейки и гарь бензина. В бензиновой гари проносятся тяжкие самосвалы, фургоны и частники, и я интенсивно прижимаюсь к обочине, гораздо больше, чем надо для велосипедиста, потому что боюсь машин. Боюсь не то слово, я их недолюбливаю и опасаюсь.

И вот однажды... Однажды на пустом этом шоссе я увидел мотоцикл и своего соседа. Он промчался мимо меня на бешеной скорости, и лицо его, ей-богу, было безумным. Он успел-таки зыркнуть на меня глазами, поздороваться, что ли, взглядом из-под мотоциклетного шлема, и исчез в оглушительном треске, глушитель он, что ли, снял для увеличения мощности?

С тех пор я стал как-то внимательнее смотреть на всех встречных мотоциклистов, и все они казались мне на одно лицо и казались свихнутыми.

С тех пор мне стал мешать по ночам индустриальный шум, и, когда я стал его слушать, я удивился его великому многообразию: гудки и стук ночной электрички, шум башенного крана на круглосуточной стройке напротив, прогазовка машин недалекого гаража и под окном неумолчный рев дизельных МАЗов, дребезжание незакрепленных грузов в кузове или лязг какой-нибудь разбитой автоколымаги и дефилирующие туда и сюда до трех часов ночи транзисторы, портативные магнитофоны и что там еще портативное.

Я, что называется, сделал карьеру. Точнее сказать, в тридцать шесть лет карьера моя круто идет вверх. Из закинутых в глубины безвестности поселков я выбился в министерские коридоры, и друзья по прошлой работе (пока еще держим связь) всерьез верят, что к полусотне я вполне могу стать министром, а заместителем — это точно.

В общем-то недолгое время тому назад я и сам так считал, а может, и сейчас считаю. В двадцать шесть — начальник партии, в тридцать — старший инженер управления, в тридцать два — начальник группы партий, а

теми партиями командовали мои же кореша-однокурсники, в тридцать четыре — референт в министерстве, в тридцать шесть — заведующий отделом в том же министерстве, и кореша-однокурсники, далеко отставшие в этой гонке, уже не пишут: «Петь, помоги», — а пишут официально: «Уважаемый Петр Сергеич!» Смех сплошной!

И я финансовые и прочие заявки корешей-однокурсников проталкиваю, как могу, наплевав на всякую справедливость. Как будто я в чем виноват перед ними. А может, просто как память о тех временах, когда вместе работали в закинутых в безвестность краях.

Черт, в будущее лето надо там побывать. Устроить инспекционную поездку. Предлог найти проще простого.

О тех самых краях. Они мне снятся ночами. Или ловлю себя частенько на том, что вдруг ни с того ни с сего застекленятся глаза, и я сижу и вижу как наяву давно прошедшие времена. Или вдруг потянет протереть ружья, что без дела пылятся на стенке холостяцкой квартиры, или перебрать патронный ящик, леший знает зачем я его вывез, когда перебирался в Москву. Патроны от пистолета — сейчас он мне не положен по штату, — патроны от карабина — три года, как в руки его не брал, — патроны от дробовиков — их выкинуть надо, потому что порох в них устарел.

...Зимой на собаках работать нетрудно. Я еще ухватил время, когда вместо вездеходов были собачьи упряжки. Наверное, и сейчас смогу каюрить. Работать на них в марте — апреле одно удовольствие. Труднее с ночевкой. Если за день с работой сделаешь перегон километров на семьдесят, то к концу его как-то потом выходит сила и тепло, и начинаешь мерзнуть в кухлянке, и начинают холодеть ноги и руки, не то, что отмерзают пальцы, а просто холодеют... конечности. И на стоянке у костра ты никак не можешь согреться, хотя, не жалея сил, выковыриваешь из снега плавник и тащишь к костру. Но даже когда ты согрелся за чаем, пока ставишь палатку, все равно замерзнешь, и адовой мукой кажется залезть нагишом в кукуль — спальный мешок из оленьего меха. Но иначе, как нагишом, в кукуле спать нельзя.

Засыпаешь каменным сном, но во сне у тебя точно

работает сторожевой автомат: руками держишь складки кукуля на груди, так как застежек он не имеет, и если придет блажь повернуться на бок, то повертываешься, как в замедленном кино. Знаешь даже во сне, что чуть задел стенку, и на лицо и на шею упадет пласт инея и будет таять и стекать к животу. Удивительно быстро ко всему приспосабливаешься.

Еще хуже вылезать из мешка утром. Утром мороз под сорок, и палатка вся изнутри в толстой шубе инея, и волосы слиплись от инея, и кукуль вокруг головы весь в ледяных сосульках, и одежда, что лежит на полу палатки, тоже вся запуржевела, потому что за ночь из нее вышел вчерашний пот.

Мы пробовали тогда зажигать в палатке примус. Он мгновенно нагонял жару, и одеваться было тепло. Но тогда иней на палатке тает, она впитывает его и замерзает как жесть. Уже не согнуть, а если согнешь, так сломаешь. А впереди еще триста километров безлюдного побережья.

Выходит, лучше всего закурить прямо в мешке, и пока куришь, собраться с духом, нагишом выскочить на мороз, натянуть меха и, чувствуя, как леденеет кровь, выбежать «на улицу».

Синий рассвет висит над побережьем, и скалы, черные на белом фоне, и собаки, которые свернулись калачиком, нос закрыли хвостом, из-под хвоста выглядывает только задумчивый собачий глаз — почему-то собаки по утрам всегда бывают печально задумчивы, — и ты носишься дикими прыжками или сделаешь пробежку вдоль берега, провожаемый ироническими взглядами всей упряжки, и постепенно в тебя входит утренняя радость жизни, радость здорового тела и духа и пьянящее, как стакан спирта, сознание, что ты достиг своего: ты полярник и работаешь на собачьих упряжках вдоль побережья, где немного кто из людей бывал, а кто бывал, те вписаны в книгу истории Арктики.

И ты уже человеком возвращаешься к заметенному поземкой следу вчерашнего костерища, сбрасываешь шапку, рукавицы и со знанием дела, полярным щегольством, если угодно, разводишь костер. А собаки уже поняли перемену настроя и стали твоими собаками, вернулись из дебрей потусторонней собачьей тоски, потягиваются, машут хвостами, сладко зевают и ждут утренней дозы еды и утренней дозы ласки.

Из-за скал медленно вылазит солнце, и начинает ис-

криться снег. Через час будет тепло и можно ехать в одной нижней кухляночке из пыжика с расстегнутым воротом.

Кормежка собак, я всегда в сытости держал упряжку, и первая кружка черного, сладкого до липкости чая.

А солнце ползет выше, и скалы из черных становятся разноцветными.

Через час в дорогу, все увязано, упаковано по-хозяйски, а ты от избытка силы не сидишь на нарте, а бежишь рядышком, и мышцы играют, и в голове ничего, кроме счастья. Счастья и чувства служебного долга.

Эх, черт побери, до чего же я хорошо жил в те времена! Если закрыть глаза, то иногда я могу минуту за минутой вспомнить все время и километр за километром пройденные дороги.

Годовой отчет. Важнейшее событие года в нашем отделе, и в десятке других отделов министерства, и в сотнях других отделов десятков других министерств, и в тысячах других отделов всевозможнейших ведомств.

Итог работы других. Вложений освоено столько-то, условных единиц работы выполнено столько-то, прирост по сравнению с предыдущим годом на столько-то...

Значит, так. Прежде всего святое правило: засадить за работу всех подчиненных, чтобы каждому было сверх головы и еще оставалось на дом.

Себе оставить увязку и согласование. Пусть кто-нибудь попробует пикнуть. Но никто не попробует, потому что весь мой отдел по призванию чиновные люди. Откровенно говоря, я их слегка презираю. Кажется, имею на это право. Я пришел к ним из тундры, собственной энергией проложив дорогу, а они про эту тундру, тайгу и пустыню только в книжках читали, ибо у них не хватило в свое время энергии или смелости поглядеть на это.

Так, прямо с институтской скамьи, обмельчали люди и сами того не заметили, как они обмельчали. Квартирный вопрос, мебеля́, вчерашняя восемнадцатая серия польского детектива и еще пресловутое слово «хобби» — рыбки, кактусы и, разумеется, футбол. И в каждом сидит святая уверенность, уверенность в собственной мудрости — «сумел устроить жизнь». Работаю в министерстве, живу в столице, имею квартиру, получаю приличный оклад.

Сорокалетние сопляки!

В одном можно быть уверенным: министром или даже пятым заместителем никто из них никогда не будет. Не тот полет. И слишком приучены к дисциплине. С девяти до пяти.

Сегодня не пошел на работу. Могу себе это позволить. Пока отдел подбивает сводки, могу погулять, проветрить мозги, чтобы со свежей головой приступить к выводам. В конце концов — главное обобщение, выбор общей перспективы и направления.

Весь день шлялся по улицам. Сретенка, Покровка, Сивцев Вражек.

Странная аномалия. До девяти, до половины десятого город наполняет чиновный люд. Около сорока лет, средний возраст. После половины десятого на улицах множество старух. Вначале это просто бабки с кошелками, которые направляются на рынок. А около одиннадцати на свет божий вылазят какие-то немыслимые старушки в чепцах, шляпках и пальто ушедших в вечность фасонов. Откуда они вылазят?

А вечером город забит молодежью. Той самой, которую мне не дано понять...

Повести



Весенняя охота на гусей

Этот холм был чем-то непохож на тысячи таких же, раскиданных по Восточной тундре. Может быть, поэтому гуси предпочитали прокладывать маршруты именно над этим холмом — утром в одну сторону, где чернели гладкие глыбы гор Пырканай, вечером в другую, где было просто море.

...Он скинул рюкзак. Нет, это точно, нигде не найти ему больше таких холмов, нигде не растут на их верхушках такие вот кустики ивняка. «Привет», — сказал он и провел рукой по веткам. Ветки закачались, и горький их аромат остался на руке.

Яма была чиста и суха. Все-таки он старательно заскреб землю со дна и пошел рвать траву на сиденье. Трава была жесткая и холодная. Он рвал ее минут двадцать, пока не набрал достаточную охапку. Кухлянка и руки пахли теперь железистым запахом болота, запахом прошлогодней травы.

...Первый гусь налетел в оглушительном шуме крыльев. Гусь летел очень низко, и, когда он вскинул ружье, тот испуганно заметался, но дробь настигла его. Гусь долго трепыхался метрах в двадцати от ямы. Ему стало жаль гуся, он вылез из ямы и несколько раз стукнул прикладом по лобастой голове гуменника. Гусь отчаянно замахал уцелевшим крылом и затих.

Стрелять расхотелось.

— Вскипячу чай, — сказал он вслух и, держа теплую шею гуся в одной руке, стал собирать крохотные веточки.

Он вынул патрон, в котором лежала прокеросиненная тряпочка, и сунул ее под ветки. Потом достал маленький медный чайник. Подарок Кольки Муханова — любимца тридцатилетних женщин.

Огонь постепенно охватывал ветки. Это был крохотный чукотский костер, чуть больше пламени спиртовки. Теперь надо внимательно подкладывать все новые прутики и долго ждать, пока закипит вода...

1

С Мухановым они познакомились в Кертунгской разведке, где оба работали шурфовщиками. Кертунгская

разведка была самой дальней разведкой недавно открытого золотоносного района и самой несчастливой.

Ее организовали, когда о новом золоте стали шумно писать газеты. Три санных балка, наспех обитых оленьими шкурами, завезли по снегу на тундровую речушку. По сведениям давних лет, на речушке встречали «знаки» в шлихах.

Был Колька Муханов рыжий. Не то чтобы просто рыжий, а всамделишный огненно-рыжий, как самый рыжий человек. И еще Колька был веселый. Рыжих все любят, как увидят, так и улыбаются. Наверное, поэтому Муханов и был веселый, потому что ему все улыбались. А может быть, так и родился — веселым и рыжим вместе.

Они жили в одном балке, и нары их находились рядом. В беззвездные чукотские ночи Санька засыпал под доверительное журчание мухановского баска.

Почти вся разведка состояла из шурфовщиков. Ребята подобрались нешумные и молчали, что письма и спирт к ним попадают втрое реже, чем в иные экспедиции, а и туда-то они попадали раз шесть-семь в год.

Кертунгской разведке не везло с самого начала. Может быть, так получалось из-за начальника, спившегося практика Гусенко по кличке Пустые гвозди. Когда-то Гусенко неплохо шагал по тундре и служебной лестнице, имея за спиной неполное среднее и отвагу землепроходца. Потом настала пора зубастых юнцов с дипломами, он не смог устоять и так попал на Кертунг. Прислали его то ли на исправление, то ли на окончательный пенсион.

Однажды Гусенко уехал на тракторе в поселок за письмами, гвоздями, досками для балков и разными перспективами. Его ждали с нетерпением, ждали две недели.

...Обратный трактор пришел ночью. Все вышли из палаток навстречу.

Начальник вывалился из кабины и, махнув на маленький ящичек в углу саней, сказал в пьяном восторге: «Н-н-ничего! Пустые гвозди».

В санях и в самом деле не было ничего, кроме ящичка гвоздей. «Пустые гвозди» прилипли к нему навечно, а какая может быть везуха при начальнике с такой кличкой?

Управлению срезали смету. Оно в первую очередь срезало план на Кертунг. Шурфовщик живет на сдельщине

и прогрессивке. Шурфовщику нужен метраж. Без плана нет метража. Без метража нет заработка.

Приближалась весна. Весна, которая мутит даже шурфовщика.

Когда в конце апреля Муханов сказал, что пора плюнуть на это гиблое место, Санька Канаев не особенно возражал.

2

Они ушли вечером, когда подмерз размякший за день снег. Время белых ночей уже наступило. Около каждого балка валялись груды консервных банок из-под болгарских голубцов, китайской тушенки и краснодарских борщей. Сломанная ружейная ложа и старые валенки торчали из кучи золы. Обнаженный солнцем зимний хлам. Они вскинули за плечи чемоданы с веревочными лямками и пошли.

Никто не сказал им вслед обидных слов, никто не отвернулся от протянутой на прощание руки. И почти все улыбнулись, когда Колька Муханов обнажил огненную голову и сказал своим неповторимым баском последнее: «Салют!» Здесь все были мужского пола и была весна. Весной каждый сам выбирает себе дорогу.

Они шли по тракторному следу, ежеминутно поправляя за спиной неловкие чемоданы. Зимние ветры выдули снег, оставив только спрессованные гусеницами колеи. Идти по ним было неудобно. Жесткие, как гипс, казенные валенки болтались на ногах. И спины их чувствовали, как с каждым шагом удаляется Кертунгская разведка с оборванными ветром оленьими шкурами на балках, с пробитыми дробью и пулями печными трубами, с хламом и уютом прожитой зимы.

Им надо было пройти шестьдесят километров до автотрассы на прииск. Они не знали еще, что через несколько часов выбьются из сил и будут тщетно искать хоть кусок дерева, чтобы вскипятить чай в жестянке, взятой по совету бывалых ребят. Не знали, что днем размокшие валенки в кровь собьют им ноги и серая шерсть будет прилипать к живому мясу. Не знали, что на последнем пределе им попадется несколько досок, сорванных кем-то с обшивки тракторных саней, и они уснут на этих досках, положив под голову ненавистные чемоданы. Не знали, что апрельское солнце во сне сожжет им лица, и голова будет жестоко гудеть от такого сна.

Они не знали тундровой дороги и не знали, как усталость превращается в конце концов в ненависть к дороге, к усталости и к себе.

Не знали, что, когда ненависть начнет переходить в жалость и страх, они увидят черную ленту трассы, и попутный шофер молча откроет им дверцу.

3

В жизни Сашки Канаева имелось обстоятельство, которое он скрывал даже от Муханова.

Началось с того, что его выгнали со второго курса библиотечного института. Выгнали за то, что он три дня прогулял на дне рождения брата Семы. Выгнали не за прогул, а за то, что он явился на лекцию прямо со дня рождения, не совсем четко владея памятью и рассудком. Строгий пушкинист Кандыбин это легко заметил, и Саньку выставили даже без назидательной беседы в деканате.

Брат Сема работал экспедитором — развозил трикотаж по московским магазинам. Оттого, что он ухитрялся развозить самый модный товар — в то время это был нейлон и разные безразмерные чулки-носки, — у него водились щедрые деньги. А оттого, что он был обаятелен и далеко не глуп, ему вообще хорошо жилось на свете.

Бизнес брата Семы казался простым и безгрешным, как сказка. Он только получал партию модного товара и привозил его в магазин. Но если при выходе из магазина он не находил в карманах халата установленной суммы, магазин мог ждать этого товара до судного дня. А магазину нужен план, нужны премиальные. Он не брал взятку, просто ему всовывали ее в карман самым подлым образом, неизвестно кто.

Брат любил Саньку — щедро снабжал деньгами, одевал на год впереди общей моды и спас, когда Саньку выгнали из института.

— Не горюй. Гранит науки зубы портит, — так сказал он.

И Санька стал работать продавцом в магазине «Радиотовары». Рядом с ним работал Володя — веселый аристократ. Изредка из-за стеклянной дверцы выходил Пал Давыдыч — серьезный человек со странной растительностью на голове: вся передняя половина черепа у него была гола, как полированная кость, и потом на линии ушей резко, как по линейке, начиналась волосяная густота.

Работа в магазине понравилась Саньке. У входа размещалась радиотолкучка. Там торговали полупроводниками, дефицитными «желудями», импортными транзисторами для доверчивых. Забегали ошалевшие от поисков радиолюбители. Кто потолковее, быстро находил общий язык с Володей, веселым аристократом. Тот умел со снисходительным изяществом выдать пакетик и столь же изящным жестом спрятать в карман гонорар.

Первый раз Канаев стал жуликом, когда в магазин привезли приемники «Рекорд». Эти нелепые с виду, но дешевые и надежные в работе коробки провинция брала нарасхват. Магазин находился недалеко от вокзала. План операции разработал все тот же Володя. Истомившийся покупатель радостно тыкал пальцем в приемник: «Продается! Выпишите!» Санька сухо говорил: «Неисправен». Он не врал, так как утром собственноручно разбил в приемнике одну лампу, после чего тот годился только для прокручивания пластинок. Покупатель начинал канючить. Саня выразительно намекал: «Могу починить». После этого только оставалось опуститься под прилавок, посидеть там пару минут и вынуть другой приемник — исправный. Сказочно просто. Точь-в-точь как у брата Семы.

Вечером в полутемном складском коридоре его остановил директор Пал Давыдыч и спросил: «Ну как?» И улыбнулся мертвой улыбкой. От этой гримасы доброжелательного мертвеца у Саньки мурашки пошли по коже.

О моральной стороне жульничества Санька скоро перестал думать.

— Налог на людскую глупость, — так сказал математик жизни брат Сема.

Страх был. Он остался с той самой минуты в полутемном коридоре. Он проходил вечером, когда Санька встречал у выхода из магазина плечистую фигуру старшего Канаева. Они шли по вечерней Москве, свободные, как боги, и были богаты, как боги, на этот вечер. Санька чувствовал надежную уверенность, когда рядом был старший брат: каменная стена в элегантном костюме. Они искали настроение минуты, которое подскажет им, как провести этот вечер.

К весне стало хуже. Просто неизвестное десятое чувство подсказывало, что стало хуже. Без всяких видимых причин. Они много пили в то время. Почему-то каждый вечер настроение минуты подсказывало им выпить.

По утрам Саньку смешила обывательская, банальная, коридорная истина его жизни: «Раз торгуешь — значит, воруешь, раз воруешь — значит, пьешь».

Брат Сема недаром считался отчетливым мужиком. В один из вечеров он не повел Саньку в ресторанную помпу, а они просто пошли по улицам, прошли по Каланчевке к скверику, где от нарисованных тушью деревьев шел тревожный весенний запах. По дороге они взяли в гастрономе бутылку водки. Брат Сема кивнул на заведение с надписью «Буфет». В буфете было пусто. Только в углу сидели два охотника с рюкзаками и зачехленными ружьями, с помятыми от лесных ночевок лицами. Они вдумчиво обсуждали двустволку какого-то Федора.

Брат Сема повернулся к Саньке:

— Ну?

— Плохо, — сказал Санька. Буфетчица принесла им чистые стаканы и по бутерброду с краковской колбасой.

— Все просто, Саня, — сказал брат Сема. — Чтобы жить, нужен рубль. У умного есть безопасный рубль. У жадного есть впереди тюрьма. Ты этого боишься?

— Боюсь, — сознался Санька. — Сегодня с Володькой магнитофоны сбывали, даже руки тряслись, до чего я боялся.

— Мне наплевать, кем я буду в десятом перерождении, — сказал брат Сема. — Коровой, зайцем или министром. Я сейчас хочу жить свои шесть десятков. Через двадцать лет от меня будет могильный холмик. Скажи, учившийся в институте брат, какую проповедь из какой газеты поставишь ты мне против этого факта?

В тусклом свете единственной лампочки лицо брата Семы казалось усталым. Походил он сейчас на киношного благородного проходимца. Охотники уже кончили обсуждать Федорово ружье и начали врать друг другу, изредка прерываясь: «А может, еще сообразим одну?»

— Я вам соображу, — сказала буфетчица из-за стойки.

— Не знаю, — сказал Санька. — То, что деньги нужны, — это так. А дальше?

Они выпили.

— Хоть это ты понял, мой младший брат, — сказал, выдохнув водку, брат Сема.

— Сегодня мы с Вовкой хорошо взяли, — сказал Санька. — По-другому бы. Вот как у тебя. Безопасно.

— А ты езжай на Север, — сказал брат Сема. — Там платят. С деньгами будешь, и руки не дрожат. — Он снова разлил водку.

— И поеду, — неуверенно сказал Санька. — Тут от одной директорской ухмылки подохнешь. Вовка говорит, что его скоро посадят.

— Смотри, Саня, — раздумчиво сказал брат. — Знай, что я у тебя всегда есть. Но ты ведь сам себе не веришь, что поедешь...

Так Санька Канаев через два месяца разнообразных мытарств очутился в затерянном среди снегов и тундры районном поселке, и в какой-то комнатушке мощный дядя в полярном костюме окинул одним взглядом городскую Санькину фигуру и коротко определил: «Заваляющий. На Кертунг».

4

Начальнику отдела кадров управления было столько же лет, сколько и Саньке Канаеву. И этот симпатичный заика-сверстник бестрепетной рукой вывел в его трудовой книжке: «Уволен по статье 47, пункт «г». Вывел и Муханову.

— А вы думали как, дг'узья? — спросил их начальник отдела кадров беззлобно.

— Кг'ыса ты канцелярская, — ответил ему Муханов.

Они вышли в коридор и несколько минут постояли молча. В коридоре шла непонятная для посторонних суета. Приземистый парнишка с циркульным, заросшим белесым пухом лицом протащил ворох спальных мешков и исчез в комнате-клетушке. В комнатушке сразу взревели мужские голоса, и оттуда высыпало человек десять, кинулись на улицу, и — «посторонись!» — понесли с шумом и гиканьем консервные ящики, мешки, кипы брезента. Из окованной железом двери вышагнул высокий парень в великолепном черном костюме. В руках у парня была винтовка и несколько обойм с патронами. Этому завтра в тундру. С противоположного конца коридора шел грохот пишущих машинок. Там у дверей машбюро толпились с пачками исписанных листков начальники партий: гнали последние главы зимних отчетов. Через две недели управление должно опустеть.

— Пойдем, — сказал Санька. — Нам здесь не светит.

— Да, — ответил Муханов. — И я, знаешь ли, хочу вина.

Они поселились в сорокакоечном бараке гостиницы, где дежурная, закутанная в шерстяной платок от макушки до пяток, не спрашивала ни паспорта, ни виз, а просто брала пятерку аванса из расчета 70 копеек в сутки. В бараке были грязно-розовые стены и грязный пол, но в середине топилась углем громадная железная печь, и здесь давали настоящую кровать с пружинной сеткой, чистым, проглаженным бельем и двумя зелеными шерстяными одеялами. Здесь жили командированные, женщины, дети, все те, кто куда-то двигался или чего-то ожидал в этих кочевых краях.

Они пили гнусный перемороженный вермут. И с каждым стаканом на лице Муханова поселялось все больше недоумения: «Трудовая у меня ни одного перерыва не имеет — раз, приехал я сюда, конечно, за деньгами — два. И что же получается, Саня?»

— Есть у меня брат в Москве, — сказал Санька. — Шаг на телеграф, и монета готова. — Муханов молчал.

— Монету в карман, — продолжил Санька, — и билет на самолет. Со стюардессой позаигрывал — уже в Москве. А?..

— На, глотни, — сказал Муханов.

— Не пропадем, — не очень уверенно сказал Санька.

— У меня брата нет, — усмехнулся Муханов. — И телеграмму мне давать некому. Разве что мне открытку пришлют, так, мол, и так, Коля, вышли на починку двора. Я в армии пять лет вместо трех прослужил. Потому что был все время в дисбате. А в дисбате я был из-за того, что к дисциплине неприспособлен, и из-за женщин. Из-за них у солдата самоволки. Потом надоело, решил дослужить без дисбатов. Дослужил. Вернулся в деревню. Стал шоферить. Места у нас исторические. Кругом отпускники и туристы на «Волгах» гоняют. Я на грузовике. Шесть десяток в месяц. Калыма никакого. Довезешь тетку на рынок в Муром, что с нее взять? Рука не подымется. Бросил. Пошел грузчиком в «Заготзерно». Спину наломаешь, результат тот же. А туристы на «Волгах» гоняют. Такое меня взяло зло. Услышал про Север. Решил — махну. Жилы из себя вырву, а заработаю хоть на «Победу». Буду девчат катать в модном костюме. Попробую красивую жизнь. Деньги эти надо мне взять. Вырвать их из кого угодно.

— Вырвем, — сказал Санька.

— Ты не думай, что я жаден, — сказал Муханов. — Но если какой-либо тип на «Волге» гоняет, почему я не могу? Так?

— Верно, — сказал Санька. — Я сам такой. Мне тоже деньги нужны. Нас, наверное, в детстве воспитательной работой не охватили.

— Места эти не для роз. Помнишь шурфы? «Заготзерно» — компот по сравнению с ними. А раз так получается — отдай мне мой пятак, понял?

Муханов выпил еще перемороженного вермута и пошел в дальний угол барака, где веселились какие-то простецкие ребята. Они сидели на трех сдвинутых койках и дружно реготали над своими, понятными им одним шутками. Было в их гаме что-то столь безобидно-веселое, что даже женщины, которые в штыки встречали любой шум в позднее время, на сей раз молчали.

Санька Канаев решил написать письмо брату Семе. Он пытался изложить на бумаге, что такое Кертунг и почему там нельзя добыть столь необходимых человеку монеток. Но чем дольше он писал, тем больше ему вспоминался Кертунг, и в конце концов он бросил писать, а просто стал вспоминать. И чем больше ему вспоминалось, тем больше не верилось, что все это было с ним, с Санькой Канаевым, московским парнем, бывшим студентом и продавцом магазина. Снег и железный ломик. Он работал в спарке с Мухановым, может быть, если бы не Муханов, он бы так и не приспособился. Хорошо, что мало было на их долю этих шурфов, где долбишь бурку при свечке, и свеча горит с треском и удивительно быстро... Вот он Север, страна легких денег, приезжаешь в отпуск — аккредитивы пачками, покупай особняк или четыре машины. Кстати, о деньгах. Того, что дали, не хватит на билет до Москвы. Заработать бы как бы где бы, чтобы приехать фертом, пара вечеров в «Метрополе», а потом сесть перед братом Семой с пустым карманом и сказать: «Не тот вариант. Думай за меня дальше». Можно приехать и просто так, побитым щенком, припасть к плечу брата Семы, сам напросился, сболтнул тогда в пивной, прости, вразуми, больше не буду. Черт, хоть бы несколько сотен, чтобы вывернуться с честью: так, мол, и так, зарабатывать можно, но скучно...

Из дальнего угла барака, безмятежно покачиваясь, подошел малый в верблюжьем свитере и сказал:

— Брось канцелярию. Истина в вине, понял?

— Понял, — сказал Санька.

— Тогда идем к нам. Гуляем сегодня.

Канаев отправился туда, где призывным маяком горела мухановская шевелюра.

Ребята подвинулись, дали стакан. Муханов и здесь был в центре внимания, забрал гитару, играл перебор. И хоть играл он плохо, он был такой рыжий и так улыбался, что слушатели смотрели на него восторженными глазами. Всюду свой человек Муханов, пропади все пропадом, завьем горе веревочкой.

Какой-то человек все прислонялся к Санькиному плечу и спрашивал: «А откуда вы, как? На расчете, в отпуск?»

— Отпуск, — сказал Санька, — шестимесячный, — не сообразив, что в этих краях именно и полагался шестимесячный. — Пункт «г», понял? — уточнил Санька.

— А, — с разочарованием сказал человек и отодвинулся.

5

Утром его разбудила тоска.

Проснулся он гораздо раньше, но боялся открыть глаза, проснуться совсем, предчувствуя эту тоску. В бараке хлопали двери, и сквозь веки он чувствовал, как пробивается в замерзшие стекла синий рассветный сумрак.

Когда он открыл глаза, он прежде всего увидел Кольку Муханова. Тот спал на боку, выкинув из-под одеяла веснушчатую руку.

«Телеграмму надо дать, — вяло подумал Санька. — Телеграмму брату Семе». Она уже давно сложилась у него, эта телеграмма, наверное, он думал о ней вчера, может быть, думал даже во сне. Брат Сема пришлет деньги, и надо сесть в самолет.

Не выйдет у него возвратиться фертом. Трудовую придется выкинуть, нет, сохранить на память, бывал-де и я, осваивал Север.

Санька знал, что уедет отсюда легко, сорвется мотыльком на алюминиевых крыльях. Легкий он парень, Санька Канаев. Студент-продавец-шурфовщик.

А Муханов — что ж? Пусть выкручивается Колька Муханов.

Он поднял повыше подушку и прислонился к ней спиной, и тотчас же, как будто только это и надо было

ему сделать, из темного угла барака шагнула фигура. Санька смутно вспомнил этого безликого малого.

— Здорово вы вчера, а, — парень с удовольствием причмокнул губами. — Здорово вы вчера дали.

Он сел на койку к Муханову, пружинная сетка прогнулась, и Муханов сразу открыл глаза.

— А вот и второй проснулся, — восхищенно сказал парень. — Голова, наверное, болит, а?

— Катись ты, — беззлобно прохрипел Колька. — Чего надо?

— Болит голова, — утверждающе сказал парень. — Сбегаю, а?

— Во, шакал, — удовлетворенно прохрипел Муханов. — Во, шакал, прямо с утра.

Он полез под подушку и достал деньги.

— Порядок, — сказал парень. — Правда, порядок, а?

Они пили водку с изображением какого-то дикого животного на этикетке. «Зверобой» пах больницей и быстро дал состояние бездумной лихости.

На противоположном ряду коек сидел седой старик. На тумбочке, застланной газетой, лежали куски рыбы, старик ел рыбу и смотрел на них.

— Ваше дело капец, — объяснял парень. — Потому — разведка. Потому что Чандеев. Он здесь царь и бог. Такой он установил порядок. Сбежал бы ты, скажем, из стройконторы — плевать на твои сорок семь, пункт «г». А из разведки — выкинь трудовую или на материк улетай. Капец ваше дело.

Старик все жевал свою рыбу беззубыми деснами и смотрел на них.

— Папаша, причастись, — крикнул ему Колька.

— Не будет он, — сказал парень. — Я его знаю. Он пьяных не уважает.

— Смешной папашка, — усмехнулся Муханов. — Смешной, как тундра.

— Иди сюда, — неожиданно звонким голосом сказал старик. — Иди, не бойся.

— Я, что ли? — удивился Муханов. — На совещание?

Все-таки он встал и пошел к старику. Тот все жевал рыбу и смотрел на Муханова, пока он шел через проход в своих валенках.

— Явился по вызову, — хохотнул Муханов, обращаясь больше к ребятам, чем к деду. — По вызову в нетрезвом виде.

— Я тебя в рыбаки возьму, — все так же звонко сказал дед. — Рыбу ловить.

Колька озадаченно соображал несколько секунд, потом быстро и утверждающе спросил:

— И корешка возьмешь, дед?

— Кореш твой мне не нужен, — сказал старик.

— Без кореша не пойду, — безапелляционно отрезал Колька.

— Ладно, — сказал старик.

— Да ты золотой дед, — восхитился Муханов. — А мы, понимаешь, вот думаем, куда нам податься. Из разведки, понимаешь, ушли...

— А мне это не надо, не надо, — сказал старик. — Мне документов не надо.

— Тогда последний вопрос, — протрезвевшим голосом сказал Муханов. — Как заработок?

— Милый, — сказал дед и весь покрылся лучинками-морщинками. — Ко мне половина поселка просится. Сто рублей дают, только бы взял. А мне сто рублей не надо, я хороших людей ищу. К хорошим людям рыба идет. Я ее всю жизнь ловлю, я знаю.

— Дядя Митя, — раскатился парень. — Вы, ребята, держитесь за дядю Митю. Это такой старик...

— А ты мне не нужен, не нужен, балаболка, — сказал старик.

Потом Колька вернулся, и они стали допивать бутылку с диким зверем на этикетке. Старик все жевал и жевал свою рыбу, а они толковали, так, о разном, как будто так и положено: вчера — ничего, а сегодня — уже перспективы.

— Что вчера за ребята были? — повернулся к парню Санька.

— Так это Гайзулина ребята, неужели не слыхал? Шурфовщики. Знаменитая бригада. Меньше четырех на нос в месяц не бывает.

— Фартово, — сказал Муханов и постучал себя по коленке рыжей рукой. — Четыре в месяц — жить можно.

— Ну а ты? — спросил Санька.

— А я кореш этим ребятам, — сказал парень и нагло посмотрел Саньке в глаза. — Очко моя специальность, понял? — Он подмигнул доверительно и улыбнулся. Двух передних зубов у него не хватало.

— Это что? — спросил Муханов и постукал себя по зубам.

— Бывает, — жестко ответил парень.

Дед завернул остатки рыбы в газету и шустро натянул полушубок.

— Пошли, — громко скомандовал он.

Они стали натягивать ватники. Парень разлегся на мухановской койке и ковырял в зубах спичкой. Муханов посмотрел на него и вытянул деньги из-под подушки.

— Не бойся, — сказал парень. — Здесь это не в моде.

Они вышли на улицу, и апрельский свет резанул им глаза.

— Иди к Косякину, — сказал старик Кольке. — Иди и скажи, что дядя Митя просит трактор. Понял?

— Понял, — сказал Муханов и сразу пошел, как будто знал, где живет неведомый Косякин.

Старик пошел дальше, быстро переставляя ноги в торбасах. Они прошли мимо геологического управления. У входа бородатые ребята грузили автомашину.

— Ти панимаешь, куда кладешь? Ти кладешь мешки под ящики, — кричал низкорослый татарин.

— Не надрывайся, Сафат, — миролюбиво успокаивал татарина вчерашний парень в верблюжьем свитере. Но Сафат уже кричал на кого-то другого, и снова ему отвечали почтительно-ласковым тоном, как говорят с чудаковатым начальством. Видимо, это и был знаменитый Гайзулин.

— Четыре в месяц, — вспомнил Санька. — Жить можно...

К управлению подкатывали все новые машины. Дружные орды набрасывались на них. В сторонке, около прикрытой брезентом горы груза, стояли тракторные сани. Несколько парней вдумчиво совещались, поглядывая то на сани, то на груз.

— Ти думай головой, а не другим местом, — разносился голос Гайзулина.

Узкая стариковская спина маячила перед Санькой.

— Стоп, — неожиданно решил он и бегом вернулся в управление.

— Уходи, — неумолимо сказал отдел кадров. — Пг'иходи через шесть месяцев. И пг'ошу тебя, дг'ужок, не пей по утг'ам.

Саньке Канаеву хотелось его ударить. Но ударить было нельзя. Отдел кадров был человек без ног. Это он знал. Оставил человек ноги в тундре. Ничего нельзя было с ним поделать.

Узкая стариковская спина двигалась далеко впереди. Морщась от боли, Санька кинулся догонять. «Ладно, гады, — неизвестно к кому адресовался он. — Ладно. Будет еще парадный въезд». Кровь вчерашних мозолей не давала ему думать ни о чем другом.

Весь день они вдвоем грузили на тракторные сани бочки с бензином, потом рогожные мешки с солью, потом оленьи шкуры. Старик весь день торчал около них и, как бы советуясь, отбирал груз своей палочкой.

— Мо-может, вот этот мешочек. И вон тот тоже. Соль хорошая, серая. Рыба серую соль любит.

Вечером, когда сани были загружены доверху, Муханов спросил:

— Что дальше, дед?

— Идите, милки, гуляйте, — сказал старик. — Я вас далеко увезу. Там гулять негде и водочки нет. Там только ребята хорошие. К душевным ребятам я вас повезу.

Старик засеменил куда-то в сторону, в морозную вечернюю мглу поселка, туда, где на окраине поднимались вертикально в небо дымы стародавних домишек. Они отправились к гостиничному бараку. Подтаявший за день черный снег льдисто похрупывал под валенками. Ломило спину.

Канаев промолчал о том, что был сегодня в управлении. Не мог он этого сказать, как и не мог сообразить, почему до сих пор не отправил телеграмму брату Семе. Залезть бы сейчас в ванну, натянуть белую рубашку, дакроновый костюм, что раздобыл ему некогда Володя-аристократ, и завалиться туда, где весело. Муханову этого не понять.

Вчерашние парни снова сидели на сдвинутых койках и ревели страшными голосами:

Экспресс полярный звал меня гудками,
И я сказал: «Как много дней в году.
Чтоб не забыть, возьми ее на память». —
И показал ей на Полярную звезду...

Они уже порядком раскраснелись, эти гайзулинские ребята. Верблюжий свитер подошел к Канаеву.

— Как дела, браток? — дружелюбно спросил он.

— Рыбачить будем, — ответил Санька. — На рыбалку завербовались.

— А-а, — протянул парень. — Рыбачить — клевое

дело. Зафортунит, будете богачами. А нас, брат, перебрасывают. Последний день гуляем. Повезут на иную планету. Ты, главное, не унывай, понял. Пусть интеллигенция унывает. А у работяги, пока руки есть, он король, понял...

...И я сказал: «Верни ее обратно.
Не для тебя горит Полярная звезда...» —

пели гайзулинцы.

6

Они лежали в тракторных санях под оленьими шкурами, и бледное полярное небо колыхалось над ними. Сани качались и вздрагивали на неровном льду. Трактор шел на юг к устью неведомой реки, где в царстве полушубочного старичка жили душевные ребята. Старичок сидел в кабине трактора. Иногда сани, вздрогнув, останавливались, и старик высовывал из дверцы свою шапку.

— Не замерзли-и?

— Живы, дед, — кратко отвечал Муханов.

Санька Канаев вылез из-под шкур и посмотрел вперед. Ненужный свет тракторных фар желтил снег перед гусеницами. Было светло, почти светло. Прямо перед ними стоял темный скалистый мыс, похожий на хищную птицу в тот момент, когда она уже над самой землей, выпустив когти, готовит клюв. Трактор бездушно шел вперед в бледную мглу, и Канаеву стало страшно, как год назад стало страшно в тесном коридорчике от мертвой улыбки Пал Давыдыча.

Он толкнул Муханова: «Смотри».

— Залазь, — ответил тот. — Залазь, тепло растеряешь.

Санька забрался под шкуры к теплой мухановской телогрейке. Ночной чукотский мороз успел пробрать его до костей. Саньку тряс озноб. Видение темного мыса все еще стояло перед глазами, потом запрыгали лица: брат Сема, Володя-аристократ, Пал Давыдыч, начальник отдела кадров. Санька мучительно старался собрать разбегающиеся мысли. Как-то давно он приобрел у одного морячка зарубежную игрушку: ножик, выскакивающий из ручки. Надо было нажать кнопку, и блестящая змейка вылетала с характерным металлическим щелком. Он поигрался с ней неделю, потом бросил. Но долго его пре-

следовало чувство, что общение с людьми иногда похоже на разговор с этими ножичками: чуть что — и вылетает неожиданная змейка: «Осторожно, я зубастый». Даже с братом Семой иногда выходило так. Потом он вспомнил веселье гайзулинцев и ворчание ребят в ответ на вопли бригадира. Начальник отдела кадров, безногий дурак, ничего не понял. Ладно. Не пропадем. Без денег отсюда он не уедет. Будут деньги.

С тракторных гусениц на лицо шла снежная пыль. Снег таял и стекал на воротник. Озноб все еще тряс Саньку. Он смотрел на светлое полярное небо с еле заметными звездами, и отчетливая, как злость, жадность жизни заползала в его душу. Потом Санька задремал.

Трактор встал.

— Вылазь, — толкнул Саньку Муханов. — Прибыли.

Они выбрались из-под шкур и спрыгнули с саней. Нерушимый, не затронутый еще весенним теплом снег лежал кругом. Рассеянный снегом молочный свет резал глаза. Из сугробов торчали крыши двух избушек. Четыре мужика спешили навстречу. Видно, это и были душевные ребята.

— Приехали, приехали, — сказал дед. — Тут теперь наша столица. — Потом звонко крикнул: — Ребят-та, давай разгружать. Все, что надо, привез. Пополнение привез, ребят-та...

— А этих зачем, дед? — спрашивал рослый бровастый мужик, весь какой-то военный даже в своей драной телогрейке.

— Раз привез, значит, надо, Слава, лучше, значит, — ласково ответил дед и засеменил к избушке поменьше.

— Замерзли? — спросил большеголовый, с изрытым оспой лицом. — Пойдем в избушку, чай горячий, сани потом разгрузим.

— Ха-ха-ха, — раскатился молодой парень. — Замерзли, выпить надо. Меня Толиком зовут, будем знакомы.

— Ты толковый, — сказал Муханов и поднял рюкзак, в котором звякнуло. — Пойдем знакомиться, что ли.

Они прошли к избушке побольше, в темных сенцах нащупали дверь и шагнули в теплоту. Изба оказалась большой. К стене примыкала кирпичная плита и как бы делила ее на две комнаты. Вдоль стен в той и другой комнате шли дощатые нары. Самодельный стол стоял посредине.

— Располагайтесь, — сказал большеголовый. — Вы кто и откуда?

— Беглые, — усмехнулся Муханов. — Беглые из разведки. Не сошлись на финансовой почве.

— Тут, братка, все, братка, не сошлись на этой почве, — сказал вошедший сутулый мужик. — И сколько я на этом Севере живу, тридцать лет, все время про финансы говорят. В свое-то время зарплату с наволочками ходили получать, все равно говорили.

— Это Братка, — сказал большеголовый. — Под этим именем его вся Чукотка знает. А как на самом деле зовут, даже я не знаю, хоть и прожил с ним два года в одной избе. Который спрашивал, на кой дьявол вы здесь нужны, то Славка, известен также по кличке Бенд. Толька, пацан глуповатый, вам сам представился, а вот это входит Глухой, у него одно ухо не в порядке. — Голос большеголового потеплел на секунду.

Вошедший был мальчишеского сложения морщинистым мужичком. Услышав, что говорят о нем, он улыбнулся виновато, встал у стенки и сразу стал незаметен, неразличим, как будто слился со старым прокопченным деревом.

— Что касается меня, — продолжил большеголовый, — то меня зовут Федор. — Судорога на мгновение передернула его лицо. Морщины тяжелого лба резко поползли вверх, вздернулся угол рта, обнажив прокуренные зубы. — Чтоб избежать ненужных вопросов, добавлю, что известен также под кличкой Оспатый, — ровным голосом закончил он.

Вошли Толик и Славка Бенд. Славка все еще поволчьи глянул на них и сел в темном углу, спиной к свету. Санька стал вынимать из рюкзака бутылки.

...Они сидели по нарам с кружками в руках.

— Так как тут все же насчет финансов? — спросил Муханов. — Дед туманно ответил на этот интересный вопрос.

— Наши финансы — рыба в реке, а командир — дед, — выговорил без всякой интонации Федор и допил вино. Глухой, который маялся со своей кружкой, не зная, то ли допить, то ли поставить, тоже допил и поставил кружку.

— Ни месткомов, ни профкомов, — проскрипел из своего угла Славка. — Без заседаний — лови да сдавай.

— Свобода и демократия под началом деда, — оттаявшим баритоном сказал Муханов.

— Во, — развеселился Толик. — Демократия!

— А где дед? — поинтересовался Санька.

— Он в отдельной избе живет. У него там богатство.

— Пойдем сани разгружать, — сказал Федор. — А ребята пусть отдохнут.

Все ушли. Муханов и Санька легли на свободные нары и провалились в каменный сон.

7

Рыба и оленьи пастбища с древних времен составляли славу долины Китама. Начинаясь из бесчисленных ручьев с гладких гор Пырканай, он шел к морю десятками проток, лишь в самом конце сливаясь в единое русло. По широкой китамской долине с древних времен бродили тысячные стада оленей и как память о тех временах высились на буграх замшелые кучи оленьих рогов на могилах оленеводов. Галечные острова Китама кишели зайцами и куропатками. Потоки пятнистого гольца, нельмы спускались весной к морю, из глубоких речных ям, осенью тот же поток устремлялся обратно. Чир и муксун водились в его водах.

Там, где Китам сливался в единое русло, невдалеке от моря с давних же времен жили те, кто не имел оленей, кто жил рыбой и морским зверем, сюда же за рыбой приезжали гордые оленеводы. Предприимчивый купец в начале века построил здесь торговую факторию, так постепенно возник поселок Усть-Китам, единственный поселок на многие десятки тысяч квадратных километров.

История поселка Усть-Китам знала взлеты и падения, не зафиксированные нигде, кроме воспоминаний старожилов да неизвестных миру дневников какого-нибудь ошалевшего от одиночества и полярной тоски работника фактории, может быть, того самого, который вырезал на стене дома печально знаменитые стихи:

Скука, скука паршивая...
Скоро ночь придет.
Скука, скука...

Одно время Усть-Китам с его тремя домами был административным центром района, потом началась другая эпоха, и центр перевели на север, где имелось удобное место для морского порта. Позднее был колхоз, но и колхоз перевели за семь километров, где выстроили

с должным размахом. От былой славы Усть-Китама осталась лишь груда рисовых бочек, два древних деревянных домика да выброшенный на берег катер неизвестного происхождения. Но все так же двигались по реке могучие рыбьи косяки, и утки садились на мерзлотные озерца рядом с домами, и летали гуси.

В ста километрах севернее Усть-Китама возник и рос большой промышленный поселок, и каждую навигацию к нему шли океанские дизель-электроходы с тысячами тонн груза. Усть-Китам со своей былой рыбной и административной славой пропадал в безвестности, обреченный стать вскоре голым тундровым местом.

Чья-то светлая голова в райисполкоме вспомнила о том, что неплохо бы району иметь свою рыбу. Постановили быстро «создать», «организовать». Лучше Усть-Китама нельзя было придумать места. Но организовывать было не из чего. Рыболовство в районе оказалось прочно забытым.

Тогда возник полушубочный старичок. Он появился с рыбной реки на западе, где большинство от младенчества до смерти были рыбаками, возник с готовыми сетями, бесспорным знанием дела, и начальство, для которого рыба была только решением, быстро отдало ему на откуп Китам от верховий до устья.

Рыбная слава Китама теперь осталась только в рассказах. Но по этим рассказам было ясно, что рыбу можно черпать десятками тонн. Райисполком для начала установил божеские закупочные цены: 70 копеек за килограмм.

По неуловимым, ему одному известным знакам, полушубочный старичок вылавливал нужных людей. Столь же легко, с какой-то фокуснической ловкостью, он извлекал из снабженческих недр доски, гвозди, бензин. Может быть, на свирепых прожженных снабженцев просто действовал его вид поседевшего в тишине рыбалок человека с безмятежным взглядом детских глаз?

8

В середине мая лед на реке вздулся синим китовым горбом. Синий кит стремительно рвался к морю. Каждый день лед был разным — чертовски голубым, как море на курортных проспектах, или трупно-серым и ноздреватым в пасмурные дни. Потом за одну ночь потрескался и стал похож на издыхающую черепаху.

В этот день они кончили делать десятую лодку. Они делали эти немудрящие плоскодонные неводники день за днем. По договору с колхозом, который должен был платить за каждую плоскодонку по двести рублей. Они шлепали их, как блины, по готовому трафарету. Для бригады требовалось от силы два неводника, и, когда они начали третий, Оспатый Федор спросил:

— Третий для запаса?

— А ты стучи, стучи, — сказал дед. — В договоре не сказано, сколько неводников. Сказано, колхоз обязуется купить. — Славка Бенд зыркнул на деда глазами и зачастил топором.

— Ушлый у нас дед, а? — спросил Колька Муханов.

— Ха-ха-ха, — раскатился Толик. — Ушлый дед. Очень ушлый, хороший дед.

— Две тысячи — хорошая цена, Федюша, хорошая, — сказал дед. — Мы за двести, за двести рублей их у себя делали.

Четыре доски на дно, две на борта. Дед в полушубочке все похаживал с неизменным прутиком или палочкой, и было приятно смотреть на его белую голову, чистое, в загорелых здоровых морщинках лицо и слушать:

— А дощечка не та. Во-он лежит хорошая.

Неводники были готовы, они развели огонь под котлом со смолой и мазали их борта длинными рогожными кистями.

— Десять на две и разделить на восемь, сколько будет? — спросил Муханов.

— Две с половиной.

— Всем поровну, Дмитрий Егорыч? — спросил Славка.

— Посчитаем, посчитаем. С обидой нельзя. Без обиды будем.

— Отменный у нас дед, Санюха. Жох дед. Слышь, дед. Ты у нас хороший. Мы с Санькой за тебя хошь в воду. Хочешь, нырну за тебя, дед?

Но дед не слушал балаболку Муханова. Он все похаживал со своим прутиком, высматривал и потом сказал:

— Ну-ка, Саня, отнеси вот туда эту досочку, и вот эту, и ту.

Санька сволок в одно место облюбованные дедом доски.

Дед вынес из дома стародавний топорик и стал тюкать по доскам. Он тюкал и тюкал неторопливо, даже

с каким-то стариковским покряхтыванием, и из-под топорика вдруг возникла узкая, изящная, как перо, лодочка. Две досочки были сбоку, одна составляла днище. Потом старик снова сходил в избушку, вынес баночку с краской, и лодка приобрела развеселый зеленый цвет. Старик еще потюкал топориком, и возникло совсем уже невесомое двухлопастное веселко.

Около берега на всем протяжении образовались порядочной ширины забереги. Старик отнес лодочку к берегу, взял в руки невесомое веселко и поплыл, еле помахивая им, только от носа лодочки разбегались водяные усы.

Так он и плыл, обливаемый солнцем, среди ледяного и снежного блеска, и седая голова его походила на одуванчик, одуванчик на узком зеленом листе.

Все смотрели молча, и Муханов шепотом сказал Саньке:

— Дед-то и вправду рыбак. Ребята говорили, что рыба по семьдесят копеек и ловить тут десятки тонн. Если на твою душу придется две тонны, так это, слышишь? А если пять. Это за три-то месяца... Не пропадем мы за этим дедом, ей-богу, не пропадем, Санюха.

— Давай, давай, считай, — сказал Санька, не отрывая глаз от деда. Тот развернулся одним взмахом весла и плыл обратно.

Затаив дыхание, Санька Канаев наблюдал за этой картиной, и ему стало уверенно легко оттого, что он видит все это, и было правильным, что он видит это и находится именно в данный момент в данной географической точке.

И все остальные тоже наблюдали за дедом, молча, а Глухой вдруг сказал самому себе:

— Дед-то без шпаклевки делал. Доска к доске, волоса не просунешь.

— Да! — тяжело и смачно сплюнул на землю Славка Бенд.

Дед так же легко причалил к берегу и ступил на землю, не замочив коротеньких сапожек. Все подошли к лодке. Внутри было сухо, и опять Глухой сказал застенчиво:

— Доска к доске...

— Де-ед, — восхищенно протянул Муханов,— дай-ка я на твоем ковчеге.

И дед, весь в стариковских морщинках, раскрасневшийся от гребли и, видно, от удачи, оттого что лодка

без шпаклевки впрямь не протекала, протянул ему весло.

— Подержи, Санек, — сказал Муханов и решительно шагнул к лодке.

Санька придержал руками узкий нос лодки, пока Муханов осторожно, как будто ступал на цирковой канат, усаживался на ее днище.

— Пускай, — скомандовал он. Успел раза два взмахнуть веслом и вдруг исчез, только мелькнули в воздухе сапоги с закатанными голенищами.

— Ух, — вынырнул Муханов из воды. — Ух! — Так он толкал лодку к берегу, огненный шар на взбаламученной глади воды.

— Мой черед, — закричал Толик и с совсем уже ненужной лихостью сел в лодку, перевернувшись мгновенно и бездарно.

Все смеялись на берегу, Муханов бегал кругами, стараясь согреться.

— Ха-ха-ха, — смеялся Толик. — Вот сделал дед лодку. Вот лодка, а, дед?

Даже Славка Бенд разжал мрачные губы, и дед весь смеялся, даже полушубок его и сапожки смеялись.

— Погоди-ка, герои, — сказал дед и вынес из избушки что-то завернутое в тряпочку. Под тряпочкой оказалась чуть начатая бутылка спирта. Муханов и Толя выпили из стакана.

— Чего держать, — сказал дед. — Допивайте, чтоб, значит, судно обмыть.

Спирт быстро развели водой, и все выпили по полстакана в этот великолепный день у открытой воды забереги.

— Плавать на этой лодке непростое дело, непростое, — сказал дед. — У нас на реке с маленьких лет это делают, начинают. Вон Глухой, поди, умеет плавать или забыл?

— А, Глухой, а ну покажи, Глухой, — закричал Толик, но Глухой, вовсе уж засмущавшись, только махнул рукой, а Славка Бенд с задичавшими от водки глазами посмотрел на лодку с мрачновато-веселой решимостью. Не такое, мол, видали. Надо, поплывем и не на этом.

— А льда скоро, ребята, не будет, — сказал дед.

Все еще стояли у воды и обсуждали проблемы плавания на столь несолидном судне, а дед ушел к своей избушке. Он стал выносить из ее недр бесконечное коли-

чество мотков сетей, смотанных в куклы, и бережно класть их на разостланный брезент.

— Смотри, ребя, смотри, — сказал Братка. — Дед богатство вынимает.

9

...Они насаживали неводную дель на обрезки водопроводных труб, чтобы потом протянуть сквозь трубы нескончаемую сизалевую веревку, по веревке с припуском расправить сеть, для верха один припуск, для низа другой. Это была работа не для нервных людей.

Древняя земля исходила, дымилась на проталинах, пар поднимался к небу, как дым благодарственных молебнов.

И жухлый серый лед на реке казался в весеннем солнце чужим, отжившим свой век, нездешнего мира веществом.

Сети растягивались на вешалах, лежали на земле, аккуратные мотки веревок висели на кольях, змеились по земле. Был какой-то чарующий ритм в этой древней, древней, как эта земля, человеческой работе.

У лодок остался один Глухой. Он возился у чадящего котла с длинной кистью и был похож в клубах дыма на печального сгорбленного черта, давно уже потерявшего веру во всякое бытие.

Санька насаживал сети, слушал, как в стороне балаболит и смешит всех Муханов, и размышлял о всегдашней правоте брата Семы. Вот оно, денежное место, где руки не дрожат. Было приятно сознавать, что все это не столь уж плохое занятие и времяпрепровождение есть только вступление к туманно сверкающему будущему, которое ждет его там, в Москве, средь гари и грохота настоящей жизни.

Так шел день за днем. Два домика и вытаявшее пространство земли вокруг них были отрезаны от мира, так что казалось — и нет ничего во всей вселенной, только вот это бледное небо и издыхающий лед на реке. В семи километрах на одном из рукавов Китама помещался колхозный поселок, Новый Усть-Китам, в поселке жили люди и председатель Гаврилов, которому они подчинялись.

Однажды спозаранку мимо них протащилась упряжка из шести разномастных захудалых псов. На нартах сидел старик с непокрытой головой и смотрел на них с азиатским спокойствием.

— Это Пыныч. Бездельный старик. Я его знаю, —

сказал Братка. — Гусей почуял, старый черт. Хотите верьте, хотите нет, но нюх у него на гусей страшный. Пыныч, хрен чукотский, где гу-у-си? — крикнул Братка.

И Пыныч, не сказав ни слова, махнул рукой на восток.

— Где гуси? Какие гуси? — засуетился Толик.

Обратно Пыныч проехал уже вечером. Подмораживало, и собаки шли устало и неровно, ибо нарта то и дело проламывала снежную корку.

В нарте лежало четыре жемчужных красноносых гуменника.

— Малё гуся, — сказал старик, жмуря хитрые глазки. — Земли пока малё.

Это были первые из гусиных стай, скопившихся на южных вытаявших склонах хребтов в ожидании, пока потеплеет земля родного Китама. Они залетали сюда через безжизненные горные гряды и искали по протаявшим береговым обрывам прошлогоднюю бруснику и черную ягоду шикшу.

Братка, чукотский человек, погладил захолодевшее гусиное перо и сказал раздумчиво: «Однако гусь начинается, патроны надо снаряжать».

За столом в избушке уже сидел Толик и лихорадочно набивал патроны адской смесью из дымного и бездымного пороха.

— Порвет ружье-то, — несмело сказал Глухой, но тот только глянул на него дикими глазами и продолжал орудовать молотком и пыжами.

— Если вам, ребята, надо, берите мое, я не охотник, — сказал Саньке Федор и кивнул на обшарпанную одностволку на стене.

10

Через два дня лед исчез. Он просто исчез ночью незаметно, без шумного ледохода, треска и грохота. С верховьев по мутной вздувшейся реке плыли, крутясь, отдельные запоздавшие льдины. В этот день они, прежде чем взяться за сети, долго смотрели на непривычную картину чистой воды и на эти льдины. С пасмурного неба сыпался мелкий дождь.

— Сожрет весь снег этот дождик, — радостно сообщил Глухой.

Он весь помолодел в этот пасмурный день. Долго стоял около выброшенного катера, потом вернулся и

стал складывать в кучу обрезки досок, раскиданных по берегу.

По темному морщинистому лицу Глухого бродила улыбка, которую он и не пробовал скрывать. К нему присоединился Братка, и они вдвоем с неторопливой сноровкой собрали и сожгли обрывки сетей и веревок, перенесли на сухое место доски и все оглядывались кругом, чего бы еще прибрать, как будто именно так и полагалось: в день ледохода наводить порядок во всех окрестностях.

Чтоб не сидеть без дела, Санька взял лопату и стал отгребать от стен избушки тяжелые валы намокшего снега. Постепенно он вошел в азарат, скинул телогрейку.

— Сам догадался или научил кто? — насмешливо спросил Федор за спиной. Санька оглянулся. Серые Федоровы глаза смотрели на него в упор с безжалостным интересом.

— В чем дело? — спросил Санька, и опять ему почудилось, как со щелканьем выскочил и замкнулся на замке ножик.

— Так, — сказал Федор. — Я на тебя давно смотрю. Руками ты делать ничего не умеешь, это заметно. Курс наук, чтобы жить головой, видно, тоже не кончил. Белая ворона и там и тут. Не обижайся — я сам такой. — Федор усмехнулся, и снова судорога промелькнула по изрытому оспой лицу. — Зачем ты деду понадобился, вот что мне интересно?

В это время Толька, с утра неприкаянно мотавшийся от реки к костру, от костра к реке, вдруг завопил истошно и побежал к берегу, размахивая руками.

Прямо по центру Китама на льдине плыл бродячий лагерь. Стояли какие-то бочки, был виден тюк, и около него лежала упряжка собак. Человек сидел на перевернутой нарте и невозмутимо курил трубку, как будто именно так вот и положено было плыть на льдине по весеннему Китаму.

— Чукча, ребята, — выдохнул Братка. — Куда тебя черти несут! — закричал он.

Чукча вынул изо рта трубку и помахал ею в воздухе.

Они быстро столкнули на воду два неводника и погребли к льдине.

— Этти *, — сказал чукча. — Осторожно надо. Бочки тяжелые.

---

* Здравствуй *(чукот.)*.

Санька Канаев, совершенно обалдев от удивления, помогал перекатить в лодку бочки, перетащить нарту, потом сел чукча.

Собаки попрыгали следом сами.

У берега собаки сразу выскочили из лодки и стали описывать по земле молчаливые яростные круги и, лишь утомившись, уселись около хозяина, высунув языки, с тяжело раздутыми косматыми боками. Чукча с лучезарной улыбкой пожал всем руки и сел на землю, бронзоволицый бог земли.

— Рыбку ловил, — сказал он наконец и махнул трубочкой куда-то на далекие хребты.

Славка Бенд шагнул и стал заинтересованно приподнимать брезент на одной бочке.

Все три бочки были наполнены равномерным красномясым гольцом. Дед только кинул на бочки взгляд и остался стоять на месте, понятливо кивнул два раза головой.

— Ах ты, чукча, — затарахтел Толик. — Ах ты, чукча, как тебя звать, а? А ловил ты, слушай, как? Расскажи.

— Вот, — сказал чукча и, засунув руку за вырез кухлянки, пошарил там немного и вытащил леску, намотанную на рогульку. Крючок был покрыт красной тряпочкой.

— Весна. Очень голодная рыба. Я лунку сделал и так, — он подергал воображаемую леску. — Очень хватает. — И вздохнул сожалительно. — Жалко, бочек мало. Соли совсем взял мало.

Он еще покурил немного и ушел в поселок, легко косолапя по кочкам. Собаки тащили за ним следом пустую нарту.

— Черт косоглазый, — выдохнул ему вслед Славка. — Рублей триста взял на красную тряпочку.

Часа через четыре из поселка пришел трактор, могуче взрывая гусеницами снег, а следом, заравнивая тракторные следы, тащилось железное корыто-волокуша. На волокуше, поджав ноги, сидел тот самый чукча.

Из кабинки, весь в бликах кожаного пальто и сапогах с «молниями» по голенищам, выскочил как будто с неба свалившийся председатель Гаврилов. Руководящий жирок немного уже округлил его якутское лицо, но и этот жирок, и особый блеск раскосых глаз сразу давали понять, что перед тобой не кто иной, как начальник.

— Рыбачки? — спросил он не то для вопроса, не то в насмешку и добавил: — Ловите. Я не возражаю.

Больше председатель Гаврилов не сказал ничего, а так — прошелся мимо ряда смоленых неводников, разостланных и развешанных сетей, мимо зеленого каячка деда Мити. За это время тракторист и чукча закатили на волокушу бочки с рыбой, и Гаврилов снова залез в кабинку. Трактор развернулся и ушел, оставив после себя взрытый снег и вонь солярки.

Дед снова усадил всех за сети. Только Колька Муханов остался у реки и ходил так около воды, вытягивая шею, как будто хотел разглядеть сквозь мутную толщу текучий рыбий поток.

— Дед, — вопрошал Колька из отдаления, — дед, мы так рыбу не прозеваем? Может, она уже уходит вся?

— Уходит, Коля, уходит, — миролюбиво отвечал дед. — Вот хлам пронесет, мы контрольные сеточки поставим и поймем, когда она уходит.

— Де-ед, — не унимался Колька, — давай сейчас эти сетки поставим.

— Сейчас, Коля, нельзя их ставить. Их дураки сейчас ставят. Во-он какие валежины по реке несет.

Славка Бенд пошатался в стороне, прошел в избушку.

Через полчаса он вышел оттуда и направился в тундру.

11

Славка.

Жизненной силой, дававшей ему способность выжить в самых немыслимых ситуациях, была лютая ненависть к Советской власти, настолько лютая, что он даже не считал нужным ее скрывать. В лагере ему было труднее многих, потому что весь лагерный мир единодушно ненавидел и презирал бандеровцев, презирая больше них, может быть, только бывших власовцев.

И хотя многие из его соратников пробовали перекраситься, скрыть в лагере прошлое, Славка не делал этого, чем и заслужил к концу срока уважительную кличку Славка Бенд. После заключения ему дали три года вольного поселения на Севере. Когда капитан МВД, оформлявший документы на освобождение, предложил ему связаться с одним из колхозов, Славка сказал:

— Я родную мать в окно выкинул, когда захотела в колхоз.

Годы заключения были тяжелы, но и после них, как многие из людей, живущих на нервной силе, Славка оставался медально красивым сорокапятилетним мужчиной.

Красивый сорокапятилетний Славка работал ночным сторожем. Два года сравнительной свободы надломили его больше, чем весь срок заключения. Он понимал, что ненависть его безрезультатна, против него огромная махина государства, но он продолжал ненавидеть, ибо в этом был смысл его жизни. Свои чувства он держал при себе и редко высказывал их в разговорах. Зачем?

В причинах ненависти Славка Бенд тоже не копался и, пожалуй, не смог бы толком объяснить их. Может быть, это было наследие десятков поколений собственников, с неожиданной силой возродившееся в нем, Славке Бенде.

Из Закарпатья приходили письма. Писала выкинутая из окошка мать, которая все-таки работала в колхозе, писали братья и сестры. Судя по письмам и посылкам, жили неплохо. Подходил конец срока его поселения. Звали домой. Но все они предлагали ничтожный, глупый вариант. Приютят, обогреют, а дальше солнечная радость колхозной жизни, работа на полях под свист соловья, полновесный трудодень... в бога и душу...

Он, Славка Бенд, не мог явиться побежденным. Прежде всего нужны были деньги. Хорошие, крупные деньги любой ценой, но без всяких штучек, которые могли бы загнать его снова за лагерную колючку.

Водку Славка не пил. Водка туманила мозг и рождала безысходное отчаяние, которого он боялся больше всего государственного строя СССР в целом. Вместо водки он пил чифир, смоляной заварки наркотик из чая. Чифир оставлял голову ясной и горячо гнал кровь по жилам. Выпив чифир, он любил уходить от людей и со стремительной бесцельностью шагать по тундре. В голове в это время шли горячие обрывки мыслей, а руки, помнившие все, казалось, ощущали блаженную тяжесть автомата. Это и было единственной отдушиной его бытия.

И вот в смутное время Славкиных нерешенных проблем возник, как ангел божий опустился с неба ему на помощь, хороший человек, ясным голоском пообещал, поманил удачей.

Контрольные сети были выставлены.

Дед разместил их так, чтобы любая рыба, любящая береговую струю, или тихую заводь плеса, или глинистую отмель, не могла миновать эти ловушки.

С непривычки как Санька, так и Муханов сильно вымокли в ледяной воде Китама. От гребли ныли плечи. Но было приятно видеть на воде аккуратные бусы поплавков, пересекавших реку, и думать о том, что эти поплавки, как и все остальное, сделано твоими руками.

Теперь они проверяли эти сети каждые два часа, ибо весенний ход рыбы капризен и кратковремен. Каждые два часа они выплывали на средину Китама и, уцепившись за конец сети, подымали над водой ее полотнище в блестящих пленках и каплях воды. Сети были пусты, только бесчисленные ветки, щепки и палочки запутывались в их ячеях.

Вначале они проверяли их в нетерпеливом ожидании удачи, но с каждым днем это чувство слабело, и вскоре пришлось устанавливать очередность, кому плыть, кому полтора часа мочить руки в весенней воде.

— Рыба, ребята, не часы, — подытожил общее настроение Братка. — Может, ее и нет давно в этом Китаме.

Это были откровенно сказанные слова. Для всех, кроме, может быть, Саньки Канаева, эта рыбалка означала не просто азартную погоню за рублем и удачей, а шанс на жизнь в мире, где «кто не работает, тот не ест». Никто из них не имел за душой прибереженных денег ни в чулке, ни на сберкнижке, ни просто в чемодане. И временами, когда все укладывались спать или просто пили бесконечный чай за деревянным столом, они думали про себя невеселую думу существования, ибо они сами поставили себя в условия без профсоюзов, месткомов или того самого коллектива, который не даст упасть, возьмет на поруки и на общем собрании разъяснит тебе смысл жизни, обязанности перед обществом, а также твои права.

Только один дед был преисполнен благодушия. С завалинки своего дома он встречал лодку, возвращавшуюся с проверки сетей, и спрашивал: «Пусто? Вот поди ж ты, опять пусто. Сеточку-то очистили? Если ее от щепок пе чистить, так рвется она, и рыба ее видит».

По вечерам он стал заходить в общую избушку. Сидел, чай не пил, отмахивался от табачного дыма.

— Рыба не часы-ы, — тянул свою песню Братка и углублялся в десять раз читанный им листок «Огонька» на стене: — «Гриб странной формы найден мною в лесу под Москвой. Я сфотографировал его и...»

— А если врешь ты со всей этой рыбой, дед? — с угрозой говорил Славка.

— Жаден ты, Слава. Рыба жадных не любит. Вы, ребята, отдыхайте сейчас. Вы бы гуся стреляли. Его под обрыв в снежник положить — до осени цел будет. Вон на той стороне на сухих озерах всю ночь гуси кричат. Ох, неопытные вы, ребята.

— Когда рыба пойдет, дед? — не успокаивался Славка.

— Когда пойдет, тогда и пойдет, — резонно отвечал дед. — Ты бы на охоту шел, Слава.

— Я в своей жизни наохотился, — усмехнулся Славка. — Мне, дед, твои гуси неинтересны.

Проверял сети чаще всего Глухой, но и у него оставалось много времени. Тогда он подметал пол, мыл окна. Странно было видеть пожилого морщинистого мужчину с веником и тряпкой в руках. Может быть, в этом он давал выход тоске по неизвестному уюту, другим окнам в другой земле.

Федор два дня прошагал из угла в угол, набычив лобастую голову, потом принялся мастерить табуретки из остатков досок. Получалось у него скверно, но он упрямо вытаскивал гвозди обратно, разбирал табуретку на части, подпиливал, подстругивал и собирал снова.

Среди всеобщего томления один Толька чувствовал себя на месте. Он пропадал в тундре. Неизвестно было, как ухитрялся он перемещаться с такой скоростью, но пушечный гром его двустволки, казалось, доносился к поселку с четырех сторон света. Он все так же закладывал свои кошмарные смешанные заряды, и от страшной отдачи спусковая скоба била его по пальцам, отчего пальцы вначале опухли, а потом почернели мертвой гангренной чернотой. Иногда он все-таки ухитрялся приносить гуся, а то и двух. Он не мог объяснить, как подстрелил их.

— Тебя, Толька, к пороху подпускать опасно, — равнодушно говорил Славка.

Азарт захватил и Саньку Канаева.

— Давай завтра вместе на ту сторону, — предложил он.

— Во! Дело, — обрадовался Толик. — Тундру оцепим. Я их шугну — они к тебе, ты стрельнешь — они ко мне.

— Дураки, — развеселился Муханов. — Чокнутые. Как же вы вдвоем тундру оцепите? Ничего у вас без меня не выйдет. Но я рыбак и стволы в руки брать не хочу.

— Оцепим, — убежденно сказал Толик.

13

Толик — Птичий Убийца.

К двадцати четырем годам он не успел нажить себе сколько-нибудь приметную биографию. Родился и вырос в шахтерском городе, где на улицах была черная пыль, а вокруг города — уставленная терриконами выжженная степь, в которой не отваживались жить даже вороны. В школе учился, сменяя тройки на двойки, а двойки на четверки. В положенное время начал курить за школьной стеной и ходить на танцы, в положенное время кончил школу и был призван в армию. Служил он недалеко от родного города, все в тех же с детства неразличимо-привычных местах. Он всегда привык быть «как все» и поэтому служил легко и кончил службу без особого списка наказаний, поощрений и наград.

Пожалуй, отличался он только на стрельбище. Ему нравилось содрогание карабина при выстреле, нравилось поточнее влепить пулю в фанерный силуэт «врага». Он любил ходить в учебные атаки с применением огня, когда рядом стрекочут автоматы товарищей, ацетоновый запах пороха щекочет ноздри и тело в нужный момент само находит неприметную ложбинку, бугорок, чтоб по-звериному врасти в землю и дальше снова — вперед. Это была настоящая жизнь, не то что обычная, будничная тянучка с распорядком и изучением затвора: «стебель-гребень-рукоятка».

После армии Толик вернулся в свой родной город и, наверное, стал бы работать, а потом и женился бы «как все», если бы однажды не наткнулся на углу около булочной на объявление о вербовке рабочих на Север. Неведомая сила потянула его в вербовочную контору. На другой день он купил себе ружье, тяжелую тульскую пушку двенадцатого калибра. Охотничьего ружья он ни-

когда в руках не держал, но сейчас знал, что оно ему необходимо. Может быть, это был протест против жизни в местах, где не решались вить гнезда даже вороны.

Он попал рабочим к геофизикам-магнитчикам. Их вывезли в тундру в феврале. Он с разочарованием смотрел на безжизненную снеговую равнину.

В апреле к палаткам прилетели две пуночки. Веселые черно-белые птахи сразу обжились около них, как будто именно сюда стремились за многие тысячи километров.

Когда он первый раз увидел пуночку, у него затряслись руки. Он пробрался в палатку и снял со стены ружье. Если бы он понимал смысл в охоте и нужны были эти пуночки, он бы подождал, пока они слетятся вместе. Но у него не было времени ждать.

На выстрел сбежались люди и ужаснулись содеянному. Пунка, первый весенний гость, всеобщая любимица Арктики. Был чертогон, но он ничего не понял, не мог понять. Вечером прилетела вторая пуночка. Громыхнуло ружье, и тяжелый заряд двенадцатого калибра смел со снега пестрый комок перьев. Его избили и с первым попутным трактором отправили обратно в поселок.

Зиму он проработал плотником, жил в общежитии и ничем не выделялся среди ребят. Прозвище Птичий Убийца потянулось за ним из экспедиции. Пуночек ему простить не могли. К весне желание попасть снова в тундру стало нестерпимым.

Идти в геологическое управление он не решился, понял, что нарушил закон, сделал не «как все». Случайно услыхав про рыбалку, он разыскал деда в гостинице, умолил, упросил.

14

Санька греб, стараясь не брызгать веслами и держать лодку наперерез течению. Птичий Убийца чуть свет удрал в неизвестном направлении, и Санька отправился на охоту один. Желтая вода несла вырванный с корнем куст. По временам куст переворачивался на воронках, и казалось, что кто-то тонущий призывно и безнадежно взмахивает рукой.

На другой стороне Китама начинался песчаный заросший травой вал. Знаменитые здешние ветры превратили этот вал в цепочку дюн, между которыми посвистывал ветер. Свист ветра сразу настроил Саньку на одино-

чество. Он вытащил лодку на берег, подумав, воткнул в землю весла, привязал к ним носовую веревку и шагнул вперед. Ошалевший весенний заяц выпрыгнул из-под самых ног и поскакал вдоль реки. Санька опомнился и сдернул через голову ружье, когда заяц был уже метрах в пятидесяти. Он щелкнул, не помня себя, курками и вскинул ружье. А заяц вдруг точно провалился в самый нужный момент.

Санька чертыхнулся и бегом двинулся за ним. Он бежал согнувшись, не чувствуя на ногах тяжелых сапог и неловкой тяжести поясного патронташа, но заяц, наверное, в самом деле провалился сквозь землю, и Санька повернул от реки. Он шагал теперь с ружьем наготове, шагал, хищно пригнувшись, не замечая, что́ у него под ногами, не замечая расстояния. Он услышал крик. Две длинноногие коричневые птицы уходили от него плечо в плечо и трубно кричали.

— Журавли, — понял Санька.

Он еще сильнее пригнулся и двинул к ним почти бегом, но журавли стали уходить еще быстрее и вдруг тяжело взлетели, не переставая кричать. Они прошли метрах в десяти над ним, длинношеие громадные птицы, и Санька видел длинные концы маховых перьев на крыльях и черный тревожный глаз, обращенный к нему. Он все сильнее сжимал в руках ружье с взведенными курками, но что-то помешало ему стрелять. Он только смотрел на них и повторял про себя: «Ах ты, черт! Ах ты, черт побери!» Журавли прошли над ним и улетели дальше, трубноголосые и печальные. Но Санька уже забыл о них и снова шагал дальше, все так же согнувшись. Несколько раз в стороне прошли гуси. Они летели ему навстречу, но метров за триста вдруг делали разворот и проходили в стороне, как уверенные тяжелые фрегаты.

Санька не знал, сколько времени, в какую сторону он шел, и остановился только, когда пот стал едко заливать лицо и глаза. Он выпрямился и осмотрелся. Свинцовая лента Китама куда-то исчезла, и домики рыбалки, видные издалека, тоже исчезли. Кругом была ровная грязно-желтая тундра с редкими проплешинами снега в провалах низин.

Когда-то здесь была страна мелководных озер, образовавшихся на месте ледяных линз, но потом вода исчезла, просочилась сквозь земляные трещины, и получились «сухари» — гладкие сухие блюдца с обрывистыми бере-

гами и редкой осокой на потрескавшейся глине дна. Между сухими озерами оставались перемычки кочковатой в мертвой прошлогодней траве тундры, и кое-где торчали группами и в одиночку курганной формы бугры.

— Надо залезть на бугор, — сообразил Санька. Он зашагал к ближнему. Идти было очень неловко. Ноги соскальзывали с травянистых голов кочек, и он несколько раз плюхнулся на бок, пока не понял, что гораздо выгоднее ступать между кочками.

Холм, который казался совсем рядом, все удалялся и удалялся; Санька, разозлившись, все ускорял шаг и вдруг заметил на вершине холма четкую фигуру человека.

Человек был высок, стар, худ и носат.

— Вы кто? — спросил его Санька, мучительно вспоминая, где он мог видеть этого человека раньше.

— Я пеку хлеб, — раздельно, с акцентом неведомого языка ответил ему человек, и Санька сразу вспомнил: этот старик в точности походил на де Голля, такого, какого Санька видел в газетных карикатурах.

— Где? — глупо спросил Санька.

— В поселке Усть-Китам, — серьезно ответил «де Голль». — Я уже десять, нет, больше лет пеку хлеб в поселке Усть-Китам.

— А... — сказал Санька.

Старик посмотрел на него и улыбнулся доброй улыбкой.

— Десять лет или больше я пеку хлеб и каждую весну сижу вот на этом холме. — Старик повел кругом рукой, как будто холм включал в себя все окрестности, вплоть до синих зубчиков гор на горизонте.

— Понятно, — сказал Санька. — Понятно.

— Я жил в старом Усть-Китаме, — сказал старик, — и два года изучал маршруты гуся, прежде чем нашел этот холм. Странно: у них свои постоянные маршруты, вроде как тропинки в лесу.

— Вы бывший ссыльный? — спросил Санька.

— Нет, я свободный. Всегда был свободен ехать куда мне вздумается, но мне нравится здесь. Я здесь знаю все, даже маршруты гусей. Что еще нужно старому Людвигу?

— Все-таки вы ссыльный, — сказал Санька.

— Очень смешно, — сказал старик. — Про ссыльных и ссылку больше всего любят говорить те, кто ничего в этом не понимает. Я кое-что понимаю.

— Понятно, — повторил Санька. — Понятно. А что же вы не уезжаете?

— Куда?

— В Москву, например, или еще куда-нибудь?

Старик вздохнул с сожалением и посмотрел на Саньку.

— Во всяком другом месте мне заново придется изучать маршруты гусей, — сказал он. — И потом я здесь пеку хлеб.

Санька смолчал.

— Дать вам пару гусей? — спросил старик. — У меня пять. Будет тяжело нести.

Санька хотел отказаться, но потом вспомнил деда: «Неопытные вы еще, ребята, ох, неопытные», — и сказал:

— Спасибо, я возьму, — а про себя подумал: «Чудак какой-то. Десять лет в этой дыре и никуда не хочет».

...Санька издали почувствовал, что творится необычное. Звонкий дедов голосок, отдающий приказы, доносился до средины Китама, народ расхаживал по берегу.

— Эй, — крикнул ему Муханов, когда он подгреб к берегу, — рыба пошла. Шевелись, гусиная смерть.

На полосе отмели дед и Глухой мерно размахивали руками: набирали невод. Федор с гвоздями в губах наколачивал на корме одного неводника дощатую платформу.

...Было часа два ночи, когда они на двух лодках отправились вниз по течению, на облюбованное дедом место. Рассеянный свет лежал над Китамом. В этом свете лица у всех казались расплывчатыми, как на плохой фотографии.

— О господи, господи, — молился дед. — Не было бы коряг на дне, попортим невод-то. Дикое тут дно, неизвестное, не то что у нас.

На месте дед долго ходил по берегу и сокрушался:

— И бревна ведь могут быть, топляки и кочки, ох, дикое днище... — пока Славка Бенд не сказал:

— Молиться, дед, будем или начинать?

Дед огрызнулся, но скомандовал Глухому садиться за весла, остальные-то все тумак тумаком — выгребут вдоль течения. Все остались на берегу, поддерживая сизалевый канат. Глухой греб поперек реки, и дед взмахами скидывал невод, отделяясь от них бусинами поплавков. Они, казалось, уплыли совсем далеко, когда дед махнул рукой:

— Пошли!

— Давай, — сказал Федор.

Они потянули за канат, который вначале шел легко, а потом все труднее и труднее, так что ноги на ходу вдавливались по щиколотку в еще не просохшую после половодья глину. На том конце невода гнулся над веслами Глухой, а дед на корме трогал натяжение каната, видно, все молился, чтоб не было коряг, топляков и коварных кочек. Потом так же по взмаху дедовой руки они остановились, и Глухой стал загребать. Поплавки теперь выписали на реке параболическую кривую, и в центре их белел пенопластовый круг. Все смотрели на эту кривую, и Муханов сказал:

— Во какую спираль нарисовал командир наш.

— Спираль, ха, — как эхо откликнулся Толик.

Мимо просвистела стайка уток. Толик машинально дернулся назад, где у него лежало ружье, но все-таки остался на месте. Славка Бенд нетерпеливо переминался с ноги на ногу, и всем передавалось его нетерпение.

— Чего стоите! — заплакал на лодке дед. — Подводи ближе! Медленнее. Стой! Подводи!..

Началась суматоха. Дед причитал и ругался тонким голосом, все метались, мешая друг другу. Только Глухой стоял в стороне и дрожащими руками вынимал пачку «Прибоя».

Наконец крылья были выбраны на берег, и показалась мотня в облаке сора и грязной воды. Внутри мотни бурлило и ходило ходуном.

— Есть! — резко сказал Славка. — Есть, язви ее в душу.

— Килограмм двести будет, — сказал успокоившийся дед.

Рыбу вытряхнули на берег, и она грудой зашевелилась на земле: мерные двухкилограммовые гольцы, длинномордые нельмы, серебристые чиры. Основную массу составлял голец.

— Ходовая рыба, — определил дед. — Давай, ребята, второй замет готовить. Ты, Федя, с Глухим набирай. Я посижу.

И опять Федор и Глухой мерно взмахивали руками, переговариваясь односложно, как говорят люди, делающие согласованную работу. Дед сидел, гадая, будут ли коряги на следующей тоне, остальные перекидывали рыбу в лодку.

— Ах, гнида, — ласково разговаривал Славка с тре-

петавшей в руках нельмой. — Ах, гнида, попалась, — кидал ее в лодку и опять: — Ах, гнида...

С низовьев пришел несильный туман и как циркулем очертил видимое пространство метров на триста вокруг. Из тумана вырывались утки и боязливо проносились мимо людей.

Они сделали в эту ночь четыре замета, на последнем все-таки зацепили донную веревку.

— Тяни, — сказал Славка, но дед взвыл и кинулся отнимать канат. Смешно было, когда он грудью встал на дороге пяти здоровых мужиков: птица-мать, защищающая птенца, скряга, преградивший дорогу громиле, барьер по защите священных прав.

Пока дед выяснял отношения с корягой, рыба из этого замета ушла почти вся, но все равно они нагрузили плоскодонку выше половины, и семижильный Глухой отправился в туман отвести лодку и пригнать новый неводник. Все уселись на перекур, оглушенные усталостью.

Санька размышлял, сможет ли он вот так каждый день таскать этот невод и перебрасывать рыбу. Вспомнил: «С деньгами будешь, и руки не дрожат». Дрожат, однако, руки...

— Дед, — сказал Славка. — Деньги мимо нас проплывают, давай снова заводить.

— Устали ребятки-то, устали, видишь? — вздохнул дед.

— Давай дальше, дед, — вяло сказал Муханов. — У меня очередь на «Волгу» подходит. Давай — не умрем.

— Как все, как все, — согласно закивал дед. — Вон Федюша молчит. Чего молчишь, Федюша?

— Слушаю, — ответил Федор.

Невод заводили еще дважды. Уже наступило утро. Туман не расходился, и солнце окрасило его сверху в багровый цвет. Окончательно вымотанный дед только командовал слабым голоском и трогал рукой около сердца. Было ясно, что на сегодня хватит.

Глухой было снова уселся за весла, но Федор отодвинул его:

— Я отведу.

Глухой только глянул собачьими глазами на Федора, но весла отдал.

Кольцо багрового тумана двигалось впереди них. Все шли молча, и каждый нес свою усталость отдельно.

Весь июнь они утюжили неводом глинистое днище Китама. Они выходили утром часов в пять, когда солнце, еще не очнувшись от сонного блужданья по горизонту, начинало медленно карабкаться вверх и остервеневшее за ночь комарье вместе с ним набирало силу. Возвращались они вечером, когда то же солнце, покрасневшее от дневной натуги, мягко ложилось на синюю подушку гор Пырканай.

Были разные тони: удачные, неудачные и вовсе пустые. Они уже научились на глазок определять количество рыбы, еще когда она бурлила в мотне, и Славка Бенд при каждом удачном замете скрипел удовлетворенно:

— Вот и прибавили по паре десяток на рыло.

Муханов же говорил:

— Еще одно колесо к моему «Москвичу».

Марка машины у него менялась в зависимости от настроения. Даже Толик, для которого рыбалка была просто приложением к охоте, глядя на лодку, заполненную рыбой, мечтал:

— Ружье куплю, эх! Тыщ пять, не меньше, самое дорогое.

— Ребята! — молился дед. — Замолчите, ребята, рыба счета не любит.

— Нишкни, дед! — властно обрывал его Славка, который с каждой новой сотней килограммов рыбы становился все увереннее и веселее.

Чаще все-таки невод выходил почти пустым, и они ждали, что в следующем-то забросе обязательно будет удача, и так до полного изнеможения. И даже короткое время, которое они отводили на сон, было беспокойным: каждый ворочался на нарах в смутной тревоге: может быть, именно вот сейчас, в эту минуту рядом с избушкой проходит небывалое стадо гольца, настоящий большой куш.

Как и все, Санька почернел, осунулся. И внутри, он чувствовал, стал уже не тем Санькой, студентиком и хлюпиком-продавцом, заворачивай покупочки. «Ладно, пижоны московские, — мечтал он во время перекура, — покажу я вам шик, ладно, законник безногий, я к тебе еще зайду осенью. Тоже мне: «Пг'ошу, не пей по утг'ам...»

Рыба кончилась сразу, как будто и не было. Заряди-

ли бисерные ледяные дождики, и тучи чуть не цеплялись за мачту выброшенного катера. Мокрые и злые, они день за днем таскали невод без всякого результата. Это было чем-то вроде карточной игры, когда игрок уже понял свою невезуху, но все еще берет карту в надежде на сумасшедший счастливый вариант, хотя и твердо знает, что этого варианта сегодня не будет.

Однажды Толик, который не расставался с двустволкой, ухитрился убить тюленя. Они заметывали в «кутлтуке» почти у самого устья. Тюлень вынырнул метрах в десяти от лодки, и Толик, который на диво навострился стрелять за весеннюю охоту, мгновенно всадил ему заряд дроби в усатую человеческую морду. Некоторое время тюлень держался на поверхности в расплывающемся красно-буром пятне, и тот же Толик в два гребка подогнал к нему лодку и мертвой хваткой уцепился за ласт. В лодке тюлень слабо пошевелил хвостом и притих, прикрыв мертвой пленкой женственные глаза. Они выбрались на берег и пожарили на ржавом листе жести вишневую тюленью печень. Санька Канаев посмотрел на вымазанные печенкой лица и подумал: «Звереем помаленьку».

Братка и Глухой отказались от жареной печенки, а ели ее по охотничьему обычаю сырой, шпигуя белыми кусочками мягкого тюленьего сала.

— Полезная вещь, — сказал Братка.

Толик, на которого всякий удачный выстрел действовал как наркотик, вскочил и пошел по берегу к устью. Они долго сидели у костра, и ветер разносил с углей белые хлопья пепла. С моря донеслась автоматной частоты пальба. Они послушали ее.

— Нашему Тольке «дегтярев» купить надо, — сказал Славка Бенд.

Потом они увидели его. Толик бежал по берегу и махал руками, будто кричал на пожар или иное неслыханное бесчинство среди бела дня.

— Поди, еще нерпу хлестанул, — сказал Братка и поковырял в зубах травинкой.

Оказалось, что в устье реки скопилась целая колония, прямо-таки непомерное количество тюленей.

— Башки повысовывали — воды не видно, — сформулировал Толик.

— Это где это, это как? — зашевелился безучастный до этого дед.

— Рыба там, — убежденно догадался Братка.

Они вышли к широкому километровому устью Китама и там на песчаных отмелях в мелких отголосках морской волны сделали два замета. Оба оказались пустыми. Тюленьи головы, как клавиши, высовывались и исчезали в воде, исполняя какой-то известный им одним ритм возмущения.

— А вы, ребята, не унывайте, — сказал дед. — Шесть тонн на ледник сдали на новом месте, на незнакомой реке. Мы сейчас опять контрольные сеточки поставим, будем следить. А пока у меня другое средство есть. Чтобы не скучать. — Дед хохотнул тоненько. — Взрывать кто-нибудь умеет?

— Детонаторы есть? — спросил Славка. — Я умею.

— Все у меня, Слава, есть, — сказал дед. — И рыба сейчас есть, в омутах наверху много осталось.

— Зар-ряд заложить поб-больше, ух! — вздохновенно помечтал Толик. Остальные молчали.

— Закон это дело запрещает, дед Дмит Егорыч, — заинтересованно сказал Федор. — Как насчет закона?

— Так, Федя, ведь закон с умом применять надо. Глупая река, бесполезная, зря пропадает рыба. Мы да тот чукча с тряпочкой. — Дед даже помигал для убедительности. — Закон почему глушить запрещает? Много рыбы тонет зазря. А мы ниже по течению сеточки поставим — и ни одна рыбка зря не уйдет...

— И выше тогда надо сеть ставить, — сказал Братка. — Которая живая, та вверх побежит.

— Правильно и это, — сказал дед.

— Зар-ряд поб-больше...

— Так как насчет закона, дед? — упрямо спросил Федор, и Глухой, который следил все время за ним преданным взглядом, тут же посмотрел на деда, что скажет на это лучезарный старик...

— Я-то ведь не уговариваю, — сухо ответил дед. — Мне-то сказали: «Вот тебе река сверху донизу, лови рыбку, корми район». Я ловлю. А как — мне не сказали. На новом месте всякое бывает. Везде так.

— И я не возражаю, — непонятно сказал Федор. — Мне только интересно было, как это получается у тебя с законом, дед?

Они сидели на берегу с перепачканными коричневой тюленьей кровью лицами, в драных телогрейках, и ветер соленых прибрежных озер нес запах серы и вопли чаек.

— Есть афоризм, — сказал Санька, — монета запаха не имеет, — сказал, и выплыла перед ним на мгновение мертвая ухмылка Пал Давыдыча. — Ерунда, кто здесь чего заметит? Тут атомную бомбу взорви, никто не узнает.

— Молчи, москвич, — сказал Федор.

Санька хотел съязвить что-либо насчет свободы слова, но наткнулся на Федоров взгляд и смолк.

16

Федор.

Известность Оспатого Федора носила сугубо специальный характер: его знали и почитали в мире северных лагерей заключения. Знал его по тем временам и Славка Бенд. Начало его лагерной «карьеры» было простым: шестнадцатилетним парнем познакомился он с обаятельными взрослыми дядями и почему-то не отказался оказать им услугу: постоять ночью в переулке, пока они будут заниматься своим делом. Но дело, которое затеяли дяди, получилось серьезным, с двумя убийствами, и Федору, несмотря на молодость и незначительную роль, дали серьезный срок. Было это в те времена, когда не особенно дорожили судьбой отдельной личности. Уголовная верхушка первого его лагеря отнеслась с интересом к столь молодому, но уже серьезному, многообещающему пареньку. Дело с убийствами, за которое он попал, здесь знали, истинную же роль Федора разъяснить никто не мог, ибо обаятельные дяди были приговорены к высшей мере наказания.

Через три года группа отпетых уголовников решила устроить побег. Предложили войти в компанию и Федору. Побег кончился неудачей, Федору прибавили срок. Вот тогда-то и созрела у него идея: удрать во что бы то ни стало. Один раз его поймали через месяц, три раза план раскрывали в самый решающий момент. Каждый раз он получал новую добавку. Амнистии проходили мимо него, ибо он уже приобрел славу рецидивиста. Весь лагерный мир с интересом следил за единоборством Федора с начальством, ибо для Федора это была игра в кошки-мышки со смертью. Любой конвойный мог да и обязан был влепить ему пулю в затылок при какой-нибудь очередной попытке. Шел год за годом, Федор давно уже считался настоящим уголовником «в законе», и его относили к заправилам внутренней лагер-

ной жизни, хотя он никогда не участвовал в подлостях, которые творила воровская верхушка над беззащитной «серятиной», но и никогда не преступал пресловутого воровского кодекса чести. Его неоднократно переводили из лагеря в лагерь, и лагерное начальство тоже относилось с определенным уважением к нему, ибо этот большеголовый мрачный заключенный предпочитал честную борьбу, предупредив, что все равно сбежит.

Шел семнадцатый год его жизни за колючей проволокой, с маниакальным упорством Федор готовил очередной побег, и вдруг его энергия растворилась в пустоте: он получил амнистию. Какая умная голова ему ворожила, он не знал, ибо ни одного родственника в живых на воле уже не было. Амнистия Федора ошеломила, ибо он потерял почву под ногами. Исчез смысл жизни.

В бессонную последнюю ночь он действительно впервые подумал, что на четвертом десятке жизни ничего о ней не знает. Он насмотрелся такого, что хватит на десять жизней, и не знает о жизни ничего. Он приобрел специальное знание людей и в то же время боялся людей с воли, этих безукоризненных белоснежных почитателей законов, для спокойствия которых Федор семнадцать лет сидел за колючкой. Он был угрюм и за угрюмостью скрывал болезненное самолюбие. Больше всего он боялся, что в первом же учреждении, куда придет устраиваться на работу, ему швырнут в лицо документы и скажут презрительно «зек».

Перед освобождением начальник колонии вызвал его и спросил:

— Опять ко мне попадешь?

— Нет, — сказал Федор. — Хочу посмотреть другое.

— Верю, — сказал начальник. — Тебе верю.

С Севера Федор решил не уезжать, а просто пока где-либо в тишине присмотреться, понять свое место в этом новом мире. Так Федор очутился в промысловой избушке Глухого.

До того как появился Оспатый Федор, Глухой жил один. Он родился на Колыме в семье промысловика, потомка древних казаков, был мал ростом, сухощав и имел изрядную примесь якутской и чукотской крови. Работа промысловика по сути своей является творчеством. Глухой был плохим промысловиком, как, допустим, бывает незадачливым радиотехник или водопроводный слесарь. Возможно, повлияло то, что еще в детстве он не смог справиться с озверевшей упряжкой и на пол-

ном ходу врезался в дерево, после чего оглох полностью на одно ухо. Глухой относился к людям как к людям, а к жизни своей как к естественной жизни человека. Он так и не успел жениться — вещь для полярного охотника немыслимая — и был бессловесно рад, когда в его крохотной избушке поселился Федор. Он поверил в Федора и сразу беспрекословно подчинился ему.

Позднее в избушке появился Братка. Федор посвоему отплатил безответному Глухому, добившись договора на сбор плавникового леса для крупной экспедиции в ста километрах к югу от них. Лес в экспедицию возили за несколько сот километров из портового поселка, а здесь, по здешним масштабам, рядом, гнили на берегу штабеля плавниковых бревен. Федор как-то сразу уразумел это и сказал проезжему трактористу. Начальник экспедиции оценил идею, подписал договор и пригнал в помощь на целое лето трактор ДТ-54. За рычагами ДТ-54 сидел Братка, чукотский человек. Он приехал сюда с одним из первых советских пароходов в незабвенные времена винчестеров, шаманов и прочей экзотики и ухитрился за все это время ни разу не выехать на «материк». За это время он перепробовал все и вся — был промысловиком, торговым служащим, каюром, жил с чукчами-пастухами и, по местному выражению, окончательно «отильхял», или затундровел, то есть не был способен ни к какой другой жизни, кроме нерегламентированного северного безделья и нерегламентированной же северной работы.

Когда работа по штабелевке плавника закончилась, Братка остался в избушке. Больше сюда уже вместиться никто не мог, так как все возможное пространство было занято нарами и железной печкой.

В этой тесноте они жили втроем, наглядно опровергая все теории о полярных психозах, белом безмолвии и прочие драматические бредни. Холодная воля Оспатого Федора убивала все конфликты в самом зародыше, и маленькая избушка на морском берегу засияла гостеприимным светом на путях бродячих северных трактористов, которые проходили здесь все чаще, и даже вертолетчики не упускали случая завернуть сюда за свежей рыбой или битым весенним гусем.

Какой-то проезжий шутник-геолог окрестил это общество «республикой», и название прилипло намертво. Вблизи «республики» находилось знаменитое место для охоты на пролетного гуся, и сюда регулярно наезжало

высокое начальство из района и области. Может быть, поэтому власти и смотрели сквозь пальцы на эту не предусмотренную никакими положениями братию.

Был однажды и районный прокурор. Уставшие охотники мыли ноги в ледяной воде ручья, потом долго чаевничали перед тем, как перейти к вареной гусятине и «Старке». Федор по долгу гостеприимного хозяина принимал участие в беседе, выпил и «Старки». Прокурор все присматривался к нему, потом спросил:

— Что же ты, Кокорин, себе второе заключение устраиваешь? Каждый человек на счету, самолетами из Москвы людей везем, а вы здесь как улитки, только для собственной раковины живете.

— Я здесь нервную систему лечу, — сказал Федор.

— Я, Кокорин, все понимаю. Когда ты эту свою нервную систему вылечишь, приходи ко мне. Будешь работать. Никто на тебя покоситься не посмеет, ибо ты свое отбыл.

— Были в колонии, которые пробовали покоситься, — усмехнулся Федор.

Идти к прокурору, конечно, Федор не мог. Не позволяла застарелая лагерная гордость. Но когда прошел слух, что невдалеке от них организуется рыбачья бригада, Федор после долгого раздумья сказал:

— Надо попробовать.

— Я согласен, — сказал тогда Глухой.

17

Вслед за ледяными дождичками в июле пошел снег. Снег сыпал с темного неба громадными мокрыми хлопьями безостановочно день и ночь. Среди всеобщей белизны чернильной лентой выделялся Китам.

Все в это время сидели в избушке. Дед, который начал прихварывать, засел в своем домике и даже не выходил по вечерам.

— Для тех, кто первый раз в тундре, самое время гибнуть, — сказал Братка. — Уйдут от дома в одних курточках на «молниях», а тут снег. Бывает, по метру в это время наваливает.

Все молчали, отдавая дань Браткиной опыту, и только Славка Бенд в тишине нервно барабанил пальцами по подоконнику.

— Сидим, — сказал он. — Время идет. Рыба идет. Ловить надо. Сдавать.

— Мы все, Славка, сюда не за цветочками приехали, — сказал Муханов. — Чего попусту слова тратишь?

— В такое время, — убежденно продолжал Братка, — лучше всего выпить спирту, хорошо поесть и лечь спать. И наутро будет хорошая погода. Это я вам точнее радио говорю.

Все оживились, ибо идея понравилась. Братку и решили послать в поселок, как человека, знакомого с обстановкой, что при «сухом законе» небесполезно. Решили, что он получит из причитающихся денег рублей сто, купит спирту, папирос, разные там консервы побаловаться.

— Доверенность надо написать, — сказал Санька. — Не дадут одному без доверенности.

— Это в Москве у вас на каждом шагу доверенности, а меня здесь любой знает, — ответил обиженно Братка.

— Я с тобой, — вдруг сказал Федор. — Интересно мне кое-что.

— Не доверя-яешь все-таки, Оспатый? — усмехнулся Славка.

...Они вернулись через три часа. Федор кинул пустой рюкзак на пол и сел на койку. Братка в сенях отряхивал снег.

— Не выгорело? — упавшим голосом спросил Муханов.

— Хуже, — ответил Федор. — Денег нет.

— То есть как нет? — недоверчиво спросил Муханов.

— А так, все наши тонны деду пошли.

— Как деду? Почему деду? — заговорил Славка.

— По документам. Амортизация лично ему принадлежащих сетей по договору. И по тому же договору гарантированная зарплата — по 300 рублей в месяц — с марта, как бригадиру-инструктору перечислена на дедов счет в районной сберкассе.

— Так, — ошалело сказал Славка. — Так.

— Все именно так. Штемпеля, печати. Большой закон-ник наш дед.

— Первый раз. За десять лет. Поверил, — сказал в тишине Славка от своего окна. — Ну, дед, держись!

— Сядь, — сказал Федор.

Славка сел.

— У него, гада, там где-то взрывчатка есть, —

сквозь зубы сказал Муханов. — Заложу сейчас под койку, от избы ничего не останется. Идем, Федор?

— Мелкий вор, гнида, все по закону сделал, — с горьким презрением сказал Федор, — много видал я таких и об этого ни рук, ни глаз пачкать не хочу.

Муханов вышел. Санька кинулся вслед за ним.

Перед дедовой избой лежал девственно чистый снег, Муханов пропахал его сапогами и дернул дверь так, что чуть не отскочила ручка.

Крохотное оконце в дедовой избе едва пропускало свет. Он лежал на койке, и белая его голова выделялась на фоне темной подушки.

— Дед, — сказал Муханов, — мы в правлении были. Ты что же, а, дед?

— Плохо мне, ребята, — прошелестел дед. — Совсем плохо.

— Ты про деньги скажи. Про рыбу.

— Вот здесь, — дед поцарапал слабой ручкой где-то около живота, — вот здесь совсем плохо.

— Прикидываешься, старая выжига, — сказал Муханов.

— Врача бы, врача, а, ребята?

— Лежи, дед, — беспощадно сказал Муханов. — А сети твои мы заберем.

— Неправильный ты, Коля, неправильный, — прошелестел дед. — Дерутся ведь сети, портятся, а они денег стоят. Больших денег. Я, может быть, всю жизнь собирал эти сети. И вот: новая река, сам хозяин. Последний раз хотел половить на новой реке, и все. Дом у меня хороший... Врача бы...

— Ладно, — сказал Муханов. — Очнешься, поговорим. А сети твои — прощай...

Два дня дед лежал в своей избушке, и только Муханов упомянул о нем:

— Прикидывается, сволочь, на жалость.

На третий день дед выполз на порог и спросил:

— Ребята, вы звери, что ли? Помираю.

— Толька, иди в поселок, вызывай вертолет, — сказал Федор.

Толик кинулся в избушку и выскочил оттуда с двустволкой.

— Оставь ружье, — рявкнул Федор, и Толик, прислонив дробовик к завалинке, как пришпоренный, рванул по кочкам.

Вертолет прилетел. Врач пощупал дедов живот и

быстро приказал нести носилки. На носилках дед смотрел в серое небо и тихо постанывал. Он исчез в железном грохочущем брюхе Ми-4. Исчез навсегда.

Два известия пришли на почту Нового Усть-Китама. Письмо от деда. «Положили меня, ребята, в больницу. Будет операция. Давно у меня уже язва желудка. Думал, долго с ней проживу, а врач хочет резать. Поругались мы все немного, но приеду и уладим миром. Все надо миром улаживать. Пуще всего берегите снасть. А я постараюсь скорее...»

Далее следовала длинная инструкция, как хранить и сушить сети, адресованная Глухому. Вторым была справка из больницы. «В результате нарушения больничного режима больной Мятлев Дмитрий Егорович 62 лет скончался от воспаления послеоперационного шва в брюшной полости». Была еще приписка: «Дед-то ваш будто золото закопал, все рвался. Обманул врачей, начал выписываться досрочно. Я его коешный сосед».

Настала пустота.

18

Когда наступила пустота, каждый зажил как бы сам по себе. Лимонный Славка сидел у оконца и глядел на врезанный в оконце пейзаж, и только Толик неугомонно набивал свои адские патроны и лихо поглядывал на всех светлыми глазами: когда же решится — «как все». Стрелять сейчас было некого, только утки с выводками ютились в березовой осоке, но убить такую утку можно только один раз, не зная, какие они взъерошенные, иссохшие от материнских забот, — второй раз стрелять не захочешь.

Толик Птичий Убийца отводил душу на хищных желтоклювых мартынах, извечных врагах речного рыбака и тундрового охотника. Мартынов он бил пачками.

Муханов облюбовал цейсовский Браткин бинокль и сидел на крыше избушки, разглядывая горизонты. Нечего было разглядывать, тем более в бинокль: свинцовая лента Китама, изгибающаяся к морю, да блеклая тундра с осколками озер. Но Муханов разглядывал.

Санька забрел однажды в дедову избушку. Здесь все оставалось по-прежнему, но стоял уже нежилой дух. На столе лежала раскрытая книга. Санька с интересом подошел. Увесистый том в дореволюционном кожаном переплете. Санька посмотрел титульный лист. «Ежеднев-

ные размышления истинного христианина». Сочинение графа П. К. Бобринского. Книга была раскрыта на «Суете».

«...Суета иссушает наш ум, и душа от нее загнивает. Суетные помыслы наши обращены на сыскание почестей, плотских утех и, паче того, богатства. Истинный христианин должен...»

Санька так и не успел узнать, что должен делать истинный христианин, чтобы изжить грех суетности. Скрипнула дверь, и вошел Федор.

— Не трогай ничего, москвич, — просто сказал он. — Пусть пока все как есть остается. — Голос у него был спокойный, и вообще после того, как раскрылся дедов обман, Федор стал как-то проще, вроде бы даже повеселел. Саньку осенило.

— Федор, ведь ты знал?

— Догадывался, — досадливо сказал Федор. — Я таких мазуриков насквозь знаю. И тебя я, москвич, вижу. Удрал ведь ты, а?

— Как сказать, — ощетинился Санька. — Передо мной монетки колобком катились. Я за ними бежал, бежал и вот прибежал сюда. С тобой заодно познакомился. — Сказал и вышел, чтобы уйти от прищуренных безжалостных глаз.

Санька подошел к реке. На середине маячил в дедовой оморочке Братка: проверял сети. На берегу копошился еще кто-то, очевидно, Глухой. Санька пошел к нему.

Глухой ползал по разостланной сети и выбирал из нее запутавшиеся щепочки, прутики.

— Сеть-та заносит, — сказал он. — Дожди вверху были, хлам несет. Сети-то хорошие, их сушить надо. Я сушу. — И опять согнулся. Санька стал помогать ему.

Вечером Оспатый Федор взял щетку и подмел пол. Аккуратно сбросил сор в печку и стал чистить ламповое стекло. Он повесил лампу на гвоздик на стене, желтый свет ее упал на стол, и все стали потихоньку собираться к столу, да так и расселись в молчании.

— Продукты скоро кончатся. Денег нет. Что будем предпринимать, граждане? — спросил Федор.

— Что делать? — сказал Муханов. — Рыбу ловить надо. Я уже два раза обжегся, и здесь я досижу до конца. Не уйду отсюда без рубля. — Голос у Муханова был жесткий, и сам он как будто постарел. Бинокль на ремешке все еще болтался у него на шее.

— К прокурору надо идти, ребята. Один выход — к прокурору, — сказал Братка.

Тут-то и раздался всхлипывающий смех Глухого. Никто не видал, чтобы Глухой смеялся, а сейчас он прямо корчился от этого смеха, прикрыв рот ладонью, жидкобородый, искореженный Севером гном.

— Ты чего, чего? — испуганно вскинулся Братка.

— К прокурору-у, — давился Глухой. — Славка Бенд к прокурору, Федор к прокурору или он к нему... — Черный скорченный палец Глухого уперся в Муханова. И все посмотрели на Муханова, припертого указующим перстом.

— Ладно, ты, чучело, — сказал Муханов.

Все смолкли, пораженные вспышкой веселья Глухого, и молча же осознали непостижимую дедову гениальность: знал, что обманет, и так подобрал, что никто из обманутых и пикнуть не пожелает, не захочет шуметь.

В это время скрипнула дверь.

— Мозна? — и появился Пыныч, ангел-хранитель, громоотвод в кухлянке, узкоглазый вестник мирских новостей.

Пынычу дали кружку с чаем, и все загремели кружками. Только Славка Бенд остался сидеть у своего оконца, изучал в сумраке непостижимый пейзаж.

— Рыбки поймали мало? — спросил Пыныч.

Никто ему не ответил, все-то ты знаешь, старый черт.

— Я немножко поймал, одну тонну. Сеточка маленькая — пятнадцать метров.

— Где поймал, где? — спросил Славка.

— На реке, — простодушно ответил Пыныч. — Сейчас рыба выше.

— Вот, — сказал Славка. — Вот.

— Немножко проволоки надо, — сказал Пыныч. — У катера есть. Пойду возьму.

— Я думаю так, — сказал Федор. — Продуктов нам в долг дадут под осенний ход. А сейчас я с двумя ребятами сплаваю вверх по реке. Посмотрим, что там есть. Может быть, Пыныч скажет.

— Это я пойду вверх по реке, — сказал Славка. — Мне из всех вас деньги нужнее. И взрывчатку возьму.

— Взрывчатку я давно в реку выкинул, — усмехнулся Федор. — Глупых нет под статью попадать.

— Дурак, — безнадежно сказал Славка. — Трус, дурак.

У хитрого Пыныча узнать ничего не удалось. Решили, что завтра вверх по реке пойдут Славка и Санька с Мухановым. Больше троих моторка не могла вместить.

19

...Они поднимались вверх по Китаму мимо глинистых низких берегов, мелкого кустарника прибрежной тундры, галечных перекатов и к вечеру вышли туда, где Китам дробится на протоки, и протоки эти прятались среди дикого буйства разросшейся в удалении от моря знаменитой китамской ольхи. Течение шло здесь так сильно, что лодка почти не двигалась, так вроде стояла, а потом рывком прыгала вперед на метр-два, не больше.

— Все, что ли? — в десятый раз спрашивал Муханов. — Давай здесь пробовать. — Но неумолимый Славкин нос смотрел вверх по реке. — Там, там рыба, — твердил он.

Потом течение стало чуть послабее. Китам шел в высоких торфяных берегах. Линзы льда сочились в обрывах мутными струйками. Местами вода выедала лед, и получались жуткие ледяные пещеры, куда с клокотанием устремлялась вода. Ледяной темной сыростью несло из этих пещер, и многотонные козырьки нависали над ними, угрожающе накренившись. После одной из таких пещер Китам вдруг раздался, и отличная, хоть на пять неводов, отмель выплыла справа.

— Вот, — сказал Славка. — Здесь рыба. Я знал.

И точно в подтверждение Славкиных слов вода вдруг разошлась кругами, и весь багровый, в багровом вечернем солнце выскочил из реки, плеснулся гигантский рыбий хвост.

— Течение, — сказал Муханов. — Тут вдесятером невод не потянешь. С ума ты сошел, Славка.

— Рыба, — сказал Славка. — Утянем. Надо.

Два дня они бились на этом месте. Течение не давало заводить сеть, даже если против всех правил тащить ее на моторе. Упругая сила воды била в полотно и волокла лодку назад. Они пробовали заводить по течению: цирковым галопом проскакивали замет и тыка-

лись носом лодки в берег, и потом то же течение прибивало к берегу пустой мешок кошеля.

На вторые сутки Муханов сел на землю и сказал:

— Все. Хватит.

— Нет, — сказал Славка. — Нет. Здесь рыба. Тонны. Давай.

— Иди ты, — сказал Муханов

— Шлюхи вы, — сказал Славка. — Штатские шлюхи. Вы заработать приехали или что? — Лицо Славки дергалось. Он встал и пошел к лодке, комками покидал в нее невод.

Они смотрели, как он выехал на середину протоки и стал выбрасывать сеть одной рукой, ему удалось сделать два или три выброса, потом от резкого взмаха качнулась лодка и резко взвыл мотор.

— Винт, — сказал Муханов. Случилось то, что давно должно было случиться, — сеть намоталась на винт. Мотор заглох, и лодка боком бессильно пошла по течению, потом натянулась веревка, и лодка, описав полукруг, прижалась к берегу.

— Так, — сказал Славка. — Так, мать вашу... — Он яростно шибанул кулаком по мотору и с бешеной методичностью стал распутывать сеть.

— Славка, брось, — сказал Муханов.

— Заткнись. Убью, — ответил Славка.

Он снова набрал комками невод и снова сел в лодку. Теперь он сидел на транце лодки и отбрасывал сеть как можно дальше от винта. Лодка ходко шла вперед, потом вдруг дернулась, и Славка кувырком полетел в воду. Сильная струя подхватила Славку, он неловко взмахивал руками, пытаясь стянуть телогрейку. Он то погружался с головой в воду, то выныривал. Стянутая наполовину телогрейка закрывала ему голову. Течение стремительно несло Славку под обрывистый берег прямо в черную щель одной из пещер.

— Славка! — отчаянно закричал Муханов. И как будто только и надо было этого мухановского крика, этого сотрясения воздуха: многометровый козырек пещеры стал медленно наклоняться. Они как во сне наблюдали это медлительное тяжеловесное падение и бесформенный куль Славкиной головы, которая, как поплавок, выныривала вверх-вниз, вверх-вниз. Наконец обрыв упал с облегченным вздохом, дрогнула земля, и волна, кинувшись навстречу течению, отшвырнула

Славку чуть не до середины реки. И тут же ему удалось стянуть наконец телогрейку. Ошалелыми гребками Славка поплыл к берегу.

Вода фонтанчиками выскакивала из сапог, когда он подошел к ним. Мокрые волосы залепили лицо, и сквозь темные пряди их фарфоровыми бляшками светились белые Славкины глаза.

— Дайте закурить, — спокойно сказал он. — Я свои вымочил.

Он в несколько затяжек вытянул папиросу, подошел к лодке и тремя яростными ударами топора разбил мотор. Потом методически принялся рубить сеть.

Они молча смотрели на все это. За все время, кроме отчаянного мухановского вопля, не было сказано ни слова.

Славка бросил топор и, набычившись, бизоном пошел к кустам. Было тихо. Плескалась вода, да тяжело проламывался сквозь кустарник обезумевший Славка.

— Саня, — тихо сказал Муханов, и в голосе его была непостижимая горечь, непостижимый вопрос. — Саня. Как же это? Ведь пять секунд — и похоронило бы Славку. Из-за денег? И дед умер. Из-за денег ведь умер дед. Мы же ничего не хотим — только заработать. Своими руками. Почему все это, а? Неужели пятак и смерть рядом ходят? Тогда пропади пятак, он в такую цену не нужен...

20

Славка ушел на другой день после того, как они вернулись на рыбалку. Почерневший, худой и мрачный, он покидал в рюкзак немногочисленные пожитки, швырнул в угол драные сапоги и вышел, тихо прикрыв за собой дверь.

Все смотрели, как пропадает в тундре одинокая фигура Славки Бенда.

— Конец, — сказал Федор. — Сломался. Кто хочет уходить, пусть уходит сейчас, — добавил Федор.

— Продукты мы взяли в долг до осени, значит, нас трое остается, пока не рассчитаемся. Без невода нам туго будет, ловить придется только сетками. Так что на деньги расчета нет. Как, москвич? — обратился он к Саньке.

— Я не шкура, — сказал Санька. — Раз есть долг и надо отдать, значит, я остаюсь.

С Мухановым они почти не разговаривали теперь. Казалось, что Муханов боится хоть на минуту остаться без дела. На этой почве у него возникла неожиданная дружба с Глухим. Они выставили все наличные сети на реке и целый день курсировали между ними. У них были свои разговоры.

— Завтра надо пятую на берег вынуть, просушить, в седьмой я сегодня во-от такую дырищу заштопал. Нерпа...

Братка, как только Муханов заменил его на проверке сетей, сразу же выключился из работы и вновь неутомимо изучал журнальные листки на обклейке стен.

Рыба еще не возвращалась вверх по реке, и опять они ждали, ждали, ждали. Санька и Федор насаживали новые сети из полотнищ, обнаруженных у деда под нарами. Санька полюбил делать наплава из пенопласта, их требовалось многие десятки. Выпилить ножовкой брусочек, потом стесать острые края, просверлить дырку, вставить вязку и опять выпилить... Почему-то ему все время вспоминались слова графа П. К. Бобринского, написанные для истинных христиан: «Суета иссушает наш ум, и душа от нее загнивает...»

Жил он в каком-то странном полусне. Когда надоедало делать бесчисленные поплавки, он брал ружье и уходил в тундру.

Колдовская власть тундры входила в него через багровые закаты над хребтом Пырканай, утреннее умывание в холодной воде Китама, стук дождя в окно избушки и сернистый запах прибрежных озер на охоте. Выстрел, запах порохового дыма и теплое утиное перо в руке, теплая тяжесть добычи, кусок мяса, добытый своими руками.

Брат Сема был далеко, все равно что в Южной Америке или в Антарктиде, но таинственная сила брата Семы доходила и сюда — Санька знал, что сможет рвануть отсюда в любой момент, может быть, поэтому и оставался.

«Интересно, посадили Пал Давыдыча или нет?» — думал Санька и тут же забывал. Володю-аристократа он почти не вспоминал — ничтожная личность, мотылек. Когда Санька, запоздав, возвращался с охоты, бугры давали в темноте пугающую тень, как бы спрашивали:

«Кто идет? Зачем?» И августовские нестерпимого блеска звезды мигали сверху: «Ничего-ничего».

«Почему? — думал Санька. — Почему работяга Муханов захотел попробовать «изящную жизнь», и у него ничего не выходит, ему не везет, а всякая шваль вроде Вовки-аристократа запросто имеет все, что хотел бы иметь Муханов?» Ему представлялась вереница каких-то легких, нагловатых, ловких людей, которые мимоходом со снисходительной уверенностью берут блага жизни. Среди них плавают твердые умные акулы вроде брата Семы, неуязвимые из-за своего ума. И представлялась ему толпа мухановых, выколачивающих эти жизненные блага ломиком на дне шурфа. И был другой мир, где жили веселые ребята гайзулинцы и те парни, что он видел в коридоре геологического управления. И был третий, пугающий мир, откуда вышли Федор и Славка Бенд, и были Глухой и Братка, живущие в полном равновесии чувств и поступков.

«А ты?» — задавал он себе вопрос. «Белая ворона и там и тут», — сказал Федор. Может быть, брат Сема нарочно кинул ему эту идею о Севере, может быть, он сам жалеет, что лет десять назад не уехал на какой-нибудь свой север. Может быть, он сейчас сильно об этом жалеет в какой-нибудь следственной тюрьме, обритый и под часовым...

«Ничего-о, — мигали сверху звезды. — Есть правда. Есть...»

21

Неожиданно нагрянул Гаврилов. Походил по берегу, посмотрел на сиротливые вешала: «Так, так, прогорели рыбачки, хе-хе». Потом пришел в избушку. За чаем Гаврилов снял свое руководящее кожаное пальто и так примерно после пятой кружки оказался элементарным якутом, неутомимым чаевником.

Разговор шел международный, вроде как про ООН. Собеседником был Федор, он умел говорить: так, два слова, а вроде и произнес целую речь.

Потом Гаврилов отставил кружку и сказал:

— Вот эти, — он бесцеремонно ткнул рукой в сторону «республиканцев», — знаю, в свою берлогу нацелилились, а молодежь, — он одной рукой отмел всех остальных, — конечно, в город, хе, поселок — район. Так?

Все молчали.

— А я думаю иначе. Изба здесь стоит, гниет — раз, сети, дедово барахло имеются — второе. Все беру под себя.

Сказав это, Гаврилов приложил так ладонь к столу, совсем как на заседании, большой человек.

— Сделаем колхозную бригаду. Для поселка там рыбка, пастухам на строганину и тое-мое. Теперь дальше. Бригада здесь и зимует. Задача зимой — подледный лов и поставить на ноги невод.

Сетками, конечно, и дальше ловить, до льда. Расчет — трудоднями. Как?

И опять все молчали.

— Бригадиром этого дела думаю Федора. Самый из вас серьезный человек.

— Я, председатель, уголовник. Мне руководящие должности противопоказаны, — усмехнулся Федор. — Тут незапятнанные проворовались, куда мне.

— Эх, — досадливо крякнул Братка. — Не туда ты, братка, гнешь, понимаешь?

И Федор вместо того, чтобы придавить Братку одним взглядом, вдруг начал краснеть. Это было так странно и стыдно, что все отвернулись.

— Не Тольку же нам выбирать, — сказал Братка, и Толька, простая душа, передернул с недоумением плечами: какой из него бригадир.

— Ладно,— тяжело сказал Федор.—Если так, то ладно.

— Ну вот, — оживился Гаврилов. — А вшестером вам тут делать нечего. Двоих заберу. Пекарь у меня прихварывает, и школу надо штукатурить, и людей нет. До весны. Весной вернутся.

И опять стало ясно, что если двоим идти в поселок, то, конечно, Муханову и Саньке, ибо именно они и есть двое, так сказать, естественная спарка.

— Мне что, — сказал Муханов. — Я всю жизнь колхозник, — и посмотрел только в сторону Глухого, вновь обретенного друга, товарища по труду.

«Стружка, — подумал Санька, — вот так пенка получилась, неожиданный поворот. Узнает брат Сема, что я в колхозе, вся Москва три дня хохотать будет...» И решил: «Уйду!»

Но странная неуверенность держала Саньку. Как будто его, Саньку Канаева, ждет шикарное жилище — мечта во сне, ключ в руке — сделай шаг, а он среди старого хлама, старых стен какой-то развалюхи и не может сделать этого шага, ибо старые стены здесь — это ты, это теперешняя, какая бы ни была, но твоя

жизнь. А неизвестно, что ждет в этой мечте. Может, и нет там никакой жизни.

В смутном этом состоянии Санька осторожно спросил Муханова:

— Не светит нам в колхозе, старик. Может, поищем другое?

И мрачный Муханов мрачно и зло ответил:

— Светит, не светит... Все фонарики ищешь? Я тоже за колесами да за фарами гонялся. А как видишь, нету фар у моей машины. Только фонари во лбу, когда об стенку стукнусь: штрафбат, шурфы, дед. Нету фар.

Сказал и вроде как отодвинулся от Саньки поскучневший Муханов. Все тот же, рыжий, свой, но уже отодвинутый. Санька чувствовал это и думал о том, что год позади и нет ничего, все остается нерешенным, даже мерцающие перспективы вроде перестали мерцать, а ведь он искал их на дне шурфа и в рыбацкой сетке, и черт его знает где. И еще он боялся, что Муханов отодвинется совсем, уйдет. В одиночку Саньке в этих краях не жить. Тогда одна дорога — назад, битым щенком, и тогда, уж это он чувствовал точно, не уйти ему от мертвой ухмылки Пал Давыдыча.

— Ты колхоза не трусь, Санек, — сказал Муханов. — Страшного нет. Я знаю.

— Да, — сказал Санька. — С телеграммой я обожду. Они быстро ведь ходят, телеграммы.

И им стало легче оттого, что все решилось на какое-то время, не надо думать, поживем — увидим, они даже ухмыльнулись друг другу.

— Саня! — сказал Муханов и хлопнул его по плечу веснушчатой лапой. — Успеешь ты в свой вертоград. И меня возьмешь. Может, там я найду свои фонари. Возьмешь?

— Возьму, — сказал Санька.

— Нет, — невесело усмехнулся Муханов. — Да ладно. Я с Мухановым Колькой не пропаду.

22

Их поселили в странном доме круглого облика. Муханов даже решил обойти его кругом, чтобы проверить, точно ли он такой круглый. Ко́мната, однако, оказалась квадратной.

Вселял их бледный, озабоченный, как все завхозы мира, завхоз Голощенко.

— Вот, — сказал он. — Вселяйтесь. В соседней комнате — пекарь Людвиг. Хороший человек. В другом отсеке этого цилиндрического жилища — фельдшерский пункт. И сама фельдшерица. Хм. Я ушел.

«Тут отсек, там отсек, — подумал Санька. — Будем жить, как в подводной лодке».

Бледный Голощенко ушел и унес свои завхозовские заботы.

Они сели на голые сетки пружинных коек и стали осматриваться. Цветные, черно-белые, силуэтные, графические, в рост, профиль, анфас и такие, что виден глаз да кусочек уха, изображения слабого пола украшали стены. Видно, жили здесь до них тоскующие холостяки. Ассортимент журналов был невелик: «Огонек», «Смена» и еще «Молодой колхозник». Особо близкие холостяцкому сердцу фото были, видимо, унесены: белые квадраты и дырки от кнопок на штукатурке. Один курил «Приму», другой — «Беломор»: под койками те самые, известного происхождения, окурки — человек, засыпая с сигаретой в руке, машинально кидает ее на пол, нет сил дотянуться до пепельницы. Кто были эти ребята, куда ушли, куда унесли изображения щекастых доярок, балерин и пышущих здоровьем горнолыжниц? Может, тоже ушли, как ушел лимонный Славка. Может, сломались.

И куда, интересно, они с Мухановым понесут отсюда свои обшарпанные чемоданы, которые тащили на веревочных лямках с Кертунга, везли на тракторных санях и запихивали под нары на дедовой рыбалке.

— Саня, — сказал Муханов. — Когда попадешь на «губу», главное — не унывать, и к вечеру будет порядок. Друг-часовой подкинет курева, потом другой бедолага пронесет картишки, повар на дно котелка запрячет такое, что и комбату не снится.

— Да, — сказал Санька. — Интересно, что за комики тут до нас жили?

— Плотники, — убежденно ответил Муханов. — Плотники с длинными топорами. Построили эту деревню, взяли калым и понесли топоры дальше — другую деревню строить.

Муханов вдруг предостерегающе поднял палец.

В коридорчике, раздаляющем отсеки, простучали легкие шаги, стукнула дверь, потом что-то пошуршало, подвигалось и опять — дверь.

— Пойдем, — быстро сказал Муханов. — Мы же забыли проверить форму дома, — и тут же выскочил в коридор. Коридор, однако, был пуст.

Они вышли на улицу и стали обходить циркульный дом и, когда замкнули круг, увидели, как из двери выходит что-то в сиреневом импортном плащике, что-то круглолицее с вишневыми хохлацкими глазами. Санька остановился, как ударенный током, настолько непривычен был весь этот набор из глаз, губ, плащика; и суетный грубый год Санькиной жизни вдруг отошел назад, и сладко заныло сердце.

— Ах, — сказала она, — соседи.

Плащик стал удаляться в сторону поселка. И тут Санька, еще не пришедший в себя, увидел, как Муханов странной, какой-то даже неестественной для человека походкой уже перемещается следом и что-то баритонит, — никогда Санька не слыхал у Муханова такого чарующего тембра, такого баритона.

Шевелюра Муханова вдруг приобрела даже оранжевый цвет, и на миг Саньке показалось — со спины — он не мог видеть точно, — что от мухановской улыбки солнечные зайчики прыгают по темному торфу чукотской земли.

Плащик стал удаляться медленнее. Через минуту они стояли рядом, Муханов и фельдшерица, и Муханов говорил и размахивал руками, а она уже смеялась, закидывая голову, милая простушка.

Санька двинулся к ним. Муханов нес обычную тарабарщину незатейливого уличного знакомства, но столько было неудержимой силы в этой тарабарщине, что фельдшерица смотрела на Муханова с нескрываемым изумлением и все смеялась, смеялась.

Вблизи девчонка оказалась и вовсе простой, так — молодость, зубы, глаза и этот плащик: наверняка окончила медицинское училище в какой-нибудь Кондопоге или Сызрани, и только один бог да Министерство здравоохранения знают, каким ветром занесло ее в это гиблое место, дикое село, что построили плотники с длинными топорами. Санька вспомнил, как покоряли они с братом Семой надменных столичных красавиц, и попытался влезть в разговор. Но ни черта у него не получалось. Мухановский поток красноречия все нарастал, и фельдшерица даже вроде так и не посмотрела на Саньку. И в то же время сам Муханов как-то неуловимо, — черт его знает, как это у него получалось, раз он стоял на месте и

говорил, — но все оттеснял и оттеснял Саньку, и Санька очутился уже метрах в пяти, и ему ничего не оставалось, как брякнуть помимо воли:

— Ладно. Пойду посмотрю деревню.

Даже жест такой сделал, как бывало: сигарета между пальцами, небрежный взмах «пойду прошвырнусь», и, уже удаляясь, даже сказал самому себе, как тоже бывало в случае неудач в той жизни: «Ничего особенного. Мухановский товар». И даже убедил себя в этом. В общем позор был полный, в полном законченном варианте.

Санька шел по поселку, месил сапогами черный торф, пока не увидел вывеску «Магазин». «Зайду», — решил он.

Магазин был пуст. В неправдоподобной тишине смотрели на Саньку ряды консервных банок, тюки и кипы какого-то текстильного барахла на полках. Две запыленные витрины с галантереей мерцали мутно и пыльно.

«Как во сне», — подумал Санька. В это время тихо, так же, как во сне, заскрипела где-то дверца, и оттуда выплыла, не вошла, а выплыла бесшумно женщина в домашнем цветастом халате, в дебелой упругости сорока своих лет, — продавщица.

— Ха, москвич! — сказала она.

— Во! — удивился Санька. — По портрету? Как артиста?

— Все знаем, — загадочно сказала продавщица, бесцеремонно разглядывая Саньку. — Домов-то двадцать. Людей меньше. А рыжий где?

— Любовь нашел, — отшутился Санька. — Рыжие сразу находят.

— Людка, — утвердила продавщица. — А ты ничего, красивый. Правильно говорили.

— Если бы десять минут назад мне это сказали, — снова пошутил Санька.

— Людка! — опять утвердила продавщица. — Не на ту, голубчики, напали.

Она все разглядывала и разглядывала Саньку, потом вдруг сказала:

— Заходи!

Санька нырнул под прилавок, двинулся за могучей цветастой спиной и очутился в дощатой комнатушке: фактуры наколоты на гвоздиках, счеты, стол, скамейка с одной стороны, дощатый же топчан — с другой. В углу — печь.

— Подожди, — сказала продавщица и, загораживая

спиной стол, стала убирать в сумочку что-то. Санька краем глаза заметил какие-то фотографии с оборванными углами, письма, тесемки, обрывки.

— Садись, — сказала наконец продавщица и сама тяжело опустилась на топчан, а ридикюльчик свой положила за спину и так прижала его к стенке, как будто Санька мог выдернуть его, заглянуть внутрь подержанной клеенки, украсть тайну. Санька сел на скамейку. Продавщица все разглядывала его, и сам он смотрел: твердое, чуть обрюзгшее, красивое лицо, и мрачная сила была в глазах.

«Господи! — подумал Санька. — Да она же пьяна».

— Верно, — сказала продавщица, будто читала его мысли. — Выпила. Надо было. Ты пьешь?

— Еще как, — сказал Санька.

— Привираешь, — сказала продавщица. — Достань за занавеской. Спирт там, вода и прочее. Быстро.

Они выпили по стакану разведенного спирта. Санька начал хмелеть, но продавщица все оставалась такой же — красивый, подержанный временем монумент в цветастом халате.

— Меня Зина зовут, — сказала она. — За глаза Зинкой. Рыжий придет?

Санька пожал плечами.

— Зачем? — спросила Зина. — Зачем вы, молоденькие, здесь? Люда эта приехала. Хорошая девочка. Вы двое. Сюда убегают. В ваши годы зачем убегать?

— Мы не убежали, — сказал Санька. — Мы прибежали.

Но цыганские продавщицыны глаза смотрели на Саньку с гипнотизирующей проницательной силой. Она покачала головой.

— Деньги! — сказала она. — Совесть потерять прибежали. Налей!

Они выпили снова, и Зинка сказала:

— На моей работе, да с этими чукчами я могу миллионером быть. Травяной, доверчивый народ. Но нет у меня ничего, кроме моей зарплаты... — Она недоговорила, а еще плотнее прижала к стене свою заветную обшарпанную сумочку с неизвестными в ней секретами. — Вот за что меня уважают, хотя и зовут за спиной Зинкой.

Санька чувствовал, что он шалеет от спирта и немигающего Зинкиного взгляда. «Этот невероятный мухановский финт с фельдшерицей. Зинка здесь почему?

Убежала от суда, как я?» А Зинка зловеще подняла палец:

— Помни! Народу здесь мало. Разные есть. Умные есть, глупые, посрединке. Но сволочей нет. Сволочи здесь не жить — ничего здесь не скроешь. Все на виду. Так и рыжему передай... Теперь уходи, москвич.

Санька снова шел по торфяной безлюдной улице, голова кружилась. Улица все так же была безлюдна. Белые кубики домов стояли по сторонам, и внимательные их окна смотрели на улицу и на Саньку.

23

Людвиг.

Он зашел к ним вечером при костюме и с коньяком. Фигура дышала торжественной учтивостью. Торжественнее всего был костюм — изделие стародавних лет с ватными плечами и широченными брюками, но, черт возьми, это был великолепный костюм, и сам Людвиг, французского облика человек, был великолепен.

— Вот, — сказал Людвиг. — Я зашел... Лимона, к сожалению, нет. Здесь коньяк принято пить под шпроты.

— Пойдет, — рассеянно сказал Муханов. — Какие там лимоны.

Людвиг сходил в свою комнату и принес три кристально чистых стакана.

— Я вымыл их с содой, — сказал он, — коньяк любит очень чистую посуду.

— А, чего там, — снова откликнулся Муханов. — Какая посуда.

Чопорная костюмная Людвигова церемонность придала тон их первому вечеру в этом поселке. Сдержанная беседа взрослых людей. Санька, еще не опомнившийся от продавщицыного спирта, изо всех сил старался не быть пьяным, и даже Муханов, весь какой-то взъерошенный, весь внутри себя, держался.

— Вы из Прибалтики, да? — спросил он. — А сюда как?

— Вам не понять, — строго ответил Людвиг. — Вам ничего, ребята, не понять.

— Мы что, чурки? — обиделся Муханов.

— Не те слова. Не то, — покачал головой Людвиг. — Человека можно обстрогать до чурки. Но обычно человек — больше.

Людвиг достал коробку «Казбека», с легким таким поклоном предложил Муханову и Саньке.

«Сейчас, — думал Санька, хмелея от папиросы еще больше. — Сейчас мы о тебе все узнаем, старина де Голль».

— Мне было 22 года, и у меня был свой пароход, — сказал Людвиг. — Достался от отца. Маленький старый пароход, но в то время это значило много. Вот. — Он достал бумажник и вынул оттуда желтую, твердого картона фотографию. Причал, борт судна с какими-то разводами, и на фоне борта высокий светловолосый парень с победными глазами, в морской фуражке. — Когда перед войной советские войска занимали Латвию, мне предложили огромные деньги за рейс в Гамбург. Я согласился. Я был отчаянным, молодой человек. Я твердо хотел быть хозяином, организовать свою «Кунард Лайн». На всех океанах мои пароходы. Нас несколько раз обстреливали, но пассажиры, которые дали большие деньги, говорили: «Гамбург», и я шел.

В Гамбурге у меня пароход отняли. Я обиделся на немцев и перешел границу Франции. Потом попал в Африку. Воевал с Роммелем, был в иностранном легионе. У меня французские ордена, звание. Говорят, помогало, что походил на одного их генерала. Нет, просто я верил в свою звезду и ни черта не боялся.

После войны я вернулся, хотел забрать родных и жить во Франции. Их никого не было, немцы убили всех, узнав, что я воюю с их Роммелем. И вот тогда я понял, чем была эта война. В Африке были игрушки. Я попросил советское подданство. Мне его дали. Смутное было время — одни латыши стреляли в других по лесам. Раньше их убивали немцы, теперь они — друг друга. Я боялся, что меня арестуют: бывший капиталист, помог бежать сотне других, приехал из империалистической державы. Я не мог видеть, как латыши убивают друг друга.

Я пошел в ЧК и сказал: знаете, я не шпион и не враг. Но я не хочу, чтобы меня ссылали. Давайте, я сам поеду туда, куда ссылают, — мне все равно, куда ехать. Мне сказали: «Езжай. Езжай куда хочешь. Ну, сказали, езжай на Север».

Я поехал на Север, потом попал сюда. И, знаете, я часто думаю: вместо Гамбурга мне надо было сразу ехать сюда.

В этом нет странного, ребята. Я не совсем маленький

человек. Море, Африку, почет, деньги и смерть я трогал своими руками. Но вот на старости лет из всех нужных дел я могу вспомнить только одно: хлеб, который я пек здесь людям. У любого, большого и малого, корабля есть своя гавань. Моя гавань была здесь, а я не знал этого ни в Гамбурге, ни во Франции, ни в Алжире...

Людвиг замолчал, потом спокойным таким жестом вынул из нагрудного кармана аккуратнейший платок и спокойно же приложил к уголкам глаз.

— Я пьян, — сказал он. — Пьяные часто плачут. Наверное, я видел в своей жизни сотни плачущих пьяных мужчин.

— Вот, Саня, — сказал с мечтой Муханов. — Свой пароход, вроде мотоцикла. Африка. Французские ордена. А мы живем с тобой, как утки в осоке. Только осоку и видим.

«Кошмар, — чуть покачиваясь на стуле, думал Санька. — Да тут зоосад какой-то. Одни сбегают, другие прибегают, третьих присылают. Иллюзион».

В это время стукнула дверь, и, как глас судьбы, как трезвое воспоминание о жизни в этом сумасшедшем дне, вошел председатель Гаврилов.

Прищуренным якутским взглядом он окинул стол и сказал зловеще:

— Уже! Успели! Шустрые вы, ребята.

— Да, — радушно улыбнулся Людвиг. — Я знакомился с этими хорошими молодыми людьми.

— Знакомились мы, — юродивым тоном промямлил Муханов.

И пьяный Санька по этому тону, по мухановскому голосу понял, что сегодня что-то стряслось, ликует сегодня Колька Муханов. Так бывало на Кертунге после дня хорошей работы, когда Пустые гвозди давал план и они вышибали не только норму, но и прогрессивку, и жизнь становилась яснее. В такие дни Саньке после возни с воротком и ломиком хотелось одного: поесть тушенки и залечь на нары, а в Муханова как бес вселялся, он начинал прикидываться дурачком, по очереди заводить всех ребят из балка.

Гаврилов потряс пустую бутылку:

— Еще есть?

— Есть, — ответил Людвиг. — Имеем в запасе еще одну.

— Тащи.

— Да, — снова смиренно сказал Муханов. — Будем знакомиться еще.

Гаврилов ничего не ответил на мухановское нахальство, налил полный стакан. Выпил и заблестел узкими глазками.

— Вы, ребята, умные, или живете, как грибы под деревом, просто так?

— Да ведь как сказать, — не сказал, а пропел Муханов. — У нас в Муроме говорят: «Гриб — он ежели, то тоже...»

— Врешь, — перебил его Гаврилов. — Эту поговорку ты сейчас сам выдумал. Дело так. Деньги сейчас вам платить буду я. Должен я знать — кому плачу?

Коньяк совсем сильно ударил Саньке в голову, и в этой странной обстановке, в странных каких-то местах, в круглом каком-то дурацком доме он чувствовал себя хитрым-прехитрым зверем, мудрым таким змием, который знает и понимает все.

— Может быть, лучше сказать за что и сколько? — многозначительно сказал он.

— Нет! — отмахнулся Гаврилов. — Не так давно прислали мне ветврача. Институт. Высший специалист. Я в слезы. От радости. Давай, говорю, лечи оленей, учи моих пастухов по науке. Они темные люди и оленей, говорю, пасут, как их в каменном веке пасли. «Я оленей в глаза не видал, — отвечает мне высший специалист. — Может, маленьким в зоопарке видел. Не помню. Я коневод. Здесь что, лошадей нету?» — «Нету, — говорю, — езжай обратно». И заплатил я ему за дорогу туда-сюда от Мелитополя и еще месячный оклад.

— Повезло специалисту, — ухмыльнулся Муханов.

— Глупый ты, — сказал Гаврилов. — У меня в стадах 12 тыщ голов оленей. И пасут их эти самые темные, темные старики. Живут в ярангах, как миллион лет назад, и зарабатывают деньги, каких вы в глаза не видали.

— Это так, это так, — согласно кивал головой Людвиг.

— За что старикам такая везуха? — спросил Муханов.

— Потому что люди эти имеют страшную привычку и специальный ум, — грозно сказал Гаврилов.

— Что лошадь, что олень, все равно — копыта.

— Ты первый это сказал? Побольше тебя орлы от меня отмахивались такими словами. Что олень ягель ест — тоже, конечно, знаешь? А что олень летом ест од-

но, зимой другое, весной третье — тебе неизвестно, как тому зоотехнику и многим орлам. Так? И что олень самый капризный на свете зверь, тоже не знаешь? Выжил там, где мамонты передохли, и погибает от пустой царапины. Десять лет надо изучать этих оленей, чтобы сказать: ничего я в них не понимаю.

— На здоровье. Кто мешает, — ехидно прищурился Колька.

— Олень мешает, — яростно ответил Гаврилов. — Он, понимаешь, возле теплой избы не стоит, ему ходить надо. И не нашлось пока ни головы, ни рук, которые бы сделали так, чтобы люди, которые за оленем ходят, которые желают его изучать, жили как люди, а не в каменном веке. Многие грибы хотели получать пастуховы деньги. И бежали оттуда. И понимаю я их без осуждения. Зима. Полярная ночь. Жилье — полог. Спать в этом пологе с непривычки — умрешь от духоты. Утром полог разбирают, и ты в темной ночи круглый день на снегу. Пастух — сутки в снегу. Еда — голое мясо. Топливо — прутик. На прутике кашу не сваришь, тортов не напечешь. Работа — сплошная загадка. Вот за что получает свои тыщи пастух-старик, темный академик. И тыщи эти ему ни к чему. На «Волге» в тундре гонять негде, телевизор в нарте не повезешь. Умрут старики, кто будет знать оленя?

— Да, да. Кто? — горестно подтверждал Людвиг.

— Приедет школьник из интерната. Десять классов. Я, говорит, в пастухи не хочу. Хочу получать образование и ходить в кино по асфальту. Что я могу сделать? Имею я право этого парня гнать в каменный век? Его оттуда только вытащили, и я его снова туда. Есть у меня совесть?

— Значит, с другого конца надо тормошить этих оленей, — победно сказал Муханов. — С крыши там, чтоб за оленем каталась, стенки-переборки, ванная комната и цветной экран за вечерним чаем. Условия существования. И не будет тогда отбоя от желающих изучать твоего оленя за хорошие деньги на свежем воздухе. Успевай выбирать получше. С людей надо начинать.

— Вот, — сказал Гаврилов и тяжело поднялся. — Теперь я вижу, что ты умный человек. И будете вы с другом вдвое умнее, если не удерете через месяц. Проживите год. За год ум ни к чему не присохнет — езжайте. Не буду спорить.

Мудрый змий в опьяневшей Санькиной голове все ка-

чался на теплых хитрых волнах. «Нет, — усмехнулся змий. — Нас не проймешь. Слы-ы-хали мы мно-о-го разных слов... Катись ты, — устало отмахивался Санька от змия. — Пусть говорят люди. Может, им это всерьез интересно...»

Гаврилов ушел.

— Ну что же, — стоя, сказал Людвиг. — Выпьем по последнему глотку, как говорят, за знакомство...

Когда за Людвигом закрылась дверь, Санька вдруг заметил, что Муханов смотрит на него с неприкрытым восхищением.

— Санька, гад, — сказал Муханов. — Ты же пьян был, как шина. Но сидел и хлопал глазами, как самый трезвый человек на земле. Но я-то твои зенки знаю.

— Тренированный я, — сказал Санька. — По «Метрополям». Гаврилов тебе пел про специальных людей, тренированных спать в снегу и варить мясо на прутике. А я, понимаешь, оч-чень, о-ч-чень тренирован пить и казаться трезвым...

— Да, — загадочно согласился Муханов. — Кто к чему. Ложись спать, пьяная дура.

24

...Началась странная зима. Санька спозаранку шел с Людвигом в пекарню, отдельно стоявшую приземистую избу, посреди которой была вмазана четырехсотлитровая бочка-печь. Колол дрова, расшибал ломиком слежавшийся уголь, носил от реки воду. Людвиг надевал белый фартук и деревянной лопатой месил в ящике пузырящееся тесто. Санька чувствовал, что весь он пропах печным жаром и кисловатым запахом свежего хлеба. Муханов штукатурил стены в правлении и школе. Через месяц они знали здесь все, как будто всю жизнь прожили среди этой кучки закинутых в тундру домов. Домов в поселке на самом деле было больше, чем людей, ибо были выстроены они для пастухов, пропадавших где-то в далеких хребтах со своими стадами.

В октябре замерз Китам, замерзли его протоки и болота, и пастухи стали поодиночке и группами приходить в поселок, стройные люди в узких оленьих штанах, в грязно-белых камлейках с откинутыми башлыками. Они жили в поселке по нескольку дней и исчезали опять в желтой осенней равнине, как одинокие мореплаватели,

наткнувшиеся на корабль, чтобы снова оставить его за горизонтом.

После их ухода оставались легкая грусть, смутные мысли о том, что не так, не так ты живешь на земле, что поселок, этот корабль среди кочек и пустынных вод Китама, и хитрый председатель Гаврилов, и правление с бумажной пылью его шкафов, и продавщица Зинка, дебелая, знающая все на свете, мудрая Зинка, и катерный причал с обмерзшими сваями, и мысли твои, и низкое осеннее небо, — все это только часть, небольшая деталь большой нужной тайны, которую унесли с собой молчаливые тонконогие люди. И у этих людей был свой мир, неведомый Саньке.

Санька ловил себя на этих мыслях и задавал вопрос в стиле математика жизни брата Семы: «А на кой черт нужно мне думать об этом?» — и приходил к математическому же выводу: «Ни на кой», «до феньки они мне», как говорил брат Сема. «Тогда на кой черт нужны были Федор, Братка, Славка Бенд, Гаврилов и, наконец... Муханов?» Тут Санька ставил точку. Боялся идти дальше. Муханов был его опорой в этом году, как в Москве опорой был брат Сема; видно, он, Санька, не может жить без опоры. Тогда получалось, что тебе вообще никто не нужен, и ты стоишь, как паршивый монумент, поставленный в том месте, куда ни один человек никогда не зайдет, не зайдут даже эти тонконогие люди, что уходят сейчас в неведомое, и, может быть, знают то, чего не знает Санька Канаев, хоть и уносят в горбатых тюках сухари, которые пек он.

25

Колька Муханов ходил весь какой-то тихий, ошалелый и каждый вечер исчезал за стенку к фельдшерице, там хрипел патефон, раздавался мухановский баритон и беспричинный Людин смех. С Санькой он на эту тему не разговаривал, и Санька тоже молчал. Ходил два раза пить спирт к продавщице. И стал писать брату Семе. Писал кратко: так и так, жив и здоров, о приезде не говорил. Оставлял себе свободный вариант. Проще.

В ноябре прибыл почтовый самолет, взрыл снег лыжами, выкинул мешки и отбыл, а Санька получил толстый конверт — письмо. Было это в воскресный день.

Письмо брата Семы содержало отчет о жизни.

«...И тут этот Ляма нашел гениальный выход. Гудим

два дня, завтра наконец и праздник, а у нас ни копейки, все спустили. Ляма хрипит (знаешь, как он с перепою хрипеть может): «Занимай у соседей по червонцу под честное слово до завтрашнего утра». Нам, джентльменам в денежном вопросе, соседи, конечно, верят. Разбежались, сбежались — есть четыре червонца. И этот Ляма на все червонцы накупил водки. Не коньяк, не бренди, а элементарный «сучок», что числился раньше двадцать один двадцать с посудой. В двенадцатом часу ночи вышел Ляма на промысел. Мы следом: охрана и спиртоносы одновременно. У «Балчуга» столпотворение, жаждет толпа выпить, в дверях швейцар-убийца. Ляма наметанным глазом вынимает из толпы по одному, ведет в подворотню. И человеки послушно отдают по пять рублей в обмен на бутылку. А последнюю посуду какой-то очкарик согласился взять за червонец. Ни разу, говорит, не пил, а сегодня горит душа. Какое значение имеют деньги в этом случае, говорит.

Ляма посоветовал запомнить, что деньги имеют большое значение. Благородный человек...»

Брат Сема спрашивал еще: ласковы ли косоглазые эскимосочки и как вообще там в высоких широтах решается женский вопрос. Излагал со смехом, что «стал он почти сутенером», ибо Горбатая Нога присох к его, Санькиной, Римке («помнишь?»). И каждый вечер тащит он брата Сему в кабак, чтобы он по телефону вызвал эту Римку, «...и потом весь вечер смотрит на нее трагическим, как у весеннего кота, взглядом, а та его даже и презирать не желает. Горбатая Нога платит по счету, распахивает нам дверцу такси, и мы с Римкой вдвоем укатываем ко мне на квартиру...».

Много еще чего писал брат Сема. Сладким привычным тленом тянуло от его письма.

За стенкой хрипел патефон. Шульженко. Каменный век. Санька лежал на койке, закинув руки, ленивые мысли шли к голове, перед глазами плыли мемуары, сладостные далекие горизонты.

Вошел Муханов и тоже молча лег на койку.

— Как дела за стенкой, старик? — лениво спросил Санька. — На мази?

— Глупый ты, — миролюбиво ответил Муханов. — Хлебопек.

— От брата письмо. Смешное. Хочешь?

— Давай.

Муханов долго шуршал листками, потом кинул письмо на стол и замолк.

— Ну как? Жизнь? — с нетерпением спросил Санька.

— Сука твой брат, — четко и тихо ответил Муханов.

И Санька, опешив на несколько секунд, вдруг понял, услышал, как выскочил и щелкнул в руках Муханова тот самый ножик.

— Саня, — все так же тихо сказал Муханов. — Я шел сейчас к тебе сказать, что женюсь. Хотел как другу все рассказать. Что я. Что Люда. Что у нас вместе. Все хотел рассказать. Теперь не хочу. Мы с тобой вроде вместе подписались кашу есть. Врозь наши дорожки. Люде здесь еще два года быть для диплома. Я с ней остаюсь.

— Брата. За что? — спросил Санька.

— Ты, Саня, слепой или глупый. Ты что мне про брата все время пел? Как про мощного льва из цирка рассказывал. Уголовник Федор восемнадцать лет отсидел — под ножом не пойдет в такое. Славка-бандит от гордости сдохнет — не будет. А брат твой при диких деньгах у кабака водкой торгует, с чужой бабой за чужие деньги спит, доходягу этого шалого обирает...

И Санька, который уже не мог выносить этого томительно-страшного тихого разговора, спросил с бессильной насмешкой:

— Как же «Волга» твоя — голубая мечта на шоссе?

— Я, видно, человек, приспособленный для грузовика, — усмехнулся Муханов. — Дурь сидела в моей башке. Болтался, как лишняя гайка в моторе. Люда, девчушка эта, промыла мне шарики. Верит в меня, как в бога. И ни черта мне теперь не надо. Одно, Саня, знаю: ее упущу — мне совсем ничего будет не надо.

Санька взглянул на Муханова и увидел, как тот, похудевший, спокойный весь, сидит на кровати в красной своей ковбойке и толстопалые руки лежат на коленях. Чужой, не Санькиного мира человек.

— Да, — сказал Санька, — случайно, видно, мы с тобой встретились. Я думал, будем вместе искать рубли. Большие рубли. И вот... Может, я тоже сюда попал случайно?

— Когда шоферюга пьяный, ему человек под колеса случайно попадает, — сказал Колька. И спросил: — Как дальше мыслишь?

— Я человек, не приспособленный печь сухари. Вот так, — ответил Санька и стал натягивать полушубок.

...Сумеречный ноябрьский день висел над поселком. Поземка на улице заметала мерзлую чугунную грязь. Санька пошел в один конец поселка, но, не дойдя до магазина, круто повернул обратно. «Жалкий трус. Дурак. Хлюпик. Зачем сбежал из Москвы? Отчего? Пил водку, разболтал себе нервы, навыдумывал. Был при месте, ничто не угрожало. Вовка-аристократ наверняка и сейчас в монете купается, а он в какой-то дурацкой стране, в грязном полушубке — хлебопек. Благородный нищий. Сюда надо бешеных присылать для успокоения. Бешеный Славка затих, Федора бригадирством купили, Зинка эта живет здесь со своей сумочкой, Людвиг... И вот наконец поймало Кольку Муханова. Затих. Женится. Дурак...»

Санька вышел на лед Китама, потом вдоль заснеженного берега пошел в сторону — смотреть на осточертевшее за неделю зрелище забоя оленей. Неделю назад к поселку пригнали специально отобранное на мясо стадо.

Обреченные на смерть олени метались за наспех сделанной загородкой. Молчаливые пастухи с чаатами в руках заходили за загородку, стояли, расставив ноги, испуганная оленья волна все кружилась и проносилась мимо в шорохе снега и хорканье быков. Незаметный взмах руки, в воздухе разворачивается в недоумении и, как игрушечный, начинает прыгать на четырех ногах еще живой олень. Пастух скользит торбасами по снегу, перебирает ремень, все ближе и ближе, и вот — короткий взмах ножа, к оленю уже спешат женщины, оголив правую руку, а то и весь торс, они с непостижимой ловкостью работают другими, короткими ножами. Растут вороха окровавленных шкур, целые штабеля туш, лес бессильно задранных к небу култышек. Хлопья снега тают на теплых тушах, на смуглых женских плечах...

Ночью Муханов сказал в темноту:

— Одну кашу мы ели. Одну бутылку пили. Как товарища прошу — не уезжай до Нового года. В Новый год свадьбу решили.

— Ладно, — сказал Санька.

Откуда было Муханову знать, что лежит он сейчас с открытыми глазами и все гонит и гонит от себя видение презрительных мухановских слов: брат Сема, человек-скала, акула жизни, торгует водкой в подворотне у «Балчуга». И никакие слова, никакие выверты не помогали: «брат Сема торгует водкой у «Балчуга». Не падать же ему на колени, не молить слезным воплем: «Колька, не

бросай меня. Пропаду». Не только у бандитов есть гордость, и не поможет ему забалдевший от счастья Муханов. Черт бы вас побрал, люди.

26

Муханов.

Муханов погиб за две недели до Нового года. Погиб из-за идиотской случайности.

Два дня подряд перед этим заходил Гаврилов, жаловался: дали колхозу премию — десять «Спидол» для бригад. Трактор стоит, и нечем эти «Спидолы» доставить, обрадовать людей. Потом попросил напрямик:

— Ты, Саня, парень грамотный. Съезди в ближайшее стадо, научи их обращению с этой машиной, а дальше они сами развезут. По газетам там кое-что расскажешь.

— Могу, — сказал Санька. — Все равно. На чем ехать?

— Пынычева упряжка, больше не на чем, — сокрушенно вздохнул Гаврилов. — Уговорю. Отвезет.

— Что ж так? — спросил тогда Санька. — Колхоз с Бельгию величиной. Транспорта нет.

— У нас борьба за механизацию была, — сказал Гаврилов. — Выяснили, что собаки много жрут ценного корма. Раньше-то у нас штук десять упряжек было. И вот постановили, чтобы вместо собак были вездеходы, аэросани и тракторы. Для начала всех собак перестреляли, чтобы не жрали ценный корм. У одного только единоличника Пыныча и остались. А аэросани забыли.

— Поеду, — без особой охоты сказал Санька. — Все равно.

И тут-то и вмешался Муханов.

— Это я поеду, — сказал он. — Саня человек городской. Он только улицу Горького перейти может. Я бывалый солдат штрафных батальонов, и потому хоть на Луну. Меня всюду можно.

И Муханов, семейный, бывалый человек, победно взглянул на Гаврилова.

Они уехали на другой день: небольшой, завернутый в шкуры тюк с приемниками и батарейками, шесть Пынычевых собак и сам Пыныч, хмурый, как туча, и Муханов, смешной в непривычных мехах.

Стадо, по сведениям Гаврилова, находилось километрах в сорока в горной долинке.

Часа через три после их отъезда задула поземка, к утру задула пурга.

— Ничего, — усмехался Гаврилов. — Добрался уже твой Муханов. Чаюет да оленину ест. Эх, сам бы поехал. Люблю я в пологе пургу пережидать. Старики тогда болтливы бывают. Чего не услышишь.

Вечером прибежала встрепанная Люда.

— Пыныч здесь!

Они пришли, сгибаясь от ветра, к Пынычеву дому. Ветер нес влажный снег, налипавший на полушубки. Смутными шарами светились в метели редкие лампочки на столбах. Света у Пыныча не было. Дверь была заперта. Гаврилов стал бить в дверь ногой, потом дернул, сорвал запор.

При свете спички они увидели забившегося в угол Пыныча, дико смотрел он из этого угла.

Ни черта нельзя было добиться от ошалевшего, полубезумного старика. Видимо, когда задула пурга, Пыныч, давно уже растерявший от бездельной жизни в поселке все навыки, испугался и гнал вначале собак, потом они легли в снег отлеживаться. И чем дальше, тем больше к нему в темноте приходил страх, и, уже не помня себя, он поднял упряжку и стал погонять, убегая от страха, а может, от криков Муханова. Собаки сами притащили его в поселок.

Подняли на ноги весь поселок. В смутных сумерках декабрьского полярного дня самолет Ан-2 утюжил тундру.

Нашли Муханова через пять дней. Нашел его неугомонный Толька, который все эти дни не зная устали мотался по тундре на коротких лыжах, и стали уж опасаться, как бы и он не пропал. Толька нашел Муханова в русле Китама, в снежном надуве под чахлым кустом. Бывалый солдат дисциплинарных батальонов не растерялся и правильно сообразил выйти в русло, чтобы по нему дойти до рыбалки, но еще правильнее было бы просто лежать. Выбился из сил, прилег. Промокшая от пота кухлянка уже не грела.

Лежал он весь в комке, притянув колени, только голову в последний, видно, момент откинул. Так в комке его и привезли в поселок. Шапка где-то была потеряна, снег забил рыжую мухановскую шевелюру, и оттого он казался седым.

Стояли молча. Слышно было, как за стенкой девчоночьим тонким голосом плачет Люда. Плакала фельдшерица о коротком месячном счастье.

— Хорошо, что песцы его не нашли. Найдут — обя-

зательно обгрызут все лицо и, бывало, кишки выедают, — сказал Братка.

Мутные слезы текли по безалаберному Браткиному лицу. Федор угрюмо сказал Гаврилову:

— Говори, где могилу бить. Крест или столбик со звездочкой прикажешь поставить, председатель?

Санька стоял рядом с одеялом, на котором лежал Муханов. Он все смотрел и смотрел на его не обгрызенное песцами лицо. Глаза у Муханова была открыты, только лед скопился на них, и Саньке казалось, что сквозь этот лед смотрит на него Колька Муханов.

Спазма все больше сжимала ему горло, а потом в черепе где-то изнутри возник огромный ком, опухоль, и она давила на череп так, что казалось, голова сейчас лопнет. Санька растолкал людей и пошел прочь от разговоров о выеденных кишках, от мухановского взгляда. Где-то на полдороге его поймала Зинка-продавщица, схватила за руку, втащила в дом, потом «пей» — влила в горло полный стакан коньяка. Опухоль в Санькиной голове все росла, давила с неодолимой силой, и коньяк не мог заглушить ее. Зинка сидела напротив на стуле, курила папиросу. Потом грубо сказала:

— Ты плачь, красивый москвич. У всякого свое горе. Только счастье не у всякого свое. Ты мухановским счастьем теперь жив сидишь.

И от этих слов лопнула наконец опухоль в мозгу у Саньки, и он заплакал и бил себя головой о коленки, чтобы скорей вышли эти слезы и перестало давить на мозг. Никогда, никогда, черт побери, не уйти ему теперь от покрытых ледяной коркой мухановских глаз. Всю жизнь будет смотреть на него мертвый Колька Муханов.

И опять, как только он вернулся домой, как три месяца назад, в комнату вшагнул торжественный Людвиг — все в том же бесподобном костюме. В руках Людвиг держал свое ружье с вертикальными стволами.

— Саша, — сказал он. — Прошу вас, возьмите на память о вашем друге. Это «меркель» — большое ружье. Больше у меня ничего нет.

И Людвиг протянул Саньке сверкающую полированным деревом и металлом драгоценность.

— Нет, — сказал Санька. — Не надо.

— Да, — непреклонно сказал Людвиг. — Я видел много людей и кое-что в них понимаю. Возьмите это ружье.

— Нет, — бессильно сказал Санька. — Это не мне. Не надо.

— Да, — сказал Людвиг. — Я стар, мне тяжело. Придется вам, Саша, взять это ружье и тот холм. Вот.

Людвиг непреклонно протянул Саньке «меркель», и Санька взял вороненые, все в фирменных клеймах, стволы. Как проклятую долговую расписку, как ордер на кабальную яму — взял.

Похоронили Муханова в старом Усть-Китаме. Надгробное слово произнес Федор, обнажив лобастую голову.

— Вот, — сказал он. — Все-таки столбик стоит, а не... щепочка с номером. Весной покрасим столбик. Лежи, друг, спокойно.

Потом, как и раньше, как полгода назад, они сидели в избушке у горячей плиты: Братка, Федор, Глухой, Толька, Гаврилов. Пили спирт, грызли мороженого гольца. Говорили о разных вещах, о Муханове — нет. Спирт стоял на столе, по северному обычаю каждый без приглашения наливал себе сам, молча стукал кружкой о край ближайшей посуды.

Санька сидел перед своей кружкой со спиртом, не притрагиваясь к ней. Сидел и размышлял о... слонах. В какие-то давние годы прочел он о том, как обучают только что пойманных новичков. В загон к новичку входят два умудренных опытом ветерана и, сжимая могучими боками, так что некуда бедолаге податься, выводят его в ворота проходить нелегкий курс слоновых наук. Курс наук слона-работяги. Он знал, что стоит ему прийти домой, как сразу в комнату придет Люда и будет сидеть молча и смотреть на него, растерянная девчонка, как будто он, Санька Канаев, должен ей дать ответ на вопрос немыслимой важности. Но нет у него ответов на ее вопросы, а есть только одно: не ответ, а выход. И Санька чувствовал себя, как тот несчастный дикарь, сжатый могучими боками: позади стена, впереди ворота, нет другой дороги, кроме этих ворот, не перемахнуть стенку, не удрать обратно, в пьянящую темноту джунглей. Четкий холодный метроном отстукивал в Санькиной голове. Он не знал, когда тот начал стучать, то ли когда он смотрел в мертвые мухановские глаза, или в тот момент, когда Зинка, не с бабьей жалостью, а так, как человеку человек, положила ему на затылок тяжелую руку, или когда Федор произносил свой загадочный некролог, или когда торжественный Людвиг всучил ему свое драгоценное ружье. Не было Саньке радости от того четкого метронома: все было просто, как идеальный математический

шар, и именно эта хрупкая идеальность не давала Саньке пить спирт. Сгорели, рухнули, осыпались дощатые балаганы, но среди этого хаоса кто-то неумолимый сует ему в руки ведро с известкой и подает пудовый кирпич. И Санька должен взять этот кирпич, потому что в земле, на которую он сейчас его положит, лежат миллиарды тех, кто клал кирпичи до него, и после будут — еще миллиарды. Никуда тут не деться от этого высшего смысла — класть кирпичи, хочешь того или нет.

...Чайник закипел. Он всыпал заварку, досчитал до пяти и снял его. Тот самый чайник, который принес ему Муханов в день переселения к Люде. «Для холостяцкого утешения» — так сформулировал он тогда.

Когда он наливал кружку, несколько капель упало на стволы. Санька стер их рукавом.

Санька держал в ладонях остывающую кружку и смотрел на марево нагретого воздуха над вытаявшими обрывами Китама. Там двигалась цепочка горбатых от тюков людей. Последний визит пастухов перед ледоходом. Люди шли в неторопливом ритме, тонкие палочки на бескрайней холмистой равнине. Санька думал об этих людях, о случайностях. Случайно спасся тогда неистовый Славка, и случайно погиб Муханов. Случайно он попал в эти края, и надо было так случиться, чтобы в этих краях, о которых он и в бредовом сне не мыслил, вдруг появилась у него жена, скоро будет сын с рыжими волосами, и имеется даже могила друга. Что мог сказать об этом П. К. Бобринский, всеведущий граф? Что мог сказать великий математик жизни брат Сема о людях, приспособленных для грузовика, которые погибли и будут гибнуть, ибо грузовик идет по первым дорогам? Что будет, если кончится род этих людей?

— Как дела? — услышал он за спиной и вздрогнул. Бесшумно подошедший Толька заливался смехом уже рядом с ним, весь коричневый от весеннего солнца, коричневое тело в распущенном вороте кухлянки, двустволка, как автомат, на груди. Внизу тяжело взбирался по склону Федор.

— Садись, — сказал Санька. — Чай у меня горячий.

— Вот, — заговорил, яростно дыша, подошедший Федор. — Ты посмотри на этого дурачка. Сманил его твой якутский дьявол. Муханова мало — теперь обработал глупого Тольку.

— Да, — беспечно улыбаясь, сказал Толька. — Ухожу в пастухи. Ты, говорит, специально для тундры родился. Год поучись оленей пасти, потом мы тебя учиться пошлем. Человеком, говорит, станешь. Смешно. Был я все время Толька, вдруг — человек. Нет, я пойду!

— Ты — подведешь? — спросил Федор. И Саньке почудилась опять в вопросе безжалостная насмешка, которая всегда была для него наготове у Федора.

— Нет, — сказал он. — Мне деньги нужны. Хочу накопить монеты на мраморный саркофаг с надписью: «Здесь лежит Санька Канаев — добродетельный человек». Смешно?

— Да, — сказал Федор. — Однажды я вот в таком же случае много смеялся. Друг у меня умирал в лагерном лазарете. Три дня умирал и три дня твердил в бреду: «Хочу имя, фамилию, а не щепочку с номером». Ужасно много я тогда хохотал. И сейчас, как вспомню, прямо корчит от смеха. Один Глухой это знает, как я первый год у него в избушке веселый был.

Санька поднял глаза на Федора, и вдруг словно тайный рефлектор вспыхнул и осветил мир: он увидел покрытое бледной испариной лицо пожилого человека, и бессонную муку в глазах, и тот самый металл, который, если он есть, не дает человеку расползтись в смердящий кисель.

— Повезло мне, — выдохнул в озарении Санька. — Ах, черт побери, как повезло. — И утих метроном. — Деньги нужны, — сказал он. — Люду на материк отправлять буду, чтобы там рожала. Барахло всякое. Знаешь ведь, бабы? Им только до универмагов дорваться. Миллиона не хватит.

— Гусь, — лихорадочно зашептал Толик. — На нас прет. Тихо.

Он стал приподнимать ружье. Тяжелый одинокий гусак летел прямо на них, весь темный на фоне светлого неба, неторопливый и уверенный, как дредноут.

Санька ладонью прижал Толиково ружье. Гусь пролетел низко, так что был виден темный печальный глаз и изогнутые маховые перья, пролетел прямо над ними, не ускорив полет и не обратив внимания на первобытный дым костра, на три человеческие фигуры на вершине холма.

— Гусь, — растерянно сказал Толька. — Красивый какой. Ах, какой же красивый жить полетел.

Тройной полярный сюжет

I. УПРЯМЫЙ КАПИТАН РОСС

Катастрофа

На заснеженном горном склоне, который под мартовским солнцем был так ослепителен, что временами казался черным, шли горнолыжные соревнования. Фанерная доска с фамилиями участников, номерами и секундами против них извещала, что шел третий и последний пункт горнолыжной программы — скоростной спуск.

Трасса была прорублена в соснах. Могучие горные сосны в торжественной зелени и бронзе стволов придавали происходящему почти ритуальный оттенок. Выше по склону сосны исчезали, и вдали, совсем уж торжественно четкие, выступали снеговые вершины и пики.

Внизу была суета. Цветными пятнами разместились здесь кучки болельщиков: коричневых от солнца парней и девиц в немыслимой расцветки свитерах, невероятных фасонов темных очках, с горными лыжами, украшенными всей геральдикой мира, — околоспортивная публика.

И совсем одиноко на фоне горных вершин стоял при двух костылях и одной лыже, ибо другая нога была в гипсе, сожженный солнцем до черноты сухопарый ас горнолыжников.

Далеко вверху, где трасса исчезала в поднебесье, показывалась облачной мошкой летящая вниз фигурка.

Сжимая костыли, ас смотрел на фигурку, бормотал с акцентом:

— Идош, да?

Фигурка исчезала на мгновение и вылетала из-за склона: поджатые руки и колени, шлем, темные очки и воздушный свист — человек уносился вниз, в расплывчатые цветные пятна.

Ас снова смотрел вверх, где следующий уже мчался в смертельную неизвестность и чего сегодня был лишен он, корифей скоростного спуска.

...На вершине горы, где был старт, уже не стояли торжественные сосны. Среди темных скал здесь посвистывала поземка. Лыжники с номерами на груди и спине, их осталось немного, нервно разминались, ждали своей

минуты. По четкому интервалу стартов, по тому, что не было затяжек и перебоев, все знали, что пока никто еще не «гремел», что, значит, трасса в порядке. Но... всякое может быть за три стремительные и бесконечно длинные минуты спуска.

— Номер сорок семь. Ивакин. РСФСР, — сказал в телефонную трубку помощник арбитра. В шубе, валенках, лохматой шапке выглядел он странно среди обожженных высотным солнцем, затянутых в эластик парней.

Сашка Ивакин в это время говорил о чем-то с тренером, как и все кругом, демонстрируя беззаботность. Это ему почти удавалось, так как спорт еще не успел огрубить мальчишескую мягкость его лица.

— После средины «плечо», за «плечом» — «пупок», — тренер машинально присел, спружинил ногами.

— Знаю. Все знаю, Никодимыч, — сказал Сашка.

Он нагнулся и одну за другой защелкнул на ботинках сверкающие «лягушки». Вначале суеверно на правом, потом на левом. В щиколотках сразу возникла уверенная тяжесть, лыжи стали продолжением ног.

— Эй, Русь! — поторопил судья.

Сашка подмигнул тренеру. В тот же миг лицо как бы стянулось на жестких пружинах, морщины легли в углах рта. Когда он выкатил к старту, было уже не лицо — рубленная топором маска. Сашка надвинул шлем, очки и преобразился еще раз — не человек, механизм для смертельного испытания.

— Пшел! — судья сделал отмашку красным флажком.

Сашка толкнулся палками, еще толкнулся, чтобы набрать скорость, сдвинул лыжи, согнул колесом спину, вынес руки с палками под подбородок, и стремительно засвистела трасса, мягко начали пофыркивать лыжи.

В бешеном вираже, окутавшись облаком снежной пыли, Сашка прошел поворот трассы, но тут правая Сашкина лыжа на что-то наткнулась, он сбился, выровнялся, и в это время резко исчез под ногами склон, и он с нелепо задранной лыжей так и летел в воздухе. Голова, шлем, лыжи, руки, снежная пыль — катился Сашка Ивакин по склону и, наконец, замер, врезавшись в могучий сосновый ствол.

Взвыла на дальней дороге сирена «Скорой помощи». Тревожно вздохнула и заговорила толпа разноцветных болельщиков.

Прокатилась к финишу одинокая лыжа, сорванная с ноги Сашки Ивакина, и толпа расступалась перед ней.

Ловко балансируя костылями, скатился к нему на одной лыже покалеченный ас.

— Друга, а? Живой, а? — выпрямил спину и загадочно гаркнул вниз: — Тоббоган!

Какие-то бодрые юноши уже тащили алюминиевое корыто с красным крестом: санитарные нарты тоббоганьего типа.

Разноцветная толпа облепила сосну, и метеором врезался в толпу примчавшийся сверху седоголовый тренер.

Сашка лежал у сосны. Ремень шлема лопнул под подбородком, шлем сбился набок, струйка крови текла по лицу.

Озабоченно протиснулся врач и открыл коробку со сверкающими инструментами.

Сашкин взгляд был бездумно светел, бездумно прост. И отражались в нем цветные пятна, сосны, горы и снег.

...Втыкая каблуки горных ботинок в склон, тренер сам спускал Сашку Ивакина. Шапку он где-то потерял, и солнце безжалостно высвечивало и седину, и рваный шрам поперек лица, и мертвый безжизненный глаз. Живой тренерский глаз неотрывно смотрел на Сашку.

— Саш! Саша! — тихо позвал тренер. Но бездумен по-прежнему был взгляд Сашки Ивакина. Бездумен и прост.

Утверждают, что в критические минуты перед глазами человека проходит «вся его жизнь». Автор не встречал людей, сказавших бы «со мной это было». Но он встречал тех, которым в смертный миг приходили в голову посторонние мысли.

Взбаламученный мозг Сашки Ивакина занят был не горькими мыслями, не мог он осознать и свое положение. Перед его глазами, вроде бы как в кино, плыли цветные картинки давней мечты, вставали люди, которых он никогда не видел, но знал лучше многих, живущих рядом.

«Кабачок «Пьющий кит». Лондон, 1818

Май в Лондоне 1818 года был ветреным и холодным. Туман закрывал стены домов, булыжник на узкой припортовой улочке был мокр, и сквозь этот туман еле мер-

цал фонарь, укрепленный над вывеской кабачка «Пьющий кит». На вывеске был изображен кит с кружкой.

Кабачок этот был темен, пуст. В голых своих стенах, при голых столах и за пустой стойкой стоял молчаливый хозяин, вперив в пространство ничего не выражающий взор.

В этом мрачноватом заведении нельзя было пить в одиночку. Посетителей же было трое: толстяк в вязаном жилете — явно рыботорговец; обветренный малый с бедовыми, видавшими виды глазами, в матросской суконной куртке, и еще одного рассмотреть было нельзя, потому что он не то спал, положив голову на руки, не то просто задумался о безысходности бытия. Все трое сидели за одним столом, освещенные одним кругом света.

— Император Карл Пятый и ко-ро-лева... — торжественно, подняв палец, говорил рыботорговец.

При слове «королева» человек поднял голову. Был он горбонос, смугл, не здешнего, южного облика.

— ...И ко-ро-ле-ва Венгерская, — покосившись, продолжил рыботорговец, — ...посетили могильный камень фламандца Вильгельма Бинкельса. Чем заслужил такую честь этот фламандец? Тем, что изобрел новый и прекрасный способ засолки сельди. Весь мир ест сельдей, но способ засолки...

— Ер-ррунда! — Горбоносый снова поднял тяжелую голову. На смуглом худом лице тревожными бляшками белели глаза. — Тр-реска! Венгер-рская кор-ро-лева! Посетили могильный камень! В Гудзоновом заливе нас сжало так, — он взял в руки глиняную кружку и сжал ее в грязных ладонях. Кружка треснула.

— Две монеты, — сказал в пространство хозяин, не повернув головы.

— Радуйся, что я жив, грабитель, — отмахнулся матрос. — Я говорю: вначале сжало. Потом отпустило. А когда опять сжало и опять отпустило, то было половина трюма воды. Кто выкидывал сундучки на крошечный лед, кто поносил всех святых, кто ждал, что будет из этого светопреставления. А потом сжало снова. Сжало и понесло, и тут уж все принялись молиться... А Рыжий закричал с бака, что видел Ее.

— Кого? — спросил рыботорговец.

— Розовую чайку, — помедлив, ответил матрос.

Обветренный малый покивал головой.

— Когда он крикнул, что видел розовую чайку, все

бросили молиться и начали откачивать воду. Мы качали, а нас тащило вместе со льдом на Северный полюс.

— Их подобрал китобоец где-то возле Аляски, — тихо пояснил рыботорговцу обветренный. — Видеть розовую чайку — значит спастись.

— Про эту птичку я слышал раз двадцать, — сказал из-за стойки хозяин. — Половина тех, кто терпел крушение во льдах и выжил, говорят, что в самый страшный момент появлялась она. И люди спасались.

— Молчи, убийца, — сказал пьяный матрос. — Ты ее видел, а, Себастьян?

— Ее видел Рыжий. Но Рыжий погиб.

— Вот-вот, — насмешливо подхватил хозяин. — Все ее видели перед тем, как спастись, и никто из уцелевших не видел. Всегда ее видел кто-то другой.

— Рыжий кричал, что видел. И мы... мы-то спаслись? Против этого спорить не будешь? — Себастьян хотел что-то добавить и осекся.

Дверь кабачка «Пьющий кит» распахнулась с треском. Ветер влетел в тишину и прошелся между столов, как полисмен, посетивший в глубокий ночной час злачное место.

Держась под руки, в дверь медленно ввалились четыре фигуры. Драная одежда, черные, обмороженные, истощенные лица, и на лицах этих горели шальные от пьянки и возбуждения глаза.

— Ром! — хрипло сказал один, и остальные прикрыли на миг лешачьи глаза в знак подтверждения.

Все четверо плюхнулись за один стол и сдвинули табуретки, точно опасаясь расстаться хотя бы на миг.

— Ребята! — радостно сказал Себастьян. — А вот и наши. Пьяны, как на берегу.

...Капитан Росс шел по узкой улочке припортового Лондона. Сырость, темнота и туман смешивались здесь, как в канале, и стенками канала были мокрые темные стены кирпичных домов с темными глазницами окон, а дном — разбитый булыжник. Тусклые головы фонарей были размещены здесь редко и неравномерно. В столь поздний час по таким районам бродили только подозрительные личности и потерявшие цель гуляки.

Но капитан Росс был трезв. Он плотно закутался в плащ, оттянутый сзади короткой морской шпагой. Шаги гулко стучали по мокрому камню.

В тусклом фонарном свете было видно, что он дале-

ко не молод, а может, его старили морщины у носа и уголков рта, а может быть, все дело заключалось как раз в освещении.

По залитой туманом и ночью улице шел хмурый, тяжеловесно собранный капитан Королевского флота, один из представителей славной морской фамилии Россов. Все это время в ушах у него звучал сухой и официальный голос со старческими придыханиями и неожиданными раскатами привыкшего повелевать человека.

«...По отбытии от берегов Англии Вам надлежит взять курс на Гудзонов залив, выбрав для этого кратчайший при сложившейся морской обстановке путь...»

Какая-то неясная фигура прислонилась к стене дома. Фигура проводила капитана Росса по-волчьи блестевшими глазами.

«...Оставив к весту Баффинову Землю, искать к весту же выхода в море Бофорта... Острова к норд-весту от Девисова пролива изучены слабо, и Вам, капитан Росс, надлежит надеяться на собственную осмотрительность... При удачном стечении обстоятельств и выходе к Берингову проливу как можно дальше пройдите вдоль берегов Сибири, помня о том, что эти земли крайне интересны короне. Любые Ваши усилия в этом направлении будут оправданы...»

«...Туземцы ...животные на берегах... — раздумчиво продолжал голос. — Буде таковые есть, капитан, в тех краях...»

— Буде таковые есть, — пробурчал Росс.

— Остр-ровам не дают наше имя! — Двое пьяных выплыли на перекресток, поддерживая друг друга.

— Не шатайся, Черпак, — бормотал один из матросов. — Ты видишь, сэр стоит прямо.

— Да он же трезвый... сволочь, — с детским изумлением сказал Черпак, уставившись на капитана Росса. — Трезв, как фонарный столб. Клянусь бабушкой моего боцмана — это капитан Росс. Скоро он будет прямой, как сосулька. Вся команда будет пряметь, как сосулька, там, за Гудзоном... — Голоса матросов исчезли в тумане, как в вате.

Волна Темзы слабо била о деревянную пристань. Мерно качались черные ослизлые лодки. Капитан Росс сбежал по отлакированным сыростью ступенькам. На шесте у одной лодки горела оплывавшая свеча в закопченном фонаре. Лодочник дремал, укутавшись в шаль. Росс постучал сапогом о борт лодки.

— Эй, Харон!

— Да, сэр! Слушаю, сэр! — ошалело сказал лодочник, скидывая шаль и машинально хватаясь за весла. Он оглянулся, узнав капитана, и улыбнулся беззубой улыбкой. — Доброе утро, сэр. Хорошо погуляли? На судно?

У нас нет ни имен, ни званий,
Мы быдло, палубный скот,
Только тот, кто моряк по призванью,
Не бросает английский флот.

Островам не дают наше имя. У нас клички
И нет гербов. Эй, на ванты!

Смерть морским молитвам не внемлет,
Рвется жизнь, как манильский трос,
Но всегда Неизвестную Землю
Первым видит с мачты — матрос!

Матросская песня XVIII века

В больнице

Сашка Ивакин лежал на операционном столе, закутанный в стерильное белое облако.

Группа врачей в углу операционной вполголоса переговаривалась, готовясь к операции.

— Перелом ноги, два ребра...

— Рентген показал трещину в черепе...

— Рвота отмечена?

— Да. Первые полчаса после травмы.

— Типичное сотрясение мозга.

Сашка лежал с открытыми глазами. Ему поднесли наркозную маску.

...В вестибюле больницы сидели товарищи Сашки по команде — крепкие загорелые ребята в одинаковых спортивных пиджаках яркого цвета, одинаковых брюках и замшевых туфлях. На коленях у всех лежали одинаковые бельгийские плащики, и было приятно смотреть на этих ребят со свежими от загара лицами, на которых спорт все-таки наложил отпечаток преждевременной зрелости и возмужания.

Тренер сидел, положив руки на колени, и смотрел в пол.

Тихо открылась дверь. Вошел еще один — как был в блестящем эластике с белыми полосами вдоль брюк, только накинул куртку.

— Как? — шепотом спросил он.

Ребята пожали плечами.

— Шаганов взял золотую по трем видам, — сообщил он.

— А спуск? — так же шепотом спросили его.

— Габридзе.

Спортивные юноши покивали головами. Один встал и направился в глубину белоснежного коридора. Тренер поднял голову. И все стали смотреть в коридорный проем. На цыпочках парень вернулся.

— Прогнали! — объяснил он. — Ничего не известно.

Ребята шепотом переговаривались между собой.

— Сашка взял бы.

— Габридзе все-таки...

— А Ловягин?

— Загремел на втором перепаде.

— Эх, Сашка...

В вестибюле стало тихо. Уставившись в пол, думали свою думу спортивные мальчики. Тренер посмотрел на часы.

— Спать!

— Соревнования-то кончились, Никодимыч.

— Спать! — жестко повторил тренер, и мальчики беспрекословно потянулись к выходу, оглядываясь на белую дверь, за которой маялся в наркозном дурмане друг-приятель, надежда команды Сашка Ивакин.

Документы

«В 1823 году из Кронштадта вышла экспедиция на бриге «Предприятие» под командой О. Е. Коцебу и, вероятно, летом 1824 года достигнет мыса Ледяного и направится навстречу Парри, который будет стремиться от Ланкастера к западу... Таким образом, слава географических открытий оспаривается искусными мореплавателями двух сильнейших морских держав Европы, которые не жалеют усилий, одушевляясь желанием решить прежде всех важнейшую географическую задачу».

«Курьер Глазго», 1824 г.

«Англии не простится, и она станет посмешищем всего мира, если позволит какой-либо другой стране из-за

своего безразличия ограбить себя, лишить всех своих предыдущих открытий».

Письмо в Королевское географическое общество полярного капитана Джона Барроу, именем которого назван крупнейший мыс Аляски, 1829 г.

«Одно из судов экспедиции в честь Вас и как подтверждение Ваших заслуг и талантов я назвал «Крузенштерн»... Если произойдет кораблекрушение, «Крузенштерн» станет нашим последним прибежищем, поэтому особенно символично название этого судна, как дань Вашей ценной работе по Тихому океану. ...Если я дойду до границ русских владений в Америке, я водружу там флаг России, ибо моя экспедиция носит чисто научный, а не политический характер».

Письмо Джона Росса Крузенштерну, 19 марта 1829 г.

«...Познание таинств мира есть первейшая обязанность всякого путешественника. Летописи морской истории полны сообщений о невероятных чудовищах. О морском змее, известном под названием Краббен, Горвен или Анкетроль. О сельдяных «королях», которые определяют маршруты стад рыбы. О птице Едредон, которая вырывает из груди пух необычайной мягкости и выстилает им гнездо. В последней нетрудно узнать обыкновенную гагу. Известны также легенды о розовой чайке, странной птице арктических стран, которая приносит спасение гибнущим мореходам. Как всегда, в этих историях трудно, а подчас невозможно отличить правду от вымысла...»

Из дневника капитана Росса

Когда бог создал океан,
Три дня, три ночи пил,
Тут черт пустился на обман
И воду льдом покрыл...

Песня китобоев

В сентябре 1818 года оба судна экспедиции Джона Росса были зажаты льдами в проливе Ланкастера. Но капитан Росс еще не знал, что это пролив. Точно так же, как до этого лета он не знал, что Баффинов залив является именно заливом. Поистине это была загадочная страна. Проливы, которые кончаются тупиком, заливы,

похожие на проливы. Низкие берега сливаются с морем. И все закрывают туманы. Туманы, дожди и снег. Снег среди лета. Все привычные представления о трудностях мореплавания здесь переворачивались. Здесь не было штормов. Не было тропических лихорадок. Не было экваториальной жары. Не было разбойных судов, и пушки на борту судна казались ненужным балластом. «Здесь надо заново осваивать морскую науку», — думал капитан Росс.

Командир вспомогательного судна Эдуард Парри предложил пробиваться дальше на северо-запад. «Каким образом?» — спросил Росс. «Мы победили при Трафальгаре — победим и здесь», — сказал высокомерно молодой лейтенант. Росс усмехнулся. Не ладились у него отношения с этим честолюбивым лейтенантом Парри.

— Так как все-таки вы рассчитываете пробиться к норд-весту? — повторил капитан Росс.

Лицо лейтенанта покрылось багровыми пятнами. Росс отвернулся. Он чувствовал не беспричинное озлобление. Он вышел из семьи адмиралов и сам уже много лет был капитаном. Он знал тяжесть ответственности за порученное дело, за людей, за честь морской фамилии Россов. Именно поэтому он ненавидел адмиралтейских выскочек, ловцов момента, эфемерных болтунов. Какие-то странные пришли времена. Не дело ценится, а фраза, удачно ввернутый каламбур.

Серый в серых сумерках лед окружал корабль. Да, надо заново учиться плавать. Здесь как бы другая планета. Другая земля с сумрачным и непонятным очарованием.

Вскоре выяснилось, что корабли вмерзли в лед окончательно. Когда лед установился, Росс отправил команды судов на берег для сбора плавника. Хорошо, что он позаботился об этом заблаговременно. В ноябре пришла ночь. Печки, установленные в кубрике и кают-компании, топились, хотя тепло держалось только на расстоянии вытянутой руки. На потолке, под койками, в углах кают копился лед. Люди болели от сырости. К весне несколько человек заболели цингой. В начале июня появились забереги и птицы. К концу июня по льду прошли трещины. Но лед стоял все так же и мертвым панцирем держал корабли. Вполне может статься, что он вообще их не выпустит. Стояла тревожная слепящая мгла полярного дня. Было тоскливо.

Росс решил высадиться на берег. Матрос Себастьян,

перед самым отходом экспедиции подобранный в портовых кабаках, предложил сделать маленькую шлюпку для двух человек. Такая шлюпка пройдет по разводьям. А если разводий не будет, ее можно перетащить по льду. Так делают китобои. На палубе стучали топоры, визжал рубанок. Готовилась шлюпка. А внизу у борта стоял шорох. Льдины терлись о борт.

...Они уже в третий раз вытаскивали шлюпку на лед. Вытащили и, не сговариваясь, остановились, утирая пот. Капитан Росс грязным полотняным платком, Себастьян просто ладонью.

— Черт побрал бы эту одежду, — пробурчал Росс. — В ней можно только сидеть. Ходить и двигаться в ней невозможно.

— В ней удобно тонуть. Сразу на дно, — как эхо откликнулся Себастьян.

— Давай, — взялся за лодку Росс. — Осталось немного.

Они перетащили лодку через ледяное поле. Лед был ноздреватым и серым. Дальше до самого берега шла мелкая кашица из перемолотого и битого льда. Отталкиваясь веслами, кое-где отгребаясь, они за два часа добрались до берега. Берег был покрыт темной галькой. Кое-где между камнями торчали желтые кустики метлицы. Кустики качались и дрожали на ветру. Вдаль уходила равнина — унылый пейзаж Канадского архипелага, северо-западной Арктики. На севере вырисовывалась невысокая горная цепь. Она была черной, и только кое-где на ней лежали пятна снега. Не то недавно выпавшего, не то оставшегося с зимы.

— Надо ставить палатку, — решил Росс. — Завтра пойдем к горам.

— Капитан! — тихо позвал матрос. — Капитан, смотрите!

...Он указывал на стаю странных розовых птиц. Птицы летели вдоль берега. Заметив людей, они стали кружиться невдалеке. Несколько птиц отделились, уселись на гальку — розовое пятно на темном фоне. Слышались тихие птичьи крики, и птицы то кружились, то взмывали вверх, то падали вниз.

— Это розовая чайка, — сказал Себастьян. — Ее видел Рыжий.

В первую минуту капитан Росс не поверил своим глазам. Да, он слышал много легенд о розовой чайке. Кто из моряков их не слышал, но увидеть самому...

Неизвестно, сколько времени они так стояли. Потом стая улетела.

Ночью капитан Росс не спал. Он сам не мог объяснить почему. Он вспомнил птиц, все плавание вдоль забитых льдом хмурых берегов, прошедшую жизнь, безудержный свет полярного лета и многое другое. «Я пережил миг, который меняет жизнь» — так примерно сформулировал он мысли. И по какой-то смутной печали он теперь твердо знал, что отныне вся его жизнь будет связана с неприветливыми полярными странами. И еще он чувствовал, что не будет счастлив и знаменит.

Неизвестно, как повлияла эта ночь на его решение. Но на другой день он отдал приказ при первой подвижке льдов возвращаться в Англию. Он решил повторить экспедицию на будущий год. Он еще не знал, что по возвращении самолюбивый Парри подаст рапорт о неправильном руководстве экспедицией и что ему, Россу, долго не видать полярных морей.

О тех далеких островах
Ио-хо-хо, ха-ха!
Не знал Христос, забыл аллах
Ио-хо-хо, ха-ха!
Там Будды нет и черта нет
Ио-хо-хо, ха-ха!
Там неизвестен звон монет
Ио-хо-хо, ха-ха!
На тех далеких островах,
где солнца свет потух,
Увидел Джонни птицу Рух
Ио-хо-хо, ха-ха!
На перекрестках всех морей
Ио-хо-хо, ха-ха!
Он всем рассказывал о ней
Ио-хо-хо, ха-ха!
И в наказание за то,
когда домой приплыл,
По всем портовым кабакам
лишен кредита был...

Матросская песня

Никодимыч

Хирург снял марлевую повязку. Лицо его было усталым и хмурым. Он снял у раковины перчатки, с сомнением оглянулся на Ивакина, укутанного в гипс и бинты. Тренер спал в вестибюле в кресле. Вышла женщина в белом халате.

— Товарищ Шульманов, — позвала она. — Товарищ тренер.

Никодимыч поднял голову. Шрам на лице его налился кровью и резко краснел. Глаз вопрошающе, с готовностью ко всему смотрел на женщину.

— Все кончилось.

— Как?

— Ребра и нога заживут. Удивительно крепкий юноша. Но сотрясение мозга...

...Сашка открыл глаза. Возникло пятно. Потом из этого пятна вырисовался похудевший, заросший седой щетиной тренер.

— Очнулся?

— Та-ак! Крепко я, Никодимыч? Ничего не помню.

— Бредил ты. Круглые сутки.

— Что бредил?

— Песни какие-то пел. Команды кричал. А сегодня все про дневник. Так наизусть и шпарил. Что это ты?

— А-а! Это дневник одного человека. Он розовую чайку искал. Пропал без вести.

— Далась тебе эта птица. Ну я понимаю про космос. Ребята говорили, на Венеру собаку послали.

— Кто это сказал, Никодимыч?

— Не помню. Гаврюхин, кажется.

— Скажи, что я ему голову оторву, когда встану.

— За что голову?

— Чтобы тебя не дурачил.

— Я не сержусь. Он парень старательный. Медали знаешь кто взял?

— Кто?

— По спуску Габридзе. Большую Шаганов.

— Га-абридзе! Что у меня, Никодимыч?

— Расшибся маленько. Обычное дело.

— Чувствую, сильно расшибся. С тобой бывало?

— Неоднократ-но-о. Я тебя вылечу, Саша. Только пусть гипс снимут. Я, знаешь...

— Что-то ты хвастаться стал, Никодимыч.

— Старею, наверно. А что за птичка, про которую ты говорил?

— Есть, Никодимыч, такая. Знаешь, что Нансен сказал про нее?

— Беспокоюсь я, Саш. Я Брайнина Николая Михайловича спросил и Кротову Федору Панкратьевичу звонил, у Григорьева тоже осведомлялся. Говорят, не слыхали. Ты не того... Саша?

— Думаете, шарик за ролик?

— Не скрою... — с затруднением сказал Никодимыч и испытующе глянул на Сашку. — Может, не спрашивать?

— Нет, Никодимыч. То есть да. Тебе можно спрашивать. Блажь у меня. В детстве еще началось. В деревне.

Из детства Сашки Ивакина

В один из дней поздней весны или раннего лета по обрыву к реке сбежали мальчишки. Они разделись и лежали на песке голышом, белотелые после долгой зимы, с заросшими «зимним» волосом головами. Мальчишек было трое: губастый здоровяк Мишка по кличке Абдул, худенький, щуплый Сашка Ивакин и тихий ленинградец Валька, которого за деликатную тихость характера звали Валькой Сонным.

Мальчишки лежали на песке и смотрели в светлое весеннее небо.

— Хорошо бы плот построить, — сказал Сашка, — и плыть, плыть по реке. До самого моря.

— А есть чего будешь? — практично спросил Абдул.

— Из дома вначале взять. А на море можно стать моряком.

— У нас в Ленинграде моряков много было, — сказал мечтательно Валька. — Идешь по улице, и все моряки... моряки. В бескозырках. С ленточками. И корабли. Настоящие.

— Ты, Абдул, хочешь в моряки?

— Нет, — ответил Абдул. — Я в ремеслуху пойду. Как брат.

— А ты, Саш?

— Я в путешественники подамся. Я книжку достал. Про Южную Африку. Ух ты! Знаешь, Сонный, там эти...

— Какой из тебя путешественник, — сказал Абдул. — Там по скалам лазить надо, по отвесным горам. И вообще...

— Научусь.

— Нет. Ты слабак.

— Хочешь, в школу залезу?

— Зачем?

— Ну, «поджиги», что диреша отнял, заберу обратно.

— Заперта школа.

— Так залезу.

— Слабо тебе, Сашка, — пренебрежительно усмехнулся Абдул, цыкнул на песок сквозь дырку в зубах.

...Двухэтажная деревянная школа в селе была выстроена в земские либеральные времена. С одной стороны она выходила на тихую сельскую улицу, с другой к ней примыкал одичавший разросшийся парк.

Тетка Авдотья, школьная сторожиха, стояла посреди улицы и звала невесть куда исчезнувшего внука Петьку.

— Демон, чистый демон, — ругалась тетка Авдотья.

В кустарнике позади школы прятались Валька Сонный и Абдул. Он крепко держал Петьку-демона.

— Сиди тут. Пусть бабка Авдотья тебя дольше на улице ищет, — объяснял Абдул. Петька молча и яростно вырывался.

Сашка по водосточной трубе лез на второй этаж. Труба была ржавая. Она скрипела и колебалась. Куски ржавчины, известки и выкрошенного кирпича падали на траву.

— Слазь! Слазь обратно, — отчаянным шепотом умолял его Валька.

Перед карнизом Сашка передохнул. Теперь было главное: по узкому, в ладонь, карнизу пройти к окну.

— Упрямый же! — облегченно и с завистью вздохнул Абдул, когда Сашка исчез в раскрытом окне. В это время Петька вырвался из Абдуловых рук и с оглушительным ревом кинулся на бабкин голос.

Сашка ощупью крался по темным и от темноты гулким и длинным коридорам школы. А на улице бабка Авдотья выслушала Петьку-демона, отвесила ему подзатыльник и заполошно кинулась к школе, нашаривая в юбке ключи.

— Это не ученики, это хыщники, — сформулировала бабка, отпирая школьную дверь.

И она же на другой день вела Сашку по коридорам школы к директору. Сашка шел с опущенной головой. День был солнечный, коридоры теперь были ярко освещены и совсем не страшны. Бабка Авдотья небольно стукала Сашку в затылок сухоньким кулачком и ругала, потом подвела его к двери со стеклянной табличкой «директор», ткнула последний раз кулачком («идол ты недисциплинированный») и, оглянувшись, перекрестила понурую Сашкину спину.

Директор сидел один. Был он однорук и одет в потертый военный китель, и худое лицо его не обрело педагогического выражения. Директор смотрел в окно, откуда падал солнечный свет и кружились в этом свете пылинки.

На директорском столе грудой лежали самодельные пацанячьи пистолеты — «поджиги».

Сашка переминался у двери, а директор смотрел в окно.

— В окно вчера ты залезал? — не оборачиваясь, спросил директор.

— Я.

— Где порох берете?

— Из спичек.

— Стреляет?

— Ага!

Директор повернулся к Сашке.

— Ведь искалечить же может.

— Мы для игры.

— Дурачье! Боже, какие вы... дети! — И задумался, облокотившись на руку, недавний «человек из окопа».

Сашка молча переминался.

— Возьми это и выбрось все сам. Так, чтобы никто не нашел. Ты понял?

— Понял.

Сашка стал рассовывать по карманам самодельное оружие. И директор обрубком руки придвинул к нему остальное.

— Я твои сочинения читал. Не по теме ты пишешь, Ивакин. Орлы у тебя летают. Моря. Ты орлов видел когда-нибудь?

— Нет. — признался Сашка.

...Вечером Валька и Сашка сидели в старом сарае на куче сена. Сквозь прохудившуюся крышу падал закатный свет.

— ...Он сказал, если хулиганить не буду, море увижу, орлов, и горы, и все.

— У нас дома шкатулка такая есть из кожи и круглая. Там бумаги про одного путешественника. Их отец велел вывезти.

— Может, там тайна какая? Или секрет. Может, хребты какие неизвестные или племена. Ты читал?

— Отец книжку собрался писать до войны. Там про птицу.

— Принеси.

— Мать запрещает. Она знаешь как бережет.

— Подожди. — Сашка прошел в угол сарая. Отгреб сено и долго возился там, гремя железом, досками. — Иди сюда, — приглушенно позвал он.

В углу сарая была выкопана яма, горела свечка, и стоял на дне деревенский плотницкий сундучок.

— Смотри. — Саша Ивакин повозился с замком и открыл его. Крышка сундучка была оклеена переводными картинками, а на дне лежала потрепанная книга: Д. Ливингстон «Путешествия по Южной Африке». Буйвол, обнаженный негр и крокодил были изображены на обложке.

— Мать на учебники деньги дала. А я увидел и... Сказал, что потерял деньги.

— Били?

— Не очень. Только книжку прятать пришлось.

— Ладно. Принесу, — пообещал Валька. — Я сейчас.

Пусто, холодно было в сарае, но озябший Сашка смотрел на обложку с буйволом, негром и крокодилом и улыбался неизвестно чему.

...Скрипнула дверь. Валька нес в руках старинную кожаную шкатулку с медным замочком.

— Шкатулку надо на место, чтобы мать не заметила, — прошептал он.

Они сели друг возле друга, и Валька открыл шкатулку. В ней были свернутые трубочкой тонкие тетради в клеенчатых переплетах.

— Подожди, — сказал Сашка. — Не видно же ничего.

Он снова повозился в своем углу и извлек из тайника еще свечку. Зажег ее.

— Давай.

...Шевеля губами, Сашка читал вслух...

— «...С детства мое внимание было приковано к легенде об удивительной птице — розовой чайке арктических стран. Люди, видевшие ее, навсегда заболевали двумя болезнями: противоестественной тягой к полярной стуже и отвращением к суете обыденной жизни. Нечто подобное случилось со мной. Я решил стать путешественником и найти розовую чайку».

Колька Силима

На залитом солнцем желтом песке, под ослепительно ярким июльским солнцем, на берегу реки лежал, уткнувшись в учебники, почти взрослый Сашка Ивакин. В стороне ковырял пальцем ноги песок облупленный солнцем беловолосый деревенский пацан.

— Горизонт — воображаемая линия, которая... — бубнил Сашка. — Тебя как зовут? — спросил он, не отрываясь от книги.

— Колька, — сиплым шепотом ответил пацан.

— А прозвище?

— Силима. — И пацан потрогал рукой действительно соломенной белизны волосы.

— А чего ты здесь?

— Я к Момке пришел, — застенчиво ответил пацан.

— Это кто такой?

— В этом омуте Момко живет.

— Какой Момко?

— Живет, — убежденно ответил пацан. И уставился в воду круглыми, немигающими глазами. — А ты чего здесь? — спросил, не отрываясь от воды.

— К экзаменам готовлюсь. Вот посмотри картинки. — Саша вытащил из-под груды учебников книжку Д. Ливингстона «Путешествия по Южной Африке».

...Они лежали на берегу, занятые каждый своим делом. Колька Силима сосредоточенно листал книжку, разглядывая заставки и рисунки со сценами африканской жизни.

— Момко! — заорал вдруг Колька Силима, тыча пальцем в рисунок гиппопотама, высунувшего пучеглазую морду из экваториальных вод.

«Белые звезды»

— Рискуешь, Иван Никодимыч.

— А ты бы на моем месте не рисковал?

Трое мужчин сидели в увешанной спортивными плакатами комнате. Три видавших виды спортивных бойца со значками заслуженных мастеров спорта, теперь уже седоголовых и грузных. На плакатах мчались по склонам коричневые горнолыжники, девицы в купальниках стояли на берегах неизвестных вод и улыбались изящные теннисистки.

— И все-таки риск.

— Ивакина надо оставить в сборной. Настаиваю, — сказал Никодимыч.

Один из мужчин повертел в руках листок бумаги.

— Вычеркнул я его. Вычеркнул сразу, как получил телеграмму.

— Значит, впиши. Под номером первым.

— Так прямо первым?

— До закрытия сезона три месяца. Я его подыму. К соревнованиям на приз закрытия сезона будет Ивакин.

— А если не сможет?

— Близорук ты, Федор Панкратьич. Кто Ивакин? Будущий чемпион Союза. А может, и больше. Не одни австрийцы умеют. Чемпионов надо растить. А как? Сами знаете!

Двое мужчин переглянулись. Кивнули друг другу. Сидевший за столом взял авторучку.

— Итак, оставляем Ивакина в сборной. Чемпионов надо растить, а, товарищи?

— Я не кончил еще, — нахмурился Никодимыч. — Что у тебя из хороших лыж есть в заначке? Стимул парню нужен.

— Есть одна пара, — уклончиво сказал человек за столом. — Я ее обещал, Никодимыч. «Белые звезды» все-таки.

— Кому?

— Полезному человеку. Стадион начинаем строить. Его подпись из главных.

— Перебьется, — решил Никодимыч. — Дашь ему польские «Металлы». Крепления сам поставлю. Пиши записку на эту пару.

Мужчина глянул на Никодимыча, взъерошенно и твердо взиравшего на него, и вдруг засмеялся. Засмеялся и Никодимыч.

— Золото парень, — растроганно говорил Никодимыч. — Мышечная реакция как у зверя. А умница! Я его бред трое суток слушал. Словно книжку читал. И все про эту самую птицу. Капитаны там у него, елки зеленые, священник какой-то, птица неизвестной породы... И все так печально... Значит, что? Значит, мечта в голове. Быть ему чемпионом. Пиши записку.

Лена

По белому больничному коридору шла девушка, постукивая каблуками, посматривая кругом с беспечной снисходительной полуулыбкой. Коридор был пуст. И она шла, высокая, тонкая, и казалось, что в пустоте этой позади остается легкий звон, как от прикосновения к натянутой до предела струне. Она на ходу сняла больничный халат, перекинула через руку. Тотчас же, точно это-

го ждали, сбоку открылась белая дверь, и оттуда выглянул молодой «очкарик» в докторской шапочке.

— Нехорошо, — шепотом сказал он.

— Что именно?

— Халат снимать нехорошо. Бактерии, знаете, вирусы.

— Нет на мне никаких бактерий.

— Помилуй бог! — в комическом ужасе сказал «очкарик». — Я не о больных, я о вас беспокоюсь.

Никодимыч сидел рядом с койкой Сашки Ивакина. Сашка не мог поворачивать голову в своем гипсовом «скафандре» и только изредка скашивал на тренера глаза.

Тренер натужно изображал беззаботный тон.

— Залег ты, Саня, не вовремя. А я тебе сюрприз приготовил.

Тренер исчез, но тут же появился снова, торжественный и загадочный. В руках у него рояльным лаком, отсветом клейм и надписей сверкали горные лыжи.

— «Белые звезды»! — в священном благоговении воскликнул Сашка.

— Они! — довольно кивнул Никодимыч. — Отбил, понимаешь, в рукопашном бою. Тони Зайлер сказал о них, что...

— На склон бы сейчас. «Белые звезды»... — мечтательно перебил Сашка.

— Под твой вес. Под твой рост. Поставлю тебе на них собственные крепления — «неваду». Чтобы ты больше так глупо не падал.

Дверь тихонько открылась, и Лена просунула голову в комнату. Она на мгновение смутилась, увидев Никодимыча, но тут же освоилась:

— Гипс. Лак. Шрамы и клейма. Какой кадр пропадает!

— Привет, Ленка! — счастливым голосом сказал Сашка.

Она не ответила. Прошла в палату, кинула на спинку стула халат и села, поглядывая на Сашку и Никодимыча.

— С лекций удрала? — спросил Сашка.

— Удрала. А покурить тут нельзя у тебя? Ужас как покурить хочется.

— Нельзя, — пробурчал Никодимыч, скрепляя ремнями лыжи. — Нечего тут раскуривать. На скользящей

у них, Саня, между прочим, тефлон стоит. Для влажного снега очень хорош. Как раз для апреля.

— Апреля? — недоуменно переспросил Сашка.

— К апрелю ты должен быть на ногах. Приз закрытия сезона.

— Он встанет, — сказала Лена. — Достаточно посмотреть на его портрет в «Советском спорте», чтобы понять: Ивакин встанет и будет в этих...

— Хибинах, — сказал Сашка. — Там приз закрытия.

— Я ушел. И не курить тут. Категорически. — Никодимыч покосился на сумочку Лены и вышел.

— Яблоко хочешь? — спросила Лена.

— Жевать-то нельзя. Меня бульончиком. Через трубочку кормят.

— Смотри, какое яблоко. — Лена вынула из сумки огромное яркое яблоко, земной, насыщенный жизнью плод. Она подняла его и крутнула за ножку. Луч света упал на яблоко, и оно засветилось.

— Как солнышко. Хочешь, повешу на ниточке?

Саша засмеялся.

— Вы что, с Никодимычем сговорились? Он лыжи несет, ты яблоко демонстрируешь...

— Это называется психотерапия, Санька, — сказала ему Лена. — Чтобы ты не точил душу печалью, а помнил...

— Что помнил?

— Про радости жизни. Про яблоки. Про меня. Ну и, конечно, про радость борьбы и всяких побед. Это уж Никодимыч твой обеспечивает.

— Слушай, Ленка, зайди в общагу. Там под койкой у меня чемодан. А в чемодане папка. А в папке...

— Дневник Шаваносова, — досказала Лена, — который ты выучил наизусть еще в детстве. Принести сюда?

— Принеси, пожалуйста. Мне без него не хватает чего-то. Стимула какого-то не хватает. Без него ребра могут не так срастись. И вообще...

Дневник Николая Шаваносова

Это была та самая тетрадь, которую много лет назад Валька Сонный принес в пахнувший сеном сарай. Сашка никогда не задумывался над тем, какую роль сыграл или сыграет в его жизни тот прохладный весенний вечер. Свет закатного солнца, падавший сквозь дырки в крыше сарая, запах сена, ощущение легкой тревоги, которое

всегда бывает весной, и эти записи старомодным почерком, и эти зеленоватые чернила, которые не выцветают. На обложке еще сохранилось пятнышко, там, где капнуло со свечки. Тогда они спрятали дневник рядом с «Путешествиями по Южной Африке», а на другой день нахлынули события: Валька неожиданно укатил к отцу, полковнику авиации, который продолжал службу в каком-то городе побежденной Германии.

И дневник Валькиного деда остался в тайнике, в старом сарае. Потерялся в годах и пространстве Сонный Валька. А дневник — вот... На первой странице его шла запись из книги «Чудеса мира (Живописная панорама чудес, созданных природой и трудами рук человеческих)»:

«...Чувство удивления при виде исполинских или странных предметов природы или небесных явлений, без сомнения, своевременно происхождению человеческого рода».

Я считаю эти слова истинными, сколько бы веков ни пронеслось над землей.

Розовую чайку, без сомнения, можно причислить к самым редким и удивительным созданиям природы. Встречавших ее можно перечесть по пальцам. Предчувствие уверяет меня, что моя судьба будет связана с этой птицей.

Документально известно, что в 1818 году в ледяных пустынях Канадского архипелага ее видели капитан Росс и матрос по имени Себастьян. Оба они были суровыми полярными моряками, открывателями арктических земель, а не мечтателями возвышенного строя души. Но капитан Росс сообщает об испытанном им сильном нравственном потрясении.

Надо сказать, что легенды о чайке розового цвета с давних времен бытовали среди норвежских и исландских рыбаков, промышляющих треску, среди охотников на китов и тюленей.

Считаю своим долгом отметить, что ни один из счастливцев, видевших розовую чайку, тем не менее не встречал ее южнее границы полярных льдов. Таинственная птица либо постоянно обитает в туманных пустынях севера, либо, улетая на юг, неузнаваемо изменяет свою окраску, чтобы, подобно фениксу, снова возродиться на севере.

Через шесть лет после того, как ее увидел «просвещенный европеец» капитан Джон Росс в 1824 году, эту

птицу уже могли видеть тысячи людей. Две шкурки птицы доставила в Англию полярная экспедиция под руководством Парри. Судьбе было угодно, чтобы это был тот самый Парри, который участвовал в экспедиции Джона Росса. Более того, птиц увидел и добыл не кто иной, как племянник Росса Джеймс Кларк Росс, впоследствии прославившийся открытием северного магнитного полюса и исследованиями в Антарктике. Сам капитан Джон Росс, несомненно, повлиявший на выбор племянником жизненной цели, в этой экспедиции не участвовал. Он находился в опале и смог отправиться в полярное плавание только через одиннадцать лет после первой своей экспедиции.

Но так или иначе для меня открывателем розовой чайки является капитан Джон Росс, ибо он был первым, кто смог убедить людей в действительности ее существования.

Сам же Джон Росс больше этой птицы не видел, хотя, как утверждают, до конца дней он искал в старых рукописях упоминания о ней. Дело в том, что шкурки птиц, доставленные в Англию, были неряшливо сняты, вскоре выцвели, и многие утверждали, что эта птица не более как игра природы.

Допустим, что было так...

Капитан Росс жил в небольшом домике, на набережной, поблизости от Старых доков.

Каждое утро он просыпался от тяжелой поступи жены в соседней комнате. От ее шага содрогались половицы, звенели стекла шкафов и посуда, точно в доме топталась команда матросов. У жены был тяжелый подбородок, наследственный в их роду, и большая способность к многолетней упорной ненависти.

На соседней улице гремели колеса ломовых извозчиков, доставляющих в порт товары. Капитан Росс любил этот стук, потому что он напоминал о море. Каждое утро он думал, что мог бы предложить услуги какой-нибудь частной компании: рейсы к Ньюфаундленду и Лабрадору росли из года в год. Этому мешали возраст и самолюбие. Конечно, он без труда мог бы стать капитаном китобойной шхуны, промышлявшей в северных морях, или связать судьбу с компанией Гудзонова залива, разбогатевшей на операциях с мехами.

Когда жена уходила из дома, капитан Росс засыпал. Ему снился в это время почти всегда один и тот же сон:

прибрежная шотландская деревня, где он вырос и решил стать моряком, и девушка, ради которой он захотел стать знаменитым.

Кажется, он обещал ей привезти самую невиданную птицу из всех, какие живут на земле. Розовую чайку.

Как только сон доходил до птицы, капитан Росс просыпался. Все так же гремели окованные колеса на соседней улице и на кухне напевала служанка. Она походила на ту самую девушку из шотландской деревни. А может быть, в возрасте капитана Росса все юные девушки казались похожими друг на друга и одинаково прекрасными. Капитан Росс протягивал руку к изголовью и брал тетрадь, начатую им около пяти лет назад и исписанную за эти годы лишь наполовину:

«Познание таинств мира есть обязательство, долженствующее брать первенство перед всеми другими и принуждающее нас входить в самые мелкие подробности. Необходимо собирать сведения о многочисленных областях планеты, о народах, ее населяющих, о зверях и птицах. Каждый человек, связанный с морскими и сухопутными путешествиями, вносит свою долю в это познание, пусть это касается только отдельной страны, отдельного народа, бегающей или летающей твари...»

Капитан Росс захлопывал тетрадь. Усмехался. Чертовски давно это было написано.

К двенадцати дня он отправлялся в архив Адмиралтейства. Третий год он систематически читал старые морские отчеты, надеясь найти упоминание о розовой чайке.

Престарелый служитель приветствовал его, почтительно вставая со стула. В архивный подвал, наверное, еще не дошли слухи об отставке, бедности и запустении его жизни. Для старого служителя он был все тем же Джоном Россом, капитаном Королевского флота.

В отдельной каморке, скрытой дубовой дверью, окованной медными полосами, хранились секретные отчеты прошлых лет и донесения послов с описанием морских маршрутов. Капитана Росса они не интересовали, так как в них шла речь о южных морях, жемчуге, красном дереве.

Капитан Росс читал отчеты таинственных отца и сына Каботов, столетия тому назад плававших к берегам Северной Америки, отчеты рыболовов и китобоев, отчеты капитанов, имен которых он никогда не слыхал. Тугая ладонь начинала сжимать сердце, и в тишине сводчатого подвала он наяву слышал задыхающийся, прерывистый

голос матроса Себастьяна: «Капитан! Смотрите!» Где сейчас матрос Себастьян? Спился, погиб за бортом, а может, плывет на борту торгового судна по Индийскому океану...

Бальзам Никодимыча

Белая дверь с шумом распахнулась.

— Ее высочество герцогиня Беррийская и Йоркширская, — торжественно провозгласил голос. Задрапировавшись в халат, в палату торжественно вошла Лена и надменно протянула Сашке руку для поцелуя.

— Чего шумишь? — шепотом спросил Сашка. — Священный мертвый час. Главврач на цыпочках ходит. Ты как попала?

— Через печную трубу. Там вахтера забыли поставить.

— Да тихо ты... вся больница сбежится.

Сашка лежал уже без бинтов и гипса.

— Экий ты пуганый после травмы стал, — беззаботно сказала она.

И опять тихо скрипнула дверь. В палату на цыпочках вошел тренер. Вид у него был как у нашкодившего мальчишки. Правая рука Никодимыча была неловко засунута в карман пальто, и пальто оттопыривалось.

— Что с рукой, Никодимыч? — спросил Сашка.

— Это так... — ответил тренер.

— Пахнет чем-то. — Лена понюхала воздух. — Какой-то гадостью пахнет.

— Не пахнет ничем, — быстро сказал Никодимыч. — Саш! Поговорить надо.

— Я мешаю? — спросила Лена.

— Пожалуй, — согласился тренер.

— Зайду вечером. Мне события отягощают душу.

— Вечером не пускают.

— Пустят, — рассмеялась она. — Пока!

Тренер сумрачно посмотрел на Сашку. Потом распахнул пальто и вытащил огромную бутыль. Бутыль была наполовину заполнена темной жидкостью. Сашка зажал нос.

— Попахивает немного, — смущенно признался тренер. — Оттого и крался как вор. Скидывай одеяло. Все снимай.

— Что это?

— Бальзам. Самодельное средство от переломов. Незаменимая вещь. Раздевайся, говорю. Буду тереть.

И тренер скинул пальто, засучил рукава.

Голый Сашка лежал на животе, вцепившись в прутья кровати. Никодимыч деловито массировал ему ноги и спину, поливая ладони адовым варевом.

— Чем запах сильнее, — приговаривал он, — тем больше толку. Веденякина кто на ноги ставил после Алма-Аты? Я. Этой мазью. А Прошкина, чемпиона Союза?

Выздоровление

Самодельный бальзам Никодимыча оказался действительно волшебным средством. Через пять дней Сашка уже ходил по палате. Через десять его выписали, и безжалостный Никодимыч в первый же вечер вручил ему скакалку и выгнал в парк. В парке было просторно. Лавочки стояли заваленные снегом, и между ними лежали темные и глубокие тропинки. Сашка долго с наслаждением вытаптывал себе площадку. По всему телу выступила испарина, но до чего же это было хорошо — шевелиться. Потом он никак не мог приладиться к скакалке. Разучился. Координация движений разладилась. Потом Сашка все же нашел эту координацию, и... как это было здорово. Мягко хлопала скакалка по снегу, и пот заливал лицо...

А вечером он сидел в читальном зале. «Основы геотектоники», «Горообразовательные процессы», «Геоморфология». Толстые тома лежали на Сашкином столе, но сам он углубленно читал совсем другую книгу. Могучая Сашкина спина выделялась среди студентов.

— Сашка! Ведякина «Педагогику» не ты забрал? — спросил шепотом какой-то студент.

Сашка молча кивнул на взятые им книги, потом показал ту, что читал: «История покорения гималайских вершин».

— А-а, малахольный, — махнул рукой студент. — Все в великие путешественники готовишься. Кто же Ведякина-то забрал?

Вошла в зал Лена. Посмотрела. Горели настольные зеленые лампы, торчали согнутые спины.

— Квадратно-гнездовая посадка науки, — с уважением вздохнула она. Увидела Сашку. Села рядом. — Ну что, последний великий, все выучил? — Она похлопала рукой по толстой «Геотектонике».

— Угу, — не отрываясь от книги, сказал Сашка.

...Они шли по улице. Уютные кирпичные и деревянные особнячки скрывались в полумраке, стояли редкие фонари. Перед домами росли по-зимнему обнаженные деревья. Было тихо.

Письма Росса Ивану Крузенштерну

«...Я с нетерпением ожидал решения нашего теперешнего правительства по вопросу о моей предполагаемой экспедиции, надеясь, что смена министров, которая произошла в ноябре прошлого года, будет в мою пользу. Но теперь я с сожалением сообщаю Вам, что мои надежды не оправдались... Мне не надо объяснять Вам, как я сожалею о всем случившемся, я ведь старею и скоро уже не смогу участвовать в полярных исследованиях».

Письмо Джона Росса Крузенштерну,
3 февраля 1835 г.

«Мне нечего рассказать Вам о моих экспедиционных планах, изменения, происшедшие в министерстве, положили конец почти всем научным планам в Англии».

Письмо Джона Росса Крузенштерну,
май 1835 г.

Тренировка

На залитом солнцем склоне шла тренировка. Сашка Ивакин, бледный и осунувшийся, «лесенкой» поднимался вверх по склону. Он останавливался, смотрел на солнце, жмурился и улыбался. Потом снова медленно поднимался.

Нахохленным ястребом стоял в стороне, опершись о палки, Никодимыч, искоса поглядывал на Сашку.

Мимо тренера вихрем промчался на сомкнутых лыжах парень, закончил изящным пируэтом и вопросительно посмотрел. Никодимыч молча похлопал себя ниже спины.

— Зависло? — огорчился парень.

Никодимыч кивнул и продолжал следить за Сашкой.

Забравшись наверх, Сашка отцепил от пояса шлем, надел его и с ученической тщательностью стал описывать повороты трассы. Он шел медленно, стараясь выполнить поворот «в точности по учебнику».

Никодимыч скатился следом за ним.

Сверкало солнце и снег.

У подъемника Никодимыч сказал:

— Три раза пройдешь слалом. Потом скоростной.

Сашка коротко кивнул. Тяжко ступая на лыжах, прошел вперед, поймал кресло подъемника.

...Тренер стоял на середине склона. Сашка пронесся в слаломе. Второй раз. Третий.

На склоне его перехватил Никодимыч. Сашка затормозил.

— Уверенности не вижу. В чем дело, Ивакин? — резко спросил Никодимыч.

— Голова что-то, — сказал Сашка и сделал движение, чтобы продолжать спуск.

— Нет, — жестко сказал Никодимыч. — Вверх! Без подьемника.

Сашка покорно стал подниматься «лесенкой». Наверху он скинул шлем, пристегнул его к поясу. Вытер залитый потом лоб. Пошел. Где-то на втором вираже наткнулся на веху, затормозил.

— Наверх! — отчаянным голосом закричал Никодимыч. — Сначала.

Сашка опять пошел по склону, но вдруг, пропуская повороты, покатился вниз, широко расставив лыжи, как новичок, выставив вперед руки с палками. Он проехал мимо тренера. Лицо его было растерянным. Налетел на веху, затормозил. И так стоял, уцепившись за спасительный бамбуковый шест. Тренер в два виража скатился сверху.

— В чем дело?

— Никодимыч! — Сашка пошарил перед собой руками. — Не вижу.

Залитое потом лицо его с налипшими на лоб волосами было беспомощно, как у ребенка.

Мефистофель

Костистый старик, похожий на седого всклокоченного Мефистофеля, надвинул глазное зеркало с дыркой посредине и сразу превратился в циклопа. Желтыми от табака пальцами он отогнул Сашке Ивакину веко, отогнул второе. Откинул зеркало и закурил.

Сашка сидел, распростертый во врачебном кресле. Врач курил и молча смотрел на него. Сашка попробовал улыбнуться.

— Потрясения. Припадки. Удары. Были? — спросил Мефистофель.

Сашка вопросительно глянул на сидевшего в углу Никодимыча.

— Были, — сказал тот. — В результате неумелого падения на склон — травма головы, ноги, грудной клетки. Падать не научились, — в тоскливой тишине добавил он.

— Глаза в полном порядке. Травма головы, говорите? Весьма интересно. Будем исследовать. На койку! — резко заключил Мефистофель. — Самочувствие, чемпион?

— Я вообще-то уже вижу. Серое все только.

Санитарка повела Сашу в палату. Среди больничных стен он казался несуразно большим, несуразно плечистым.

Никодимыч молча спросил у Мефистофеля разрешения позвонить. Набрал номер.

— Не кричите, — ответил тренер в телефонную трубку. — За команду отвечаю я. За Ивакина также отвечу. Все! — Он с силой бросил трубку на рычаг. И вопросительно посмотрел на Мефистофеля.

— Предполагаю самое худшее, — сказал тот. — Все дело в недавней травме...

— Это палата глазная, со шторами. — Санитарка ввела Сашку в комнату. — Глазами нынче мало болеют. Будешь болеть один. Сейчас белье принесу. Посиди.

Сашка сел на кровать. Скрестил на коленях руки.

Вошел Никодимыч.

— Что врач говорит? — Сашка поднял глаза на Никодимыча. Тот молча стоял в дверях, и лицо его вдруг качнулось, наплыло, повалилось на Сашку, как будто он куда-то летел на качелях. — Лене не говори ничего, — с усилием сказал Сашка. — Матери не вздумай писать.

— Что писать? Что говорить? Все пустяки, все до завтра пройдет.

В палате было темно. За окном вспыхивала реклама. «Аэрофлот. Надежно. Быстро. Удобно. Летайте самолетами».

Дверь открылась, и тихо вошел врач-Мефистофель. Он сел верхом на стул. Сашка молча повернул к нему голову. Он лежал поверх одеяла в тренировочном костюме, только ботинки снял.

— Я дежурю сегодня, — сказал Мефистофель. — Вот, зашел.

Сашка молчал.

— Я все думаю про тебя, чемпион. И пришел, пожалуй, к верному выводу. У тебя кровоизлияние в мозг. Возможно, поврежден глазной нерв. Это не лечат.

— Что будет? — спросил Сашка.

— Предсказывать трудно. Можешь ослепнуть мгновенно. Можешь ослепнуть через два года. Ну а самое вероятное: будешь слепнуть стремительно. Год. Самое большее два.

— Что делать? — все так же тихо спросил Сашка.

— Это я и хотел бы узнать. Могу направить тебя в лучшую глазную больницу страны.

— Поможет?

— Поможет трепанация черепа. Но делать на этом этапе никто не будет. Ты еще зрячий. При трепанации гарантии... не бывает.

— Понятно. Спасибо за откровенность... доктор.

— Понимаешь, думал я долго. Решил, что в данном случае лучше открыть все. Планируй жизнь, чемпион. Действуй. Это единственное лекарство. Унылый — слепой. Лежать будешь — тоже слепой. Понял?

Доктор вышел.

Бегство

«Слабак он. Слабак. Где ему в окошко залезть», — сказал тогда Абдул. А я залез.

Вскоре Валькин отец прислал телеграмму, и они сразу уехали. Валька ходил шалый от волнения и даже забыл про дневник. А может, просто решил оставить его мне. Сейчас надо ему этот дневник вернуть, а где искать Вальку? Я даже отчества его не знаю и года рождения. А был лучший друг.

Вначале я просто мечтал о путешествиях, потом книжку купил. Буйвол, негр и крокодил на обложке. И этот дневник.

Я много думал о розовой чайке и узнал все, что можно было узнать про Росса. Шаваносов, Валькин дед, тоже много о нем знал и отправился эту птицу искать. Немного сумасшедший он был, наверное.

А Лену я как-то осмелился проводить и рассказал о розовой чайке.

— Где эта птица живет? — спросила она.

— Я тебе ее привезу, — сказал я.

С этого все у нас и началось.

...А если теперь слепой буду? А что, если вправду привезти Ленке птицу? Чтобы она поняла, что я очень ее любил. И о Валькином деде узнать. В благодарность за дневник. Потом удалиться от всех. Окончить жизнь у камина в окружении любящих внуков. Внуки откуда? От Ленки внуки! А если слепой?.. Ленка... Никодимыч... институт. Розовая чайка... Плевать на вуз. Не в вузах счастье. Неистовым надо быть. Неистовым и счастливым...

Сашка Ивакин поднялся с кровати. Методически оправил смятое больничное одеяло. Зашнуровал тяжелые ботинки. Еще раз оправил одеяло.

Отрешитесь от мелочей быта, слушая стук колес, вдыхая запах вагона...

...Было раннее утро. Лена шла по окраине города мимо палисадничков, огородиков и аккуратных, дачного типа домов. Нашла нужный номер и тихо вошла в калитку.

Обстановка в комнате Никодимыча была сугубо спартанской. В углу стояли «Белые звезды». На столе полупустая бутылка коньяка и два стакана. Осунувшийся Никодимыч сидел на койке.

Лена остановилась в дверях.

— Где Сашка? — тихо спросила она. — Я все знаю. Его нет в больнице. И в общежитии нет. Его нигде нет.

— Ушел три часа назад. — Никодимыч кивнул на стол. — Наверное, уже уехал. Или улетел.

— Куда?

— Сказал, что должен увидеть море и эту... птицу, пока не ослеп. И вообще...

Лена села на стул. Никодимыч налил коньяк в стаканы.

— Он вернется, — убеждал Лену и себя Никодимыч. — Врач считает, что он должен ослепнуть. А он, понимаешь, не может в это поверить.

— Он не может ослепнуть, — не согласилась Лена.

— А я разве другое говорю, дочка? — обиделся Никодимыч. — А сам-то Сашка. Но ты его пойми: сидеть на месте и ждать. Сидеть и ждать... Ему надо было уехать.

— Я понимаю. Но сказать-то он мог. Неужели он думает, что я... Как ребенок, честное слово...

Сашка Ивакин стоял в вагоне, прижавшись лицом к окну. Перекликались гудки. В гудках этих Сашке слышался звук печальной трубы дальних странствий. Перрон был пуст, и дежурный уже ушел в теплую светлую комнату, где мигают разноцветные лампочки автоблокировки, слышатся диспетчерские переговоры.

Сашка все смотрел на перрон. И плыл, плыл в воздухе пустынный вкрадчивый звук трубы.

II. «ДЕРЖАТЬ ВСЕ ВРЕМЯ К ВОСТОКУ»

Апология поездов. Отступление от заданной темы

Поезда — как движущиеся миры. Инженер, подобно Лапласу, вычислил их стальные орбиты, и поезда летят сквозь пурги и звездные ночи, сквозь россыпи городов и безлюдные пространства. Возможно, мы — последние свидетели поездов, и наши внуки будут вспоминать о них, как мы мальчишками мечтали и, мечтая, грустили о безвозвратно ушедшей эре парусных кораблей.

Поезд катил на север.

Он не мчался, не летел, не стремился, а именно «катил», влекомый неторопливым паровозом ФД, до наших дней удержавшимся в дальних краях. Он подбадривал себя эхом гудков, дребезжанием старых вагонов. Поезд останавливался на крохотных полустанках. Его встречали пацаны в валенках, нейлоновых куртках, и неторопливый дежурный давал отправление.

Поезд останавливался на станциях. Веяние времени пробилось, и здесь исчезли вывески «кипяток». Вместо них появились стеклянные сооружения «Дорресторантреста». К станции подкатывал щегольской фирменный поезд с названием реки, города или иного географического понятия, выведенного на железных боках вагонов. У дверей тех вагонов уже не стояли пожилые проводники — провидцы и знатоки человеческих судеб. Здесь встречали пассажиров девчонки с прическами, в пригнанной по фигуре форме. Не проводницы, нет — стюардессы.

Но все-таки дух железных дорог и поезда, который катил на север, остался прежним. Ибо не так легко из-

жить великие времена переселений, времена гражданской, времена второй мировой, времена «пятьсот веселых», «пятьсот голодных», «шестьсот шебутных», которые пересекали страну от пустынь Средней Азии до Игарки, от бывшего Кенигсберга до порта с интересным названием Находка. Ибо эра поездов еще не ушла.

И как десятки, может быть, сотни лет назад, поезда все еще сопровождает печальный звук трубы дальних странствий. Та труба пела замотанным в плащи всадникам, почтовым дилижансам, каретам и первым рельсам, проломившимся сквозь материки.

Эра поездов еще не ушла.

В тряском вагоне на верхней полке лежал Сашка Ивакин, «стеклянил» глаза в потолок.

Внизу два щетинистых мужика в ковбойках, расстегнутых на жилистых шеях, неторопливо копались в дорожном хозяйстве. Один, весь в мускулах, как водолаз в глубоководном скафандре, поставил на стол водку, две зеленые эмалированные кружки. Сказал, задрав поросшее рыжей щетиной лицо:

— Попутчик! Ставь третью кружку. Кружка-то есть?

— Нет! — сказал Сашка.

— Все равно слазь. Будешь пить из моей, — просипел крепкий мужик.

— Не надо, — сказал Сашка.

— Не ломай компанию. Слезь из уважения.

Сашка спрыгнул с полки.

— До конечной путь держишь? До моря? — спросил рыжебородый, зажав в ладони кружку.

Сашка кивнул. Рыжебородый неторопливо высосал водку.

— Есть сельдяной флот. Зарабатывают, — он вздохнул. — Можно грузчиком в порт. Терпимо. Налить?

— А если просто на море? Матросом?

— Пустое перемещение по воде, — рыжебородый перевернул бутылку вверх донышком, пощелкал ногтем по стеклянному боку.

— Почему пьем? — сказал второй, верткий мужик, который маялся с кружкой в одной руке, хлебной корочкой в другой. — Договор подписал — аванс получил. А аванс зачем? Маленько бабе оставить, билет до места купить и получить отвращение к водке. Ты по договору?

— Нет, — сказал Сашка. — По несчастному случаю.

— Тем более выпей.

— Выпей! — утвердил рыжебородый.

Сашка подумал и выпил. Рыжебородый пододвинул ему сало, хлеб, ножик.

— Если в вагоне выпил, теперь всю жизнь будешь ездить, — сказал второй мужик и выцедил свою долю.

— Неплохой вариант.

— Будешь ездить и неизвестно чего искать. А земля, между прочим, везде одинаковая. Везде у людей две ноги, везде лес кверху растет...

— А помрешь, то везде вниз похоронят, — засмеялся рыжебородый.

— Вознесения не будет? — хмуро усмехнулся Сашка.

— Нет, не будет нам вознесения! Это ты верно, попутчик. Хо-хо! За что возносить-то? За лес, который валил? Или за деньги, которые пропил? Нету причины, чтобы вознестись!

Дарья Никифоровна

— Так как, не решился? — спросил рыжебородый.

— Не могу, — сказал Сашка. — Не могу.

— Жалко! — вздохнул рыжебородый. — Я к тебе пригляделся. Ты бы нам подошел. Втроем-то, а? Две сотни в месяц. Одну на еду, другую на книжку.

— Не могу. Спешить надо.

— Дурик! — гнул свою линию рыжебородый. — За четыре месяца как раз на билет скопишь. И лети на свою Колыму как крупный начальник.

— Попробую морем. На судне северной трассой.

— Тогда будь здоров. К старушке зайди. Она все понимает. А врачам не верь. Они ничего не знают. Может, решишься?

— Не могу, Федор. Не уговаривай.

— Еще встретимся, — рыжебородый пожал Сашкину руку.

— Рельсы — вещь узкая, — сказал верткий.

Сашка постоял, посмотрел, как уходят мужики-добытчики. Телогрейки их затерялись в толпе.

...Звездная ночь висела над городом. Сашка тащился с чемоданом в руке. Улочка была деревянной, извилистой, деревенской. Где-то глухо брехали собаки.

Сашка подошел к одной калитке. Постучал в освещенное окно.

На крыльцо вышла женщина.

— Дом девятнадцать? — спросил Сашка.

— Девятнадцать дальше, — певуче произнесла женщина. — А кого ищешь?

— Дарью Никифоровну!

— Считай от моего дома четвертый. А ты кто ей?

— Человек, — сказал Сашка.

Женщина вышла из калитки и долго смотрела ему вслед, пока не убедилась, что Сашка свернул правильно.

Окошко светилось. Сашка постучал.

— Ты чего, хулиган, дверь ломаешь? — тонко спросили за дверью.

— Дарья Никифоровна! — позвал Сашка.

— Отколь меня знаешь? — спросили за дверью.

— В поезде сказали. Попутчики.

— Какие?

— Борода у одного рыжая. Федор Игнатьич.

— Сколь выпил?

— Непьющий.

— Дыхни в скважину!

Сашка изо всей силы «дыхнул» в замочную скважину.

— Вроде правда непьющий, — изумленно сказали за дверью.

Дарья Никифоровна оказалась крохотной старушкой в огромных валенках и огромном пуховом платке; нос, валенки да платок.

Она прибавила свет в лампе и сказала ворчливо:

— Я чего не пускала-то. Думала — пьяный. Мужики, которые лес валят, в городе пьют. Ругаешь, ругаешь, потом деньги отымешь, чтобы семье отвез, сколько хлопот-то.

— У меня денег нет, — сказал Сашка. — Я по делу приехал.

— Дело чего искать? Дело само ищет, все заборы объявлениями увешаны.

— На море хочу попасть, — сказал Сашка.

— Все на рыбацких тысячах помешались, прости господи!

— Не тысячи. Море!

— Море-е!.. Вода она и есть вода...

Сашка сел на скамейку. Снял пальто, положил его на чемодан.

— Дарья Никифоровна. Ничего, если я несколько дней у вас поживу? Пока не устроюсь.

— Если правда непьющий — живи. Треска есть, картошки купим. И живи себе на здоровье.

— Спасибо.

— Одной-то мне скушно. Я комнатку маленькую недавно белила. Светло там, чисто. Будешь жить, словно девушка.

— А море тут далеко?

— Как далеко, если на море живем?

Море

Сашка стоял на вершине сопки. Был ветер и черный обдутый камень. Несколько чахлых искривленных лиственниц чудом держались на такой высоте.

Внизу было море.

Сашка не отрываясь смотрел на него. Море казалось зеркально-гладким. Корабли выглядели отсюда игрушечными. Они стояли на рейде, и видна была тень их на гладкой воде, и они казались особенно неподвижными. Несколько катеров метались по рейду, как бы проверяя стоящие пароходы.

Светлый блик солнца отражался в дальней воде. Еще дальше за бликом море сливалось с белесой мутью, и на границе ее шел в небо темный пароходный дым. Но самого парохода не было видно.

С бухты дул ветер. Сашка ладонью «потрогал» его. Потом подошел к лиственнице, погладил искривленный ствол, прислонился.

...Около пятидесяти или шестидесяти лет тому назад точно так же стоял на этой сопке неудавшийся священник и богослов Николай Шаваносов.

Вдоль берега тянулась влажная полоса гальки, поблескивающей на солнце. Казалось, что корабли вырезаны из черной жести и окаймлены ярко надраенной бронзой. Сашка поднял ленту морской капусты. Принялся ее жевать. Неведомо откуда набежавший вал подкатил к ногам, замочил Сашке ботинки и оставил фарфоровый пузырек. На белом боку пузырька бежал синий парусник. Паруса были надуты, и кудрявились вдоль бортов синие волны.

Сашка взял пузырек, долго смотрел на него, бережно спрятал в карман. Все происходило почти по мечте...

Сашка пошел медленно, чуть сгорбившись, выбирая дорогу меж обкатанных морем глыб.

Могучий пароходный зов потряс воздух. К гудку присоединился второй, третий. И тотчас, точно солнце ждало этой минуты, красный свет упал на бухту, окрасил ее,

и вспыхнули красным пароходные силуэты, море и дальние сопки, и заснеженные склоны запылали в ослепительно розовом.

Вряд ли найдется человек, который в минуту душевно, так сказать, *важной* для жизни сосредоточенности может спокойно услышать далекий ход паровоза за лесом, ночной призыв электрички, заоблачный гул самолета или пароходный гудок. Эти звуки приходят к нам как напоминание о пространствах, о наших пращурах: бродячих охотниках и собирателях, о предках-кочевниках, которые ногами открывали неизученную планету, открывали материки, степи, горные хребты, лесные пространства и пустыни. Никогда не придет время, когда человек будет равнодушен к сигналам дороги: гудкам, стартовым командам, реву оживших двигателей, как раньше он не был равнодушен к ржанию коней, стуку копыт и колес, сиплому крику караванных верблюдов. И потому звуки дороги окрашивают мгновение жизни, в котором мы их услыхали, неповторимой краской нашего бытия.

Город, разбросанный по склонам, светился огнями сквозь белый сумрак полярного дня. Легкий туман окутывал и бухту. Сквозь туман просвечивали разноцветные огни кораблей. Сашка, оскальзываясь, шел по камням. Невдалеке визжали моторы кранов, ухали грузы, мегафон разносил резкую командную речь, во все это врезались сирены катеров, короткие деловые гудки. Порт работал.

Порт

Огромные ворота порта принимали в себя вереницы машин. Обратно машины выходили нагруженные контейнерами с заморскими надписями, тюками, мешками. За воротами слышался лязг, и краны вздымали в небо забитые грузом многотонные сетки, которые издали казались просто кулечками.

Глазея на машины, на краны, Сашка шел, как лунатик, пока дорогу ему не преградил крепко вооруженный казах в белом полушубке.

— Пропуск!

— Мне в порт.

— Зачем тебе порт?

— Хочу поступить на судно.

— Пропуск давай.

— Откуда у меня пропуск?

— Обратно ходи! — грозно сказал казах.

— Посмотреть хоть пусти.

— Ходи! Хуже будет, — охранник перехватил автомат.

— Эх, — вздохнул Сашка.

— Нельзя, товарищ. Порт это...

— Место, где стоят корабли...

— Правильно! Значит, что? Значит, нельзя!

Сашка отошел от проходной. Прислонился к груде исполосованных надписями ящиков.

Мимо в обе стороны тяжело ревели грузовики, обдавая его пылью, гарью выхлопных газов. Плотной кучкой прошли иностранные моряки в круглых шапочках с помпонами, загорелые белозубые ребята.

И возник Николай Шаваносов, странный человек в длинном пальто, у причала.

«В корабельной гавани легче думать о назначении жизни. Корабли объединяют мудрость человеческой мысли и красоту природы».

Занимая тротуар, четким курсом по направлению к ресторану «Арктика» шли трое парнишек в импортных галстуках, плащиках и туфлях заграничного производства. Но физиономии у парнишек, несомненно, были свои, российские, и любой, кто хоть день прожил в этом городе, определил бы в них торговых морячков, отпущенных сегодня на берег в знак прибытия на родину после долгого времени в дальних морях.

— Ребята, — устремился к ним Сашка.

— Слушаем, кореш, — остановился светловолосый крепыш. Остальные сгруппировались вокруг него на всякий случай (...Помню, как на одной улочке в Вальпараисо, глубокой ночью...).

— Вы с судна?

— Точно, — сказал крепыш и поправил узел марсианского галстука. — С шипа, браток.

— С коробки! — вежливо добавил черноволосый.

— Где контора, которая туда нанимает?

— Книжка для загранплавания есть?

— Нет!

Черноволосый присвистнул:

— Матросская для местного плавания?

— Я море вчера в первый раз увидел.

— Тогда гребем с нами в хижину, — высокий мот-

нул головой на ресторан. — Расскажем тебе про штор-р-рмы.

— Угощаем, чудак, — добавил второй.

— Времени нет, ребята.

— Сейчас не сезон. Без матросской книжки — труба, — дополнил крепыш.

— Контора-то есть, которая на палубу нанимает?

— Во-он контора, — сказал неожиданно тонким голосом третий, голубоглазый детина.

— Проснись, Веня! Книжки у человека нет.

— Так а шо мы толкуем? — по-детски изумился голубоглазый.

— Он с нами идет?

— Нет, — сказал Сашка.

— Гребем?

— Гребем. — И моряки целеустремленно ринулись к ресторанному входу.

...Из дощатого неказистого здания вышли трое в капитанских фуражках. Краснолицые пожилые здоровяки. По-хозяйски остановились у входа, глянули на город, на небо. Потом со значением, с уважением к себе и собеседнику обменялись рукопожатием и разошлись.

Разболтанный малый в беретике с сигаретой стоял, прислонившись к тамбуру, и с интересом следил за Сашкой. Сашка нерешительно пошел к входу.

— Займи трояк, — сказал малый.

Сашка остановился, не понимая.

— Деревня! — Малый сплюнул и отвернулся.

Коридор был забит людьми, сидевшими на лавочках, кучками стоявшими у урн, дым плавал в воздухе. Из закрытых дверей несся треск пишущих машинок. В дверях у прорезанных окошечек стояли очереди.

Дверь за Сашкиной спиной открылась, кто-то толкнул его, проходя, оглянулся и с изумлением воззрился на Сашку. Выглядел Сашка диковато среди видавших виды раскованных моряков, забивавших коридор.

— От сохи к пирсу! — крикнул кто-то.

— Засадим палубы... огурцами. Ио-го-го-го!

— Мы с милашкою гуляли возле нашего пруда. Нас лягушки напугали, не пойдем больше туда... — дурашливо запели в глубине коридора.

Сашка повернулся и вышел.

Разболтанный малый все еще стоял, подпирая стенку.

— Туз он и в Африке туз, — загадочно произнес он.

— А шестерка везде шестерка, — сказал Сашка.

— Ты сюда не ходи, — малый медленно развернул к Сашке профиль.

— А куда мне ходить?

— Грузить селедку на старом причале, — ответил малый, окончательно утеряв к Сашке какой бы то ни было интерес.

Вася Прозрачный

На деревянном причале, где сиротливо лежала прикрытая брезентом кучка груза, в стороне валялись пустые бочки, разбитые ящики, отходы малой навигации, сидел на бочонке круглолицый парняга, курил, сплевывал и с интересом смотрел на подходившего Сашку.

— Здорово, — дружелюбно сказал он.

— Привет!

— Значит, теперь будем оба-два?

— ?

— Надо погрузить вон ту кучу. Сейчас катер придет.

— Сторож, что ли?

— Не-е. Я Вася. Фамилия Прозрачный. Обслуживаю малую навигацию. Поможешь? Пятерка на нос.

— За этим пришел, — сказал Сашка. Прицелился и выкатил себе бочонок из груды. Уселся рядом с Васей Прозрачным.

— Кури, — тот вытащил из кармана пачку «Прибоя».

— Не курю.

— Кури, чудак! Не стесняйся. Я все понимаю. Сам на мели.

Сашка взял папиросу. Прикурил.

Они сидели на ветхом деревянном причале и пускали голубые дымки. Вася безмятежно щурился на солнце, на море — голубой, отрешенный от забот человек. Притушил окурок. Посмотрел на часы.

— Капитально! Через десять минут притопает катер... Погрузим мы оба-два эти ящики и устремимся обедать. Так?

— Так. — Сашка улыбнулся и посмотрел на этого безмятежного человека. Тот широко улыбнулся в ответ. — Так, — повторил Сашка.

— Капитально! Потом снова сюда, еще груз должен быть. Поработаем и вечером выпьем пива.

— Давно здесь?

— Не-е! Временный перебой. В порт не берут, в порту докер работает. А катера должен кто-то грузить?

Из-за поворота в чахлых дымах выполз обшарпанный грузовой катер. Человек в кожаном пальто — за версту в нем можно было узнать снабженца — стоял на носу — открыватель не отмеченных на картах путей снабжения. Катер подошел к причалу, из люка вылез парень в беретике, кинул чалку и сам же махнул вслед за ней, принять.

Снабженец сошел на берег.

— Орелики! — закричал он простуженным голосом. — Давай, орелики, перекидывай груз, не обижу.

В дымной и шумной пивной они устроились за угловым, прижатым к стенке столиком. Вася прихлебывал пиво и с изумлением поглядывал вокруг.

— Во многих местах я был. Надо тебе сказать, пивные везде одинаковы. Значит, существует на них типовой проект?

— Сюда как попал?

— Приехал. Имею специальность: каменщика, плотника, бульдозериста. Раз! Могу: на компрессоре, автомашине, буровой установке. Два! Слесарить не так чтобы очень умею и газорезчик второго разряда! Три! С моими руками меня везде ждут.

— Понятно, — сказал Сашка. — Завидую. Но все-таки зачем ты здесь?

— Не знаю, — сокрушенно ответил Вася Прозрачный. — Чувствую капитальное движение души. Но нету общей идеи. Получается что? Получается, Васька — летун. Между прочим, водку не пью и к рублю равнодушен.

— Обратный случай, — сказал Сашка. — Есть идея. Нет денег и... времени. Ты на Колыме не бывал?

— «Колыма ты, Колыма, чудная планета. Десять месяцев зима, остальное лето». Не был. А ты?

— Буду! — коротко сказал Сашка. — Хотел матросом на навигацию. Не получается. Надо иметь вариант.

— А ты приглашай меня. Вдвоем мы в Индию заберемся.

— Чудак! Ты меня всего два часа знаешь.

— Я шаромыг за версту вижу, понял. Тебе верю.

— Спасибо. А зачем Колыма, знаешь?

— Расскажешь.

Сашка огляделся. Дым и человеческий шум. В стороне, заняв столик, сидели вшестером рыбаки — обветренные ребята. Сидели молча, смотрели перед собой, и каждый зажимал кружку рыбацкой рукой, красной от соли, ледяной воды и сизаля.

— У меня, Вась, мечта. И чтоб ты не мучился...

В дымной пивной, заполненной людьми физического труда, Сашка рассказал вновь обретенному другу о дальней вятской деревне, о розовой чайке, о горнолыжном спорте и о странном человеке Шаваносове, который отправился искать птицу, потому что хотел дать людям новую религию, основанную на «живой красоте». Методика поисков розовой чайки в дневнике Шаваносова была описана с чрезвычайной краткостью: «Держать все время к востоку».

Средь запаха пива, еды, человеческих тел и опилок шел спотыкающийся рассказ Сашки Ивакина. Васька Прозрачный — весь внимание, только беззвучно усмехался, восхищенно крутил головой. Сашка смолк. С минуту Прозрачный рисовал пальцем по мокрому столу пивные узоры, потом твердо глянул Сашке в зрачки.

— Слышь, Сань! А у тебя там, случайно, не баба? Любовь там, разные всякие чувства.

— Нет, — усмехнулся Сашка. — Все так, как я рассказал.

— Тогда Васька с тобой. Значит, что? Перво-наперво капитально решим денежную проблему. Руки-ноги при нас, получается что? Получается, заработаем. Как заработаем, так и рванем. Осуществим капитально твою мечту. Эх, специальности у тебя человеческой нет! Лыжи и прочее — это все несерьезно, Санек. Но руки-ноги при нас. Это главное, это капитально. А счас топаем к пирсу, малая навигация нас ожидает.

По-весеннему пригревало солнце. Доски причала были сухи и теплы. Сашка Ивакин и Вася Прозрачный лежали и курили.

— Надо еще работу найти, — сказал Сашка. — Чувствую, что надо спешить. Так мы долго рубли сколачивать будем.

— А знаешь, Сань. У меня тоже мечта есть, — доверительно заговорил Вася Прозрачный. — Мечтаю быть в Антарктиде. Сегодня во сне видел. Стоит пингвин и хохо-

чет. Чего, говорит, Васька, долго не ехал? Где шлялся? Да так, говорю, в пределах родной державы. От Чукотки до Балтики. Пингвин так махнул рукой, крылом то есть, пошел прочь. А понимаешь, — Прозрачный мечтательно улыбнулся, — приедешь в свою деревню или кореша встретишь знакомого. Где был, где калымил, будет, конечно, вопрос. А я гордо так отвечаю: никак не калымил, браток. Осваивал шестой континент на пользу советской науке... А пингвин правда хохотал сегодня во сне. Надо же такому присниться... — Прозрачный замолчал, затянулся, выпустил к небу дым. — А работу найдем, — другим голосом добавил Васька. — На лесной бирже люди нужны. Через месяц двинем в сторону, противоположную Антарктиде. Шестой кон-ти-нент! Да-а!

Сашка Ивакин в компании с двумя телогреечными личностями разгружал машину на пирсе. Складывал в штабель огромные папиросные ящики. Внимательный снабженец стоял с блокнотом, делал пометки. Время от времени Сашка поглядывал на дальний конец причала, ждал Васю Прозрачного.

— Папиросы все! — сказал наконец снабженец. — Сейчас пойдут две машины сгущенки. Ты за старшего, — обратился он к Сашке.

— Ага! — Сашка отодвинул в сторону ящик. Сел. Вытащил из кармана пачку сигарет. Прикурил, сгорбился на ящике. Телогреечные личности отошли в сторонку.

Снабженец сел в машину и укатил.

В сторонке стоял, покачивался на волне катер. Вышел морячок, развесил на тросике постирушку. Постоял, закурил, глянул на причал. Неторопливо ушел в рубку.

По причалу бегом бежал Вася Прозрачный.

— Капитально! — издали крикнул он.

Но все больше замедлялся его бег, потом он перешел на шаг и подошел вовсе уж грустный.

— Вот! — Он извлек из кармана газету.

«Новая советская экспедиция отправляется к берегам Антарктиды», — гласил крупный заголовок.

— Вот, — сказал Васька убитым голосом. — Везет же людям!

Сашка откинул окурок и закурил новую сигарету.

— А ты рискни, — тихо предложил он.

— Что ты! Там же очередь с километр, наверное. Все же хотят.

— Не все, Вась. Это ты по ошибке.

— Ну, у кого вместо мозгов квартира там или ресторан. Вдвоем бы! Почему я тебя раньше не встретил, Саня?

Сашка молча затянулся раз, другой, третий. Искоса посмотрел на Прозрачного.

— Едем! — сказал Сашка.

— Не шути, Саня. Горестно Ваське сегодня.

— Едем! Я не шучу.

— А как же...

— Обойдется! Так едем?

— Куда, Саня?

— В Ленинград, естественно. Антарктиду там формируют.

— Бичи! — крикнул Сашка телогреечным личностям. — Постерегите ящики.

— Дождись. Деньги получишь, — не отрываясь от созерцания небесных высот, прохрипел один.

— Дарю! Ты и получишь. Идем!

— Циркач! — изумленно сказал ему вслед бич.

Антарктида

Было раннее ленинградское утро. Они шли по совершенно пустынной улице. Прозвякал и прокатил мимо утренний, тоже пустой трамвай. Вдали показалась поливочная машина.

— Постоим, — сказал Вася Прозрачный.

Они закурили. Поливочная машина прокатила по улице, разбрызгивая воду. Вася проводил ее взглядом.

— Не работал на такой. Наверное, в жару интересно. Едешь и вроде бога выдаешь дождик.

— Ты что хитришь? — спросил Сашка.

— Знаешь, Саш. Ты иди один.

— Разумеется, — поспешно сказал Сашка.

...Они стояли у чугунной ограды. Сашка нервно прикурил, затянулся, бросил сигарету, посмотрел на часы.

— Вот что. Начальник экспедиции — человек занятой. Пойду прямо сейчас. Займу очередь. Буду первым.

— Капитально! Я — напротив. — Вася кивнул через улицу. — Буду там ждать.

Сашка прошел двор, нашел стеклянную вывеску. Потянул на себя тяжелую дверь.

Вахтер за столом поднял голову.

— К кому?
— В Антарктиду, — сказал Сашка.
— Второй этаж, — буркнул вахтер.
Сашка поднялся на второй этаж. Коридор был длинен и пуст. Одна дверь была приоткрыта. Сашка заглянул, прочел фамилию на двери. Вошел в приемную. Стол. Зачехленная машинка. Три стула. Напротив дверь кабинета. Сашка потрогал ее. Дверь открылась.
— Входите, — сказал мужской голос.
Сашка вошел.
В увешанном картами кабинете сидел пожилой человек в летной кожаной куртке. Огромное окно раскрыто. Ветер шевелил занавески.
— Слушаю, — человек взглянул на Сашку.
Но Сашка как завороженный смотрел на то, чем человек занимался. Перед ним лежала толстая стопка листов географических карт, и он перекладывал листы, сверяя их номенклатуру.
— Желаете попасть в Антарктиду? — не отрываясь от карт, — сказал человек за столом.
— Нет, не желаю. То есть желаю, но не могу.
Человек поднял голову и внимательно посмотрел на Сашку. Взгляд был усталый, но в глазах ясно проглядывал интерес.
— А что же? Что привело вас сюда?
— Там, за окном, стоит парень, который видит во сне пингвинов. Между прочим, он вам просто необходим. Две руки, семь специальностей. Не считая побочных. Я географ и кое-что понимаю. Он действительно необходим в Антарктиде.
— Садитесь! — Человек кивнул на стул. — Первый случай в моей практике, когда в вашем возрасте просят не за себя...
— Просить именно не за себя гораздо естественнее, — усмехнулся Сашка.
— Согласен. Но в чем все-таки дело?
И Сашка Ивакин второй раз вынужден был повторить свой неправдоподобный рассказ, где детство смешалось с прошлым веком, розовая чайка с горными лыжами и мечта о неоткрытых землях с угрожающей слепотой. Он старался рассказать все это сдержанно, отодвинуть себя и свои недуги на дальний план, а вперед выдвинуть странную судьбу Шаваносова и птицу, которая есть все-таки на самом деле.
— Завидую, — сказал начальник экспедиции. —

Двадцать лет в Арктике, но я ее не видел. Изумительная все-таки птица. А с этим Шаваносовым разберитесь. Зайдите к деду Монякину. Он главный историограф Арктики. А эта записка для вашего друга. Его проверят... если все так, то, безусловно, возьмут.

Начальник встал. Посмотрел Сашке в глаза.

— А из вас, возможно, будет географ, Ивакин. Институт вы зря бросили. Но впрочем...

— Ладно, — без улыбки сказал Сашка.

Продолжение дневника Николая Шаваносова

Любовь натолкнула меня на мысль о красоте, которая возвышает душу человека. Говорят, что Гёте плакал перед прекрасной статуей Венеры Милосской.

Я думаю, что чем больше будет открыто в мире живой красоты, тем меньше останется в нем места для жестокостей и бед.

Такова общественная основа моего решения.

На фактический план меня натолкнуло чтение сочинений покойного академика Крашенинникова. Читая выполненное им с величайшим тщанием описание природы и животного мира Камчатки, я вдруг подумал, что розовая чайка, будь она на Камчатке, не ускользнула бы от тщательного ума этого натуралиста.

Естественное любопытство привело меня к чтению отчетов экспедиции Беринга, Лаптевых, Прончищева, Ласиниуса, славного Миддендорфа.

Упоминаний о розовой чайке в их трудах я не встретил. Но перед взором моим развернулись необъятные пространства полярной России. Дальнейшие мои доводы должны быть поняты каждым: англичане встретили розовую чайку на восточных наших пределах, потомки норвежских викингов встречали ее на западных. Возможно ли в этом случае представить себе, чтобы эта птица миновала, оставила в стороне тысячеверстные земли между чукчами и Архангельском?

Изучение путешествий по русскому Северу со времен Ермака до изысканий последних лет указывает с ясностью, что наименее известным местом в России является пространство между дикими реками Индигиркой и Колымой. Можно сказать, что это одно из самых глухих мест в мире. Туда не забирались путешественники, не заходили миссионеры. О животном мире тех мест, о племенах и географии ничего не известно. Предполагается только,

что там лежит огромная равнина, покрытая тундрой, озерами, по-видимому, лишенная леса.

А может быть, есть племена, которые молятся розовой птице. Я присоединился бы к их вере...

Прощание

Как ни крути, но пришел все-таки этот момент, и отодвинуть его уже невозможно. Скверик был мокрый, лавочки блестели под весенним дождем. Вася Прозрачный рассовывал по карманам бумажки, прятал глаза и говорил чепуху:

— Командировочное предписание — раз! Талон на спецодежду — два! С ума сойти — три теплых костюма. Письмо к главному механику — три. Капитально! Получается итог: снова Васька при деле.

— Антарктиде — привет, — сказал Сашка.

— Передам. Пожму лапу пингвину. А как же? Может, передумаешь?

— Не судьба.

— Насчет судьбы — это все разговоры больше. Ее гусеничным траком надо давить. Действовать на нее упорной силой. Что будешь делать, Саня? Как применять упорную силу?

— От Качуга вниз по Лене. Потом все время к востоку.

— Ты держись за людей. Не за всех, а которые наши ребята. Ребята везде есть. Как увидишь барак или там палатку, рожи чумазые, сапоги-телогрейки, так иди сразу смело. Эх, Санек, может, тебе неизвестно это: много ребят настоящих есть...

Сашка вынул из кармана пачку денег. Разделил пополам.

— Наши с тобой капиталы.

— Не пойдет, — твердо сказал Вася. — Прими как мой вклад. В получку кину перевод «Якутск, до востребования». Договорились? Или в другое место. Ты в клинике будешь?

— Наверное, в клинике. Давай к поезду. Пора.

Они стояли у чистеньких пригородных вагонов. Была середина дня, и перрон был почти пуст.

— Саш! — с усилием сказал Вася Прозрачный. — Если у тебя серьезное что... я слышал, глаза пересаживают. Ты не унывай. Васька тебе свой глаз даст. Будут

ходить два корешка одноглазых. Один с Арктики, второй с Антарктики. Умора! Правда, умора, Сань?

— Возьми адрес. — Сашка вырвал листок из блокнота. — Тут все написано. Это мой тренер. В крайнем случае... через него.

— Ты к птице не очень стремись. Полежи, верно, в больнице.

— Давай прощаться. Иди в вагон.

— Будь, Саня.

— Будь. Антарктиде привет.

Сашка, не оглядываясь, неторопливо пошел по перрону. Дверь электрички зашипела и стала закрываться. Васька сунул ногу, руку, раздвинул дверь и держал открытой, смотрел вслед Сашке. Сашка свернул за угол. Электричка двинулась.

Сашка вскочил в трамвай. Стоял, держась за ручку. Лица пассажиров вдруг расплылись, стали серыми. Сашка тряхнул головой, потер глаза. Ничего не изменилось. Он долго стоял, зажмурив глаза, задерживая дыхание. Открыл. Все было нормально.

...Сашка выскочил из трамвая. Пошарил глазами. Такси шло свободным. Он поднял руку.

— В аэропорт, — сказал он таксисту и отвалился на заднее сиденье. Сидел, кусая губы.

В аэропорту Сашка долго стоял у расписания самолетов, пересчитывал деньги. Самолеты взлетали как мечта о краях, где мы не бывали, и уходили в светлое небо как подтверждение тезиса о том, что побывать в тех краях стоит, и когда-нибудь, черт возьми, это исполнится.

Прижимая руки к груди, Сашка что-то объяснял кассирше и показывал тощенькую пачку денег.

Наконец кассирша дала билет. Сашка сунул его в карман, посмотрел на часы и пошел по зданию вокзала.

Письмо Николая Шаваносова, вклеенное кем-то в дневник

«Вы, конечно, уже почитаете меня, Государыня моя, в царстве мертвых, не получая так давно от меня, ни обо мне ни малейшего известия. Я начну сие письмо тем, что постараюсь оправдаться пред Вами в моем долговременном молчании, и донесу Вам тому причины...»

Вот так, «Государыня моя», начиналась занимательная книга некоего Дела Порта «Всемирный путешествователь», написанная около ста лет назад. Свои путевые

записки славный «путешествователь» излагал в виде писем некой прекрасной даме.

Я тоже сейчас «путешествователь». Большую часть зимы я провел в Иркутске в сборах и подготовке. В Иркутске же мне сказали: «Мы знаем о тех краях только то, что там жить нельзя».

Ехать же мне надо было от Иркутска до Качуга по зимнему пути. От Качуга после весеннего паводка сплавиться вниз по Лене до Якутска. От Якутска начиналось незнаемое.

В качестве основной карты я взял карту, составленную известным капитаном Гаврилой Андреевичем Сарычевым. Карта эта была составлена им во время путешествия Виллингса, то есть много десятилетий тому назад, но позднейшие путешественники мало что к ней прибавили.

Якутск — деревянный городок, заброшенный в дебри приполярной Азии. На приезжего он производит гнетущее впечатление вследствие полной заброшенности своей после героических деяний землепроходцев.

Больше добавить нечего.

В этом не так уж древнем городе много развалин. Развалины крепости, выстроенной казаками, остовы домов, покосившиеся колокольни. Я же надеялся, что найду здесь сильный и гордый край, сохранивший энергию и предприимчивость основателей.

Если по улицам Якутска пройдет живой мамонт, — по-моему, в Европе об этом узнают лет через сто.

Ближайшей моей целью является отдаленное стойбище Сексурдах.

Дорога

По раскисшей от грязи сибирской дороге с натужным ревом двигалась машина. Был пейзаж из черных сопок с белыми пятнами не сошедшего еще снега, с зеленым пушком лиственниц и с дальними хребтами, на которых лежали низкие темные облака. Низкие облака, грязь и весенняя бесприютность были в этом пейзаже.

Шофер в ватнике с круглым лицом, нос пипочкой, с многодневной небритостью, коренной сибиряк, одним словом, перекатывал руль. Модный приемник ВЭФ-2 шпарил мелодии «Маяка». Рядом сидел Сашка.

— Так как же тебя занесло сюда? — продолжал беседу шофер.

— Билет кончился, — хмуро ответил Сашка.

— А надобно тебе дальше?

— Надобно.

— А деньги, выходит, кончились?

— Кончились.

— Ну, положим, проедем мы восемьсот километров. Я машину сдам. Буду ждать вертолета. А ты?

— А я дальше.

— Там трасса кончилась, куда я еду.

— Как-нибудь, — сказал Сашка. — Раз надо, как-нибудь доберусь.

— Интересное «надо» у тебя получается, — шофер повернул к Сашке лицо, усмехнулся, показал прокуренные зубы, покачал головой. — Первый раз такое интересное «надо» вижу.

Дорогу окружал мокрый кустарник. Дальше шел мелкий лиственничный лес и поднимался полускрытый туманом бок сопки. Закатный луч солнца прорвался сквозь этот туман, и тайга вспыхнула розовым светом, и молодой пушок лиственниц заиграл изумрудной расцветкой.

Машина тяжко забуксовала. Шофер переключал скорости, но машина садилась все глубже.

— Обожди, — сказал Сашка. Он выскочил из кабины. — Сейчас что-нибудь подброшу.

— Плащ сними, — шофер вытащил из-под сиденья телогрейку, кирзовые сапоги. — Одевай сибирскую форму.

...Пламя костра металось, вырывая из темноты то автомобильный скат, то древесные стволы, то задумчивое усталое лицо шофера, то Сашку.

Шофер взял веточку, прикурил и долго смотрел на огонь. Сашка, задумавшись, смотрел куда-то в темноту за костром.

— За морем телушка — полушка, — сказал, продолжая беседу, шофер. — Все едут. Кто за рублем, кто от жены, кто приключения на свою голову ищет. У меня, между прочим, тоже мечта была в твоем возрасте.

Сашка повернулся к нему.

— Верблюдов водить. Караваны. Накладную подписал, груз принял и дуй полгода в одном направлении. Ни штрафов тебе, ни дырок в талонах, ни правил движения. Через полгода груз этот сдал, полежал на ковре, винца выпил и снова в другую сторону. Другие места.

Другие люди. Только звезды одинаковые. А звезды зачем одинаковые? Чтобы себя, что ты есть, не забыть. Понял почему?

— Мечта что надо, — сказал Сашка.

— Светать скоро будет, — шофер зевнул. — Пойду посплю.

— Я посижу.

И остался Сашка один у дымящегося костра.

Догорающие ветки изредка вспыхивали и освещали сгорбленный Сашкин силуэт и стволы деревьев за ним, а дальше, за деревьями, глушь, пугающий мрак.

Шаваносов

Лет семьдесят назад с Шаваносовым происходило следующее.

Костер горел дымно и плохо. На тайгу давно уже опустился вечер. Верхушки деревьев еще краснели в закате, а внизу уже ложился легкий ночной туман.

Шаваносов перестал дуть на огонь, разогнулся, потер слезящиеся глаза. Он был худ и грязен. Голова в войлочной шляпе, на шею, затылок и уши опускалась тряпка от комаров.

Он подбросил в костер остатки дров, взял топор и пошел в сгущавшиеся сумерки леса. Взгляд его остановился на сухой лиственнице, торчащей на маленькой, заросшей травой прогалинке. Он перехватил топор и пошел через прогалину. Неожиданно дерн стал оседать. Шаваносов сделал несколько больших шагов и провалился.

Он медленно погружался в трясину.

— Господи! Яви волю твою, — тихо сказал Шаваносов.

— Своевременное обращение, — раздался насмешливый голос.

Шаваносов вскинул глаза. Человек в добротном парусиновом костюме, меховой дошке как будто вырос из тумана. Крепкие сапоги, бородка, в руке он держал короткий винчестер. Незнакомец насмешливо смотрел на Шаваносова.

— Кто вы? — спросил Шаваносов.

— Господь явил свою волю. Но господу надо помочь. Топор можете кинуть?

Шаваносов размахнулся и швырнул топор.

Незнакомец ловко поймал его. В два удара он срубил лиственницу. Кинул ее Шаваносову.

— Держите, любезный. Сейчас я вас вытащу! Вот уж не думал быть посланцем господа.

Он срубил еще несколько тонких березок и снес их к краю болотца.

— Вы кто? Не дьявол ли? — спросил Шаваносов. Он держался теперь за лиственничный ствол.

— Хо-хо! Узнаю российского интеллигента. Мистика заедает. И главное: отсутствие логики. Что в Якутии, что на Тверской.

Говоря все это, незнакомец ловко выкладывал на трясине дорожку из срубленных стволов.

Облепленный грязью, вздрагивающий от холода, Шаваносов доставал из мешка сухую одежду. Незнакомец лежал, подперев голову локтем, и насмешливо смотрел на него.

— И все-таки, господин Шаваносов, я в который раз прошу объяснить цель вашего путешествия. Все-таки я ангел-спаситель.

— Я ищу местожительство чудеснейшей птицы. Розовой чайки, — устало сказал Шаваносов.

— Жар-птица! — поднял голову незнакомец. — Оставьте, милейший, эти небылицы для якутов. Они всему верят.

— Она есть. Просто люди забыли, что она существует въяве.

— Допустим, есть. Зачем она вам?

— Испокон веку человек ищет прекрасное. Прикоснувшись к таинству красоты, люди становятся лучше.

— Хотите переделать человечество с помощью птички? Старо как мир! И куда вы денете купца первой гильдии Шалимова?

— Откуда вы знаете про Шалимова?

— Заглянул в ваш дневник, пока вы спали. Я иду за вами неделю. Я от природы, знаете, любопытен. Из любопытства, знаете, торчал в Сорбонне, затем в Гейдельберге. Искал россыпи знаний, но вовремя понял, что рациональнее искать другие россыпи, настоящие. У здешних людей я закончил еще один университет — таежный. Профессура его не знает бритвы и мыла, но в отличие от Сорбонны и Гейдельберга здесь твердо знают предмет. Я авантюрист, Шаваносов! Рассорился с проводниками. И вижу, топаете вы. По виду босяк-старатель, что само по себе интересно. Кстати, совет: нельзя

так опускаться. Вас могут легко пристрелить. Лоток в сочетании с рваной одеждой — это в тайге опасно. Я решил последить. Может быть, вы идете не с места, а к месту. Потом заглянул в дневник и понял, что ошибся. У вас в роду не было казаков?

— Каких?

— Крепких ребят, покорявших Сибирь порохом и крестом. Может быть, у вас карта предка? С человечками и крестиком в нужном месте. Я ее не нашел. Хотя, признаться, искал. Держите в голове?

— Я ищу розовую чайку. Целей иных у меня нет.

— И именно под эту птичку Шалимов дал вам деньги на экспедицию.

— Если я что-нибудь найду, Шалимову отходят права первооткрывателя.

— Вы пропадете без меня, господин Шаваносов. Ружье вы потеряли. Кстати, я его подобрал. И спрятал. Вам оно ни к чему, пока я здесь. Я хочу посмотреть.. гнездовье. Из любопытства. И... можете не опасаться меня. Кстати, три года назад в верховьях Вачыгана эвенк нашел гнездовье. Ветер выдул песок, и остались желтые камушки. Как яички. Эвенк сгинул. Кое-кто... Почему не я? Где логика? Нет, я должен вас охранять, Шаваносов.

Вниз по реке

Облепленная грязью машина въехала в таежный поселок. Вперемежку с потемневшими от времени домиками стояли новые двухэтажные деревянные дома, и улицы были засыпаны стружкой, щепками — обломками досок.

Машина остановилась у новенького двухэтажного здания с вывеской на фанере: «Хангарское геологическое управление».

— Прибыли, — сказал шофер.

— Это что? — спросил Сашка.

— Хангар. Поселок, неизвестный на картах.

— А Буюнда? Ты же у отвилки на Буюнду обещал меня высадить.

— Это, парень, двести километров отсюда. Проспал ты отвилок.

Шофер достал бумажки из ящичка.

— Пойду машину сдавать.

Сашка вышел из кабины. Обогнул машину, вплотную подошел к шоферу.

— Ты что, шутишь? — Он остановил за телогрейку собравшегося было уходить шофера. — Ты объясни все-таки.

— Дорогу видел? Одному по ней можно ездить? А такие, как ты, не спешат.

Шофер резко вырвал телогрейку и пошел прочь.

— Эй, постой! — крикнул Сашка.

— Сапоги и ватник оставь себе... путешественник. — Шофер вошел в управление.

Сашка двинулся за ним. Длинные коридоры были пусты и тихи.

Сверху слышался треск машинки. Сашка поднялся наверх по деревянной скрипучей лестнице.

В крохотном кабинете сидела женщина.

— Вам кого?

— Начальник есть? — спросил Сашка.

— На связи. По коридору направо.

Сашка пошел. В комнате по коридору направо пищала морзянка, хрипел динамик, и на двери висела краткая вывеска: «Посторонним! В радиорубку! Категорически!»

Сашка остановился у двери.

— Сорок пятая. Сорок пятая. Как слышите? Прием. Кто на рации? Здравствуйте. Хавелев! Да, Хавелев! Прием. Принято. Двенадцатая. Хавелев, вызываем двенадцатую. Прием.

Сашка отошел к стенке, закурил.

— Что? — взорвалось за дверью. — Как ушли? Всех каюров на поиск. Сколько пропало? Оленей сколько? Все? Третьи сутки? Под суд! Под суд тебя отдам, Димитренко!

Радиошум и энергичный голос Хавелева бушевали за стенкой, куда вход был категорически...

Сашка прислонился к стене, решил ждать.

— ...Ничем не могу помочь, — выслушав Сашку, сказал товарищ Хавелев, свирепого облика грузный мужчина. — Весной! Весной я тебя ждал, дорогой товарищ. Весной были люди нужны.

— Не так меня поняли. Я спрашиваю совета: как проще выбраться, чтобы попасть на восток.

— Ты что: странник? — изумился Хавелев.

— Сексурдах. Мне надо на Сексурдах.

— Сек-сур-дах! Значит, не просто странник. Завтра наш бот идет вниз по реке. Там порт. Попробуй оттуда.

— Спасибо, — сказал Сашка.

— Я за спасибо бродягам не помогаю.
— А за что вы им помогаете?
— Поможешь завхозу. Доплыть. Получить. Погрузить.
— Договорились.
— Ночевать в общежитии. Разыщете сами. Пока!
— Спасибо все-таки, — сказал Сашка.
— Весной приходи, — буркнул вслед Хавелев. — Весной мы странников хорошо встречаем.

Сашка шел по улице, поглядывая по сторонам. Увидел вывеску: «Смешанный магазин». Зашел. В магазине, где справа консервы, а слева ситцы, было пусто. Потом откуда-то из-за стенки медленно выплыла продавщица.
— Новенький! — удивилась она. — Новый человек, убей меня гром. И сразу же за спиртом пришел, а?
— Нет.
— Тогда что же?
— Сапоги, — сказал Сашка. — Размер сорок три. И рюкзак. Вон тот за семь пятьдесят.
Прямо на крыльце он снял кирзовые разбитые сапоги и натянул болотные резиновые. Поставил старые сапоги рядом с крыльцом. И возле примостил опустевший чемодан.
В свитере, болотных сапогах он превратился сразу в видного парня, каким и был когда-то во времена соревнований и тренировок.
Продавщица выплыла на крыльцо.
— Приезжий. Непьющий. И, наверное, холостой, — определила она.
— Точно, — ответил Сашка.
Продавщица неторопливо с головы до ног осмотрела его оценивающим женским взглядом. Сашка встретился с ней глазами, усмехнулся.
— И красивый какой, — заключила продавщица.
Она ушла и тут же вернулась:
— Держи!
— Что это?
— Дефицит. Штормовка на «молнии». И брюки из непромокаемой ткани. Размер твой.
Сашка посмотрел на этикетку. Отсчитал деньги.
— При магазине живу, — сказала вслед продавщица. — Заглядывай вечерком.
Сашка обернулся.

— Телевизор вместе посмотрим. — Продавщица засмеялась.

Сашка месил грязь. Улыбался.

Черный остроносый дощаник шел вниз по реке. Был пасмурный день, ветер гнал по серой воде мелкую, но упорную волну, и берега были под стать этому дню — черные торфяные обрывы, поросшие мелкой сосной Приполярья.

На руле сидел бывалый мужик в полушубке, под полушубком ковбойка без пуговиц, всезнающий прищур узеньких глаз.

— Приезжий, — сказал мужик. — Тебя для чего ко мне посадили? Чтобы я плыл не один. Не отъединяйся.

Хватаясь за борта лодки, Сашка перебрался на корму. Мужик вытащил неизменный «Прибой», молча предложил Сашке. Закурили.

— Как зовут?

— Александр. Саша.

— Меня Василий. Васька Феникс — это и есть я. Феникс — это птица такая.

— Почему Феникс?

— Возникаю из пепла жизни. Судьба норовит обратить меня в пепел. Через судимости, алименты или статью сорок семь пункт «г» КЗОТа. А я, обманув судьбу, возникаю.

Сашка усмехнулся.

Резкая стремнина подхватила лодку и понесла, прижимая к берегу. Мелькали торфяные берега, огромные завалы — груды стволов, нагроможденных весенним паводком. Неожиданно мотор зачихал и замолк. Васька Феникс неторопливо наклонился к мотору, почесал в затылке. Лодку разворачивало по течению и прибивало к берегу.

— Смотри, на завал несет, — спокойно предупредил Сашка.

— Может, проскочим, — беспечно отозвался Феникс.

— Заводи!

Феникс глянул на стремительно приближавшийся завал и начал лихорадочно пинать заводной рычаг. Лицо его побелело. Сашка взял загребное весло, подошел к борту лодки и стал отгребать, но было поздно. Со скрежетом, треском лодка трахнулась о завал, и тотчас струи воды ударили в днище и стали наклонять лодку, клоко-

чущая струя запихивала ее под нагромождения стволов. С обезьяньей ловкостью Феникс вспрыгнул на борт и стал хвататься за осклизлые бревна. Сашка одной рукой сдернул его обратно и тут же уперся веслами в завал. Вздулись жилы на шее.

— Заводи! — заорал Сашка.

— Счас! Счас! Если удержишь, так я заведу, — дрожащими руками Феникс вывинтил свечу и стал продувать цилиндр.

Лицо Сашки было темно-красным от напряжения, огромные жилы вспухли на лбу. Лодка вибрировала.

— Чистого бензинчика бы сейчас в цилиндр, сразу схватит, — шептал Феникс.

Сашка молчал.

Весло с треском лопнуло, и в тот же миг застучал мотор.

Несколько минут лодка вибрировала на месте и наконец медленно пошла от завала.

— Силен ты, однако, — удивился Феникс. — Прошлый год шесть человек под завал угодили. Неделю его разбирали, чтобы, выходит, трупы извлечь.

Сашка молчал. На месте Феникса маячило только зыбкое пятно, из которого летели трескучие, полные радости от пережитого страха слова.

— А еще в позапрошлом, значит, году был такой случай...

— Дерьмо ты, — перебил Сашка. — Никогда ты не возникал из пепла. Ты так и родился в пепле, дерьмо собачье.

Стучал движок, мелкая злая волна била о борт лодки. Надвинув капюшон штормовки на брови, Сашка сидел, зажмурив глаза. Лицо его было мертвенно-бледным.

Берег стал ниже, и все реже стояли низкорослые, искривленные морозом и ветром деревья. Тундра вгрызалась в них.

У эвенкийского чума

Шаваносов и незнакомец вышли на тундровую равнину. Невдалеке маячили сглаженные горы.

— Не в этих ли горах ваша цель, Шаваносов?

Шаваносов молчал.

— Не бойтесь. Маршрут к вашей птичке умрет в моем сердце.

— Гуси! — показал Шаваносов.

Низко над тундрой, вытянувшись косяком, тяжко летела гусиная стая. Незнакомец вскинул винчестер, повел стволом. Грохнул выстрел. Один гусь сломался в полете и, кувыркаясь, упал на землю.

— Вот и ужин, — весело сказал незнакомец.

На близком бугре возникла человеческая фигурка.

Вскоре они сидели у эвенкийского чума. Эвенкийка кормила грудью младенца, мальчик лет семи не спускал с них глаз, а старый худой эвенк говорил о дороге:

— Не надо туда ходить, — эвенк махнул рукой на дальний хребет. — Его зовут Крайний Камень. Дальше шибко худое место. Озер много, рыбы много, ягеля для оленя много — ходить нельзя.

— Почему?

— Шибко опасно. Сверху трава, внизу лед. Во льду эти... Выкрутило водой. Сверху трава. Стенки гладкие. Олень провалился — пропал. Человек, если один, тоже пропал.

— Встречал такие места, — сказал незнакомец. — Явление термокарста.

— Озера, — как во сне пробормотал Шаваносов. — Равнина... множество птицы...

Парнишка возбужденно поглядывал на Шаваносова и на отца.

— Маленько кочуем здесь, потом в Сексурдах, — рассказывал старый эвенк. — Там наше стойбище.

Шаваносов вынул обтрепанный дневник и принялся писать, положив его на колено.

— Заботитесь о потомках? — усмехнулся незнакомец.

Гидрографы

Деревянная причальная стенка была выстроена на берегу. Наверху, на обрыве, маячили темные северные избы. Вонзалась в бледное небо мачта радиостанции.

У причальной стенки стояло несколько обшарпанных катеров.

— Прибыли! — хрипло сказал Васька Феникс.

Он вылез из лодки, кинул на песок небольшой якорь, ткнул его сапогом.

Сашка Ивакин отошел к причалу. Сел. Закурил.

Из-за берегового мыса вышло небольшое белоснежное судно. Остановилось поодаль от берега. Загремел якорь. Шлюпка отвалилась от судна.

...В шлюпке было трое парней. Они причалили лодку,

выпрыгнули на берег и ушли в путаницу домов. Белоснежное низкосидящее судно маячило на окрашенной закатом воде как мечта.

Ребята вернулись со звякающими и булькающими рюкзаками. Сашка подошел к ним:

— Что за судно, ребята?

— Гидрографы. Картируем отмели, — сказал хрупкий, совсем юный парнишка. Он был молод, белокур, красив какой-то девичьей красотой и оттого, видно, старался говорить тоном бывалого волка.

— А куда вы сейчас?

— На восток. — Высокий, похожий на эстонца парень доброжелательно смотрел на Сашку, низенький бородач укладывал рюкзаки.

— Меня не возьмете?

Бородач разогнулся, хмуро глянул на Сашку:

— Анекдоты можешь травить?

— Нет.

— Коку помочь, гальюн драить?

— Попробую.

— Несерьезный ты бич. — Бородач сплюнул. Они начали сталкивать шлюпку.

— Надо, ребята. Я не бич. Мне надо быть на востоке.

— Сказано, что нельзя, — ответил жестокий юнец.

Бородач оценивающе глянул на Сашку.

— «Надо» — слово серьезное, — сказал он, помолчав. — Садись, если «надо»!

Высокий эстонец ободряюще кивнул головой и улыбнулся, показав прекрасные зубы.

В тихом моторном рокоте, в безоблачном солнце по гладкой воде медленно двигалось гидрографическое судно.

В рубке крутился самописец эхолота, вычерчивая прямую линию, и человек возле эхолота, прищурившись, сосал папиросу, косил взгляд на бумажную ленту и мурлыкал привязавшуюся с утра песенку:

...Мы люди моря. Живем на суше.
Нам делать нечего, мы ходим,
бьем баклуши...

С высоты птичьего полета можно было видеть, как судно, пройдя короткое расстояние, описывало кривую, и снова двигалось параллельным галсом, и снова развора-

чивалось, и снова шло параллельно... Как будто настойчивый упрямец разыскивал оброненную на морское дно небольшую вещицу.

В тесном кубрике с двухъярусными койками было трое. Один после вахты спал, укрывшись по самый нос байковым одеялом, другой читал толстую книгу, а Сашка Ивакин смотрел в потолок и кусал губы.

— Собеседник ты, Саша, изумительный. Как эта книга, — парень повернулся к Сашке и показал обложку «Пятизначные математические таблицы». Б. И. Сегал, К. А. Семендяев.

Сашка молчал.

— И это человек, пользующийся прославленным гидрографическим гостеприимством. Бесплатным проездом... к... месту следования. Ты, случаем, не младенца зарезал?

— Нет, — ответил Сашка.

— И всесоюзный розыск на тебя не объявлен? Или ты сам майор Пронин?

— Тоска, — сказал Сашка. — Третьи сутки на одном месте. Третьи сутки одну и ту же сопку видать. На сколько мы за месяц уплывем?

— Миль двести пройдем. Работа.

— Я понимаю.

— Ты, Саня, плохой человек. Спешишь куда-то. Мозгу точишь. А был бы ты тунеядец. Бродячие тунеядцы, понимаешь, для компании хороши. Анекдот тебе свежий. Пример из собственной жизни. Ужасный случай, который видел своими глазами. От нашей работы обалдеть можно.

— Можно, — согласился Сашка.

Парень глянул на часы, спрыгнул на пол. Посмотрел на спящего, натянул одеяло на его босые ступни, взял с полки мичманку, надел, поправил набекрень и вышел.

Сашка следом за ним поднялся на палубу. Дремотное, как будто никем не управляемое судно двигалось по гладкой воде. С севера, с океана, шли длинные пологие валы.

— Штормит где-то, — сказал парень. — А у нас курорт.

Из-за рубки доносилось бренчание гитары. Сашка обошел рубку. Лицом к заходящему солнцу прямо на палубе сидел бородач в полярной куртке, натянутой на голое тело. Он тихо бренчал на гитаре и пел, мурлыкая для самого себя, для этой тихой минуты жизни.

Увидев Сашку, парень прихлопнул струны ладонью. Приземистый, чернобородый, он напомнил жюль-верновского доктора Сэллинджера.

— Слушай, — сказал парень. — Я тут сидел и про тебя думал. Не переношу три категории людей: бичей, тунеядцев и туристов. Ты кто из трех?

Сашка пожал плечами.

— Для тунеядца ты мрачен, тунеядец всегда ласков, для бича не годишься: бич заливать умеет, а ты молчишь. Турист ты, что ли? Маешься этой дурью?

— Мне на восток надо. И как можно быстрее.

— При закатном солнце и гладком море можно увидеть зеленый луч. Ты его видел? — неожиданно сказал парень.

— Нет.

— И я нет. Вот сижу и жду.

— Не буду мешать...

— Не мешай, — согласился парень. — Тем более что лирика эта бывает два дня в навигацию. И часов через шесть начнется приличный шторм.

— Откуда знаешь?

— По штилю и облакам. Подними взгляд.

Сашка посмотрел вверх. В безоблачно чистом небе, где-то в середине зенита вытянулись три плотных чечевицеобразных облачка.

— Штормовые облака. Радуйся.

— Чему?

— Ты же спешишь? Побежим на отстой. И именно в Тикси.

Сашка стоял у поручней. Начинал задувать легкий ветер. Ветер доносил из-за надстройки тихое бренчание гитары.

Вскидываясь на волнах, гидрографическое судно спешило к востоку. Волна еще не была злой, но ветер уже срывал водяную пыль с верхушек, бросал ее на палубу и завывал в снастях и надстройке. Ребята в штормовках мотались по палубе, убирали разбросанное оборудование, вещи.

Сашка Ивакин прилепился к поручням. Лицо его было мокрым.

Сзади возник бородач все в той же полярной куртке на голом теле. Куртка и тело блестели как лакированные.

— Пойдем, поможешь! — крикнул он.

За надстройкой было сравнительно тихо. С десяток бочек, обмотанных тросом, шевелились как живые.

— Не могу трос затянуть, — выдохнул бородач.

— Закрутить надо ломиком, — быстро предложил Сашка.

— Закрутишь его...

— Тащи ломик, — приказал Сашка.

Толстенный трос не хотел закручиваться в петлю.

Сашка налег, трос еле-еле подался. Сашка закусил губу и провернул лом один раз, второй. Бочки мертво стянулись.

— Силен! — одобрительно выкрикнул бородач.

— Давай доски. Расклинить надо.

Сашка забрался на бочки и обухом топора стал вбивать куски досок между бочками.

Волна вздыбила палубу, Сашка затанцевал на бочках, но удержал равновесие. Осмотрелся, спрыгнул на палубу, мокрый и счастливый.

— Порядок! — удовлетворенно крикнул парень. — Теперь в трюм, там надо кое-что закрепить.

...Оживленные, мокрые, ребята сидели в крохотной кают-компании вокруг пляшущего стола. Бородач со смехом рассказывал:

— Я говорю: Саша, не налегай. Судно у нас хлипкое. А он...

Сашка усмехнулся.

Сверху пробарабанил по ступенькам парень в зюйдвестке.

— Да-ает! Хлебнем в эту ночку!

— Льдов бы не нагнало. Напоремся в темноте и...

— Прибегает тот пассажир и спрашивает: «Господин капитан. Сколько до ближайшей суши?» — «Две мили», — хрипит капитан. «Направо или налево, господин капитан?» — «Вниз», — хрипит капитан.

Судно моталось на волнах, вскидывалось вверх, зарывалось носом. Низкие рваные тучи висели над самым морем, и совсем низко прорезал эту сумятицу желтый холодный солнечный луч.

Обтрепанное штормом, судно стояло на рейде. Поручни были сорваны, мачта антенны согнулась, и обрывок антенного тросика с гирляндой изоляторов, неряшливо свисал с нее. С судна спустили шлюпку.

Они пристали к низкому галечному берегу.

Сашка выпрыгнул первым, вытащил нос шлюпки.

Курчавый юнец с завистью посмотрел на Сашкину фигуру и вдруг спросил:
— Вы спортом не занимались?
— Было дело. Горные лыжи.
— И разряд?
— Мастер. Просто мастер. До заслуженного не дотянул.
— Цыц, Витек, — оборвал его Борода. — Вот представь себе, что из этого сопляка лет через пять будет гидрограф, — обратился он к Сашке. — Отказываешься верить рассудку.
Сашка улыбнулся.
— Держи, — бородач протянул Сашке конверт.
— Что это?
— Полста рублей и обратный адрес. Перешлешь, когда сможешь.
— Я обойдусь, — спокойно сказал Сашка.
— Не будь под конец пижоном, — поморщился бородач. — Попрошу об одном. Если ты все же турист, напиши мне об этом честно. Я себе полголовы обрею.
— За что ты их так?
— Не переношу, когда без дела шляются по земле. Вопят дурацкие песни и стреляют куда попало. У меня с ними личные счеты.
— Будь! — попрощался Сашка.
— Давай чапай. Удачи тебе.
Сашка вскинул рюкзак. Бородач столкнул шлюпку. Витек возился с мотором.
...Он шел по берегу моря. Море было свинцовое, еще не опомнившееся от ночной передряги. Крохотная крачка с отчаянным криком спикировала на Сашку, взмыла, снова спикировала.
Все это время и ребята, и чайка, и берег были для Сашки как бы размыты.
Над головой, выпустив шасси, с ревом прошел оранжевый самолет полярной авиации.
В море впадал маленький прозрачный ручей. Сашка сел на корточки, поднял яркий мокрый блестящий камешек. Второй. Камешки тоже были размыты.
Сашка развязал рюкзак и вынул оттуда сверток. Раскрыл его. В свертке лежал набор очков. Последние очки имели вовсе уж толстые бронебойные стекла. Сашка начал их примерять.
Примерял и разглядывал камни.

Находка Шаваносова

«...Однажды, в сентябре 1886 года, рабочий из поселка у подножки Витватерсранда ударил заступом по скале. Камень засверкал, заискрился. Сомнений не было — через скалу проходила золотоносная жила...»

Ганс Шомбрук, «С палаткой по Африке»

Первый алмаз из знаменитого месторождения Кимберли был найден маленькой девочкой в 1886 году. Ей просто понравился сверкающий камешек. Знаменитый алмаз «Звезда Южной Африки» был куплен господином Ван Никерком за несколько коров у местного колдуна и тут же продан за 11 200 фунтов. Так началась печальная и знаменитая история месторождения Кимберли.

Автор полагает, что история открытия якутских алмазов достаточно широко известна. Тем не менее он считает необходимым напомнить, что всегда в таких случаях существует предыстория, уходящая корнями в легенды, фольклор.

Шаваносов покрутил плоский медный тазик, слил воду и вытряхнул из лотка остаток.

— Купец Шалимов знал, кому доверять деньги, — с усмешкой сказал незнакомец. — Вы добросовестны до идиотизма.

Шаваносов повернул голову к лежащему на берегу незнакомцу. Взгляд у него был странный.

— Я изобью вас, Шаваносов, если вы действительно приведете меня к какой-то дурацкой птичке.

Шаваносов протянул руку и вынул из тазика камешек. Камешек был прозрачен и чист. Он почти сливался с водой. Неожиданно упавший солнечный луч вдруг осветил его, и камень вспыхнул, как маленькое солнце. Тотчас упала тень, и длинные тонкие пальцы взяли камень с руки Шаваносова.

Незнакомец положил камень на ладонь, быстро покрутил ее. Потом нерешительно царапнул камнем по стеклу часов.

— Шаваносов! Вы догадываетесь, что это? — глухо спросил он.

Шаваносов все так же сидел на корточках, устало

свесив руки. Лицо у него было красным. Глаза лихорадочно блестели.

— Я, кажется, заболел, — тихо сказал он.

— Это алмаз, Шаваносов! Якутский алмаз! Купец Шалимов будет ползать на коленях перед вами...

Он уставился на Шаваносова, как будто впервые его увидел.

— Воистину блаженны нищие духом, — медленно произнес он.

— Разожгите костер, — попросил Шаваносов. — Я должен заполнить дневник.

Незнакомец, как лунатик, опустился на корточки у ручья.

— Может быть, в Сексурдах, — сам себе сказал Шаваносов. — Отлежаться, потом дальше... Не-ет. Еще немного. Я знаю.

Незнакомец быстро вскинул взгляд.

— Костер? — хрипло переспросил он. — Сейчас вам будет костер, господин Шаваносов. И лучшая аптека в Сибири. Я запасливый человек.

Аэропорт

Деревянная изба с вывеской «Аэропорт» торчала посреди грязной тундры. На деревянном крыльце сидели люди. Над людьми поднимался табачный дым.

Сашка прошел через спящих, мимо миловидной девушки в беличьей шубке, мимо компании ребят, мимо пижонистого командированного в плаще, в модной шляпе и многодневной щетине на бледном городском лице, мимо старой якутки в мехах, усевшейся прямо на полу в окружении темноглазых внуков и цветастых свертков, мимо всех, кто был втиснут в крохотную комнатку аэропорта многодневным ожиданием погоды, «борта» и пассажирской удачи, прошел к окошечку «Касса» и попросил билет до Сексурдаха.

— Предупреждаю: время отправления борта неизвестно. Берете? — спросила из кассы девушка.

— Беру. — Сашка вынул деньги.

Он вышел на крыльцо. Вокруг была ровная желтая тундра, и прямо в ней, так казалось с крыльца, пламенели на закатном солнце оранжевые костыли — самолеты ледовой разведки, сгрудившиеся на стоянке. И вишневого цвета солнце висело блином.

На завалинке сидел, скрестив ноги, темнолицый ста-

рик в мехах и, не моргая, смотрел на солнце. Сидел как языческий бог.

Сашка протер очки. Подошел к нему.

— Не из Сексурдаха?

— Маленько ближе, маленько вбок, — доброжелательно ответил старик. — А ты оттуда?

— Нет, — сказал Сашка. — Туда. А ты Сексурдах знаешь?

— Оч-чень хорошо знаю. Два раза в год обязательно езжу. Большой, как город. Маленько меньше Якутска.

— А старики там остались? Местные старики?

— Ты, парень, приезжий, наверно. Старики жили в маленьком Сексурдахе. Когда Сексурдах стал большой, старики ушли в тундру, в тайгу доживать. Там им лучше.

— И ни один не остался?

— Слушай, догор *. Ты найди Сапсегая. В тундре нет человека старше. И в тайге, может быть, нет. Он последний такой. Я правильно говорю.

Сашка машинально оглянулся. Бескрайняя холмистая тундра убегала на юг, пропадала в туманном мареве.

— Где же его найдешь? — с сомнением спросил Сашка.

— Садись в самолет. Лети туда, — старик махнул рукой куда-то за тундровые холмы. — Спрашивай, где Сапсегай. Председатель — скажет, зоотехник — скажет, экспедицию встретишь — скажут. — Старик явно увлекся. — Любой человек тебе скажет, Сапсегая все знают.

— Найду, — неуверенно сказал Сашка. — Раз он один такой, значит, найду я его.

Сашка вернулся в зал ожидания. За деревянным барьерчиком скучала девушка. Сбоку на стене красным карандашом было торопливо написано: «Зина, я жду тебя. Леня». Сашка взял телеграфный бланк. Ему хотелось дать телеграмму о том, что он добрался до «мест», что улетает искать неизвестного старика Сапсегая. Он взял уже ручку, обмакнул ее в чернильницу. Но передумал. Еще ничего, никого не нашел. Незачем давать телеграммы. Он смял бланк и выбросил его в корзину.

— Желающие вылететь в Сексурдах, покупайте билеты, — сказала в динамик девушка. — На Сексурдах покупайте билеты.

---

* Догор — товарищ *(якут.)*.

Но что-то неожиданно изменилось в бревенчатой комнате, где люди сидели, читали, спали и ждали. Щемящий звук неповторимости мига вошел сюда. Сашка сдернул очки. Лица людей были ясны, точны, и Сашка видел без очков все так, как будто вдруг приобрел удвоенную силу зрения.

— Сашка, ты меня любишь? — спросила Лена.

— Спрашиваешь ты всякие глупости.

— Ну все-таки.

— Мне это слово говорить трудно.

— Ну ты не говори, ты как-нибудь так...

— Ага.

— Так ты все-таки меня любишь?

— Не знаю.

— Нет, будь добр рассказать. Я настаиваю.

— Отстань, Ленка. Я лучше тебе как-нибудь докажу. Как случай подвернется, так сразу и докажу тебе это.

— Как докажешь?

— Ну пожертвую чем-нибудь ради тебя.

— Чем-нибудь?

— Для тебя? Для тебя всем.

— А знаешь, будем мы старые, дряхлые. Ты с палочкой, я с костыликом. И вспомним разговор этот. Или забудем?

— Ты не будешь с костыликом. Я, если я буду, то я сразу исчезну. Не хочу, чтобы ты меня видела дряхлым.

— Как исчезнешь?

— Застрелюсь, утоплюсь, сгину в нетях. Или залезу на Эльбрус, и на лыжах вниз, прямиком, чтобы в пыль.

— Пожалуйста, не в нетях. Что-то панихиду мы завели.

— Это ты завела.

— Ты еще не исчез?

— Тут. А ты?

— И я тут. Видишь? Именно тут.

Диалог этот начался в здании аэропорта, продолжался в самолете Ил-14, который приземлился на травяной посадочной полосе крохотного таежного аэропорта. Сашка сошел по трапу вместе с пассажирами. Стояли у здания несколько самолетов Ан-2, вертолеты Ми-4. На крыльце сидели темнолицые таежные люди. Сашка вернулся по трапу и спустился уже с рюкзаком. В проеме появился пилот.

— Сходишь?

— Сойду здесь.

— Ты не ошибаешься, парень? В ведомости все пассажиры до Сексурдаха.

— Мне внутренний голос сказал сойти здесь, — усмехнулся Сашка.

К одному из вертолетов шел экипаж. Темнолицые таежные люди поднялись и тоже пошли к вертолету. Сашка бегом направился к ним.

— Твое дело, — раздумчиво сказал ему в спину пилот. — Внутренний голос... Хм.

И еще раз посмотрел на Сашку, который, жестикулируя, разговаривал о чем-то с кожаными пилотами и низкорослыми жителями тайги у вертолета прославленной марки Ми-4.

III. ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСХОДНОМУ

В вертолете

В железном грохочущем брюхе вертолета лежали ящики с продуктами. У одной стенки примостилась оранжевая бочка — дополнительный бензобак для длительных рейсов, связка новеньких, в масле охотничьих карабинов калибра 8,2. Сашка был единственным пассажиром в этом мире грохота и таежного снаряжения.

Он выглянул в иллюминатор. Обдутые ветром горные хребты уходили куда-то за тысячи километров. Между хребтами сверкали извивы безлюдных рек. По долинам растекались рыжие россыпи лиственничной тайги. И совсем рядом проплывали черные камни безжизненных горных вершин.

— Луна! — сказал сам себе Сашка. — Луна!

Он сгорбился на сиденье и закурил. И тотчас на лесенке из кабины показались стоптанные ботинки, потом ноги, потом кожаный зад бортмеханика. Бортмеханик нагнулся и погрозил Сашке. Кивнул на оранжевый бензобак. Сашка убрал сигарету. Бортмеханик сошел вниз. У него были оттопыренные уши, веснушчатая физиономия и прищур глаз как у доброго ястреба. Оскальзываясь на рубчатом железном полу, он подошел к Сашке. Сел рядом.

— Такие дела! — для начала сказал он и прицельно покосился на Сашку. Но Сашка лишь улыбнулся в ответ. Бортмеханик понял, что с этим парнем не выйдет словесной дуэли, любимого бортмеханикового занятия.

— Тебя как зовут?

— Сашка.

— Витя. Витя Ципер, авиационный циркач.

— Почему циркач?

— Когда я на борту, летательный аппарат обязательно падает. На взлете, в полете или при посадке, — доверительно пояснял Ципер. — От меня все экипажи уже отказались, кроме... — Ципер кивнул в сторону пилотской кабины. — Такая судьба. И представь — без моей вины. Давно из Европы?

— Два месяца.

— Медленно движешь! Журналист?

— Географ.

— Уже легче. Сапсегай журналистов... обожди...

Витя Ципер в два прыжка кинулся к входу в кабину. В ровный грохот стали врываться перебои, и вдруг наступила оглушительная тишина. Вертолет с безмолвно раскручивающимся винтом провалился вниз.

Нескончаемо долго продолжалось это падение. Потом вдруг мотор снова заработал, и вертолет стал набирать высоту.

Вернулся Ципер.

— Вот видишь? — сказал он и внимательно посмотрел на Сашку.

— Интересные у тебя шутки, — сказал Сашка.

— Вода в бензопровод попала. Слышишь?

Сашка прислушался, но, кроме моторного грохота, ничего не мог разобрать. Он отрицательно покачал головой.

— Командир на четырех языках кроет бензозаправщиков. Такие дела. И тебя кроет. Во дает!

— Меня-то за что?

— За крюк. Нам же в другую бригаду надо. А Инна его упросила. Ты давно ее знаешь?

— Давно.

Инна

Он стоял тогда около самолета, решая, лететь ему или оставаться. Пассажиры поднимались по трапу. Захлопнулась дверца. Закрутились винты.

— А вы почему остались?

Сашка оглянулся. Девушка в плащике стояла сзади него и тщетно пыталась прихлопнуть юбку, взметенную вихрем от винтов самолета.

— А почему не остаться?

— У нас никто никогда не сходит. — Девушка подняла к Сашке лицо. Круглое миловидное с серыми спокойными глазами. — Здесь фактория, посадочная полоса и медпункт. Я фельдшер при этом медпункте.

Сашка огляделся. Деревянное здание аэропорта. Повисшая полосатая «кишка» на шесте. Убегающий к горизонту пойменный лес. На горизонте неизвестный хребет.

Коричневые таежные люди сели в вертолет. Закрутился винт, и вертолет медленно пошел вверх. Стало окончательно пусто.

— И когда же я улечу?

— Почтовый приходит раз в месяц. Он позавчера был. Иногда заходят случайные.

— Значит, застрял?

— Вы не жалейте, — сказала девушка. — У нас хорошо. Тихо.

— А жить?

— С этим здесь трудно. У меня комната при медпункте пустая. Зовут меня Инна. Я и сын, так и живем.

— Просто Саша. Саша Ивакин.

Взгляды их встретились. Она отвела глаза.

— Не-ет! Еще не-ет! — Мальчишка кричал на всю окрестную лесотундру и заливался смехом.

— Сейчас посмотрим, — сказал Сашка и обошел вокруг кряжа, выбирая место. — Ну-у, смотри внимательно.

Сашка примерился и ловким ударом колуна развалил кряж.

— Не-ет! — счастливо верещал пацан. — Нету, — тихо добавил он.

— Значит, в другом, — Сашка вывалил из груды дров следующий кряж.

Мальчишка открыл рот, округлил глаза.

— Что тут у вас? — Инна в белом халате стояла за штакетником и смотрела на сына и Сашку.

— Мама, мам! Дядя Саша говорит, что в поленьях маленькие человечки живут. Как расколешь, они убегают в другое. Правда, да?

Инна улыбнулась и спросила тихо:

— У вас выдумки когда-нибудь кончатся?

— Еще не иссякли.
— На рыбалку бы съездили.
— А борт? Вдруг борт к пастухам будет?
— С утра все известно бывает. Разве чудо какое.
— А я в чудеса верю, — сказал Сашка.

Инна поковыряла пальцем штакетник, посмотрела на Сашкину спину. Сашка обернулся. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, потом она тихо повернулась и ушла. Поднялась по деревянному крыльцу к двери с надписью «Амбулатория».

Они еще немного покололи дрова, потом уселись на пахнущие смолой поленья. Пацан явно соскучился по мужскому обществу, смотрел на Сашку с немым обожанием. По неизвестной причине Сашка вдруг стал рассказывать ему о дяде Васе Прозрачном, который все на свете умеет. Вот любая работа, и он умеет. Сейчас он уехал в Антарктиду, где звери, птицы да лед.

— А белые медведи там есть? — спросил мальчишка.

— Белых медведей там нет. И вот почему. Однажды они отправились в Антарктиду. Шли все на юг и на юг и чем дальше они шли, тем жарче им становилось. С высокой горы они увидели Африку. Над Африкой висело жаркое солнце, и вся она даже издали казалась горячей, как печка. Медведи на горе долго совещались: снять им белые шубы или повернуть обратно.

Все-таки пожалели шубы и вернулись. Так и не попали в Антарктиду.

Они сидели на деревянном крыльце дома. Светловолосый мальчуган слушал Сашку с любопытством и изумлением. Инна искоса поглядывала на него.

— А живут там пингвины. Грудь у них белая, как в нейлоновой рубашке, пиджак черный, лапы синие, а нос красный.

— Как у дяди Гриши, — сонно сказал мальчишка.

Сашка лежал на диване, закинув руки за голову. В соседней комнате Инна говорила что-то, укладывая мальчишку. Стало тихо. Сашка нагнулся, вытащил из рюкзака дневник Шаваносова. Последняя страница была так же аккуратно заполнена, как и все предыдущие. Точка и подпись: стойбище Сексурдах.

— Сексурдах! — сказал Сашка.

Скрипнула дверь. Вошла Инна в домашнем халатике. Остановилась, прижалась спиной к косяку и посмотрела на Сашку бабьими дурными глазами. Щелкнула выключателем. Сашка встал и шагнул к ней навстречу.

— Задвинь шторы, — шепотом попросила она.

...Они лежали рядом на узком диванчике.

— Кто был твой муж? — глухо спросил Сашка.

— Шофер.

— А... где он?..

— Завтра будет вертолет, — ровным голосом сообщила она.

Сашка молчал.

— Ты слышишь? Будет спецрейс к пастухам. Как раз к Сапсегаю. Тебя возьмут. Я просила.

— Выпроваживаешь?

— Я хочу знать: уедешь ты или останешься.

— Я вернусь.

— Нет. Не вернешься.

— Откуда ты знаешь?

— У женщин, Саш, ум так устроен. Они видят то, что другие не видят.

— Тогда почему ты...

— Саш! — перебила она.

— Да?

— Обещай мне.

— Что?

— Ты, Саш, должен быть очень хорошим человеком. Понимаешь, мы здесь живем, живем... Людей видим мало. Тут тихо, и вообще тут делаешься другой. И когда приезжий, то сразу видишь, кто он. Подлец, бабник, добряк или...

— Или?

— Есть люди, которым труднее других. И на них обязанность быть лучше. Другим сходит с рук, а им нет.

— Ты странная...

— Ты проживи здесь три года... три года подряд... ночь полярная.

— А почему я должен быть лучше других?

— Не знаю. Это вроде бы каждый обязан. Но если человек решился жить по мечте, то он обязан вдвойне. Потому что большинство по мечте жить, трусит... Или благоразумие мешает. А те, кто живет по мечте, — они вроде примера. Или укора.

— Я понял, — сказал Сашка.

— Сейчас снизимся, — сказал Витя Ципер. — На, передай Сапсегаю.

Он протянул Сашке бутылку спирта.

— А сам?

— Что ты! Тебя выкинем и сразу на курс. На базе узнают, голову оторвут командиру. Тебя взяли из-за Инны. Знаешь, как ее чукчи зовут? Доктор Переургин. Это они ее фамилию так переделали. Ее тут в каждом стойбище знают.

Вертолет сел, взметав вершинки лиственниц. Витя Ципер открыл дверь. Сашка выпрыгнул, и тотчас винты закрутились, и вертолет пошел вверх.

Сашка огляделся и вынужден был надеть очки. И тотчас увидел сцену, точно выстроенную тщательным провинциальным фотографом.

На фоне покрытого оленьими шкурами кочевого жилья стояли коренастый чукча Помьяе, жестковолосый, с расстегнутой на груди кухлянкой, рядом ламутка Ольга в цветастом платье-камлейке, а к ней прижалась дочка Анютка — смешное дите в не очень чистом платьишке и ботинках с загнутыми носками, и еще сидел на земле, скрестив ноги, старик в вытертой дошке. Лицо у старика было иссохшим, в трещинах, деревом, седина окружала голову евангельским нимбом, крохотные руки эвенка — аристократа тайги были сложены на коленях ровдужных * старых штанов. Старик крепко смахивал на святого, но портили впечатление глаза. Живые человеческие глаза были у этого старика.

И вмиг все ожило, щелкнул шторкой провинциальный фотограф. Помьяе закосолапил к оленю, принялся его развьючивать; Ольга пошла к костру, над которым висели котел, чайник и еще чайник побольше; девчонка Анютка сунула палец в рот и смотрела, как Сашка с натугой вылазит из рюкзачных лямок.

— Иди сюда, — позвал приветливо Сашка.

Анютка-ребенок засмеялась. Сашка ей нравился.

— Хи-хи! — сказала смешливо Анюткина мать Ольга и принялась шустро кидать в огонь тонкие веточки.

Старик Сапсегай внимательно и неотрывно рассматривал Сашку Ивакина. Сашка взял рюкзак и вытряхнул на разостланный около костра брезент консервные бан-

---

* Ровдуга — оленья замша *(якут.)*.

ки, пачки чая и сахара, галеты. Из рюкзачного кармана вынул бутылку спирта. Подошел к Сапсегаю.

— Летчики передать просили.

Отступление на тему о стариках. Частный экскурс в геронтологию

Старики бывают разные. Иногда называют их обобщенным и неловко звучащим именем «долгожители». Долгожитель — это человек, уцелевший в многочисленных схватках со случайностями бытия на земле. Сам факт выживания требует уважения, потому что в числе «случайностей» долгожители нашего времени пережили миллионы тонн взрывчатого металла, созданного специально для того, чтобы их уничтожить, сюда же входит тот самый пресловутый кирпич, что случайно падает сверху, и подвернувшаяся на лестнице нога, оборвавшийся лифт или вирус гонконгского гриппа.

Есть общий признак, по которому можно разделять стариков.

У одних прожитые годы, преодоление «случайностей» как бы выщипывают по кусочку души, если чисто условно принять душу материальной. Это старики с согбенными спинами.

Но есть другая порода стариков. Спектр отпущенных на их долю «случайностей» бывает, как правило, очень велик. Похоже на то, что судьба, древний фатум, не жалеет тут ни фантазии, ни упорства. Но этот процесс приводит их организмы к странному биохимическому феномену. Тело их, скроенное от рождения из мокрых и хрупких веществ, заменяется телом из малообъемного материала, очень похожего на жилы сушеных животных. И душа их (которую мы условно считаем материальной), их мозг приобретают свойства звонкого материала.

Такие старики умирают прямыми.

Это авторское отступление можно было бы вычеркнуть при первой же правке, если бы один из таких стариков не сидел сейчас перед нами. Имя старика было Сапсегай, он был эвенк и на исходе своих неизвестных лет напоминал бамбуковый ствол, прокаленный на долгом огне. Из таких стеблей в примитивные времена делали наконечники копий для охоты на крупных обитателей джунглей.

И еще: каждый раз, когда вспоминают таких стари-

ков, кто-либо глубокомысленно изрекает: «Это последний выпуск. Таких людей больше не производят».

Автор верит, что природа не прекращает выпуск крепких людей и пока не планирует это делать. Ибо не может же быть, чтобы победили металл, предназначенный для уничтожения, кирпич, который случайно падает сверху, или болезнетворный кусок клетчатки.

Это не более чем вещи, которые, как известно, души не имеют.

Закинув руки за палку, положенную на плечи, старик невесомо, как будто давно забыл тяжесть тела, ступал по кочкам. Вытертая оленья дошка обтягивала сухую спину, кожаные ровдужные штаны с заплатками, легкие пастушьи олочи *. Старик шел не оглядываясь. Сашка в резиновых сапогах, в тяжести накачанных тренировками мускулов с трудом поспевал за ним.

На окраине выгоревшей мари стояла одинокая лиственница. Ветры, которые здесь не сдерживал лес, скрутили ее ствол в замысловатый изгиб, сорвали кору с мертвого дерева, обломали мелкие ветки. Под ней и сел старик, кивком указав Сашке на кочку напротив.

— Значит, это ты? — спросил старик Сапсегай. — Я знал, что придет человек, которому я должен буду все рассказать. Я долго ждал. Только я не думал, что придет такой молодой. Я знаю про человека, который искал птицу кегали. Зачем тебе розовая птица кегали и зачем тот человек?

— У него была цель, — сказал Сашка. — Вначале смешная. Но когда он погиб, она уже не стала смешной. Я хочу, чтобы люди узнали о нем. У меня мало времени, Сапсегай.

— Я знаю, как он погиб. Я был тогда мальчик.

Смерть Шаваносова

Шаваносов сделал шаг вперед и замер. Перед ним лежала плоская равнина, кое-где поросшая одинокими малорослыми лиственницами. Влево равнина уходила в бесконечность, где не росли деревья, где виднелись только пятна озер и еще дальше бледная над землей полоска тумана.

---

* **Олочи** — легкая пастушья обувь *(эвенк.)*.

Невдалеке над небольшим озером кружились странные небольшие птицы.

— Господи, — прошептал Шаваносов. — Господи!

Он как во сне скинул котомку, задрав бороду, вытянув по-слепому руки, осторожно направился к ним.

Птицы взмыли, стали удаляться. Шаваносов замер. Но птицы, описав играющий полукруг, снова вернулись к озеру, чтобы продолжать над ним непонятный свой танец. В закатном солнце нестерпимо розовым отсвечивало их оперение.

Шаваносов вошел в небольшую, поросшую кустарником ямку. Под ноги он не смотрел.

— Осторожнее, черт вас возьми! — раздался крик.

Точно этого и надо было, чтобы нарушить равновесие: взмыли птицы, и Шаваносов вдруг исчез, как будто его дернули за ноги.

Незнакомец с винчестером в руках, стараясь точно ступать на следы Шаваносова, подошел к месту, где исчез священник. Один куст был вырван с корнем, вниз уходил мутный ослизлый лед. Грязные торфяные струйки текли по льду.

— Шаваносов? — Незнакомец склонился над ямкой.

Снизу донесся стон. Незнакомец неторопливо принялся разматывать с пояса тонкую веревку.

— Птицы, — донеслось снизу. — Вы посмотрите: птицы не улетели?

Незнакомец отбросил веревку. Лицо его стало жестким.

— Шаваносов, может быть, сейчас вы кончите валять дурака? Вам не надоело морочить мне голову?

— Это были они! Мы пришли... пришли. Вытащите меня. Я боюсь, что они улетят.

Незнакомец сел на землю. Обхватил голову руками и вдруг оглушительно засмеялся. Он смеялся до слез.

— Шаваносов, — сказал он в ледяную глубину. — Вы все-таки обманули меня. Блаженный вы негодяй, Шаваносов.

— Не кричите, — простонал из глубины Шаваносов. — Вы их вспугнете. Это редчайшая, редчайшая...

Незнакомец вскинул винчестер. Выстрелы загремели один за другим.

— Редчайшая... всех перебью... Буду торговать пе-

рышками... сволочи... сволочи в перышках... и еще раз...

Патроны кончились. Сухо щелкнул боек. Незнакомец с налитым кровью лицом стоял и смотрел, как птицы, привыкшие к грохоту арктических льдов, невозмутимо кружатся над озером. Он отложил ружье. И вдруг с бешеной энергией начал вырывать кустики полярной березки, сшибать каблуком кочки и швырять все это в яму, откуда доносился стон Шаваносова.

— Что ты делаешь? — донеслось оттуда.

Но незнакомец все кидал ветки, покуда не затих последний стон Шаваносова.

Он остановился. Чаек не было. Была тундра и тишина.

— Я не сторож брату моему, — вслух сказал он. Поднял винчестер, рюкзак и зашагал к полоске леса на горизонте.

Из-за ветхой искривленной лиственницы, сросшись с ней цветом одежды, с расширенными от ужаса глазами наблюдал за происходящим мальчишка-эвенк. Он быстро сполз в русло высохшей речки. И здесь, скрытый от глаз незнакомца, бросился бежать прочь. Бежал и плакал мальчишка-эвенк в неловкой, с отцовского плеча, меховой одежде.

Незнакомец остановился у небольшой кустарниковой гряды. Вынул из рюкзака палатку и расстелил ее. Взял котомку Шаваносова и вытряхнул содержимое на палатку. Выпали носки, дневник и чистая тетрадь. Несколько карандашей. Карманная Библия.

— Не густо жил правдолюбец! — усмехнулся он и поднял дневник Шаваносова. — Какой дурак пишет настолько подробно, — бормотал он, листая дневник. — Но чистая тетрадь у нас есть. Купец Шалимов получит отчет. Купцы второй гильдии обожают судейские дрязги. Особенно когда пропали полторы тысячи рублей. Наши интересы расходятся, господин Шалимов...

Незнакомец вынул коробку с чернилами, ручкой. Пристроил чистую тетрадь на коленях. Руки дрожали.

— О, черт! — Он притянул к себе винчестер, вынул из рюкзака коробку патронов и торопливо набил магазин.

— Спокойно! Спокойно, Сережа! — сказал он сам себе.

Была комариная тихая ночь. Люди стойбища спали, кто забравшись в спальный мешок — кукуль, кто прикрывшись дошкой. В стороне от яранги старик Сапсегай курил в одиночестве трубку у крохотного костра.

Ночь была полна звуками: хорканьем оленьего стада, криками птиц, всплесками воды.

Старик поднял голову. В свет костерка вошел Помьяе. Кухлянка на коричневой груди была распущена, жесткие черные волосы мокры от ночной росы. Пастух тяжело дышал. Налил в кружку чаю, жадно выпил. Потом так же молча исчез в темноте.

Старик поднялся и пошел к яранге.

Сашка спал, наполовину высунувшись из жаркого мешка. Старик потряс его за плечо. Сашка открыл глаза, несколько мгновений ошалело смотрел на старика, вытащил из мешка очки, нацепил.

— Поговорить надо, — тихо сказал старик.

Сашка поднялся, натянул до подбородка мешок и прямо в нем попрыгал к костру.

Сапсегай налил чай в кружку, протянул ему.

— Как называется, когда в магазине товар проверяют? — спросил Сапсегай.

— Инвентаризация. Переучет, — обалдело пробормотал Сашка.

— Вот! Переучет. Переучет жизни. Прежде чем помереть, надо... сдать дела. Так говорю? Я хочу сдать. Я должен отвести тебя на место, где погиб первый, где розовая птица и где я убил второго. Я их не трогал. Они там, где есть. Пойдешь?

— Конечно! — сразу ответил Сашка.

— Идти долго. Стадо бросать нельзя. Оленей просто так гнать тоже нельзя. Будем кочевать как обычно, когда думают об оленях. Ягель растет точно дерево. Десять лет — это ягель-ребенок. По этому маршруту лет тридцать стадо никто не водил. Так сообщу в колхоз. Ягель богатый. Будем идти на север. К весне будем на месте.

— Хорошо, — сказал Сашка. — Я остаюсь до весны.

— Тебе надо остаться. У тебя поспешность и страх. Я тебя вылечу.

— Я остаюсь. Но я должен что-нибудь делать.

— Помощником пастуха. Для пастуха у тебя нет глаз.

Сашка внимательно глянул на старика.

— Хорошо, Сапсегай.

Синий снег падал на тундру. Он смешивался с пожухлой травой, скапливался у подножия кустов, в ложбинах. Снег был сухим, и ветер переметал его, собирал маленькие костры, оголял плоские участки земли. От этого ветра и снега казалось, что над тундрой, над плоским пейзажем высоких широт, висит пелена тумана.

По тундре бежал пастух Помьяе, единственный чукча в интернациональной бригаде Сапсегая, бежал по обычаю чукотских оленеводов с палкой на плечах, кисти рук заброшены на палку. Он бежал легко, как олень, и казалось, что бег для него естественное состояние, как дышать или спать.

Неожиданно Помьяе замедлил бег и свернул в сторону. Шаг его стал бесшумным. Он подошел к узкому сухому оврагу, заросшему зарослями низкого полярного ивняка.

Сашка Ивакин с ножом в руках срезал ивовые ветки, складывал их в кучу. Рядом валялась двустволка.

Помьяе, улыбаясь, лег на кочку и поскреб ногтем пальца о палку. Сашка выпрямился. Помьяе за его спиной ткнул палку в кустарник. Сашка наклонился, взял ружье, стал вглядываться в мутную пелену кустарника впереди.

— Опять проиграл, — сказал за спиной Помьяе. — Не умеешь угадывать звук.

Сашка бросил ружье. Из-за ворота кухлянки вынул пачку папирос.

Они сидели и курили.

— Захвати. — Сашка кивнул на кучу веток. — Ольга просила.

— О-о-ль-га просила, — бездумно пропел Помьяе.

— Чему радуешься?

— Зима скоро. Придем на Гусиное озеро, возьмем нарты. Ух! Сто километров сюда, сто туда. Олени бегут... Зимой хорошо.

Тяжелый небосвод окутан ранней мглою,
Укутана река под снеговой покров,
И гонит буйный вихрь, не знающий покоя,
Пыль снежную вдоль смутных берегов...

— А кто написал, не знаю, — тихо сказал Сашка.

— Зимой хорошо, — утвердил Помьяе.

— Иди в ярангу. Я подежурю.

— Ага, — согласился Помьяе. — Стадо там... Я бе-

гал, кругом след смотрел. Волка не видно. Двух зайцев спугнул.

— Иди!

— Беги! — поправил Помьяе. — Пастух не ходит. Он бегает. Сапсегай где?

— В тундру ушел. Травки какие-то собирает.

— Со-бирает тра-ав-ку, — пропел Помьяе. — Стадо там.

Он легко поднялся, взял палку и снова в бездумном беге поплыл над тундрой.

Сашка вылез наверх.

— Ивняк возьми! — крикнул он.

Помьяе описал кривую и подбежал к веткам. Сашка вскинул двустволку на плечо и пошел по кочкам, тяжкий человек в кухлянке. Поземка тут же заметала следы. Сашка оглянулся. Исчез овраг, исчезла фигура Помьяе, и Сашка встряхнулся и побежал. Бег получался тяжелый, мешали кочки. Но Сашка бежал и бежал, пока не вынырнула впереди темная масса оленьего стада. И тут Сашка перешел на шаг, дернул шнурок кухлянки, потом снял шапку, привязал ее к поясу. Снял очки. И стал сразу коричневым человек в меховой одежде неопределенной национальности.

— Он прячется от меня, — говорила Лена. — Наверное, ему плохо совсем, и он прячется. Он всегда был сильный и... глупый. Теперь-то я это знаю.

— Не знаю, — сказал Никодимыч. — Он же не пишет.

— Иногда я думаю, что вы в заговоре с ним. И все о нем знаете.

— Как в кино? — спросил Никодимыч.

— Давайте я вам свитер свяжу, — предложила Лена. — Я, Никодимыч, вязать научилась.

— Свяжи, — согласился Никодимыч.

...Лена шла по тихой улице, где жил Никодимыч. Деревья стояли по-осеннему голые. Осенний луч солнца пробивался из-за туч на тихую улицу. На детской площадке неторопливый ребенок тихо возился с мокрым песком.

— Давай поиграем вместе. — Лена села на корточки.

— Хорошо, — покорно ответил ребенок и поднял на Лену внимательные большие глаза.

— Уже два дня не играли, — сказала Анютка. — Дядя Саша! А то я всем расскажу.

— Неужели два дня? Халтурим, выходит, Анютка?

— Нести?

— Тащи!

Анютка убежала. В меховом зимнем комбинезончике, крохотных торбасах она была ладной девчонкой. Из-под капюшона торчали косички и быстрые, как у мышонка, глаза.

Анютка появилась с шарфом в руках.

— Запоминай! — звонко скомандовала она.

Сашка протер очки. Огляделся кругом. Над голой стенкой лиственниц низко висело желтое холодное солнце. Упакованные грузовые нарты стояли кру́гом. Из нарт торчали шесты, шкуры, кухонная утварь. Снег был утоптан.

— Завязывать? — нетерпеливо спросила Анютка.

Сашка снял очки, протянул их Анютке. Она крепко завязала ему глаза.

— Ну! — глухо сказал Сашка.

— Возьми в маминой нарте чайник, набей его снегом, потом в нарте дедушки возьми топор и сходи к сухой лиственнице, сруби на дрова, потом... потом...

— Потом скажешь, — остановил ее Сашка.

Он встал, подумал немного и прямиком направился к нарте, из которой торчала посуда. Ощупал ремень и развязал его. Поставил у ноги чайник. Завязал.

— Собьешься, собьешься, — прыгала на месте Анютка.

С топором в руке Сашка пошел от стойбища, Анютка, закусив губу, наблюдала за ним. Сухая лиственница торчала справа и впереди. Сашка прошел мимо. Остановился. Взглядом «пощупал» солнце. Лицо его было мокрым от напряжения.

— А вот ми-мо, а вот ми-мо... — пела Анютка.

— Помолчи! — резко сказал Сашка. Он поводил ладонью перед собой, задержал ладонь напротив солнца и прямо направился к лиственнице. Ощупал руками ствол. И перехватил топор для удара.

— Хек! Хек! — послышался из-за холмика голос Помьяе.

Сашка сдернул с лица шарф, Анютка бежала к нему с очками.

— Молчок, Анютка, молчок.

Анютка согласно покивала. Глаза ее хитро блестели. На холмик вылетели олени. Помьяе, бог тундры, сидел, развалившись в нарте.

— Саша, этти! * — крикнул он, улыбнулся во всю ширь лица.

— И, этти **, Помьяе.

— Совсем скоро чукча будешь, — одобрительно сказал Помьяе.

— Да, — согласился Сашка. — Неплохой вариант. Сейчас нарублю дровишек, сварю мясо и пойду в стадо, сменю Сапсегая.

Круглая луна висела над чахлым лесостоем. Сашка, неловко ступая, на снегоступах обходил стадо. Он был в узких меховых брюках, коротко подпоясанной кухлянке, на поясе болтался нож. Ночь была очень светлой.

Стадо сгрудилось массой, над ним поднимался пар.

— И когда волна раз-да-вит в трюме крепкие бочон-ки, всех наверх засвищет боц-ман: к нам идет де-е-вятый ва-ал... — напевал Сашка.

Мягко скрипел снег под снегоступами. Сашка остановился. Закурил, поднял глаза. Огромные колючие звезды висели на небе.

— Чудеса, — подивился Сашка. — Как есть чудеса.

И тут же стадо тревожно заволновалось, взорвалось и текучей черной лавиной ринулось между деревьями. Снег был очень глубоким, олени грудью вспахивали его и текли, и текли мимо Сашки.

— У-уй! — заорал Сашка.

Он кинулся туда, откуда бежало стадо, вгляделся в темноту. Ему показалась мелькнувшая серая тень. Сашка вскинул двустволку. Пламя разорвало тишину.

Помьяе у яранги поднял голову. Громыхнул вдали второй выстрел. Он вытащил карабин, ловко вставил ноги в петли снегоступов и побежал в лес.

Накидывая на ходу дошку, выполз из яранги Сапсегай.

— Черт, черт слепой, — тихо ругался Сашка и шарил вокруг себя в снегу. Нащупал очки, надел и побежал по широкой полосе, выпаханной стадом.

Он пробежал мимо оленя с распоротым горлом.

---

* Этти — здравствуй *(чукот.)*.

** И, этти — ответное приветствие *(чукот.)*.

Олень смотрел на него огромным глазом и сучил ногами. Сашка на ходу загнал новые патроны в стволы.

Вдалеке грохнул выстрел, второй. И лес прорезал торжествующий крик Помьяе.

Сашка спешил мимо залитых лунным светом деревьев. Остановился. Сдернул шапку, потряс головой. Помассировал глаза.

— Са-ша! — донесся слабый стариковский крик.

— Иду! — крикнул Сашка. Надел шапку, очки и пошел, щупая деревья перед собой стволами ружья.

Старик Сапсегай вез связку груженых нарт. На нартах сидела Ольга с Анюткой. Вторые и третьи нарты были привязаны к предыдущим. Сзади всех, держась за веревку, шел Сашка Ивакин.

Иней вырывался из-под капюшонов кухлянок, из оленьих ноздрей. Толстым слоем инея заросли очки на носу Сашки.

Два дня назад они свернули с обычных кочевых маршрутов, и теперь только опыт Сапсегая вел их вперед. Они уходили в гибельные равнинные места, куда уже несколько десятков лет не заходили оленеводы, потому что дорога к пастбищам через долины с наледями, перевалы, где срывались беспричинные ураганные ветры, требовала опыта: точного знания местности и знания погоды именно для этого места, именно в это время года. Оленей гнал Помьяе, уезжая вперед на легковой нарте. Он гнал их короткими перегонами по указанию Сапсегая и после каждого перегона поджидал старика. Сапсегай сам бы мог гнать стадо, но он хотел, чтобы Помьяе запомнил дорогу к невыбитым пастбищам. Пригодится.

...Над оленьим стадом, сгрудившимся в долине, подымалось облако пара.

Долина сужалась. Стадо впереди поднималось на пологий перевал. Огромная наледь запирала долину. Ослепительный голубой лед был рассечен трещинами. По борту над ним нависали красные скалы. Пушечный грохот пронесся над долиной.

— Лед треснул, — сказал Сапсегай. — Уходить надо, сейчас вода пойдет.

Они поспешили вслед за ушедшим стадом.

Огромная тундровая равнина раскинулась перед ними с высоты перевала. На холодном солнце отблескивал

лед обдутых ветрами озер. Полосами шла по тундре поземка. Посвистывал ветерок.

— Февраль, — сказал Сашка. — Весна скоро. Солнце!

Старик молча уселся на снег, вынул трубку, но не стал ее раскуривать. Так сидел и смотрел на равнину слезящимися глазами.

— Идем? — спросил Сашка.

Сапсегай ничего не ответил, смотрел на бесконечную равнину: снег, лед, холодное солнце на горизонте. Но видел он сейчас другое.

...Тогда на тундру падал первый медленный снег. Падал на кочки, на темную воду озер, на побуревшие травы.

На небольшом бугорке стоял эвенкийский чум. Над крышей медленно курился дым и тут же падал к земле. Незнакомец огляделся и медленно вошел.

У костра сидел Сапсегай-мальчишка.

— Старый знакомый, — улыбнулся незнакомец. — Где хозяин?

Он сел и положил винчестер рядом с собой.

— Ушли в Сексурдах, — буркнул пацан.

Незнакомец снял с треноги котелок, вынул оттуда кусок мяса. Принялся обгладывать его.

— И оставили тебя без ружья. Не боишься?

— Я эвенк.

— Вот что, эвенк. У меня погиб товарищ. К властям идти нет времени. Передай кому-нибудь... это. Адрес написан. — Незнакомец вынул пакет и кинул его мальчишке.

— Он не погиб. Ты его убил, — тихо сказал мальчишка. — Я видел, как он упал. Почему не спас?

— Ну, мальчик, это ты говоришь глупости, — спокойно сказал незнакомец. Он быстро осмотрелся. — Глупости это, мальчик, — повторил он. Притянул к себе винчестер и быстро вышел из чума.

Мальчишка вытащил из-под шкуры короткий таежный лук и стрелу.

Незнакомец обошел чум кругом, вглядываясь в следы.

— Убиение младенцев. Не ожидал, Сережа, что ты дойдешь до такого, — пробормотал он.

Лицо у него стало жестким. Он снял с плеча винчестер, бесшумно передернул скобу.

Мальчишка в щелку между шкурами наблюдал за ним.

— Юноша! — крикнул незнакомец. — Выйди сюда. Скорей!

Парнишка снял кухлянку.

Незнакомец стоял с винчестером наперевес и ждал, глядя на чум. С правой стороны мелькнуло что-то меховое. Незнакомец, не целясь, вскинул винчестер, грохнул выстрел.

И в тот же момент короткая тяжелая стрела воткнулась ему в горло. Незнакомец рухнул на снег. Хлынула кровь изо рта.

Парнишка выбежал из чума. Поднял кухлянку. Осмотрел дыру, пробитую пулей. Вынес рюкзак незнакомца и кинул его к трупу.

Сапсегай сидел на перевале. Курил. Лицо его было печальным.

То самое лето

— Здесь! — сказал Сапсегай.

Сашка вынул кожаный мешочек и надел очки. Это были те самые очки с «бронебойной» толщины стеклами. Ослепительный свет заливал все кругом. У подножия лиственниц бурели пятна. Голые ветви кустов выглядели беззащитно и жалко, как обнаженные дети.

— Где? — хрипло спросил Сашка.

— Две лиственницы, — бормотал старик. — Должна быть третья. Посмотри там. Там должна быть лиственница.

Проваливаясь в мокром весеннем снегу, Сашка прошел в указанном стариком направлении. Опираясь на пальму*, старик следил за ним: седой кусочек высохшей плоти.

— Есть пень! — радостно крикнул Сашка.

— Тут! — устало сказал старик.

— Кости должны быть!

— Растащили песцы. Изгрызли мыши. В лесу кость не лежит. В тундре тоже.

— Сумка, — твердил Сашка. — Должна быть сумка, одежда.

Старик подошел к нему, осмотрел оставшийся лиственничный комель.

* Пальма — таежный нож, насаженный на длинную, около 1,5 метра рукоятку. Заменяет топор, копье и т. д. *(эвенк.)*.

— Здесь, — он стал разгребать снег.

— Осторожно! — крикнул Сашка.

Бурые слипшиеся лохмотья, поросшие травой. Сашка наклонился над ними. Это был остаток парусинового мешка. Внутри торчал сверток. Сашка развернул клеенку. Вынул мокрый комок того, что когда-то было тетрадью.

— Дневник Шаваносова! — прошептал Сашка.

Старик зорко смотрел на лохмотья. Нагнулся и поднял что-то. В пальцах резко сверкнул кристалл. Он протянул его Сашке и пошел.

Сашка остался один.

Он сел, докурил сигарету. Потом попробовал развернуть слипшийся серый комок. Комок разломился у него в руках.

Сашка бережно завернул все это в клеенку и положил на землю. Подумал и положил сверху алмаз.

— Эгэ-эй! — донесся издали крик Сапсегая.

Сашка встал и, не оглядываясь, пошел на крик. Он шел без очков и только временами инстинктивно вытягивал руку вперед.

Сапсегай сидел под лиственницей, блаженно подняв морщинистое жидкобородое лицо.

Сашка сел рядом.

— Это хорошо, что ты не взял ничего, — заметил старик.

— Почему думаешь, что не взял?

— Узнал по шагу.

Сашка молчал.

— На том месте, где погиб первый, большая топь. Надо спешить туда, пока она не раскисла. И там я покажу тебе птицу.

— Пойдем? — тихо сказал Сашка.

— Кочуем, — поправил старик, но не двинулся с места, все так же блаженно грел на солнце лицо.

— Якутский алмаз, — пробормотал Сашка. — Надо же так.

— Скоро умру, — думая о своем, вслух подытожил Сапсегай. — Солнцу радуюсь, значит, скоро умру.

Он вынул из-за пазухи два деревянных диска, скрепленных ремешком.

— Сделал, пока тебя ждал.

— Что это?

— Очки для весны. Чтобы не болели глаза.

— Как носить?

— Там дырочки. Величиной с иголку. Маленько видно.

— Я и так ничего не вижу.

— Легче будет учиться, — сказал старик. — Я знаю, что ты учишься быть слепым, — хитро улыбнулся он. И неожиданно заключил: — Из тебя мог бы получиться эвенк.

— Спасибо. Лучшего мне не говорил никто. Даже когда был чемпионом.

— Все! — остановился старик. — Теперь я показал тебе все.

Плоская равнина с крохотными лиственницами, редкими пятнами снега лежала перед ними. Горизонт сливался с однообразно серым небом. Это было то, что когда-то Джек Лондон образно и точно назвал «страной маленьких палок».

— Как ты нашел место? — спросил Сашка.

— Я эвенк. Мне надо пройти один раз, чтобы потом вернуться точно.

Рядом с ними в обрамлении кустиков ивняка была голая заплывшая площадка. Ослизлый кусок льда выглядывал из-под бурой расплывающейся на солнце жижи.

— Он сильно кричал, — сказал старик.

— Раскопать бы. Похоронить как следует. Впрочем, глупости. Надо памятник сделать.

— Ничего не трогай, Саша. Он хорошо лежит.

Они вышли на берег речки. Лед был синий.

— Смотри! — показал Сашка.

В кустарнике стояли два ветхих деревянных креста.

— Давние люди, — сказал Сапсегай. — Сколько помню, они такие стоят. Там в лесу церковь есть. Дома были, сгорели, однако. Давно, дед мой плохо помнил.

Слепота

Сашка коротким ломиком бил яму во льду. Залитая весенним солнцем равнина лежала кругом. Дремотно курился дым возле яранги.

— Замечательный ледник, — похвалила Ольга, заглянув в яму.

— А ты не хотела! Тут целое стадо заморозить можно. Представляешь: жара, а ты строганину жуешь.

— Очень вкусно, — засмеялась Ольга.

Сашка вытер пот, согнулся и, яростно выдыхая, бил и бил ломиком лед. Осколки врезались в лицо. Сашка снял кухлянку и остался в одной мятой грязной ковбойке.

— У тебя лицо красное-красное, — заметила Ольга.

Сашка не ответил и все колотил лед. Ольга ушла.

Сашка разогнулся, и вдруг тундра закачалась, поплыла перед ним, он оперся о край ямы, рука скользнула, Сашка упал, встал и широко раскрытыми глазами стал смотреть кругом.

— Са-а-ша! — раздался отчаянный детский крик. — Дядя Саша!

Девчонка со всех ног бежала по желтой тундре: короткое платьишко, меховые штаны и смешные ботинки с загнутыми носками.

— Дядя Саша! Птицы! Птицы же! Они! Ой, какие! К вам, к вам.

— Не вижу! — тихо сказал Сашка. — Не вижу... Совсем.

Розовые чайки с тихими криками покружились над ним.

— Не вижу! — крикнул Сашка.

Птицы взметнулись и в порхающем полете направились прочь.

— Не вижу! — Сашка бил кулаком о лед; по лицу, смешиваясь с потом и грязью, текли слезы.

— Они здесь, — говорила девчонка. — Вот прямо.

— Розовые?

— Очень!

— Красивые?

— Очень! — Девчонка в замызганном платье и смешных ботинках с загнутыми носками смотрела на землю. — Очень красивые. И все кружат, кружат.

— Хорошо, — сказал Помьяе. — Я буду бежать быстро. Семьдесят километров. Завтра вечером буду у моря. Потом на полярной станции. Сразу радио. Сразу вертолет. Я буду бежать быстро.

Помьяе зашнуровал легкие пастушьи олочи. Немного попрыгал. Скинул кухлянку, остался только в узких кожаных брюках. Ольга протянула ему белую камлейку — ситцевую штормовку с капюшоном.

— Так хорошо. — Помьяе натянул камлейку. Корич-

невый, черноволосый, он застенчиво подошел к Сашке, который сидел на оленьей шкуре.

— Возьми пожевать, — посоветовал Сашка. — И не спеши. У меня ничего не болит.

Помьяе поднял свою неизменную палку и вышел. В белой камлейке легко, точно в полете, он плыл над тундрой. Руки, закинутые на палку, белели, как чаячьи крылья.

А Сашка Ивакин сидел, прислонившись к стенке яранги. Он был в расстегнутой на груди ковбойке, загорелый и подсохший от подвижной оленеводческой жизни. На коричневом лице странно выделялись, светлели глаза, и неожиданно стали видны тонкие складки в углах рта и морщины вокруг глаз.

В ярангу вошел Сапсегай.

— Убежал Помьяе. Хорошо убежал. Как олень.

— Вот и все, Сапсегай, — сказал Сашка. — Вот и конец маршрута.

— Нет, — не согласился Сапсегай, — начало.

— Какое к чертям, начало?

— Следующий переход начинается там, где кончился первый. Разве не так?

Сашка ничего не ответил.

Сапсегай с кряхтением опустился на землю.

— Уставать стал. Раньше совсем не уставал. Все бегал и бегал. Как Помьяе я бегал... Немножко лучше, — подумав, добавил он.

— Ты, наверное, лучше бегал.

— А сейчас устал. Налей чаю.

— Согреть? Или просто налить? — напряженно спросил Сашка.

— Свежего заварим. Ты больной, я старик. Будем пить свежий хороший чай.

Сашка встал. Потрогал стенку яранги. Потрогал другую. И неуверенно направился к чайнику.

Зажав в кулаке трубку, Сапсегай наблюдал за ним.

— Ты не слепой, — сказал Сапсегай. — Это глупость, что ты слепой.

Сашка ничего не ответил. Вытащив нож из ножен, висевших на поясе, он строгал «петушка» — ершик из стружек, которым так удобно разводить костер.

— Анютку отправлю с тобой. Ей в школу. Пусть привыкает к домам и людям.

— Это ты хорошо придумал, — отозвался Сашка и чиркнул спичкой. Неожиданно он засмеялся. — Гово-

рят, что немцы самый педантичный народ. Интересно им будет узнать, что гораздо педантичнее их — кочевники. Каждая вещь веками кладется на свое место. Я это давно заметил. Придется мне как кочевнику жить. Поставлю ярангу и...

Он не договорил. Огонь разгорелся, и Сашка подкладывал прутики, сидя на корточках. В полумраке яранги он чем-то напоминал того бронзоволицего бога земли, что сидел на завалинке аэропорта в бухте Тикси.

В маленькой поселковой больнице была тишина, белые стены и пустота.

Сашка лежал с забинтованными глазами. Вошла молоденькая медсестра, сунула Сашке градусник.

— Хорошо, что вас положили, — сказала она. — А то пусто так.

Сашка молчал.

— Запрос отправили за вашей карточкой. Наверное, в Ленинград повезут. С сопровождающим. Вот счастливый человек! В Ленинград!

— Я счастливый? — спросил Сашка.

— Нет, сопровождающий. Вы несчастный. Врач говорит...

— Шли бы вы к чертям, — перебил Сашка.

— Нервный какой...

— Ко мне должна прийти девочка, — сказал Сашка. — Пустите ее сразу. В любое время.

— А она в коридоре с утра. Сидит и молчит.

...Анютка сидела у Сашкиной койки. Сидела, благонравно сложив руки на коленях.

— Как живешь? — спросил Сашка.

— Хорошо живу. У тети, — тихо сказала Анютка.

— Надо нам, Анютка, выбираться отсюда.

— Надо, — подтвердила Анютка.

— Поэтому сделай вот что. Сходи в аэропорт и найди Витю Ципера. Механика Витю.

— Я его знаю, — сказала Анютка. — Кто на вертолете, я всех знаю.

— Умница! Скажи, чтоб пришел сюда.

— Сейчас?

— Лучше сейчас.

Анютка встала, оглянулась в дверях на Сашку. Каблуки застучали по коридору.

Сашка размотал бинт с лица. Вынул из-под подушки

очки. В зыбком тумане плавали белые стены. Даже в очках теперь он почти ничего не видел. Сашка сгреб с тумбочки лекарства. Подумал и поставил их на место. Сел на койку и стал ждать.

Анютка бежала по поселку мимо деревянных домов, спящих на тротуарах собак. Из-за дальних домов со взлета пошел вверх оранжевый самолет. Она остановилась, посмотрела на него и побежала дальше.

Витя Ципер в кожаной куртке с неизменной своей улыбкой появился в палате.

— Такие дела, — сказал Сашка. — Выручай.

— Все, что можно.

— Раздобудь мне одежду. Возьми у кого-нибудь из ребят. Будем сбегать из больницы.

— А цель? — спросил Витя Ципер.

— Бога нет? Как считаешь?

— Вроде бы нет. А что?

— А райисполком есть. Понял? И отдел народного образования тоже, — тихо ответил Сашка.

— Полежать бы тебе, — осторожно сказал Витя Ципер.

— Я полежу. Сколько надо, столько и полежу. Но надо все обусловить. У тебя деньги есть?

— Есть. Сколько тебе?

— Полтинник. Буханку черного хлеба купить. Представь себе, что в тундре я его во сне видел. Черняшку. Черняшку и липы. А больше ничего не видел.

Школа

Было еще темно. На востоке небо уже окрасилось в светло-лимонный цвет, но в поселке, между домами, еще держалась темнота. Сашка вышел на крыльцо. Было тихо. Сашка сошел с крыльца и подошел к умывальнику во дворике. Рядом стояло ведро. Сашка пощупал корочку льда на ведре, пробил ее кулаком и налил воды в умывальник. Стянул с себя рубашку. Он долго плескался, потом тер себя полотенцем.

Взбалмошная гусиная стая подлетела к поселку, в тревожных трубных звуках разбился строй, потом гуси взмыли вверх, выстроились и пошли дальше, тяжелые и уверенные птицы. Сашка стоял с полотенцем через плечо, пока не затих последний гусиный крик.

...По поселку он шел, держа в руке короткий прутик и похлопывая им бездельно по тротуару. Трудно было

угадать в нем слепого человека. Разве что по неестественно прямой фигуре и излишне четкому шагу.

Был класс. Ребячьи глаза осмотрели Сашку. На доске висела карта полушарий. Как бы поправляя карту, Сашка ощупью нашел один край карты, другой. Повернулся к классу.

— Прежде чем мы будем изучать, что такое горизонт, как велика Земля и сколько материков, я хочу сказать вам о географии. Это лучшая из наук, потому что эта наука о чудесах.

— Как фокусы? — спросил белобрысый мальчишка.

Конопатый отчаюга с выбитым зубом, не отрывая от Сашки обожающих глаз, влепил белобрысому локтем в бок.

— Мы узнаем с вами о людях, которые ходят босиком по раскаленным углям, о реке Амазонке, где живут интересные рыбы пираньи, о летучих мышах величиною с собаку, о водопадах, горах, пустынях и льдах. Для вас вся карта мира состоит из «белых пятен», загадок и тайн. Таким образом, мы с вами отправимся в великие и опасные путешествия по земле, и в этом есть смысл географии...

Возвращение из Антарктики

Прошло время, и наступил день, когда весь Ленинград встречал дизель-электроход, доставивший домой очередную антарктическую экспедицию.

Была толпа на причале, вечно волнующий миг швартовки, были объятия, шампанское, слезы, и поцелуи, и смех.

Встреча развеяла на какое-то время продутую антарктическими ветрами дружбу, и Васька Прозрачный спускался по трапу один, ибо никто его не встречал и не мог встречать.

Полтора года полярной жизни сделали жестче его лицо, исчезла деревенская его припухлость, и тем более выделялись глаза его, наполненные изумлением перед миром.

Зимовка и антарктическая работа убрали лишнее и оставили основное.

Он успел загореть во время перехода через тропики, успел «прибарахлиться» во время захода в Танжер и Касабланку, и теперь это был загорелый крепыш Васька Прозрачный в сногсшибательном костюме, плащ че-

рез руку, в другой чемоданчик, — всегда он был легким, не отягощенным собственностью человеком.

Он растерянно покрутился среди обнимающихся, целующихся, тараторящих людей и пошел к выходу.

— Вась, Василий! — крикнул ему вслед бородач, обнимающий за плечи старушку маму. Но Прозрачный сделал вид, что не слышит.

Он остановил такси. Сел на переднее сиденье рядом с водителем.

— Поедем в аэропорт.

Пожилой таксист окинул его привычным взглядом, тронул машину с места.

— С Антарктики?

— Оттуда.

— И в Ленинграде задержаться не хочется?

— Еще вернусь, — широко улыбнулся Васька. — Кореш у меня из связи ушел. Найду и вернусь вместе с ним.

Он вытащил из кармана шикарные сигареты, вздохнул и спросил:

— «Беломорчика» не найдется? Фабрики Урицкого.

Шофер протянул пачку «Беломора».

— Возьми себе!

От Васькиных сигарет шофер отказался:

— Ты это тоже оставь. Оставь при костюме. Такой костюм требует.

— Механик Лев Клавдиевич уговорил. Ты, говорит, должен быть современным человеком, Прозрачный. Ты, говорит, на переднем фронте науки.

Васька сидел у Никодимыча.

— Писал, — сказал Никодимыч. — Писал и теперь пишет.

Он достал с книжной полки какой-то толстый научный том. Мелькнула надпись: «Никодимычу от верного ученика».

В томе были запрятаны замызганные конверты.

— От Лены прячу, — пояснил Никодимыч. — Она тут уборку по временам затевает.

— Так, — сказал Васька. — А прятать зачем?

— Он ослеп. Совершенно ослеп. Преподает географию за Полярным кругом. Он, видишь ли, убежден, что Лене лучше забыть про него.

— Понятно. — Васька налил в рюмки еще коньяка.

Они сидели по-домашнему в тесной комнате Никодимыча и толковали, положив локти на стол.

— А вы как считаете? — спросил Прозрачный.

— Я ведь уже не тренер. Ушел. Решил, что взгляды мои устарели. И потому не могу вмешаться. Может быть, если бы я раньше ушел, Сашка бы не ослеп. Хотел я красиво уйти с горнолыжного горизонта. Оставить после себя.

Васька отодвинул свою рюмку и встал:

— Вот что, я их сведу. Разлетелись шестеренки, но я их сведу.

— Как? — спросил Никодимыч.

— Отпуск четыре месяца. Денег хватит. Я ее в мешок посажу и...

— А надо?

— Не знаю. Я не умом. Я движением души буду действовать. Где адрес Лены? И какой к ней подход?

— Никакого, — сказал Никодимыч. — Скажи, что адрес Сашки тебе известен. Билет помоги купить.

— Я сам с ней полечу. Для присмотра за этими дурачками.

— Таких девушек нет, Вась, — сказал Никодимыч. — Или очень немного.

Васька накинул пиджак, висевший на спинке стула. Затянул распущенный галстук.

— Девятая специальность, — пошутил он. — Васька в качестве свата.

Берег

...Море входило здесь в берег широкой бухтой. Сашка сидел на поросшем травой обрывчике. За спиной с косогора шла дорога, и по дороге пыльно катили грузовики. Солнце садилось. Сзади подошел тот самый конопатый парнишка с выбитым зубом.

— Сапрыкин? — не оглядываясь, спросил Сашка.

— Я!

— Садись рядом.

Пацан сел рядом с Сашкой.

— Вы как меня узнали?

— По дыху, — серьезно ответил Сашка. — Я, брат, любого мальчишку за сто метров узнаю по дыху. Помолчи!

Сапрыкин все так же обожающе глянул на Сашку, прихлопнул рот.

— Солнце садится?

— Садится, — ответил Сапрыкин.

— Бухта гладкая?

— Гладкая.

— Видишь зеленый луч? Смотри на бухту.

— Вижу, — искренне соврал рыжий Сапрыкин.

Сашка молчал.

— А к вам дядя и тетя приехали. Кра-асивые оба! — вздохнул Сапрыкин. — Это правда, что он был в Антарктиде? А тетя ваша жена? Она, значит, Нютке мамой будет? Или нет?

Сашка молчал. Он стиснул руками неизменный свой прутик так, что побелели суставы.

— Иди, Сапрыкин, домой, — глухо сказал он. — Я посижу один.

— А все равно они вас найдут. — Сапрыкин был безжалостен.

— Это ты прав, — сказал Сашка. Он поднялся. Сапрыкин шел рядом.

— А песню не будем петь? — спросил Сапрыкин.

— Какую?

— Какую всегда. «Дрожите, королевские купцы и скаредное лондонское Сити. На шумный праздник, на веселый пир мы к вам придем... при-дем...» — отчаянным фальцетом завопил Сапрыкин. — А дальше забыл.

— «Мы к вам придем незваными гостями. И никогда мы не умрем, пока качаются светила над снастями».

— Незваные гости — это они?

— Они не гости, Сапрыкин. Они напоминание.

— О чем?

— Потом объясню.

— А пингвины все-таки не хохочут, Саш. Потом, когда я уж познакомился с ними, были, значит, моменты. Один момент капитальный был, — говорил Васька Прозрачный.

— Слышал по радио. В тундре был и про твои подвиги слышал.

— Ну-у, это не то говорили. Там, значит, так... — неожиданно Васька осекся. — Когда магазин закрывается?

— Зачем тебе магазин?

— Ну-у, зайду, узнаю зачем. Я пошел.

Сашка стоял у окна. Лена сидела на диване у стенки. Хлопнула дверь.

— Здравствуй, Лен, — сказал Сашка.

Она молчала. По лицу ее текли слезы.

— Ты какая сейчас?

— Очень красивая. — И голос ее был голосом прежней Ленки.

— А я какой?

— Старый и безобразный.

— Ага, — согласился Сашка и неожиданно широко улыбнулся. — Теперь верю, что ты красивая.

— Не красивая, а обворожительная. А ты босяк.

— Согласен, — смиренно сказал Сашка.

Васька Прозрачный, наплевав на шикарный костюм, сидел на ступеньках крыльца и был своим человеком среди своих же людей.

— Не согласен, — говорил он. — «Вихрь» — мотор капитальный. Ему надо дейвуд внизу подпилить, где выхлоп, и никакого заноса не будет. Утверждаю.

— Где подпилить-то?

— Эх! Давай завтра с утра. А потом на охоту двинем. Идет? Я, понимаешь, среди льда по траве стосковался.

Он встал, забрал со ступенек бутылки шампанского и пошел к дому.

— С ума сошел, Вась, — сказала Лена.

— А чего? Пусть постоит, попенится. Тем более что завтра я вас покидаю. Двигаю в тундру. На лодке. Уже договорился.

— Сапсегай сейчас близко со стадом. Навести старика, — попросил Сашка.

— Это дело! — горячо откликнулся Васька. — Обязан я его повидать или нет?

Смерть Прозрачного

Сапсегай и Васька Прозрачный сидели у небольшого костра. Был конец полярного лета — время желтой травы, желтого воздуха, желтого неяркого солнца. Где-то в тундре неотрывно кричал журавль. Замолкал, и снова печальные трубные звуки плыли над тундрой.

— Слышишь? — сказал Сапсегай. — Остался один. Тоскует.

— Хорошо здесь. — Васька лег на спину. — Еще

раз в Антарктиду смотаюсь и пойду в пастухи. Возьмешь?

— Приходи, — согласился Сапсегай. Прислушался. — Олени волнуются.

— Почему?

— В это время они дурные бывают. Там сзади худое место. Вот я и сижу. Побегут, много погибнет.

— А я не слышу, — сказал Васька. — До них же километра два.

— Привычка.

— Взял бы сейчас рюкзак, — размечтался Васька. — И шел бы, шел без конца. Людей бы разных встречал. Местность.

— Олени! — встревожился Сапсегай. — По руслу бегут. В худое место бегут.

— Счас! — Васька взметнулся на ноги. — Где? И что делать?

— Нет! — сказал Сапсегай. — Ты их не удержишь. Узкое русло. Сметут. Я сам.

Дробный рокот нарастал в стороне. Дробный рокот тысяч копыт по высохшему руслу тундровой речки.

— Я побегу.

— Не надо! — крикнул вслед Сапсегай, но Васька уже скинул ватник и бежал наперерез нарастающему грохоту.

Серой лавиной текли олени в припадке бессмысленного животного ужаса.

Сапсегай бессильно уселся на кочку. Сложил руки трубкой и завыл по-волчьи.

Передние олени заволновались и пробовали повернуть обратно, но сзади напирали другие, и вся масса пришла в сумбурное движение.

Васька Прозрачный скатился в русло реки.

— Эгей! — заорал он, размахивая телогрейкой. — Кончай панику, черти рогатые. — И Прозрачный кинулся им навстречу. Серая лавина поглотила его, только дважды взмахнула среди леса рогов телогрейка и взмыл над стадом огромный старый рогач...

Лена кончила заплетать Анютке косички и легонько шлепнула ее ниже спины.

— Ну-ка, отойди к стенке!

Анютка в новом тренировочном костюме застенчиво сверкала глазами.

— Красавица! — сказала Лена. — Теперь пора за уборку.

Она взяла тряпку и стала протирать книжную полку.

Отдельно стояла потрепанная книга. «Жизнь капитана Джона Росса». Лена взяла ее в руки. Глаза ее затуманились.

— Эту нельзя трогать, — предупредила Анютка.

— Почему?

— Он ее... предназначил. Дядя Саша.

— Кому?

— Сапрыкину. Который со всеми дерется, — вздохнула Анютка.

Шумно вошел Сашка.

— Привет, дамы.

Анютка кинулась к нему.

Он потрогал ее голову. Нащупал косички.

— Ух ты!

В окошке возникла возбужденная девчоночья физиономия.

Девчонка отчаянно барабанила в стекло.

— Дядя Саша! Александр Васильевич! Там Сапрыкин опять подрался.

— Угу! Сейчас буду.

— Я беспокоюсь, — ходила по комнате Лена. — Беспокоюсь, и все.

— Он полярник, — успокаивал Сашка. — Полярники не пропадают.

— Он ребенок, — сказала Лена. — Мальчишка, как этот Сапрыкин.

Сапсегай сидел рядом с телом Васи Прозрачного. Глаза у Прозрачного были открыты, и на лице застыло выражение изумления.

Тихие птичьи крики раздались в воздухе. Сапсегай поднял голову.

— Птичка кегали, — прошептал он. — Так и не успел он повидать птичку кегали.

Старик встал и пошел к яранге. Потом вернулся, снял с себя кухлянку и прикрыл, заботливо подоткнув со всех сторон, тело Васьки Прозрачного. Лица закрывать не стал, просто прикрыл, как будто мог озябнуть сейчас Васька Прозрачный.

За свой незаурядный век Сапсегай привык видеть смерть. И он давно уже пришел к выводу, что вероят-

ность смерти для хорошего человека выше вероятности ее для плохого. Хорошим же человеком Сапсегай, естественно, считал того, кто рискует собой для других, либо любопытство и страсть жизни гонят к познанию неизученных мест, кто способен в минуту опасности забыть о себе. Такие люди гибли и будут гибнуть. Но мудрость природы заключалась в том, что род их не исчезает, на смену приходят, должны приходить другие. Такова была эпитафия Сапсегая, мысленно произнесенная им над телом Прозрачного. Потом Сапсегай встал. Надо было вызывать вертолет, надо было позаботиться об оленях, и — вообще жизнь продолжалась, хочет этого старик Сапсегай или нет.

Старик в меховых штанах и вылинявшей рубашке, худой, высохший от годов кочевник, шагал по кочкам, и только сейчас можно было заметить, что Сапсегай стар, как тундра, как смена времен года на этой земле.

Сашка вышел на крыльцо.

— Сапрыкин! — громко сказал он. — Сапрыкин. Я знаю, что ты здесь.

— Здесь! — Сапрыкин вышел из-за бочки с водой.

— Иди сюда! — Сашка уселся на крыльцо. Сапрыкин подошел.

— Ты кем собираешься быть, Сапрыкин?

— Космонавтом.

— Значит, бандитом ты быть не хочешь?

— Нет, — замотал головой Сапрыкин.

— Тогда объясни, почему ты два раза на день дерешься. Только не ври...

— Космонавт должен сильным быть.

— Я объясню тебе, как стать сильным. Я займусь тобой, Сапрыкин. В восемь утра завтра быть здесь. И послезавтра. И...

В калитку вошел Помьяе. И тут же с визгом выскочила из комнаты Анютка, бросилась к нему. Но Помьяе, отстранив ее, шел к Сашке.

— Саша! — сказал он. — Саша, случилось...

Урок

Был урок.

— Сегодня мы отложим тему урока, — начал Сашка. — И поговорим сегодня об Антарктиде. Антаркти-

да — ледяная страна, где живут только пингвины. Пингвины и люди. Один мой друг утверждал, что пингвины умеют смеяться. Он устроился в экспедицию и поплыл в Антарктиду проверить: правда ли, что пингвины умеют смеяться. И установил, что правда. География — это не только наука о земле. На земле живут люди. Таким образом, это также наука о людях, наука о долге и счастье.

Двадцать пар ребячьих глаз смотрели на своего учителя, уже седеющего, темнолицего и сухого, как будто его опалил горевший внутри огонь.

— Одна трепанация, пять трепанаций, — сказал Сашка Лене. — Надо их делать. Был бы я зрячий, не погиб бы Васька. Получается: надо быть зрячим.

Тот же берег

Был тот же берег вечерней бухты. И Сапрыкин молча стоял за спиной Ивакина.

Печально и тонко кричал журавль. Потом другие журавли подхватили крик, и трубные прозрачные звуки их плыли над миром, как утверждение ясности бытия.

Народное поверье утверждает, что журавли предчувствуют перемены в человеческой жизни.

Сашка поднялся.

— Пойдем, — сказал он. — Пора. Я еще книжку должен тебе отдать.

— А обратно вы не прилетите? Когда будут глаза, прилетите?

— Обязательно! Я должен вас научить географии.

— А книжка какая?

— Про одного капитана. Вообще про жизнь.

— «Дрожите, королевские купцы и скаредное лондонское Сити», — отчаянно фальшивя, запел Сапрыкин.

Низко сидящее солнце вырезало плечистый, чуть сгорбленный силуэт Сашки и вихрастую фигурку Сапрыкина.

Послесловие

Изложенная здесь история почти полностью достоверна. Автор хорошо знает Сашку Ивакина, знаком с Сапсегаем. Сапсегай по-прежнему живет в пастушьей бригаде, хотя очень стар. Розовая чайка есть на самом деле, и

гнездится она именно там, где искал ее Шаваносов, — в болотистых равнинах низовьев реки Колымы. Это единственное в мире место ее гнездовий, если не считать низовьев соседней реки Индигирки. Кстати, открытие розовой чайки для науки принадлежит знаменитому русскому орнитологу Сергею Александровичу Бутурлину. В 1904 году он открыл гнездовья розовой чайки и, таким образом, доказал, что она является отдельным биологическим видом. Птица эта относится к числу охраняемых государством — стрельба и отлов ее категорически запрещены. Хотя трудно представить себе человека, который, раз убив бы розовую чайку, был способен в нее стрелять еще. Возможно, район ее обитания расширяется. В 1959 году автор встретил розовую чайку, точнее, колонию розовых чаек на Чукотке, на берегу Чаунской губы, в устье крупной чукотской реки Чаун. Чайки эти гнездились на берегу небольшого тундрового озера. По утверждениям старожилов, они стали появляться здесь сравнительно недавно.

Первые же достоверные сведения об этой птице действительно связаны с морской фамилией Россов.

Подборку документов и биографические сведения о Джоне Россе можно прочесть в документальной книге Фарли Моуэта «Испытание льдом». Книга эта на русском языке вышла в издательстве «Прогресс» в 1966 году. Автор встречался с Фарли Моуэтом в Москве, и мы рады были выяснить, что, помимо любви к Арктике, нас связывает еще и уважение к памяти Джона Росса, отважного арктического исследователя и друга знаменитого русского путешественника Крузенштерна.

Розовая чайка навсегда осталась символом героической Арктики.

Чудаки живут на востоке

1

Маленький город на берегу Охотского моря мало чем походил на знаменитых собратьев по океану. Через триста лет после основания он все еще оставался одноэтажным и деревянным. На улицах его в течение трехсот лет росли лиственницы, согнутые под прямым углом. Жесто-

кие зимние ветры не давали этим лиственницам расти прямо.

Начало городку положили бородатые мужики-землепроходцы. Мужики гнались за соболем аж от самого Урала, наткнувшись на Тихий океан, остановились, наверное, покурить, осмотрелись и решили остаться подольше. Так возник город.

К середине XX века здесь было:
пять тысяч жителей,
три магазина,
положенное число городских и районных учреждений,
гостиница,
две школы,
кинотеатр «Север».

Городок был административным центром большой таежной территории. В тайге жили дикие звери и домашние олени, а также люди, которые охотились на зверя и пасли оленьи стада в широких речных долинах.

Летом к городу подходили рыбацкие сейнеры и малогрузные пароходы-снабженцы. В часы прилива пароходы заходили прямо в речное устье к деревянному причалу и выгружали из трюмов все, что было необходимо людям города и тайги. Два раза в месяц сюда прилетали легкие зеленокрылые самолеты, привозившие почту и редких пассажиров.

По списку научно-культурных центров в городке числился краеведческий музей.

По списку хозяйственных предприятий — ателье мод и норковый питомник.

2

Ателье мод процветало, потому что в нем работал уникальный закройщик, грек Николай Згуриди. Згуриди мог все. С одинаковым вдохновением он работал мелом и ножницами над бостоном, шевиотом и темно-синим трико для парадных костюмов. Весной и летом он шил жакеты из красного плюша с большими черными пуговицами. Осенью Згуриди изготовлял самостоятельного облика пальто с цигейковыми воротниками. Универсальность обеспечивала спрос и сбыт — основные факторы процветания. Словом, ателье мод в маленьком городе на берегу Охотского моря являлось экономически здоровым предприятием.

О норковом питомнике в городке говорили чрезвычайно мало и редко. Он был организован всего год назад и не успел еще врасти в медлительное течение здешней жизни.

3

Жизненный путь Семена Семеновича Крапотникова был извилист и сложен. Этот человек родился с концентратом идей под черепной крышкой. К сожалению, идей было слишком много, и они мешали друг другу, как мешали бы, допустим, друг другу птицы, заключенные в замкнутое пространство.

От беспорядочного полета устают даже стрижи. Однажды утром, бреясь перед зеркалом, Семен Семенович Крапотников вздохнул, рассматривая стариковские морщинки вокруг глаз, попробовал расправить их пальцем и вздохнул еще раз, серьезнее. Он заглянул в самую стеклянную глубину, пытаясь угадать: что дальше? Зеркало честно молчало. Заглядывай не заглядывай, а неизвестно, в чем была на земле роль Крапотникова. Дело, которого он ждал и неутомимо искал всю жизнь, которое мог понять и развернуть только он, Семен Семенович Крапотников, обмануло, прошло стороной. Даже и неизвестно, что это было за дело. Так просто образовался в результате десятилетий маленького роста пожилой человек в неизменной мальчишеской кепке и неизменно стоптанных башмаках. В активе имелось только знание людей да жизненных ситуаций. Как считал Семен Семенович, не очень веселого свойства багаж.

Так повздыхав около месяца, он понял, что пора остепениться и осесть на месте. И лишь по привычке стал искать свой собственный, крапотниковский, вариант. Он решил уехать как можно дальше на восток, чтобы дальше и ехать было некуда.

«Тихий океан, — было сказано самому себе, — надежный барьер для всякого человека. Берега океанов дышат вечностью. Тишина, века и размышления. Что еще надо пожилому усталому человеку?»

4

Краеведческий музей городка размещался в бревенчатой избушке. Стены избушки помнили, наверное, екатерининские времена. В свое время здесь находился ар-

хив, где хранились кабальные, податные, ясачные и прочие записи с самых замшелых времен. В тридцатых годах один не в меру революционный товарищ приказал уничтожить архив как «вредную память царизма».

Жечь архив поленились. Его погрузили в телегу и свалили в яму, из которой испокон веку горожане брали песок для обмазки печек.

Полусгнившие останки архива спас случайный географ. Наиболее ценное было отослано географом в Москву. Оттуда же пришел приказ организовать в городке краеведческий музей с документами истории края и прочими необходимыми экспонатами. Возникла штатная должность директора музея.

Веня Ступников шел по счету восьмым. Он учился на историческом факультете в одном черноземном городе. В начале четвертого курса Веня бросил университет, так как не мог пережить трагедии: без всяких причин Она вышла замуж за какого-то нахала дипломника с геологического. Конечно, Веня решил уехать «далеко-далеко». Ехать на знаменитую стройку было банальным, в моряки-рыбаки не хотелось — все это было по кино и не соответствовало тонкости Вениных переживаний. Так, независимо от Семена Семеновича Крапотникова он решил «добраться до точки».

Уезжать «далеко-далеко» легко только в теории. В практической жизни от решения до его исполнения лежит много неудобных мытарств: снятие со всевозможных учетов, поиски денег на дорогу. Только мстительное пламя любви помогло Вене преодолеть все это и добраться до вагонной полки. К Вениному удивлению, «на точке» в конце железной дороги оказался громадный город с шумом, суетой и обилием на улицах презренного женского сословия. В управлении культуры ему впервые повезло. Забирая направление, Веня с наслаждением думал о том, как бы Она содрогнулась, увидев на карте дыру, в которой он себя похоронит.

Через два месяца Веня был счастлив. Посетители в музей не заходили. Коллекцию образцов горных пород, напоминавшую о ненавистном геологе, он самолично запрятал в самый дальний темный угол.

При музее оказалась отличная библиотека, собранная стараниями предыдущих директоров. В тишине этой библиотеки Веня понял, что должен стать писателем. К этому его обязывал долг пережитых мытарств.

Директорство в норковом питомнике Семен Семенович Крапотников принял без удивления. Точно так же он согласился бы руководить раскопками, часовой мастерской или лесозаготовительной конторой.

Перед тем как принять назначение, он установил: норка относится к семейству куньих (смотри БСЭ, т. 6, «Минеры — Первомайка»).

Объектом клеточного звероводства является так называемая американская норка, имеющая шкурку коричневого цвета (там же).

Мех норки имеет круглогодичный выход и чрезвычайно стабилен по цене на международном рынке.

Питается норка мелкими млекопитающими, рыбой и даже земноводными, то есть обычными лягушками. Более подробно о питании следует смотреть в работе кандидата биологических наук В. С. Попято «Рационы кормления при вольерном содержании пушных зверей».

Усвоив это, Семен Семенович с легким сердцем расписался в акте приемки двухсот зверьков, вольерных сооружений, домика конторы, некоторого количества специального комбикорма, а также выполнил ряд других формальностей.

Хозяйство располагалось в полутора километрах от городка в неширокой, заросшей травой долинке. Городок отсюда был виден как на ладони.

Прежний директор, одышливый волосатый мужчина, водил Семена Семеновича по хозяйству и равнодушно тыкал коротким пальцем: «Это то, это то...» Дощатые заслонки вольера были подняты по случаю хорошей погоды. Коричневые, похожие на ласку зверьки ловко перебегали за проволочной сеткой, посверкивали темными бусинками. Семен Семенович легкомысленно сунул за проволоку палец. Волосатый мужчина вздохнул и сказал: «Откусят. Очень уж до жратвы охочи».

Мимо быстро, так что раздувалась юбка, прошла молоденькая работница Соня. Обернула к начальству смуглое, явно с примесью туземной крови лицо.

— Егоза,— сказал ей вслед прежний директор и ушел, тяжело ступая по обрезкам досок, испорченным кормушкам и разному хламу неизвестного происхождения. Ушел насовсем.

Семен Семенович остался у клеток. Несколько зверьков кончили возню и подошли к сетке, прижав к ней

острые мордочки. Похоже, хотели спросить: каков будет новый директор, с каким характером человек? Один, по-смешному перебирая лапами, поднялся по проволоке в рост, показал светлое брюшко. Потом скорчился обезьянкой, притих, только бусинки любопытно косились на Семена Семеновича.

6

Социологи не ломали копий из-за Топоркова, Бедолагина и Янкина. Они их просто не знали. Но если бы какой-нибудь пытливый исследователь пропластков человеческих судеб добрался до маленького городка на берегу Охотского моря, он смог бы применить к Топоркову и Бедолагину или Бедолагину и Янкину лишь два расплывчатых принципа:

а) все трое занимались тем, что добывали средства к существованию;

б) средства к существованию они добывали нерегламентированными путями.

Нижней границей в этом свободном предпринимательстве был уголовный кодекс, который все трое свято чтили. Верхний — абсолютная неспособность ежедневно начинать и кончать работу в одно и то же время.

Причина, которая поставила их на такой путь, затерялась в тумане времени.

Давняя дорога привела их в молодости на Север. Их можно было видеть со старательским лотком или с плотничьим топором в руках на какой-нибудь малокалиберной стройке. Возможно, их гоняла мечта о длинном рубле, возможно, просто страсть к перемещению, которая, как известно, принимает различные формы. Неизвестно также, какая причина привела их в маленький город на берегу Охотского моря. Их потребности состояли из чая, папирос, хлеба и сахара. Они умели делать все.

Топорков был мал ростом и худ, Бедолагин высок, жилист и тощ. Янкин был просто волосатого вида мрачным мужчиной.

Все трое носили армейские гимнастерки, купленные где-то по дешевке, и хлопчатобумажные полосатые штаны, те самые, которые можно увидеть в любом сельском магазине от Чукотки до Прибалтики. Москвошвеевские кепки со сломанными козырьками и молчаливость ста-

вили точку на внешней характеристике этих людей. Положенный для человеческого общения запас слов употреблялся ими лишь изредка в сериях: «а вот однажды», «к примеру, возьмем...», «в одна тысяча девятьсот...», «снасть, она...» и так далее.

7

Тема первого Вениного романа наметилась сразу: «Жизнь сурового северного городка с мужественными людьми и романтическими судьбами главных героев». Веня для простоты мыслил стандартными формулировками.

Именно по этому плану Веня уже около месяца изучал жизнь. Опыта у него, конечно, не было. Он подолгу толкался в магазинах, ходил на морской берег, где пацаны в отцовских резиновых сапогах обманывали бычка на красную тряпочку, и выбирался на окраины, где у иных домов (вот он, колорит) подыхали от безделья косматые упряжные псы. Но все оказалось не так просто, как думалось в тишине музейной библиотеки.

Главный герой с романтической судьбой был. Ехидно остроумный молодой человек, капитан институтской сборной по баскетболу и свой парень. Это вначале. А потом жизнь у него закручивалась вовсе не по стандарту.

Но никак не находился северный колорит. Не было мудрого старика, который закурил бы трубку и, глядя на огонь, сказал: «Ох-хо, тяжело вспоминать то время...»

8

Столпы хозяйственной жизни города — грек Згуриди и Семен Семенович Крапотников — оказались соседями. Их разделяли только бревенчатая стена и полоса травы между дощатыми крылечками. Вначале дощатые крылечки были ареной знакомства, затем стали местом ежевечерних встреч. Семен Семенович уже наизусть знал историю жизни этого тихого человека. Это была все та же, обычная и необъяснимая история о том, как человеку «захотелось куда-то поехать».

— Хорошо, спокойно живем,— говорил Згуриди.— Очень хорошие люди. Всех знаешь, тебя все знают. Мы с Марусей думали: скопим денег, купим каменный домик на Черном море. Я раньше в Одессе жил. Очень хотел каменный домик. За три года хорошо скопили.

Приехали туда. А, слушай, жарко, людей много. Понимаешь, мне, греку, жарко. Через полгода я этот город во сне стал видеть. Не понимаю сам почему, а вижу его во сне. Очень редкий грек я, вот что иногда думается.

Семен Семенович слушал, поддакивал, с коротким смешком рассказывал забавные случаи из своей жизни. Так за несколько вечеров он узнал всю предысторию городка и всех его обитателей, достойных упоминания.

Однажды Згуриди рассказал о системе экономических взаимоотношений внутри города. Семен Семенович слушал не очень внимательно.

По Згуриди, получалось так. Около пятисот жителей городка работали в разных учреждениях. Получали зарплату. Остальные жители перераспределяли ее между собой. Остальными были «добытчики». Добытчики солили рыбу. Продавали огурцы и капусту из собственных парников. Поставляли свинину, дрова и кетовую икру. Два человека жили тем, что жгли где-то известь для беления потолков. Получалось так, что городок жил натуральным хозяйством, забирая извне зарплату и не выдавая наружу ничего, если не считать функций административного управления краем.

— Чудеса,— охотно согласился Семен Семенович.— Консервная банка без дырки.

На крылечке было тихо. В комнате Згуриди перестал шуметь примус. Значит, сейчас их позовут пить чай. С моря доходил дальний шум: где-то в океане бушевал шторм, и отголоски его разбивались о здешние тихие берега. Посреди вечерней улицы, размазывая по щекам безутешные слезы, прошел босоногий пацан. Наверное, сбежал из дому и шел сейчас куда-нибудь в неизвестность, чтобы поселиться подальше от человеческой несправедливости.

— Чудеса,— повторил Семен Семенович и вдруг почувствовал волнующий холодок рождающейся идеи. Идея возникла и мягко, но властно росперла грудь.

Консервная банка без дырки? А норковый питомник? Как же он не мог понять этого раньше? Не жалкое ателье с плюшевыми жакетами, не одноэтажные учреждения с вывесками, не двести норок у одной кормушки, а грандиозный питомник — вот идея! В этом заключалась историческая, социальная, географическая и какая хотите роль городка. И личная задача С. С. Крапотникова. Это была идея!

Городок спал. Спали работники учреждений с вывесками «Рай...» и «Гор...», спали домохозяйки, похрапывали добытчики.

Плескался в отголосках шторма набитый рыбой Тихий океан. Гигантская кормушка для грандиозного питомника. Большинство женщин земного шара не думали в это время о норковых шубах. Министры финансов решали валютные проблемы без всякой мысли о том, что существует зверек, мех которого равноценен самой твердой валюте.

Маленький взъерошенный человечек курил папиросу за папиросой.

9

Поняв внутренний смысл событий, Семен Семенович Крапотников сразу же провел удачную экономическую операцию.

По уставу питомника, до тех пор, пока он считался опытным, норок полагалось кормить комбикормом, специально доставляемым из далеких земель. Комбикорм стоил дорого. Поразмышляв над брошюрой В. С. Попято, Семен Семенович понял, что надо поискать кормежку подешевле. Разницу тогда можно пустить на расширение питомника.

Рыбу он достал почти даром. Ее поставил экипаж загулявшего рыбацкого сейнера, промышлявшего вблизи городка. Настоящего хода не было, вдоль береговой полосы шла только несерьезного значения рыба навага. Семен Семенович получил три тонны наваги, экипаж получил возможность скрасить предстоящий промысловый рейд. В активе питомника осталась сумма. На эту сумму можно было купить новых зверьков.

...В лихорадочной деятельности облик Семена Семеновича стал меняться самым заметным образом. Тихий грек Николай Згуриди посматривал на него с опасением. Как он раньше мог не замечать, что сосед бегает по улицам, как мальчишка, а когда речь заходит о питомнике, глаза у него вспыхивают фосфоресцирующим блеском? И странные разговоры о будущем процветании городка. О какой-то «социальной революции». Кому надо? Какая революция?

...Первая норка подохла через неделю после покупки наваги. Это был самый прожорливый и толстый зверек

во второй вольере. Теперь он лежал в углу скрючившись, безучастным ко всему миру комочком коричневой шерсти.

Через день подохли еще две. Это было вопиющей каверзой природы.

После долгих колебаний Семен Семенович послал в центр длинную радиограмму. Как колебания, так и длина радиограммы объяснялись тем, что перед этим в центр было послано письмо с радужным рапортом. С намеком на необходимость расширения.

10

Веня Ступников напрасно рылся на полках библиотеки музея. Никакой литературы о заболеваниях норок здесь не было. Перед этим, удивившись просьбе странного посетителя, Веня долго ходил около витрин с чучелами.

— Так такой зверь здесь не живет,— ответил он, вернувшись.

— Должен жить,— ответил странный посетитель.

Теперь Веня шарил по полкам. Был найден двухтомник «Птицы и звери СССР», «Охотник» Д. Олдриджа, подшивка «Российского натуралиста» за 1879 год, «Кролиководство» Б. Бермана.

Растерянный человечек долго перебирал эти книги. Неуверенным жестом отложил «Кролиководство», «Птицы и звери».

— Берите, только принесите,— сказал Веня.

— Вы не знаете, как лечат пушных зверей?

— По специальности я историк,— с достоинством ответил Веня.

Забрав книги, человек ушел. Веня снисходительно смотрел ему вслед: «провинциальная достопримечательность».

И, в который уж раз сладко вздохнув, Веня стал думать о том времени, когда он напишет сногсшибательную северную повесть. Редакцию будут заваливать письмами: где эти места и как туда проехать? И невдомек им будет, что все написанное не более как продукт его, Вениамина Ступникова, психотворчества.

Для тренировки Веня стал думать о только что ушедшем от него человеке. Он искал в неприметном событии яркую фабулу жизни. Получалась какая-то ерунда: замаскированный под видом безобидного чудака японский

шпион прибыл, чтобы узнать тайну производства норковых шкурок, а также ряд других немаловажных секретов.

11

В деревянном домике конторы было тихо. На газетном листе лежал мертвый зверек. Восьмой по счету. Положив норку на стол, Соня отошла к стене и остановилась там, сердито поджав губы. Румянец на щеках стал от этого еще темнее.

— Ну как, Сонечка, — по привычке спросил Семен Семенович, — сколько сердец разбито за вчерашний вечер?

Соня презрительно фыкнула, потом застучала каблуками к двери. Семен Семенович молча смотрел на зверька. Осторожно потрогал коричневый бок. Пальцы наткнулись на выступы ребер. Оскаленные зубы норки молили о помощи.

— Старый хвастливый болтун,— сказал Семен Семенович.— Несостоявшийся пушной Наполеон. Спасать зверей — вот что надо.

12

В каждом приморском городе есть свой «шанхай». «Шанхаем» называется древняя окраина города, где беспорядочное скопище разнокалиберных домишек, во-первых, свидетельствует о пренебрежении наших предков к архитектурной планировке, во-вторых, внушает уважение к долговечности дерева как строительного материала. «Шанхай» всегда располагается на морской окраине. Эта позиция свидетельствует о его обреченности. Новое строительство наступает из центра. «Шанхаю» отступать некуда.

В маленьком городе на берегу Охотского моря между крайними домиками и водой оставалось еще порядочное пространство.

Часть его, огороженная бочками из-под горючего, служила посадочной полосой. В обычное время на полосе и рядом с ней паслись немногочисленные коровы и козы. Сегодня на полосу сел самолет.

Топорков передал Бедолагину очередной кусок нанизанной на бечеву сети и сказал на всякий случай:

— Сел.

— Сел,— согласился Бедолагин.

— А ведь у меня где-то племяш в летунах служит,— сказал Янкин.

— Кокнулся, поди, твой племяш,— съехидничал Бедолагин.

— Полетай ты каждый день на такой фитюльке, небось тоже кокнешься.

— И никаких денег не надо, — миролюбиво заключил Топорков.

— Деньги всегда надо.

— Много у тебя их было?

— Бывало!

— Порастерял, значит, сберкнижки?

— До сберкнижки не доходило. Сам знаешь.

...Из самолета выкинули мешки с почтой. Потом он вырулил к началу полосы, потарахтел немного мотором и легко, почти без разбега оторвался.

— Улетел, — сказал Топорков. — Всего-то из-за одного пассажира приходил.

— У меня племяш самостоятельный, — сказал Янкин. — Не кокнется.

13

Голова Я. Н. Беклемишева склонилась над «Экологией паразитирующих пресноводных». Вчера хитрющий, как сто цыганок, Баядера упек его в библиотеку выписывать из толстых томов все, что связано с именем Дж. Б. Гупера и еще пятнадцати таких же умных людей. Пока тетрадка лежала нетронутой, в голове Я. Н. Беклемишева бродили пустячные мысли, например: хотелось угадать, кто сидит напротив за уляпанным чернилами барьером. Из-за барьера высовывалась лишь зеленая макушка настольной лампы. Зеленые макушки торчали по всему залу, как квадратно-гнездовая посадка фантастических кактусов.

В дальнем конце зала светлело пустотой во всю стену зеркало. Зеленая россыпь кактусов уходила в нем в перспективу, в бесконечность.

Мысли перешли на «прану». Эта «прана» берется утром из форточного воздуха. Потом, не дай бог, перетеплить душ. Вытираться надо снизу вверх, в последнюю очередь массируя кончики волос. После кончиков волос надо подойти к зеркалу и несколько раз беззвучно крикнуть «ых». Пятилетняя дуреха Катька специально просыпается, чтобы посмотреть, как он это делает. Эта си-

стема, как уверяют, поможет ему стать настоящим научным работником. Не хуже Баядеры, официально выражаясь, доцента Мироненко.

А сзади, видимо, о том же шептались два студента: «...И вот, понял, если две недели подряд это делать, понял, то все экзамены будут как котлетку съесть, понял...»

«Пойду домой, — решил Славка. — Сейчас пойду домой, а завтра приду, сяду прямо к микроскопу. Пусть Баядера бесится сколько влезет».

Он сдал «Экологию паразитирующих пресноводных» и с наслаждением сунул в карман пустую тетрадку. Девушка в регистратуре поставила ему в наказание штамп «12.00». В двенадцать дня из библиотеки уходят лишь патентованные бездельники.

14

По пустынным камням портала ветер гнал сухой листок. Троллейбусные провода качались в светлом небе. Мазнув по нему глазами, прошли две филологички. Славка понял, что они филологички, потому, что услышал спор о «семантическом примитивизме Даля». На серой гранитной колонне карандашом были написаны стихи:

...Миры вращаются в мирах...
Планетная система картотек и фолиантов
Лишь просто включена в огромный мир другой —
Из дальних океанов, островов
И неизвестных мне космических гигантов.

Дуреха Катя с соседским Аркашкой громко дразнили неизвестное лицо во втором подъезде. Когда Славка вошел, неизвестное лицо крикнуло сквозь дверную щель: «А мне папка гончий велосипед купил!» Увидев Славку, Катя притихла, но все-таки сказала достаточно громко: «И не бывает для детей гончих велосипедов». Вообще для пяти лет она была на редкость толковой девчонкой. Славка уже подымался по лестнице, когда она догнала его и крикнула:

— А к тебе дяденька приходил. Незнакомый.

Проходя мимо почтового ящика, Славка машинально выдернул задвижку. На пол упал ключ. Значит, мать уже ушла.

На тумбочке лежала написанная карандашом записка от матери. «Слава, к тебе приходил какой-то мужчина. Говорил, что тебе надо ехать к каким-то тайфунам.

Еще рассказывал про лиственницы. Ничего не понимаю».

Славка покрутил записку. Лиственницы, тайфуны. Чепуха сплошная.

Он положил записку на тумбочку. Налил в чайник воды. Поставил чайник на плитку. Голова все-таки болела. Спираль начала тихо пощелкивать, нагреваясь.

«Верь в интуицию, если она настораживает», — неожиданно решил Славка. Он подошел к телефону. По голосу он узнал Миху Ступаря, ихтиолога из соседней лаборатории.

— Ты знаешь, что такое мир бризов и тайфунов?

— Так сейчас кругом миры. Мир фантастики, мир букинистов, мир искусства. Осталось узнать, где кончаются миры и начинается жизнь, — хладнокровнейшим голосом ответил Миха.

— А лиственницу знаешь?

— Хвойное дерево Лярикс. Подробнее в справочнике Мамушкина.

— Значит, ты ничего не знаешь, — вздохнул Славка. — Чернышев там?

— Ни, — сказал Миха. — У него доклад завтра. Думаешь, он?

— А ты о чем?

— Будь, — сказал Славка.

— Ага. Будь, — сказал Миха.

Они оба выжидательно молчали в трубку. У Михи были железные нервы. Славка отошел от телефона.

Голова все-таки болела. Славка поискал пирамидон, вздохнув, лег на диван и решил, что завтрашний разговор с Баядерой он начнет с недавно прочитанной статьи. Статья была о машинном реферировании. (То, чем меня заставляют заниматься второй год, сейчас великолепно делают машины.)

15

«...Высочайший эмоциональный взлет духовных сил, обусловленный глубоким чувством к любимой женщине, как объекту, олицетворяющему высшую гармонию мира, в том виде, как она представлялась художникам тех времен, дали нам множество поистине прекрасных произведений искусства... Данте и Лаура. Феерический взлет пожилого Гёте в результате любви к молодой девушке. Платоническая любовь Бальзака...»

Все было правильно. Страница 175-я книги В. Д. Авдехина «Процесс психотворчества в художественной ли-

тературе» положительно рекомендовала состояние влюбленности как стимул литературного творчества. Веня с облегчением закрыл книгу.

...Это произошло случайно. В тот самый раз, когда он старательно вживался в образ Семена Семеновича Крапотникова, Веня незаметно для себя пришел к выводу, что он просто-напросто прошляпил единственного достойного внимания человека.

Двухдневная гонка по следу привела Веню в норковый питомник. Приземистое сооружение вольеры и домик конторы стояли в узком распадке, закиданном предательски замаскированными камнями. Веня шел, спотыкаясь о камни, и чертыхался.

Дверь в контору была открыта. Веня поднялся на крыльцо, растерянно прикидывая, как объяснить свой визит, и нос к носу столкнулся на пороге с девушкой, которая в одной руке несла лоток с мусором, а в другой держала веник.

— Ой! — сказала она.

— Извини... — начал было Веня, но поперхнулся.

Ее звали по-русски Соня. Но у нее было второе местное имя — Каткаль, что в переводе значит «подснежная вода». Кроме того, закоренелый циник Крапотников назвал ее как-то в шутку Тамерланом, потому что, по его мнению, целые улицы, поселения и города мужских сердец должны были разбиваться вдребезги при одном ее появлении. И он был не так уж не прав.

Она унаследовала от матери хрупкую стройность таежных женщин, женщин древнего охотничьего племени. Отец ее был потомком бородатых мужиков, остановившихся покурить на берегу Тихого океана. Соня — Тамерлан — Каткаль.

Половины этого было достаточно, чтобы беспощадный меч Тамерлана опустился на забитую поисками экзотики Венину голову.

16

Утром Славка шел в институт, чувствуя, что за ночь его голова как-то многозначительно опустела. На ученый совет он все-таки опоздал. В темном коридоре стоял реставрированный бюст питекантропа. Пахло пылью и сигаретами. Из-за стеклянной двери доносился голос его бывшего однокурсника Тольки Чернышева. Делового парнишки.

«...Концентрация данного вида вопреки экстенсивности распространения отдельных его разновидностей...» Речь шла об озерных блохах, которые Толька Чернышев решил двинуть на корм карпам.

Светловолосый круглолицый тихоня Толька до конца курса прошел непонятным человеком. Он все молчал и все ходил на разные кружки, когда остальные просто с ума сходили по баскетболу. Потом стал председателем СНО, потом нашел идею о водяных блошках. Попав в этот биологический институт, Толька быстро оперился. Стал носить хорошие костюмы и здорово научился рассказывать «научные анекдоты». «Мой реферат почти аннотация, моя аннотация почти диссертация, моя диссертация почти монография...» и так далее.

В лаборатории опять не убрали пыль. Пылесосом проползли лишь по ковровой дорожке. Славка стал прибирать свой стол. Выписки, списки, рефераты, папки с ярлычками и ярлычки с пометками разноцветной тушью. «Баядерская нумерация». Его руководителя доцента Мироненко прозвали Баядерой за умение хорошо, «соблазнительно» говорить.

«Пасьянс — вот основа открытий. Линней и Менделеев раскладывали пасьянс и получили системы». Проговорив что-нибудь такое, доцент Мироненко убегал, оживленно работая ручками. Говорят, он работает над какой-то систематикой, которая даст ему докторскую диссертацию.

В коридоре возник сдержанный гул голосов. Чья-то голова ошалело заглянула в дверь и так же моментально исчезла. Вошел Чернышев. Он вытирал платком испачканные мелом пальцы...

— Ну, как доклад? — вежливо осведомился Славка.

— Ничего доклад. Хороший доклад. А что?

— У меня идея для тебя. Вот, понимаешь, если бы заставить лягушек размножаться круглогодично...

— Ну? — заинтересованно спросил Чернышев.

— Так чего «ну»? Тогда бы карпы запросто кормились их икрой.

— Чудишь все, — недоверчиво сказал Чернышев.

— Чудю, — согласился Славка. — Ты Баядеру не видел?

— Нужен мне твой Баядера!

— Ты подумай насчет лягушек! — крикнул вслед Славка.

Чернышев вернулся и, округлив глаза, постучал себя по лбу согнутым пальцем.

В ответ Славка молча поманил его к себе. От удивления Чернышев приоткрыл рот и остановился.

Славка вынул из кармана мятую записку.

— Твоя работа?

— Ты о чем? — почему-то шепотом сказал Чернышев.

— Я про записку. Бризы там, тайфуны. Калиостро в тапочках!

— В тапочках?

— Можешь идти.

— Слушай,— сказал Чернышев,— я вроде понял.

— И что же тебя осенило?

— Ты вчера в библиотеку отписан был? Все правильно. Прихожу я утром к директору. Ну, надо было. Секретарша сидит позевывает. Говорит, занят. «Кто?» — говорю... Ну, знаешь, вдруг из китов кто. Иногда полезно подловить. «А!» — говорит она и машет рукой. Я — раз в кабинет. А там сцена, смеха не хватит. Директор за столом красный весь. Пилит по горлу ладошкой. Отказывает. А напротив какой-то чудак. Видно, что от сибирских руд, и тоже себя по горлу ладошкой, надо что-то ему позарез. И спокойно сидит твой Баядера и крутит пальчиками.

— Мы же не отраслевой институт,— колотит себя по груди шеф.

— Был в отраслевом,— отвечает тот, маленький.

— Нет у нас таких специалистов. Ну, скажите хоть вы, Мироненко!

А Мироненко этот твой так улыбается и шутит тонко:

— Агрессия, — говорит, — через головы ветеринаров, Вениамин Петрович.

Тут директора допекло; он сел и говорит так устало: «Решайте сами». Это Баядере. «Ваш,— говорит,— отдел». А тот говорит: «Не могу решать, у меня сейчас из сотрудников только один молодой человек Беклемишев». Тот сразу за карандашик: «Ага, Беклемишев. Ну, спасибо. Знал, что поможете». Шляпу в руки и с приветом. Те ему вслед: «Куда же вы?» А его уже нет. Это страшный человек, Славка. Поверь опыту.

— Ну, страшного ничего нет,— на всякий случай сказал Славка. Теперь он совсем перестал что-либо понимать.

Гул голосов затих в коридоре. Видимо, начался следующий доклад. Славка взглянул на приколотое к стене расписание. Вслед за Чернышевым шла сенсация дня — доклад, который в институте ждали почти полгода. «Жаль, что опоздал»,— подумал Славка. В комнате было тихо. Темная пылесосная дорожка лежала на ковре. За стеной Миха Ступарь дурашливо напевал песню о Марусе, решившей отравиться.

«Смотрит на увеличение 800 и радуется»,— решил Славка.

17

Дверь открылась.

В комнату вошел незнакомый человек.

— Здравствуйте,— сказал он и снял шляпу.

Мудрые, чуть грустноватые глаза старого лешего были у этого человека. Оттопыренные уши и ехидных размеров нос составляли его лицо.

— Здравствуйте,— сглотнув от волнения слюну, сказал Славка.

Шляпа качнулась и опустилась, закрыв голый, как коленка, выпуклый череп мудреца.

— Здравствуйте,— повторил он.— Вы Беклемишев?

— Ага,— опять почему-то сглотнув, сказал Славка.— Вы это по интуиции или по информации?

Человек хитро улыбнулся. Сумасшедшая веселинка скакнула в его глазах.

— Крапотников, — представился он. — Директор норкового питомника. В местах отдаленных...

Славкина мысль обежала кругозор событий. Цепь фактов с лязгом сомкнулась. Он вежливо поклонился:

— Ярослав Беклемишев.

Странный человек широко улыбнулся. Славка улыбнулся еще шире.

— Мне рекомендовали вас как лучшего специалиста по норкам,— вкрадчиво сказал незнакомец.

— Без меня меня женили,— осторожно отпарировал Славка.— Я узкий специалист по грызунам.

— Давайте напрямик.

— Идет.

— У меня умирают маленькие коричневые зверьки,— серьезно сказал странный человек.— Каждый день я кидаю на свалку золотые рубли международной валюты. Мне нужен толковый специалист. Я не упрашивал бы

вас, как мальчишка, если бы вы не были последней надеждой.

— Ваша последняя надежда видела норок три раза в жизни: два на экскурсиях в музей и один раз на препараторском столе.

— Готова койка с видом на океан.

— Океаны принимаю только по распоряжению начальства, — насмешливо сказал Славка. — Какой океан?

— Тихий.

— Черт возьми! И все-таки идите к начальству.

— Ваше согласие, и я через пять минут принесу вам командировочное удостоверение.

— Вы действительно страшный человек,— усмехнулся Славка.— Теперь я все понял. У вас, не обижайтесь, паранойя. Идефикс, по-научному. С такими, как вы, невозможно бороться.

— А может, поговорим по-хорошему? Не боитесь поговорить по душам с параноиком? — Человек сказал это тихо, почти грустно.

— Идет!

Они встали. За стеной Миха Ступарь озабоченно насвистывал румбу. Тихо пощелкивала батарея отопления. Бюст питекантропа смотрел в темноту коридора слепым взглядом. Из-за стеклянных дверей доносился голос очередного докладчика.

18

Их встретила зеленая трава аэродрома. (Скажите, пожалуйста, здесь растет трава!) И ветер донес знакомый по мальчишеским снам соленый запах. (Это пахнет Тихий океан. Почему его не видно?)

Навстречу им двинулся жердеобразный человек в длинном, до пяток, плаще. Человек стеснительно пожал Славке руку и сказал баском: «Згуриди».

— Грек, — скороговоркой прокомментировал Крапотников. — Единственный грек на все побережье. Единственный закройщик плюшевых жакетов на сто тысяч квадратных километров.

Обшарпанная «Победа» крутила их по узким деревянным улицам. Шофер был в ковбойке и почему-то в зимней шапке. На поворотах он перекатывал папиросу из одного угла рта в другой. Уникальный грек с провинциальной вежливостью задавал вопросы о дороге.

«Победа» остановилась у деревянного одноэтажного домика. Полная женщина в ситцевом платье открыла им калитку.

— Прошу, — сказал Згуриди.

Низенькая чистая комната была тщательно убрана. Беклемишеву сразу понравилась эта комната, и даже горшки с фикусами у окон, и глупейшая картина рыночного производства. Полная женщина с церемонными извинениями накрывала стол. Згуриди принес откуда-то цветной графинчик.

— За знакомство, — сказал он.

Только Крапотникову не сиделось на месте. Он рассказал Славке о вольерах, холодильнике, каком-то микроскопе. Было ясно, что ему очень хочется немедленно схватить Беклемишева за руку и потащить его в питомник к норкам. Полная женщина с улыбкой наблюдала за ним. Видимо, Крапотников был в этом доме свой человек.

— Молодой человек будет спать после дороги, — сказала женщина. — Ваших норок он посмотрит и завтра.

— Я живу здесь седьмой год, — сказал Згуриди. — Два года назад здесь работали геологи. Очень насмешливые молодые люди. Они все удивлялись, почему я грек. «У тебя должна быть фелюга, Згуриди, — говорили они. — Какой же ты грек без фелюги?» Я послушал их. Действительно, живу, можно сказать, на берегу Великого океана, а фелюги нет. Я купил себе очень большую шлюпку. На ней есть мотор. «Мотофелюга» — так сказали геологи. Вы можете брать ее себе когда угодно. Здесь много рыбы. Но редко бывает погода.

Они пили какой-то сладкий ликер. Наверное, от него Славке в самом деле хотелось спать. Казалось, что он сидит в этой комнате сто лет. За тысячи верст отсюда остался город с библиотекой, курилкой, дурехой Катькой, идеями доцента Мироненко и стихами о мирах, написанными карандашом на серой гранитной колонке.

— Фелюга должна быть с парусом, — сказал Славка.

— Не умею шить парус, —усмехнулся Згуриди. — Могу сшить юбку-кринолин, но не знаю, как делать парус. Кроме того, у настоящей фелюги мачта должна быть из дерева кипариса.

— Чепуха, — сказал Семен Семенович Крапотников. — Исправный мотор — и все кипарисы..

19

Было обычное утро. Оно принесло с собой туман. Туман пах йодом и рыбой, потому что на берегах Тихого океана туманы всегда пахнут так. Он висел на иголках лиственниц и серебрил стены домов. Запах йода смешивался с запахом человеческого жилья и хвои.

В это утро Веня Ступников проснулся без пятнадцати семь. Его разбудил будильник. В сущности, Вене незачем было просыпаться именно в это время. После визита директора норкового питомника в музей не забрела ни одна живая душа. Но Веня-то твердо знал, что уважающий себя писатель должен начинать день чашкой кофе и сигаретой. И необходимо, чтобы это было пораньше.

Веня пил кофе, курил и мыслил. За окном стояла белая муть. В раскрытую форточку лезла сырость. Это был знаменитый туман Охотского побережья. Жизнь снова оказалась очень сложной. Из-за того, что в каком-то проклятом питомнике дохнут норки, он, Веня Ступников, не имеет ни минуты покоя. Каждый день он как идиот бредет в эту долину. Два дня подряд доказывал, что он историк и ни черта не понимает в животноводстве. Потом еще два дня по ее просьбе толкался по всем учреждениям города в поисках помощи. Кажется, он узнал всех служащих городка. Директор питомника, тот самый злополучный чудак, исчез в неизвестном направлении.

По ночам память воскрешает далекий черноземный городок, и... так или иначе приходится заниматься самокритикой. А кому это приятно? Соня — Каткаль — Тамерлан. Она заставила его даже к этим норкам относиться с уважением, хотя он с детства терпеть не мог кошек, ворон и прочую живность. И сама она похожа на норку. Движется быстро, бесшумно, и кажется, что тело ее скручено из какого-то диковинно-упругого материала.

Сегодня ночью он нашел идею. Питомник будет спасен. Он напишет громовую газетную статью. Статью, которую будут рвать из рук миллионы. В современном духе. Каждая фраза как бомба. Форма — это основное. Читатель ждет форму. Любой может слазить в энциклопедию на букву Н, выписать оттуда все, что относится к норке, вставить местные факты и фамилии — и готово дело. Веня Ступников сделает иначе. Он начнет с песни

Монтана о Мари, которая носила норковую шубку. Мари гуляла в норковой шубке по Парижу, и все девушки завидовали ей, а парни на улицах шли следом, как лунатики.

А разве наши девушки не имеют права ходить в норковых шубках? Далее можно написать о достоинствах норковых шкурок.

В грустной французской песенке Мари кончила плохо. Она состарилась, и состарилась ее шубка. Мари стала никому не нужна.

Каждая девушка имеет право носить столько норковых шубок, сколько ей угодно. Но для этого нужны норки. А что же творится в нашем питомнике? Далее сплошные разрывы гранат.

Веня кончил пить кофе и закурил еще одну сигаретку. Материл о норках прекрасно складывался. Только надо все хорошо обдумать.

20

В это обычное утро Славка Беклемишев был в питомнике с восьми утра. Он наблюдал, как кормят норок. Маленькие коричневые зверьки с хрустом уничтожали рыбу. Они были веселы и явно довольны жизнью. Потом Крапотников провел Славку смотреть на больных. Это был полный контраст. Норки лежали у стенок вольер и безучастно смотрели на Беклемишева. В кормушках лежала нетронутая рыба. Один зверек был, повидимому, мертв. Беклемишев попросил вынуть его. Зверек был невероятно худ. Сквозь шерсть просвечивала синяя истощенная кожа. Никаких внешних следов заболевания не было видно. Беклемишев чувствовал себя отвратительно.

— Надо сделать вскрытие, — сказал он как можно увереннее.

— Прошу, — сказал Семен Семенович. — Все готово. Я знал, что вы будете делать вскрытие. — Он сказал это спокойно, но Славка заметил, как у него дрожат руки, когда он вытягивал из кармана папиросу.

Они прошли в домик управления питомника.

Тоненькая смуглая девушка в халате ожидала их на крыльце.

— Это наша уборщица, — сказал Семен Семенович. — Я зову ее Тамерланом. В скором времени она уничтожит все мужские сердца города и окрестностей.

Вулканический румянец упал на щеки Тамерлана.

— А ну вас, — чуть слышно сказала она.

Славка неприлично долго нащупывал дверную ручку. Ему мешала дохлая норка, которую он держал под мышкой. Он услышал, как кто-то сдавленно засмеялся за его спиной, и услышал легкий топоток убегающих ног.

На обтянутом простыней столе лежали несколько скальпелей, пинцет. А в стеклянном шкафу горделиво распределился малый хирургический набор. У некоторых инструментов были даже братья. Видимо, реквизиция медицинского оборудования в городке имела широкие масштабы.

— Не буду мешать, — сказал Семен Семенович, тихонько притворив за собой дверь.

Славка закурил. Он ворошил в памяти обрывка лекций и практических занятий. Потом он попытался вспомнить статьи, читанные им в научных журналах. Он вспомнил Дж. Б. Гупера и его желудочных паразитов. Наверное, полевые мыши тоже худели, когда паразиты грызли их внутренности.

— С этого и начнем, — сказал Беклемишев. Он взял в руки ланцет... И вдруг ему стало чертовски хорошо. Легкая тяжесть ланцета в руке была свидетельством, что ему, Славке Беклемишеву, надо сделать сейчас нужное и полезное дело. Может быть, первое по-настоящему полезное дело в его жизни. Ему должно повезти. Ему не может не повезти.

Ночной таверны огонек метнулся и погас.
Друзья, наш путь еще далек в глухой
полночный час, —

тихо запел Славка.

Мертвые оскаленные зубы зверька просили о помощи.

21

Веня, спотыкаясь, шел вверх по долине. Лицо и плащ были мокры от мельчайших капелек тумана. Казалось, туман настолько плотно прижимается к земле, что его можно будет резать ножом. Веня тихонько бормотал вслух фразы из первой в его жизни статьи. Пока это был только черновик. Но сладостный яд успеха уже туманил голову. Она должна это оценить...

— Черт! — сказал Веня, споткнувшись о камень. Ботинок был порван. Пальцы ног остро заныли.

Ощупывая ногу, Веня вспомнил о том, что узнал по дороге сюда. Чудак, директор питомника, вернулся. Привез с собой какого-то юного мужа науки. Наверняка очкарик. Аспирантишка.

Острая игла ревности кольнула Веню. А что, если это в самом деле молодой аспирант? Аспирант? Аспиранты — это такой народ. Всегда ухлестывают за девчатами с младших курсов. И всегда с успехом. Кому, как не Вениамину Ступникову, знать это? И Веня поспешно похромал в туман. Туда, где его должна ждать Соня — Тамерлан — Каткаль.

22

Соня читала «Трех мушкетеров». Крапотников строго-настрого запретил ей уходить. Она должна была ждать, пока тому, в соседней комнате, не понадобится помощь. Но в соседней комнате было тихо. Может быть, он там заснул? Такой смешной. Высокий, взрослый, а ищет дверную ручку не с той стороны. И дохлый хвост торчит из-под руки. Уж если сам директор не знает, отчего умирают норки, то где знать ему!

— Где директор? — раздался громкий вопрос. Соня — Тамерлан вздрогнула. Страшная голова смотрела на нее из соседней комнаты. Всклокоченные волосы, в зубах нахально дымилась папироса.

— Где этот Крапотников? — спросила голова ликующим тоном.

Соня опомнилась.

— Директор вышел, — обидчиво сказала она.

Но ученый чудак только рассмеялся. Он выскочил из комнаты и схватил Соню за руку. Он потащил ее в ту самую комнату. От растерянности Соня даже не вырывала руку. На столе лежала растерзанная норка.

— Прошу прощения, — сказал голос за спиной.

Соня тихонько потянула свою руку. Но Беклемишев ничего не замечал.

— Что это? — снова закричал он и сунул ей в нос пинцет с какой-то гадостью.

Снаружи хлопнула дверь. Кто-то сбежал по крыльцу.

— Слушай, Тамерлан, — свистящим шепотом сказал Славка. — Немедленно тащи сюда этого гениального комбинатора. Я дам ему урок на всю жизнь. Быстро...

Соня послушно побежала.

— Таким образом, — лекторским голосом продолжал Беклемишев, — челюстные косточки этой рыбы не растворяются желудочными кислотами. Иногда они скапливаются в желудочном тракте и своими острыми краями вызывают многочисленные ранения, переходящие в язвы. Вы должны немедленно прекратить кормление зверьков этой рыбой.

Семен Семенович Крапотников молчал. Он только что посмотрел под лупой злополучные челюстные косточки. Все было ясно. Все, кроме одного.

— А чем же я буду их кормить? — убитым голосом спросил он. — Я же отказался от запаса комбикорма.

И тут настала очередь Беклемишева растеряться.

— Можно отрубить головы, — сказал он.

Семен Семенович грустно покачал головой.

— Сконструировать специальную гильотину?

— Это уже ваше дело, — сказал Беклемишев. — Будем думать вместе, — поправился он.

— Я уже думаю, — сказал Семен Семенович. — Я уже кое-что придумал... — Крапотников смотрел на Славку. Он выпрямил спину и улыбался. Два сатанинских чертика прыгнули в его глазах. И исчезли.

— Я уже кое-что придумал, — повторил он. — На пару недель комбикорма хватит. И нам поможет не кто иной, как старый пройдоха Згуриди.

24

В этот туманный день Топорков, Бедолагин и Янкин кейфовали. Ставить сети почти вслепую было бессмысленным делом. Выполнять те, взятые ранее обязательства по доставке дров, а также по ремонту сарайчика, очень нужного одному доброму человеку, как-то не хотелось. Вчерашней выручки за рыбу хватило на недельный запас чая, сахара и дешевейших папирос «Байкал». Непривычный избыток материальных благ наводил на всякие мысли.

— Вот жжем мы, ребята, эти папироски. Тощенькие. Гвоздики, одним словом. А в Америке миллионеры сигары курят. В той сигаре этих гвоздиков целая пачка. И ведь курят, не умирают.

— Смерть свое сама знает. Может, она его через сигару брать не хочет.

— А через чего она тебя, интересно, выцеливает? — ехидно спросил Янкин.

— Я мужик тертый, — ответил Бедолагин. — Меня выцелить трудно. Помню, в позапрошлом году я новую жизнь начал. Совсем было в экспедицию устроился. Хотите верьте, хотите нет, полный меховой комплект выдали. Ну и хэбэ само по себе, как положено. Консервов и курева завались на складе. Держался я две недели...

— Врешь.

— Ну, полторы, — сказал Бедолагин и чиркнул спичкой.

—А я однажды жениться хотел, — вздохнул Топорков. — То ли с бабой не повезло, то ли сам виноват. Затосковал, в общем.

— Понятное дело. Я из-за такой тоски да за фартом столько исколесил, что и паровозу не наездить до самого слома. Может, я в этом месте потому и застрял, что надоело.

—А может, надо было все-таки жениться.

В этот туманный день владелец мотофелюги Згуриди искал среди заросших корявыми лиственницами улиц «шанхая» домик, где живут три деклассированных элемента.

25

Веня Ступников не был алкоголиком. В институте он выпивал только по праздникам, а на четвертом курсе вместе с ребятами заходил иногда в «чипок» под стипендию. Тем более он никогда не пил спирт.

Сегодня он купил в магазине бутылку спирта. Он нес ее к замшелому домику музея, старательно исследуя со всех сторон мысль о том, что в одиночестве пьют лишь совершенно пропащие люди.

Бутылка пустела очень медленно. После двух стопок мрачное настроение пришлось поддерживать искусственным путем.

— Все они такие, — убеждал себя Веня, наливая третью стопку.

Потом мысли приняли саркастическое направление. «Подумаешь, биология! Тоже мне, наука. Живчик-яйцеклетка. Печки-лавочки. Ах вы, сени, мои сени, вестибюль мой, вестибюль. — Веня начал тихонько раскачиваться на стуле. — В конце концов, я больше могу. Я все

могу, когда захочу. Только не отвлекаться. Плевал я на этого К. Д. Авдехина с его толстой книгой... И пить брошу, хоть спирт пить я уже умею...»

26

Где-то внизу, на дороге, глухо профырчала автомашина. Соня подумала, что, наверное, приехал тот самый смешной очкастый чудак из Москвы. Может быть, он профессор и его положено каждый раз привозить на машине. Неожиданно с фокуснической ловкостью веник как-то сам, словно был одушевленным, исчез за тумбочкой, и вместо него столь же неуловимо в руках возникло маленькое зеркало.

Между прочим, все это было зря. Вместо загадочного московского человека появился Веня Ступников. Веня вел себя странно. Сухо поздоровавшись, он по очереди заглянул во все комнаты, подергал запертую дверь кабинета директора. Сел на табурет.

— Я принес директору статью о питомнике. Думаю, что зверьков удастся теперь спасти.

— Их уже спасли, — хихикнув, сказала Соня. — А директор будет через полчаса.

— Сегодня в «Севере» новый фильм, — несущественным тоном начал Веня, — «Чайки умирают в гавани». Изысканная вещь.

«Пшчик, пшчик», — ответил ему веник.

27

...Крышка гигантского краба, служившая пепельницей, была полна окурков. Семен Семенович расхаживал по кабинету, слушал Веню. Теперь это был не тот растерянный человек, который унес из музея «Кролиководство» и «Российского натуралиста» за 1879 год. Его шаги были сдержанны, но энергичны. И только в силу чрезвычайного волнения Веня не замечал быстрого, ощупывающего взгляда своего собеседника.

— Нет, — сказал Семен Семенович, — писать о случившемся инциденте сейчас неактуально. Вы же сами не хотите работать по мелочам. Я признаю ошибку и думаю, как ее исправить. Нам надо срочно и дешево добыть много корма. Посоветуйте. Старый Крапотников охотно слушает умные советы.

— Редакция сделает все возможное, чтобы помочь питомнику, — растерянно сказал Веня Ступников.

— Может быть, редакция добудет кита? Это очень поможет! — саркастически усмехнулся Семен Семенович.

— Идея, — сказал окончательно запутавшийся Веня. — В нашем районе ходит флотилия «Алеут». Можно дать кратко и убедительно: «Нужен кит». Они поймут, они помогут.

— Нет! — жестко сказал Семен Семенович. — Пресса — вот это идея! — Он поднял палец и посмотрел на Веню гипнотизирующим взглядом. — Нам нужна большая пресса. У нас колоссальные ресурсы. Питомник можно расширить до гигантского предприятия. Нам нужны деньги. Нужны новые зверьки. Нужны специалисты с высшим образованием. Пресса, наука и помощь — вот что нам надо.

— Черт, это в самом деле идея, — взволнованно сказал Веня. — Я же все время думаю об этом. Вы чертовски правы. — Он схватил кепку и добавил: — Все-таки я думаю помочь вам с кормом.

Справедливости ради надо сказать, что загадочная краткая телеграмма «нужен кит» была в самом деле получена флагманом флотилии «Алеут». К сожалению, корабли преследовали крупное стадо кашалотов за много сотен миль от маленького городка, а радист получил устное замечание от капитана за прием бредовых заявок.

28

Пятна облаков плыли с Тихого океана в глубь Азиатского континента. Иногда солнце прорывалось сквозь них, и тогда громадные желтые блики падали на город, на дорогу, на склоны сопок. Три небритых мужика, поднимавшихся по распадку, к конторе питомника, не замечали, что они идут по разноцветным полянам света. Они подходили к бревенчатому домику серьезно и молчаливо.

— Привет, зверобой! — бодро воскликнул навстречу им Крапотников.

Он выпорхнул из-за стола и как-то в одно мгновение успел окрутиться вокруг каждого из мужиков в отдельности.

— Нешто мы зверобои, — буркнул старик Топорков.

— Я однажды... — начал было Бедолагин.

— Заткнись! — тихо сказал Янкин и подозрительно

посмотрел на Семена Семеновича. Тот, потирая руки, прошелся по кабинету.

— Я имею вам предложить, — торжественным и интригующим тоном начал Семен Семенович.

Посвященный Беклемишев, краснея от необычности момента, неловко поставил на стол бутылку. Отпетые личности, не переглядываясь, не обмениваясь ни одним словом, сомкнули ряды. Бутылка и хитрый тон предвещали многое.

В городском кинотеатре начался второй вечерний сеанс. Подстреленная полицейской пулей чайка второй раз падала в море в далеком бельгийском порту, а Соня — Тамерлан уже третий раз выносила панцирь-пепельницу. Потом еще раз сообщила Крапотникову, что уходит. «И вообще она не обязана сидеть здесь до двенадцати».

Хлопнула дверь. Соня тихо сошла по ступенькам. На третий сеанс было еще рановато.

В долине стояла тишина. По краю сопки шла странная оторочка из опалового воздуха. Соня подумала о том, что, может быть, это виден далекий край океана. Сердитые камни долины казались розовыми. Соня остановилась, вздохнула и вдруг побежала вниз, легко угадывая дорогу между камнями.

Между тем в комнате сгущалась обстановка. Семен Семенович только что изложил свой план. Его идея была проста, как все великие идеи. Он решил организовать зверобойную бригаду. Свою собственную зверобойную бригаду из людей, знающих море, винтовку и удачу.

Карты были раскрыты. В комнате воцарилось молчание.

— Мы как-то больше по рыбе, — нерешительно сказал Топорков.

— Моржа или эту нерпу, конечно, можно.

— Снасть нужна, — буркнул, перебивая его, Янкин.

— А чего ты с этой снастью делать будешь? Морж не рыбина, об весло не оглушишь.

— И не надо об весло, — с необычной живостью заговорил Бедолагин. — Про моржа не скажу, врать не буду, но вот эту самую белуху, ну, тоже вроде бы моржа, большая очень, мы, значит, и сетьми ловили, и опять из винта ей под дыхало, надо бить на ладонь сзади, и всплывает как миленькая. Тут не зевай, гар-

пунь, и сидит она у тебя на лине. Как хариус на леске вроде бы.

— Наслушался или сам видел? — подозрительно спросил Янкин.

— Зачем же наслушался. В Мандрякиной губе это было, возле самого Таймыра. В одна тысяча девятьсот тридцать восьмом году и в одна тысяча девятьсот тридцать девятом тоже.

— Мы, директор, люди серьезные, — сказал Топорков. — Мы чего не умеем, того не знаем. Вот он про эту белуху говорит, значит, пробовал. Лет тому шесть назад я на Утином мысу плотничал. Избы ставили для охотников. Охотники там чукчи все. Не говорю, что сам, но для баловства я с ними в море ходил раз десяток. Не промышлял, но приглядывался. И снасть ихнюю чинить приходилось.

— А белуха, она большая, — вздохнул над своим Бедолагин. — Тащить ее на берег тяжело. Воротком, конечно, это делается...

— Нерпу, ту больше с берега хлещут, — задумчиво сказал Янкин. — Но опять же снасть нужна.

Семен Семенович встал и прошелся по комнате.

— Человеку свойственно быть добрым, — сказал он. — Хороший человек не бывает жадным. Именно поэтому единственный грек на побережье отдает нам бесплатно свою мотофелюгу. Сегодня я проверил дальние углы в трех здешних складах. И я нашел там разные вещи, которые, на мой взгляд, как раз приспособлены для морской охоты.

Славку Беклемишева давно уже подмывало вставить что-нибудь свое в этот чертовски волнующий разговор. Но, кроме всплывшей из какого-то учебника фразы «По насыщенности органической жизнью Охотское море напоминает уху...» — ничего не приходило ему в голову.

Опаловый край воздуха над сопкой давно уже исчез. Темная ночная прохлада заполняла долину.

Совещание в комнате заканчивалось. Топорков, Бедолагин и Янкин переминались на месте, слушая последнюю речь С. С. Крапотникова.

— Каждый желает, чтобы его уважали. Каждый хочет быть на своем месте. Разве не так?

Никто не возражал. Бедолагин с легким вздохом покосился на чуть тронутую бутылку спирта. Янкин осторожно дернул его сзади за штаны.

— От нас, в общем, нет возражения, — откашлявшись, сказал он. — Попробовать можно. Пошли мы.

Они повернулись к двери.

— Эй, товарищи! — спохватившись, крикнул Семен Семенович. — Початую посуду не оставляют. Не годится.

— Непьющие мы, — постным тоном ответил ему Бедолагин.

29

Улетая, Славка Беклемишев не оставил адреса. Тем более он был удивлен, когда в питомник пришло письмо на его имя. Писал Миха Ступарь:

«Тут у нас недавно состоялось собрание. Представь, вспомнили о тебе. Шеф сказал, что наши специалисты работают сейчас в самых глухих восточных районах. За ним выступил Мироненко и резонно ответил, что «практика — воздух молодого ученого». Только Чернышев втихую съехидничал: «Практика практикой, а мимоза в тундре не цветет». Ты черкни, как там насчет мимозы. И еще: встретил я в библиотеке твоего приятеля-физика. Тот взял меня за пуговицу и стал допрашивать, как на востоке обстоит дело с самоорганизующимися системами. Я на всякий случай заверил, что очень хорошо»...

— Что-нибудь важное? — спросил Семен Семенович.

— Так. Кое-что про систему Мироненко. Спрашивают, цветет ли здесь мимоза.

— Она здесь цветет по своей, особой системе, — серьезно ответил Семен Семенович.

Они сидели на камне возле крайней вольеры. В стороне оживленно перетюкивались ножи. Десяток домохозяек, привлеченных сдельной оплатой, обрубали зловредные головы.

— Идемте, — сказал Славка.

— Я думаю, может быть, организовать пацанов на ловлю бычка? У бычков нет этих косточек?

— Проверим, — сказал Славка.

30

— Куда гарпун кладешь? — сердито спросил Топорков. — Или он тебе с левой руки нужен?

Мотофелюга «Старушка» третий раз отправлялась в

море. Первый рейс был просто пробным. Во второй раз сорвавшийся откуда-то ветер загнал шлюпку обратно в речное устье.

За это время мотофелюга приобрела вид бывалого промыслового судна. Длинные шесты гарпунов аккуратно мостились вдоль борта. Зачехленные от морской сырости винтовки лежали на банках. Портящие морской антураж посуда и примус прятались в носовом отсеке. Брезентовые полосы брызговиков не болтались как попало, а были аккуратно прикантованы бечевкой. Толстый морской брезент укрывал одежду и продукты, и кольчатые свитки линей висели на нужных крючьях.

В этот раз на берегу не торчала толпа. Было раннее утро. Ленивые, почти неприметные для глаза валы океана с шорохом перекатывали гальку. Сплющенное рефракцией солнце висело над водой желтым бликом.

— Куда они пойдут? — спросил Славка.

— В какую-то Татьянину бухту. Старожилы посоветовали. Говорят, по морскому зверю нет богаче места, — ответил Семен Семенович.

Они стояли на берегу трое. Третьим был Веня Ступников. Он стоял в сторонке и, сосредоточенно дымя сигаретой, наблюдал за погрузкой.

— Пошли! — скомандовал Топорков и налег плечом на корму.

Мотофелюга проскрипела килем по гальке и тихонько закачалась на воде. Затарахтел двадцатисильный двигатель. Никто из троих, сидевших в лодке, не оглянулся на берег.

Семен Семенович Крапотников долго смотрел вслед шлюпке. Он размышлял о том, что такое удача и какова ее вероятность. И, как бы отвечая на его мысли, Веня сказал:

— Они же дилетанты в морской охоте, а дилетантам всегда везет.

— В «очко» им везет, — сердито сказал Семен Семенович.

Желтый круг солнца поднялся выше. Пылающая отблесками рябь усов тянулась за носом лодки, которая теперь казалась просто черным непонятным предметом.

— Черт возьми, — зачарованно вздохнул Славка. — Такое не каждый день увидишь.

— Конечно, если человек нездешний, — ехидно вымолвил Веня и, независимо сплюнув, зашагал от берега.

31

— Ну что ж, — сказал Славка. — Пожалуй, мне пора на крыло. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить. А то как бы там институт без меня не обрушился.

В дверь постучали. С независимым видом вошла Соня.

— Семен Семенович, — сказала она, — там бычков привезли три корзины. Принимать или не принимать?

— Соня, — сказал Семен Семенович, — я объявляю вам выговор. Какой вы, к чертям, Тамерлан, если человек ни с того ни с сего собирается уехать!

— Может быть, человеку столичные нравятся, — дерзко сказала Соня.

Зазвонил телефон. Славка взял трубку.

— Кит, — сказал чей-то хриплый возбужденный голос. — К вам прибыл кит.

— Какой кит? — спросил Славка.

— Мертвый, конечно, — ответила хриплая трубка.

32

Они обгоняли пешеходов. Пешеходы тоже шли к пристани. У них был необычный возбужденный вид. Пешеходов становилось все больше. Еще издали они увидели на пристани толпу. Толпа стояла у причала, и оттуда шло глухое удивленное молчание.

Мотофелюга «Старушка» покачивалась у деревянной стенки. Рядом с ней качался мертвый сероватый кит. Топорков, Бедолагин и Янкин встали им навстречу.

— Как? — сиплым голосом спросил Семен Семенович.

— Обыкновенно, — сказал Бедолагин.

— Кашалот. С зубами, — добавил Топорков.

«Нет, такого мне больше никогда не увидеть», — сказал сам себе Беклемишев. Но он ошибался. Ему предстояло увидеть еще многое...

— Пресса, пропустите прессу, — раздалось сзади. Веня Ступников рассекал толпу, целясь в фотоаппа-

рат. — Готово, — сказал он, переведя десятый кадр. — Теперь мне надо снять, как его будут резать.

— Обыкновенно, — сказал Бедолагин.

— Вытащить надо вначале, — добавил Янкин.

Кита удалось вытащить при помощи двух автомашин и одного трактора. Его отвели на отмель за пристанью. Теперь он лежал на песке. Беклемишев шевелил губами. Он вспоминал систему определения возраста кашалотов и их размеры.

Веня Ступников дощелкивал вторую пленку. Топорков, Бедолагин и Янкин совещались о чем-то в стороне.

— Ну, — сказал Семен Семенович, — транспорт ждет.

Но никто не подходил к киту ни с топорами, ни с ножом.

— В чем дело?

— Большой он, — сказал Янкин. — Чем резать?

— Чем?

Кит лежал как монолитная скала. Семен Семенович ожесточенно скреб затылок. Беклемишев стоял в стороне и мучительно старался присносебить кита к системе раздела тушек грызунов. Но ни Мамушкин, ни Гупер в этой ситуации не годились.

Веня Ступников метался между Крапотниковым и Бедолагиным, между Янкиным и Топорковым.

— Идите к черту, — сказал ему наконец Янкин.— Я не знаю, как обдирают эту мышку.

«Я должен найти выход, — сказал сам себе Веня. — Я обязательно должен его найти».

И он вспомнил.

— Моби Дик! — крикнул Веня. — Есть такая книга, где все про китов. Увлекательный роман. Я бегу в город.

Веня бежал в город и обдумывал варианты поисков, если книги не окажется в библиотеке.

В это время кто-то осторожно дернул Крапотникова за рукав.

Трое темнолицых невысоких юношей стояли перед ним. На них были одинаковые черные костюмы с выпущенными поверх воротниками рубашек. Он узнал их. Это были юноши из зверобойного поселка к северу. Они прибыли сюда катером и ждали самолета. Все трое летели куда-то учиться.

— Что? — спросил Семен Семенович.

— Мы можем, — сказал один из невысоких юношей. — У нас в колхозе это делают ножами. Нам нужны ножи, бруски и переодеться.

Через полчаса трое невысоких юношей деловито подошли к киту. В их руках были обычные ножи из мясного отдела гастронома. Толпа заинтересованно качнулась вперед. Топорков, Бедолагин и Янкин вытянули шеи.

33

Человек спускался с горы, выписывая кривую по дороге. Какая-то машина долго сигналила сзади, потом обогнула его. Шофер с руганью высунулся из кабинки. Веня Ступников рассеянно махнул ему рукой. Он держал в руках раскрытую толстую книгу в черной обложке. Он спускался с горы и на ходу пытался найти среди четырехсот восьмидесяти девяти страниц все, что относится к разделке китов. Ему даже некогда было гордиться собой, хотя он нашел единственную книгу в городе. Он провел пятнадцать интервью с ее временными владельцами. Каждый из них высказывал свое мнение о китах вообще и о книге в частности, потом называл адрес человека, которому книга была дана «на два дня».

— Есть! — крикнул Веня. — Фленшерные лопаты. Нужны фленшерные лопаты, здесь есть рисунок. — Забыв о корреспондентской солидности, он хотел припустить бегом и... остановился. Бежать было некуда. Голый скелет кита лежал перед ним. Несколько усталых людей грузили в машину квадратные куски китовой туши. Какие-то невысокие юноши умывались около китового черепа.

— Опоздал, — ошалело выдохнул Веня.

Песчаный кусок берега около пристани был пуст. Трактор утащил останки кита на пустырь. Толпа разошлась, и волны прилива замывали следы людей. Последняя машина ушла, чтобы доверху заполнить выбитые в вечной мерзлоте ямы холодильника. Мотофелюга «Старушка» качалась в стороне у надежной стенки причала.

Чуть подальше на траве сидели Топорков, Бедолагин и Янкин. Перед ними стояла бутылка водки и снедь, разложенная на газете. Ветер доносил обрывки горячего разговора:

— Ежели бы сразу правильный заход...

— А я ему как...

Кучка болельщиков, стоя в стороне, слушала их в благоговейном молчании.

34

Закат падал на бухту. Из города шел легкий неясный гул жизни. Плескался Тихий океан.

— Что мы есть? — глубокомысленно спросил Семен Семенович Крапотников. — Букашки с жаждой невозможного. И мы делаем это невозможное. Когда я учился в частной гимназии, я узнал про броуново движение. Мелкие пылинки толкутся под микроскопом, мешая друг другу. Иногда люди также всю жизнь толкутся в крохотном объеме этой жизни величиной с каплю. Они не видят ничего за этой каплей. В частной гимназии я думал: что будет, если под микроскоп посадить к одинаковым пылинкам одну веселую пылинку с большой жаждой движения? Сможет она взбудоражить всех?

Славка не отвечал. Ему вспомнился Витька-физик. «Самая самоорганизующая система из всех — это человек, вот что надо сказать ему», — думал он. И сказал вслух:

— Все-таки я просто узкий специалист.

— Лезвие скальпеля и острие иглы тоже узки, — усмехнулся Семен Семенович. — Расчленять и соединять — вот благородная задача узкости. Не сводите ее к понятию узкого лба. Я верю в то, что этот городок будут знать все. И самые широко известные узкие специалисты будут приезжать сюда за консультацией. А вы мне толкуете про мимозу к Восьмому марта.

Славка снова промолчал. Как ни странно, он думал теперь о не похожей ни на кого девушке — Соне — Тамерлане — Каткали. Глядя на носки ботинок, он сказал:

— Вы неплохой психолог, Семен Семенович. Паустовский советует лоции читать. Может быть, лучше плавать.

В это время Веня Ступников сидел на камне около китового черепа и черкал в записной книжке первые строчки будущего романа:

«Я живу в том месте, где китов ловят на удочку и потрошат их перочинными ножами...»

Азовский вариант

АНТУРАЖ

Город разметался на изрезанном оврагами пыльном плато, которое кончалось глинистым двухсотметровым обрывом. По обрыву, подобно альпинистам, карабкались лохматые возы, у подножия его начиналась рыжая азовская степь. Над степью, над камышами сверкающего на солнце лимана кружились коршуны, за лиманом же не было ничего: пляж из мелкого ракушечника-«черепашки» да вода Азовского моря.

На самом краю глинистого обрыва находилось дощатое заведение с краткой и содержательной вывеской «Вино». Вывеска была обращена на покрытую желтым булыжником площадь, за площадью куриными, поросячьими и человеческими голосами гомонил воскресный базар.

Человек, носивший странную кличку Три Копейки, сидел, прислонясь к дощатой стенке винного заведения, и в этот утренний час озирал неторопливо, как бы впитывая в себя, три сущности, три первоосновы своего бытия — бытия профессионального браконьера: лиман, где он упомянутыми в уголовном кодексе способами ловил рыбу, рынок, где он обращал рыбу в деньги, буфет, где эти деньги переходили в кассу Иисуса Христа, хромого человека, получившего библейскую кличку из-за неодолимой склонности стоять за стойкой, раскинув руки по стенке, со склоненной в печали головой — точь-в-точь сын божий на голгофском кресте.

Три Копейки смотрел на пустынную площадь и ждал, когда появится на спортивном велосипеде «Харьков» отпускник по имени Адька. То, что он появится, Три Копейки знал точно. Адька будет пить сухое вино, двадцать копеек стакан, и при первом же намеке с удовольствием угостит и его. Три Копейки будет пить мутно-бордовый портвейн, плести разные побасенки и угощаться за чужой счет, пока не надоест.

Все спокойно было в подлунном мире, спокойно и знакомо. Может, от этого человеку по имени Три Копейки грустилось. Давно уже, очень давно он изучил и понял людей, попадавших так или иначе в сферу его интересов, изучил страсти этих людей и законы, которые управляют

их страстями. Таких людей было немного: собратья по ремеслу, приезжие спекулянты на «Волгах» и ЗИМах, которые покупали у него рыбу, рыбоинспекция, которая гонялась за ним, и эти отпускники, самые незагадочные из всех существ.

За стенкой заскрипел замок, грохнулся на землю тяжелый засов — Иисус Христос открыл свое заведение сегодня позднее, значит, будет жаловаться на то, как мозжила всю ночь отстреленная нога. Потом, точно по заказу, появился и Адька в проклепанных и прошитых синих штанах, в полосатой поперек шелковой рубахе — форма отпускника из провинции.

Адька появился без велосипеда. Три Копейки решил, что парень настроился сегодня пить всерьез, приободрился при мысли об этом, тут же подосадовав на себя: он же должен был это предвидеть, ибо как человек ночной жизни знал о людях чуть больше, чем они могли догадаться. Вчера в двенадцатом часу ночи с мотком сетей в мешке он пробирался в лунной тени заборов и видел этого Адьку, как он маялся на углу, поджидая пигалицу — Монину дочь, а еще чуть дальше видел и самое пигалицу, она хаханьки разводила с ростовским командированным инженером, что ремонтировал городскую подстанцию. В лунной тени заборов он посмеялся тогда тихонько: «Вот так, брат сибиряк, наш-то южный всегда тебе нос утрет...»

Сейчас ему стало жалко Адьку, такой он был весь невыспавшийся и вроде помятый, и потому Три Копейки выразил вслух сочувствие и заботу:

— Волосы у тебя, Адька, выгорели, как мочало. Ты голову прикрывай, а то вылезать начнут. Будешь путать, где голова, где пятка.

— Дьявол с ними, — хмуро сказал Адька .— Мне пятки не меньше головы нужны.

— За границей способ нашли, — таинственно понизив голос, сообщил Три Копейки. — Для лысых. Продергивают тебе под лысиной нитки, а на них надевают пластмассовые волосы, точь-в-точь как при изготовлении швабры. Получается прическа без парикмахерской, любой цвет, цела до гроба.

Три Копейки покосился на яростно палящее солнце и черные точки коршунов в небе.

— Винца бы, — сказал он. — В жару хорошо.

Иисус Христос слез с кресла и налил два стакана —

с сухим вином для Адьки и крепленым мутно-бордовым портвейном для Трех Копеек.

Через час они спорили, положив локти на столик.

— Поймают, — говорил Адька. — Не может быть, чтоб тебя не поймали. Не может этого быть, потому что...

— Не может быть никогда, — уныло договорил Три Копейки. — Я, когда в браконьеры пошел, сразу на «Литературную газету» подписался. Хлестче всех о нас пишет. Читаю год — пишет, второй — пишет, я ловлю — они пишут. Соображаешь? Скучно читать, ей-богу.

— У нас на Амуре, — сказал Адька, — никакой инспекции. Лови сколько хочешь и чем хочешь.

— Не может быть, — твердо возразил Три Копейки. — Инспекция всюду есть.

— Не веришь? — удивился Адька. — Пойдем — подтвердят люди.

— Зачем ходить? — примирительно сказал Три Копейки. — Жарко. Давай лучше выпьем.

— Давай, — согласился Адька. — Я как про своего дружка — он на Амуре был, а сейчас здесь ошивается — вспомню, мне обязательно выпить надо, чтоб его не убить.

Три Копейки посмотрел на струю, которая лилась из бочки в стаканы, и вяло посоветовал:

— Лучше вино под рукой держи, Адик. Я твоего дружка знаю. Пенсионер, как все, только дурак: рыбу удочкой ловит. За что таких убивать?

— За идею, — сказал Адька.

— Он крепкий мужик. С затылка заходи, как решишься пристукнуть, — дружелюбно посоветовал Три Копейки.

Адька рассмеялся. Ему нравился этот вялый циник, с которым он познакомился на ночной реке при необычных обстоятельствах. Безалаберная и рисковая жизнь браконьера, как ему казалось, была в чем-то сродни его жизни — близостью ее к воде и земле, чуть большей, чем у среднего гражданина, повседневной опасностью.

— Вот пойду я в инспектора и изловлю тебя, — сказал он.

— Поймать ума не надо, — сказал Три Копейки. — Приезжают глупые люди и ловят. Потом уезжают. В инспекции только умный без нагана долго служит. Механика жизни, друг. Соблюдение взаимной видимости.

— Тоже мне механика, — пренебрежительно сказал

Адька. — На одну рыбину пять человек. Трое ловят, двое охраняют.

— Не скажи-и, — вздохнул Три Копейки. — Не скажи-и.

— Пойду, — сказал Адька. — Отпускник должен перемещаться. Активный отдых — друг здоровья.

Три Копейки вышел на улицу и опять встал над обрывом. Привычная утренняя доза вина прогнала усталость. Три Копейки чувствовал себя человеком. Рыжая азовская степь парила невнятными миражами, древние коршуны кружились над древней землей, и над всем стоял он, коричневый человек в выгоревшей ковбойке — наследник древнегреческих береговых бандитов, турецких контрабандистов, разбойных казаков в горских бешметах и прочих вольных элементов от глубины веков до эпохи социализма с еще не изжитым наследием проклятого прошлого.

За стеной захрипел патефон: Иисус Христос закрутил на патефоне пластинку, напетую хриплым баритоном неведомого одессита:

Наложи мне, сестричка, повязку,
кроме раны, еще и на грудь,
чтобы сердце, забывшее ласку,
успокоилось как-нибудь...

Иисус Христос иногда жил в шоке войны, куда возвращала его боль в ноге, отрезанной двадцать лет назад. Солдатская инвалидная песня помогала забыть поля, где визжало железо, и запах госпитальных бинтов.

Три Копейки знал, что, когда Иисус крутит пластинку, в буфет заходить нельзя, и потому уселся на горячую потрескавшуюся глину. Палящий солнечный смерч опрокинул его на спину. Три Копейки прикрыл ладонью глаза и стал тихонько похрапывать: морщины разгладились, безвольно расслабились губы. Браконьер-профессионал исчез и превратился в кейфующего на воздухе подвыпившего человека.

Адька быстро пересек булыжную площадь. Спешить было некуда, но он еще не усвоил искусство шаркающего курортного променада.

Перед рыночным входом стоял галдеж. Толстые смуглые казачки в цветастых платьях задирали ноги в кузова пыльных грузовиков. Связанные за ноги куры в их руках прикрывали оранжевыми веками круглые ошалелые глаза. Из дверей столовой валил запах горящих котлет

с томатной подливкой. Отцы семейств в соломенных шляпах несли редиску. Милиционер Яша Осетин, в голубой куртке и брюках дудочкой с малиновым кантом, постукивал пальцами по кобуре. На стоянке автобусов, идущих к морю, колыхалась двухсотголовая очередь. До моря было одиннадцать километров, а маломестный автобус ходил раз в сорок минут. Последние в очереди были обречены торчать тут до вечера. Но эта толпа состояла из стойких, видавших виды жителей больших городов, не имевших профсоюзных путевок.

Адька пришел на рынок. Под гофрированной крышей его было прохладно. Дощатые столы в обшарпанной зеленой краске уже опустели, в проходах валялись давленая ботва редиски, семечковая шелуха. Только рыбный ряд стойко держался. Полосатые крупные окуни, плотные лиманные щуки, судаки с оловянными глазами лежали на прилавках. Темные сомы меланхолично свешивали с прилавков китайские усики, из-под сазанов с недоуменно приоткрытыми ртами выглядывала запретная осетрина.

У рыбных груд стояли тетки из Замостья — браконьерской слободы. Тетки презрительно смотрели на бесстыжих курортниц в обтягивающих штанах и прозрачных кофточках. Они не зазывали и не упрашивали — знали себе цену. Весь Северный Кавказ валил в этот городок за рыбой. Не хочешь — ищи в магазинах. А в магазинах — прости, господь, чудеса южной торговли — пылились банки бычков в томате, соленая треска из мурманских вод и зеленая брынза с неизвестных пастбищ.

Адька прошелся вдоль ряда чугунных тамерланов, остановился у единственного в рыбном ряду человеческого лица — белобрысого пацана лет пятнадцати — и выбрал себе судака средних размеров.

— Три рубля, — сказал пацан и безразлично покосился на белесые нитки облаков, зарождавшиеся в неведомой выси. Из-под зеленого стола вылезла белобрысая же с веснушчатым носом девчонка, стала разглядывать Адьку.

— Почему дорого? — спросил Адька. — Вчера такой полтора стоил.

— Такая сегодня установка, — твердым рыночным басом ответил пацан.

Адька щелкнул девчонку по носу и отдал трешник.

— Та подождите ж, я вам веревочку вдену, раз вы без кошелки, — уже по-человечески сказал пацан. — Марья, дай бечевку.

Девчонка нырнула под прилавок. Адька взял судака и пошел опять мимо теток-тамерланов, которые молча смотрели прямо перед собой, пережигая конкурентную зависть.

У каменных рыночных ворот сидел на бочке старичок с костылем в буклейной кепке, надвинутой на глаза. Из-под кепки выглядывали серая бородка и пронзительные молодые глаза. Это был вампир-старичок, законодатель рынка. Сам никогда ничем не торгуя, он единолично, какой-то мистической властью устанавливал цены, наплевав на все законы спроса и предложения. Впрочем, говорят, старичок этот функционировал только в летнее время, когда основная покупательская масса состояла из разобщенной текучей толпы приезжих. Сейчас он смотрел на Адьку и на купленного судака.

— Три рубля, дед, — сказал, проходя мимо, Адька. — Точно по твоей таксе.

— Иди, милый, иди домой, закусывай, — строго сказал старик.

Адька вышел на затененную акациями улицу. Очередь у стоянки автобусов к морю чуть-чуть рассосалась. Наиболее малодушные из хвоста расползались по домам, проклиная юг, жару и транспортные организации. Энергичные мужчины в майках образовали компактную массу у ларька, где продавалось вино.

Напротив почты, у водопроводной колонки, стояли с ведрами три юные аборигенки. Пылающая южная плоть дерзко пренебрегала сарафанами, и юные аборигенки стояли у льющейся воды, как нимфы. Адька чертыхнулся и, повинуясь суровому внутреннему кодексу, стал смотреть на асфальт. Однако впереди него, чуть покачиваясь под коромыслом, плыла соседская дочка-десятиклассница. Загорелые ноги ее с плотной, как у танцовщиц, щиколоткой переступали по асфальту. Девчонка скосила на Адьку жгучие глаза и усмехнулась вовсе не по-школьному. Адька готов был треснуть ее судаком по голове, но вместо этого сказал: «Привет». Девчонка ничего не ответила, только хлопнула ресницами и опять усмехнулась. Адька готов был побожиться, что эта малявка читает у него в душе, как на экране. Он яростно захлопнул за собой калитку и остановился, чтобы собрать слова и теми словами стереть в порошок своего друга Колумбыча, как только его увидит. Но вместо Колумбыча на стук калитки из сада выскочил пес Дружок — черно-белая

дворняга. Пес уселся на землю, глядя на Адьку веселыми преданными глазами. Адька прошел к сараю, взял топор и оттяпал Дружку судака на рубль с чем-то.

ХРИСТОФОР КОЛУМБЫЧ

В местах отдаленных бывает так, что человек вдруг ни с того ни с сего начинает толковать об иных краях. О тех самых, где виноград стоит полтинник, девчонки круглый год ходят просто так по дорожкам в своем капроне и вообще жизнь надежнее, выгоднее и гораздо приличнее, если, конечно, человек не достиг той стадии, когда «Огонек» публикует его фотографии на уровне первых полос. Человек долго рассуждает о преимуществах собственного дома по сравнению со всяким жэковским барахлом, не говоря уже о барачном или палаточном житье-бытье, и в конце концов находит себе рай на земле в неизвестном ему до сих пор Ставрополе-на-Волге или Клюжновке.

С Адькиным другом, Христофором Колумбычем, именно так все и было.

На его памяти Колумбыч уезжал раза три, но все это кончалось разговорчиками, а тут все поняли, что он уезжает всерьез, ибо нашел то самое место. Было это место на Азовском море, и рыба сама там лезла на берег, дома отдавали желающим почти даром, кругом имелись плавни, лиманы, крутые горы, а запахи разной растительности по ночам сгущали воздух до состояния густого ароматного киселя. О городке этом он услыхал от случайного автобусного попутчика, а тот, может, и сам его не видал, но так или иначе место было найдено, и Адькин друг, Колумбыч, уезжал.

Они познакомились четыре года назад у подножия одной из амурских сопок, и знакомство это можно назвать предопределенным судьбой, ибо ему предшествовал жизненный путь как Адьки, так и старого армейского служаки на пенсии. Колумбыч имел биографию из богатых: зимовал в Тикси во времена героической Арктики, был снайпером на Халхин-Голе и некоторое время прожил тогда в северном Гоби в одиночной юрте, давая приют попавшим в беду армейским шоферам. Среди всех этих дел он был еще пограничником, призовым стрелком, возглавлял нашумевший когда-то лыжный переход Урга — Москва и на дне чемодана хранил типографские афиши

с программами сольных концертов на балалайке. Столь разносторонняя деятельность помешала Колумбычу продвинуться дальше чина старшины и обзавестись собственным углом, а потому, пробездельничав два года в Самарканде, он подался на Север — страну своей молодости — и, видно, сделал это не зря, ибо само вторжение его в когда-то легендарные, но изменившиеся за четверть века северные края сразу родило легенды, как, допустим, рождает их выход в море старого полузабытого корабля.

Одна из легенд гласила, что несколько лет назад на аэродроме полярной авиации не пускали в самолет специального назначения человека с двустволкой, рюкзаком и набором четырехметровых удилищ. Не пускали, ибо двустволку надо было везти в разобранном виде, в чехле, а рюкзак сдать в багаж, а удилища можно только складные.

На все возражения дежурной человек отвечал убежденно, что двустволка ему нужна неразобранная, а в рюкзаке у него необходимые патроны и снасть, а в длине и системах удилищ он разбирается получше многих. Только с полной экипировкой может он лететь над любым диким местом: грохнется самолет — кто будет кормить экипаж и уважаемых пассажиров?

Говорят, что от этих неопровержимых доводов сник начальник отдела перевозок, помнивший времена первых полетов в Сибирь, и начальник аэропорта, вызванный на шум, замолк с затуманенным взором, а командир корабля с четырьмя значками, каждый за миллион километров, сказал: «Я этого вооруженного деда беру под свою ответственность». Самолет взлетел и взял курс на восток. Еще говорят, что по дороге самолет тот исчез и нашли его через два дня на глухом запасном аэродроме возле какой-то речки. Первый пилот и второй пилот, штурман, радист и бортмеханик в кожаных штанах отрешенно стояли на берегу водоема с четырехметровыми удилищами в руках, на ступеньках самолетного трапа сидел и курил старина с двустволкой, охраняя всемирный покой, а в сторонке около противня с рыбой коптился у костра один известный деятель. Только это и спасло экипаж от увольнения из славных рядов ГВФ, ибо самолет-то был арендован руководимой деятелем фирмой.

Колумбыча на Север влекла тоска по устроенной жизни. До пенсии идеалом устроенной жизни была армия, когда командиры и интендантство заботятся о твоем перемещении по планете, пище три раза в сутки и одеж-

де. Сходный вариант на гражданке он нашел в топографической экспедиции. Экспедиция занималась триангуляцией вначале возле Норильска, потом перекочевала на Амур, Колумбыч же определился туда завхозом, что вполне соответствовало его занятию старшины. Почти сразу у него прорезались таланты: уложить человеку на спину мешок с цементом, который надо нести на вершину, окружить царской заботой вернувшегося из «многодневки» бедолагу, вовремя оттащить тоскующему на вершине наблюдателю термос с заваренным по дозе чаем и еще иногда, когда идут дожди, вдруг брякнуть ни с того ни с сего: «В пустыне Гоби дует ужасный ветер — хамсин. Когда он дует...» И все лежат, слушают стариковские побасенки, и все становится на свои места: возникают у каждого идеи и жизненные перспективы.

У прокаленных тысячами километров профессионалов топографии Колумбыч получил уважительное звание «кадровый». Почетное это звание дается редким людям за высокий и точный экспедиционный дар. Заодно он получил и свою кличку (звали его Христофор), ибо, подобно Колумбу, свято, наплевав на географию, верил в существование неоткрытых и интересных земель.

Все-таки иногда Колумбыча посещала тоска. Неясный комплекс тоски пожилого мужчины, где выделялась грусть по несуществующему сыну, из которого так приятно делать мужчину, тоска по дому, который можно назвать своим, откуда тебя понесут достойно хоронить и будут плакать люди, грусть по неведомой местности, в которой есть все, что искала твоя душа, той самой местности, которая для каждого человека бывает только одна.

Но тоска на него нападала редко, ибо он имел все, чего мог желать: мужское общество, к которому он привыкал двадцать пять лет, четкую полуармейскую жизнь, охоту и рыбалку, из-за которых он всю жизнь служил в глухих гарнизонах и менял Алтай на Саяны, Саяны на болота Полесья или Туркестан.

Уже в амурские времена в экспедиции появился Адька.

АДЬКА

Жизненный путь Адьки был прост и определился в девятом классе, когда он в селе посреди Барабинских степей прочел книгу топографа Федосеева «В тисках Джугдыра». Как истый сибиряк, Адька решил судьбу сразу и

основательно. Он поступил в топографический институт. В институте он не готовился стать ученым, несмотря на научное поветрие века, не вникал особо в проблемы планетарной или математической геодезии, а просто готовил душу, голову и тело к работе рядового экспедиционного инженера, труженика земной картографии. Для этого он обтирался по утрам снегом, три раза в неделю бегал на лыжах, спал зимой в спальном мешке при открытом окошке, а также выписывал охотничий журнал и два специальных.

Курс подготовки кончился. Адька получил диплом, направление и покатил из сибирского вуза еще дальше на восток, к назначенному месту. И хоть был он уже инженер и взрослый человек, но крепко надеялся на романтические перспективы вроде тех, что описаны у Федосеева.

Когда он добрался до места, на временной базе, состоящей из нескольких самодельных срубов, имелся только один человек. Человек этот в момент появления Адьки был занят замечательным делом: прилаживал оптику к трехлинейной винтовке. На стенке одного из срубов были распялены две медвежьи шкуры, тут же валялись красномясые пластины рыб и стоял набор удилищ с катушками и без них.

— Ваше хозяйство? — спросил Адька, кивнув на это великолепие.

— Я завхоз, — ответил незнакомец. — Мое дело — склад, снабжение мясом-рыбой и прочая помощь в работе.

Положив винтовку на стол, он выпрямился так под метр девяносто и крикнул: «Ося!» Тотчас в избушку вошел, покачивая головой, журавль и посмотрел на Адьку умным черным глазом. Сердце Адьки дрогнуло, и с этого момента началась его дружба с Колумбычем.

К работе Адька приступил с истовой старательностью, можно сказать, лег в работу. В этом ему помогали выработанное по системе здоровье, несомненный нюх, необходимый топографу для выбора нужных вершин, с которых идут основные засечки, и сибирская основательность, столь необходимая при скрупулезных камеральных расчетах.

Адька и не задумывался никогда, счастлив он или нет. Это была его жизнь, которую он выбрал на десятки лет еще в девятом классе. Вечера можно было проводить с Колумбычем за нужной беседой о системе оружия, с

которым охотятся на крокодилов, или размышлением о судьбах снежного человека.

Когда на Колумбыча накатила блажь и он нашел то самое место, Адька опечалился больше всех, хотя и вся экспедиция крепко грустила.

Честного завхоза найти можно, но где еще найдешь человека, который разотрет по-отцовски ноги и спину после адской ходьбы по курумнику с двумя пудами железных скоб на спине, и кто еще в дождяную тоску расскажет про жуткие ветры в черных гобийских пустынях и про вкус воды в колодцах джунгарских степей?

Ради проводов Колумбыча экспедиция «спустилась с гор» в приисковый поселок, откуда ходили автобусы до железной дороги. Всю дорогу Колумбыч, словно оправдываясь, толковал насчет всеобщего оскудения жизни для истинно бродячего человека: «Автобусы всюду ходют, и, говорят, скоро даже в Якутске паровоз загудит... Нет, пора на покой...»

В поселковом магазине взяли они несколько бутылок вина и пошли в столовую, чтоб там уже проводить Колумбыча по всем экспедиционным правилам. Но получилось скучновато: портвейн ни к лешему не годился, Колумбыч ковырял вилкой в тарелке и бубнил: «Вот вам, пожалуйста: прииск, золото, а в столовой «котл. рубл. с верм. и пом.». И в Самарканде это, и хоть куда ни заберись, везде будет стоять столовка, и будут «котл. рубл. с верм. и пом.». Немного только развеял их один загулявший братишка-старатель. То ли для маскарада, то ли душа требовала, но вырядился он, как у Мамина-Сибиряка, в широченные шаровары и красную рубаху навыпуск. В одной руке нес человек никелированный электрический чайник, на носике чайника висел стакан, на другую руку нанизаны были круги краковской колбасы. Подходил этот хлебосольный малый к каждому, кто сидел в столовой: «Пей!» — и протягивал чайник со спиртом; «Закусывай!» — и протягивал руку с нанизанной колбасой. Все рассмеялись при виде доброго этого парня, а Колумбыч сказал: «Чего смеетесь? Может, это последний человек на всю Сибирь. И костюм-то у него, поди, из театра, а на чайник да колбасу всю зарплату угрохал — жена ему взбучку даст...»

Видно, окончательно заела его тоска по какому-то неизвестному месту.

Автобус пылил по разбитой приисковой дороге к железнодорожным путям, прилегающим сквозь города к ци-

вилизации, к иным обрядам и иным обычаям жизни в других географических точках. Все долго стояли на дороге и смотрели вслед, прощались, может быть, навсегда, и каждый, как положено, вспоминал разные добрые случаи, эпизоды, которым суждено войти в экспедиционную летопись, ибо специфика их работы состояла в том, что человек за короткое время становился виден весь до нутра, как под рентгеновским аппаратом, и добрая его основа тоже бывает видна. Уехавший же Колумбыч, несомненно, вписал себя в летопись, начиная с той пресловутой истории на аэродроме. И все помаленьку косились на Адьку — все-таки уехал самолучший и личный друг, как поведет себя начинающий экспедиционный топограф. Но Адька слов не произносил.

В поселке им не сиделось, и они отправились обратно к себе, в амурские сопки. Осень была. Адька шел и размышлял, что не родился еще человек, который смог бы описать амурскую осень, когда сопки стоят прозрачно-желтые от пожелтевших лиственниц и по этим желтым прозрачным холмам раскиданы кусты красной рябины и хочется только одного: идти, идти и идти; и невозможно себе представить, что где-то кончатся эти желтые холмы, этот желтый солнечный воздух; и не верится, что бывают ночь, дожди, непогода, а хочется думать, что теперь на земном шаре будет всегда так: желто, тихо и солнечно.

В голове у Адьки крутилась любимая песня уехавшего Колумбыча:

Там далеко, там далеко страна чужая,
Три тысячи рек, три тысячи рек ее окружают.
Три тысячи лет с гор кувырком катится эхо —
Туда не дойти, не долететь и пе доехать...

Так шли они по тропе, пробитой вьючными лошадьми, все выше и выше, все больше сопок открывалось им, а потом уже выползли дальние, которые были не желтые, а синие, очень четкие, как на контрастной фотографии; бурундуки верещали в кедровых кустах, кедровки перекликались, смоляной воздух крепче любого нюхательного табака так и бил в ноздри, и Адька, самолучший и личный друг Колумбыча, наконец сказал:

— Надо было нашего старика провести еще раз по этой дороге, потом отпустить. Куда бы он, ну подумайте сами, куда бы он к лешему уехал? Пусть мне весь этот

Крым, и Ялты, и Ниццы в личную собственность подарят, я и пальцем не шевельну, чтобы туда переехать.

Посмотрели все на Адьку — белобрысый такой, круглолицый сибирячок — и подумали: «Действительно, на кой ему леший Монте-Карло или там Ривьера. Ни к чему».

От Колумбыча стали приходить письма. Вначале писал кратко: «Дом купил, свой виноградник на пару бочек вина, солнце круглый год, в январе купаться можно, и все вы, ребята, идиоты, что прозябаете там в дыре». Потом письма стали толстые и романтические, что тебе сто томов Майн Рида. Были в тех письмах и греческие храмы с обломками статуй невиданной красоты, скифские курганы с сокровищами, гигантские плавни, где человеку заблудиться легче, чем грудному ребенку в необитаемой пустыне: сел в лодку около дома, зазевался немного и очутился уже в Турции, кабаны там сидят за каждой камышиной и выжидают момент, чтоб вспороть человеку живот изогнутыми клыками, а чуть выше, в дубовых лесах, бродят свирепые медведи. Получилось, что всю жизнь он искал подходящее место, где мог бы успокоиться, а место это оказалось в самой что ни на есть обычной Европейской России, возле теплого моря.

Но в тех великолепных письмах звучала плохо скрытая тоска, а так как адресовались письма Адьке, то ясно было, что Колумбыч просто пробует переманить Адьку на юг, играя на его неустановившемся характере.

Одного добился Колумбыч: все кинулись искать на картах тот интригующий городишко, но так его и не нашли, видно, слишком уж он был незначителен для карт.

К весне Адьке подошел отпуск, настоящий шестимесячный отпуск, накопленный за прошлые годы. Адька решил было провести его в родном барабинском селе, но совет умудренных жизненным опытом ветеранов решил, что ему надо ехать на юг, ибо Адьке не приходилось еще переваливать через Урал на европейскую сторону.

Тот же совет разработал краткую инструкцию, как должен вести себя человек на юге. Инструкция сводилась к тому, что на юге положено:

1. Пить много сухого вина.

2. Безмерно валяться на солнце около соленой воды.

3. Крутить легкомысленные романы.

Инструкция не блистала новизной, но, по мнению ветеранов, именно в проверенности ее практикой человече-

ства содержалась сила, способная удержать неискушенного Адьку от разных ненужных поступков.

А уже перед отъездом появился еще один пункт. Начальник экспедиции Смальков, легендарный ветеран картографии, отозвал Адьку в сторону и спросил риторически: «Ты знаешь, что нам предстоит на будущий год?»

Адька знал. На будущий год им предстояло черт знает что. Экспедиция должна была работать в одном отдаленном районе. Район тот был глух и труден, но вся соль заключалась в том, что школа русских топографов еще со времен Пржевальского имеет заслуженную мировую славу и их экспедиции надо было показать работу высшего класса и еще чуть выше, ибо принимать ее будут признанные асы топографической науки.

— Это я к твоему отпуску, — сказал начальник. — У нас щербинка на месте выпавшего Колумбыча. Ты его должен предоставить на место. Езжай к нему, ликвидируй недвижимую собственность и тащи его сюда. Дело не в том, что он нужный завхоз. Я десятки экспедиций провел, человечество знаю и знаю тот редкий кадр, который каменная стена, с одной стороны, и дрожжи для настроения — с другой. Понял?

— Понял, — сказал Адька и отбыл по той же самой дороге, по которой в прошлую осень отбывал Колумбыч. И все было так же, только на сей раз стояла весна, а в столовой не было малого с чайником. Видно, жена его перевоспитала.

ЮГ

Чтобы Адьке добраться до Колумбычевых райских кущ, надо было лететь до Краснодара, а оттуда автобусом двести километров. Дорогу он знал по письмам и дал телеграмму, чтобы не встречали бездельника-отпускника.

Хорошо было сидеть в самолетном кресле: в кармане аккредитивы, позади ничем не омраченное бытие, и впереди свобода, дуй по карте Союза в любую сторону или остановись, выпей в буфете коньячку с лимоном и шагай по неизвестному городу, купи билет на вагонную полку, смотри пейзажи и просыпайся под шум неведомых мест. Поэтому Адька и дал телеграмму. Но первый, кого он увидел, был старый Колумбыч возле зеленой оградки краснодарского аэродрома, все такой же тощий, высокий,

только сильно загорел и вроде стал еще прямее. Он смотрел на другой АН-24, прилетевший чуть раньше, смотрел на толпу пассажиров, — все как один в темных очках и цветастых одеждах, и сам Христофор был тоже в цветастой рубахе навыпуск и узких брючках. Со спины просто не в меру вытянувшийся мальчик.

Этот не в меру вытянувшийся шестидесятилетний мальчик прятался от пассажиров с другого АН-24 за телефонным столбом — старый разведчик, око границ, видно, хотел огорошить Адьку неожиданным появлением, а Адька стоял у него за спиной, и смотрел на такой знакомый затылок с аккуратной военной прической, и представлял, как Колумбыч ехидно улыбается, предвкушая Адькино изумление.

Но вот прошли последние цветастые пассажиры, и Колумбыч даже сгорбился в недоумении, и тут Адьке вспомнились долгие дни и вечера, которые они провели вместе, и то, как старый чудак обучал его выхватывать мгновенно пистолет из кармана — пистолет тот брали напрокат у начальника экспедиции, — обучал куче столь же ненужных и столь же увлекательных вещей, вспомнились стариковские руки, которые делали ему массаж и наливали чай в кружку, ставили оптику на его карабин, учили препарировать для чучел птиц с амурских озер, и Адька, весь пронизанный щемящей нежностью, сказал за спиной:

— Привет!

Колумбыч мгновенно обернулся, но Адькин кольт уже неумолимо смотрел в Колумбычев живот, и тому ничего не оставалось, как поднять руки и сказать традиционное:

— Ты выследил меня, грязный шайтан...

— Да, — сказал Адька. — И только бутылкой сухого, повторяю, сухого вина ты можешь купить себе пару минут презренной жизни.

— Какие слова! — вдохновенно откликнулся Колумбыч. — Какая музыка! Покупаю себе два раза по паре минут.

Была уже ночь, когда они выбрались, наконец, на шоссе. «Запорожец» долго кружил среди белеющих в сумерках домишек, а Адька крутил головой, пытаясь разглядеть эти новые места. Вот он, юг, тот самый юг, откуда пластинки привозят «о, море в Гаграх, о, пальмы в Гаграх», и отпускники осенью делятся мемуарами о чудных девчонках, развеселом житье.

— Вот справа, — слышал Адька, — виноградник.

Громадная площадь, и каждый куст на цементном столбе. Дерево здесь года не стоит, сгнивает в плодородной почве. Слева — лиман. Там дикие сазаны даже лодки переворачивают.

— Остановись, — сказал Адька.

Густая темная ночь обнимала их со всех сторон. Свет фар выхватывал придорожный кустарник.

— Слышишь? — сказал Колумбыч.

В чернильной тьме по бокам шоссе что-то скрипело, посвистывало, шебуршало и квакало. Не тишиной, а неустанным ночным шумом, безудержным шевелением жизни была заполнена южная ночь.

Далеко впереди, на бугре, зрачками гигантского зверя вспыхнули фары. Казалось, кто-то дикий, неистовый рыскает по древней степи, выискивая добычу.

— Так Леньку на острова отозвали? — спросил Колумбыч.

— Да, — сказал Адька. — На полярные острова отправился Ленька. Не в виноградник на цементных столбах.

— Ах дурак! Глупый Ленька. Там же тундра. Лед там и тундра. Ты слышишь, воздух какой? А ведь в тундре кислорода и воздуха не хватает. На пятнадцать процентов меньше — научный факт.

— Хватает. Он телеграмму прислал: «Кислорода хватает».

— Иду на взлет, — сказал Колумбыч и сел в машину.

Он повел ее тихо, потом громко повторил: «Иду на взлет» — и даванул на акселератор. Крохотный «Запорожец» рванулся в ночную тьму, и Адька, откинувшись на сиденье, думал, что хорошо вот так сидеть в машине, и в голове чуть кружится от кислого вина рислинг, еще он думал, что хорошо иметь друзей. Истинная твоя семья и есть «среди друзей», а не всяких там люлек, пеленок.

КУРЫ

Раскаленное солнце яростно рвалось в низкие окна саманного дома. Это солнце и разбудило Адьку. Он посмотрел на часы. «Восемь часов утра. Что же днем-то будет?» — подумал он.

Солнце давило на стекла с неодолимой силой. Адька вспомнил институтские лекции об опытах физика Столетова. Его опыты по измерению давления света считают-

ся верхом экспериментаторского мастерства, а какого дьявола тут измерять: стоило доехать до Азовского моря.

Колумбыча он нашел в саду. Тот сидел на ветхом чурбачке перед загородкой из проволочной сетки. За загородкой бродили куры, голенастые, недавно вышедшие из младенческого возраста особи с ярко-красным оперением.

В одной руке Колумбыч держал толстую книгу, в другой — тетрадку и занимался загадочным делом: смотрел то в книгу, то на огненно-красных кур, делая непонятные черточки в тетрадке.

Вчера они просидели чуть не до рассвета за кислым темно-красным вином из винограда «Изабелла».

— В этом вине, — поучал Колумбыч, — ужасное количество разнообразных витаминов. Человек, который его пьет много и каждый день, заболевает гипервитаминозом, как, допустим, тот, кто поел печенку белого медведя.

После гипервитаминозного вина они пели старые экспедиционные песни.

Лихие это были песни, и Колумбыч наигрывал на своем банджо, неизвестно, где он ухитрился приобрести этот иноземный инструмент, но банджо гудело настоящим экспедиционным басом:

Нам авансы крупные вручили,
доброго пути не пожелав,
в самолет с проклятьем посадили
и отправили ко всем чертям...

От гипервитаминозного вина сухость стояла во рту и голова слегка болела. Солнце медленно ползло на верхушки абрикосовых деревьев и яблонь. Колумбыч все путешествовал между своими курами, книгой и тетрадкой.

За дощатым забором шел разговор:

— Ваня, иди кушать.

— Я уже кушал.

— Что ты кушал?

— Борщ.

«Черт возьми, — думал Адька, — жизнь проста, как кухонная поварешка. Утро. Солнце. И человек уже покушал борщ».

Вчера было хорошо. Покончив с песнями, Колумбыч снял со стены гитару и кончиком ножа, смазанным сливочным маслом, стал наигрывать на одной струне протяжные мелодии южных морей. Таинственный мир, где растут пальмы и пляшут хулу, вошел в низкую комнату

саманного дома. Единственно, что хотелось, — жить еще три тысячи лет вот точно так: в трудной своей работе, а потом отдыхать среди своих ребят, пить вино, петь свои песни и знать, что завтра опять будут та же работа и свои в доску парни вокруг.

И вот сейчас Адька смотрел на углубленного в книгу Колумбыча и размышлял.

— Курица А, — загадочно шептал тот, — превалирует над курицей Б. Это ясно. Но которая же из них будет Д, черт побери?..

Адька не выдержал и прыснул. Колумбыч повернулся к нему и посмотрел, как Архимед на того самого римского солдата.

— Слушай! — сказал Адька. — Тебе случайно у психового доктора не надо полечиться?

— Это он тебя лечить будет по этой книге, — обиженно сказал Колумбыч и показал Адьке обложку: «К. Д. Шнеезон. Зоопсихология». — «Во всяком курином сообществе, — процитировал Колумбыч, — можно выделить особь А, отличающуюся наибольшей активностью, особь Б, особь В и так далее. При удалении одной из особей ее место занимает следующая по рангу...» Понял? — торжествующе спросил Колумбыч. — Точь-в-точь как у людей: начальник, зам. начальника и зам. зама. Курицу считают глупой птицей, а мы-то много ли лучше?

— Слушай, — сказал Адька. — Я приехал купаться в теплой морской воде, а не бредни слушать. Море в какой стороне?

— Пятнадцать минут до конца наблюдений. Кончу, отвезу на машине.

— Нет, — сказал Адька. — Машина мне не с руки. Мне пешком ходить надо, чтобы ноги не слабели. Шесть месяцев — сам подумай. Я тут в комнатную болонку превращусь или вроде тебя стану.

— А я что? — спросил Колумбыч.

— А ты уже все, — с хитрой безжалостностью ответил Адька. — Собственность завел, куриц считаешь. Ребята сейчас на тебя и плюнуть бы не захотели. Понимаешь, даже и намека нет, что ты когда-то в экспедициях состоял.

— Обожди, — сказал Колумбыч. — Видишь курочку А. Я ее Мария Антуанетта зову. А вот та — курочка Б. Фрейлина ее имя. Кидаю зерно. Смотри!

Колумбыч кинул сквозь сетку зерно, куры суматошно кинулись, и одна из них его съела.

— Видел? — торжествующе спросил Колумбыч. — А и Б подбежали одновременно, но Б уступила. А остальные только видимость делали, что кидаются. Если бы горсть — другое дело.

Адька смотрел на кур и видел, что все они одинаковые.

— Потом начну опыты с отсаживанием, — сказал Колумбыч. — Когда ранги определю. Пока я только А, Б и В знаю.

— Колумбыч! — сказал Адька. — Пойдем, милый, к доктору. Тебе темечко напекло, бредить начинаешь.

— Наука! — уважительно вздохнул Колумбыч и захлопнул книгу. — Пища для души и ума пенсионера.

МАДОННА

Адька поселился в саду в палатке. Этим он преследовал две цели: уязвить Колумбыча подчеркнуто экспедиционным образом жизни даже в этих разлагающих душу и тело южных краях и самоутвердиться, подчеркнуть для самого себя, что он профессиональный бродяга и на долгие годы палатка — его дом, палаточный пол — его ложе.

Отвергнув всякую помощь Колумбыча, он натянул палатку по жестким экспедиционным канонам под старой покореженной временем сливой, притащил найденную во дворе сарайную дверь и положил ее на кирпичики, чтобы снизу не проникала сырость от влажной кубанской земли, в углу палатки поставил ящик — стол, покрыл его чистым газетным листом, прилепил свечку для ночного чтения, разложил книжки и почувствовал себя счастливым самостоятельным человеком.

Колумбыч только покряхтывал, завистливо глядя на все эти приготовления, потом сказал:

— Там и второй человек поместиться может.

— Иди-иди, — ответил Адька. — Тебе надо спать под крышей и по ночам пересчитывать кур. Ни к чему тебе палатка.

С хитростью потомственного сибиряка Адька просто хотел довести Колумбыча до белого каления и уж потом предъявить ему ультиматум, сказать, что ребята требуют Колумбычева возвращения. Раньше времени об этом не имело смысла говорить, ибо Колумбыч начал бы хвастать про то, как был он всю жизнь незаменим везде, куда ки-

дала бродяжья армейская жизнь: строитель плотов и лодок, лекарь, охотник, тренер, душа общества, музыкант — гитарист, балалаечник. Кроме того, Адьке хотелось побыть в палатке одному, имелась необходимость крепко подумать. Первые два пункта наказа он выполнял после приезда легко: каждое утро мотался на пляж и пил сухое вино, правда, без особого удовольствия, но ведь ребята же знали, что советовали. Насчет третьей части наказа — женщин, дело обстояло хуже, если не катастрофически. Вообще-то Адька считал, что суровому экспедиционному человеку женщины ни к чему, одна морока с ними и волнения, от которых женатики, оставившие жену где-то в Москве, Ленинграде или Новосибирске, перед отпуском чуть не на стенку лезут. И полезешь — разные мысли в голову приходят, когда ежемесячно шлешь богатые переводы, а жена там одна в благоустроенной квартире — готовая добыча для проходимцев с усиками.

С другой стороны, все та же экспедиционная мужественность требовала быть победителем всегда и везде — будь то сопка, медведь или соблазнительная красотка.

Но все, все на сей раз было иначе. Началось это в первый же день поездки на пляж.

Адька сидел в «Запорожце» и смотрел на чистенькие, ослепительно белые улицы южного городка с затененными акациями тротуарами, полосатыми легкомысленными зонтами над тетками-газировщицами и загорелым, смуглым, цыганистым здешним народом. Городок этот не числился в особо курортных, но приезжих было много, их сразу можно было отличить по техасским штанам и расписным рубахам. Адька с неприязнью смотрел тогда на здешний и приезжий люд. Что они понимают в жизни? Сидят всю зиму по каким-нибудь конторам над входящими и исходящими, едят каждый день витаминозные натуральные овощи и фрукты и ждут лета: каждое лето поездка даже в этот заштатный городишко — для них событие, мемуары на целую следующую зиму. И городок Адьке не нравился — слишком солнечно, слишком бело, слишком зелено: для легкомысленной жизни место. Он посмотрел на Колумбыча, но Колумбыч был всецело занят рулем: четкий военный человек четко, по-военному, вел машину.

«Не место ему тут, совсем не место», — подумал Адька.

Они проехали центральную асфальтированную улицу, пыльный, покрытый булыжником спуск к Кубани, горба-

тый мост через мутную желтую Кубань, редкие, спрятанные в садах саманные домики окраины и выехали на дорогу к морю. Насыпная дорога прорезала соленое, поросшее ржавой осокой прибрежное болото. Запах сероводорода шел через ветровое стекло, ослепительно сверкали блюдца воды среди осоки и черной грязи, и по этой грязи, осоке и воде бродили белые цапли. Цапли ходили кучками и в одиночку, как будто сообща разыскивали потерянный кем-то предмет, а некоторые стояли на одной ноге, точно припоминали, где все-таки тот предмет мог быть потерян. «На тундру местами похоже, — подумал Адька. — Только вместо цапель там журавли». И Адьку царапнула мысль об оставленных в амурских сопках ребятах. Как там они сейчас таскают на вершины бревна, цемент и железо, встают в пять утра, потому что утро — лучшее время для наблюдений, как под комариный вой сидят ночами над нудными увязочными таблицами? «Во работенка! — подумал Адька. — И в отпуске от нее не отделаешься».

Но через пять минут он забыл о работе, потому что увидел море. Самое настоящее южное море с пляжными зонтами на крепких столбах, желтым ракушечным пляжем, с «Волгами», «Москвичами» и «Победами» у начала пляжа и голой толпой коричневых купальщиков. На пляже кипела деятельная жизнь: ревели транзисторы, взлетали волейбольные мячи, от воды шел самозабвенный ребячий вопль.

Адька стал быстро раздеваться, чувствуя, что необходимо немедленно залезть в эту кишащую человеческими головами воду, приобщиться к племени отдыхающих. Раздевшись, Адька чуть не с омерзением посмотрел на свое белое, лишенное загара тело и пошел к воде, утешаясь: «Загар за три дня нагоню, а плавки на мне японские, из Владивостока».

Прибрежная полоса воды была мутной и желтой, как вода Кубани, но дальше от берега она переливала голубизной в ослепительном мерцании солнечных бликов.

Адька поплыл к чистой воде и сразу же через двадцать метров остался один, шумная суета пляжа исчезла, исчезли людские голоса, был только он, Адька, и море. Адька плыл медленно, соображая, чтобы хватило сил обратно, хотя и был уверен в этих своих силах, так как плавал совсем неплохо. И когда Адька уплыл уже совсем далеко, он увидел еще далеко впереди зеленую шапочку, которая качалась на воде.

«Девчонка, — подумал Адька. — Куда ее черти занесли? Ну, врешь...»

И он помахал вольным стилем к этой зеленой шапочке, ибо самолюбие его требовало заплыть дальше всех и тем утвердиться на этом пляже среди разномастных людей. Зеленая шапочка приближалась ужасно медленно, потом он услышал голос. Девчонка пела. Пела так себе просто, как будто берег не болтался где-то в ужасном далеке. Адька оглянулся. Фигурки людей на берегу казались совсем крохотными.

«Ни черта, — подумал Адька. — Устану, отдохну на воде». Он проплыл мимо девчонки не так чтобы близко, но и не так чтобы в отдалении. Она помахала ему рукой: «Плыви сюда».

— Хорошая погода, верно? — спросила она радостным голосом, когда Адька подплыл. Адька согласился. Минут пять они болтались на воде, поддерживая пустячный разговор и равновесие. Адька не мог разглядеть девчонку, зеленая шапочка скрывала голову, видны были только глаза с покрасневшими от воды белками.

— Плывем обратно? — сказала девчонка.

— Плывем, — согласился Адька.

Они плыли медленно, брасом, а Адька думал, что это, чего доброго, завязка его первого романа, надо только не упустить девчонку, когда выйдут на берег.

А девчонка вдруг крикнула: «Пошли!» — и пошла отмахивать баттерфляем. Баттерфляй у нее был очень техничный, это Адька понял сразу.

«Пловчиха какая-нибудь», — думал он, стараясь не отстать. Потом стало не до мыслей.

Когда Адька вылез на берег, его пошатывало и в голове звенело. Он огляделся, пытаясь разыскать девчонку, но зеленая шапочка уже исчезла. Адька пошел к машине, возле которой маячила долговязая фигура Колумбыча. Лицо у Колумбыча было старое, куда старше возраста лицо, а фигура — как у семнадцатилетнего мальчишки, сухая, в четких переплетениях мускулов. Колумбыч приплясывал под твист соседнего транзистора на самом солнцепеке.

— Замерзаю в воде, — пожаловался он. — Не успел накопить жировой прослойки. Ты с кем там на волнах качался?

— Не знаю, — сказал Адька. — Мощная девчонка, баттерфляем ходит.

— Она и дельфинчиком ходит, — сказал приплясы-

вающий Колумбыч, — я ее знаю. Из института физкультуры она. Акробатка.

Адька лежал на горячей ракушке и думал о том, что хорошо бы закрутить роман с акробаткой. Чтоб потом в дождливые дни в палатке предаваться воспоминаниям, а уж совсем потом, на склоне лет, тоже предаваться воспоминаниям о полноценно прожитой жизни, где были работа, опасности, женщины и вино. Жизнь мужчины.

Акробатку он увидел через час. Она сама пришла к нему и села рядом. Он увидел ее еще издали, когда она шла к машине, и как-то сразу узнал, а узнав, разочарованно хмыкнул. Девчонка была маленькая и по-физкультурному плотная, с плотными развитыми тренажем ногами, и вся фигура у нее была такая, какая бывает у девчонок-физкультурниц, а у них она всегда отличается от фигур журнальных красоток. На акробатке был отчаянно смелый «бикини» — две голубые полоски ткани, — но, наверное, из-за спортивной ее фигуры этот отчаянно смелый купальник не наводил на грешные мысли. Но больше всего Адьку разочаровало лицо. Круглое веснушчатое лицо с коричневыми пятнами от солнечных ожогов и облупленным носом. Не такой, совсем не такой хотел видеть Адька даму своего южного романа.

— Почитать есть что-нибудь? — спросила девчонка, как будто Адька был ее давним приятелем, хорошим знакомым.

— Есть, только скучное, — сказал Адька. — Специтература.

— Скучное не надо, — сказала она и стала смотреть на море коричневыми, как у козы, глазами. Адька лежал и думал, как бы начать непринужденную светскую беседу.

— А лихо у вас получается плавать, — сказал он.

— Ты тоже ничего, — откликнулась девчонка. — Только голову низко держишь, когда вольным плывешь.

— Да, — сказал Адька, — у нас в Сибири особенно негде учиться. Я морозоустойчивый очень, потому научился.

— Ух, — передернулась девчонка, — как в той Сибири можно жить? Я всю жизнь здесь прожила и учиться поехала в Кишинев, где теплее.

— Можно, — снисходительно ответил Адька. — Лучше, чем здесь.

— Я сегодня на танцы пойду, — по неизвестной логике сказала она.

— Отлично, — покраснев от собственной наглости, откликнулся Адька. — И я тоже. Где встретимся?

— У парка в восемь, — скучно ответила девчонка и вдруг пошла прочь в своем немыслимом «бикини», как будто не за тем и приходила, чтобы назначить Адьке свидание.

«Ну и ну, — подумал Адька, глядя ей вслед. — Действительно, юг. Жаль, что она замухрышка такая, а то бы...»

Он так и не успел додумать, что бы было, если бы акробатка не была такой замухрышкой, так как мимо в пятый раз прошел гигантский парень в жокейской шапочке. Парень был великолепен в могуществе двухметрового роста и отлично развитой фигуры. Он шел подрагивающей небрежной походкой, какой ходят по пляжу гордящиеся фигурой пижоны.

— Чего тут шляется этот десятиборец? — спросил Адька.

— А что ему делать? — ответил Колумбыч. — У него цикл развития уже закончен.

Пляж все так же грохотал в выкриках волейболистов, шуме транзисторов и неумолчном шорохе ракушек, которые перекатывала накатная волна. Но шум этот уже шел на спад, все больше людей одевалось и шло к автобусной остановке или к машинам. Какой-то запоздавший пузатый дядька, боязливо переступая босыми ногами, спешил к воде, живот у него колыхался.

— С подвесным бачком дядечка, — сказал Колумбыч. — Пойдем вина выпьем, — предложил он и тут же, подвернув под себя одну ногу, ловко поднялся «пистолетиком».

— Идем, — сказал Адька.

Они прошли мимо машин к зеленой веранде, где из двух окошек неслись запахи чебуреков.

— Куда без штанов претесь, бесстыжие? — закричала на них продавщица. — Здесь торговая точка, понятно?

Адька оглянулся. По всей веранде вокруг синих пластмассовых столиков стояли люди без штанов. Но продавщица, сделав положенное по инструкции замечание, уже успокоилась и принялась мыть посуду, потом выдала им по стакану рислинга и три пахнущих зноем чебурека. Есть чебуреки в жару не хотелось. Мутное вино терпко вязало язык.

— Давай домой, — сказал Адька. — Хватит на первый день.

Машины уже поредели, только в «Волгах» сидели пижонистые сорокалетние владельцы и заманивали проходивших мимо девчонок. В стороне в сверкающем лаком модном «Москвиче-408» сидел какой-то хлыщ и смотрел на проходивших женщин оценивающим взглядом.

— Ждет, когда к нему Марина Влади сядет, — сказал Колумбыч и хмыкнул.

Вечером Адька начистил югославские мокасы, извлек из чемодана костюм и финскую нейлоновую рубаху. Все эти вещи покупались по случаю в Хабаровске, Владивостоке или Новосибирске и валялись на базе в обшарпанном чемодане, тоже в ожидании случая. Завязывая галстук, Адька подумал о ребятах, у которых вот тоже сейчас во вьючных ящиках или обшарпанных чемоданах валяется импортное барахло, те же чешские костюмы, югославские туфли и финские нейлоновые рубахи, ибо покупали они всегда вместе. Южный вечерний сумрак шел в окно. Адька подумал, что там сейчас уже четыре утра, ребята на базе спят мертвым предутренним сном, а те, кто дежурит на вершинах, дрогнут в спальных мешках, а может, уже встали; чайник коптился в смолистых ветках кедровника, одинокие наблюдатели тянут к огню ладошки, отблеск огня пляшет на чехлах приборов, на карабине, что висит всегда под рукой, ибо страшновато бывает в темный предрассветный сумрак и очень бывает одиноко, когда на востоке, где-то над Курилами, прорезается мертвенно-синяя полоса рассвета, потом эта полоса постепенно краснеет, и, хотя в долинах еще ночь, на вершине ты уже видишь рассвет, потом видишь красный, совсем неяркий, так что можно смотреть, край солнца, птицы начинают пробовать голоса, прячется ночная нечисть, и тут ты уже не один, одиночество кончилось.

Адька вспомнил, как частенько в такие минуты к нему подымался на вершину Колумбыч и вынимал из кармана найденный по дороге и обернутый листом кусок свежего медвежьего кала, они подолгу рассуждали, когда тот медведь мог пройти и куда он направлялся, где его можно поискать, если утренние наблюдения пройдут благополучно. Иногда Колумбыч приходил позднее, когда Адька был уже занят работой, он приносил на связке свежих, пахнущих водой хариусов, которых наловил по дороге, и пек этих хариусов на костре, а Адька, прильнув к окуляру теодолита, ловил черный цилиндр на тригонометриче-

ской вышке соседней вершины, запах печеной рыбы бил в ноздри — запах печеной рыбы, хвои и перекипевшего кирпичного чая. Он думал обо всем этом, и ему расхотелось идти на свидание, а просто хотелось посидеть вечер с Колумбычем, выпить красного вина из винограда «Изабелла» и повспоминать былое. Он даже подумал успокоенно, что не надо никаких выкрутасов, конечно, Колумбыч вернется, не может быть, чтобы он мог привыкнуть, врасти в эту крикливую, нелепую южную жизнь. Не может человек к ней привыкнуть, пока работает сердце и ноги еще способны шагать по горным склонам. Затягивая узел галстука, он подумал чуть не с яростью: почему, в сущности, он обязан крутить какие-то нелепые романы и какой пошляк и идиот все это выдумал?

Без пятнадцати восемь он вышел из дома. Акации бросали таинственную тень на тротуар, и прохладный ветер был пропитан запахом этих акаций, запахом юга. В бликах фонарей проходили медленно тихие пары, от городского парка неслись тревожные звуки оркестра. Адька остановился и закурил. Ему необходимо было закурить, чтобы успокоиться. Ночь, далекий оркестр и запах юга волновали его. Он медленно шел на оркестр, и ему казалось, что вот сейчас из калитки соседнего дома выйдет дама в длинном белом платье, с зонтиком и в шляпе с большими полями. Он всегда представлял таких дам, когда читал Тургенева или Чехова, ему нравились женские моды тех далеких времен. Адьку обогнали четверо оживленных парней. Они шли быстро и собранно, как на охоту, после них осталась волна сигаретного дыма и одеколона.

Парк с неизменной Доской почета и гипсовой пионеркой перед входом был ярко освещен. Акробатки, конечно, еще не было. Адька и не надеялся, что она придет сразу. Минут пять он изучал фотографии на Доске почета: напряженные, с желваками по скулам лица мужчин и заретушированных женщин в белых кофточках, с неизменной прической, которая в послевоенное время звалась демократической. Официантки, сантехники, продавщицы. Адька отошел от Доски почета, которая была неотличима от такой же в Хабаровске, Благовещенске или Сковородиновке, и сел на лавочку. На невидимой танцплощадке грянул разудалый джаз. Джаз отгремел вступление, а в микрофон зашептала, заговорила, закричала зарубежная певица.

И тут Адька увидел акробатку. Он бы и не поверил,

что это была она, но девчонка шла прямо к нему и улыбалась. Та замухрышка с обожженным до коричневых пятен лицом исчезла, переродилась, возникла вновь: таинственное существо с полупудовой короной рыжих волос, с мерцающими темными глазами.

«Старик, не подкачай», — прошептал Адька самому себе.

— Здравствуйте, — сказала девчонка, как будто это не она сегодня утром болталась с ним в море и с первой же минуты говорила ему «ты».

— Добрый вечер, — с пересохшим горлом сказал Адька. — Я тут ваших знаменитостей изучал. — Он мотнул головой на Доску почета.

— А-а, — сказала девчонка, — тоже мне знаменитости. Там моя мама есть, уборщица, — без всякой последовательности сказала она. И тут же: — Пойдем потанцуем.

— Не обучен, — сказал Адька.

— Посиди здесь, — сказала девчонка повелительно. — Я пойду минут пятнадцать попляшу и приду.

Адька уселся на лавочку перед отгороженной проволочной сеткой площадкой.

«Сеточка-то, как у Колумбыча в загоне для кур», — язвительно подумал он.

Снова захрипел репродуктор, и опять рявкнул джаз. Народ стал отлепляться от сетки, парни выбрасывали сигареты, и через пять минут на площадке уже творилось танцевальное столпотворение. Он тщетно пытался найти в этом столпотворении акробатку, мелькали какие-то твистующие пары, какие-то школьницы, которым давно пора спать, толстяк в шелковой тенниске тоже пытался делать твист на пару со своей распаренной дамой, два долговязых пацана усердно работали руками и коленками друг перед другом. Адька уже почти услышал привычный административный окрик: «Прекратите безобразничать», но окрика не было, и пацаны изнемогали от своих выкрутасов, пока не изнемогли совсем.

И тут он увидел акробатку. Она танцевала с тем самым двухметровым десятиборцем, которого он утром видел на пляже, танцевала, запрокинув голову, чтобы видеть лицо верзилы-партнера, твист у нее получался хорошо, красивый был у нее твист, и у парня он тоже получался хорошо. Адька чувствовал, что ревность его так и одолевает.

«Еще чего не хватало», — подумал он. Репродуктор

все выкидывал музыку, видно, это была нескончаемая пластинка, а может, бесконечная магнитофонная лента, пыль от шаркающих и топающих ног поднималась над площадкой. Адька вытащил сигарету, отломил фильтр и выбросил его. Потом сразу же прикурил вторую сигарету, тоже отломив от нее фильтр. Джаз стих.

— Еще чего не хватало, — снова повторил Адька, но не было в его голосе никакой убедительности.

Мимо прошел генерал. Генерал был маленький, толстый и лысый, в галифе с широченными красными лампасами и буденновскими усами. Жена у генерала была совсем сухонькая седая старушка, в длинном лиловом платье, и генерал тоже был очень стар, может быть, он воевал в свое время рядом с Буденным. Заслуженная чета медленно прошла мимо Адьки, и, глядя на них, он настроился на философский лад. Ни черта ведь страшного не случилось, просто он одичал малость средь гор и болот, и что из того, что другие люди находят радость в иных, не Адькиных вариантах.

«Да, — подумал Адька. — Леший его знает, куда еще занесет меня судьба, может быть, придется работать где-либо на Кавказе или, хуже того, в Крыму, я тоже буду загорелым, крикливым и наглым».

Он и не заметил, что репродукторный джаз стих, снова заиграл духовой парковый оркестр, и заиграл он на сей раз непреходящую ценность — «Амурские волны».

Под вечно печальную, с пеленок знакомую музыку Адька стал думать о том, что существуют на свете тысячи профессий и в них работают тысячи великолепных нужных людей, и для этих умных людей, наверное, его образ жизни, с работой, которая на треть состоит из работы вьючных лошадей и еще на треть из простого бессмысленного выжидания «погодных факторов», показался бы на две трети недостойным, лишенным целенаправленного и плодотворного бытия, каким должен жить человек. И люди, которые так думают, безусловно правы, как безусловно прав и он, Адька, ибо он даже в мыслях не мог себе представить, как бы он ходил по заводскому гудку к восьми, стоял бы у станка до четырех, а вечером кино, телевизор или футбол, а завтра опять к восьми, и так год за годом, в точности по ходу часов, без всякого разнообразия.

Потом Адька стал думать о том, что у него сейчас много денег, даже очень много, ибо два с лишним года их негде было тратить, и тут еще отпускные, и надо про-

ехаться по всем этим южным местам, всем этим мраморным лестницам, аллеям, затертым фотографированием, потом осесть где-либо в тишине, где нет ни одного типа в соломенной шляпе и расписной рубахе, засесть около моря, ибо среди всего этого юга одно море не показуха, даже курортники не в силах его опошлить, а потом ехать обратно. Человек только на своем месте, в своей обстановке — человек, это он понял давно, наблюдая рабочих, когда их вывозили в город, или просто в большой поселок, или просто в незнакомую обстановку. «Есть типы, которые всюду на своем месте, — думал Адька, — так у этих типов просто нет своего места».

И тут Адька услышал смех. Оказалось, что акробатка сидит на скамейке напротив, смотрит на него и смеется.

— Я уже десять минут на тебя смотрю, — сказала она. — Ты зачем у сигарет фильтр отламываешь? Нервничаешь, да?

— Очень надо, — сказал Адька и увидел верзилу. Тот подошел к акробатке, подчеркнуто не замечая Адьку, и взял ее за руку.

— Пойдем, сейчас эта плешь кончится, музыку заведут.

— Нет, — сказала акробатка. — Я больше танцевать не пойду. — Она выдернула руку.

— Ну-у, как знаешь, — протянул верзила и теперь уже посмотрел на Адьку. Он посмотрел на него в упор, словно оценивал Адькины физические возможности. — Как знаешь, — повторил он и пошел к танцплощадке, преуспевающий бог побережья, публичный человек.

Акробатка пересела к Адьке.

— Мы как-то и не познакомились, — сказал Адька. — Меня Адик зовут, или Адька, дурацкое имя, где только его мои старики откопали.

— Лариса, — сказала она. — Тоже не блеск. Пойдем походим.

Они прошли в аллею из подстриженных темно-зеленых кустов, здесь было полутемно, на скамейках сидели парочки, на каждой скамейке по парочке, потом вышли на улицу. Асфальтовая улица была сейчас пустынна, ее освещали только витрины: «Вино», «Универмаг», «Промтовары».

Потом они свернули в боковой переулок, и асфальт сразу кончился.

Неровный, избитый ямами булыжник переулка сбегал

вниз к Кубани, и сама Кубань мерцала вдалеке в лунном свете.

— Осторожно иди, — сказала Лариса, — тут ноги с непривычки сломаешь.

Она сняла туфли и пошла босиком.

— Земля прохладная, — пожаловалась она. — Простуду можно схватить.

— Фокусником надо быть, чтобы здесь простуду схватить, — сказал Адька.

Стены саманных домов белели в темноте. Каждый дом был отгорожен забором, и за каждым забором, когда они проходили, надрывался пес.

— Почему окна темные? — спросил Адька. — Неужели спят?

— У нас рано спать ложатся, — сказала Лариса. — Или дома никого нет.

Адька споткнулся. Ботинок начал шлепать по камням. Адька понял, что оторвал подметку.

— Подметку оторвал на импортных корочках, — сказал он. — Придется завтра искать другие.

— Снеси на рынок, — сказала Лариса. — Там безногий дядька тебе сразу сделает.

— На море завтра пойдем? — спросил Адька.

— Я завтра на «Волге» к лиману уеду с мальчиками. Будем в палатке жить, — сказала рассеянно Лариса.

— Ну-ну, — мужественно сказал Адька. — Я тоже скоро уеду. Уеду куда-нибудь деньги мотать.

— Зачем мотать? — сказала Лариса. — У меня никогда денег не было, и я не знаю, как их мотать.

— Ну, конечно, — сказал Адька. — Платье на тебе модерн и все прочее.

— Я это платье сама сшила. А чтоб туфли купить, два месяца голодом сидела. Ты когда-нибудь голодом сидел в физкультурном институте?

— Физкультура для женщины — вредная профессия, — сказал Адька. — Стареют женщины быстро.

— Я не постарею. Я за собой слежу очень. Я хочу долго красивой быть.

— Говорят, бездельничать надо больше. И на диете сидеть, тогда до пятидесяти лет семнадцатилетней будешь.

— Мне бездельничать нельзя. Я с седьмого класса работаю, с седьмого класса себя кормлю и одеваю.

— Ларка! — донесся крик из-за забора. — С кем ты там?

— Мать, — прошептала Лариса. — Всегда меня караулит. Иду! — сказала он громко.

— Ладно, — сказал Адька. — Я пойду. Счастливо отдохнуть в палатке.

Адька стал подниматься вверх по щербатому булыжному переулку, но потом передумал и пошел вниз к Кубани. Саманные домики кончились. Адька прошел в темноту через какую-то свалку и очутился в стене ивняка. Ивняк скрывал реку, тропинки в темноте тоже не было видно, но теперь Адька почувствовал себя на месте, почти как в тайге, и, забыв, про чешский костюм, стал продираться сквозь кусты; он знал точно, что он потеряет в темноте тропинки и направления. Перед рекой шла широкая глинистая отмель. Свет луны отражался в воде, и от луны и этого отраженного света было совсем светло. Адька засучил брюки и стал пробираться к воде. Оторванная подметка шлепала по мокрой глине. У самой воды лежало несколько выкинутых недавним паводком коряг. В пачке осталась только одна сигарета. Адька закурил ее, сел на корягу и стал смотреть на воду. Он вспоминал, как напутствовал его Колька Бабюк, недавно переведенный к ним из другой партии. «Бабов надо брать поэзией», — говорил циник Бабюк.

На душе у Адьки было муторно, и он презирал себя.

Из-за поворота, тихо свистя подвесным мотором, вышла большая остроносая лодка. «Москва», — машинально определил Адька марку мотора. — Отрегулирован хорошо моторчик».

Лодка медленно шла навстречу течению и вдруг повернула к тому месту, где сидел Адька.

— Спички есть? — спросил человек у мотора.

— Есть, — сказал Адька, — курева нет.

Человек поднял голенища высоких резиновых сапог и вылез из лодки.

— Забыл, понимаешь, спички дома, — сказал он. — На, покури рентгеновских.

Он протянул Адьке пачку «Прибоя». Они закурили.

— Я их рентгеновскими зову, все нутро просвечивают, — сказал человек. — А тебя я знаю. Ты у одного пенсионера живешь. У дружка, что ли? Вы с ним в подвальчик заходили, я там был, помнишь?

— Помню, — сказал Адька.

Он вспомнил небритого коричневого мужика в ковбойке, которого видел позавчера в винном подвальчике.

— Ты заходи на рынок, — сказал браконьер. — Угощу красючком, или, по-культурному, осетриной, если повезет сегодня. Три Копейки моя кличка.

— Зайду, — сказал Адька. — Обязательно.

Он отдал спички, потом помог столкнуть лодку.

Мотор завелся с первого же краткого рывка, и лодка пошла по серебряной воде, черная, остроносая, бесшумная. Все это напоминало какую-то контрабандистскую чертовщину.

Город утонул в непроницаемой тьме, и только главная улица наверху светилась огнями редких фонарей. Собаки тоже, видно, спали, тяжелая тишина висела над спящими домами, тишина и запах деревьев.

Колумбыч не спал. Он сидел на крылечке и курил трубку. Трубку Колумбыч курил только в ответственные или особо блаженные минуты жизни. Адька не знал, какая причина сейчас заставила Колумбыча ухватиться за «Золотое руно».

— Ты где шляешься? — спросил Колумбыч. — Я полгорода обегал, тебя искал.

— А чего меня искать, — сказал Адька. — Я на Кубани был.

— Дурак, — сказал Колумбыч. — Он в новом костюме на Кубани сомов ловил.

— Ловил, — упрямо сказал Адька. — Смотри, мне сом подметку оторвал.

— Подрался?

— Повода не было.

— А здесь без повода. Здесь ребята острые, приезжих не любят. Особенно, если девчонка вмешается. Я тебя по канавам искал — думал: лежишь и истекаешь кровью.

— Это ты у меня сейчас начнешь истекать кровью, — буркнул Адька.

Они отмыли в тазу Адькины брюки и ботинки.

— Лавсан, — сказал Адька. — Роскошная вещь. Повесим, и завтра будут новые, глаженые штаны. А ботинки придется в мастерскую.

— Какая к дьяволу мастерская, — сказал Колумбыч, — неси полено.

Пока Колумбыч пришлепывал молотком подметку, Адька переоделся в свои замызганные техасы, старую ковбойку и почувствовал себя человеком. «Мужская компания, — подумал он, — лучшее общество. Без причесок и выкрутасов».

— Отчего, Колумбыч, средь мужиков себя лучше чувствуешь?

— Ха, — сказал тот. — Я б тебе ответил на этот вопрос десять лет назад, когда от жены удирал. Не поверишь — меня в лейтенанты производили за заслуги, а я вынужден был удрать. Так и остался на всю жизнь старшиной.

— Нам жениться никак нельзя, — сказал Адька. — Ты вспомни Копейникова. Что с ним из-за жены творилось.

— Нет, — ответил Колумбыч. — Нет, нет и нет. — С каждым «нет» он загонял по гвоздю в Адькин ботинок. — Я отчего удрал — она рожать не хотела. А я сына хотел. А потом уже поздно, и приехал я к вам. Вы для меня были как семья.

— Не пора ли вернуться в семейку? — сказал Адька.

— Нет, — сказал Колумбыч и положил молоток. — У вас все впереди, а у меня все в мемуарах. Уж лучше я буду здесь. Ты считаешь — мне одному две бочки вина надо? Для вас, дурачков, покупал.

— Ребята говорят, чтоб ты ехал, — сказал Адька.

— Подумаешь, — усмехнулся Колумбыч и взял молоток. — Я еще в Краснодаре по твоей физиономии прочел все, что ребята говорят.

— И что решил?

— Отстань ты от меня, — сказал Колумбыч. — Я уже старый. Я уже в Азовском море замерзаю, меня кровь не греет.

— Надо, Колумбыч, — серьезно сказал Адька. — Ведь тебя не ради прекрасных глаз просят приехать.

— А я всю жизнь жил со словом «надо». Всю жизнь под военной дисциплиной. Ты спать хочешь, а тут тревога. И наплевать, что она учебная, — вскакивай, как ошалелый, и начинай орать на других, кто быстро вскакивать не умеет. У вас тоже так, тоже дисциплина. Устал я от тревог, пойми меня. Я с курицами разговаривать хочу.

— Уеду я от тебя, — сказал Адька. — Частник ты, собственник махровый. Ты и в лейтенанты из-за этого не пошел, хотел старшиной быть, барахлом заведовать.

— Я тебя завтра виноград заставлю обрезать, — сказал Колумбыч. — Тебе бездельничать для головы вредно.

— В пустыне Гоби дует ужасный ветер хамсин, — усмехнулся Адька. — Неужели ты все забыл, Колумбыч?

— Отстань ты от меня, — повторил Колумбыч. —

Везде дуют свои хамсины, и здесь тоже. Ты тут еще ничего посмотреть не успел, а уже готов Азовское море заплевать. Если ты о земле ничего не знаешь, как можно ее презирать?

КАПИТАН

Колумбыч и впрямь заставил Адьку работать в винограднике. На адовой жаре Адька ходил меж шпалер и щелкал ножницами, обрезая отбившиеся в сторону бесплодные побеги.

Работа была нудной. Пропитанный зноем и зеленью воздух стоял между шпалер недвижимо, дурацкие ножницы быстро намозолили руку, а главное, трудно было понять, какая ветка нужна, а какая нет. Вдобавок с трех сторон из-за трех заборов приплелись соседи, все, как один, пенсионеры, и с высоты своего опыта начали поучать, разъяснять и рассказывать. Потом два соседа ушли и остался только один, его дом примыкал к Колумбычеву. Седой старикан, капитан дальнего плавания. Восьмой десяток сильно его сгорбил, но в нем еще держалась какая-то морская мальчишеская хватка, и Адьке это нравилось.

Капитан посмотрел на Адькины брюки с заклепками и сказал:

— Раньше мы такие всегда в Сингапуре покупали. Так и звали: «сингапурские штаны». Приходим в Сингапур — и вся команда на берег за штанами. Крепкая вещь.

Адька обрадовался случаю потолковать о Сингапуре и бросил ножницы. Через несколько минут к ним присоединился и Колумбыч.

— А чего мы здесь сидим, — сказал капитан. — Пойдем ко мне сливянку пробовать, — и тут же зычно, даже удивительно было, что в сгорбленном стариковском теле мог сохраниться такой пиратский голос, рявкнул в пространство: — Маня, добывай сливянку, гостей веду.

Они крепко пришвартовались у капитана на прохладной веранде. Десятилитровая бутыль со сливянкой, добытая из глубокого цементного подвала, тоже была прохладной, и ее лиловые, чуть отпотевшие бока приятно холодили ладони. Жена у капитана оказалась ему под стать — седая до белизны, приветливая старушка, она больше даже походила на его сестру, чем на жену. Два

здоровенных рыжих кота расхаживали по веранде, обвитой плющом, и, мурлыкая, выпрашивали рыбьи головы.

Сливянка оказалась до ужаса крепкой и вкусной. В шестом часу вечера они все еще сидели за столом и слушали повести капитана о былых временах.

— Сейчас капитанов нет, а раньше были. Плавал я очень давно на угольщике «Трапезунд». На судне — кошмар. Команда разболтана, на палубе грязь. А капитана нет. Никто его не видит. За весь рейс из каюты не выглянул. В Индийском океане попали мы в шторм. Страшный шторм, кидает нас по килю и борту так, что того гляди кувыркнемся. И в этот ураган вдруг вылазит на палубу маленький старикашка. Встал раскорякой на мостике и как закричит ужасным голосом: «Что я вижу? Корабль это или свинарник? Боцман! Немедленный аврал на уборку!» Высыпали мы по боцманской дудке драить и чистить все подряд, а над нами висят страшный рев и проклятья капитана, такие загибы, что даже сейчас мороз по коже дерет! А потом шторм стих, и капитан исчез. Но все мы уже знали — есть капитан!

Через час они с Колумбычем, дружески поддерживая друг друга, шли к своему дому.

— Колумбыч, — говорил Адька. — А как же виноград не обрезан, от вредных насекомых не опрыскан. Погибнет природа.

— А ну его, — отвечал Колумбыч. — Завтра. Все завтра. Сельское хозяйство — утомительная вещь.

Вслед им неслось:

— А около Ферарских островов в Атлантике после войны прибегает ко мне помощник. «Капитан! Справа по борту мина!» — «Ну и что?» — говорю я спокойно... — Голос морского волка стал помаленьку слабеть и глохнуть в глубине комнат. Многоопытная капитанская жена знала свое дело.

МАЕТА

Летние дни прыгали, как целлулоидные шарики, с бездумным легким стуком, но для Адьки прыжки этих шариков были ограничены, по крайней мере, двумя стенками. Первой стенкой была необходимость уговорить Колумбыча, а второй стенкой, ох, являлась Лариса.

Конечно, они встретились с ней после ее поездки с мальчиками на лиман. Встретились они на пляже, куда

прикатили с Колумбычем после безуспешных попыток привести виноградник в надлежащий вид.

— Ну его к псам, — сказал Колумбыч. — Ты знаешь, он в Уссурийском крае просто в тайге растет. И ни черта с ним не делается.

— Правильно, — сказал Адька и зашвырнул ножницы. — Едем обмывать трудовую пыль.

Казалось, что в этом дурацком городе имелся только один «Запорожец», а так сплошные «Волги» по шоссе, и Колумбыч компенсировал чувство неполноценности тем, что старательно «делал» каждую «Волгу». Водитель он был классный, еще с монгольских времен, и мотор у него всегда был отрегулирован до тонкости. А может, все дело заключалось в том, что за рулями тех «Волг» сидели собственники-копеечники, у которых страх за добро начисто съел самолюбие.

На пляже Колумбыч миновал стоянку, что размещалась на единственной площадке плотного грунта, рядом с дорогой, проехал дальше и лихо, с разгона, взлетел на высокий песчаный вал, отделявший полоску пляжа от простой суши. Так он и встал на высоте, маленький зеленый «Запорожец», над всей человеческой суетой и грохотом, а люди и прочие классные машины были просто внизу. Колумбыч на сей раз не похвастался, но ехидная радостная ухмылка так и растягивала и без того щелевидный рот.

Тотчас снизу из коричневого мельтешения вынырнула Лариса и побежала к ним, приветствуя Адьку словами:

— Адик, ты где ж пропал?

— А ты уже вернулась? — спросил Адька. — Как отдых на лимане?

— Да ну их, — простодушно ответила она. — Я вначале поехала, а потом передумала.

Сказала и оставила Адьку размышлять над загадочным смыслом сих слов. Сейчас она опять походила на свойского конопатого парнишку. Куда она ухитрялась прятать в себе ту рыжеволосую мадонну с полупудовой короной волос и мерцающим взглядом — оставалось неизвестным.

— Поплывем? — сказала Лариса. — Тут одни склеротики и паралитики. Плавать умеют, а подальше уплыть бояться.

— Конечно, — сказал польщенный Адька.

И опять они болтались вдвоем на зеленой воде где-то около противоположного берега Азовского моря, и весь

пляж с публикой, машинами и мачтой спасателей казался отсюда маленьким и ничтожным.

— Давай кто глубже опустится, — сказала Лариса.

Они опускались в прозрачную зеленую воду, в которой можно было отлично видеть друг друга, только все казалось зеленым и расплывчатым. Там, на каком-то метре глубины, Адька ее поцеловал, после чего, конечно, пришлось спешно выбираться наверх, ибо воздуху не хватало. После того как они отдышались, девчонка посмотрела на Адьку и хмыкнула так, что его бросило в жар, несмотря на прохладу воды и вообще неподходящую морскую обстановку.

Весь этот день Лариса вела себя по-ангельски и не покидала их трио из Адьки, Колумбыча и «Запорожца», домой она возвращалась вместе с ними, а вечером они с Адькой отправились в кино на фильм «Брак по-итальянски».

Опять Адька провожал ее в благоухании южной ночи. Акации над асфальтовым тротуаром в темноте казались могучими столетними липами, звук шагов четко раздавался в тишине, и казалось, что они идут в каком-то тоннеле или черт его знает из каких детских воображаемых картинок взятой аллее средневекового парка. Он и она. Там, за деревьями, прячется замок со всеми своими мостиками, рвами и силуэтными на фоне неба часовыми на гребне стены.

Пятачки света от фонарей позволяли посмотреть друг на друга при свете. Лариса была молчалива на сей раз, и, когда Адька смотрел на нее в очередном световом пятачке, она улыбалась смущенно и хорошо.

Потом они спускались вниз по опасному для обуви переулку, и опять был ночной крик: «Ларка! С кем ты там?»

Он попробовал ее торопливо поцеловать, но она ловко подставила щеку и прошептала скороговоркой: «Завтра увидимся».

Когда Адька вернулся домой, Колумбыч сидел за столом в очках. Очки он надевал, когда надо было что-либо мастерить. На столе, на газетке, лежала куча всяких приспособлений.

— Знаешь, — сказал Колумбыч, — ложа-то у меня у ружья лаком покрыта, а у порядочных ружей она только с полировкой, без всяких лаков. С ореховым маслом отполирую — будет высший класс моя двустволочка. Осенняя охота скоро, а утки здесь — пропасть.

Адька ничего ему не сказал, посидел, посмотрел, как Колумбыч работает, — всегда приятно было смотреть, как Колумбыч что-либо мастерит своими лапищами величиной с половину журнального столика каждая, и знать, что из этих рук обязательно выйдет вещь.

Потом Адька ушел спать счастливый. В палатке он долго лежал с открытыми глазами. На землю гулко хлопались недозрелые яблоки. Они попадали почти все, ибо зной иссушил землю, а до поливки у Колумбыча как-то не доходили руки. Во тьме южной ночи собаки вели разговор из одного конца города в другой, иногда по улице с приглушенным треском проносился мотоцикл: шла сложная ночная жизнь городка.

Адька чувствовал спиной, как где-то на необозримой глубине под ним дышат, шевелятся и живут земные пласты глинистой майкопской толщи, той самой, что дает нефть. Адька успел уже заметить, что в здешних краях нет привычных ему камней, а есть глина разных цветов и немного плохого песка. С мыслями о майкопской толще, о которой Адька знал по геологическому курсу в институте, он и уснул.

Ему еще много ночей предстояло пролежать вот так в палатке с открытыми глазами. Легкомысленное прыганье целлулоидных шариков завораживало, и весь план Адькиного отпуска летел к черту. Колумбыч вел себя, как впавший в склероз конь, не желающий понимать простых вещей. Он уходил от серьезного разговора под предлогом забот о большом хозяйстве: крышу красить, яблони окопать, построить хозяйственный настоящий сарай, где будут зимой храниться лодка и лодочные моторы, и так без конца.

Но Адька ясно видел, что все это хозяйство идет само по себе, все зарастает и забор не чинится. Начав чинить забор, Колумбыч вдруг вспоминал о машине и уже не отходил от нее сутки, регулируя какой-то волосяной зазор в зажигании. А когда Адька предлагал строить этот пресловутый сарай, Колумбыч вдруг начинал сортировать патроны и вообще ревизовать охотничье хозяйство — охота-то осенняя на носу.

Все-таки в один из вечеров Адька заставил Колумбыча заговорить.

— Не могу бросить, — сказал Колумбыч. — Оставить так — все придет в полную разруху. Здесь это быстро делается. Продать — подумай: в мои годы и опять без угла своего, и вообще с неясными перспективами.

Оставайся лучше ты здесь. Знаешь, какие на Тамани идут раскопки?..

Столь наглого предложения Адька не ожидал, и упрямство его ожесточилось.

С Ларисой дело обстояло не лучше. Она вела себя примерно так, как ведет себя знак электричества на выводах динамо-машины переменного тока. То он видел ее на пляже среди парней, которые, сделав из рук мостик, подбрасывали ее в воздух, а она крутила двойное сальто. Адька смотрел и сгорал от ревности. То она говорила: «Шумно очень, давай отойдем», и они отходили в сторону и лежали на ракушке, а она сыпала на Адьку эту ракушку из ладони и бормотала разную женскую чепуху, которую приятно слушать. Внешние ее метаморфозы были просто поразительны. Иногда они днем ходили по городку, выбирая какие-то нужные ей пустяковые покупки, и встречные мужики прямо брякались на знойный асфальт от нахлынувших чувств и зависти, что такая девушка идет под руку с Адькой, а не с ними. Наверное, у Адьки был слишком многообещающий вид, и потому заговаривать и даже отпускать замечания они не решались.

Вечера они проводили в основном вместе, именно в основном, ибо она частенько вдруг бросала Адьке: «Подожди, мне надо поговорить вон с тем мальчиком», и говорила с ним по часу и больше, а Адька должен был изучать витрины. Плюнуть на все, повернуться и уйти было делом бесполезным. Адька и это пробовал, но она через час приходила к ним, вызывала Адьку и спрашивала простодушно: «А чего ты меня на улице бросил?» Простодушие ее обезоруживало, оставалось только клясть свою душу, способную на грязные подозрения.

Колумбыч в этих делах был не советчик.

С горя Адька стал ходить в заведение Иисуса Христа и там искать забвения в обществе Трех Копеек. Адьке требовалось не вино, а та доза вялоциничного отношения к жизни, которым Три Копейки был так и пропитан.

Адька клял свое сибирское упрямство, без него было бы проще. Далась ему эта акробатка, вон сколько девчонок ходит, да и без них можно прожить. И пусть Колумбыч остается со своим заросшим огородом.

— Упрямство — опасная вещь, можно сказать, подсудная, — сказал ему Три Копейки. — У моего дружка инспекция сети сняла. Он из упрямства поставил их опять на том же месте. Их опять сняли. Он из того же упрямства поставил третий раз. Теперь отбывает. У ин-

спекции тоже нервы есть, браток, как и у судьбы, — запомни это.

— Возьми меня браконьерничать, — сказал Адька.

Три Копейки неожиданно хихикнул и уставился в свой стакан. Как будто человек давно загадал, что вот такая цифра выпадет в такой момент, и предвидение его сбылось.

— Айда, сибиряк, — несерьезно сказал он. — Учти, влипнем — оба за решетку, и никто не будет слушать, что ты тут вроде как экскурсант.

— Так даже интереснее, — сказал мрачный Адька.

В назначенный ночной час Адька пришел к той самой коряге у Кубани, у которой они познакомились. Из-за поворота вынырнула бесшумная остроносая байда, и Три Копейки, не глуша мотор, махнул рукой: «Садись!»

Они долго плыли в тени то одного, то другого обрывистого берега.

—Опасное место, — сказал Три Копейки, — здесь засаду им легче поставить.

Потом Кубань пошла в камыши, стоявшие плотной однообразной стеной. Три Копейки неожиданно ткнул лодку в камышовую стену, пробил ее, и они очутились в канале. Камыши почти задевали борта лодки, так длилось долго, нескончаемо долго, наконец вынырнула ровная сверкающая в лунном блеске гладь — лиман. Одну сеть Три Копейки поставил где-то просто посреди воды, черт его знает, как он потом собирался ее искать, сеть была начисто утоплена в воду, даже вешки не торчало. Лиман лежал ровный, от теплой воды пахло болотом, и в этом болотном запахе с неистовым рвением работали комары. Откуда-то из ночной темноты донесся стук лодочного мотора.

— Уйдем от греха, — сказал Три Копейки, прислушавшись. Он потянул шнур, и мотор приглушенно заурчал под чехлом. Вообще вялый завсегдатай заведения Иисуса Христа исчез, и Адька видел собранного, решительного человека.

На каком-то изгибе камышовой стены Три Копейки резко включил газ, лодка рванулась, и острый нос ее снова влетел в камыши. Через минуту они уже стояли в небольшом плесе, скрытые от всего мира.

— Ну вот, — сказал Три Копейки, — теперь нас ищи. Жалею я эту инспекцию. Им моторы казна дает, у нас свои, выхоженные, и лодки мы сами делаем, которые сквозь камыш, как сквозь воду, проходят. И стрелять он

в меня может, только если я в него перед этим пять раз пальну. И время у меня свое. Он отчеты составляет, а я изучаю местность. Жестокие законы нужны, чтоб нашего брата искоренить, а так... газетные статейки и небольшая польза. Я так думаю: увидел ночью в неположенное время в лимане лодку — и открывай огонь без предупреждения. Сейчас инспекция на одних засадах живет. Но лиманов много, их мало. Ну, наткнулся я на засаду, им надо мотор завести, а я в уход. Пока убегаю, я сети в воду сброшу, они у меня уже заранее к грузу привязаны. Без сетей — берите. Никакой суд не признáет меня виновным. Просто выехал погулять. Изнашиваются в этих условиях у инспектора нервы, и становится он простым обывателем службы за зарплату или нарушителем того закона, который и браконьера охраняет как личность и гражданина страны.

Неизвестная лодка долго кружила по лиману, пугая тишину стуком мотора. Один раз они прошли совсем рядом. Конечно, Адьке как порядочному гражданину надо было крикнуть, поднять шум и вообще сделать так, чтоб Три Копейки попался, наконец, со всеми уликами. Была у Адьки эта мысль, была, но только в теории, ибо действовал кодекс чести.

Моторка ушла. Три Копейки достал папиросу и сказал прикуривая:

— Я, сибиряк, тебя изучал для интереса. Моторка эта принадлежит Моте Гогольку, такому же, как я, хищнику рыбных вод. А инспекция вся нынче на другом лимане, у них там круговая засада с полным использованием техники и наличных сил.

Отсвет папиросы освещал щеки Трех Копеек и красным огоньком отсвечивал в бедовых глазах.

— Давай, друг, кончай свою работу, да едем к жилым берегам, — сказал Адька. — А просвечивать меня нечего. Схожу завтра в больницу и принесу тебе рентгенограмму. И еще копии закажу для желающих.

Видно, Адькина нервная система тоже начала сдавать, как у тех несчастных инспекторов.

БРЕД РЕВНОСТИ И ИЗВЕСТКОВЫЕ ГОРЫ

Все началось с того, что в райком комсомола (Колумбычев городок был районным центром) пачками поступали сигналы о безудержной вакханалии энергии у город-

ской и станичной молодежи, проявлявшейся по вечерам. Никакие сельские и прочие работы не могли ту энергию измотать, танцплощадки и прочие мероприятия с музыкой — тоже. Молодежь куролесила. После долгих размышлений райком нашел мероприятие: было решено устроить массовый выезд молодежи под благодатную, облагораживающую сень какого-нибудь леса и там устроить воспитательную смычку с интересными людьми. Пусть интересные люди расскажут, что они в юности не били стекла и курортников, не бесчинствовали, а жили совсем по-другому.

В разряд интересных людей, естественно, попал и Колумбыч. Лес же был найден в восьмидесяти километрах от городка. Это был знаменитый Варениковский лес, в котором в годы войны крепко партизанили люди.

Колумбыч не мог и не хотел оставлять Адьку одного в его пасмурном состоянии, когда он уже с браконьерами стал на уголовные вылазки ездить, и потому сказал, чтоб Адька отправлялся с ним. Адька отказался.

— Не беспокойся, — сатанински усмехнувшись, сказал Колумбыч, — она тоже едет. Я ее первую пригласил.

— А мне-то что, — сохраняя реноме, сказал Адька. Но ехать согласился.

Они помчались по пыльным кубанским дорогам мимо нескончаемых станиц, похожих на города, мимо орудовцев на свирепо рычащих мотоциклах, кукурузных полей, грузовиков с арбузами, пешеходов, бредущих по пыльным дорогам в неведомый зной.

Потом дороги стали петлять, и началось что-то вроде предгорий с увалами, поросшими жесткой шерстью низкорослого кустарника. По прогалинам увалов бродили стада овец.

Когда через виражи настоящей горной дороги они добрались до места, там уже скопился автопарк из нескольких зиловских автобусов и грузовиков. Сотня или больше молодых людей обследовали лес и дурачились. Мероприятие не начиналось, ибо не хватало еще двух автобусов из дальних станиц и организующей силы начальства. Колумбыч лихо приткнул «Запорожец» под сень громадного автобуса, и они вылезли на природу. Мадонна заявила, что она вся истряслась за эту дорогу, и села на травку, но Колумбыч мобилизовал ее на организацию хозяйства. Адька пошел посмотреть на здешнюю природу.

Здесь был другой, незнакомый Адьке лес из дуба,

орешника и бука, лес с другим цветом листвы, другим запахом и другим чувством леса.

В густых зарослях ажурная, покрытая толстым слоем перегнивших листьев почва влажно пружинила под ногами, заросли орешника на прогалинах тянулись гибко к солнцу, стоял запах прелой листвы, эфирный запах дуба и сильной сочной травы. Все это никак не походило на знакомый ему прозрачный запах хвойной тайги, и лес этот менялся на каждом шагу: непробиваемые заросли колючего терновника сменялись орешником, орешник — чистым дубняком с толстенным ковром листьев и пляшущими сквозь листья бликами вечернего света.

Когда Адька вернулся на сборный пункт, обстановка там изменилась. Инициативные люди натащили кучу сушняка и запалили гигантский костер. Вокруг костра собралась куча народа с гитарами и пели что-то не совсем подходящее программе. И костер начался раньше времени. Кое-где уже сидели и закусывали. В общем, веселье разгоралось вовсе не по плану, и охрипшие организаторы тщетно метались, пытаясь навести порядок. Они наводили порядок и объявляли программу в одном месте, но стихийное веселье вспыхивало в другом. Масса начисто вышла из-под контроля, и удержать лавину было почти невозможно — это хорошо знают полководцы.

В конце концов и организаторы махнули рукой и присоединились к группе солидных людей вроде Колумбыча, которые сидели вокруг отдельного небольшого костра и толковали о жизни, глядя на резвящуюся молодежь. Страшного, кстати, ничего не происходило, происходило нарушение регламента.

Южная ночь быстро падала на поляну. К костру подходило все больше людей, возникли аккордеоны, и начался пляс.

Адька с интересом смотрел на здешних сельских парнишек и девчонок. Совсем, совсем они не походили на ребят из его села. И девчонки и парни одеты были модно и танцевали твист, не жалея импортных мокасин.

Услышав звуки музыки и завидев пляс, Лариса забыла про свой растрясенный организм. Адька видел, как она переходит от одного партнера к другому и лихо отплясывает.

Адька пошел побродить в темноте. Вблизи он наткнулся на твердую белую дорогу. После света костра его охватила чернильная тьма, и он пошел по этой доро-

ге, которая четко светилась, как будто была намазана фосфором. Дорога шла вверх.

Где-то на повороте далеко внизу Адька увидел зарево костра и кольцо людей вокруг него.

— Наплевать, — сказал Адька. — На все наплевать в самом деле.

На обочине в траве зеленым светофором горел одинокий светлячок. Адька положил его на ладошку. Прохладное существо дружески стало светить ему.

Адька шел все вверх, два раза закуривал, а когда закуривал, клал светлячка на землю. Костра отсюда не было видно, музыка и шум уже не доносились, а дорога все шла. Наконец Адька почувствовал, что она выполаживается к перевалу.

На перевале громоздились какие-то невысокие скалы. Адька пощупал рукой рыхлый и ломкий известняк. Камни еще хранили тепло ушедшего солнца. Адька долго трогал рукой камни, ему приятно было ощутить их в этой глинистой пыльной стране, ибо много ночей он провел один на один с камнями вершин и свыкся с ними. Он пробовал разбудить сентиментальные воспоминания об оставшихся вдалеке друзьях, но ни черта не получалось. Ребята на работе, он в отпуске — вот и вся аксиома.

Сбоку от скал сквозь деревья был виден блеск звезд, отражавшихся в каком-то водоеме. Адька пошел туда.

Водоем оказался большой и черной лужей. В луже шевелилось и всплескивало, а по временам всплывало что-то большое.

Адька зажег спичку и увидел, как в двух шагах сидит и оторопело смотрит на него лягушка. Спичка потухла, и лягушка со страшным плеском бухнулась в воду.

— Чудеса, — весело сказал Адька. — Тут на перевалах лягушки живут.

Он сел на обломок какого-то ствола и стал думать о жизни. В ночной темноте жизнь казалась серьезной, значительной и звала к выполнению долга. Какого — Адька не мог себе четко представить, так как до сих пор честно выполнял все долги, но сознание долга было.

Подумав о долге, он решил спускаться вниз, знал: суматошный Колумбыч подымет тарарам на весь свет с его поисками.

Ему пришлось вернуться, так как он забыл светлячка на опустевшей сигаретной коробке. Тот покорно дожи-

дался Адьку, не пытаясь удрать. Адька доставил его на прежнее место и отпустил на свободу.

Веселье вокруг костра продолжалось, хотя народ редел. Адька понял это по тому, что на обратном пути встретил не меньше десятка парочек, которые тоже осваивали эту дорогу, ведя важные переговоры.

Колумбыч и не думал его искать: вокруг их костра образовалась веселая компания.

Разыскивала же Адьку Лариса.

— Где тебя носит? — спросила она, и были в ее голосе такие ноты, что Адька сразу оробел от предчувствия грядущих событий.

Они засели в «Запорожец», и Лариса рассказала Адьке историю своей жизни.

— Ты, Адик, малахольный, — сказала она. — И думаешь о себе и о людях черт знает что. Вроде моей мамы. Та меня, знаешь, кем считает? Как и ты по временам. А то, что у меня еще, представь себе, ни одного парня не было, так вам на это наплевать. Знаешь, как я жила? Я нищенкой была, если хочешь знать. Отец нас бросил, мать совсем растерялась, и мы бы с голоду умерли, если бы не я. Я хуже любого пацана была. Воровала на баштанах арбузы, арбузы меняла рыбакам на рыбу, а рыбу мы ели. А после войны в первые годы было совсем плохо, и мы с матерью по станицам ходили. Я как вспомню — готова умереть от злости на одну тетку. Я маленькая была, как клоп: живот да две спичечки. И на станции попросила у той тетки свеклы, которой она торговала, а она не дала. Я потом в школе поняла, что надо самой дорогу пробивать. Я на всех соревнованиях призы брала, а в прочих науках не очень, и решила я идти в физкультурный техникум после семилетки. Денег на дорогу с матерью кое-как собрали, а вся одежда у меня была — плащик, который из старого отцовского перешили. Я его до сих пор храню, тот несчастный плащик. Приехала я в Новочеркасск, а там уже набор заканчивают. Первый экзамен по физкультуре, и слишком много девчонок этот экзамен прошло. Стоят в спортзале последние пять допущенных, а остальным сказали: «Езжайте домой». Денег у меня на обратную дорогу нет, и тут я пошла на отчаянность. «Все, — говорит мне преподаватель, — езжай, девочка, домой. На будущий год». — «Дяденька, — кричу я, — дайте я перекувыркнусь!» — и шмыг на ковер. Ну, тут я им показала со злости. Они ахнули и говорят: «Все, девочка, считай, что зачислена».

После техникума я работала физруком и решила, что нужен институт. И как мне этот институт дался и как все эти модные тряпки я покупала — тебе не понять, я и работала по вечерам, и на стипендии экономила, и голодом сидела в общежитии.

А сейчас я институт кончу, и просто хочу хорошо жить, работать и долго быть красивой и радоваться всему. Понимаешь, мне танцевать нравится, плавать нравится, вообще радоваться. Я хочу по-настоящему жить, чтобы детей было много и чтобы все очень прочно.

— Дурак я, — сказал Адька. — Давай запишем в протокол.

— Нет, — сказала Лариса. — Ты очень верный парень. Я же вижу, что ты за все лето ни к одной девчонке не подошел. А те, с кем я твист пляшу, так они ветрогоны и балбесы. Мне с ними только плясать нравится. А среди хороших есть даже красивые, только это не ты.

Они проговорили так до рассвета, а утром, когда стало греть солнце, немного подремали на сиденьях, и вся угомонившаяся публика тоже поспала от усталости, кто где, чтобы днем ехать домой.

Комсомольское начальство все-таки добилось регламента: собрали народ, и интересные люди выступили перед ними. Главным и лучшим оратором оказался Колумбыч. Бессонная ночь ему была, как с гуся вода, и он с бодрой военной выправкой, даже какой-то побритый, рассказал о том, как служил в армии по окраинам государства, на границе с Монголией, как воевал на Халхин-Голе, и под конец рассказал даже о работе в экспедиции.

— Я всю жизнь хотел путешествовать, — говорил Колумбыч. — Армия дала мне эту возможность, а когда армия кончилась, то была топография.

Он так лихо рассказывал о работе топографов, что Адька только ахал.

А Лариса погладила его по руке и шепнула: «Я и не знала, что ты такой герой, представь себе».

Закончил Колумбыч призывом не бояться армии, ибо это школа и достойная человека жизнь, и призвал также не держаться за мамкин огород, а то потом вспоминать нечего будет.

Колумбычу аплодировали, и вопросов было много. Один лихой парнишка, не боясь хохота окружающих, спросил, как быть, если в армию его не берут из-за плоскостопия, а из дому не выпускают ни под каким пред-

логом. Только принудительным набором можно вырвать его из-под окулачившихся стариков.

— Иди к военкому, объясни ситуацию, — ответствовал Колумбыч.

На этом мероприятие закончилось. На обратном пути все дремали, один лишь Колумбыч четко, по-военному, вел машину.

НЕВЕРОЯТНЫЕ СОБЫТИЯ

Адька зря надеялся, что после этой поездки что-либо изменится. Все оставалось по-прежнему. Колумбыч только на разговоры и призывы оказался мастером. Начав опять чинить забор, он вдруг с остервенением переключился на постройку душа во дворе, чтоб спасаться от жары. Взгромоздил на столбы жестяную ванну и так мудро пристроил, что стоило нажать ногой дощечку — и текла вода, отпустить дощечку — вода прекращалась. После этого Колумбыч плотно ушел в изобретение специального прицела для дробового ружья, так чтобы из гладких стволов далеко стрелять пулей.

Лариса вела себя не лучше и даже больше помыкала Адькой, как будто раскаивалась в своем поведении в Варениковском лесу. Правда, у них появился сейчас укромный угол, метров за двести от ее дома, где они могли долго и тщательно целоваться в поздний час.

От всех этих бед Адька отупел и пал духом. Он только ждал, чтоб скорее кончился проклятый отпуск, ехать же никуда не хотел — зной и разлагающая южная обстановка высосали из него всякую инициативу. Он забрал у Колумбыча гоночный велосипед и часами гонял на нем по мглистым азовским пустыням.

В одиноких мотаниях на велосипеде Адька стал помаленьку открывать для себя азовскую землю, древнюю Тмутаракань. Открытие началось для него с запаха полыни. Растение диких степей — полынь лучше всего пахла в вечерний час, когда земля отдает накопленный днем жар. Запах этот как бы концентрировал в себе целые тома русской давней истории. И удивительная стать здешних девчонок теперь не удивляла его, видно, эти стройноногие дивы просто унаследовали красоту амазонок, ибо именно здесь поселила амазонок фантазия древних греков. Через эту землю бежала, спасаясь от гесперид, несчастная нимфа Ио, и, может, по дороге она успе-

ла родить и оставить здесь дочку, и не зря же отсюда была взята за чрезвычайную красоту жена для Ивана IV — «шемаханская царица».

Древняя земля греческой Меотиды открывалась для Адьки сквозь посвист ветра в одиноких, сожженных солнцем травинках и блеск лиманов в закатном солнце.

Купаться он ездил все на том же велосипеде, но не на пляж, который возненавидел, а в район заброшенного порта, где остались только длинный цементный причал и остатки взорванных надолб времен войны. В Старый порт купаться ездили любители одиночества, и там Адька всегда видел двух девушек, тихих, почему-то печальных и прекрасных.

Он никогда с ними не разговаривал, а только так день на десятый стал здороваться. Да разговаривать было и не надо, лучше не знать, почему они двое удалились от общества и почему печальны.

Дорога в Старый порт проходила мимо причалов действующего рыбацкого порта. Там стояли малогрузные сейнеры и шхуны, на шхунах тех сидели, свесив босые ноги с борта, моряки и удили бычков, а на леерах сушились мужские постирушки. Бродили по деревянным настилам жирные и важные «морские» коты. Адька думал иногда, что только сейчас, под конец, для него и начался отпуск, а так была неразбериха.

В конце августа у Адьки был день рождения. Он пригласил Ларису и старого капитана с женой. Больше приглашать было некого. Жена капитана взяла на себя заботу о столе и предложила зарезать пару кур для разных блюд.

— Конечно, — сказал Колумбыч и вдруг замолк. — То есть как? — спросил он наконец. — Зарезать? Марию Антуанетту зарезать? И съесть? — Весь Колумбычев вид отражал полнейшую растерянность.

— Ну, конечно, — сказала жена капитана.

— Не могу, — твердо заявил Колумбыч. — Пусть их режет кто хочет и ест кто хочет, а я не могу. И вообще непонятно. Есть же в Индии священные коровы, например.

Но, видно, сам факт, что куры, в том числе и Колумбычевы, для того и существуют, чтоб их в конце концов съесть, крепко Колумбыча надломил. Он стал задумываться.

День рождения прошел не особенно весело. У старого капитана в этот день сдало здоровье, и, отпробовав пару стаканов вина, он отправился на покой. Колумбыч был

задумчив, а Мадонна вообще никогда ничего не пила и тоже не очень веселилась.

— Знаете что, — сказал вдруг Колумбыч. — Махнем-ка мы сейчас в Анапу. Засядем в приличном ресторане, как приличные люди, счистим с себя мох.

Закипела деятельность. Мадонна помчалась домой наводить лоск, Колумбыч и Адька начали хрустеть крахмалом и запонками.

Через полчаса Колумбыча можно было вполне везти к английскому двору: сухощавая фигура в темном костюме и стальной блеск глаз на загорелом лице вполне допускали это. А Мадонна превзошла себя. Ее волосы казались сделанными из тяжеленной меди, приходилось думать о том, как может тонкая шея выдерживать эту тяжесть, и потому жалеть и оберегать эту девушку от всяких бед.

В Анапе, в южном ресторане с пальмами в кадках, где был какой-то полурумынский оркестр, и шорох моря доносился сквозь раскрытые двери, и имелась курортно чадящая публика, они устроили загул. Какие-то люди были у их стола, был какой-то очень смешной актер оперетты с печальными глазами, и много коньяку...

Проснулся Адька в машине и долго не мог понять, где он, пока не сообразил, что лежит в верном «Запорожце», переоборудованном Колумбычем для кочевой жизни. Рядом кто-то дышал. По тяжести волос на своей руке Адька понял, что это Мадонна. Он скосил глаза и увидел, что она спит, легко и доверчиво прижавшись к нему, вроде ребенка. Похмелья в голове не было, и Адька понял, что выпито немного, много было только шума и вообще чепухи. Он высвободил руку и выглянул в окно. Машина стояла у моря.

Проснулась Лариса.

— Слушай, — сказал Адька. — Давай жениться.

— Давай, — сказала она, потерла помятую во сне щеку и чмокнула Адьку теплым ртом.

В окошко просунулась рука с бутылкой кефира.

— Кефир алкоголикам полезен, — сказал голос Колумбыча.

— Где ты был? — спросил Адька.

— Знаем, да не скажем, — ответил Колумбыч.

Они поели кефиру с теплыми булочками, потом Колумбыч предложил заехать на пляж искупаться. Но перед этим они решили забрести в магазин и купить маску с ластами.

Чистенькая утренняя Анапа постепенно нагревалась солнцем. Около газировщиц уже начали скапливаться маленькие водовороты очередей, потоки людей с пляжными кошелками двигались к морю. Поливочные машины разбрызгивали на асфальт первую воду.

В магазине пришлось долго выбирать маску, потому что сенсимоновский нос Колумбыча не желал в ней вмещаться.

Пляж здесь был не тот, что в их городе. Во-первых, он культурно отделялся от местности каменной оградой, во-вторых, внутри той ограды было негде ступить. С трудом они разыскали свободное местечко.

— Пойду поплаваю, — сказал Колумбыч. Он надел ласты, маску, просунул под резинку дыхательную трубку, потом лег зачем-то на песок и мгновенно уснул. Адька начал заикаться от смеха, глядя на все эти манипуляции.

— Только ты и не думай, — строго глядя на Адьку, сказала Лариса, — ты и думать забудь про свою Сибирь.

Ветер донес до них запах жареного. Адька сориентировался и быстро отыскал будочку, где характерно толпилась кучка мужчин. Он помчался туда, взял палочку шашлыка, стакан рислинга и прибежал к Колумбычу.

Колумбыч выпил рислинг, сжевал шашлык, потом сказал ясным голосом:

— Ну, вот что. Хватит дурака валять. За сегодняшнюю бессонную ночь я понял, что куры, огород и я находимся на разных полюсах. Или я огород угроблю, или он меня угробит. А раз я кур своих есть не могу, так зачем их растить? И потом сегодня ночью в газете я прочел, что на юге переизбыток населения.

ПРОДОЛЖЕНИЕ И ОКОНЧАНИЕ ЧУДЕС

Адька с Ларисой зарегистрировали законный брак в загсе городка и стали жить в одной из комнат у Колумбыча.

Колумбыч же начисто ушел в сборы и приготовления к отъезду. Это была тысячелетне знакомая и вечно волнующая участников и зрителей процедура подготовки экспедиции. Колумбыч составлял списки, укладывал таинственные коробочки и ящики в угол комнаты и бурчал себе под нос загадочные слова.

Адька и Лариса были заняты изучением и исследова-

нием неизведанных континентов любви и семейной жизни, потому не особо досаждали Колумбычу, и потом Адька просто страшился приступить к решению возникшей перед ним главной проблемы. Но проблема та уже всплывала и начинала бурлить в ночных семейных разговорах.

В один из дней озабоченный Колумбыч на ходу сунул Адьке проштемпелеванную штампами и печатями казенную бумагу. Это была дарственная на дом, приусадебный участок со столькими-то лозами винограда, столькими-то яблонями, сливами и абрикосами. Заверено нотариусом, уплачены пошлины, сборы и налоги. Обо всем подумал в эти дни мудрый Колумбыч.

— Вот, — сказал Колумбыч. — Ты парень хозяйственный, у тебя пойдет. Взамен давай мне денег на дорогу. А работу здесь найдешь. Найдешь работу?

— Лариса узнавала, — подавленно сказал Адька. — Есть место землемера в сельхозуправлении. Землеустроителя.

— Ну и отлично, — сказал Колумбыч. — Ребятам я все объясню. Поймут.

Адька не сказал Колумбычу, что сегодня ночью был крупный разговор.

— Нет, — сказала Лариса. — Никакие экспедиции не для меня. Ты же видишь, что я городская. Мне юг и море нужны. И муж нужен живой, а не отсутствующий, которого по три года ждать. Я ведь изменять не могу, потому мне трудно ждать мужа. Ты меня любишь или там речки-горки какие-то?

— Тебя, — сказал Адька.

Колумбыч отбыл на автобусе в Краснодар в сопровождении громадного багажа.

— Знаю я тех балбесов и остолопов, — объяснил он. — У них, поди, сапог починить нечем, а про прочие деликатные работы и говорить нечего. Везу нужный инструментарий. — И любовно кивал на ящики.

День был мокрый, холодный, и было, как всегда, неуютно при прощании, когда один уже весь в дороге, его здесь уже нет, а у других мысли здешние. Колумбыч стоял в своем извечном коричневом плаще, лицо у него было тоже не шибко веселое. Загорелое, обветренное лицо пожилого чловека, обдутого ветрами окраин государства, крупноносое лицо запойного бродяги, который, раз начав где-то в далекой юности, уже не может остановиться или не считает нужным остановиться.

Колумбыч уехал. До землемеровой работы оставалось еще месяца полтора-два. Лариса должна была уехать на три месяца в конце октября, чтобы закончить счеты с институтом.

Адька стал освежать в памяти науку землеустройства и помаленьку знакомиться с задачами будущей работы. Шла семейная жизнь: завтрак, приготовленный женой, поход на рынок за продуктами и еще сбор у соседей советов, рецептов и правил ухода за садом.

Грызущая печаль сидела в Адьке, и день ото дня червь ее становился все злее, и никакой велосипед, никакое ошалелое купанье не могли от этого спасти.

В сентябре пляж опустел, как ветром сдуло кричащую, хохочущую коричневую толпу, утихли самозабвенные вопли ребятни, что копошилась у кромки воды. Стояли только столбы ободранных зонтов, запертый на железные полосы павильон, где продавали чебуреки и вино, оставались неистребимые обрывки газет, которые ветер гоняет по пляжу до тех пор, пока их не смоет и все не очистит волна осенних штормов.

У Адьки было время для размышлений. Кто же в конце концов виноват в случившемся: Колумбыч с его хитроумным даром или он, Адька? Выходило, что он сделал солидную подлость, и прежде всего по отношению к Колумбычу. И тут уж, как ни крутись, а необходимо ее исправлять.

Оставалось дать сакраментальную телеграмму южного отпускника: «Шлите телеграфом денег на дорогу», что Адька и исполнил в конце сентября.

Заглушая все печали, запела труба странствий. Труба та рождает энергию и четкую логику действий. Было много слез, первых семейных сцен и решительных объяснений. Но неумолчный зов трубы стоял надо всем, и тонкий пустынный звук ее звал к выполнению долга.

Автобус шел слишком медленно, и Адька поймал такси, чтоб ехать сто километров до Краснодара, а дорогой смотрел в затылок шофера, внушая, чтоб ехал быстрее. В самолете он смотрел на дверцу пилотской кабины, и сквозь ее металлическую преграду внушал пилотам, чтоб они быстрее гнали тяжелый реактивный лайнер, гнали к Хабаровскому аэродрому, где в ресторане «Аквариум» заливают горе вином потерпевшие крушение неудачники, коротают время до вылета сонмы горящих надеждами и радужными мечтами отпускников, летящих на юг, на каменных плитах и в модерновых креслах аэровокзала

мается в ожидании бродячий северный и восточный люд от могучих диктаторов золотых приисков до молодых специалистов и жилистых бывалых работяг горных разработок.

В городке после суматошного и исполненного волнений лета осталась одна Лариса, владелица трехкомнатного особняка, перечисленного количества плодовых деревьев и удравшего мужа.

А самолет летел слишком медленно, ибо, кроме Адьки, он вез еще и тяжкий груз Адькиных жизненных шрамов: первых семейных сцен, слез и ночных объяснений. Хуже всего было то, что Адька оказывался в стане странного племени однолюбов. Шрамы на Адькиной душе с хрустом оформлялись, и он думал о том, как много скрывается за рядовой и привычной телеграммой: «Шлите денег на дорогу», вспоминал, как они всегда дружно гоготали над этими телеграммами и с гоготом отправляли посыльного с монетой до ближайшей почты. Его мужская семья, конечно, сделала так же.

Отдохнул, в общем, Адька на юге. Впрочем, кто знает, чем еще все это кончится.

А человек по имени Три Копейки, с которого начался рассказ, оказался или дураком, или мудрым трусом, ибо в ответ на Адькино предложение ехать в экспедицию рабочим сказал: «Местность эта и жизнь не особенно меня прельщают. Но достоинство их в том, что я до тонкости знаю каждый винтик и весь механизм. Этим бросаться не приходится».

Печальные странствия Льва Бебенина

1

В результате непонятного замысла природы небо над головой было цвета грязной подкладочной ваты. Лишь на самом горизонте в этот рассветный час держалась отрешенной синевы полоска. Снизу в полоску вгрызался хаос лиственничных вершин — смысл, назначение этого хаоса не суждено разгадать цивилизованному человеку, сколько бы он ни старался.

Груды земли по краям золотоносного полигона, залепленные пещерной грязью бульдозеры, с задранными

вверх сверкающими ножами, и сам полигон — гладкая равнина мокрой земли — дополняли невеселую декорацию мест, где моют золото, желтый презренный металл.

Лев Бебенин, контрабасист из бродячей эстрадной труппы, которую собрал по весям и городам предприимчивый человек Леня Химушев, шел через полигон, рассчитывая кратким путем выбраться к речке. Направление вчера вечером указал известный абориген Ваня Не Пролей Капельки. Он же, придя в человеческое состояние души, принес в гостиницу резиновые сапоги. Все остальное, необходимое для рыбалки, Бебенин возил с собой.

Причин, которые заставили его подняться в такую рань, было две: во-первых, директор прииска, однофамилец знаменитого гонщика Омара Пхакадзе, запретил выступление труппы до субботнего дня, во-вторых, контрабасист Бебенин, несмотря на богемную жизнь, был рыбаком. Итак, он шел и насвистывал мелодию «Оскорбленный закат» джазового болгарина Карадимчева.

Ночью прошел дождь. Раскисшая земля чавкала под сапогами. Вначале это была «торфа», как ее здесь называли с ударением на последнем слоге, — бесплодная верхняя шкура земли. Под торфой лежали «пески», они-то и содержали золото. Пески сгребали в циклопические груды, чтобы промыть грохочущей установкой, извлечь из земельных тонн граммы драгматериала.

Он пересекал полигон, думая, как бы скорее добраться до речки. В Сибири множество рыбы. Сведения из заголовков газет. В руке он нес чешское фиберглассовое удилище и швейцарскую сумку. В сумке лежали катушки лучшей в мире японской лески, набор лучших в мире шведских крючков и набор лучших в мире мормышек, которые изготовляют и продают у магазина «Рыболов-спортсмен» на Таганке родившиеся до Аксакова деды. Лева Бебенин любил классные вещи и знал в них толк.

Грязная подкладочная вата расползлась на мгновение, из просвета высветился желтый косой луч, и в то же время в стороне, чуть впереди и справа, рядом с лужей воды, что-то тускло блеснуло. Он замер, как на поклевке; еще не успев что-либо осознать, даже скосить в ту сторону взгляд, по смутному всплеску души понял, что нашел самородок.

Он не в первый раз выезжал с Леней Химушевым в

золотую Сибирь и был знаком с приисковым фольклором.

Втянув голову в плечи, он медленно оглянулся. Полигон был пуст и тих, как тихи бывают в утренние часы улицы города или цехи завода, грохочущие работой места. На дальних грудах земли, расположенные цепью, щерились металлическими челюстями бульдозеры. Окна кабин были темны.

Самородок лежал в намытой дождем коричневой жиже, и та его грань, что сверкнула, была срезана наискосок бульдозерным ножом, а может, перехвачена траком.

Он оглянулся еще раз. Ему показалось, что за темным стеклом одной из бульдозерных кабин сидит и смотрит на него наблюдатель. Из-за груд песка торчали головы в темных шапках. Он нагнулся и схватил самородок. Но мерзлая глыба земли самородок не отпускала. Он несколько раз пнул по самородку литым носком пудового сапога. Самородок вывалился вместе с налипшим к нему грунтом, и в образовавшейся ямке тотчас стала скапливаться мутная, самогонного цвета вода.

За полигоном, перевалив через гигантскую насыпь «торфы», в залитом соляркой и дизельным маслом кустарнике, Лев Бебенин с трудом отдышался. На сером от нездоровой ночной жизни лице его выступили капли пота, и вообще это лицо, губастое, украшенное идиотскими бачками, которые в тот год как раз вошли в моду среди определенного люда, было сейчас по-человечески растерянным, как у сильно озадаченного ребенка.

Лев Бебенин осмотрел самородок со всех сторон. Сам того не замечая, он держал его так, что жилы вздулись на тыльной стороне ладони и побагровели основания ногтей. Самородок был большой. Около килограмма. На окатанных водой боках его кое-где жирно отблескивали вкрапления мутного кварца. Вообще же он вовсе не походил на *то самое золото*, и только пугающая тяжесть на ладони внушала и говорила, что...

2

Разглядывая самородок, Бебенин вдруг услышал крадущиеся, осторожные шаги. Он быстро сунул самородок под кусок дерна, вскочил и взбежал на насыпь торфов. Пуст был полигон. Он вернулся и снова услышал эти шаги. Он тщательно огляделся. И увидел в трех метрах от себя сломанную ольховую ветку, которая шаркала

по ржавой бочке из-под солярки. Дико улыбаясь, он сунул самородок в швейцарскую сумку и напролом пошел через мокрые, растрепанные техникой кусты.

Он уткнулся в ручей, приток реки, на которой стоял прииск. Ручей был первозданно чист, если не считать нескольких консервных банок и бутылки «Спирт питьевой», надетой горлышком вниз на сухую ветку. Наискосок, через перекатик, торчал невысокий обрывчик с полянкой. Он перешел ручей и, обогнув кусты, вышел на эту полянку. На полянке имелись следы костра какого-то аккуратного человека. Отсюда Бебенин мог видеть свой след, который темной полосой выделялся на белесом от влаги кустарнике. Он машинально стал насвистывать мелодию Найла Хэфти «Невеселый Тэдди». Потом закурил.

И таково уж было устройство души контрабасиста Льва Бебенина, что недавнее ошеломление и недавний страх как-то отошли в сторону, стали замываться мелкими движениями мыслей, как замывается в бегущем ручье след сапога на песке. Недаром в своих кругах он числился под кличкой «Беба», взятой от фамилии и английского слова «бэби», что означает «дитя».

Самородок он мог сдать в золотоприемную кассу. Это он знал. Знал и цену.

В заводи хариус показал темную спинку, отсветил жестяным боком.

Без всякой связи, в вопиющем несоответствии с моментом, он вспомнил вдруг одного знакомого пианиста, у которого была обезьяна, макака-резус, по кличке Гриша. У этого пианиста рука от рождения была устроена так, что она точно ложилась на клавиши, если бы даже он играл, стоя на голове. Свою жизнь в искусстве, а также личную жизнь этот человек пропустил мимо, и осталась одна обезьяна и еще до странности нервная беззащитность, которая свойственна талантливым людям до конца их дней.

Обезьяна Гриша, видимо, все это знала, и потому, когда загулявший эстрадный люд вваливался в захламленную квартиру пианиста, обезьяна начинала кусать всех подряд. Потом она уходила в угол, косила печальным глазом на шумный стол и закрывала голову попонкой. Было принято звонить ночью по телефону.

— Можно Григория? — спрашивал голос очередной подученной дуры.

— Кого? — переспрашивал ошалевший от нездорового сна пианист.

— Ну, Гришу, макаку-резус. Спросите: он меня замуж возьмет?

— Нет, — тихо говорил хозяин и клал было трубку, но спохватывался на полдороге и дико орал в пластмассу: «Ду-у-ра!» В трубке слышался смех. В какой-то далекой телефонной будке был достигнут эффект веселья.

...Хариус развернулся, сделав крохотный водоворот наверху, ткнул носом мошку, и темная спинка его растворилась в темной воде, как будто и не было никогда. На том месте, где он ткнул мошку, остались еле приметные круги воды.

Из-за кустов, со стороны полигона, прыгнул влажный, холодный ветер. Кусты зашумели, и несколько ледяных капель упали Льву Бебенину на лицо. Вода покрылась черной рябью. Ватная пелена вверху разорвалась, и в середине ее образовался холодный зеленый просвет, похожий на рыбий глаз.

Далеко на прииске дробно затрещал тракторный пускач, и через мгновение взревел и заклокотал дизель.

И опять-таки далекий звук трактора слился с мелодией, которую играл чокнутый пианист в промежутке между сороковой сигаретой и второй рюмкой. Это была музыка, тут Бебенин мог поручиться, так как все-таки почти кончил училище по классу виолончели. Пианист редко ее играл, но всегда в таких случаях выходила соседка, женщина-инженер с какого-то завода, выгоняла всех, кто был в комнате пианиста, и открывала форточку. Пижоны ее боялись, боялся и Бебенин. Соседка, до того как стать инженером, прошла всю войну санитаркой. Тяжеловато было с ней спорить. Просто сказать, невозможно.

И тут Лев Бебенин, несостоявший виолончелист, известный в богемном мире под кличкой «Беба», совершенно определенно сунул самородок на дно швейцарской сумки, прикрыл его травкой и еще рыболовной снастью, катушками японской лески, коробками шведских крючков.

«Умей поставить в радостной надежде на карту все, что накопил с трудом...» Так писал поэт колониализма Киплинг, воспевавший твердых людей.

На прииске заработал еще один дизель. Начинался трудовой день. Бебенин посмотрел на часы. Семь утра. В семь прииск уже на ногах. Встречные начнут расспрашивать насчет рыбы. Надо прийти с другой стороны. Позднее восьми. Коллеги будут еще дрыхнуть, приисковые уйдут на работу.

Он вскинул сумку на плечо и пошел от речки через кусты, огибая полигон. Вскоре он промок насквозь, только ноги в резиновых сапогах были сухи.

Кустарник сменился болотом, поросшим редкими лиственничками. Лева прыгал по кочкам, и самородок в сумке при каждом прыжке бил его по спине. Поскользнулся на мокрой кочке и шлепнулся в торфяную жижу. Зеленая синтетическая куртка была испорчена.

Беба выматерился. Он чувствовал себя наследником старого племени таежных золотарей. Ничего были ребята, с оружием в руках. Про них тоже слыхали.

На близкой трассе, натужно завывая, шел на подъем МАЗ. Он переждал, пока завывание исчезнет. Из кустов осторожно осмотрел трассу вправо и влево. Трасса была пуста. Бебенин в три прыжка пересек ее и углубился в таежную хмарь, где не было никаких полигонов, были только проплешины на месте вырубленной тайги и еще дальше торчали мрачные склоны сопок. Именно отсюда он и решил выйти в поселок.

Выжидая время, долго курил на пеньке.

Тайга на него давила. Он даже курил по-другому: спрятав сигарету в кулак. Получалось так: сдай самородок в кассу — живи спокойно. Но знал, что часто будет об этом жалеть и еще больше будет жалеть, когда над ним будут измываться приятели, собутыльники, коллеги. Сдать так, чтобы никто не знал, вряд ли удастся. В газете еще напечатают, прославят дураком на весь Союз. Но не зря его звали Бодрый Беба, на современный манер. Где-то в уголке мозга гремела бодрая музыка, мелькали смутные видения жизни.

Но эти видения жизни как-то были действительно смутны и неясны. Ну много денег. Ну выпивка, закуска, сногсшибательный гардероб. Несерьезно все это. В путаных жизненных связях Льва Бебенина числилось знакомство с одним индивидуумом, работавшим по валюте. У того было много денег. Но не было яркого блеска жизни, калейдоскопа чудес «все позволено», не было шепота зависти и восхищения. И кончил он очень плохо. Смурачно кончил. В колонии под часовым, на лесоповале... Да-а...

А совсем уж сбоку всплыла нелепая в этот момент мысль о том, что собирался стать виолончелистом. И стал бы, если бы не бросил. А почему бросил? Потому что лет двадцать труда, и впереди туманная перспектива славы. Зачем пятидесятилетнему деньги и слава?

Необходимо быть мудрым как змий. Мудрым и точ-

ным. Лев Бебенин курил сигарету за сигаретой, оттягивал время. На прииск необходимо прийти с готовым решением. Он не мальчик, изнанка жизни ему знакома, и он может себе представить все опасности липкой от страха тропы подпольной торговли золотом. Но он не украл, он нашел. И всего один раз. Можно на сей раз всерьез начать Новую Жизнь. Да, да, такие подарки судьба повторять не будет.

Небо на востоке стало желтым. Оно стало холодного желтого цвета. От тайги за спиной шла темная сила, крепила душу. Не будь сопляком, Беба. Восемь рубликов грамм — цена подпольного рынка. Надо только найти человека. Паспорт ему предъявлять не надо. Не будь сопляком, не смеши народ. А может, на этом прииске каждый в чемодане по килограмму держит. Не Пролей Капельки, например.

3

Не Пролей Капельки давно перешагнул грань, когда человека интересует фотография на Доске почета или заработок сверх минимально необходимого. Он, что называется, «отхильхял» — сей местный термин означает равнодушие человека ко всему, кроме выпивки, сна и еды. Перегорев в незапамятно дальние времена шального золота и лихой старательской добычи, Не Пролей Капельки работал кочегаром в поселковой котельной и в утренние часы ждал, когда к нему придет смерть. В целом же он был беззлобен, услужлив и числился достопримечательностью поселка, так же как окрестные сопки.

Когда Бебенин приблизился к нему, он сидел на пороге бездействующей по летнему времени котельной и разбирал водопроводный кран. В местах, где строят дома, на такие предметы всегда спрос.

— Привет! Будем жарить закуску? Наловил харюзов-то?

Беба вынул из сумки большую бутылку вина, по дороге он зашел-таки в магазин.

— Нет хариусов, — сказал он. — Рыбка плавает по дну...

— Этт-ти чернила можно без закуси, — сказал Не Пролей Капельки. — А знаешь, почему харюзов нет?

— Почему?

— Снасть у тебя очень блискучая. Для такой снасти необходим... водоем. Чтобы берега мрамором выложены и разные там эвкалипты. А у нас что... ручьи!

— Кончай баланду, — подлаживаясь под тон, сказал Бебенин. — Давай посуду. И расскажи что-либо. Например, про прошлые времена. Про золото там. Уголовников помнишь, наверное... Ведь помнишь, а? Места у вас знаменитые.

Над прииском плыл нормальный трудовой день. Издалека доносился рокот бульдозеров. Прошел в небе самолет Ил-14. Прогрохотал куда-то вертолет. Стайка пацанов отправилась в тайгу. Поселок был пуст, почти вымер, ибо было время промывочного сезона.

Они сидели на пороге котельной, и Беба умело вел беседу по извилистому и крайне интересному руслу.

— ...Жил, получается, старичок на трассе. Содержал теплушку. Зимой здесь, понятно-понял, морозы, и шоферу что надо: переночевать, воду для мотора согреть и высушить валенки. Потом приехали товарищи и извлекли из-под койки у старичка. Что извлекли? Шестнадцать килограммов золотого песка. Понятно-понял? По другим слухам, извлекли сорок килограммов. Задержали кого-то на материке, и нитка привела к старичку. А сколько он до этого переправил? Я тогда сильно взволнованный был. Куда, думаю, он деньги девал? Потом вспомнил, куда я их сам девал, и успокоился. Понятно-понял?

Не-е! Любой не потащит. Потому что плохо все это. Из-за дурных денег жизни лишаться. Закону все равно: что щепоть, что пуд. Конешно, пуд выгоднее. Один фокусник, знаешь, что сделал? Растворил в кислоте этой, в царской водке. И налил в бутылки вроде фруктовой воды. Пить он, видишь ли, в самолете желает. Так бутылки в сетке на виду и повез. Попался на третий раз. За ним уже след был. Понятно-понял, высшая мера наказания.

— Так все и попадают? — криво ухмыльнувшись, спросил Беба.

— Так ведь кто не попадает, про тех мы не знаем, — резонно сказал Не Пролей Капельки.

От портвейна, тяжкого влажного воздуха и разговоров голова у Бебы кружилась. Не Пролей Капельки сидел, вспоминая былое. Обмороженные, ободранные, обожженные старательские ладони свисали с колен.

— Пойду! — сказал Лев Бебенин.

— Заглядывай! — Старик взял было кран, но подумал и положил обратно.

«Налакался!» — с презрением решил Беба.

— Эй! — вдруг окликнул его Не Пролей Капельки.

Глаза старика, мутные и пьяные еще десять секунд

назад, смотрели на Бебу с веселой и ясной насмешкой.

— Не надо! — сказал он.

— Что... не надо? — чувствуя холод на спине, спросил Бебенин и сглотнул сухой ком.

— Вообще... не надо. Понимаешь? — старик, то ли он был великий актер, то ли свихнутый, вдруг задурнел. Снова отвисла губа и глаза помутнели.

Беба выругался вполголоса и зашагал прочь.

— Эй, я шутю! — звонко и дурашливо крикнул вслед Не Пролей Капельки.

4

В местах, жизнь которых связана с драгоценным металлом, служат не очень заметные товарищи, работой которых является предупреждение хищений золота и расследование таковых, если хищение все-таки состоялось.

Товарищ Говорухин два года назад окончил должное учебное заведение и был направлен для начала на этот прииск, ибо прииск считался «тихим», очень надежным предприятием с производственной и иных точек зрения. Когда Говорухин провел все мероприятия, которые требовала инструкция, и сделал сверх, что считал необходимым, ему оставалось только ждать ЧП. Прошли два грохочущих промсезона, ЧП не случалось. И вдруг позвонила Колдыбина из золотоприемной кассы. Колдыбина сообщила, что бульдозерист Николай Большой сдал найденный на полигоне самородок, разрубленный пополам. Помолчав в трубку, Колдыбина добавила, что, по ее личному мнению, самородок разрублен ножом бульдозера, и, еще помолчав, добавила, что, уж во всяком случае, Николай Большой тут ни при чем.

Товарищ Говорухин Колдыбину внимательно выслушал, сказал в трубку «ага-ага» и тут же позвонил в милицию, приказав, чтобы бульдозериста доставили в кабинет отсутствующего в данный момент начальника милиции, где сам он будет через восемь минут.

5

В местах, где все зовут друг друга по имени, для различия людей есть прозвища или иные определения. В поселке работало три Николая-бульдозериста, и пото-

му один был просто Николай, второй — Коля-Ваня и еще Николай Большой, прозванный так за габариты, молчаливость и резкость в манерах, происходившую то ли от характера, то ли от общения с грубым дизельным механизмом.

В то утро Николай Большой на полигон пришел раньше всех, чтобы проверить перед работой машину, стук мотора которой к концу вчерашней смены ему не понравился. Ничего особенного он не обнаружил и принялся, как обычно, утюжить полигон. На пятой или шестой ездке отработанным глазом он заметил в груде вздыбившейся перед ножом земли тусклый отблеск. Выключив сцепление, он вылез, забрался на груду песков, поковырял кирзовым сапогом и поднял самородок. Самородок был странный, резанный пополам. Он сунул его в карман штанов и снова начал работать, догадываясь, что вторую половину искать бесполезно в сотнях земельных тонн. Золотоприемная касса работала до шести вечера, и он решил, что вполне успеет зайти туда после смены.

Вскоре начали работать и другие машины, и полигон зажил обычной жизнью.

Вечером Николай Большой отнес самородок в золотоприемную кассу, которая помещалась в доме, срубленном из лиственничных бревен в давние времена, когда здесь еще имелась лиственница. В окошечке, вырезанном в металлической сетке и фанере, сидела Тося Колдыбина, суровая женщина, какие получались из комсомолок тридцатых годов. В тридцатых годах ее откомандировал сюда комсомол Ленинграда по спецнабору, и с тех пор она была занята приемкой золота. О золоте она знала только то, что это заприходованный металл. О людях же, связанных с золотом, она знала больше многих энциклопедий мира.

Она взвесила самородок, записала на счет Николая Большого триста шестьдесят три и шесть десятых грамма, составила акт на странное состояние самородка, дала его подписать и предупредила, что позвонит куда следует. Так требовала инструкция.

Так и получилось, что Сергеев, приятного вида высокий и аккуратный старшина милиции, извлек Николая Большого из кухни общежития, где он, опоздав из-за задержки в кассе в столовую, грел на сковородке болгарские голубцы в размере трех банок, так как работа бульдозериста требует крупной еды. Николай Большой грел голубцы и привычно ругал коменданта, который отбирал

самодельные электроплитки. На плитке же, купленной в магазине, при теперешнем электронапряжении час греть голубцы и час греть чайник. Он обругал и старшину Сергеева, заявив, что поест и сам придет в кабинет начальника Якова Сергеевича. Якова Сергеевича Николай Большой уважал. Прямо со сковородки он заглотал голубцы и пошел в милицию, думая по дороге, что если бы найти еще самородок, то можно купить племяннику мотоцикл «Ява», который тот просит второй год. О том, зачем вызвали, он не думал. Скажут.

В кабинете начальника милиции Якова Сергеевича сидел не сам Яков Сергеевич в своих привычных очках без оправы и в мятой форме, а неизвестный молодой человек со скромным лицом. Молодой человек порасспросил бульдозериста о том, о сем и насчет анкеты.

— Вы бы сказали, зачем вызывали? — хмуро сказал бульдозерист. — Мне надо в кино успеть.

— Где вторая половина самородка? — неожиданно сказал молодой человек.

И только теперь до Николая Большого дошло: его подозревают в хищении. Он поднялся, подумал и беззлобно сказал:

— Иди ты, друг, знаешь куда... — а сам направился к выходу.

Но выйти из милиции ему не пришлось. Его заперли в КПЗ. Ночь он проспал безмятежно. Утром его разбудил рев бульдозеров на полигоне. Он сразу вспомнил, что машина Коли-Вани сейчас в ремонте и, чего доброго, халтурщика Колю-Ваню могут посадить на его машину, которую тот загробит, как и свою. Без размышлений Николай Большой вышиб дверь КПЗ, запиравшуюся скорее на символическую задвижку, и отправился на работу. Никто его не задержал.

Ночью вернулся начальник отделения милиции Яков Сергеевич и забрал к себе «Дело №... о разрублении самородка и исчезновении части его». Ему также позвонил директор Пхакадзе и с южным темпераментом заявил, что в разгар промывки арестовывать лучшего бульдозериста есть преступление.

— Меня арестуй, бульдозеристов не трогай, — кричал в трубку Пхакадзе.

— Я понимаю, — дипломатично сказал Яков Сергеевич. Он действительно понимал, так как был старожилом и знал, что такое ураганное время золотодобычи.

6

Концерт в клубе состоялся, как и сказал тов. Пхакадзе, в субботу. Состоялся он в новом клубе, выстроенном с приличествующим размаху местного производства числом колонн.

Около клуба имелись два цветника, изящно обрамленные донышками пустых бутылок — влияние приезжих с «материка», считавших, что и пустые бутылки можно пустить в дело. Имелись здесь также лиственнички, посаженные на месте вырубленных в геройские времена освоения. Лиственнички стояли в этой сумятице грохочущих самосвалов трогательные и беззащитные, точно голые дети, ибо они были извлечены из тайги, которая коллективным скопом боролась за жизнь против здешнего климата и бесплодной почвы и только коллективом держалась. Но если этим лиственничкам суждено было погибнуть, то, во всяком случае, не от людской руки, потому что ни на одной даже прутик не был надломлен, несмотря на частое скопление вокруг мятежных мужских масс.

Концерт получился что надо: Леня Химушев знал, куда везти свой коллектив, и знал свое дело. В бессонные ночи Леню Химушева мучило непризнание. Более того, презрение общества, которое не понимало, что именно он, Химушев, ловкач и пройдоха по общему мнению, двигает радость культурного бытия, ритм века в точки страны, где население больше всего в этом нуждается и приемлет с открытой душой.

На этой ниве он делает больше многих генералов культуры, а имеет за это что?

И во многих аспектах своих бессонных дум был нелегальный антрепренер Химушев Леня полностью прав. Если бы страшный суд действительно был и если бы на этом страшном суде человек рассматривался с точки зрения полезности бытия, а не нравственных категорий, многое бы на нем списали грешнику Лене.

В клуб пришли отмывшиеся в душе бульдозеристы в нейлоновых, немыслимой белизны рубахах и костюмах из тканей невероятной стоимости и невероятного же покроя — работа невидимых миру пройдох. Один пришел даже в галстуке, но скоро понял, что это уж слишком, почти отрыв от коллектива, и потому в углу коридора галстук снял, спрятал в карман и от смущения на собственную интеллигентскую подлость расстегнул на одну

пуговицу на вороте больше, чем полагалось по клубной норме, так что стала видна наколка с общеизвестной надписью про отсутствие всякого счастья.

Пришли девчонки: съемщицы золота на промприборах, электрики, поварихи. Все были в импортных джерсовых кофточках и приличных делу туфлях.

Пришла Тося Колдыбина в неизменном жакете военных лет и прежде всего обошла и потрогала лиственнички, ибо она их и сажала, как в прежние времена вырубала, что требовал тогдашний размах.

Химушев был гениальный администратор. И оркестр исполнил для начала эхо сезона «Ты уехала в дальние страны...» композитора А. Пахмутовой и этим напрочь распаковал зал. Петь в труппе эту песню было некому, да и не надо было ее петь, а просто сыграть в соответствующей обработке и достаточной длительности, чтобы аудитория, так или иначе похожая образом жизни на геологов, могла вначале раскрыть сердце, а потом углубиться в него и подумать.

Потом подобранная в Хабаровске недоучившаяся певица по кличке Арбуз, аппетитная, если смотреть из зала, брюнетка с челкой, исполнила моду момента «Пампам, пам-па-ра-ра-ра-пам», и распакованные предыдущим сердца слушателей выдали ей аплодисменты, каких она никогда в жизни не слышала и никогда не услышит.

Вслед за Арбузом пройдоха Химушев выпустил Женю Мурыгина, потому что этот белесый и сонный с виду парнишка был трубачом по призванию. В халтурную Лёнину труппу он попал в результате случайного недосмотра талантов.

Впрочем, он был согласен играть когда угодно и где угодно, не особенно интересуясь оплатой.

И когда на смену халтурным выкрикам «моды момента» в зале поплыл тонкий и чистый звук печальной трубы, зал притих, а Женя Мурыгин почувствовал сразу, что слушатель ценит и понимает, и поэтому сразу забыл про зал и остался один на один с трубой. И пустынный зов его инструмента рассказал людям грубого физического труда: бульдозеристам, экскаваторщикам и пломбировщикам о высшем смысле жизни мужчины, о чести и долге, а также о многом другом, что может рассказать труба в настоящих руках.

Жене Мурыгину аплодировали не как Элке Арбуз,

совсем по-другому — доверчиво и тихо принял его зал.

Химушев рассчитал все точно: Мурыгин окончательно «сломил» зал. На волне его успеха он выпустил саксофониста Будзикевича, халтурщика в жизни и музыке, который никогда не был и не будет саксофонистом. Будзикевич сошел вежливо. Концерт катился.

Все шло как надо, и никто не обращал внимания на парня с контрабасом. Выделяли этого парня разве что идиотские баки на бледном лице, а так он вел себя, как положено вести себя джазовому контрабасисту: где надо дергал струну, где надо вскрикивал, отбивал такт ногой или сгибался в показном экстазе, отдавая поклон струне.

7

Обратно, в краевой центр, оркестр возвращался на машине «татра», выделенной товарищем Пхакадзе вместе с полуторной суммой гонорара за счет фонда директора и приглашением приезжать еще, к окончанию золотопромывочного сезона. «Пойми, душа, сейчас не до вас, — сказал Пхакадзе администратору Лёне. — Ты привози, душа, когда работу окончим, тогда мы сами тебе концерт дадим. Сам на сцене плясать буду».

На это Химушев дипломатично ответил, что к моменту окончания промывки труппа будет весьма далеко, если будет, но что всякое также может случиться в сей бренной жизни.

...«Татра» с ревом взбиралась на перевалы и сквозь шумящий воздух неслась на ровной дороге, пробивала дождевые заряды, туман и пятна скупого солнца. Оркестранты и Элка Арбуз сидели в кузове под брезентом, выданным все тем же Пхакадзе. В кабине шофера сидел администратор Химушев. Элка Арбуз куталась в меховую куртку, специально для нее взятую шофером, и думала о подружках, которые теперь зазнались, о завистниках и хамах и... черт ее знает, о чем она еще думала.

Остальные чувствовали себя лучше, чем можно было ожидать. Вой дизеля на подъемах, окрестные сопки и сам факт путешествия в кузове на многие сотни километров рождали у оркестрантов некие мыс-

ли о бродячей судьбе артиста и соответственно чувство самоуважения.

Лев Бебенин был молчалив, и в голове его крутилась мысль, которая возникла во время концерта. Он смотрел тогда из-за спин коллег на зал, на всех этих работяг, девчонок этих, на начальство и просто публику. Тогда ему пришли слова, исполненные трагического смысла и значимости: «Мы по разные стороны баррикад». Сейчас он был по разные стороны баррикад с коллегами, хотя какие могут быть баррикады при виде и имени Лени Химушева, масляного жука?

«Мы по разные стороны баррикад», — с маниакальной навязчивостью крутился магнитофон. Сон, бред, воображение вползали на бесконечную ленту дороги.

В город они приехали в ранний утренний час. Город был пуст. Его посыпал мелкий дождик. Асфальт блестел как отлакированный, и на асфальте стоял милиционер в форме. При виде милиционера у Бебенина вдруг мучительно сжало живот, и ему захотелось одно: закутаться в брезент и тайком уехать обратно на прииск, ночью положить самородок в ту самую ямку, забыть про все. Но не было уже ямки, ее срыл бульдозерный нож, и обратно невозможно поехать.

«Выкину!» — дико подумал Беба. Машина катилась по улице к гостинице, а он все смотрел на милиционера и вытягивал шею.

«Выкинуть никогда не поздно», — сказал чуть слышно мерзкий, с хрипотцой голос. Так ясно сказал, что Беба оглянулся.

— Это, Бебочка, город. Тут люди живут, — с неизвестным юмором сказал Будзикевич.

Беба не ответил, не огрызнулся.

— Бебочка забалдел, — зевнул Будзикевич и добавил: — Пива охота. Тут пиво дают?

При слове «пиво» Лева Бебенин очнулся. «Забудь! — приказал он самому себе. — Забудь! Ничего не случилось».

8

А боялся он совершенно напрасно. Не было майора с седыми висками, который курил третью пачку папирос и размышлял о его поимке. Не было везучего молодого лейтенанта угрозыска, который делал

бы ошибки, идя по Бебиному следу, исправлял эти ошибки с помощью старших товарищей и приближал бы неумолимый финал. Никто не видел, как контрабасист Бебенин поднял самородок, никто даже не знал, что он шел через полигон, и следы его давно были сметены в многотонные груды земли. Вся история в детективном ее аспекте пока окончилась небольшой неприятностью для бульдозериста Николая Большого и некой зацепкой в мыслях товарища Говорухина, зацепкой совсем несерьезной, ибо кто мог поручиться, что вторая часть самородка не валяется в циклопических грудах «песков» и не ждет своего часа.

Кроме того, знания жизни и хитрости Бебенину как раз хватило на то, чтобы ничем не вызвать подозрений и, о боже, не проболтаться по пьяному делу, не спросить совета у того же пройдохи Лени Химушева.

У них оставались еще поездки по рыбацким поселкам на побережье. Идея пришла в последнем из этих пропахших рыбой и сыростью рыбацких пристанищ. Ночью на причале. Причал был пуст, и только невдалеке покачивался на волне Тихого океана МРТ. Волна била о мокрый причал, сверху моросил дождик, и в дождике этом елочными шарами расплывались округлые головы фонарей. На клотике МРТ также горел огонь, качался во влажной морской тьме, и к Бебе пришла мысль о странствиях. Потерять себя в номерах гостиниц, самолетных креслах и полках плацкартных вагонов. Раздобыть некую командировочную липу, уж тут Леня поможет, и если не выгорит вариант номер один, то воспользоваться этой бумажкой, устремиться по городам и местностям, где его не знает никто. Чем больше он думал об этом, тем больше ему это нравилось. Первичный же вариант — зубные врачи-протезисты — ему нравился меньше, но отказываться от него было бы несерьезно.

Утром он поговорил с Леней. Поговорил как мужчина с мужчиной. Химушев почувствовал в контрабасисте деловую струну и помощь пообещал твердо. О причинах и цели он спрашивать, конечно, не стал: не позволяла этика делового человека. Он удовольствовался реальной мздой с гастрольного гонорара. И его устраивало даже незнание сути. Всякое может быть, и соучастие, в юридическом понимании терми-

на, иногда ни к чему. Все это Химушев взвесил и остался собой доволен. Он еще раз глянул на бледное, с длинными баками лицо контрабасиста.

На миг ему показалось, что в беспутном, насквозь знакомом облике промелькнула какая-то уголовщинка.

«Осторожней, старик. На всякий случай. Знать ты ничего не должен», — сказал Лене внутренний голос. Посему он широко улыбнулся и хлопнул Бебенина по плечу мягкой нетрудовой ладонью.

— Понимаю, старик! Решил прошвырнуться туристом? Это ты умно решил с бумажкой. Без бумажки билет не купишь, в гостиницу не попадешь.

Через три дня после знаменательного разговора труппа рассыпалась по домам. Леня всегда точно выбирал время, когда надо исчезнуть.

В аэропорту Домодедово Беба простился с Химушевым, обещав позвонить через недельку насчет... всяких дел. Неделя ему была необходима, чтобы прийти в себя и проверить вариант врачей-протезистов. Матери дома не было, на лето она всегда уезжала в деревню. Это было хорошо. Бебенин был намерен вообще временно утерять имя, исчезнуть с горизонта людей. И для начала поехал из Домодедова на автобусе, нарушив традицию: с гастролей возвращаться домой только на отдельном, персональном такси.

9

Он жил на улице Федора Павлова, застроенной желтым бетоном периода увлечения конструктивизмом. На этих домах имелись хорошие чердаки — раздолье для кошек, которые в изобилии водились в этом обжитом районе. Именно там Беба и решил спрятать самородок, разумеется не над своей квартирой. Вначале он хотел поместить его дома за шкафом, но там стояли отцовские удочки, которые он хранил по какой-то суеверной привычке, хотя никогда, с времен голубого младенчества, ими не пользовался. К рыбалке его приучил отец, и это единственное, что он оставил, когда умер от военных ран в сорок седьмом. Беба его не помнил, но покой запыленных удочек нарушать все-таки не посмел.

Перед тем как запрятать самородок, он взял зубило у пропащего человека, жэковского слесаря дяди

Гриши, и отрубил «образец» граммов на тридцать. На зубиле остались желтые предательские примазки, и Беба оттирал их в течение часа зубным порошком, отчего кончик зубила стал походить на ювелирный товар. Дядя Гриша так это и оценил, сказав с юмором висельника:

— Почему я эту вещь зубилом считал?

Зубной врач-протезист Тетенский

Память подсказывала, что порядочного врача-протезиста лучше всего искать в районе Арбата. Но центра Бебенин инстинктивно боялся.

Прижимаясь к окраинам старой Москвы, он нашел тихую улочку возле одного из не очень шумных вокзалов и нужную вывеску:

ЗУБНОЙ ВРАЧ-ПРОТЕЗИСТ
СРОЧНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВСЕВОЗМОЖНЫХ МОСТОВ И КОРОНОК

У картонного квадратика на узкой полутемной лесенке «Зубной врач-протезист А. А. Тетенский — 2 зв.» он позвонил.

Дверь ему открыл длинный и колеблющийся, как выдвижная антенна, очкарик в белом халате.

«Ассистент, что ли?» — подумал Беба и приготовился врать Тетенскому, ибо с двоими он говорить не хотел.

Но «выдвижная антенна» и оказался самим Тетенским — «срочное изготовление мостов», и, пока он мыл руки, Беба наметанным глазом оценил обстановку, все понял и, вытянув ноги в кресле, закурил.

Неофит частной практики А. А. Тетенский ошалел было от такого хамства, но тут Беба вынул из кармана бумажную салфетку и развернул ее.

— Могу предложить, — нагло сказал он. — Натуральный товар.

А. А. Тетенский сглотнул слюну, но вскоре опомнился и достаточно сухо сказал:

— Не по адресу.

— Может быть, знаешь адрес? Сочтемся! — Беба прищурился от сигаретного дыма и в упор посмотрел на очкарика.

— Адрес, — тихо сказал Тетенский. — Адрес известен — ОБХСС. Обратитесь.

— Как знаешь, — соблюдая достоинство, сказал Беба.

Тетенский хотел что-то сказать, может быть, традиционную фразу «прошу вас выйти вон», но не успел. По заранее разработанной тактике Беба вдруг сорвался с кресла, вылетел в дверь и скатился по лестнице. Несколько раз он сменил автобусы, вагоны метро, какой-то трамвай, а в завершение промчался по улице сумасшедшим шагом, наблюдая, не чешет ли за ним кто с такой же скоростью.

Осечка!

Ему предстояло еще много разных осечек, еще предстояло пугать людей стремительными наскоками в общественный транспорт.

Юрий Сергеевич

Юрий Сергеевич родился если не в рубашке, то, во всяком случае, в майке. В отличие от неофита Тетенского профессию его можно было назвать наследственной. Папаша в свое время сколотил клиентуру, а также домик в Лосиноостровской, и получилось, что двухэтажный сей домик сохранился среди новостроек. Потому собственный кабинет был солиден, богатая аппаратура только по классу «люкс», и главное — клиентура.

Юрий Сергеевич был сорокалетний лощеный хам и отличный специалист. Поэтому в частном его кабинете очередь из прихожей вытягивалась на крыльцо. В большинстве своем это были дамы, возраст которых принято называть бальзаковским.

Измотавшийся в скитаниях Беба второй час сидел среди этих дам, выходил на крыльцо покурить, а покурив, возвращался и брал пухлый прошлогодний журнал «Огонек» и смотрел на одну и ту же страницу «Пестрые факты»: «...молодая англичанка Бетти Ричардсон предпочитает роликовые коньки всем другим способам передвижения. Недавно она была оштрафована...» Да-а, английский юмор, и сама англичанка, ничего, длинноногая.

Когда очередь дошла до Бебенина, в кабинете сидела в углу пациентка с наглухо запаянными гипсом челюстями. Она держала под подбородком корытце. Вторая дама в углу полоскала рот желтой водой, а третья рвалась «на минутку», хотя очередь была не ее.

Юрий Сергеевич крепкой рукой уверенно направил Бебу в кресло и профессионально-участливым тоном сказал:

— Ну и что у нас? Мостик? Короночка? — Менять тон для мужчин он не считал нужным.

Беба повел было глазами на запаянную в гипс даму и ту, что клокотала желтой водой, и надо же — Юрий Сергеевич мгновенно и бархатно сказал:

— В коридоре вам будет лучше.

И так, подлец, сказал, так неуловимо коснулся той и другой, хотя они были в разных концах кабинета, что дамы сразу поняли, что в приемной им будет лучше, и устремились туда.

«Ох, человек!» — с восторгом подумал Беба и без слов раскрыл ладонь с куском золота, который давно уже перестал прятать в бумажку.

Юрий Сергеевич мельком глянул на ладонь, и в голове его с ужасающей скоростью произошел стратегический расчет событий: «Предложение? ОБХСС? Враги подослали? Или предложение?» Враги у него были: злодеи-коллеги. Один враг № 1 устроил ему два года тюрьмы с конфискацией имущества, но Юрий Сергеевич возникал как феникс, ибо, помимо врагов, имелись друзья.

Он вонзил свой взор в тускловатые глаза Левы Бебенина.

«ОБХСС отпадает, — сразу решил Юрий Сергеевич. — Те такого кретина не подошлют. Если враги... Или он вовсе кретин и забыл, чему те его научили, или...»

«Или!» — решил Юрий Сергеевич и сказал вслух, лениво, с растяжкой, без любопытства:

— Ах, так вы не с протезиком. Если есть время, посидите в конце очереди. Я занят.

Однако очередь из двенадцати дам и одного мужчины он раскидал с непостижимой и ураганной быстротой: «Вам еще рано, техник задержал вашу короночку, ну что же, подождем денек...»

Приглашая очередных, он мельком взглядывал на курившего уже без стеснения Бебу и составил в общем-то верное мнение о нем самом и об обстоятельствах. Впрочем, обстоятельства его беспокоили. Существовал уголовный мир, с которым он ничего общего желать не имел. Два года лесоповала ему не забылись. «На уголовника непохож, — решил Юрий Сергеевич. — Откуда у него самородок?»

И он решил неминуемо посоветоваться с доверенным техником Гришкой Ерутовым, хотя Гришке придется за это платить. Много чего знал Гришка Ерутов, ибо пол-

тора года провел под следствием, обвиняясь в незаконных золотых операциях, где фигурировало что-то около десяти килограммов «металла». И вышел сухим за недостатком улик.

...Говорили они уже не в кабинете, а в комнате, хорошо обставленной мебелью эстонского производства и со шторами для защиты от ненужных прохожих взоров.

— Ну так что же? — лениво спросил Юрий Сергеевич и сам сел в удобное кресло, а сесть Бебе не предложил вообще. Тот помялся и сел на стульчик, получилось, что на самый краешек, и тем Юрий Сергеевич уже сразу поставил Бебу во второстепенное положение.

— Желаете продать? Попросил приятель?

— Да! — хрипло сказал Беба.

— Разрешите? — Юрий Сергеевич взял самородок, мельком глянул, прикинул в ладони.

— Неважный металл. Вообще самородное золото для коронок не годится. А сколько у вас всего? Это, я вижу, обрубок.

— Двести, — на всякий случай соврал Беба.

И снова в голове Юрия Сергеевича с непостижимой даже для мощных компьютеров скоростью произошел мгновенный расчет: «Двести самородного... сто пятьдесят единиц коронок... если на диски и продать — «Запорожец», если сто пятьдесят единиц самому, короночка по полтинничку — получается «Волгочка».

— А почем?

— Восемь, — твердо сказал цену Бебенин, так как по имевшейся информации цены черного рынка держались на десяти.

«Отдаст по пяти, — решил Юрий Сергеевич, — отдаст балбес по пяти. Будет «Волгочка». Ах Гришка Ерутов, где же он? Позвонить? Спугну! Нельзя позвонить».

— В общем-то в металле я не нуждаюсь, — меланхолично сказал Юрий Сергеевич. — Но из любопытства по четыре могу взять. Все-таки двести граммов. Безделица.

Нуждался, ох как нуждался в металле Юрий Сергеевич. Возникновение из пепла родило долги, и машина была нужна, и много чего было надо для жизни, к которой привык он. Позарез он нуждался в металле.

— По семи, — сказал Беба. — И сделку можно продолжить.

«Стоп! — подумал Юрий Сергеевич. — Продолжить?

Не один, значит? Цепочка? Уже хуже! Нужен Гришка!» — решил он.

— Зайдите завтра часиков в восемь вечера, — вслух сказал Юрий Сергеевич. — Продолжим наш разговор.

— Металл приносить?

— Обязательно приносить! — ласково кивнул Юрий Сергеевич.

— А цена?

— Приносите — договоримся.

И уже потом, откланявшись, а хам Юрий Сергеевич по своему верному и безошибочному расчету даже руки не подал, не привстал, чтобы проводить и тем унизить, сшибить спесь с мальчишки, на колени поставить и диктовать цену, потом уже, на улице, Беба начал соображать.

Не было точнейшего взвешивания куска, расчета хрустящими бумажками и доверенной встречи в условленном месте, как рисовали мечты. Завтра, около девяти. Золото приносить. Значит, опять зубило у дяди Гриши полировать. А если?.. А если за дверью его будут ждать двое в форме? Или без формы, какая разница? Улика-то в кармане. Впрочем, улику можно будет запрятать. Перед тем как войти. А если... А если там будут двое без формы, потому что форма им не положена? Очень просто: стукнут по темени, вывернут карманы. Убить не убьют, но жаловаться-то не пойдешь. А если не рассчитают удар и просто убьют? Прощай, жизнь, получается! Ну и хам этот доктор. Хамло, сволочь лавсановая.

10

Беба не привык подолгу заниматься самоанализом. Жизнь всегда казалась ему ясной: в неудачах виноваты обормоты и сволочи, удача приходит к тем, кто умеет.

По специфике жизни он многое знал о ловкачах. И с легкой душой относил к ловкачам и считал желающих стать ловкачами большую часть человечества.

И вот сейчас между человечеством и им легла невидимая миру, но четко намеченная морщина. «Мы по разные стороны баррикад». О том, чтобы вынуть самородок, Беба уже не думал. Кто-то, невидимо положил ему на затылок жесткую руку и толкал по длинному, слабо освещенному коридору, и неизвестно, что было в конце — то ли мгла, то ли свет, и он шел как во сне, отделенный

барьером от прохожих на улице, от квартирных соседей и даже от коллег — соучастников образа жизни. И надо же, проклятие, никак он не мог отделаться от одной картинки, которая была ни к селу и ни к городу, вроде видения на берегу ручья. Произошло это в Москве, на людной улице в десять утра два года назад. Беба добирался домой после небольшого загульчика в тесном кругу. Был он похмелен и очень виноват перед миром. Улица была забита народом (когда только люди работают), и магазины были полны людей (а водку с одиннадцати), и Беба был зол на весь мир, и тут он увидел военного. Загорелый, двухметрового роста мужчина рассекал толпу, как водичку, тяжелое тело двигалось невесомо, потому что был он точь-в-точь атлет в расцвете сил и спортивной славы. Но не это поразило Бебу, а то, что великое множество орденов украшало грудь этого человека, видно, шедшего на какой-то официальный прием, и был он в форме полковника ВВС, и на вид никак нельзя ему было дать больше сорока лет. Боковым зрением мгновенно увидел Беба, как оглядывались вслед полковнику ВВС женщины, сторонились мужчины, и Беба стоял, раскрыв рот, как пацан, потому что в этот момент прошло перед ним мальчишеское понятие о славе и правильной жизни. К двенадцати дня Беба жестоко напился, но про картинку эту никому никогда не рассказывал. И вот крутилась перед глазами.

Да-а, продавать надо поскорей этот самородок, в наличные обратить металл.

11

Самородок он решил не тревожить, а зубило вторично не полировать. Взять с собой кусок, продать, рассчитаться, выяснить серьезность партнера. На встречу прийти минут на тридцать раньше и издали, где-либо притаившись, проследить за домом, обстановкой.

С этими мыслями шагал контрабасист Бебенин мимо многоэтажных домов по пустынной вечерней улице будничного дня. Подъезд он выбрал заранее по памяти, удобный подъезд: кто бы к дому ни шел — все будет видно...

Беда заключалась в том, что именно этот подъезд облюбовал для аналогичной цели Гришка Ерутов, доверенный техник, знаток уголовного мира, недоказанный валютчик, недоказанный подпольный торговец драгоценным

металлом. Он должен был по заданию Юрия Сергеевича «определить» клиента на улице, а через десять минут войти «случайно» в дом, чтобы при сделке уже окончательно оценить.

...Оглянувшись через поднятый воротник пиджака, Беба вступил в полумрак подъезда, прижался к стенке, выглянул на улицу и сунул руку в карман за сигаретами. И в этот момент... В этот момент он увидел уставленные на него в упор глаза черноволосого человека, прическа ежик с сединой и челюсть одинокого волка. Несколько мгновений они в упор смотрели друг на друга, и для Бебенина вечностью были эти мгновения. По высшему наитию все понял Беба, обо всем догадался.

— Желаешь прикурить? — принужденно усмехнулся незнакомец и вытащил зажигалку «патент-Австрия», протянул с огоньком коротконалую, с наколками руку.

А кто виноват, что проблематичный, недоказанный уголовник Ерутов имел внешность настоящего киношного уголовника?

Дрожала рука с сигаретой, вздрагивал огонек зажигалки. Прикурили.

— Бабу ждешь? Не буду мешать!

— Нет, я так... отдышаться, — сказал Беба, выскользнул из подъезда, вполоборота отошел-отбежал метров пятьдесят, — и о чудо — зеленый огонек, и он дико замахал руками, уселся, прильнув к заднему окошку. Погони не было. Ушел, ушел-таки от удара по темени. А может быть, выследят? А если таксист из ихних? Подставили?

Он остановил такси на Каланчевке, быстро прошел вверх. Тактика: тот, кто следит, тоже пойдет быстро, и можно угадать, что преследуют; у Красных ворот сел в троллейбус «Б», проехал три остановки, стремительно выскочил и помчался по Сретенке. Никто за ним не бежал. Но страх уже прочно поселился в нем. Не видя прохожих, не слушая шума и чертыханья вслед, он мчался по городу, выбирал освещенные людные улицы.

Куда?

На Сретенке жил тот шальной пианист с обезьяной...

...В заросшем сиренью дворе старого московского дома бездельные пенсионные бабки с цепкими глазами объяснили, что пианист два месяца тому назад вдруг собрался и уехал. Уехал в теплые места, в Среднюю Азию, потому что обезьяна стала тосковать по теплу.

Путая след, Беба очутился на Белорусском вокзале. Он хотел взять такси, но на стоянке толпилась длинная очередь людей с чемоданами.

Он прошел в зал ожидания для пассажиров дальнего следования. Сел у дальней стенки, и ему было видно всех, кто входил в зал, и тех, кто толпился в арочном проеме, у входа.

Твердо решил, что не пойдет сегодня домой. Пустая квартира, которая недавно была благом, теперь пугала его. Он жил на верхнем этаже, и прямо от двери квартиры на чердак вела темная лестница. Его могли ждать там. Могли дома. Откроют дверь бандитской отмычкой и будут ждать. Он представил себе темноту прихожей, загроможденной двумя шкафами, темноту кухни, ванной и двух комнат. На двери стандартный замок, который можно открыть гвоздем. Ни крючка, ни засова. Беба передернулся. Ужасный, покойницкий взгляд незнакомца в подъезде стоял перед глазами. Лапа эта с наколкой, голос. От такого пощады не жди.

Вот оно как бывает... В зал ожидания зашел милиционер. Кусок золота в кармане давил на бедро. Беба поддернул штаны и закрыл глаза. В крайнем случае скажет, что ждет можайскую электричку.

Когда он закрыл глаза, в нос ему сразу ударил специфический вокзальный запах железнодорожной пыли, влажных опилок, человеческого дыхания. Вокзалы всего мира, наверное, пропитаны им на столетия. Запах дальних дорог внушал неожиданное чувство успокоения. Глаза открывать не хотелось. Он как-то мгновенно провалился в сон. Проплыла трава, какая-то речка с тихой водой, странная деревня, веером стоявшая на холме, и далекий звук паровоза. Запахло детством. Георг Шеринг тихо играл на фоно. Классный Георг Шеринг, запись компании штата Дакота, пятнадцать рублей на толкучке пластиночка.

Беба открыл глаза. За этот минутный сон он понял, что ему надо, пришел в себя. В давние времена, в один из моментов, когда он, спасаясь от грубого человека Перфильева, участкового милиционера, начинал Совершенно Новую Жизнь, он ездил на рыбалку в идиллическую деревню Лужки. Лучшей захоронки, чем деревня Лужки, не придумаешь. На неделю исчезнет. Дед тот, наверно,

жив. Конечно, жив! Беба сверх ожидания даже улыбнулся, вспомнив невероятного деда, что жил в избе на отшибе. Вроде в деревне и вроде отдельно.

Зал был почти пуст. Малиционер спокойно стоял в арке, ведущей в другой зал. Не психуй, Беба! Иди посмотри расписание электричек.

Дед Корифей

Возникновение этого прозвища уходило в глубины истории деревни Лужки. На памяти всех живущих дед Корифей всегда был и всегда его звали так. Одна из версий, до которой докопался досужий дачный интеллигент, гласила, что в незапамятные, далекие годы деду попал в руки томик Софокла. Чеканная речь древнего классика произвела на него такое впечатление, что с жителями деревни Лужки он стал разговаривать высоким языком древних трагедий. Софокла он шпарил наизусть страницами и получил прозвище по имени одного из героев. Вся же остальная жизнь была оправданием прозвища.

Дед Корифей от природы был философ и познаватель миров. Профессия пастуха только углубила в нем это достоинство или недостаток. С годами он приобрел насмешку над миром, но не утратил ужасной въедливой любознательности к природе.

По практике лет дед Корифей управлял стадом не кнутом или окриком, а просто гипнотически брошенным взглядом с удобного для него в данный момент бугра. Блудная бригадирова Муська, к примеру, употребив все силы коровьего мозга на хитрость, подбиралась к соседнему клеверу, вроде бы к клеверу, а вроде и просто так — дед Корифей кидал на нее взгляд, оторвавшись от созерцания окрестной природы, и блудная Муська, коротко мыкнув, шла в стадо. Возможно, взгляд деда Корифея обладал силой лазерного луча — кто знает загадки природы.

Как и три года назад, дед принял Бебенина без всякого, единым взглядом оценив настоящее, прошлое и будущее приехавшего порыбачить городского хлыща. Будучи стихийным экзистенциалистом, он принимал людей такими, каковы они есть. Жена его, бабка Ариша, которая вначале жила с ним по браку, потом по привычке, а потом даже стала гордиться, что у нее мужик не такой, как у всех, была просто русской бабкой Аришей и потому

провела гостя в горницу, смахнула со стола крошки и села на лавке напротив, соображая в молчании: холодного или парного молочка предложить.

Дед Корифей и Беба вышли посидеть на крыльцо. Благодатная русская равнина лежала кругом в перелесках, и мудрое небо русских равнин смотрело сверху.

...На славянском равнинном небе сменились облачные рисунки. Ушло мгновение, и где-то грохнула железным засовом, отпирая магазин для вернувшегося с поля тракториста, продавщица Фрося, бабка Ариша вспомнила про невыключенную электроплитку.

Дед Корифей перестал размышлять о непостижимом и сказал:

— Ты ногой не тряси. Ты не думай об этом. Завтра лещей слушать поедем.

13

Меж тем на отдаленном от деревни Лужки тысячами непроходимых километров прииске катилось ураганное время золотодобычи. Промывочный сезон вступил в стадию, когда отступают на задний план ничтожные мелочи жизни, когда рассветы, закаты, чередование дней и минут дробятся на смены, сон и еду, а человеческие нервы, судьбы, пот и усталость мускулов, усталость металла машин превращаются в килограммы металла, который по неизвестной объективной глупости необходим человечеству в количестве, превышающем утилитарную надобность в нем.

В очень далеком таежном крае машины сдирали шкуру земли, сносили лиственницы и тополевые рощи, тонны взбаламученной земли окрашивали в желтый цвет реки, и позади машин и людей оставались полые, вздыбленные долины, где царствовал галечник и посвистывал ветер.

Вряд ли Лев Бебенин задумывался над тем, что уже одно уничтожение природы во имя добычи золота оправдывает объективную жестокость закона по отношению к нему. Легкой птичкой на волнах бытия плыл Беба по жизни.

Меж тем пески с полигона, на котором он нашел самородок, были промыты, и вторая часть самородка, доставленного бульдозеристом Николаем Большим, не обнаружилась. В мыслях товарища Говорухина отложилась

еще одна зацепка. Но никаких конкретных действий он пока не предпринял — шло заполненное ревом моторов лето золотодобычи.

14

В летнее туманное утро дед Корифей повел гостя «слушать леща» на речку со странным названием Порожек.

Речка Порожек мягко текла среди распаханных полей, теперь уже желтых от спелого жита, среди холмов, на которых веером стояли деревни, среди орешника, березняка и песчаных, поросших сосной обрывов.

Перед тем как идти, дед Корифей гипнотизирующим оком окинул пасущееся стадо. Отбившиеся коровы подошли ближе, и стадо стало покорно пастись на одном пятачке, с которого оно так и не уйдет, пока не вернется, не разгипнотизирует их дед Корифей, который от рождения до смерти пас матерей этих коров и их бабушек.

И еще, перед тем как идти, дед Корифей закурил. Он свернул самокрутку, затянулся, кашлянул и блаженным, затуманенным табачьим зельем взглядом посмотрел на небо и мир.

— Так получается, — произнес дед Корифей. — Тысячи лет эту рыбу ловят на одну снасть, и нет для нее ума и науки. Не может она угадать, где червяк для еды, где же блеск фальшивой игры. Разумеешь?

— Понимаю, — сказал Беба, действительно пытаясь понять, куда клонит странный старик.

— Ишо нет! — сказал дед Корифей. — Ишо до тебя не доходит. Скажу без обиды: мы, люди, вроде как рыбы. Любим блеск фальшивой игры и тем себя губим. Обретаем в адские муки, портим свой организм от нервов до мышц.

Сказал и пронзительным глазком скосился в Бебину сторону, лешачьей таинственной мудростью все понял, все угадал и даже усмехнулся, точно увидел в тумане грядущего муки и гибельный призрак поддельного счастья контрабасиста Бебенина.

Беба тряхнул головой. Прошедшая минута провалилась куда-то, и не мог он понять, то ли он спал, то ли бредил, то ли причудилось что. Где-то в сердце остро торчала заноза, и гриппозной болью ломило суставы. Потом все это прошло.

В мотыльковой прошедшей жизни чувства были не-

знакомы Бебе, и от растерянности мгновения на лбу его проступила испарина. Он оглянулся. Все так же курил дед Корифей. Жевали коровы. Под солнцем лежала равнина. Ничего не произошло. Глупое минутное наваждение.

— Пойдем, маленько развеешься, — сказал дед Корифей. И добавил таинственно: — Я ведь, знаешь ли, лещевик.

Они прошли по росному лугу к мягким перекатам и омутам речки. Река текла и жила, как положено жить не запятнанной индустрией русской реке: на перекатах мелко пускала круги плотва, стая окуньков торчала у затопленного куста, иногда крупно плюхался играющий в утренней радости жизни язь, а в одном из омутов гигантским пушечным грохотом ударил неведомый рыбий зверь.

— Щука? — вздрагивая от азарта, спросил Бебенин.

— Голавль, — ответил дед Корифей, — у голавля для плеску хвост приспособлен. Чего его в омут, лешего, занесло? Он быстрину любит, которая корм несет. Или у мельничных свай держится. Мельниц-то у нас давно нет, а голавли ишо есть. До полупуда. А мельниц нету, — дед Корифей вздохнул.

Так они шли и шли, пока не дошли до невидимой внешнему миру черты, у которой дед Корифей остановился, чутко вытянул ухо и ошарил окрестности лазерным взором.

Дело в том, что они дошли до границы колхоза «Рассвет», в котором работал дед Корифей. Дальше начинались земли колхоза «Заря», в котором дед Корифей не работал. По давнему, скрепленному русскими оборотами речи, потасовками под поллитру и сходками стенка на стенку соглашению было установлено, что каждый рыбак ловит рыбу в воде своего колхоза, а на земле другого — ни-ни.

Прощупав локаторно и на слух окрестности, дед Корифей бесшумным шагом быстро задвигал вперед. На Бебу он даже не оглянулся, а сделал спиной неуловимый жест, и тот понял его, как понимали деда коровы, и тоже пошел, согнувшись, стараясь не шуметь.

У одного из омутов дед остановился и замер.

— Слышишь? — шепотом спросил он.

— Чего? — по-деревенски ответил Беба.

— Лещи жрут. Ох жрут, ох и стая. И каждый не менее как полтора килограмма.

Но ни черта не слышал Лева Бебенин. Пошумливал ветер в кустах, верещали бездумно птахи.

— Ну что ты? — чуть не плача, сказал дед. — Он же траву жрет губами. — В досаде дед даже изобразил, как жрет губами траву в водных глубинах лещ. — Целая стая!.. Ох чмокают, нечестивцы!.. Бегем! — вдруг властно приказал дед и шустро побежал обратной дорогой, загибая через кусты, чтобы выскочить напрямик домой.

...Когда на ближнем пригорке показалась семенящая фигура деда, а за ним Беба, задыхающийся от неправильного образа жизни, бабка Ариша с непостижимой шустростью включила обе электроплитки, поставила на них ведра с водой и засеменила в амбар, откуда вышла с мешком овса на спине.

А самородок, завернутый в кармашек из ткани болонья, такие кармашки зачем-то давали раньше к аналогичного названия плащам, лежал на чердаке дома № 15 по улице Федора Павлова, возле дымоходной трубы, присыпанной шлакоблочной чердачной засыпкой. Над самородком водили ночные чердачные игры коты, и днем его сквозь шлак нагревал солнечный луч, попадавший сквозь щель в крыше.

15

Беба осторожно греб веслами плоскодонки, стараясь не плескать, как было приказано. Дед Корифей сидел на корме и бросал в воду горсти распаренного овса, который, как это известно, для леща то же, что для пьяницы водка. Временами дед Корифей поднимал палец, Беба сушил весла.

— Идут, — вслушиваясь в неизвестные шумы, говорил дед Корифей. — Шевелят, нечестивцы, хвостами. Вся стая.

...Они уже покидали запретные воды колхоза «Заря», когда на противоположном бугре возникла фигура одноногого кузнеца Михея, тоже известного в местности лещевика.

Кузнец Михей пронзил взглядом пространство, сразу все понял и, подняв к небу костыль, крикнул в направлении родного колхоза:

— Уводят!

Крик его неизвестным науке способом проник сквозь засеянные житом поля, сквозь клевера и люцерны, лощи-

ны и пустоши, сквозь стены домов, где сидели за ужином рыбаки колхоза «Заря», и сразу проник в их сердца.

— Греби! — приказал дед Корифей и начал горстями швырять в воду лещевой алкоголь, выстилая дорожку.

Из центральной усадьбы колхоза «Заря» вырвался трактор «Беларусь», увешанный людьми в воинственных позах. И из усадьбы колхоза «Рассвет» вырвался трактор «Беларусь», в прицепе которого сидели рабы рыболовной страсти.

— Греби! — кричал дед Корифей.

И Беба выламывал весла. Скрипели уключины, трещали весла, и контрабасист Бебенин, который в жизни не знал, что может грести, греб. На ладонях вздувались и лопались пузыри, в мочалки превращались вялые, бездельные мышцы.

— Стой! — ликующе сказал дед. Он поднялся на корме символом победы и торжества и, задрав бороденку, вытряхнул в омут остатки мешка. И сел на корме, слушая довольное чмоканье уведенных лещей.

Они закурили махру из кисета деда. Ядовитый моршанский дым полз над рекой, окутывал лодку, они сидели друг против друга, как счастливые потные дети, единокровные братья, соратники по оружию и улыбались друг другу проникновенно и нежно: старый пастух и хлыщ Беба, гранильщик асфальта, хилый цветок искусственной техносферы.

Даже тракторный рокот не мог испортить славянской простоты событий. На берегах реки стояли друг против друга негодующие, враждебные племена рыболовов и осыпали друг друга простыми словами. Дед Корифей сидел на отшибе на бережку, и напротив него, через речку, сидел лещевик Михей, идеолог враждебного клана. Михей с мрачной угрозой, не мигая, разглядывал деда, взгляд его излучал планы, надежды, грядущее торжество. Лучезарен и прост был ответный взгляд деда Корифея.

Беба вначале присел было около деда. Но понял, что ему не место в борьбе титанов. Через минуту он тоже орал простые слова. В этот миг он был членом племени, рода, семьи и кровь великих свершений горячо бежала по жилам. Кто-то хлопал его по плечу, и сам он обнимал кого-то.

В разгар страстей пулеметным треском ворвался звук милицейского мотоцикла. И звук этот, а также традиционный вопрос «В чем дело, граждане?» вернули на землю Бебенина.

Но на землю вернулся уже не тот вчерашний, замученный страхами и видениями, а некто новый, познавший радость борьбы и удачи.

Среди мятежного шума толпы у Бебы вдруг четко и ясно, как диспозиция перед боем, оформилась мысль: «В Средней Азии живут среднеазиаты». Те самые среднеазиаты, которые вплетают женщинам в косы мониста из драгоценных материалов, кладут золото в чувяк, а чувяк прячут в арык.

На берегу реки Порожек замкнулась мысль, впервые пришедшая к Бебе на берегу Тихого океана, на затопленном ночью и сыростью рыбацком причале.

С неосознанной тоской Беба прощально оглянулся кругом. Вечер мягко падал на речку, окрестные холмы русской равнины, на перелески, поля и деревни. Беба стал медленно отступать от берега и, отойдя за кустарники, повернулся к речке спиной, пошел к пыльной дороге, по которой ходили автобусы к станции.

Уходил, чтобы потерять себя среди самолетных кресел, полок вагонов и гостиничных номеров в краях, где Бебу никто не знает и знать не должен.

16

...В безоблачном азиатском небе висело пыльное солнце. Под тополями, окружавшими аэропорт Нукуса, держалась черная тень.

Вскинув на плечо швейцарскую сумку, Беба шел мимо багажного отделения аэропорта, мимо дававших тень смоковниц, мимо киосков с краткой надписью «Газвода», мимо стандартных садовых лавочек.

Ему очень не нравились первые встреченные среднеазиаты. Непохоже, чтобы они дарили мониста своим женам и прятали золото в чувяк или там в арык.

Жизненный опыт учил не торопиться. Тот же жизненный опыт учил его, что первичные сведения в неизвестной стране легче всего получить там, где люди пьют вино, дуют пиво или глушат спиртягу.

Беба шел, направляемый интуицией, и, как бы в подтверждение догадливости его, впереди показался горбатый мостик. Под мостиком тек арык, а рядом стояли два старика в ватных халатах и темных барашковых шапках.

— Есть! — в озарении выдохнул Беба. Он вытер потный лоб и покосился на солнце. — Есть Средняя Азия. Существует!

За мостиком виднелась дверь с вывеской на азиатском языке, но все равно родной и понятной.

В длинном зале сидели за пластмассовыми столиками люди и пили пиво.

Беба на ходу опрокинул у стойки стопку для бодрости, цепко пошел по залу, выбирая столик, где можно сесть.

...Он выбрал столик, где сидел парень, напоминающий негатив: лицо было черным, а волосы, брови и глаза ослепительно белыми. Негатив меланхолично пил пиво. Дородная официантка-узбечка остановилась с блокнотиком. Беба привычно показал три пальца.

— Что будете заказывать? — спросила официантка.

— Три пива ему, — сказал Негатив. Официантка ушла.

— Из Москвы?

— Ага.

— В Хиву?

— В Хиву, — на всякий случай сказал Беба. В липовом удостоверении Москонцерта, которое добыл ему Леня Химушев, можно было вписать любой город.

— Скука, — произнес незнакомец. — Все знаешь, все видишь насквозь, и никакой тебе в жизни загадки.

— Мораль? — завязывая беседу, спросил Беба.

— Какая к чертям мораль! На пальцах пиво заказывает москвич из пивного бара. С Ташкентского борта в Нукусе сошел — в Хиву едет. Минареты, так-перетак, смотреть.

— Я с Севера, — с неизвестной самому целью соврал Беба. — В отпуск. Хочу посмотреть юг.

— На Севере, где? — безразлично спросил Негатив, отхлебывая пиво.

Беба назвал место последнего своего турне.

— Знаю. Работал. Теплостанцию строили. Еще где бывал?

— Сахалин, — сказал Беба уверенно. На Сахалин Леня Химушев в самом деле пытался их повезти однажды, но получилась промашка с пропуском в погранзону.

— Работал. Так его перетак. Микрорайон в Южно-Сахалинске отгрохали. Слыхал?

— Ну как же! — солидно солгал Беба.

— В Мирном бывал?

— Нет.

— Я его с колышка, так и эдак. Эх была жизнь! Ра-

бота, а не волынка. И зарплата тебе щелкает-щелкает, не надо ее считать, потому что хватало.

— А как сюда?

— Надоел за три года якутский мороз. Решил погреться. Греюсь вот третий год. Надоело!

— Что надоело?

— Юг надоел, язви его в душу. Ты туристом: дыню жевать и на минарет глаз поставить. А мне эти дыни и минареты... Старый директор на Хантайку зовет. Пишет, что будет дело. Махну! Кончу дом и махну. Мороз людей человеками делает.

Мимо окон с натужным воем прополз тяжко груженный «Урал».

— Везет-таки, волынщик проклятый! — сказал Негатив. Бросил на стол трешницу и встал, натягивая кепку.

— Слушай. Ты на Среднюю Азию плюнь. В Самарканд — Бухару не езжай. Там из-за туристов проклятых минарет не увидишь. Посиди здесь и езжай обратно в Москву. Пиво в Москве бочковое и бывает чаще, чем раз в месяц. А еще лучше, если и в Москве не задержишься, а двинешь на Ярославский или в Домодедово до самолета. Салют!

Незнакомец прогрохотал залепленными известью сапогами к выходу.

Тотчас на освободившееся место сел быстрый и тонкий узбек. Он был в красной нейлоновой рубашке, при галстуке, и, надо же, чудо, лицо его было сухо, без малейших следов пота. Нейлон-то в такую жару! Лицо не то что было сухо, а матово отсвечивало в своей сухой смуглоте.

Официантка без разговоров принесла и поставила шесть бутылок.

— Норма! — улыбнулся узбек. — Пиво бывает редко. Пьем по шесть. Кто может — тот больше. В Хиву?

— Ага, — не удивляясь, уже сказал Беба.

— Хорошее место. Памятник старины. Все старое, как при ханах.

— Да-а!

— А Куня-Ургенч? Совсем старое место. Окончательно памятник старины. В Куня-Ургенч туристы не ездят. — Узбек вздохнул и поднял тонкий, музыкальной конструкции палец. — Отдельные, умные, ездят. Столица Хорезма! Алгебру знаешь?

— Учил.

— А где выдумали, знаешь? В Куня-Ургенче! А Ти-

мур что разрушал, знаешь? Куня-Ургенч! Ничего туристы не знают. Между прочим... я там родился.

Узбек ловким жестом открыл бутылку о край стола, и темное пиво Ташвинбезалкогольтреста потекло в стакан.

— Женщины у вас красивые, — дипломатично начал Беба.

— Красивые? Почему красивые? Конечно, красивые! В Москве тоже красивые!

— А что, они украшения не носят? Мониста там всякие, в общем золото.

— Какое золото? Современные девушки — сами золото!

— А я читал, что узбечки носят.

— Про это у стариков спроси.

— А в Нукусе есть старики?

— Нукус — новый город. От Ташкента не отличишь на главной площади.

— Ну а базар у вас есть? Торгуют там, продают?

— Разумеется, есть. — И узбек, удивительно было, как в такое тонкое тело его все это вмешалось, осушил третью бутылку пива.

Кругом в тесном стандартном залике сидели темнолицые люди и в ужасающих количествах дули вредную для почек и печени жидкость. Официантки с натугой носили уставленные бутылками подносы. Неподвижная жара висела в столовой, и от пластмассовой синевы столов было еще жарче.

На свисавших с потолка желтых лентах торчали огромные азиатские мухи. За окном резко, как по линейке, чередовались синяя тень и желтый ослепительный свет.

— Пиво выдумали в холодных странах для южных, — сформулировал Беба. Он чувствовал, что от этих мух и неподвижной жары ему становится дурно. И от темного теплого пива. И от промокшей насквозь рубашки. Даже штанина в том месте, где нога по привычке прикасалась к сумке с самородком, промокла насквозь. Нелегки были пути подпольной торговли золотом.

Держись, Беба-Сахиб-Иналла-хан! Кто в этой глупой стране держит в линялой сумке килограмм чистого золота? Еще сто грамм коньячка? Пожалуй! Лучше, чем эту бурду пить! Мадам! Мисс Средняя Азия! Сто пятьдесят коньяка. Пиво? Сами его пейте!

Тонкий невозмутимый узбек с бесстрастным любопыт-

ством наблюдал неожиданное пьянение собеседника. Он слабо разбирался в вопросах алкоголя и не знал, что даже небольшая доза в жару действует неожиданно и точно, как нокаутирующий удар.

...Позже Бебе не хотели давать билет до Ургенча. Предлагали поспать. Но Беба знал, что уж чего-чего, а спать ему нельзя, и он сказал, что кассирша не пускает его в Хиву, потому что не уважает собственных памятников мировой же, черт поб-бери, культуры. Удостоверение он не вынимал без нужды. Памятники мировой культуры помогли, впрочем. До самолета оставалось три невыносимых часа. Беба схватил подвернувшееся такси и поехал на базар. Базар был пуст. Только на бесконечных его рядах, как одинокий зуб в челюсти, торчал старик, тот самый, какой нужен, старик в папахе и все такое.

— Золото купишь? — спросил напрямик Беба и положил перед стариком «образец» товара. Сморщенный старик молчал, и глаза его из-под дикарской папахи смотрели на пьяного Бебу с непостижимым спокойствием восточного мудреца.

— Ну! Купишь, что ли?

Старик отмахнулся руками от запаха нечистого алкоголя, запрещенного пророком, и снова невозмутимо сел, йог проклятый, деревяшка — не человек.

17

Самолет-работяга Ан-2 летел над пустыней. Внизу было желто от песка и солнца. Глаз пассажира отдыхал только на редких зеленых пятнах оазисов.

Когда началась долина Амударьи, с самолета можно было видеть на медленном этом полете труды человеческих муравейников: изрезанная в квадраты земля, бесчисленная паутина арыков, квадратные зеркала затопленных рисовых полей, бескрайние дамбы, насыпи. Среди них исчезала Амударья — дорога торговцев, завоевателей, потрясавших жестокостью привычный к жестокостям мир, дорога отчаянных конных налетчиков из окрестных пустынь, земля, где сотни поколений рождались среди глины, проводили жизнь, копая ее, и умирали, чтобы завершить круговорот белкового вещества. Они рыли землю, прокладывали арыки, сажали дыни и хлопок, выдумывали науку — алгебру и стихи, бессмертная звучность и печаль которых, как игла, пронзают столетия.

Начиналась Средняя Азия. Начинался Хорезмский оазис.

...Бебе не нравился город Ургенч. Здесь затемнялась главная цель. Днем жара начисто съедала всякую инициативу, вечером улицы были темны, и в глиняных переулках прятались тени янычаров или кого там еще, с длинными кривыми ножами и азиатским равнодушием к человеческой жизни.

Центральная часть Ургенча была слеплена без применения всякой фантазии из бетонных блоков. Она ничем не отличалась от аналогичных застроек в любом городе страны и, наверное, называлась «Черемушки» с добавлением местного прилагательного.

В старой части города, в глинобитных домах с плоскими крышами, жили мужчины, старики, женщины и младенцы. Старики сидели кое-где на завалинках, младенцы заполняли арыки, тротуары и узкие улочки, а женщины выскакивали из тенистых дворов, чтобы утащить во внутренность того двора очередного младенца с какой-то неведомой материнской целью.

Покупателей золота здесь не имелось. Ясно как двадцать одно. Или их надо было разыскивать по неведомым Бебе приметам.

Например, базар. Бестолковый, битком набитый ишаками и халатами базар, где темные старики продают редиску, дыни и лук. Будешь в толчее продавать самородок неизвестно кому? Нужен индивидуальный контакт, возможность поговорить без посторонних ушей. А как без ушей, если на пяти квадратных метрах базара находятся двадцать пять человек? В четыре часа дня этот базар, как по звонку, пуст. Сторожу продавать будешь?

От этих обстоятельств Беба ожесточился. Он начисто забыл осторожность и теперь, уходя, оставлял самородок под койкой все в той же швейцарской сумке. Держал его просто завязанным в тряпку.

Обрубок носил с собой. Металл залоснился в кармане, к нему прилипли табачные крошки и всякая разность, которая бывает в карманах не слишком опрятного человека. Пятидесятиграммовый обрубок драгоценного металла потерял свой товарный вид.

«Искать, черт побери, искать надо», — думал, лежа на гостиничной койке, млевший от жары Беба.

Номер был странный, сделанный из двух комнат. В комнате поменьше стояли две койки, в комнате побольше — четыре. И в той и в другой комнате люди ме-

нялись почти ежедневно. Это был обгорелый на сельскохозяйственном производстве народ, в неизменных брезентовых сапогах и кителях из серой холстины. Они вставали в пять-шесть утра, пили зеленый чай из гостиничных чайников и исчезали, чтобы завтра смениться новыми.

Неутомимо держался только его сосед, главбух неизвестного провинциального производства. Этот чертов главбух тоже обазиатился. Тоже вставал в шесть часов утра, пил для начала зеленый чай, затем клал на стол папку и вслух начинал читать свои бумаги: «От шестого восьмого шестьдесят шестого. В ответ на Ваш тридцать два дробь семь сообщаем...» Проклятый канцелярщик так и читал, как пишется «шестого восьмого...»

От всего этого хотелось запить, кануть в темную бездну. Но Беба держался. Чужая страна, чужие обычаи. Ухо востро и хвост пистолетом. «Учись, солдат, свой труп носить, учись висеть в петле...» — так произнес поэт.

В этом городе все говорили про хлопок. Радио говорило про хлопок, газеты писали о нем же, и комики-постояльцы в брезентовых сапогах, когда переходили на русский, толковали тоже про хлопок. Базарная толпа состояла из людей в халатах. Халатники, он это видел, знали физический труд не по книжкам. Редким и случайным казалось в толпе темных халатов белое пятно рубахи интеллигента или сарафан приезжей туристки.

Темнолицые люди в темных халатах продавали и покупали дыни, инжир, связки табачных листьев и темнозеленую массу «нас» — табачное зелье, которое кладут под язык. Они же сидели на открытых верандах чайхан и пили, скрестив ноги, этот чертов зеленый чай, пили молча и бесконечно. Бебу, бездельника по натуре, это молчаливое рассиживание раздражало.

Через несколько дней он загрустил, перестал верить в возможность выловить из скопления чужих племен нужного человека.

18

Жить окончательно не хотелось. Беба спустился вниз, в ресторан, взял карточку. Меню делилось на разделы, отпечатанные типографски.

1. «Искусство кулинара».
2. «Закусите, пожалуйста».
3. «В обед полагается».
4. «Вкусно и сытно».

5. «Приятно и полезно».

6. «Тонизирует вас».

7. «Утолите жажду».

8. «Только в меру» (водка «Московская», коньяк 3 зв., портвейн № 15).

9. «Кто не против» (папиросы «Беломорканал», сигареты «Краснопресненские»).

«А вот я не в меру», — мрачно подумал Беба и заказал коньяк.

Неожиданно за сдвинутыми в стороне столами появилась группа иностранцев.

«Интересно, им то же меню дают? — подумал Беба и вдруг прямо похолодел: — Иностранцы!»

Иностранцы с птичьим говором усаживались за сдвинутые столы: безликие мужчины в легких до зависти летних костюмах, загорелые, сухие, как ящерицы, женщины. Прикатили из заморских стран смотреть минареты.

«Ах, черт! — подумал Беба, подливая себе коньяк. — Они же в гостинице здесь живут. Вечерком пригласить вон того мордастого. Языка не знаю. Может быть, немцы. Ди муттер, ди тохтер, дер тиш. А что дадут? Валюту дадут. А валюту...»

«Остановись», — сказал голос предосторожности. Беба заглушил его порцией коньяка. Какая предосторожность, если папахи не понимают человеческих слов. Он же не собирается быть валютчиком. Один раз, один только раз. Вспомнилась картинка. Тот знакомый валютчик, который невесело кончил. Тогда в ресторанном зале было пьяно, дымно, весело, и малый этот держал беседу, травил анекдоты, но глаза, точно не ему и принадлежали, бегали, ощупывали, осматривали зал и всех, кто был, кто входил, сидел, выходил. Ни на минуту не знали отдыха эти глаза и опьянения тоже не знали. Кто там еще был? Им и отдать валюту, пусть они ее... Стоп! Подумать надо. Прополощем мозги, Беба, дружище...

Беба заказал еще коньяка, взял стакан, в котором торчали салфетки, выкинул их, а в стакан налил. Чуть повыше половины, но ниже полосок. Выпил. В голове стало напряженно и ясно.

...Его арестовали в шесть часов вечера, когда он ломился в номера, занятые бельгийскими туристами. Туристов в гостинице не было: они в это время осматривали древний заповедник в городе Хиве под названием Ичан-Кала, что в переводе означает «внутренний город». В то

время когда туристы уселись в автобус, чтобы вернуться на нем в Ургенч, ибо в древней Хиве еще не имелось подходящей гостиницы, Бебу на мотоциклетной коляске отвезли в вытрезвитель, где и проделали с ним все подобающие случаю процедуры. Когда его задерживали, уголком затухающего от алкоголя мозга Беба все-таки успел увидеть, осознать значение милицейской формы и успел соврать, что ищет свой номер, который находился этажом выше.

Выпустили его в ранний утренний час, записав в соответствующую книгу. Ему возвратили также 20 рублей денег. Вознегодовал, но ему сказали, что было тридцать, десятку с него удержали и так далее, и представили ему опись материальных ценностей, бывших при нем при задержании. Впрочем, Беба не помнил вчерашний вечер.

И лишь на улице, гулко ступая по бетонным плитам тротуара, он осознал, и похолодел от страха, и даже перестал быть похмелен. Исчез обрубок самородка, который всегда был при нем в заднем правом кармане техасских штанов. Засыпался!

Прохладен был утренний город Ургенч. По дороге к рынку шли ишаки и влекли на себе седоков или двухколесные тележки с дощатым помостом над самой ишачьей спиной. Открывались киоски с газировкой. Шелестели пустые автобусы. От редакции газеты «Хорезмская правда» на лихом мотоцикле, в очках, в кожаной куртке помчался на задание лихой ездок.

На рынке разжигали огонь в рыбожарке: интересном заведении, где изрезанную на мелкие куски рыбу кидали в кипящий чан хлопкового масла и вынимали оттуда проволочным черпаком на длинной ручке. Рыба была золотистого цвета и пахла хлопковым маслом и свежестью. Было хорошо есть ее под полотняным навесом, прихлебывать мутное среднеазиатское пиво и сочинять стихи вроде:

Я живу как в рыбожарке.
Рыба — я! И рыбе жарко!

Поздно писать стихи. Засыпался!

Он заглянул в вестибюль гостиницы. Дремали в креслах приезжие. Окошко администратора было задвинуто занавеской. У подъезда стояли пыльные периферийные «газики», и хлопали дверцами чернолицые деятели в тюбетейках и брезентовых сапогах.

В номере еще спали. На четырех койках могуче хра-

пели рыцари хлопкового производства. Его сосед-бухгалтер только что встал и насыпал в фаянсовый чайник зеленое зелье. На Бебу он глянул без удивления и вышел за кипятком.

...Сумка лежала под кроватью. Беба с содроганием запустил руку внутрь. Самородок был на месте. Взял сумку и прошел в дальний конец коридора, где имелась запримеченная им черная лестница во двор. Напротив лестницы находился общий умывальник. Какой-то гад со скакалкой через плечо прошел туда впереди Бебы. На спине у скакальщика ходила под майкой хорошая мускулатура. Беба подумал, что гад будет мыться не меньше получаса.

Он, как бы без дела, прошел к торцевому окну. Двор был пуст. Посреди двора торчала дощатая уборная.

...Беба посмотрел на щелявые дощатые дверцы. Черт, может быть, именно там его ждут.

Человек в умывальнике плескался и пел, омерзительно радовался жизни. Нервы Бебы были натянуты до предела. Так! Паспорт при нем. Он еще в первый день ухитрился его забрать, на всякий случай, под предлогом получения перевода. Командировка... Черт с ней.

Беба встал у окна. Умывальник слева, дверь черного выхода справа.

Парень в умывальнике намылил лицо. Глаза его были зажмурены. Беба толкнул дверь черного хода. Она скрипнула и подалась. Он быстро зашел в темноту, закрыл дверь. На площадке стояли ведра, половые щетки. Беба быстро сбежал вниз, в пахнущий пылью мрак, где узко высвечивали полоски света.

Он откинул нижний крючок. Дверь не поддавалась. Видимо, она была замкнута еще и на крючок наверху. Он чиркнул зажигалкой. На цементном полу валялись малярные куртки и стояла измазанная известью бочка. Он взялся за край бочки и потянул ее. Раздался ужасный скрежет металла о цемент. Потом догадался наклонить бочку и перекатывать ее краем. Наверху скрипнула дверь, и оттуда упал сноп желтого света. Беба замер. Женский голос что-то сказал по-узбекски, звякнуло ведро. Свет исчез. Не помня себя, Беба по-кошачьи взгромоздился на бочку и нащупал верхнюю задвижку. Она не поддавалась. Он ударил по ней кулаком. Дверь распахнулась, и он чуть не свалился на улицу. Свет ослепил его. Пересекая двор, к уборной шел мужчина в тенни-

ске. Он глянул на Бебу и отвернулся. «Может, за рабочего меня принял? — подумал Беба. — Или?»

Он увидел, что с головы до ног перемазан в пыли и известке. По костяшкам пальцев текла кровь вперемешку с грязью. Беба схватил сумку. Держась против угла здания так, чтобы не было видно из окон, он пересек двор и нырнул в заборную щель. За забором начиналось изрытое строительством поле. Стоял котел с гудроном. Под ним дымился костер. Около костра сидел старик в халате и смотрел на него. Беба пересек площадку напрямик, угадывая дворы, пошел в направлении вокзала.

По дороге в каком-то дощатом киоске, видно открытом всю ночь, он купил бутылку портвейна и кусок колбасы.

Через час он лежал в открытом товарном вагоне. Среднеазиатское солнце поднималось и накаляло металл. Поезд не двигался и, видно, не собирался двигаться. Разбитую руку саднило. Вдобавок было нечем открыть бутылку. Беба примерился и стукнул ее горлышком о железное ребро вагона. Бутылка раскололась, и он стал торопливо глотать липкий портвейн, обливая себе лицо и рубашку. Мягкий комок поднялся в затылок.

Становилось жарко до нестерпимости. Бебе было очень плохо. К облитым портвейном рукам, и лицу, и рубашке стала налипать угольная пыль. Где-то около 12 часов дня поезд дернулся и поехал в неизвестную сторону. Хотелось плакать.

19

Беба работал в ресторанном оркестре неизвестного азиатского города. Город был гнусный и пыльный, ресторан был просто третьеразрядной столовой и назывался по-дикому «Тохтамыш».

Благословенной памяти Моня дал три года назад Бебе курс электрогитары.

Вечером в ресторан приходили буровики. По соседству крепко искали нефть или газ, черт его знает, неинтересно что, но публика там работала что надо. С размахом. Беба работал «за жир», то есть он не получал зарплаты, он получал то, что закажут, за что заплатит музыкантам подвыпивший люд.

Беба играл. Прошедшее время мытарств четко отразилось на нем: он по-волчьи подсох и по-волчьи стал готов к рывку в любую минуту. В углах рта на бездумном

его лице залегли морщинки — след неудач, а может быть, размышлений. Коллег по оркестру он презирал: провинциальная шваль, гармонист... Трубача надо было просто убить, чтоб не позорил профессию, впрочем, что он мог сделать на инструменте, который напоминал по качеству пионерский горн. Но гитара была ничего.

Неожиданно для себя Беба стал находить в собственной музыке горькое удовольствие и часто выходил на соло, а лабухи, коллеги, которым было на все наплевать, охотно его выпускали, жарь хоть целый вечер, плевать...

Беба уже не метался. Что было, то прошло. Ему требовалось подкопить деньжат на приличный костюм, ему требовался момент, он это понял. Он играл и разглядывал зал, угадывал нужного человека. Человек придет, ресторан такое место...

Но, кроме буровиков, как две капли воды похожих на сибирских добытчиков золота, громких парней физического труда, кроме командированных, от которых за версту несло удостоверением и сознанием служебного долга, кроме местных львов с пятеркой в кармане, никто не возникал на его горизонте.

Социолога, определившего бы биение ресторанной жизни по окраинам государства, еще не нашлось. Здесь не бывают знаменитости, проматывающие знаменитые гонорары, сюда не заходит обедать профессор или другой человек, оклад которого позволяет именно так обедать, здесь не резвятся пижоны.

Сквозь эти рестораны, как сквозь первый признак обретенной цивилизации, проходит в основном поток бродячих людей: геологов — искателей земных недр, искателей длинного рубля, здесь бывают налетами люди нестандартной профессии или уникальные специалисты по какому-нибудь уникальному монтажу, перелетные птахи индустрии XX века.

Но изредка неприметно за столиком пройдет незамеченным крупный краб уголовщины, которого непостижимые нити гешефта загнали в такие края.

Попробуй его угадай, если специалисты по угадыванию ловят его не первый уж год.

Дядя Осип

Но все-таки...

Каждый вечер в ресторан приходили три мужика, как будто бы вынутых из бетономешалки. Хрипатые, пыль-

ные мужики садились за угловой столик напротив оркестра, и до их прихода никто этот столик не мог занять. Официантка с натугой тащила три ящика пива — среднеазиатского дефицита, и каждый из мужиков ставил свой ящик у правой ноги. Они выпивали за вечер по пять-шесть бутылок и уходили последними, оставив остальное пиво доброй официантке.

Беба вскоре заметил, что главным в странной этой компании был сгорбленный, в проволочной щетине мужичонка, в пропитанных пылью кирзачах и в костюме из хэбэ — бессмертной ткани в полоску.

Пил он мало. Так, прихлебывал иногда и разглядывал зал воспаленными, все на свете знающими глазами.

Вскоре Беба узнал, что зовут его дядя Осип, что в этом городе он давно, точнее, проводит в этом городе, в этом вот кабаке каждую осень. Потом исчезает.

Многократные вечера наблюдал за ним Беба. Но не подходил. Не навязывался. Хотел все узнать про странного миллиардера в стоптанных кирзовых сапогах, проволочной щетине.

И однажды случилось: проволочный мужик подошел к эстраде и, поманив грязным пальцем Бебу, спросил:

— Могешь «Журавли»? — И положил четвертную у ног.

И смог Лев Бебенин. «Журавли» отвечали настроению души, проснулся в нем музыкант. Перед полупустым в этот день залом, отведя в дальний угол затуманенный взгляд, выдал не мелодию, нет, — крик отторгнутых душ выдал музыкант Бебенин.

Официантки застыли у столиков, командированные оторвались на миг от свиных отбивных с соленым огурцом и соленым же помидором, какая-то робкая девушка оторвалась от беседы с не менее робким парнем и широко открыла глаза на Бебу, и даже лабухи за спиной смолкли и перестали шептаться насчет вечного сведения счетов, притихли, в какой-то момент решили было подстроиться, чтоб разделить успех, но, хватило совести, смолкли, ибо подстроиться к вариациям Бебиной души было нельзя в этот момент.

В открытые окна ресторана лезли акации и тополя, мерцали в небе крупные азиатские звезды, и шел воздух тех времен, когда журавли действительно улетают.

Плакал за столом совсем почти трезвый дядя Осип, неизвестных трудов человек в проволочной щетинке.

Беба играл. Чутьем музыканта он понял, что сейчас

не нужен надрыв, дешевые кабацкие штуки, нужна настоящая музыка. Приглушив динамик электрогитары, он играл вариацию за вариацией, уходил в совсем уж неэнаемые дали от главной мелодии, и все-таки то была облагороженная мелодия «Журавлей» в те времена, когда журавли действительно улетают.

Пошлая или опошленная вещь, но ведь бывает...

Наконец Беба смолк, задавил струну на щемящем небесном звуке, и все в ресторане задвигалось, как было до этого. Задвигался и дядя Осип, он прошаркал кирзой к эстраде и сказал Бебе:

— Слезай. Пойдем к столу. Пусть эт-ти играют.

И хоть не положено было музыканту сидеть за столом, но мало ли что не положено. Власть была в хрипящем голосе неизвестного Осипа. И тем же голосом он прохрипел подошедшей официантке:

— Шампанского. Два. Или три.

...У дяди Осипа оказалось человеческое лицо. Усталое человечье лицо было у этого щедрого оборванца. Натренированным чутьем понял Беба, что нет, этому он не продаст. Этому золото без всякого интереса. Но все-таки был как пружина, как волк перед смертным прыжком.

— Что смотришь? — усмехнулся дядя Осип. — Грязные, да? Плевать!

— Давно смотрю, — усмехнулся как можно шире Беба, Открытый Парень.

— Душевно сыграл, — дядя Осип смахнул слезу. — Утешил.

— Чем занимаемся? — спросил Беба. — Я парень без предрассудков.

— Исправитель ошибок, — загадочно ответил дядя Осип. — Понял?

— Не понял, — правдиво ответил Беба.

— Проще не может быть. Строительство здесь большое — раз. Частник дома строит — два. Государство цемент везет? Везет! Большими вагонами. А вагон разгружен как? Еле-еле. У государства цемента много. А частнику нужен аль нет этот цемент? Дядя Осип идет в порожняк. И метет вагон так, как будто лично платил за этот цемент. Выходит десять-пятнадцать мешков с вагона. Частнику фундамент для дома, дяде Осипу сто рублей каждый вечер, государству чистая тара-вагон. Понял?

— Понял, — восхищенно вздохнул перед гениальной простотой комбинации Беба.

— Мое открытие, — с простодушной гордостью сказал дядя Осип. — Мой, выходит, патент.

— Вредно цемент мести. Пыль, — заботливо произнес Беба, наметив подлую комбинацию.

— Я только осенью. Здесь у меня осенний сезон.

— А потом?

— Пойми меня, музыкант. Я — бродяга. Может, я последний бродяга в государстве и есть. Каждому месту и каждому месяцу в стране у меня свое время. Везде свой сезон. Через неделю уйду в Карганай, в заповедник. Там грецких орехов сбор. Это уже в Киргизии. Четвертная за день выходит. Мне больше не надо.

— Здесь-то сто? — сказал Беба.

— Чудак! Мне деньги без надобности. Там горы и лес. И нет никого. Только объездчик знакомый орех заберет, квитанцию выдаст. Я в тамошнем воздухе отхожу от цемента, живу в шалаше. Солнышко утром восходит. Птицы поют. И нету этого... алкоголя.

— Жили бы там, — еще заботливее сказал подлец Беба.

— Там не могу, музыкант. Ежели б я мог, нешто не жил бы, как все люди живут в государстве? Ведь я беззаконный сброд. Дом у меня в Чипчикае, жена там живет А я не живу. Мне помирать надо. Если я вправду последний бродяга, то больше бродяг не будет.

— А что, действительно хорошо в том Карганае?

— Хорошо — негодное слово. Там... чудесно. Хошь, поедем?

— Хочу. Сильно хочу с тобой, дядя Осип.

— Тогда готовься.

— Монеты нет. Без денег сюда попал.

— Так я помогу, — сказал дядя Осип. — Раз вместе, так помогу.

Но в тот же миг проснулись и воткнулись в Бебу бывалые, бродяжьи глазки. Вонзились и тут же потухли. Так, по привычке.

— Вместе, вместе, — как можно шире улыбаясь, сказал Беба. — Верну на орехах.

И занял, подлец, сто пятьдесят рублей у последнего бродяги страны, так как чувствовал нюхом, что надо ему исчезать.

В тот же вечер на первом подвернувшемся самолете он исчез из пыльного города. Самолет, вездесущий Ан-2, летел в место с азиатским названием. Беба взял на него

билет, потому что давали без всякой очереди. И в самолете он обнаружил, что оказался единственным пассажиром. Это его успокоило. Меньше свидетелей.

20

Аральское море вынырнуло из-за горизонта как видение невероятного. Оно было слишком зеленым, чтобы походить на море, которое лежит по учебнику географии где-то в Азии, закинутое в желтые пески, в отчаянную бесконечность.

Аральское море! Твое зеленое блюдце лежит в бесконечности пространств с издревле дикими названиями, и твое пятно на карте будит тревожную тягу к дороге у школьников и у седых людей.

Может быть, только узкие специалисты-историки знают историю твоих берегов. Какие были здесь племена, какие были сражения, кто первым пас здесь стада и кто первым провел по твоей воде рыбацкую лодку?

Есть местность, где легче установить геологическую историю движений земных пластов, чем пластов человеческих передвижений и образа жизни.

Сюда, к Аральскому морю, шел самолет Ан-2 и вез на себе неизвестный груз, а также Бебенина с самородком.

Самолет шел над пустыней, над землей, изрезанной непонятными пятнами и шрамами, над солончаковыми озерами, и справа от него вырисовывалась зеленая лента Амударьи, а слева и впереди маячили обрывы легендарного плато под легендарным названием Усть-Урт.

И сел! Сел просто на пыльной плоскости. На плоскости этой был выбит ковыльник, виднелись следы посадок и взлетов, и больше не было ничего. Только в сторонке маячила обмазанная глиной изба, которая, видно, и была главным аэропортом этих мест.

«Аннушка» замерла, дыша горячим мотором, все еще поскрипывая от движения, выскочил подтянутый, как все летчики, пилот, распахнул дверцу, сказал Бебе:

— Прибыли, друг! Конечная точка.

В дверцу ударил желтый свет, и земля дыхнула ужасающим зноем. И голос пилота был естествен, как естествен голос стюардессы, объявляющий в Москве, Киеве или Владивостоке посадку.

Беба взял сумку.

От глиняного здания аэропорта двигался человек. Он шел с бумажным почтовым мешком. Пришел, встал ря-

дом с пилотом, и оба они закурили. Пилот был юн, с нежным румянцем здорового, ведущего правильную жизнь человека. Подошедший был коренаст, даже не коренаст, а как-то тяжек, как глыба земли, и лицо его было коричневым, как кусок засохшей глины. Через минуту пришедший взял выкинутый из самолета мешок почты, закинул в свой и опять, тяжко ступая, пошел обратно. А пилот бросил сигарету с фильтром, обогнул самолет, улыбнулся Бебе и махнул рукой — «отойди».

Взревело, вспылило, заскрежетало в реве мотора, и самолет низко пошел над степью: вначале две тонкие стрекозиные черты крыльев, потом точка, потом ничего.

Только теперь Беба осмотрелся. Маячил в дымной дали Усть-Урт, взгроможденная маревами полоса на горизонте.

Справа, в такой же мари, плавало в воздухе что-то темное, непонятное. «Мираж», — догадался Беба. Прямо впереди синело, сливаясь с небом в неразличимое целое, Аральское море, и невозможно было определить до него расстояние. Впереди же, метрах в пятидесяти, торчала та единственная изба с мачтой антенны. Под ногами была странная почва: растрескавшаяся, твердая, как чугун, и росли на ней кое-где былинки и белесые кустики неизвестной травки высотой сантиметра в три.

— Занесло! — так определил Лев Бебенин свое положение.

Но душа его, утратившая в передрягах последних месяцев остроту чувств, отнеслась к этому тупо и вяло. Ни тревоги, ни страха, так, ощущение ситуации. Даже хорошо, что глушь. Где тут поселок?

Он подошел к избе. Глина на ее стенах потрескалась, обожженная все тем же нещадным солнцем, и доски на крыльце потрескались, и потрескалась дверь.

На двери висел огромный ржавый замок.

Удивленный Беба обошел избу кругом, чтобы найти хозяина, порасспросить, в какой стороне поселок и какой туда транспорт. Но изба стояла в степи, как спичечный коробок на пустом столе, и возле нее не было ни души.

— Эй! — крикнул Беба.

Молчание, безмолвный солнечный зной было ему ответом.

— Э-э-э-эй! — заорал он во весь голос.

Ничего. Зной, дурацкая эта степь и тишина. Даже звук ушедшего самолета пропал.

Беба отбежал от избы метров на двадцать. Потом подбежал, чтобы заглянуть в окна, но по дороге махнул рукой: не мог же человек зайти внутрь, навесить снаружи замок и улечься спать. Он снова отошел в сторону, чтобы оглядеться, найти следы человека. Осмотрел горизонт. Заяц был бы заметен на этой равнине не меньше чем с километр. Смахивало на мистику. Может, тот громоздкий мужик был просто частью земли? Вылез из земли, чтобы встретить Ан-2, принял мешок с почтой, сдал почту и снова ушел, растворился в почве, до следующего прилета.

Беба начал бегать вокруг избы. Сумка с самородком била его по спине. Он бегал вокруг избы, расширяя и расширяя круги, пока голова его не закружилась от теплового удара и он вынужден был остановиться. Зов опасности толчками вошел в сердце.

Беба в жизни не бывал один, без людей, как бы там ни было, но все же родных двуногих, и сейчас, в безмолвном одиночестве одной из самых диких степей мира, ему стало попросту страшно. Мистика! Стоит запертая изба. Пятнадцать минут тому назад был человек. Был и исчез. На темя безжалостно давило солнце, и тишина давила на барабанную перепонку. Бебе стало казаться, что он сходит с ума. Сумка! Самородок в сумке! Степь! Мираж! Одиночество!

— Беба, — сказал он себе и сел на горячую землю. — Собери мысли! Должны быть люди. Опасно! Ты слышишь — опасно!

Мгновенно обострившимся зрением он увидел вдруг вдали, на фоне Аральского моря, струйку дыма и вроде бы контур жилья. Дым от костра! Люди!

Беба чуть не бегом двинул вперед по пустыне. Он не умел оценивать расстояния, и ему казалось, что до спасительного столба дыма километра два, не больше.

...Через час он уже не бежал, а шел, и голова казалась ему раскаленным добела шаром. Он шагал через покрытые пустынным загаром камни, трещины, мимо кустиков саксаула, и судьба берегла его, ибо на этой земле, чуть не на каждом метре, жили скорпионы, фаланги, пустынные змеи, страшные каракурты — вся нечисть, призванная, чтобы насмерть кусать человека. Возможно, судьба берегла Бебу, потому что он ни о чем этом не знал. А дым все так же стоял над горизонтом, все на том же расстоянии.

...Когда через четыре страшных часа Беба подходил к

юрте рыбака Кудуспая, рыбак догадался, что идет полупомешанный человек. Но казах Кудуспай остался у костра, рядом с которым стояли чайник и приготовленные пиалы, и только сказал:

— Здравствуй!

Жаркая пелена с глаз отлегла. Рядом был человек. Но он не стал рассматривать казаха в фетровой шляпе и полосатом костюме хэбэ, который действует на всех широтах Союза, не стал рассматривать его изрезанное морщинами заурядное узкоглазое лицо, он увидел чайник.

— Воды, — сказал он, — воды!

— Чай, — мягко сказал Кудуспай. — Давно вскипятил, давно жду.

— Почему ждешь? — вскинулся Беба и уставился на казаха воспаленными от солнца и дикой подозрительности глазами.

— В степи далеко видно. Думал, идет Николай.

— Какой еще Николай?

— На аэродроме который. Который твой самолет встречал.

— Нет его, — горько усмехнулся Бебенин. — Он в землю ушел, гад.

— Не в землю. На этот... под крышу, в общем. Под камышовой крышей прохладно. Бак там с водой. Наверно, сразу заснул. Он как каменный спит. Такой человек.

Беба захохотал.

— Сядь в тень, — сказал Кудуспай. — Пей чай. Потом спи. В юрте прохладно.

Но Бебу бил истерический смех, который сменился слезами. После слез он позволил, как ребенка, отвести себя в юрту.

— Пей чай, — повторил Кудуспай. — Потом спи. Завтра отвезу в поселок. Ты в командировку?

— В командировку, — сказал Беба и начал жадно хлебать зеленую жидкость.

Он пил ее за пиалой пиалу, и казах вначале наливал только ему, а когда Беба потянулся за сигаретой, налил и себе.

— Где поселок? — спросил он.—Куда я, к черту, летел?

— Там! — махнул рукой Кудуспай. — Как летел, если не знаешь?

— Так.

— Чтобы в поселок, надо обратно на аэродром. Туда вечером приходит машина.

— Нет! — вздрогнул Беба, вспомнив свой переход.

— Моя юрта — твоя юрта, — подумав, сказал казах. — Живи. Я катер жду, а то бы отвез на лодке. Мой катер продукты привозит, рыбу увозит. Будь гостем. Я один. Я и верблюд. Чай есть. Мука есть. Папиросы есть. Соль есть. Рыбу ловлю сам. Будь гостем юрты.

— Что за поселок?

— Таджак. Он был... раньше поселок. Отошло море. Закрыли порт. Только старожилы остались.

— Казахи?

— Есть русские. Это... религия старая. Они все такие... Староверы.

— Какие?

— Как Николай. Очень тяжелые. Ух, скупые! — Кудуспай рассмеялся.

— Почему скупые?

— Осторожные очень. Себе не верят. Казах не такой. Казах — легкий человек.

— Ты где научился по-русски?

— В армии был. Почему научился? Давно знал.

— Поживу у тебя! — произнес Бебенин.

21

Юрта стояла в километре от берега, на границе песка и глины. Потрескавшейся глиной лежала уходящая на юг степь; на север шел вначале кустарник, затем песок, затем море.

Ночью песок был прохладен и сух, и по нему шло интенсивное движение водяных змей, черепах, которые из редких пустынных зарослей отправлялись к морю. Утром они возвращались обратно.

Когда Кудуспай и Бебенин шли к лодке, им встречались эти черепахи, и Беба постигал эти встречи с наивным любопытством дикаря-горожанина. В эту минуту он просто позабыл о килограммовом куске золота, валяющемся в углу Кудуспаевой юрты, в обшарпанной туристской сумке. О том, что Кудуспай мог в сумку заглянуть, не приходило в голову. Казах был немногословен и неизменно ровен. Он ловил рыбу, вялил ее, и раз в десять дней к нему приходила моторка с западного берега. Там работали мощные буровые бригады, тянулась нитка газопровода, строились компрессорные станции, шла индустриальная жизнь, которой вскоре суждено было сгинуть, оставив после себя следы путаных усть-уртских автодо-

рог, гудящие здания компрессорных станций и спрятанный в землю газопровод.

Блаженны были минуты, когда над Аралом прорезалась тонкая полоска рассвета, и они шли по холодному песку, и вода была холодна, и прохладны рукоятки весел. Они гребли в море по одному Кудуспаю известным приметам, и, когда они доходили до сетей, выползал краешек солнца. Потом все громадное красное солнце зависало над морем. К возвращению начиналась жара.

Желтый аральский судак, серебристый жерех, чье мясо может поспорить с осетриной, огромные лупоглазые сазаны и пивная рыбка-шемайка шли в сети.

В море Кудуспай оживлялся. Он шутил, насвистывал и разговаривал с рыбой. И Бебенин был счастлив в эти минуты. Однажды, когда они остановились на перекур на якоре и взошедшее, еще нежаркое солнце делало Аральское море зеленым, когда вкус «Беломора» был особенно острым, Кудуспай сказал:

— Я казах рода Кудай. Мы всегда были рыбаки и охотники.

— А сейчас?

— Весь западный берег Арала я знаю как свою ладонь. Я и мой верблюд. Летом я рыбачу, зимой мы с верблюдом идем вдоль Усть-Урта. Там много моих землянок. Замыкаем мы круг на восточном берегу. Штук двести лисиц, штук десять волков — столько шкур сдает Кудуспай.

— А сейчас? Здесь ты зачем?

— Я ловлю рыбу для экспедиции, кто в колхозе, старики мои в степи пастухами.

«Старики», — тревожно шевельнулось в мозгу Бебы. Он представил себе стариков в бараньих шубах. «В Средней Азии живут среднеазиаты».

22

Тучи над прииском шли так низко, что, казалось, пропарывали брюхо о верхушки желтеющих лиственниц. Из этих прорезов лилась вода: ледяной нескончаемый дождик. Дождик шел на тайгу, превращал дорогу в непроходимые даже для гусениц препятствия, туманом висел над рекой и поселком.

Дождик обмывал за ночь полированные до блеска гусеницы бульдозеров и скапливался во впадинах полигонов.

Иногда наступала другая пора, и шорох дождика исчезал. Ветер разгонял тучи, выползали наружу бледная синева неба и сопки. Сопки были окрашены в три цвета. Три цвета осени. Внизу сопки были желтые от пожелтевшей листвяги, еще выше — черные от безжизненных россыпей камня, заросшего накипным темным лишайником, и еще выше сопки были иссиня-белые, потому что на вершины их уже пришла зима и ветер передувал там меж камней колючие струйки снега.

К сентябрю небо открывалось все чаще и все ниже опускалась снежная черта на вершинах сопок. Вершины их теперь были уже не иссиня-белыми, а просто ослепительно белыми. Они рождали мысли о гармонии и чистоте окрестных миров.

Прииск, изнемогая, гнал последнюю промывку. Ее надо было гнать, пока не наступили морозы, пока в водопадах, направленных к промывочным приборам, не начала мерзнуть вода. В глазах старожилов и разных бывалых людей вставали картины отдельных лет, когда весь поселок выходил добывать последние килограммы планового металла. В кромешной тьме осенней ночи морозно пылали факелы, чтобы вода проходила по нагретым трубам, и обросшие льдом, точно шубой, ворочали металлической челюстью драги, и был лязг металла и безмолвие подошедшей зимы, когда птицы уже улетели, но снег и настоящий мороз еще не пришли.

Это были последние бои промывочного сезона, и каждый на прииске — как бывалый солдат, не требующий команд, разнарядок и выговоров; все шло, катилось само собой, как катится порядком разболтанная, но верная, приработанная на дальних дорогах грузовая машина.

Еще на прииске был легкий, невнятный шум, неизвестно откуда идущий, о том, что была утечка металла, о том, что не выплыл при промывке самородок, часть которого обнаружил Николай Большой.

И так как сезон шел к концу, то на стол товарища Говорухина легла та самая папка «О разрублении самородка и исчезновении части его».

23

В тот самый день, когда на стол Говорухина легла эта папка, Кудуспай отправился ловить сомов на закидушку. Он с утра попросил Бебенина набрать для грузил камней и завернуть их в тряпочки, чтобы удобнее было привязывать к леске.

Беба ушел с облепленным чешуей рюкзаком, который дал ему Кудуспай, и еще зачем-то прихватил свою швейцарскую сумку. Вернувшись, он бросил рюкзак с камнями и пошел купаться.

Собираясь, Кудуспай пересчитал грузила, подумал, что будет мало, заглянул в швейцарскую сумку и нашел в сумке еще одно грузило, уже завязанное в тряпочку. Бебенин купался в море, и, не дождавшись его, Кудуспай ушел к камышам. Закидушки он мог бросить и один.

Вернувшись с моря, Беба увидел свою сумку не там, где положил ее. Он поднял и тут же обнаружил, что самородка в сумке нет.

Он сидел в юрте и ждал Кудуспая.

Когда за юртой послышались шаги, Бебенин взял длинный рыбацкий нож, которым так удобно было потрошить рыбу. Он спрятал нож за спиной.

— Шесть штук поставил на лимане и шесть в стороне, — весело сообщил Кудуспай. — Утром пойдем смотреть.

— Где золото спрятал? — тихо спросил Бебенин.

— Золото? — машинально улыбаясь, повторил Кудуспай и поднял глаза. — Ты что?

— Кончай, — сказал Бебенин. — Кончай дурака валять. — И медленно вытащил из-за спины нож.

Кудуспай поднялся. Глаза его сузились.

— Шутишь. Наверное, болен, а? Положи нож. Пожалуйста, положи.

При виде жилистого, согнувшегося, как для прыжка, Кудуспая Бебу охватил дикий страх, и потому он заорал:

— Кончай баланду, гад косоглазый! Кишки выпущу!

Кудуспай кинулся. Он хотел отнять нож у сошедшего с ума человека. Нога его поскользнулась на приготовленной для ужина рыбе, и Кудуспай упал прямо на нож, который трусливо выставил вперед Бебенин.

Кудуспай странно, нечеловечески охнул. Беба выпустил нож и выскочил из юрты. За спиной что-то хрипело и булькало.

Точно лунатик он пошел к морю. Он шел по песку, который к вечеру стал прохладен, и ноги его вязли в этом песке, а голова была пуста, как пластмассовый мяч для пинг-понга.

Он остановился у воды, потому что дальше идти было некуда. И вдруг уловил далекий стук катерного мотора.

Он понял, что это идет катер за рыбой, идет сюда. Он оглянулся с тоскливой неторопливостью. Темная вечерняя степь лежала за спиной, проклятая дурацкая пустыня. Цепь событий с лязгом замкнулась, и время остановилось.

В диком несоответствии с моментом Беба вспомнил вдруг дурацкого пианиста, у которого жила обезьянка макака-резус по кличке Гриша. Была обезьяна, был пианист, который в прокуренной комнате играл иногда странную музыку, а потом уехал куда-то на юг, чтобы обезьяне было теплее. Еще была в той жизни соседка, которая открывала форточку и всех выгоняла, когда пианист начинал играть. Говорят, прошла всю войну санитаркой и бесполезно было с ней спорить. Лучше и не пытаться...

Еще он вспомнил момент, когда нашел самородок, тихий утренний полигон, самогонного цвета водичку, которая заполняла ямку, и заплакал. Он сел на холодный песок и стал ждать катер. Он не знал, что звук по воде рано утром разносился очень далеко и катера надо еще ждать, ждать и ждать. Но он сидел и ждал.

КОММЕНТАРИИ

Начало литературной деятельности Олега Куваева относится к 1957 году. В этом году был опубликован первый его рассказ «За козерогами» (ж. «Охота и охотничье хозяйство», № 3).

Первая книга «Зажгите костры в океане» вышла в 1964 году в Магаданском книжном издательстве.

В комментариях указаны прижизненные публикации: периодика и книги О. М. Куваева — «Чудаки живут на востоке» («Молодая гвардия», 1965), две книги под одним названием, но в разных составах «Весенняя охота на гусей» («Молодая гвардия», 1967 и Новосибирск, 1968), «Птица капитана Росса» (Магадан, 1970) и «Тройной полярный сюжет» («Современник», 1973).

Подготовленный автором при жизни роман «Территория» вышел после смерти О. Куваева («Современник», 1975), а также сборник «Каждый день как последний» («Молодая гвардия», 1976), в основном составленный самим автором.

О себе. Автобиографический очерк. Впервые напечатан в книге «Весенняя охота на гусей» (Новосибирск, 1968). Написан по просьбе издательства, при издании сокращен. Полный текст не сохранился.

РАССКАЗЫ

Берег принцессы Люськи. Рассказ написан в конце 1960 года. Впервые опубликован в журнале «Вокруг света» (1962, № 2). Включен в книги О. Куваева «Зажгите костры в океане» (Магадан, 1964), «Чудаки живут на востоке», («Молодая гвардия», 1965), «Весенняя охота на гусей», («Молодая гвардия», 1967).

В 1969 году на киностудии «Беларусьфильм» по сценарию О. Куваева создан телевизионный фильм «Берег принцессы Люськи».

С тех пор, как плавал старый Ной. *(Рукопись, найденная в бутылке.)* Рассказ написан в 1961 году. Впервые напечатан в журнале «Вокруг света» (1962, № 10). Включен в книги «Зажгите костры в океане» (Магадан, 1964) и «Чудаки живут на востоке» («Молодая гвардия», 1965).

Анютка, Хыш, свирепый Макавеев. Рассказ написан в 1962 году. Впервые напечатан в альманахе «На Севере Дальнем» (Мага-

дан, 1962). Включен в книги: «Зажгите костры в океане» (Магадан, 1964), «Чудаки живут на востоке» («Молодая гвардия», 1965), «Весенняя охота на гусей» (Новосибирск, 1968). Один из первых рассказов, получивших одобрительную оценку критики: «Читая Куваева, отчетливо ощущаешь близость его к лучшим образцам нашей молодой прозы последних лет...» (Леваковская Е. На карте нет белых пятен. — «Москва», 1964, № 6).

В письме к сестре Г. М. Куваевой (июнь, 1963 г.) О. Куваев писал: «Никак не соберусь выслать тебе опубликованный вариант «Анютка, Хыш, свирепый Макавеев». Помнишь, ты мне рассказала про «дядю Хыша»? Ну так я это у тебя «украл» и использовал». Здесь же автор так оценил свой рассказ: «Рассказ ничего, подтекстовый, но все же не то. Игручести, жеманства словесного много».

Где-то возле Гринвича. Рассказ написан в начале 1963 года. Впервые напечатан в альманахе «На Севере Дальнем» (Магадан, 1963, вып. 1). Включен в книги «Зажгите костры в океане» (Магадан, 1964), «Чудаки живут на востоке» («Молодая гвардия», 1965), «Весенняя охота на гусей» (Новосибирск, 1968). В июне 1963 года в письме к сестре О. Куваев сообщил: «Написал два рассказа («Где-то возле Гринвича» и «Чуть-чуть невеселый рассказ». — *Г. К.*), один отправил в печать... Хочу найти какую-то сдержанную форму без всяких словесных выкрутасов, но в то же время свободную и емкую. Собственно, эти два рассказа и явились как плод экспериментов в этом направлении». В сентябре снова написал сестре: «Рассказ опубликовали. Заговорили даже о «смене творческого голоса», это ерунда, но рассказ понравился... Опубликованы четыре штуки, но три из них просто то же самое, что и раньше, а рассказ «Где-то возле Гринвича» уже другой».

Чуть-чуть невеселый рассказ. Написан в июне 1963 года. Первоначальное название «Немного печальный рассказ». Впервые напечатан в журнале «Сельская молодежь» (1964, № 2) под заглавием «Тот далекий остров». Входил в книги «Зажгите костры в океане» (Магадан, 1964), «Чудаки живут на востоке» («Молодая гвардия», 1965), «Весенняя охота на гусей» (Новосибирск, 1968). Рассказ автобиографичен, в нем нашли отражение действительные события, происшедшие с автором на острове Врангеля весной 1963 года.

Через триста лет после радуги. Написан в 1964 году. Впервые напечатан в книге «Весенняя охота на гусей» («Молодая гвардия», 1967), затем в книге под тем же названием (Новосибирск, 1968). В рассказе нашли отражение впечатления писателя во время экспедиции по Нижнеколымской низменности летом 1964 года. Прообразом Мельпомена послужил рыбак, бывший юрист, П. С. Щеласов, в избушке которого останавливался геофизический отряд, руководимый научным сотрудником СВНИИ О. М. Куваевым. В апреле 1969 года Куваев писал в одном из писем: «Мужик этот (Мельпомен) — человек удивительный, гораздо более удивительный, чем в рассказе. Мы с ним приятели с давних пор». В 1972 году, побывав в тех краях, О. Куваев писал С. А. Гринь: «А Петр Семенович умер. Умер в лодке, сердце схватило. И избушка сгорела... Вот такие дела. Очень мне его жаль, достойный был человек». В 1972 году Магаданское телевидение обратилось

к писателю с вопросом: «Что из написанного считаешь лучшим?» Он ответил: «Лучшим из написанного считаю рассказы: «Через триста лет после радуги», «Чуть-чуть невеселый рассказ» и «Два выстрела в сентябре». Если называть в единственном числе, то — первый из названных рассказов».

Два выстрела в сентябре. Написан в 1969 году. Первоначальное название — «Дядя Яким». Впервые напечатан в журнале «Вокруг света» (1970, № 4). При жизни автора не издавался. Автор относил «Два выстрела в сентябре» к числу лучших своих рассказов (см. комм. к рассказу «Через триста лет после радуги»).

Устремляясь в гибельные выси. Написан в 1970 году. Впервые напечатан в альманахе «На Севере Дальнем» (1971, № 2) с посвящением: «Памяти Михаила Хергиани, погибшего в 1969 году в Альпах». Позднее рассказ был дополнен и предложен журналу «Юность», где был напечатан после смерти О. Куваева (1975, № 8). Включен автором в сборник «Каждый день как последний», изданный посмертно («Молодая гвардия», 1976). В основе рассказа — личное знакомство автора с известными альпинистами М. В. Хергиани и И. Г. Кахиани. Осенью 1974 года Куваев совершил переход через перевал Донгуз-Орун из Приэльбрусья в Сванетию. «Надо мне побывать в родном гнезде, в родовой башне Кахиани и зайти на могилу Миши Хергиани», — объяснял он это путешествие.

Эй, Бако! Написан в 1970 году. При жизни автора не печатался. В феврале 1975 года О. Куваев предложил рассказ журналу «Юность» вместе с рассказами «Кто-то должен курлыкать» и «Устремляясь в гибельные выси». Главный редактор Б. Н. Полевой сообщил 23 марта 1975 года: «...Особенно понравились мне приключения Вашего лесовода и «Бако»... Но печатать будем только два. «Бако», хотя он мне очень нравится, — мягок, колоритен, лиричен, но для такого многотиражного журнала, как «Юность», все же не годится. Там милая Грузия *прошлого*, чуть ли не времен царицы Тамары, или, во всяком случае, времен Пиросмани. В сегодняшней Грузии идет борьба с этим патриархальным, хотя и очень симпатичным бытом. Понимаете? И этот рассказ, написанный к тому же *русским*, вызвал бы просто взрыв. Но уже не как редактор, а как литератор повторяю: здорово, сердечно написано». Рассказ был впервые издан в посмертном сборнике «Каждый день как последний» («Молодая гвардия», 1976).

Утренние старики. Написан в 1971 году. Впервые напечатан в журнале «Вокруг света» (1972, № 1). При жизни автора в книги не включался. В рассказе нашли отражение впечатления писателя от поездки на Памир в 1971 году.

Здорово, толстые! Написан в 1973 году. Впервые напечатан в журнале «Вокруг света» (1974, № 1) под названием «В лесу, на реке и дальше». Название «Здорово, толстые!» дано автором для книжного издания. Включен в посмертный сборник «Через триста лет после радуги» («Молодая гвардия», 1981). Инсценировался на Всесоюзном радио под названием «Пиши по старому адресу».

Телесная периферия. Написан в 1973—1974 годах. Впервые напечатан в журнале «Юность» (1975, № 2). Включен автором в сборник «Каждый день как последний» («Молодая гвардия», 1976). По рассказу О. Куваевым написан киносценарий «Бросок», заказанный студией «Таджикфильм». По окончании этой работы он писал сестре в феврале 1975 года: «Только что закончил таджикский сценарий. Убил хорошего человека Калиткина. Вот ведь беда — сам же его выдумаешь и самому же его жалко чуть не до слез. Первый раз прослезился, когда убил его в рассказе, второй раз — когда убил в сценарии». Кинофильм «Бросок» поставлен киностудией «Таджикфильм» после смерти О. Куваева. В «Частном авторском размышлении на тему героизма» — вступлении к сценарию «Бросок» — О. Куваев писал: «Существуют профессии, где необходимость жертвовать собой в нужный момент заложена в самой сути их. К такой профессии относится и солдатская. Но если человек уже перестал быть солдатом? Если к этому уже не обязывает солдатский долг? Кончается ли долг вместе с присягой? ...Автор утверждает, что героизм может быть и зачастую является чувством воспитанным. Человек, который познал Долг, уже не может от него отрешиться... Долг — чувствовать необходимость быть полезным людям, долг идти на опасность, когда это необходимо, — есть чувство непреходящее, если оно воспитано в человеке правильно и усвоено твердо».

Кто-то должен курлыкать. Написан в 1973 году. Первоначальное название «Кругом русские люди». Впервые напечатан в журнале «Юность» (1975, № 8) под названием «Надо курлыкать». Включен Куваевым в сборник «Каждый день как последний» («Молодая гвардия», 1976). Рассказ написан под впечатлением от поездки вместе с И. Г. Шабариным на Белое море в июне 1973 года. В октябре О. Куваев сообщал Шабарину: «Написал я вроде бы неплохой рассказ об Александровне. Неплохой, в ориентации на прежние свои рассказы, и слабый, в ориентации на будущее... Заданность конструкции, простота лишь внешняя, истинной простоты нет, и довольно поверхностное морализование».

...И в человецех благоволение. Рассказ начат, вероятно, в 1973 году. Остался незавершенным. Судя по небольшим наброскам, оставшимся в рабочих тетрадях, писателем был задуман рассказ на «городскую» тему, в которую должны быть включены «блоки северного мемуара».

ПОВЕСТИ

Весенняя охота на гусей. Написана в 1961 году. Дорабатывалась в 1965 году. Впервые напечатана в журнале «Сельская молодежь» (1967, № 1, 2) под названием «Куда улетали гуси». Включена в одноименные сборники, изданные «Молодой гвардией» (1967) и Новосибирским книжным издательством (1968). О. Куваев относил повесть к числу удачных своих произведений. На вопрос Магаданского радио: «Что из написанного считаешь лучшим?» (1972 год) — он ответил: «Достаточно «на уровне» сделаны повести «Весенняя охота на гусей» и «Азовский вариант». Все остальное туфта. Нету полета...»

Тройной полярный сюжет. Написана в 1961 году. Неоднократно дорабатывалась. Первоначальное название «Rhodostetia rosca» («Розовая чайка»), затем — «Птица капитана Росса». Впервые напечатана в приложении к журналу «Вокруг света» — «Искатель» (1969, № 1). Включена в книгу «Птица капитана Росса» (Магадан, 1970). Переработанная в 1971 году и озаглавленная «Тройной полярный сюжет», повесть вошла в книгу с одноименным названием («Современник», 1973). Экранизирована киностудией «Беларусьфильм» (1972) в телевизионном двухсерийном фильме «Идущие за горизонт». Заметка в записной книжке: «Написать о розовой чайке и все, что с ней связано». Повесть написана под впечатлением первой встречи с розовой чайкой в Чаунской низменности во время геологической экспедиции в начале лета 1959 года. В 1964 году Куваеву довелось жить среди розовых чаек в низовьях Колымской низменности.

Чудаки живут на востоке. Написана в 1964 году. Впервые опубликована в приложении к журналу «Вокруг света» — «Искатель» (1965, № 4). В этом же году была включена в книгу с одноименным названием, изданную «Молодой гвардией». Включена в сборник «Весенняя охота на гусей» (Новосибирск, 1968). Это третья из опубликованных повестей, и результаты опыта в этом жанре не удовлетворяли автора. В письме к сестре (август 1965 г.) он писал: «Искатель» с повестью должен был выйти в конце июля — начале августа. Посмотри при случае... Повесть написана в веселые минуты чудачества, но ты почитай и напиши, как и что. Возможно, это «милая вещица», но никак не больше. А вот делать «больше» шибко трудно. В. Шекспир уже пустил в дело все достойные коллизии человеческого бытия, а стружки, крошки и обрезки подобрали последующие парни. Поэтому нашему брату, окромя подтекста, ничего не остается...»

Азовский вариант. Написана в 1966 году. Впервые напечатана в приложении к журналу «Вокруг света» — «Искатель» (1967, № 5). Включена в сборник «Весенняя охота на гусей» («Молодая гвардия», 1967).

Печальные странствия Льва Бебенина. Написана в 1969 году. Впервые напечатана в «Искателе» (1971, № 5) под названием «Реквием по утрам». Включена автором в сборник «Каждый день как последний», изданный посмертно («Молодая гвардия», 1976). Автор называл «Реквием по утрам» повестью-предостережением. В 1970 году, обращаясь в Магаданское книжное издательство по поводу включения повести в сборник, писал: «Повесть построена на противопоставлении двух жизненных философий: надежды на случай, удачу, мотыльковое счастье, легкость момента и второго пути, основанного на вековом опыте человечества, давно познавшего, что жизненное равновесие может быть только труд, принятый как потребность».

СОДЕРЖАНИЕ

Куваев О. М.

К 88 Избранные произведения: В 2-х т. Т. 1 / Предисл. Вал. Курбатова. — М.: Мол. гвардия, 1988. — 527[1] с.

ISBN 5-235-00137-0 (т. 1)
ISBN 5-235-00138-9

В первый том Избранных произведений известного советского писателя Олега Куваева вошли рассказы и повести, написанные им в 60-е годы: «Весенняя охота на гусей», «Тройной полярный сюжет», «Чудаки живут на востоке», «Азовский вариант» и «Печальные странствия Льва Бебенина».

К $\frac{4702010200-158}{078(02)-88}$ 103 — 88 ББК 84Р7

ИБ № 5583

Олег Михайлович Куваев

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ. Т. 1

Заведующий редакцией **В. Перегудов**
Редактор **Г. Кострова**
Художественный редактор **А. Романова**
Технический редактор **Е. Михалева**
Корректоры **Т. Пескова, Н. Хасаия, Л. Четыркина**

Сдано в набор 01.10.87. Подписано в печать 18.04.88. Формат 84×108[1]/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 27,72+0,1 вкл. Усл. кр.-отт. 27,82. Учетно-изд. л. 29,0. Тираж 100 000 экз. (1-й завод 50 000 экз.) Цена 2 р. 10 к. Заказ 1939.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, Сущевская, 21.

ISBN 5-235-00137-0 (т. 1)
ISBN 5-235-00138-9

2р. 10к.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ